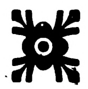
Вяч. Шишков

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

ВЯЧЕСЛАВ ШИШКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в
восьми
томах



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1961

ВЯЧЕСЛАВ ШИШКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том второй

ПОВЕСТИ

РАССКАЗЫ

ОЧЕРКИ

(1918—1938)

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1961

Составитель
В. М. БАХМЕТЬЕВ

Примечания
В. А. БОРИСОВОЙ

ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ
ОЧЕРКИ

ПЕЙПУС-ОЗЕРО

ГЛАВА I

Свершается реченное

Николай Ребров — как на пороге чужого дома. Он последний раз оглянулся на Россию. Под ногами и всюду, куда жадно устремлялся его взор, лежали свежие первоноябрьские снега, воздух дышал морозом, но Пейпус-озеро еще не застыло, спокойные воды его были задумчиво суровы, и седой туман разметал свои гривы над поверхностью. А там, на горизонте, легкой просинью едва намечались родные далекие леса.

Николай Ребров едва передохнул, остановившееся его сердце ударило с новой силой, он крикнул:

— Иду, Карп Иваныч! Сейчас... — и побежал к скрипевшему большому возу, на колеса которого наматывался липкий снег.

У заставы пришлось беженцам провести трое суток в холоде, в снегу. Эстонскими властями разоружалась Северо-Западная армия генерала Юденича: отбиралось и переписывалось оружие, проверялись списки, выдавались наряды: кому куда. Безостановочно двигались обозы, уныло шагали солдаты в одиночку и кучками — остатки белых наголову раз-

битых полчищ. Вся эта жестокая затея, стоившая России стольких жертв, продолжалась около трех месяцев, и новая европейская амуниция белых войск еще не успела истрепаться о красные штыки. Зато лица солдат унылы и потрепанны, в глазах усталость, озлобленность, головы опущены, и мало веселых слов. Так с поджатым хвостом возвращается в свою будку побитый пес. Среди свежей амуниции то здесь, то там култыхает серая рвань: это забеглые, покинувшие свою родину красноармейцы. Надрывно скрипят по снегу немазаные колеса таратаек, истощенные быстрым отступлением обезноженные лошади тяжело поводят ребристыми боками, мобилизованные псковские мужики угрюмо шагают возле своих кляч и с ненавистью поглядывают на скачущих верхами офицеров.

— Вот и Эстония, — сказал Николай Ребров.

— Да, — безразлично ответил с возу Карп Иваныч, богатый торгаш-крестьянин из-под Белых Струг. Он очень толст и неуклюж, рыжие усы вниз, бритое лицо заросло щетиной. Семь больших телег, запряженных собственными лошадьми, везут его добро. Он на последней. А на первой телеге — сельский батюшка, отец Илья, с перепуганным сухощеким личиком. Он согнулся, засунул руки в рукава и дремлет под гул унылой речи, под скрип колес.

— Ра-ра-ра-ра-ра... Фють!

— Не отставай, Мишка, не отставай!

— Я не отстаю... А где тятя-то?

— Фють! Но, шелудивая!

Серый сосновый лес. Сквозь шапки хвой голубеет небо. Был ликующий зимний день, но многотысячная бегущая толпа, вся, как в ночи, в проклятиях и вздохах, и поток солнечных лучей не мог пробить гущу унылых дум.

По обе стороны лесной дороги шагали с узлами, с торбами согбенные люди. Мелькали красные, белые, черные платки на головах женщин и подростков. Мычали коровы, блеяли овцы, где-то протестующе визжала свинья.

— Нно! Чего поперек дороги-то остановился? Эй, ты!

— Двинь его кнутом!

— Тпру! Сворачивай, дьявол!

— Ксы! Дунька, гони, гони корову-то в лесок!.. Чего ты, кобыла, чешешься!

На пути эстонский хутор. Возле белого чистого домика стоит семья эстонцев. «Сам» в белой рубахе и ватной жилетке. Бритое лицо его зло, серые узкие глаза сверкают. Он кричит что-то по-эстонски на разрозненно шагающих солдат и, выхватив трубку, бросает с презрением:

— Ага, белы черть!.. Наших баронов защищать пришли? Куррат!

— Мороз померзнуть надо их, — подхватывает другой эстонец. — Нейд тарвис... Яра хавитада! — Он не торопясь подходит тропинкой к своему соседу, злорадно хохочет, подмигивая на солдат: — Повоевал ладно, черт, куррат... Тяйконг... А жрать в Эстис пришел...

— Эй, руска! Ваши газеты печатались — Троцкий у вас в плену. А ну, покажи, где Троцкий?.. Ха-ха-ха-ха...

— Они Питер взяли!.. Вот наши бароны подмогу им дадут, на Москву полезут.

Обезоруженные солдаты отвертываются, глядят в сторону, вздыхают, пробуют громко между собою говорить. Вот один надрывно крикнул:

— Молчи, чухонская рожа!

Солнце склонилось за лес. Стало темнеть.

Беглая, неприкаянная Русь огромным ужом утомленно вползла в Эстонию.

В густом лесу, вблизи дороги, глазасто горят сотни костров. Людской поток завяз в глубокой тьме, остановился. На много верст сплошной цыганский табор.

Карп Иваныч деловито готовит снедь.

— Помогай! Чего ж ты, Сережка, развалился, как дома на диване, — говорит он своему сыну, румяному юноше с задумчивыми глазами. — Сергей, слышишь?

— Сейчас! — Сергей нехотя встает с раскинутой у костра шубы и сонно смотрит на отца.

— Бери ведро. Намни снегу поплотней, чай кипятить из снегу станем. У них, у дьяволов, и воды-то не выпросишь. Подошел к колодцу — гонят. Тьфу!.. Давай, говорят, две марки. Да не успел еще я, дьяволы, марок-то ваших наменять, чтоб вам сдохнуть... Тьфу!.. И лошадей-то снегом кормить придется замест воды...

— Да, да, — сказал сухощекий, с рыжей бородкой хохолком отец Илья и кивнул в сторону пошагавшего с ведром Сергея. — Трудно сынку вашему будет: в холе рос.

— Матка избаловала его. Известно — дуры бабы. Он, бывало, из дому не выйдет, чтоб губы не намазать фиксатуаром да брови не подвести. Франт. А дела боится как огня. Белоручка. Несмотря что в деревне рос.

— Трудно, трудно будет, — вздохнул батюшка. — А нет ли у вас лишней сковородочки? Яишенку с хлебцем хочу изобрести.

Где-то раздался выстрел. У соседнего костра неуклюжая женская фигура, замотанная шалью, доит корову. Это Надежда Осиповна Проскурякова, бывшая помещица, старуха. У нее молодой, кровь с молоком, муж, бывший крестьянский парень. Он сильной рукой держит корову за веревочный ошейник и насвистывает веселую.

— Митя! Прошу тебя... Ой, держи!.. Она опять меня боднет...

— Держу, держу... Доите вашу корову с наслаждением...

Голова старухи трясется, и молоко циркает аппетитно в деревянный жбан.

Встревоженный, вырос у костра Николай Ребров.

— Карп Иваныч! Как же быть?.. — проговорил он подавленно. — Озноб, голова болит у меня... Просился к эстонцам. В двух мызах был, не пускают. В баню просился ночевать — гонят. Даже один выстрелил, в воздух, правда... Слыхали?

— Эх, плохо, Коля! — сказал Карп Иваныч. — Ложись у костра. Ужо я сена подброшу. Эх, парень! И одежишка-то у тебя один грех... Сергей, Сережка! — закричал он в тьму. — Скоро?!

— Вы что же, гимназист? — спросил священник и, кокнув об сковородку яйцо, пустил его в шипящее масло.

— Реалист. Только что окончил...

— А папашенька ваш чьи же, какой то есть профессии?

— Железнодорожник.

— Та-ак-с. А что же вас заставило бежать одних? — Священник кокнул четвертое яйцо и потыкал ножиком яичницу.

Во тьме, на дороге, беспрерывный гам, крик, тяжелый грохот.

— Эй, тут какая часть?

— Никакая! Тут вольные.

— Не видали ль полковника Заречного?

— Антилерия, что ли? Езжайте дальше. Они в фольварк ушли.

— Тпру! Стой, сто-о-й!..

Грохот смолк. К костру подбежали два солдата.

— Братцы! Дайте-ка перекусить. Не жрамши.

— Артиллеристы? — спросил отец Илья.

— Восьмая батарея. Не знай, куда сдавать. Никаких порядков не разберешь. Все начальство разбежалось. Сена нету... Лошади падают... Чухны ничего не дают.

Измученные солдаты жадно чавкали поданные Карпом Иванычем ломти хлеба.

— Никак вы из духовных? — обратился бородатый солдат к батюшке.

— Есть грех... Священнослужитель из села Антропова.

— Вот дьяволы какие, эти самые краснозадые, — злобно проговорил второй солдат. — Даже духовенные от них должны бежать.

— Им, анафемам, только в руки попадись... С живых шкуру спустят, — сказал Карп Иваныч, хлебая щи.

— Ну, да и мы тоже ихнего брата! — сказал бородатый, вздохнув. — Много их на деревьях качается... Папаша, дозволь щец хлебнуть. Пятые сутки горяченького не видал... Ах, сволочи, как они нам нашпарили.

— Увы, — воскликнул батюшка. — Даже неисповедимо все вышло... Почитай, в Питере вы были, на Невском. Увы!..

— Да и были бы... Измена вышла. Англия, вишь ты, задом завертела, подмоги не дала. Надо бы ей с флотом быть, тогда наш левый фланг не обошли бы. Эстонцы тоже помощи не оказали. Ну и господа офицеры наши вроде как свирепствовали с мужиком. Мужик, знамо, этого не любит... Вот и...

— Да, да, — вздохнул батюшка. — Свершается реченное... Брат брата бьет... Нате, христолюбивые воины, картошечки вам... А в Питере мы будем скоро... Вера горами движет... Факт!

Из тьмы резко и пронзительно:

— Васильев! Васильев!.. Самохва-алов!! Айда скорей! Господин поручик прибыли...

— А кляп с ним, с поручиком-то, — сказал бородач и, перебрасывая с ладони на ладонь горячую картошку, закричал: — Сей минут! Идем!!

Сыпал мелкий снег. Вершины сосен сонно брюзжали под легким ветром. У потухавших костров стихли звуки и движения.

Ночь. Николай Ребров спит, свернувшись на сене, у костра. Сон его прерывист, сбивчив. «Встань, иди... А то умрешь...» — «Сейчас», — говорит он и быстро вскакивает. Глаза его мутные, ничего не понимающие. Но вот мысль и решимость озаряют их. Он тоскливо и медлительно оглядывается кругом, как бы прощаясь с теми, с кем коротал далекий путь. Оглобли тесного табора приподняты. Лошади понуро опустили головы, дремлют. Карп Иваныч храпит под двумя шубами в обнимку с сыном. Его лицо пышет теплом: снег тает и бежит ручейками в открытый рот. На возу чернеет скорченная фигура священника. Помещица

спит возле коровы. Ее муж подбрасывает в костер топливо и насвистывает веселую. Где-то тонко и лениво тявкает собачонка.

Николай Ребров перекрестился и, пошатываясь, зашагал к дороге. Тьма становилась зыбкой, расплывчатой. Вверху, упав на снеговые тучи, дрожал рассвет. Николай Ребров двигался по дороге, как лунатик, безжизненно и слепо. Брошенные возы, таратайки, походные кухни казались ему то ползущими копнами сена, то невиданными чудовищами. Вот слон больно ударил его бивнем в лоб. Юноша отпрянул, открыл глаза: приподнятая, вставшая на пути оглобля.

«Спеши... А то умрешь...» — Кто-то захохотал среди шагающих рядом с ним сосен, и близко взлаяла собачка. — «Спеши, спеши, спеши», — твердило сердце, но голову обносил угар, и нельзя понять, туда ли он идет. Ученическая шинелишка расстегнута, картуз с медным значком наползает на глаза, сзади треплется холщовый мешок с вещами, давит плечи, и юноше кажется, что в мешке ненужный груз: песок и камни. Он хочет его сбросить, он уже занес руку, но мешок вдруг стал легким, и ноги зашагали увереннеи.

— Куда, землячок?

Он оглянулся. Чуть позади его шагает, тяжело припадая на ноги, ободранный парень.

— А ты куда?

— Прямо. Я из Красной Армии удрал. — Красноармеец легонько снял с Николая Реброва торбу и перекинул через свое плечо. — Видать, устал, землячок. Ничо... Я подсоблю...

— Захворал я, — сказал юноша. — В тепло хочется, в хату. Верстах в двадцати отсюда поместье Мусиной-Пушкиной... Там, говорят, пункт. Медицинская помощь.

— Лазарет, что ли? Я тоже чуть жив... Ноги поморозил... Как поем, так сблюю. Да и жрать-то нечего... Ослаб...

— Скоро утро, — вяло и задумчиво сказал Николай Ребров. Во рту сухо, в виски стучало долотом, каждый шаг болезненно отзывался во всем теле.

— Я больше не могу, — сказал он. — Вот костер горит. Пойду попрошусь, прилягу.

— Жаль, землячок... А то пойдем... Вместях-то веселей быдто... Я поплетусь, а то ноженьки зайдутся, беда. Вишь, обутки-то какие... На, торбу-то... Прощай... А ты откудова?

— Из Луги.

— А я скопской... Прощай, товарищ... — И вдогонку крикнул, как заплакал: — Матерь у меня померла в деревне!.. С голодухи, знать. Земляк сказывал, билизованный... Хрестьянин... Померла, брат, померла. — Красноармеец громко сморкнулся и покултыхал вперед.

ГЛАВА II

Золотое и красное. — Бездонный колодец. — Мария

Какое-то все золотое и красное. Поют птицы, перекликаются ангельские голоса. И не хочется уходить, отрываться от этих грез. А надо.

— Спит еще, — сказал ангел.

— Пусть спит... Он, кажется, очень нездоров, — сказал другой ангел.

— Какой он хорошенький.

— Я бы его поцеловала. Очень красивые брови... И все.

— А глаза голубые.

— Откуда знаешь?.. Он защурившись. Спит.

— Мне думается, голубые... При светлых волосах это всегда. Кажется, чайник ушел. Где чай?

— Давай лучше заварим кофе. А почему ж у него брови черные? Значит, глаза карие... Достань-ка масла.

— А где оно?

Ангелы говорили очень тихо. Но где-то вблизи загромыхала русская матерная брань, рай провалился вдруг, и юноша поднял каменные веки. Два ангела в синих, отороченных серой мерлушкой шубках улыбчиво глядели на него.

— Здравствуйте, с добрым утром! — приветливо

воскликнули они. — Хорошо ли спали? Бедный, вы больны?

— Я — Варя, — подошла черненькая, с маленькими алыми губами. — Позвольте познакомиться.

— Мы помещики из Гдовского уезда, — сказала белокурая, — Кукушкины. А папа ушел проверять скот.

— Мы же со всем имуществом... Ах, какой ужас эта революция!..

Ругань на дороге становилась ядреней и жарче. Поднимали кувыркнувшийся в канаву воз.

— Эй, кобылка!.. так-так-так... Иди пособляй!.. Так-так...

— Становь дугу! А на дугу вагу... Неужели не смыслишь, так-так-так.

— Ага! Пошла-пошла-пошла!... Понукай хорошень кнутом!

— Ну, сек вашу век!.. Ну!!

Юноше хотелось провалиться.

— Благодарю вас за приют!.. — крикнул он. — Мне очень стыдно... Я ночью так ослаб... Извините...

— Ах, что вы! Пожалуйста... А мы пробираемся на Юрьев. Там папочка ликвидирует скот, и мы чем-нибудь займемся, — лепетала черненькая Варя, помешивая закипавшее в котелке молоко. — Это в том случае, конечно, если генерал Юденич не очистит Россию от красных банд.

— Ах, пожалуйста! — воскликнула белокурая Нина, и ее строгие брови сдвинулись к переносице. — Какую с папочкой вы городите чушь... Извините меня...

— Брось, сестра, никогда мы с тобой не сойдемся. Там бы и оставалась со своими красными. А вот и папочка...

К костру подошел с быстрыми черными глазами чернобородый человек.

— Ага! Вы уже проснулись? А ведь только еще десять часов, — заговорил он сиплым, простуженным голосом. — Ну, батенька, и хороши вы были вчера. Эх, жалко термометр далеко. Дайте-ка голову... Ого! Жарок изрядный!

На большом ковре пили кофе и горячее молоко. Лопнул стакан. Кукушкин злобно бросил его в снег.

Парень-работник в рваном овчинном пиджаке возился у костра: переставляя рогульки с подвешенными на них котелками, рубил баранью ногу, подбрасывал дрова. Белый пойнтер, Цейлон, спал у самого костра на сене и дрожал. Помещик ел быстро, обжигался, много говорил, но юношу мучила болезнь, и мысль определенно и настойчиво влекла его на отдых.

Сестры шептались:

— Я говорила — голубые...

— Ничего подобного — серые.

Небо было чистое, с легким морозом. Ожившая дорога двигалась сквозь сосны, — телеги, овцы, таратайки, коровы, всадники, солдаты, мужики — дорога взмыкивала, скрипела, скорготала, гайкала и, дуга в дугу, как хребет допотопного дракона, с присвистом и гиком, шершаво смеясь, уползала вглубь.

— Я должен идти, — сказал юноша, — вы не знаете, сколько верст до Мусиной-Пушкиной?

— Ах, пожалуйста, мы вас не пустим! — вскричали сестры ангельскими голосами.

И вновь, на короткое мгновение, закраснело, зазолотилось все.

— Я болен... Мне надо доктора... Там есть.

— Тогда вот что, — проговорил отец и поднялся. — Иван! Заседлай двух лошадей... Понял?

— Трех, трех!— вскричала Варя.

Николай Ребров в ватной старенькой венгерке, подаренной ему помещиком, куда-то плывет в солнечном пространстве.

— Вы мне обязательно должны писать... Прямо: Юрьев, до востребования, Варваре Михайловне Кукушкиной. Ах, милый Коля! Как жаль, что вы больны... Держитесь крепче!

Варя плывет рядом с ним, плывет и говорит, и еще плывет Иван, плывет дорога, люди, лошади, коровы, лес, плывет и фыркает Цейлон.

— У меня двоюродный брат. Я его должен разыскать. Он военный чиновник. При полевом казначействе.

— А вы любите приключения? Я люблю! А то жизнь такая серая, скучная... Особенно в деревне. Мамы у нас нет. Я всегда мечтала: встречу его, встречу, встречу!..

— Кого?

— Вас! Ха-ха-ха! Вам смешно? Милый, милый Коля. И как быстро в несчастье сходятся люди. Вы мне сразу стали каким-то родным, близким. Мне ужасно хочется ухаживать за вами, быть сестрой милосердия. Но папочка у нас очень строгий... А мама умерла.

Иван плывет, ударяет по воде веслами, лошадь мотает головой, весла говорят:

— Вам, барышня, пора обратно.

— Ничего подобного. Цейлон, Цейлон, иси!

— Барин ругаться будут.

— Не твое дело. Отстань!

Ах, к чему эти споры, когда все плывет, когда голова валится на грудь и хочется тишины и одиночества.

— Цейлон!..

Красный лес гуще, гуще. Лес преградил дорогу.

— Тпрррру!

Туман и тишина.

Николай Ребров застонал. Зачем? Просто так, взял и застонал. Бездонный колодец. Мерцают огоньки. Под ним — солома и что-то твердое. Он полого скользит на дно, медленно, но верно. И все стонут, справа, слева, впереди, стонут, охают, бормочут, и все вместе с ним скользят на дно. Там мрак и холод.

Идет вся в белом, белая женщина идет, идет со дна, из холода и тьмы, но в глазах ее огонь и ласка. Недаром к ней тянутся снизу жадные, трепещущие, скорченные руки, приподнимаются от грязной соломы взлохмаченные головы:

— Сестрица... Родненькая...

— Где я? — спросил сам себя Николай Ребров.

Длинный низкий коридор, солома, стоны, кучи тел, электрические лампочки над головой, сестра.

И в случайной волне воспоминаний вяло проплывают разрозненные клочья картин и звуков: костры, как кони, и гривастые кони, как костры, снег, выстрел, зеленая зыбь Пейпус-озера и — «милый, милый Коля»... Чей это голос, чьи глаза? Сон или явь все это?

Женщина, как хмельной туман, как черемуха в цвету, склонилась над ним, и белая рука коснулась его головы.

— Вы очень хворайт. Можете подниматься? Можете вставайть? Идить за мной!

Сон продолжался, белый туман влек его вперед, шуршала солома под ногами, шуршал и рвался недовольный ропот многих голосов:

— А-а, ишь ты... а-а-а... Нас бросила-а-а...

— Скажите, где я?.. Куда меня ведете? Почему они...

— Идите за мной... Дайте — помогу вам. Руку, руку!

Щурил глаза. И какой-то синий свет лил сверху, волнами ходил свежий воздух. Дорога, сосны, снег, стена, ступени вверх, вдруг — тепло, запахло хлебом, белая постель и милые, милые, чьи-то бесконечно добрые глаза. Николай Ребров поймал белую руку и поцеловал. Кто-то ударил медной ложкой в медный таз: бам! И этот звук как кусок меди, как раскаленная большая пчела вьется возле юноши, жужжит, врывается в ухо, вылетает, звенит-стрекочет пред самыми его глазами. Хочется прогнать, уничтожить или самому умереть. Он взглядывает на таз; таз на месте, а звуки ходят-ходят. Кто смеет будить его? Кто хочет прервать его светлый сон?

— Уйдите, не трогайте... Ма-а-ма!! — прокричали в пустоту чужие его уста, но меч опустился, сон и явь отлетели прочь.

Полдень, солнечные квадраты окон опрокинулись на крашеный чистый пол, тени от легких занавесок, фикусов и цветущих фуксий легли нежным узором. Белые стены небольшой комнаты, изразцовая швед-

ская печь, крепкая простая мебель, темное распятие в углу на полке.

За огромным столом бритый длинноволосый старик в коротких синих панталонах, шерстяных чулках и грубых башмаках. Он пьет кофе. От белой очищенной картошки — пар. На тарелке гора сливочного масла.

К Николаю Реброву подходит с кофе сестра Мария, дочь старика.

— Подкрепляйте себя, — говорит она ласково. На ее косынке маленький красный крест.

— Я не знаю, как благодарить вас, сестра, — вы приютили меня в своем доме. А там, в коридоре, я, наверно, подох бы на соломе, как пес. Благодарю вас, сестра Мария! Ведь я провалялся здесь сколько? Десять дней? И вас благодарю очень, Ян. Пожалуй, к вечеру мне можно двинуться дальше.

— Нет, — сказала сестра Мария, и приветливое лицо ее стало озабоченным. — Зачем торопить? Три дня должны отдыхайть. А лучше — неделя. Куда спешить? Пейте кофе, сливок, сливок больше... Кушайте масло. Сейчас суп подаваль...

— Я не знал, что на чужой стороне встречу таких добрых людей.

— Если плохо будет житье, приходи опять, — заговорил старик тонким голосом. — Работник будешь, моонамис... Лес поедем, троф делать... как это...

Сестра Мария грустно смотрела юноше в лицо, о чем-то думала.

— Она у меня... как это... святая, — сказал старик, — кахетсеб... всех жалеет. А нас ни один собак не жалеет. Сына терял, в красных был, под пулю попадался, белые вешали на сук. Сын мой. А ей брат... Густав... Один только и был у нас, как солнце. Вот нету больше.

Юноша заметил: старик сбросил пальцем с глаз слезу. Сестра Мария часто замигала.

— Он был очень похож на вас... Очень, — сказала она тихо. — Оставайтесь с нами... Время самое несчастное... Зачем уходить? Куда? — И ее рука коснулась задрожавшей руки юноши.

— Нет, не могу, — и Николай Ребров вздохнул. — Буду искать брата... Что скажет брат...

У сестры Марии округлились и сузились глаза, она быстро отдернула руку, встала, вышла вон. Юноша удивленно посмотрел ей вслед.

— Как узнали про сына? — спросил он, помедлив.

— Толковал наш, эст. Был... как это... контуженный вместе с мой Густав. Бежал. С белыми пробрался сюда. Он — энамланэ... ну, это... большевик. Зачем, спрашиваю, пришел? Он отвечает: мой святой долг разъяснить солдатам... как это... наш... наш программ. Он сказал: нас, большевиков, много пришло сюда с белыми.

Вскоре — день был воскресный — собрался народ. Чинно уселись вдоль стен и посредине. Женщины в белейших платках.

Ян поставил на стол маленький, накрытый вязаной салфеткой аналой, положил на него священную книгу и, надев большие круглые очки, стал читать на непонятном языке. Он читал не торопясь, выразительно. Останавливался, чтоб высморкаться, чтоб утереть платком глаза. С зажженных восковых свечей капал воск, и капали слезы старика на книгу. Молящиеся вздыхали, охали, стонали, выражение лиц их постепенно уходило от тела в дух. Старик прервал чтение и начал говорить от себя, страстно и порывисто. Он благоговейно складывал ладони, сокрушенно тряс головой, кивая на распятие. Голос его сдавал, плескался, тонул в слезах:

— О боже, боже, помоги нам, погибаем!

Среди молящихся послышались всхлипыванья, сначала сдержанно, скрыто, потом громче, громче. И вот заголосил, навзрыд заплакал весь народ и шумно опустился на колени. Старик же поднялся во весь рост, он тоже рыдал и восклицал как одержимый, бия кулаками в грудь. Сестра Мария, стоя на коленях, стиснула ладонями голову, исступленно кричала: «Пюха нейтис, Мария! Езус Христус! Спаси его, спаси его! Удержи его здесь!»

Николай Ребров созерцал все это вначале с рав-

нодушным любопытством, но вот волнами закачалась под ним кровать, рыдания молящихся подхватили его душу, и все осталось позади: он на коленях среди простертых на полу людей, и нет ничего, кроме рыданий, кроме возгласов, теперь понятных для него и ясных. И он — уже не он, он во всех, и все в нем, и это чувство единения, этот порыв духа вглубь и ввысь пресытил вмиг до краев все существо его неизъяснимой радостью, и стало больно, и стало тяжко, жутко.

— Аамен, — торжественно произнес старик.

Все смолкло.

Николай Ребров вздрогнул, очнулся. Лицо его мокро от слез, губы дрожали. Не покидая кровати и не двигаясь, он лежал на спине, очарование сползало с него, как сладостный угар: все спайки с людьми мгновенно рушились. Он опять один среди чужих и видел десятки устремленных на себя враждебных глаз. Психоз прошел. Он — вновь человек, лежащий на кровати.

— Аамен, — еще раз сказал старик.

ГЛАВА III

Английский сапог и русская портянка

Спустя трое суток Николай Ребров ушел.

Был ядреный солнечный день, поля и перелески отливали свежими красками, воздух звенел морозной белизной, и настроение юноши сразу стало бодрым. После тяжелой болезни свежий воздух пьянил его, как хорошее вино. Людская волна на шоссе скатилась, лишь кой-где попадались отставшие от армии солдаты, бесколесная повозка, труп лошади в канаве, как в могиле, потерявший силы пешеход.

Шоссе подвело юношу к фольварку остзейского барона. Белый дом обнесен невысокой кирпичной оградой. У открытых ворот часовой в небрежной позе. Он грызет семечки, щека его подвязана грязнейшей тряпкой и кой-как, впритык к стене — винтовка со штыком.

— Эй, ты! Куда?

Но Николай Ребров, не останавливаясь, вошел внутрь двора. Справа, у кухни, солдат в рубахе и окровавленном фартуке обдирал баранью тушу. Рыжая собака, нетерпеливо повизгивая, переступала с ноги на ногу и пускала слюни. Из раскрытого низенького окна кухни валил хлебный пар, и в пару, как в облаках, торчала рыжекудрая, краснощекая голова херувима. Херувим курил трубку и смачно сплевывал через окно на снег. Пересекая двор, быстро шли с корзинками две молодые толстозадые эстонки. Изо всех щелей, как к зайчихам зайцы, молодцевато перепрыгивая через кучи снега, скакала к ним неунывающая солдатня.

— А дозвольте, дамочки, узнать, какие у вас супризы продаются?

— Ах, какой сдобный дамский товарец здесь: все двадцать четыре удовольствия!

Но поднявшаяся было любовная потеха с кокетливым женским визгом и увертками враз оборвалась.

— Вестовой! Где вестовой?!

— Есть! В момент, ваше благородие... — и запыхавшийся безусый солдат, быстро оправив вылезшую из брюк в возне рубаху, подбежал к крыльцу и стал во фронт.

— Немедленно заседлать коня. Понял? И карьером в штаб тыловой части... Вот этот пакет... — сухощавый лысый офицер обернулся и крикнул в дверь: — Сергей Николаевич, скоро?

— Готово, вот! — И выбежавший на крыльцо молодой человек с белокурой бородкой подал офицеру запечатанный сургучными печатями большой пакет.

— На! — сказал офицер подскочившему солдату. — В собственные руки генерала Верховского. Обратную расписку мне. Понял? Повтори...

Стоявший посреди двора Николай Ребров вдруг заулыбался и, сорвав с головы картуз, радостно замахал им в воздухе. Сергей Николаевич быстро сбежал с крыльца и бросился юноше на шею.

— Колька, брат! Какими судьбами?! Вот встреча...

Николай Ребров никогда не пил такого вкусного чаю с ромом, как в этот вечер у своего двоюродного брата. Маленькая комнатка в антресолях барского богатого дома была занята двумя военными чиновниками: Сергеем Николаевичем и Павлом Федосеичем, человеком пьющим, неряшливым, с толстым животом и бабьим крикливым голосом.

В комнате жарко. Денщик открыл бутылку эстонского картофельного спирта. Сергей Николаевич снял щегольской английский френч.

— Ничего, Колька! Молодец, что удрал, — говорил он приподнято и дымил отвратительной капустной сигареткой. — По крайней мере свет поглядишь.

— Пей, вьюнош! — беспечно прокричал Павел Федосеич и налил разбавленного спирта. — Мы, брат, пьем, не то что у вас в Совдепии. Мы, пока что, богаты. Эй, Сидоров! Что ж ты, черт, с селедкой-то корячишься?!

— Сей минут, ваше благородие.

— Не унывай, Колька, — говорил брат. — Есть положительные данные, что наша армия вновь будет формироваться. Возможно, что в Париже. Слыхал? И мы туда. Потом перебросимся на Дальний Восток и уж грянем по-настоящему.

— Неужели в Париж, Сережа?! — глаза юноши засверкали огнем от вдруг охватившей его мечты и спирта.

— В Париж, брат, в Париж! В вечный город. Во второй Рим, к галлам, к очагу великой бессмертной культуры и цивилизации. Ну, Колька, пей! Павлуша, за процветание прекрасной Франции!

— Черта с два, — протянул Павел Федосеич. Его рыжие пушистые усы и толстые обрюзгшие щеки затряслись от язвительного смеха. — Фигу увидим, а не Париж. Нет, дудки! Крышечка нашей Северо-Западной армии, со святыми упокой. Эх! — Он горестно вздохнул, выплеснул из стакана чай и выпил спирту. Выпуклые его глаза были тревожны и озлобленны.

— Значит, у тебя нет веры, нет?

— Во что? — спросил толстяк.

— В мощь нашего истинно народного духа? В силу русских штыков, русского офицерства?

— Увы, увы, и еще раз увы...

— На кой же черт ты лез сюда?

— Дурак был. Сукин сын был. Сидеть бы мне, толстобрюхому болвану, в своем Пскове, голодать бы, как и все голодают... По крайней мере брюхо бы убавилось и одышка прошла. А офицерье наше наполовину сволочь, помещичьи сынки...

— Тсс... Павлуша, не визжи... Неловко...

— А-а-а... ушей боишься? А я вот не боюсь. Эй, Сидоров! А хочешь ли ты знать правду?

— Сидоров! — сверкнув на товарища глазами, сказал Сергей Николаевич. — Вот что, Сидоров, иди в кухню и принеси ты нам бараиинки с картошечкой.

И когда денщик ушел, он в раздражении заговорил:

— Слушай, Павел... Я тебя прошу вести себя прилично. Нельзя же деморализовать людей.

Павел Федосеич выслушал замечание с фальшивым подобострастием, но вдруг весь взорвался визгливым смехом.

— Деморализация? Ха-ха-ха... Мораль? А где у нас-то с тобой мораль, да и у всей нашей разбитой армии-то с Юденичем вместе?! Чьи мы френчи да сапоги носим? Английские. Чье жрем-пьем? Английское да французское. Чье вооружение у нас? Тоже иностранцев.

— Постой, погоди, Павлуша...

— Нечего мне стоять... Я и сидя... Эх, Сережа, Сережа... Ведь ты пойми... Нет, ты пойми своим высоким умом. На подачке мы все, на чужеземной подачке. Бросили нам вкусный кусок: на, жри, чавкай! Но ведь даром никто не даст, Сережа... И вот нам, русским, приказ: бей русских!..

— Но, позволь, позволь...

— Так-так-так... Я знаю, что ты хочешь возражать: святая идея. Ха-ха-ха... Врет твой ум!.. Ты сердце свое спроси, ежели оно у тебя есть, — захлюпал, засвистал больным зубом толстяк и схватился за щеку. — Ага! Зачем им нужно? Антанте-то? Эх ты,

теленок... со своей умной головой... А вот зачем. Им необходимо нашу Русь ослабить. Уж если землетрясение, так толчок за толчком, без передыху, чтоб доконать, чтоб пух из России полетел. Значит, ты этого желаешь? Да? Этого?!

— Нет. Но дело в том, что...

— Врешь! Ей-богу, врешь. Сразу вижу, что будешь от башки пороть. Тьфу!..

Сергей Николаевич в одной рубахе шагал из угла в угол, нервно пощипывая свою белокурую бородку. Щеки его горели. Он с опаской поглядывал на дверь, откуда должен был появиться Сидоров, и на своего брата, растерянно хлопавшего глазами. Павел Федосеич, выкатив живот и запрокинув голову на спинку кресла, сипло, с присвистом дышал.

— И ты, зеленый вьюнош, Володя... как тебя... Петя, что ли...

— Я — Николай Ребров.

— Наплевать... Знаю, что Ребров. Ты за братом не ходи... На Парижи плюй, на Дальние Востоки чхай. Свое сердце слушай. Ха, мораль... Обкакались мы с моралью-то с возвышенной... Тьфу!

Легли спать очень поздно. Братья на одной кровати. Электрическая люстра горела под красным колпаком. Теплый спокойный сумрак нагонял на юношу неотвязную дрему. И сквозь дрему, как сквозь вязкую глину, вплывали в уши вихрастые, зыбкие слова:

— Я тебе дам письмо... Понял?.. Рекомендацию... Может быть, примут. Даже наверное... А здесь — битком... Ах ты, мальчонка славный... Опьянел?..

Павел Федосеич долго пыхтел в кресле, разуваясь. С великим кряхтеньем закорючив ногу, он снял сапог, посмотрел на него:

— Английский... Сволочь! — и швырнул в угол. — А это вот русская... — Он понюхал портянку, высморкался в нее и тоже бросил в угол. Потом гнусаво, по-старушечьи затянул:

Ах ты, Русь моя, Русь державная,
Моя родина православная...

Потом заплакал, перхая и давясь:

— Бывшая, бывшая родина... Бывшая!.. — голова его склонилась на грудь, он привалился виском к спинке кресла, разинул беззубый рот и захрапел.

На цыпочках вошел денщик Сидоров. С простодушной улыбкой он посмотрел на спящего Павла Федосеича, бережно разул его вторую ногу и унес сапоги чистить, захватив к себе остаток спирта и закуски.

ГЛАВА IV

Старая орфография. — Там жизнь, там!

Николай Ребров прожил у двоюродного брата два дня. На третий — в бодром и веселом настроении зашагал дальше, искать свою судьбу. В его кармане лежало рекомендательное письмо брата к поручику Баранову, а в сердце запечатлелись прощальные напутствия Сергея Николаевича и родственные, почти отеческие объятия подвыпившего Павла Федосеича. Еще на сердце и в мыслях была крылатая мечта о предстоящей поездке в Париж и путешествии кругом света. Юноша весь погрузился в эту мечту, он так в нее поверил, что ядовитый сарказм Павла Федосеича ничуть не мог его поколебать.

И в мечтах, не замечая пути, он еще засветло пришел в соседний фольварк, где квартировал штаб дивизиона.

В канцелярии, опрятной и светлой, сидели два писаря. Один набивал папиросы, другой шлепал на пакеты печати.

— Тебе кого?

— Поручика Баранова.

— Адъютанта? Они у генерала. Сейчас придут.

Зазвякали серебряные шпоры, и через открытую из генеральского кабинета дверь вышел сухой и высокий, подтянутый офицер. Нахмурив брови, он быстро пробежал письмо.

— Ага... От Сергея Николаевича. Но дело

в том, что мы штаты сокращаем... А впрочем... Вы хорошо грамотный?.. Попробуйте что-нибудь написать...

Николай Ребров красиво, каллиграфически набросал несколько фраз. Раздался звонок генерала.

— Довольно... Прекрасно... Дайте сюда, — сказал адъютант и, нежно позвякивая шпорами по бархатной дорожке, скрылся.

Через минуту выплыл в расстегнутом сюртуке тучный генерал. Писаря вскочили и вытянулись. Короткошеяя, круглая, усатая голова генерала завертелась в жирном подбородке, он потряс бумагой под самым носом юноши и — сиплым басом:

— Это что? Новая орфография? Без еров, без ятей? Здесь, братец, у нас не Совдепия. Не надо, к черту! — и, раздраженно сопя, ушел обратно. За ним долговязо — адъютант. Писаря хихикнули. Один тихо сказал:

— Пропало твое дело.

— Ни черта, — сказал другой, — он у нас крут, да отходчив...

Вошедший адъютант объявил:

— Ты принят... Не взыщи, у нас на «ты»... Субординация! — И к писарю: — Слушай, как тебя... Масленников, выпиши ему ордер на экипировку. Жить он будет с вами. А ты, Ребров, подай докладную записку о зачислении. Ты, видать, грамотный. Из какого класса? Окончил? Значит, почти студент. Отлично. Я генерала переубедил! Старайся быть дисциплинированным. Волосы под гребенку. Орфография — старая. Если произнесешь слово «товарищ», — генерал упечет под суд. Садись, пиши. Сколько тебе лет? Восемнадцать? Можно дать больше.

Их комната была просторной, светлой, но насквозь прокуренной и пропахшей какой-то редечной солдатской вонью. По стенам висели: в узеньких золоченых рамках старинные батальные гравюры английских мастеров, давно остановившиеся в дубовой оправе часы и, на вбитых гвоздях, амуниция

писарей. Грязь, окурки, кучи хлама. В особенности блистал неряшливостью угол прапорщика Ножова.

Сам прапорщик тоже представлял собою фигуру необычайную: черный, длинноволосый, с остренькой бородкой и впалой грудью, он похож на переряженного в военную форму священника. Лицо сухое, с черными, блестящими, как у фанатика, глазами. В боях он командовал отрядом мотоциклистов, но при беспорядочном, похожем на бегство, отступлении мотоциклетки застряли в проселочной русской грязи и достались красным. Теперь прапорщик Ножов не у дел, наведывается в канцелярию дивизиона и ждет назначения. С писарями — по-товарищески, образ его мыслей круто уклонился влево, но писаря — матерые царисты — оказались плохими ему товарищами, и за прапорщиком Ножовым, по приказу свыше, ведется слежка.

Николай Ребров этого не знал и сразу же с прапорщиком сошелся. В первое же воскресенье они пошли вдвоем гулять. Был морозный солнечный день. Помещичий облицованный диким камнем дом стоял в густом парке и напоминал средневековый замок.

— Ложномавританский стиль, — сказал Ножов. — А вон та крайняя башенка в стиле барокко, выкрутасы какие понаверчены...

— Да, — подтвердил юноша, ничего не понимая.

— Я вам покажу, интересные в этом доме штучки есть: в нижнем этаже очень большой зал, перекрытый крестовым сводом. Очень смелые линии, прямо красота. И недурна роспись. Подделка под Джотто или Дуччио, довольно безграмотная, впрочем. Под средневековье...

— А вы понимаете в этом толк?

— А как же! — воскликнул Ножов. — Я ж студент Института гражданских инженеров и немножко художник. Фу, черт, как щипнуло за ухо...— Он приподнял воротник офицерской английской шинели и стал снегом тереть уши. — Ну, а вы как, товарищ? Вы-то зачем приперлись сюда, в эту погибель, с позволенья сказать? Ведь здесь мертвечина, погост... Трупным духом пахнет.

— А вы? — вопросительно улыбнулся юноша.

— Я? Ну, я... так сказать... Я человек военный... Ну, просто испугался революции... Смалодушничал. А теперь... О-о!.. Теперь я не тот... Во мне, как в железном брусе, при испытании на разрыв, на скручивание, на сжатие — произошла, так сказать, некая деформация частиц. И эти, так сказать, частицы моего «я» толкнули меня влево. — Он шагал, как журавль, клюя носом, теребил черную курчавую бородку и похихикивал. — Я постараюсь себя, так сказать...

— А нас убежало человек двенадцать из училища. Просто так... — прервал его юноша. — Погода хорошая была. Снялись и улетели, как скворцы. У белых все-таки посытней. Сало было, белый хлеб. И дисциплина замечательная. А потом они говорили, что большевиков обязательно свергнут, не теперь, так вскорости. Ведь у нас многие убежали. В особенности купцы. Даже архиерей. А семейства свои оставили.

— Какое же у архиерея семейство? Любовница, что ли?

— Что вы, что вы! — сконфузился юноша. — Я про купцов.

Они прошли версты две. Местность открытая, слегка всхолмленная, кой-где чернели рощицы, скрывавшие мызы эстонцев. Свежий снег ослепительно белел под солнцем. Николай Ребров щурился, студент-прапорщик надел круглые синие очки.

— Да, товарищ, — сказал он. — Поистине мы с вами дурака сваляли. Там жизнь, там!

— Где?

— За Пейпус-озером. И только отсюда, с этого кладбища, я по-настоящему, так сказать, вижу Русь и знаю, чего она хочет...

— Ничего не хочет, — занозисто проговорил Николай Ребров. — Все хотят, чтобы красные сквозь землю провалились. Аксиома. И как можно скорей.

— Кто все-то?

— Как кто? Все! Спросите крестьян, спросите горожан...

— Да, да!.. Спросите кулаков, купцов, долгогривых, зажиточных чиновников, у которых свои домишки... Так?

Они вступили в небольшой хвойный перелесок. Налево — просека. Слышался крепкий стук топора. С лаем выскочила черненькая собачонка — хвост калачом.

— Нейва! — крикнул прапорщик Ножов. Собачонка насторожила уши, завиляла хвостом. — Подождите, товарищ. Вот присядьте на пень... Нате папироску, я сейчас.

Ножов рысью побежал по просеке, собачонка встретила его по-знакомому, и оба скрылись в лесу.

Вскоре топор замолк.

Николай Ребров, затягиваясь крепким табаком, старался привести в порядок свой разговор с Ножовым. Почему прапор думает, что только отсюда можно разглядеть, что хочет Русь? И что он в этом деле понимает? Или вот тоже Павел Федосеич... Ведь за дело взялись здесь люди поумнее их: генералы, адмиралы, может быть из царской фамилии кой-кто, наконец, такие известные головы, как Милюков, Родзянко, Гучков... А у них кто? Там, за Пейпус-озером? Кто они? Даже смешно сравнить.

По просеке прямо на юношу мчался заяц, и где-то с визгливым лаем невидимкой носилась собачонка. Саженях в трех от застывшего юноши заяц присел, поднялся на дыбки и стал водить взад-вперед длинными ушами. Николай Ребров гикнул и бросил шапку. Заяц козлом вверх и — как стрела — вдоль опушки леса. За ним собака. Николай тоже побежал следом с диким криком, хохотом и улюлюканьем, но измучился в сугробах и, запыхавшийся, вернулся на шоссе.

От просеки не торопясь, нога за ногу, шел прапорщик и сквозь темные очки читал газету.

— Свеженькая, — сказал он, тряхнув газетой; его сухощекое лицо расплылось в улыбке.

— Откуда? — удивился юноша.

— Из России... Только чур — секрет... Тайна. Поняли? А вот тут еще кой-что... Повкуснее. — И он похлопал себя по оттопырившемуся карману, откуда

торчал тугой сверток бумаги. — Эх, денег бы где достать...

— Зачем вам?

— Как зачем? А разве это даром? Думаете, это дешево стоит? Впрочем, у них отлично, так сказать, поставлено.

— Что?

— Фу, недогадливый какой. Да пропаганда! Ведь здесь, если хотите, очень много наших агентов, большевиков. Ну, и...

— Почему наших? Разве вы большевик?

— А как вы думаете? — Ножов поднял очки и прищурился на юношу. Потом спокойно: — Нет, я не большевик... Не пугайтесь. И... — он погрозил пальцем, — и — молчок! — Последнее слово он произнес тихо, но так внушительно, с такой скрытой угрозой в глазах и жесте, что Николай Ребров весь как-то сжался и растерянно сказал:

— Конечно, конечно... Будьте спокойны, товарищ Ножов. Ну, а вот объясните мне: почему наша армия потерпела такое фиаско?

— Какая наша армия? — оторвался Ножов от чтения на ходу. — Ах, армия Юденича? Да очень просто! Тут и немецкие интрижки против союзных держав: Германия себе добра желала, Франция с Англией себе. А об России они не думали. А потом этот самый Бермонт... Слыхали? Который именовал себя князем Аваловым. Слыхали про его поход на Ригу против большевиков? Нет? Когда-нибудь после... Долго рассказывать... Ну, еще что?.. Раздор в командном составе армии, шкурничество, паршиво налаженный транспорт, взорванный возле Ямбурга мост... Словом, одно к одному так оно и шло. А главное — реакционность наших командиров. Как же! Их лозунг — «Великая, неделимая». Самостоятельность Эстонии к черту на рога. После взятия Питера мы, мол, двинемся на Ревель. Вот Эстония нам и показала фигу... Вы что улыбаетесь?

— Да думаю, что все это к лучшему, — несмело сказал Ребров.

— Наш разгром-то? Конечно, к лучшему!

ГЛАВА V

Пустота и одиночество. — Причина забастовки превосходительной ноги

Время тянулось серое, однообразное. Наступил декабрь. По канцелярии необычайно много дела. Николай Ребров был принят в штат по ходатайству поручика Баранова, он получил нашивку за толковое исполнение бумаг. Писаря злились, за глаза называли его «барчонком» и дулись на начальство, что выделяет своих, белую кость, ученых, а на простых людей им — тьфу.

Масленников как-то вечером, когда в канцелярии никого не было, встал, одернул рубаху, кашлянул и дрогнувшим голосом сказал адъютанту:

— Ваше благородие... А ваш нашивочник-то новый с Ножовым путается. Все вдвоем да вдвоем. Куда-то ходят...

Мускулы крепкого лица поручика Баранова нервно передернулись.

— Не твое дело! — крикнул он. — Тебя я спрашивал? Отвечать только на вопросы! Я тебя заставлю дисциплину вспомнить!

Масленников по-идиотски разинул рот и сел.

За последнее время поручик Баранов раздражителен и желчен. Виски его заметно начали седеть, крепкий упрямый подбородок заострился. Из центра, правда в секретных бумагах, приходили неутешительные вести: Северо-Западную армию вряд ли будут вновь формировать, и всему личному составу грозит остаться не у дел. Об этом знал и Николай Ребров: кой-какие случайно подхваченные обрывки фраз между генералом и поручиком, кой-какие прошедшие через его руки бумаги, лаконичные и мрачные записки от Сергея Николаевича и, главное, широкая осведомленность прапорщика Ножова.

— Ихнее дело, товарищ, швах...

— Чье? — спросил Николай.

— Эх вы, малютка, — чье! Юденича! Его чуть не арестовали.

— Что вы!.. Кто?

— Эстонское правительство, по приказу союзников, наверно. А вот, не угодно ли... Я выудил копию одного документика, черт возьми... — Взлохмаченный Ножов стал выхватывать из карманов, как из книжных шкафов, вороха газет и бумаг. — Вот! — потряс он трепаной тетрадкой. — Послушайте выдержку... Письмо генерала Гофа. Знаете, кто Гоф? Начальник союзных миссий в Финляндии и Прибалтийских штатах. Слушайте! Это он Юденичу писал во время наступления, или, вернее, во время наших неудач: «*Многие русские командиры до такой степени тупоумны* (ха-ха! чувствуете стиль, презрение?), *что уже открыто говорят о необходимости обратиться за помощью к немцам против воли союзных держав. Скажите этим дуракам* (х-х-х-х... кха-кха! так и написано, ей-богу!), *скажите этим дуракам, чтобы они прочли мирный договор: все, что Германия имеет, уже ею потеряно. Где ее корабли для перевозки припасов, где подвижной состав?*» И дальше слушайте: «*Когда союзники, огорченные неуменьем и неблагодарностью* (ого, опять щелчок!), *прекратят помощь белым частям, тогда проведенное с таким трудом кольцо, сдавливающее Красную Россию, лопнет*». Вы, конечно, понимаете, товарищ, что это за кольцо такое?

— Понимаю, — сказал Николай, и его сердце сжалось.

А брат писал, что по соседству с ними, в имении Мусиной-Пушкиной, теперь квартирует штаб тыловых частей Северо-Западной армии, что во главе штаба — генерал Верховский, расслабленный, бесхарактерный старик.

«*Милый Коля... Мне надо бы повидаться с тобою и переговорить об одном деле с глазу на глаз*».

Юношу это заинтриговало. Он все выбирал время, чтоб поехать к брату, а кстати навестить старого Яна и сестру Марию, — лишних каких-нибудь верст пять. Мария Яновна! Николай очень часто вспоминал о ней с нежной благодарностью. Сестра Мария...

И вот после письма брата у него что-то прояснилось в душе, вдруг раздвинулись какие-то забытые туманы — далекий бред, скрип повозок, перебранка,

ночные костры в лесу и ясный образ, образ быстроглазой Вари, резко и четко впервые поднялся из спящей памяти. Варя! Варвара Михайловна Кукушкина!.. И ее сестра, и их отец... «Трех, трех!» И отъезд верхом в сопровождении Вари, и этот курносый парень Иван в рваном полушубке... Так? Ну конечно, так. Ясно все и четко. Где же ты, Варя? Может быть, сестра Мария знает о тебе? В Юрьеве? Твой отец, наверно, променял свои стада на золото и благодушествует там? Или, быть может, веселящийся Париж закрутил тебя, как перышко? Ага! До востребования... — И юноша, удивляясь тому, что так все вдруг чудесно и легко припомнил, написал Варе трогательное письмо. Сердце его ныло, как пред большой бедой, из глаз капали на бумагу слезы. Нервы? Нет. А страшная тоска, душевная пустота и одиночество. И так захотелось быть возле нее, возле Вари, слышать ее голос, обворожительный и ласковый, захотелось видеть свою мать, своего отца, Марию Яновну, и нежданно в мыслях — самовар, свой, домашний, с помятым боком, за столом отец и мать и... Варя. «Вот моя невеста... Мы вместе с ней страдали на чужой земле. Она спасла мне жизнь». — «Очень приятно», — говорит мать. Но это не Варя Кукушкина, это сестра Мария, краснощекая, светловолосая и полная красавица эстонка.

Николай Ребров бросил перо и вытер слезы. Он завтра же с вестовым пошлет письмо. Но вряд ли дойдет оно до Вари. Неужели не дойдет? Эх, черт...

Он свернулся по одеялом, — покойной ночи, дорогая Варя, покойной ночи! — сверху накинул шинель, нервная дрожь не давала ему уснуть.

Ночные часы шли, как скрипучие колеса: кто-то кашлял, скрежетал зубами, чья-то сонная рука чиркнула спичку, и — пых-пых — голубой дымок. Это Масленников. И вновь тишина, и та же дрожь.

Лохматый прапорщик храпит, но ухо свое освободил от пряди густых поповских косм и чутко насторожил его к окну. За окном мороз и ночь. Стекла расписаны морозом, и морозный месяц серебрит узор.

Да... Варя не в Париже, не в Юрьеве, Варя умерла, отец ее погиб, его дочь — белокурая Ниночка — погибла. Какой ужас... какой кошмар... Только лает их пес, Цейлон... Вот он скребет в дверь, вот он стучит лапой в окно, и головастая тень потушила на стекле серебряную роспись.

Николай Ребров не видит — глаза полузакрыты, а чувствует: заскрипела койка, легкий ответный удар в раму, чьи-то шлепающие по полу босые шаги.

— Вы, Ножов?

— Тсс... Тихо...

Масленников и другой писарь, Онисим Кравчук, жирный хохол с красным губастым ртом, устраивали вечеринки с плясами. Писарей восемь человек, приходили со стороны солдаты и две-три эстонские дамы. Играли на двух гитарах и скрипке (Онисим Кравчук), отплясывали польки, вальсы, а в перерывы — щупали эстонок. Окна завешивались шинелями. На улице дежурил младший писарь. Задетые за живое эстонцы пронюхали про вечеринки и пожаловались начальству. Очередная пирушка была разогнана. Писаря объявили эстонцам войну, но сами же первые и попали в переделку. Масленникова и Кравчука, возвращавшихся в пьяном виде из гостей, хорошо вздули эстонцы: Масленникову подшибли оба глаза, Кравчуку разбили нос.

— Нехай так, — похвалялся потом Кравчук. — Я ж ему, бисовой суке, вси нози повывихлял... О!

Из-за эстонок дрались между собой и солдаты. Как-то пьяная компания солдат бросилась трепать вышедшего из шинка в вольной одежде человека. К удивлению солдат — вольный человек оказался офицером. Как? Бить офицера?! Офицер осатанел, скверно заругался и стал стрелять. Солдаты разбежались, отругиваясь и грозя.

— Пошто в шинок ходишь?! Пошто не в форме?!

— Мы, ваше благородие, за чухну вас приняли.

— Постой, бела кость! Обожди... Всем брюхо вспорем!..

— Куда вы нас, так вашу, завели?! Жалованье не выдаете, наши денежки пропиваете...

— Теперича мы раскусили, за кого вы стоите... Черта с два за учредиловку!.. За царя да за помещиков...

Скандал до главного начальства не дошел. Но главное начальство замечало, что армия начинает «разлагаться». Меры! Какие ж меры? Как поднять дисциплину, ежели почти все офицерство впало в злобное уныние от неудачного похода, предалось кутежу и безобразиям? Кредиты иссякли, паек урезан, жалованье выплачивается неаккуратно, а с нового года возможен роспуск армии, если наши дипломаты не сумеют урвать добрый куш там, в верхах, — на стороне.

— Это что у тебя, Масленников, с глазами?

— Корова, ваше благородие...

— Что ж, задом?

— Сначала задом, потом передом...

Бледные губы адъютанта задрожали, но он сдержался и, бросив бумажку, приказал:

— Переписать! Наврал.

А тот, побитый, щупленький офицерик из какой-то бригады, подвязал платком скулу — конечно, флюс — и чуть-чуть прихрамывал.

Стал волочить ногу и бравый генерал, начальник дивизионного штаба, где служил Николай Ребров. Однако не любовные утехи поразили превосходительную ногу, нога испугалась общего положения дел армии и вот — решила бастовать. Генеральский подбородок опал, кожа обвисла, как у старого слона, обнаружилась исчезнувшая шея, и красный воротник сделался свободен.

Генерал получил, одно за другим, два донесения с мест. Читал и перечитывал сначала один, потом совместно с адъютантом при закрытых дверях. Выкурил целый портсигар, нервничал, пыхтел, нюхал нашатырный спирт, стучал по столу кулаками:

— Мерзавцы! Я этого не позволю... Вешать негодяев!

Первое донесение о невозможности бороться с большевистской пропагандой и о первом побеге группы солдат в Русь. Второе — о начавшейся среди армии эпидемии брюшного тифа.

— Да, генерал, да, — проговорил адъютант. — Не хотелось мне огорчать вас, но вот еще сюрприз: эстонское правительство официально заявляет о своем намерении вступить в переговоры с советским правительством. Даже назначен срок — январь будущего года. Место — Юрьев.

Генерал побелел, покраснел и стал ловить ртом воздух.

— Откуда, откуда это? — задыхался он.

— Хотя эти сведения «по достоверным источникам», как пишет газета, но я думаю, генерал, что на этот раз правда.

— Послушайте, поручик! Это ж невозможно, это ж невозможно... — И генерал схватился за голову. — Тогда в каком же положении окажется здесь наша армия?

Адъютант язвительно улыбнулся и сказал:

— В положении разлагающегося трупа, который начинает беспокоить обоняние хозяев...

— А вы, поручик, как будто... как будто...

— Впрочем, должен вас успокоить, генерал, — быстро изменил адъютант тон и выражение лица, — эстонское правительство просто-напросто желает себя вывести из состояния войны с Советской Россией...

— Тьфу! С Совдепией!

— Что же касается признания ее, то...

— Этого еще недоставало! — стукнул генерал пустым портсигаром в стол.

Прапорщик Ножов весь преобразился. Глаза его горели, он походил на сумасшедшего. Иногда пропадал на два, на три дня, являлся измученный, но всегда бодро говорил юноше, таинственно подмигивая:

— Дело на мази! Пропаганда работает. Агитационная литература поступает исправно. Нате-ка вам,

товарищ... — Он совал ему под подушку пачку листовок. — Необычайно талантливо. Прочтите, и — в дело... Сумеете? Только — молчок...

Как-то, мрачной снеговой ночью, повторилось то же: легкий стук в окно. К подушке юноши склонилась во тьме встрепанная голова:

— Ну, милый Коля, теперь — прощай.

И Ножов навсегда исчез.

Приближалось рождество. Письма от Вари не было. В душе все настойчивее вставал образ Марии. Юноша грустил. Перед праздниками ему дали вторую нашивку. Писаря прониклись к нему теперь искренним уважением и потребовали вспрыски.

Николай Ребров первый раз в жизни напился пьян. Он был красноречив и откровенен, говорил о Варе, о том, что никогда-никогда не встретит ее больше, много говорил о сестре Марии, о милой далекой родине. Ах, если б крылья!..

— А вот я, братцы, совсем напротив, — улыбался Масленников румяно-белым низколобым лицом и закручивал усы в колечки. — В здешнем крае ожениться думаю... Потому эта кутерьма в России протянется, видать, еще с год. А тут предвидится эстоночка, Эльзой звать... И вот, не угодно ли, стишки...

— Братцы, слушай... Ты! Кравчук!

— А ну его к бисовой суке! — плакал хохол, сморкаясь и кривя губы. — Ой, Горпынка моя... И кто тебя, ведьмину внучку, там, без меня, кохает...

— Брось, пей!.. Все кохают, кому не лень... Братцы, слушай! — Масленников вынул записную книжку, откинулся назад и вбок, прищурил левый глаз, стараясь придать лицу значительность. — Например, так... — Он откашлялся и начал высоким, с подвывом голосом, облизывая губы:

О моя несравненная девица,
Превосходная Эльза-юница!
Мы гуляли с вами по лесам
И по зеленым лугам.

Ваши груди в аромате, как анис,
И любит вас старший писарь
Масленников Денис,
Чего и вам желаю.

— Какая же она юница, раз она вдова и ей под сорок?.. Глупый стишок! Никакой девицы в ней не усмотреть, — проговорил задирчивый, с маленькими усиками, питеряк Лычкин.

— Что-о?! — и Масленников сжал кулак. — А ты ейный пачпорт видал?

Писаря ответили дружным ржаньем, даже слеза на хохлацком носу смешливо задрожала и упала в пиво.

— Все видали, все до одного!.. Ейный пачпорт...

— Даже читывали по многу раз...

— Даже после этих чтеньев я две недели в больнице пролежал. Не баба, а оса... Жалит, черт!..

Началась ругань, потом сильный мордобой. Николай Ребров помнит, как он бросился разнимать, как его ударили по затылку, и еще помнит чьи-то вошедшие в его мозг слова:

— А сестра Мария, слыхать, обженихалась.

ГЛАВА VI

У поручика Баранова

Николай Ребров за два дня до рождества зашел поздно вечером к адъютанту, поручику Баранову, снимавшему комнату у управляющего имением, эстонца Пукса. Его впустила маленькая женщина с сердитым ничтожным лицом.

— Погодить! Шляются тут... Тьфу!.. Тибла! — и удалилась.

Через минуту Николай Ребров стоял навытяжку перед адъютантом.

— Что угодно? — сухо спросил поручик и приподнялся с кушетки. Он был в одном белье и шинели, в руках газета. — А, это ты, Ребров? Садись.

— Мне бы хотелось, господин поручик, на праздник в отпуск. Дней на пять.

— Ладно, могу. А ты не удерешь?

— Что вы! Нет...

— А почему? — И поручик, быстро откинув голову назад, прищурился. Юноша мял в руках картуз. Поручик вздохнул и щелкнул рукой по газете. — Вот!.. Плохо, брат... Парижская «Фигаро». Плохо пишут из деревни. Колчак бежит. Бежит!.. — Он схватил валявшийся на полу сюртук, достал платок и громко высморкался. — Я не понимаю... Хоть убей, не могу понять, чем они, дьяволы, берут?.. То есть... Поразительно... Что?

— Да-а, — произнес юноша, — но я думаю, что большевикам не укрепиться.

— Ого! — желчно воскликнул поручик, торопливо шагая от стены к стене; шинель моталась, шелестя подкладкой, и оборванная штрипка кальсон волочилась по полу. — Да еще как укрепятся-то. А штык-то на что? Они умеют править... Это тебе не Керенский, чтоб ему на мелком месте утонуть!

— Да-а, — опять произнес юноша. И вдруг с языка полезло: — А вы не знаете, господин поручик, аккуратно ли работает в Юрьеве почтамт?

— Что? — Поручик на мгновенье остановился, бессмысленно и как бы спросонья глядя на юношу. — Людей нет! Понимаешь ты, людей нет в России. Где люди? Ну, скажи, где? — Он подскочил к юноше и, размахивая руками, кричал ему в лицо: — Где люди?! Есть или нет? Что? Что?!

Николай Ребров попятился.

— Гибнет все, — вдруг переменив тон, тихо сказал поручик и с сокрушением закачал головою: — Гибнет... — Потом, волоча штрипку, он ушел за ширму, залпом выпил стакан вина, прикрякнул, сплюнул. — А ведь я римских классиков в подлиннике читаю! Речи Цицерона, всего Гомера! — кричал он из-за ширмы. — Да и по естественным наукам запасец у меня большой. Я ведь когда-то к кафедре готовился. А теперь я что? Где мой отец? Где моя мать-старуха? Наверное, заложниками у большевиков. А где моя родина? Я и сам не знаю где. — Опять послышалось за ширмою, как булькает в стакан вино. Поручик

крякнул, сплюнул и вышел, потрясая кулаками. — О черт!.. Черт!.. — Смуглые крепкие щеки его тряслись, глаза прыгали. — Да, баста, баста... Теперь все кончено... И другой раз... вот взял бы это. — Он схватил со стола револьвер, покачал им в воздухе и, бросив, махнул рукой: — Э-эх...

Он закрыл глаза, приложил ладонь к вспотевшему лбу и долго стоял с опущенной головой, покачиваясь. Потом быстро повернулся лицом к Николаю Реброву, вскинул голову и крепко спросил в упор:

— Ножов — большевик?.. Только откровенно...

— Я не знаю...

— Ты знал о его побеге?

— Никак нет. Но догадывался.

— Почему не донес?

— Виноват.

Поручик рывком выдвинул ящик письменного стола и, подбежав к юноше, ткнул ему в нос какими-то бумагами:

— Вот! Знакомы? В девятой роте... Носил? Читал?! Читал, спрашиваю я?! — заорал он. — Ты знаешь, мальчишка, что не сегодня-завтра будет приказ: за пропаганду — петля?!

Николай Ребров вдруг почувствовал, как от его головы отхлынула вся кровь, он пошатнулся. Скрипнула дверь. Поручик запахнул полы шинели. В щель раздалось мышиное:

— Пожальста, не кричать... Козяйн не любит... Тихо! — И дверь захлопнулась.

Поручик что-то промычал, потом вынес из-за ширмы четверть вина, подал в руки юноше стакан:

— Держи, пей.

— Я, господин поручик, не пью...

— Что? — Он выпил сам, поставил четверть в угол и накрыл горлышко, как шапкой, опрокинутым стаканом... — Скажи, умоляю тебя... Не бойся... По чистой совести... Клянусь... Ну, как настроение наших солдат? Ведь мы же, в сущности, ни черта не знаем. Так, хвостики! Что они говорят, что думают? Нет ли заговора против господ офицеров? Одному нашему едва не перешибли ногу. Слыхал? В окно генерала

хватил кирпичом... Что же это, а? — Поручик говорил быстро, задыхаясь и встряхивая головой, кисти рук играли, то запахивая, то распахивая полы залитой вином шинели. — Говори, говори, не бойся... Умоляю... Что? Что?

Николай Ребров молчал. Губы его дрожали, и сквозь нежданные слезы дрожало все. Но он все-таки разглядел болезненно-скорбное выражение лица поручика, он почувствовал резкую смену его настроений, раздражительность и нервность. Да не сумасшедший ли перед ним, или только несчастный, потерявший под ногами почву человек? Ему стало страшно и, вместе с тем, жалко поручика Баранова.

— Вы успокойтесь, — сказал он, — кажется, пока все обстоит благополучно. Вы очень устали.

Поручик Баранов, пошатываясь, подошел к столу, расслабленно сел в кресло и, схватив руками голову, облокотился. Николай Ребров тихонько пятился к двери, не сводя глаз с широкой согнувшейся спины начальника.

— Я и сам не знаю, — говорил поручик едва слышно, точно бредил. — Может быть, Ножов прав и все агитаторы правы. Может быть, правда там, за озером... Во всяком случае, настоящие игроки у красных. Юденич хотел пройти в два хода в дамки, а теперь сидит здесь, в нужнике. Да... Черт его знает! Но как же теперь я?.. Я — Баранов, боевой офицер? Как я отсюда вылезу? Юноша, ты слышишь? Писарь!.. — он повернулся, посмотрел на Николая Реброва и раздельно сказал:

— Пошел вон. Завтра!

ГЛАВА VII

Человеческий квадрат и его диагонали

Канун рождества. Николая Реброва вез эстонец за четыре фунта рису и фунт сахару. Был мороз.

— Но, ти-ти! — пискливо покрикивал эстонец на шершавую клячонку. — Я тебе — ти!

Что за неудача! Ни двоюродного брата, ни Павла Федосеича юноша не застал: куда-то уехали на праздник в гости. Он направился пешком к сестре Марии. Теплое, нежное чувство к ней ускоряло его шаги, и путь показался ему коротким. Вот они — белые палаты из-за темных остроконечных елей. А вот и с голубыми ставнями белый одноэтажный милый дом. Сердце его дрогнуло. Сестра Мария! Нет, это не она. Это какая-то старуха сидит на приступках в согбенной позе.

— А, здравствуйте, — сделал юноша под козырек. — Вы как здесь?

Помещица Проскурякова вздрогнула, выпрямила спину и наскоро отерла красные от слез глаза.

— Коля, вы?

— Я. Но почему вы-то здесь, Надежда Осиповна? И как будто плачете... Не случилось ли что?

— Нет, нет, ничего... Я очень счастлива, — поспешно воскликнула старуха, но лицо ее на мгновенье исполосовалось отчаянием и вновь приняло приветливо-беспечный вид. Она сильно постарела, обмотанная той же клетчатой шалью голова ее тряслась. Заячий короткий душегрей и острые колени, обтянутые черной потрепанной юбчонкой.

— Будьте добры, садитесь... Я очень, очень счастлива, — заговорила она надтреснуто и фальшиво. — Вы не можете себе представить, сколько мы перенесли лишений и какой заботой окружил меня мой муж.

— А кстати, где же он, ваш Дмитрий Панфилыч?

Юноша заметил, как концы ее губ вмиг опустились, она попробовала весело улыбнуться, но получилась болезненно плаксивая гримаса, и голова пуще затряслась.

— Ах, вы про Митю? Они сейчас придут... Они пошли прогуляться.

— Кто они?..

За стеною тяжелые, как гири, каблуки, и в открывшуюся дверь высунулась длинноволосая седая голова с дымящейся в морщинистом рту трубкой.

— Ага! Знакомый!.. Троф резать приходиль? — проговорил Ян тонким голосом и, шагнув, взял

Николая Реброва за плечо.— Пойдем в дом... Здесь мороз... Как это... картофелю кушать будешь... картул... Кофе пить...

— А где сестра Мария?..

— Пойдем, пойдем...— Он ласково обнял юношу и повлек в дверь.

Тот недоуменно взглянул через плечо на старуху помещицу, хотел ее тоже пригласить с собою, но Ян уже захлопнул дверь.

Вот она, кисейная, белая, с темным распятием, комната. Вот изразцовая печь и знакомый широколобый кот на ней. И как-то по-родному все глянуло со стен и из углов. И сразу глаз нашел чужое: огромный сундук и чемодан. Впрочем, нет. Где же это он видал?

— Хи-хи-хи...— закатился, защурился старик и стал шептать в самое ухо юноше:— Про дочку? У-у-у... После праздник — пулмад, как это... свадьба...

— Что вы, Ян? Неужели?— юноша даже откачнулся, внезапный холод передернул его плечи.— Сестра Мария? За кого же она? Что вы?

— Тсс...— пригрозил старик и, прищелкнув языком, таинственно, как заговорщик, зашептал:— Митри, мыйзник... помещик... ваш, русак... Старуха видал? Старуха толковал — жена... Митри толковал — любовня... Гони к свиньям!.. Не надо!.. Давай молодой... Давай Мария. А ты,— ткнул он юношу в грудь согнутым пальцем,— ты есть глюп, очень дурака. Ват саламмабапеа... Бараний голофф...

— Почему?

— Э-э... Дуррака... Баран... Святой девка упускайль... Он... как это... он плакал без тебя...

— Кто?

— Девка плакал, Мария... Много ваши руськи женились, оставался здесь. А ты зевал. Куррат... Мал тебе дом был? Плохой хозяйство?— Старик говорил, как брюзжал, не вынимая из зубов трубки. Те же синие короткие шаровары, те же полосатые с отворотами чулки плавно двигались по комнате, а старые жилистые руки вынимали из резного шкафа посуду, сахар, хлеб.

Николай Ребров вдруг сорвался с места и выбе-

жал на улицу: по дубовой аллее, развенчанной вьюгами, шла дочь старика.

— Сестра Мария! — протянул он ей обе руки.

Но та крепко и страстно обняла его и поцеловала в щеку. Она обольстительно свежа. От нее пахло вьюжным снегом и черемухой.

— Знакомьтесь, — сказала она. — Это мой будущий... Ну... Это мой жених...

— Мы знакомы... Здравствуйте, Дмитрий Панфилыч...

Муж старухи, насвистывая веселую, небрежно и молча подал широкую, как лопата, руку.

Старуха все еще сидела на приступках. Она надвинула на лицо шаль и отвернулась. Мимо нее прошли, как мимо пустоты. И вместе со скрипом затворившейся двери раздался ее глухой, тягучий стон.

Пили кофе. Николай Ребров и Дмитрий Панфилыч, как коршун с ястребенком, исподлобья перестреливались взглядами. Сестра Мария придвинула им свинину.

— Мой старик. Мой грех... как это... свин... да, да свинь кушать. Завтра, — говорил Ян. — Мой сегодня картул кушать надо. Мари! Хапупийм...

Сестра Мария подала ему кислое молоко. Голубые глаза ее смущенно опущены, золотая брошь на полной груди подымалась и тонула, как в волне челнок.

— Завтра праздник, — жирно чавкая, сказал Дмитрий Панфилыч. — У нас весело о празднике: посиделки, песни, плясы. Потом — ряженые.

— У нас танцы, — сказала сестра Мария; и не своим, не веселым голосом, сказала Мария печально: — Лабаяла-вальц, вирумаге, полька. Говорят, спектакль будут ставить. Да, да.

— Где? — спросил Николай. — Сестра Мария, где?

— Что? В Народный дом... Только холёдный, для летний игр. — Она прятала от юноши глаза, вздыхала.

Разговор не клеился. Николаю было тяжело. У него накипало и против сестры Марии, и против Дмитрия Панфилыча,

— Сестра Мария мне спасла жизнь, — проговорил он тихо и вяло. — Может быть, напрасно...

— Что вы! Милый мой Коля. — И, как в тот раз, она стала гладить его руку, но горячая рука ее дрожала, и вздрагивали опущенные веки.

Дмитрий Панфилыч нервно задрыгал ногой, его сапог заскрипел под столом раздражающим скрипом.

— Очень плохо все кругом, — жаловался юноша.— Как-то все не то, не настоящее... Черт его знает что! Другой раз хочется веселиться, другой раз — плакать. Гадость!

— Чепуха! Ничего худого нет, — грубо, задирчиво сказал Дмитрий Панфилыч. — Маруся, кофейку!

— Нет, не чепуха, — возразил юноша, и его глаза засверкали. — Например, бросать жену на чужой стороне, беспомощную женщину, это чепуха?

— Не хочешь ли? Живи с ней сам. Уступаю, — низким голосом, ворчливо, насмешливо проговорил Дмитрий Панфилыч.

— Не имею ни малейшего намерения. Во всяком случае, к чему же вы женились?

Стало тихо. Дмитрий Панфилыч распрямил грудь, чтобы крикнуть. Раздался чей-то стон.

Все обернулись.

Прислонившись к чемоданам, в дальнем углу сидела помещица Проскурякова.

— Бог с тобой, Митя, — расхлябанно заговорила она. — Я тебя не виню... И вы успокойтесь, Коля, добрый мой. А Митя не виноват... Раз он счастлив с новой своей... со своей... — она обхватила седую трясущуюся голову руками и заплакала громко, злобно, надрывисто.

— Скоро ль ты уйдешь к черту, старая карга? — грохнул в стол кулаком Дмитрий Панфилыч, и его красивое краснощекое лицо с раздвоившейся черной бородкой осатанело. — Сдыхай на морозе, сдыхай! Черт тя задави! Не жалко.

— Я не позволяй крик!.. Митри, не надо горячиться! — перебивая его, крикнула сестра Мария.

— А, са куррат... — жуя трубку, выругался под нос Ян.

— Бог с ним... бог с ним... — хлюпала помещица.

— Ага! — злобно смеялся ее муж. — Ты меня богатством хотела взять? Как же, старая помещица оженила на себе молодого парня. Тьфу твое богатство, твое именье! У большевиков оно... Корова у тебя осталась от твоего богатства, да и та сдохла.

— Сестра Мария! Ян!.. — ударил в стол и юноша. Губы его кривились, брови сдавили переносицу. Ему хотелось кричать громко, оскорбительно, но слова останавливались в горле. И он тихо, но прыгающим голосом сказал:

— Я не ожидал этого, сестра Мария. Я вас представлял себе другой. До свиданья, сестра Мария, — поклонился и порывисто вышел вон, ударившись в косяк плечом.

Юноша переночевал в избушке лесника, старого добродушного эстонца. Утром он плотно подкрепился, заплатил эстонцу за гостеприимство и расспросил его про дорогу к Народному дому.

Путь лежал мимо сестры Марии и прямо в лес. Юноша шел, низко опустив голову, ему не хотелось ни с кем встречаться. День был пасмурный, насыщенный изморозью. С грустным карканьем летали ленивые вороны, и юноше стало грустно, как только может быть грустно в праздник на чужбине.

— Послушайте, стойте! Николай!..

Тревожно оглядываясь, бежала сестра Мария. Она схватила его за руку двумя руками и с виноватой, просительной улыбкой сказала:

— Какой вы злюк... Ай, как нехорошо...

Юноша смутился.

Он, краснея, растерянно мигал:

— Извините меня. Я, конечно, был вчера не прав. Сгоряча просто.

Сестра Мария померкла.

— Сгоряча? Значит, вы прощаете мой поступок? — Она с укоризной подняла на него ясные глаза. — Очень грустно, очень...

— Почему?

— Вы не понимайт, почему? Когда-нибудь поймете.

— Так, — неопределенно сказал юноша: ему показалось, что сестра Мария фальшивит. — Я все-таки не могу понять.

— Ах, оставим, — капризно наморщила она свой тонкий прямой нос. — Скажите, куда идете? В Народный дом? Где вы ночеваль?

Они шли, но юноше казалось, что они стоят на месте, а две темные стены сосен спешат назад.

— Кто он? Вы знаете его? Этот Митри? Я его совсем не знайт. — И сестра Мария оглянулась.

— Странно, — сухо и насмешливо ответил юноша, — во всяком случае, вам нужно бы его знать. Девчонка вы, что ли? Вы все оглядываетесь назад... Идите скорей! Он чертовски ревнив.

— Вы правы, — деланно проговорила она и остановилась. В глазах ее виноватость, злоба, скорбь. — До свиданья, Коля... А я вас... я вас все-таки... Но вы не можете поверить... Ах, Коля, милый... Не так все, не так... Вы спешите? Да? Вечером увидимся. Я буду в Народный дом. Но я ненавижу эту старый женщина. Ненавижу!..

Он быстро зашагал вперед. И спина его чувствовала неотрывный, молящий, пугающий взгляд Марии.

ГЛАВА VIII

Взрыв

Деревянное здание летнего Народного дома стояло на поляне, среди густого сосняка. В нем никто не жил, по глубоким сугробам протоптаны свежие тропы, и люди с топорами в руках, весело пересмеиваясь, срывают с заколоченных окон доски. Всю ночь топились две времянки, в доме густеет сизое угарное тепло. Сцену драпируют гирляндами из хвои. Зажигают несколько керосиновых ламп под потолком. Актеры в шубах, в шапках кончают репетицию. Разбитое стекло затыкают какой-то рванью.

Спускается вечер, солнце давно село, и бледная звезда зажглась. В лесу слышно дряблое пенье хором и еще, в другом месте. Ближе, ближе. И вот с двух дорог подходят к дому две толпы молодежи с красными флагами, с плакатами: «Елагу вабатус!» Приветствия, шутки, смех. Многие навеселе. Белобрысые лица праздничны. Голоса мужчин тонки и тягучи, как у скопцов, в движеньях сдержанность, отсутствие бесшабашной удали и хулиганства. Все чинно, все прикалошено, причесано, в перчатках. Николай Ребров сравнил эту толпу эстонских поселян с своей родной, крестьянской, и сразу понял, что здесь России нет.

А народ все прибывал, мужчины и женщины, пешие и конные, в крытых коврами маленьких повозках, с лентами в гривах низкорослых лошаденок, с бубенцами под дугой. Стало темнеть. Желтые огнистые квадраты окон гляделись в мглу наступавшей ночи, западная часть неба над темным бархатом пихт и сосен стала голубеть, показался, раздвигая облака, двурогий месяц.

Николай Ребров взад-вперед прохаживался возле дома. Ждал кого? Нет. Народ — русские солдаты и эстонцы — проходили мимо него многоголосой вереницей, но он далек отсюда, он был в мечтах. И только два радостных голоса: «О приятель! Пойдем! Чухны камедь ломают...» — ненадолго возвратили его к действительности.

Он вошел и увидел то, о чем до боли сладко тосковала его душа. В его и только в его глазах — просторный, залитый яркими огнями зал. Посредине, под потолок, вся в блестящих погремушках, в звездах, рождественская русская елка. Нарядная толпа детей плывет в тихом изумительном танце, и все дрожит, колышется, мерцает. Юношу вдруг потянуло туда, под родную чудодейственную елку, в гущу смеющихся беззаботных детских лиц. И он сам — не сам, он веселое дитя, и мать улыбается ему издали, машет рукой, зовет... Но вот что-то взорвалось: треск, грохот, крики — все сразу померкло, елка разлетелась в дым, и пред глазами — маленькая

сцена с маленькими человечками, тысячи голов, аплодисменты, жалкий свет скупых огней, пред глазами все та же нищая, нагая явь.

Николай Ребров шумно выдохнул весь воздух, тряхнул головой и, пробираясь между рядами, разочарованно опустился на свободный стул. Он сначала ощутил горячее дыханье на своей щеке, потом тихий захлебнувшийся шепот:

— Ах, как я рада... Я вам буду объясняйть...— И теплая затрепетавшая рука крепко легла на его колено. От руки шел неуловимый властный ток, и глаза юноши загорелись. Сестра Мария была в черном платье, рубиновые серьги блестели в ее маленьких порозовевших ушах. Она дышала прерывисто, опьяняя юношу запахом распустившейся черемухи.— Глядить на сцена,— шептала она, прижимаясь к нему плечом, но он разглядывал ее профиль с влажными красивыми губами, и ему захотелось поцеловать ее.

— А где же Дмитрий Панфилыч? — прошептал он.

— Пьян. Нет... Ах, я ничего не знай...— брови ее капризно дрогнули, она повернула к нему лицо, и вот два их взгляда как-то по-особому вмиг слились.

— Я не понимаю вас, Мария Яновна...— проговорил он, овладевая собой.

— Я тоже... не понимайть ничуть себя.

— Вы сначала как будто хотели привлечь меня к себе, потом взяли да и оттолкнули.

— Я скверная! — топнула она в пол острым каблуком.— Как глюпо, глюпо все вышло.

Раздались аплодисменты, и вдруг — в уши, в лицо, в сердце:

— Здравствуйте, Коля!

Голос был так неожиданно знаком, что Николай Ребров вздрогнул и приподнялся навстречу подошедшей девушке.

— Варвара Михайловна! Варя! Вы?! — и каким-то необычайным светом мгновенно загорелась вся его душа.— Варечка, милая! Вы живы?.. Получили ль вы мое письмо?

— Что с вами? Какое письмо? Пройдемтесь.

Юноша крепко закусил прыгавшие губы и шел за нею, как во сне.

— Вы живы, живы! — твердил он.

— А почему же мне не быть живой?.. А знаете? — И миловидное лицо ее вдруг померкло. — Знаете, Коля, милый?.. Ведь папа умер... да, да, да.

— Да что вы?! — искренне испугался юноша.

— Представьте, да... от тифа. Пойдемте, Коля, сядемте к столу, попьем чаю. Я так озябла. А вот и стол. Закажите. У меня деньги есть.

Возле буфета толчея, шум, выкрики:

— Сусловези! Кали!

— Сильмуд!..

— Напс!

— Эй, барышня! Дозвольте-ка мне шнапсу. Чего? Самый большой... — Масленников без передыху выпил стакан скверной водки и спешно чавкал пирожок с рыбой. Масленников выгодно спустил вчера казенные сапоги, денег на гулянку хватит.

Молодежь изрядно выпивала шнапс, пиво. Русские солдаты вели себя дерзко, вызывающе. Разговаривали между собой нарочно громко:

— Тьфу, ихняя камедь на собачьем наречии!

— А морды-то... Видали, братцы, какие у чухон морды? Вроде — не поймешь...

— Скобле-о-оные...

Длинноволосый рыжий эстонец в зеленой куртке приплясывал, помахивая платком, и что-то гнусил. Но выражение его крепкощекого бритого лица не соответствовало веселым ногам и жестам.

Солдаты с лицами заговорщиков толпой напирали на буфет. Продавщицы в ярких национальных костюмах кричали:

— Тише! Тише! Ярге трюшге!.. Осадить назад! Ну!..

— Я те осажу...

В полутемном углу рассыпался, как бубенчики по лестнице, женский смех, тотчас же заглушенный звонким поцелуем.

— Смачно, — прикрикнул Кравчук, проходя под ручку с толстобокой мастодонтистой эстонкой. Он весь

выгнулся дугой, склонив захмелевшую голову к плечу подруги:

— Смачно, бисов сын, причмокнул... Ах, Луизочка... Я голосую, чтоб пойти в лесок... Право, ну... Трохи-трохи покохаемся, да и назад.

— Холедно, снег... Вуй!.. — встряхнула широкими плечами эстонка.

— Доведется трохи-трохи обогреть, — сказал хохол и облизал толстые губы.

В зале убого заиграла музыка, высокий барабанщик бил в барабан с остервенением, вприпрыжку.

Николай Ребров три раза бегал от буфета к столику, три раза заглядывал в зал, на сестру Марию: опустив голову и перебирая накинутую на плечи шаль, сестра Мария сидела неподвижно.

— Кто с вами был? Красивая блондинка? Ваша любовница?

— Что вы, Варя!

— Ах, оставьте, не скромничайте... А я, знаете, все-таки чувствую себя неплохо. Вы знакомы с полковником Нефедовым? Ах, какой весельчак! И анекдоты, анекдоты! Вы бы только послушали. Со смеху можно умереть... Или князь Фугасов. Этакий молоденький, криволапый щенок... Конечно, со средствами. Всей компанией гулять ездим. На тройках, Колечка, с бубенцами... На русских тройках!.. Но почему вы повесили нос? Вы не рады мне?

Юноша нахмурил брови:

— Нет, очень рад... Но вы мне не сказали про вашу сестру.

— Ах, про Нину? — Девушка тоже сдвинула брови, но сразу же захохотала неестественно и зло. — Нина в Юрьеве. Слушает какие-то курсы. По философии или педагогике, вообще — прозу... — Она замолкла, отхлебнула чай, вздохнула. Ее лицо было утомленно, помято, под глазами неспокойные тени. — Нет, не такое время теперь, Колечка, чтоб прозой заниматься. Надо жить! Сегодня жив, а завтра тебя не стало.

— Но в чем же жизнь? — с болью и страданием спросил Николай.

— Оставьте, бросьте! — замахала на него девушка. — Философия не к лицу вам. А вот в чем: музыка, веселые лица, смех, поцелуи. Вон — ваши солдатики толстушку под руки ведут.

Мимо них, в горячем споре, разнузданном смехе и пыхтенье, грузно протопала — гнулись половицы — тройка. Кравчук и Масленников волокли жирную полосатую эстонку к выходу. Эстонка, вырываясь, задорно хохотала и поворачивала запрокинутую голову то к одному, то к другому кавалеру.

— Какой упрям русски... Какой нетерпений!

— Пожалте, так сказать... Вот ваша шубка, не угодно ли! — И троица скрылась за дверью.

Рыжий эстонец в зеленой куртке, враз оборвав пляс, сунул трубку в карман и, блеснув глазами, сипло закричал:

— Ах, са куррат. Жену уводиль! Эй!.. Вийсид, на́йзе! Тулерутту... — Он выхватил нож, мстяще взмахнул им и побежал к выходу ругаясь.

За ним, топоча, как кони, эстонская молодежь.

— Убьют. — И Николай Ребров вскочил.

— Кого?

— Масленникова... Но что же делать?

— Ребята! Наших бьют!.. — кто-то крикнул с улицы, и матерная ругань прокатилась по буфету, как густая вонючая смола. И, словно по команде, из буфета и зала, открывая двери лбами, помчались мимо юноши серые шинели.

А там, за стенами, на снегу, под лунным светом, уже зачиналась свалка. Юркие эстонцы кричали пронзительно, взмахивали руками нервно, быстро, с прискочкой, солдаты же работали кулаками, как тараном, метко, хлестко, основательно, и все крыли русским матом.

Меж деревьями пурхался в сугробах с ножом в руках рыжий длинноволосый эст.

— Держи его! Держи! — визжал и ляскал он зубами.

Его помутившийся взор, взвинченный ревностью и шнапсом, видел перед собой двух бегущих солдат

с женой, но впереди были сосны, густые по голубому снегу тени, ночь.

Звенели стекла парадных дверей: дзинь — и вдребезги. Трещали запоры, стоял сплошной рев и давка: солдаты рвались из дома на помощь к «своим», но стена эстонцев остервенело напирала с улицы.

— Насад!.. Насад!.. — Поршень упруго вдавился внутрь, и кучка солдат, окруженная густой толпой, приперта к стене, в буфете.

— Варя! Варя! — тщетно взывал Николай Ребров: его голос тонул в общем гаме.

На буфетную стойку, на окна вскочили молодые эстонцы в шляпах, пальто, калошах. Надорванной глоткой, потрясая кулаками, они бросали в толпу буянов призывы к порядку. Их бледные лица, исхлестанные гримасой гнева, были страшны, вскулаченные руки вот-вот оторвутся от плеч и заткнут орущие пасти. Но их никто не видел и не слышал: разгульный дебош клокотал и ширился, как лесной пожар.

Между стеной эстонцев и солдатами лежало небольшое пространство, и опасно было схватиться с русскими врукопашную: разъяренный лик солдат свиреп и лют, как у всплывших на дыбы медведей, в их захмелевших отчаянных руках сверкали ножи, угрожающе покачивались откуда-то взявшиеся дубинки и массивные ножки от столов.

— А ну, подойди, чухна! Много ль вас на фунт идет?!

— Не замай, картофельна республика! Брюхо вспорем!

— Чухны! Клячи! Полуверцы!

И в ответ разрывались руганью сотни широких ртов, чрез толпу летели стулья и с треском грохались в стену над головами приседавших солдат. Но кольцо все сжималось и сжималось, общий рев нарастал, передние ряды эстонцев, подпираемые сзади, ощетинили кулаки, как дикобраз иглы, скуластые лица их корчились от оскорблений и мужичьих плевков, звериное чувство кровью зажгло глаза, упруго согнуло колени, спины, вытянуло шеи, напрягло каждый нерв и

мускул для последнего алчного прыжка. Еще маленько, какой-нибудь крик, какой-нибудь жест и...

И вот со свистом пронеслась по воздуху пивная бутылка и — прямо солдату в лоб.

— Урра!! — И все заклубилось лешевым клубком.

— Бей их! Режь!..

Но тут, когда клинки ножей убийственно сверкнули, вдруг неожиданно грянули громом, один за другим, три выстрела. И, как ушат ледяной воды на сумасшедших, — свалка замерла.

На виду у всех высоко поднялся над толпой детина-солдат. Он взгромоздился на стол серой бесформенной массой, как гора.

— А-а, дьяволы, черти!.. — с торжествующей угрозой зарычал он, как стоголовый лев.

Он был огромен, страшен, лохмат, словно таежный леший. Таких людей за границей нет. Неуклюжие, как салазки, вдрызг изношенные валенки, длинный, вывороченный вверх шерстью косматый тулуп и рыжая, такая же косматая, с прилипшей соломой папаха, из-под которой выпирали медно-красные подушки щек, круглый, как колено, подбородок и небывалые усищи, похожие на воловьи, загнутые вниз рога. Большие, навыкате, глаза дерзко издевались над толпой, он чувствовал себя, как деревенский колдун средь темных баб, у которых страх отнял язык и разум.

Все это произошло в короткий миг, и мгновенное оцепенение толпы вдруг разразилось буйными криками:

— У него пюсс! Оружие! Вялья! Вялья! Долой его!.. Веди к офицеру!..

А сзади кричали русские:

— Чуланов! Стреляй их, сволочей!.. Стреляй!

Верзила грохнул еще два раза из револьвера в потолок. Толпа, топоча каблуками, шумно откинулась прочь.

— А-а, не вкусно?! — хохотом заржал Чуланов и раскатисто рявкнул: — Эй, наши!.. Убегай!.. Сей минут от ихнего дома и от всей чухны один дрызг останется!.. — В его руках, высоко вскинутых над головой,

смертоносно закруглились две большие бомбы. Толпа оцепенела, — по́мид, по́мид! — вросла в пол, и онемевшие взоры влипли в бомбы, как в магнит. От бомб струился смертный холод и какая-то неизъяснимая роковая власть. — Молись, чухна, богу!.. Эх, и мне не жить... Прощай, белый свет!.. — Верзила, пыхтя и ворочая бычьими глазами, сунул из правой руки бомбу за пазуху, перекрестился. — Пропадать так пропадать. — Быстро схватил обе бомбы в руки, подпрыгнул и...

По залу пронесся многоголосый вопль ужаса, и, давя друг друга, толпа в ослепшем страхе бросилась к окнам, к дверям. Треск, звяканье, неистовые крики женщин, вой мужчин...

Взрыв бомбы слышали немногие, только те, которые упали в обморок. Слышала его и Варя: грохот, ослепительный огонь и тьма.

Верзила Чуланов еще не успел сползти со стола, как зал был пуст. Он зашагал вперевалку к буфету, заглянул вниз, куда были спрятаны закуски, и, пошарив рукой, ущупал чей-то большой и холодный, как у собаки, нос.

— Вылезай, чего лежишь, — прохрипел он сдавленно.

Из-под стойки выполз Масленников.

— Сволочь, — сказал он. — До чего напугал...

Верзила шевельнул рогатыми усищами, снял папаху и отер взмокшее лицо подолом гимнастерки.

— Фу-у! — От чрезмерного напряжения он весь дрожал.

— Ты ошалел? Где бомбы? Сволочь...

— Вот, — сказал верзила и бросил на пол два стеклянных синих шара. — В баронском саду снял, в фольварке... Дюже поглянулись.

Из разных потайных углов и закоулков выползала солдатня, у многих лица в сплошных кровоподтеках. В выбитые окна клубами валил мороз.

— Пошарь-ка шнапсу... Да пожрать, — прохрипел верзила.

Из дверей освещенного опустевшего зала выглядывали кучки не поддавшихся панике людей.

А за стенами дома, на свежем, ядреном воздухе, под мягким лунным светом, толпа пришла в себя. Все сбились, как овцы, в кучу: женщины, молодежь, солдаты.

— Пьяный, анафема! Надо ему бучку дать... Это — Чуланов Мишка! — выкрикивал какой-то рыжеусый маленький солдатик.

— Такой скандал, чертов дьявол, в благородном месте произвел! — кричал другой солдат.

— От такого ужаса недолго и в штаны... Будь он проклят...

Послышались бубенцы, песня, гиканье: к дому подкатили на двух тройках офицеры.

— Стоп! — И кучера-солдаты осадили лошадей.

— Что? Гуляете? С праздником, господа свободные эстонцы! А можно нам, так сказать, присовокупить себя? — И холеный, краснощекий, в великолепных бакенбардах офицер занес из саней лакированную ногу.

И в сотню ртов загалдел народ: жалобы, угрозы, плач. Солдаты сорвались с мест и, подобрав полы, замелькали меж соснами, как зайцы утекая.

Николай Ребров отпаивал Варю холодной водой.

— Это ж все было подстроено... Для озорства... Варечка, успокойтесь... Хотите, я вам кусок ветчины принесу?

Варя сидела на стуле, в дальнем углу буфета, она смеялась, плакала, целовала юноше руки, пугливо покашиваясь на шумную кучку пирующих солдат:

— Проведемте, друзья-а-а, эфту ночь висе-ле-е-й!! — орали Масленников и Чуланов, обняв друг друга за шеи и чокаясь стаканами.

На стойке закуски, выпивка. В разбитое окно лез с улицы Кравчук.

— Эге ж! — хрипел он простуженно. — Горилка?! А ну, трохи-трохи мне. Дюже заколел. Бррр!

В дом ввалилась с парадного крыльца толпа. Впереди, блистая погонами и пуговицами, быстро и четко

шагали офицеры, серебряный звон шпор разносился на фоне шума, как на блюде. Солдаты вскочили, забыв про хмель. Кравчук схватил бутылку шнапсу и вывалился вниз головой обратно чрез окно на мороз, за ним загремел Чуланов с курицей и колбасой, за ним — в тяжком пыхтенье — солдатня.

— Остановиться!.. Стой!.. Стой, мерзавцы!! — звенели голосом и шпорами величественные баки.

Трофим Егоров, с маленькой беленькой бородкой унтер, пьяно оборвался с окна, вскочил и стал во фронт. Длинные рукава его шинели тряслись, правое плечо приподнято, глаза с испугом таращились на подходившего офицера. Толпа притихла, как в церкви. Николай Ребров дрожал.

Шаги офицера ускорялись, — быстрей, быстрей, — и офицерский кулак ударил солдата в ухо. Трофим Егоров покачнулся. Офицер ударил еще. Егоров упал.

— Билет! — приказал офицер.

Николай Ребров, забыв про Варю, заметался.

Солдат пошарил в обшлаге и подал бумажку, следя за кулаком и глазами офицера.

— Ты! Скот! За билетом явиться ко мне на квартиру. Направо! Шагом марш!

Николай Ребров, не попадая зуб на зуб, прыгающим голосом резко крикнул:

— Не имеете права драться! Я донесу! — Он, юркнув в зрительный зал, смешался с толпой и стал продираться к выходу.

— Что-о? Кто это?.. Какая сволочь?! — раскатывалось издали. — И вы все сволочи... Чего стоите? Ха-ха! Гостеприимство?.. Подумаешь, какая честь... Молчать, когда офицер русской службы говорит!..

Николай Ребров, выбившись к двери, оглянулся. Бакенбардист-офицер, ротмистр Белявский, кричал на толпу вдруг запротестовавших эстонцев и при каждом выкрике яростно ударял себя по лакированному голенищу хлыстом.

— Эстонская республика... Ха-ха!.. Великая держава... Да наш любой солдат, ежели его кашей накормить, сядет, крякнет, вашу республику и не найти... Не правда ли, господа офицеры?..

В ответ раздался золотопогонный смех. Толпа оскорбленно зашумела.

— Господин офицер! — вышел вперед высокий жилистый эстонец. На рукаве его пальто был красный бант. — Я вас буду призывайт к порядку.

— Молчать! Ты кто такой? Коммунист? Товарищ? А хлыстом по харе хочешь? Научись по-русски говорить, картофельное брюхо, чухна!

— Господин офицер!

— Призывай к порядку свое правительство! — провизжал молоденький, как херувимчик, офицер.

— Да, да, — подхватил бакенбардист. — Где ваша чухонская поддержка войскам генерала Юденича? Изменники!.. Если бы не ваша измена, русские большевики давно бы качались на фонарных столбах... Подлецы вы со своим главнокомандующим! С Лайдонером!..

— Замолчить!.. Будем жаловаться генерал Верховский!.. Коллективно. Нехороший вы народ.

Бакенбардист с поднятым хлыстом и офицеры бросились на говорившего, но толпа грудью стала на его защиту:

— Уходить! Вы не гость нам!.. Для простой народ!.. Ваш мест не здесь! Вялья, вялья!..

А офицеры, повернувшись спиной к толпе, вдруг заметили Варю, еле сидевшую на стуле и готовую упасть в обморок.

— Ах! Вы?! Варвара Михайловна... Варя?.. Как вы здесь?.. Ведь это ж кабак... Это ж хлев!..

— О богиня, — привстав на одно колено, послал ей воздушный поцелуй юный купидон.

— Едем.

Николай Ребров, взбудораженный и потрясенный, шагал через лес под покровом голубой ночи, не зная сам куда.

— Ребров, ты?

— Я... А-а, Егоров.

— Как мне с билетом быть?..

— Наплюй!

— Чего?

— Наплюй, мол. Приходи в канцелярию, я тебе новый выпишу.

— Чего?.. Кричи громче, не слышу... Ох, дьявол, как он по уху порснул мне... Однако оглох я, парень, — уныло, подавленно проговорил Трофим Егоров, затряс головой и засморкался. — Ну и кулачище...

Их настигали бубенцы. Пешеходы свернули с голубой дороги в тень. Одна за другой промчались тройки. С передней пьяно, разухабисто и разноголосо неслось визгливое:

Гайда тройка! Снег пушистый,
Ночь морозная кругом...
По дорожке серебристой...

— Варя! До свиданья!! — не утерпев, желчно крикнул юноша.

ГЛАВА IX

«Адью, адью». — Его превосходительство

Святки закончились печально. Трофим Егоров, Масленников и еще пятеро нижних чинов, по доносу администрации Народного дома, были арестованы. Среди солдат поднялся ропот, сначала тихо, невидимкой, крадучись, как подземные ручьи, потом громче, шире, и вот, чуть ли не на глазах у офицеров, во дворах, чайных или просто где попало, стали собираться митинги.

А эпидемия брюшного тифа крепла.

Тиф валил солдат и начал подбираться к офицерам. Развернулись два русских лазарета, правда плохо оборудованных и грязных. Открыл свои действия и великолепный лазарет американского Красного Креста. Он предназначался для офицеров и чистой публики. Одним из первых лег туда адъютант, поручик Баранов. Последнее время он недомогал и на службу частенько приходил выпивши.

— Поручик, что за причина?

— Откровенно вам, генерал, скажу: совесть.

Его отвозил в лазарет Николай Ребров. Простые эстонские сани, на дне — солома. Укутанный шубами,

поручик бредил. Из его слов ничего нельзя было связать, — тусклые, серые,— лишь одно слово пламенело: «Россия!»

До лазарета десять верст. Бритый, с лисьими глазами эстонец пискливо заговорил с Николаем Ребровым:

— А ваши бегут домой. Эта проста.

— Как?

— Мой возит. На Пейпус, ночь. А там беги поскорей!

— Где живешь?

— Хе! Хитрый, — подмигнул эстонец и засмеялся в рукав тулупа.

— Не ты ли к Ножову в окно стучал?

— Мой! Ножов там, в Русь. Двенадцать солдат тоже бежаль с Ножов. Много народ бежаль. Тыща! Я твой брат знай, твой брат меня знай. Я всех знай.

— Ну а как в России, не слыхать?

— В Росси-и-и, — протянул он и прищелкнул языком. — Родуняру, дрянь... Собак кушают. Клеб нет... Гнилой картул...

Лазарет поразил Николая Реброва: все горит, белеет, блещет. На столиках, против каждого больного, букет цветов из оранжереи, и приемная — зимний сад из пальм.

На все это юноша смотрел сквозь стекла двери, внутрь его не пустили, и ему не пришлось как следует проститься с поручиком Барановым.

Домой он вернулся поздно ночью. Настроение скверное, подавленное: было очень жаль Варю, жаль самого себя и поручика Баранова. Он понимал, что Варя гибнет и что под его собственными ногами почва превращается в болото. В ком же искать поддержку? Ножов бежал, поручик Баранов, наверное, умрет, сестра Мария принадлежит другому. Вот разве Павел Федосеич: мысли его ближе и роднее юноше, чем мысли брата.

Из восьми писарей ночевали дома только четверо. А где же остальные? Но Николаю Реброву ужасно хотелось спать.

Утром, оправляя постель, он нашел под подушкой письмо в конверте, за сургучной казенной печатью. Вскрыл. Размашистым кудрявым, как дикий хмель, почерком было выведено:

Коля, друг, прощай навеки,
Может — навсегда.
Я и прочьи человеки...

Следующая строчка письма зачеркнута, и дальше — проза:

«Мы с товарищами бежим, милый Коля, старайся и ты утечь. Очень уж стосковался я по родине. А в Ельзе полное разочарование произошло, она вроде беременная, ссылаясь на меня. Я же сомневаюсь. Во всяком случае, навести ее и утешь, а полотенце мое и мыльница мильхиоровое отбери, взяв себе на память обо мне и Николае Масленниковом. Его превосходительству низкий привет с кисточкой. Адью, адью».

У Николая Реброва задрожали руки, и что-то неясно, но настойчиво скользнуло в душе: вот бы. Он сорвал с храпевшего Онисима Кравчука одеяло и ткнул его кулаком в бок:

— Вставай! Слышишь?!

Кравчук сел и таращил сонные, опухшие глаза. Белье его невероятно грязно и засалено, как и он сам.

— Когда они бежали? — спросил Ребров.

Кравчук достал из-под кровати кусок шпику, сдул с него пыль и стал рвать зубами. Он чавкал с наслаждением, закрыв глаза и покачиваясь. Широкая грудь его была вся в шерсти, поблескивал серебряный крестик.

— Кравчук, слышишь?! Когда Масленников бежал?

Хохол открыл узенькие глазки и сказал:

— А ну, хлопче, пошукай трохи-трохи хлеба.

Николай Ребров плюнул и поспешно надел шинель, — было десять часов. Кравчук вновь повалился на кровать.

В канцелярии уже сидели три писаря. За дверью слышались неверные шаги генерала и злобное кряканье. Писаря совещались, как быть.

Решили о побеге генералу не докладывать.

А вот и... Все вытянулись. Генерал опирался на палку. Лицо его за эти сутки постарело на целый год. Он сердито застучал палкой в пол и зажевал губами, прищуренные глаза его подслеповато бегали от стола к столу.

— Где люди? Я спрашиваю: где люди?!

— Не можем знать, ваше превосходительство. Они не ночевали... Кравчук болен.

Палка застучала в пол сильней, правое плечо в золотом погоне с вензелем приподнялось.

— Арестовать! Арестовать мерзавцев! — крикнул он так, что все попятились. — Ты! Писарь! Иди ко мне!

Прихрамывая и встряхивая головой, но стараясь держаться прямо, он кособоко скрылся в кабинете, за ним и Николай Ребров.

— Вот приказ о назначении ротмистра Белявского. Немедленно отправить. Комнату адъютанта Баранова запечатать казенной печатью. Хорошо ли его устроил? Где печать? — Он провел взглядом по столу. — Где печать?! — Выдвинул ящик, другой, третий... — Печать!!!

Писаря бросились искать пропажу. Все переворачивали вверх дном, перетряхивали, пуская пыль. Подошедший в суматохе Кравчук тоже стал ползать под столами на карачках, шарить шомполом под шкафом, заглядывать в печку, в закоулки, и, когда генерал, грозя всех отдать под суд, вышел на улицу, Кравчук обтер об штаны пыльные руки и простодушно спросил под общий смех:

— А чего, хлопцы, мы ищем-то?

— Идиот, дурак, — весело ответил низенький, похожий на мальчишку, писарек Илюшин. — Печать пропала, печать!

— Какая, казенная? — опять спросил хохол. — Да ее ж Масленников на память узяв.

Генерал раза два прошелся по аллее. Левая нога его дрейфила, и было тесно дышать. Он останавливался, прикладывал руку к груди и ловил воздух ртом, животный страх расширял и суживал его глаза.

— Скверно, — говорил он самому себе. — Астма. Дьявол их забери с ихней революцией. Сидел бы теперь в Крыму, в своей дачке. Нечего сказать, в хорошенькой обстановочке околевать приходится.

Он круто повернулся, хотел разнести пробежавшего солдата, что не отдал ему честь, но в это время:

— Генерал, пожальте кофе кушать! Баронесса ждет.

— А-а. Так-так... Сейчас, — сказал он свежей, в белом чепце и фартуке, молоденькой горничной. — Слушайте, Нелли... А вы, того... Вы возьмите меня под руку. И, пожалуйста, поласковей со мной, поласковей... Я так одинок... Слушайте, Нелли... Вы простудитесь. Огонь вы... От ваших щек пышет жаром. И эта грудь... Ах, Нелли!.. Вот возьмите золотой, наш, царский. Пожалуйста, пожалуйста. Я так несчастен, Нелли, так скучаю. Я очень долго по ночам не сплю... И вы... того... Не можете ль вы, Нелли-шалунья, приходить ко мне читать? Читать, хе-хе-хе... читать... И ничего более...

— Какой вы шутники очень...

— Вы думаете? О да... Мы все шутники... Хе-хе-хе. А вот и лестница. Мы все шутники, все! — Бритый подбородок генерала чуть дрогнул, и что-то засвербило в носу. — Ба-а-льшие шутники... Да, да... — Генерал вздохнул и зашагал по лестнице, пристукивая палкой.

— Вы по ночам разговаривайть, — сказала Нелли, поддерживая генерала под локоть. — С кем вы говорить?

— С богом... Молюсь. Мне единственное осталось утешение — молитва. Да, да, не улыбайтесь, Нелли... Молитва. — Подбородок его задрожал сильнее, глаза заволокло слезами, но генерал крякнул, выпрямился и, отворив дверь, бодро пошел через коридор в столовую.

— Бонжур, женераль, — поднялась ему навстречу краснощекая баронесса в гофрированном светлом парике.

— Бонжур, мадам! Бонжур! — И, щелкнув шпорами, он поцеловал выхоленную, в бриллиантах, маленькую руку.

— Садитесь, генерал. Пожалуйста, в кресло, в кресло. Мимишка, тубо! Ну, как вы себя чувствуете, генерал? Вообще, как дела?

Сидевшая на подушке Мимишка, пристально глядя на старика, наклонила лохматую головку влево.

— Благодарю вас, чувствую себя прескверно, — вздохнул генерал, наливая в кофе густые сливки, — так чувствует подыхающий в конуре старый пес, простите за сравнение.

Мимишка еще пристальней уставилась на генерала и наклонила головку вправо.

— Что вы, к чему такой пессимизм!... А правда, вы за последнее время очень изменились, очень... Вам бы отдохнуть. Ну, а как ваша семья?.. Давно не получали известий?

— Париж молчит... Плохо им там. Ведь мы же все почти оставили в России. А заграница денежки любит, денежки...

Баронесса ласково округлила подведенные глаза и задала вопрос:

— Ну, скажите, генерал, а как же дела вашей армии?.. Вообще, какие ж ваши планы в дальнейшем?..

— Плохи, — сказал генерал, пожевав губами. — О всем же прочем позвольте, баронесса, умолчать...

— Пардон... Конечно, конечно... — Она досадно двинула локтями и бедрами. — Вот не угодно ли торта с цукатом. Вы любите? А знаете, чем я угощу вас? Сейчас, сейчас... — И она нажала кнопку. — Нелли, подайте землянику и сливок добавьте в кувшин, — и, обращаясь к генералу: — Свежая, ваше превосходительство, только что с кустов, сама брала...

Генерал, опустив голову, часто мигал и чертил ложкой на скатерти квадратики. На коротко остри-

женной седой голове его блестела лысина, и вся фигура его с подергивающимися позлащенными плечами была несчастна.

Мимишка с грустью смотрела на старика, ее собачьи глаза покрылись влагой.

— Генерал, ваше превосходительство,— задушевно и тихо произнесла баронесса. — Ну, будет вам... Ну, расскажите мне что-нибудь веселенькое.

Генерал поднял смущенное, старое, как стоптанный сапог, лицо, взглянул на баронессу и, быстро отвернувшись, выхватил из кармана платок.

— Если б... если б... не вы... баронесса... — прерывистым шепотом начал он, затряс головой и уткнулся в платок.

— Ваше превосходительство... милый...

Генерал шумно высморкался и крикнул вдруг:

— Черти! Пардон, пардон... Тысячу раз пардон... Представьте, баронесса, они, черти, украли казенную печать!.. Бегут, бегут, бегут... Куда бегут, зачем?..

Печать действительно не отыскалась.

Вечером, при закрытых дверях, ротмистр Белявский вел разговор с генералом.

— Вы, ротмистр, слышали?

— О да.

— Я совершенно сбился в ситуации событий: и прошлых и, в особенности, будущих. А то, что делается теперь...

— Разрешите, ваше превосходительство, пояснить, насколько я, так сказать...

— Пожалуйста, пожалуйста.

Генерал развалился с ногами на кушетке:

— Извините, ротмистр, но за последние дни я так... я так...

Ротмистр же сел на круглый табурет, как журавль на кочку. Он вынул платок, встряхнул его — запахло любимыми духами баронессы «Dolce mia» — и высморкался.

— Вот в чем дело, — начал он, — придется, фигурально выражаясь, танцевать от печки, от Бермонта.

Я, конечно, ваше превосходительство, ничуть не претендую на непогрешимость, так сказать, своих...

— Я, ротмистр, слушаю.

— Пардон... Конечно, история со временем выяснит, ваше превосходительство, все те махинации союзников и немцев, все те явные и скрытые рычаги, всю ту закулисную карусель и неразбериху, которая...

— Кха! — кашлянул, точно выругался, генерал.

— Пардон, пардон, — звякнул ротмистр шпорами. — Во-первых, где корень наших неудач? В полковнике Бермонте. Неоспоримо! Этот неспособный тщеславный человечек вдруг вообразил себя Наполеоном и заявил, что он может выбить большевиков из Риги только во главе собственной западной армии, русской, конечно.

— Нахал! — прошипел генерал и швырнул окурок.

— Да. А германцам, в особенности графу Гольцу, это наруку: ах, пожалуйте, действуйте... И вы понимаете, ваше превосходительство, как этот самый Бермонт (он же князь Авалов, самозванный, конечно) отказался явиться к Юденичу, когда тот вызвал его? И вышло так, что Юденич, вместо того чтобы соединиться с силами Бермонта, предпринял наступление на Петроград один. А Бермонт двинулся на Ригу. Значит, силы разбились. И совершенно резонно Юденич объявил Бермонта изменником русского дела. И все это разыгралось под германскую дудочку графа Гольца: дернул граф нитку — Юденич на Питер двинулся, дернул другую — Бермонт в противоположную сторону пошел, на Ригу, дернул третью нитку — английский флот, вместо обстрела Кронштадта и Красной Горки, то есть вместо помощи Юденичу, направился в воды Рижского залива. А почему? Да очень просто, ваше превосходительство: германскому командованию важно было, чтоб наступление Юденича не удалось: освобождение Петрограда от красных банд с помощью союзников обозначало бы что? А то, что союзники укрепили бы этим самым свое влияние на русские дела и, конечно, имели бы не последний, если

не первый, голос в организации будущего правительства России.

— Подлецы... Мерзавцы...

— Но ведь вы, ваше превосходительство, насколько я осведомлен... Ведь ваша ориентация была...

— Что? Вы кончили?

— А во-вторых, — прищурил ротмистр левый глаз, — командный состав нашей армии...

— Что? Командный состав был плох? Вы кончили?! — Поднялся генерал и, загребая ногою, принялся шагать по комнате. — А знаете что, ротмистр? Вы, простите, ничего нового, оригинального не сообщили мне... Я — боевой генерал и эту жвачку прекрасно знал и без вас... Поверьте. Вы кончили? Покойной ночи, ротмистр...

— Покойной ночи, ваше превосходительство... А что касается грядущих событий...

— Покойной ночи!

— Покойной ночи, ваше превосходительство...

— Покойной...

Ротмистр Белявский, поклонник вдовой баронессы, ночевал у нее в доме. Его комната, куда он завтра переселяется на жительство, рядом с ее спальней. Генерал же помещается в дальнем конце коридора. Он скучал эту ночь особенно сильно. Молился один, одинокий. И Нелли не пришла к нему. Николай Ребров тоже спал очень тревожно. Боролся во сне с какими-то чудовищами, кричал, стонал. В него вползала болезнь и, одуряя кровь, растекалась по всему телу.

ГЛАВА X

Из сна в сон и в пробуждение

Прошло сколько-то суток, или ночей, или, может быть, минут, — раз, два, три, четыре, — Николай Ребров не может отчетливо и ясно себе представить: шум, туман, движенья — и все как сон, — знакомое лицо с холеными баками. Ага! Да это ж ротмистр Белявский, его начальник.

— Слушаюсь, ваше высокоблагородие! Рад стараться!..— И бежит, бежит, какие-то подшивает бумажки к делу, пишет, нумерует, раз, два, три... четыре...

И много, много лиц, канцелярия едва вмещает: солдаты, офицеры, военные чиновники, санитары, женщины... Деньги, деньги, деньги...

Армию предположено распустить. Заготовляются ликвидационные ведомости, вороха бумаг, горы бумаг, — черт! — в них можно утонуть. А голова горит, и сердце стучит болезненно...

И вечером, при свете зеленых ламп, а может быть, при зимнем блеклом солнце:

— Твое лицо мне знакомо... Где ж я тебя видел?

— Не могу знать, ваше высокоблагородие.

Теперь Николаю Реброву все равно: рождественская ночь, театр, скандал — пусть сажают в тюрьму, пусть казнят. И он той же фразой, как и там, при Варе: — Не имеете права драться! Позор! — Но он, очевидно, крикнул в душе, беззвучно, потому что ротмистр Белявский не ударил его по лицу, не сшиб на пол, не топчет ногами. Ротмистр Белявский, улыбаясь и насвистывая веселую песенку, прозвякал от стола к столу, к шкафу, к генералу, к двери, в ночь. И там, в ночи, возле спальни шикарной баронессы, в ее спальне, там... Ах, ротмистр Белявский, какой вы подлец... Варя, Варя...

Николаю Реброву сдаваться не хотелось. Он все еще держался на ногах. Свалиться тифом — значит умереть. Он через силу ходил в канцелярию, через силу занимался делом, переписывал ликвидационную ведомость, ему казалось иногда, что в его руках вместо пера большая трость и он макает ее в прорубь.

— Развесь... Только аккуратно... По пяти гран.

Он не знает, и не хочется ему знать, кто произнес эти слова, он ощупью и сонно, как слепой, стал исполнять приказание. У него нет уверенности, что он делает правильно и точно: то ему представится, что

крошечная гирька из разновеса — целый фунт, то белый порошок вдруг превратится в зеленый, потом в розовый, и еще казалось, что это руки не его, чужие, и он сам чужой, не настоящий, что его здесь нет и вообще его нет нигде. А кто же такой он?

— Я — Николай Ребров, — утверждал он свое бытие и настойчиво приказывал себе: — Вешай вернее. Это же лекарство, лекарство... Пять гран... Перевесь, проверь.

И в голову, в самое темя, болезненно раздвигая волосы, удар за ударом вгоняют железный клин. Нет сил закричать, уйти, нет сил остановить эту пытку, все тело горит, и телу холодно, кто-то, каплю за каплей, льет на позвоночник ледяную воду. Хочется потянуться еще и еще раз, хочется зевнуть, но все тело заключено в железную душную печь, как в корсет, трудно дышать, вот все задвигалось, зашуршало, как осенний, в бурю, лист, — столы, люди, лампы — все приподнялось вверх и вместе с Николаем Ребровым шумно упало на пол.

Вместе с Николаем Ребровым на двух подводах везли целую партию больных. Юноша, закутанный в одеяло, дрожал, но все происходящее было для него понятно. Дорога знакомая. Вот гора. Где-то вблизи живет сестра Мария,— Мария!..— Так, проскользнуло в мыслях и погасло. Не хотелось ни о чем вспоминать, не хотелось думать. Скорей бы! Зачем остановились? Крутая гора. Бело кругом, и не видать цветистых трав. Остались лежать только тяжко больные, замученные бредом. Николая Реброва вели в гору двое. Он старался вырваться и убежать, голова тяжелой гирей запрокидывалась назад, а потерявшие упругость ноги деревянно шагали сами по себе, опережая тело.

Дышать трудно, тесно.

— Уберите волосы! Остригите! Больно!..— кричал он громко, и от этого крика прекращавшееся дыхание его возобновлялось.

В борьбе и крике истек весь путь.

И снова та же грязная солома, тот же коридор-колодец и лампочки с резким, раздражающим светом. Весь воздух густо набит криками, стонами. Сотни брошенных на солому тел плотно вымостили весь пол бесконечного коридора. Одержимые бредом люди ворочались, вскакивали, валились вновь, переползали с места на место, как пьяные:

— Я царь, я бог! Я царь, я бог! — безостановочно и дико, ударяя кулаком по воздуху, выкрикивал сидящий у стены безумный. — Кланяйтесь мне! Я царь, я бог! Я царь, я бог!.. — Это был черный, лохматый, с горящими глазами человек.

«Неужели он... как его... воззвания, газеты? Ножов?.. Нет, не он... Отец Илья, священник?» — На мгновенье прояснилось в памяти, и вновь все поплыло и потускнело. Скорей бы.

Но вот ясно и очень близко, там, в том далеком-далеком конце, близко, двое, а может быть, и больше, в белом, двое: мужчина и женщина. Сестра Мария? Да.

— Сестра Мария... Сестра Мария. Скорей! Умираю...

— Я царь, я бог, я царь, я бог!.. Кланяйтесь, кланяйтесь владыке! Я царь, я бог!.. Я царь, я бог!..

— Молчи! — И больной сосед ударил безумца по лицу.

— А-а-ах!

И там, очень близко, но очень далеко, ползут за сестрой Марией на карачках, хватают ее за одежду.

— Помоги-и!.. Помоги-и-и... К нам!.. Ко мне!..

Но она быстро пересекает пространство, за нею люди в белом с носилками и фонарями. Их много.

— Этого, еще вот этого, — указывает сестра Мария, но голос не ее, и по ее приказу подымают, куда-то несут больных. Она идет быстро, зорко всматривается черными глазами в лица умирающих и...

— А где же сестра Мария? — И Николай Ребров приподнялся на локтях.

— Вы откуда? Где служили? Фамилия? Когда вас привезли? Санитары! В палату номер пять, — приказала она быстрым голосом и жестом.

Большой, шероховатый, страшный, трескучий сон, длинный-длинный, вместивший в себе всю жизнь. И безумно хотелось жить, ну хотя бы день, ну — час, но смерть надвигалась. Тогда в Николае Реброве кто-то сказал: «Все равно». И еще тянулись годы и мгновенья. Они проплывали в белых мелькающих крыльях, в призраках, и белые крылья плыли в них, мелькая.

Но вот Николай Ребров впервые открыл глаза в солнце, в жизнь. Солнце било сквозь тонкие шторы, и через дырочку на шторе солнечный луч ударил юношу в левый глаз. В глазу, в другом, в голове, в сердце загорелась от этого луча настоящая радостная жизнь и бодрящими токами властно застучала во все концы, во все закоулки бесконечного молодого тела.

Николай Ребров закрыл глаза, но тотчас же открыл их и кому-то улыбнулся.

— Ну, как? — подмигнул и тоже улыбнулся черный, словно грек, длинноусый штаб-ротмистр Дешевой.

Он с лысым пожилым человеком, у которого — сухое, голое треугольное лицо с тонкими вялыми губами, играл в шашки.

— А-а! Поздравляю... — кивнул головой и лысый, запахивая большой, рыжего цвета, халат.

— Здравствуйте, господа, — попробовал Николай Ребров свой голос. Голос звучал плохо. — Что, в шашки?

— В шашки, — ответил черный, пучеглазый. — Ну, как, не тянет на еду?

— Поел бы, — сказал юноша, облизнув губы.

Тогда оба игрока весело засмеялись.

— Ну, слава богу!.. Это хорошо, — сказали они. — Значит, смертию смерть поправ...

Юноша выбросил из-под одеяла руки, схлестнул их в замок и сладко потянулся. Маленькая, в два окна, светлая комната, под потолком чернеет распятие, и в белом, с красным крестом на груди, вошла сестра. Она повела соколиными, в крутых бровях, глазами и приблизилась к юноше. Она пожилая, с измученным лицом, но глаза ее блестят, и голос ласков:

— Ну вот, слава богу, Ребров. Отводились. Сейчас врач придет. Поставьте, пожалуйста, градусник... А мне впору самой слечь. Больных масса, и ужасно плохо поправляются...

— Много умирает? — спросил пучеглазый Дешевой.

— Пачками! Несчастные наши солдаты. Ухода никакого почти нет, лекарств нет, питание скверное... Я просто сбилась с ног за эти две недели, сплю по два часа.

— Сестрица, хорошо бы чего-нибудь питательного, а то похлебка, каша, похлебка, каша, кисель.

— Я ж вам говорила, господа, что кредиты прекращены и мы существуем на пожертвования. Только за рытье одних могил мы задолжали эстонцам более трех тысяч марок.

— Но почему ж не воспользуются услугами солдат? — спросил лысый.

— А где их взять? — подняла сестра брови и пожала плечами. — Одни убежали к большевикам, другие разбрелись по мызам, по фольваркам, третьих тиф свалил.

Два его товарища — офицеры — оказались интересными людьми. Лысый, пожилой, во время японской войны, будучи юношей, попал в плен, женился в Токио на японке, но жена умерла от родов. Он знает японский и английский языки и теперь, добыв какими-то путями самоучитель Туссена, учится по-французски.

— Пригодится, — говорит он тягучим голосом. — Во Франции наши лакеями служат, ну вот и я готовлю себя в шестерки. Вот не угодно ли «Атала» Шатобриана долбить... С больной-то головой.

— Занятие для офицера подходящее, — раскатился громким болезненным хохотом штаб-ротмистр Дешевой, длинные усы его трагически тряслись. — Лакействовать... Ха-ха!

— А что же такое! Вы из дворян, а я мужик. Я всякий труд люблю, — обиделся лысый, и голое

треугольное лицо его метнулось к Дешевому. — И потом, знаете, какая мечта у меня за последнее время? Вот за время болезни... Вы знаете, что когда душу и тело связывает лишь тонкая ниточка нашей грубой земной жизни...

— Метафизика... — отмахнулся пучеглазый Дешевой. — Инфрамир, супрамир, астрал... Чепуха в квадрате... Тьфу!

— Ну хорошо, хорошо, не буду! — И углы рта лысого офицера повисли.

— Нет, пожалуйста, это интересно, — нетерпеливо проговорил Николай Ребров.

Лысый с готовностью подсел к нему на кровать и сказал:

— Благодарю вас... Хотя вы еще очень молоды... И, конечно, вам это будет непонятно. Так вот я и говорю... Когда бог благословит вернуться на родину, уйду в монастырь, в затвор.

— Предварительно омолодившись в Париже, — насмешливо прибавил черный и сердито запахнул халат. — Молодым старцам в монастырях лафа.

— А вы, Дешевой, про оптинских старцев слышали? — через плечо задирчиво спросил лысый.

— Я монашенок знаю. Одна, сестра Анастасия, два раза в неделю приходила ко мне белье чинить. Потом забеременела, и ее выгнали из монастыря.

— Циник, — втянул голову в плечи лысый и, обхватив локти ладонями, сгорбился.

— Лучше быть циником, чем святошей и ханжой.

— Ах, оставьте... А вот и суп...

— Ура! С курицей!.. — закричал Дешевой, и оба с лысым бросились целовать руки сестре Дарье Кузьминишне.

Николай Ребров худ и желт, как еловая доска, у него непомерный аппетит, он проел новый шарф, рубашку и теперь проедает серебряные часы. Под подушкой у него двадцать франков. Это — капитал. Дарья Кузьминишна ему как мать. Она очень строга,

предписания врача исполняет в точности, и орлиные глаза ее зорки.

— Вот ваша курица, вот ваша булка, — говорит она. — Кушайте, ничего... Дайте мне еще франк... Ужасно дорого все. Я куплю вам масла и кофе... А на ночь ничего не получите: у вас температура все-таки скачет. Да! приходила... как ее... Мария Яновна... Знаете такую? Три раза... Я ее не пустила к вам... Не для чего...

— Напрасно, — с грустью сказал Николай и вздохнул. — Ах, как жаль... Неужели три раза? Я ее... очень люблю. Ведь она была сестрой...

— Замужних любить грех, — улыбнулась Дарья Кузьминишна, и лицо ее вдруг помолодело.

— Я ее любил так, просто... По-хорошему!

— Я и не сомневалась в этом. — И она мечтательно уставилась взглядом в окно.

За окном падал рыхлый редкий снег, и догорала зимняя заря.

А когда заря погасла и в комнате был полумрак, вошел солдат. Он отряхнул шапкой валенки и, озираясь по сторонам, робко спросил:

— Который здесь будет Ребров Николай?

— Я. — И юноша взял из рук солдата письмо.

Сестры не было. Он вскрыл конверт.

«Коля, милый брат! Обязательно сегодня. Ждем. Я в четырех верстах от тебя. Да ты отлично знаешь. Приходи, если поправился. Письмо посылаю наугад. Необходимо, необходимо встретиться. Твой Сергей».

Николай вплотную подошел к солдату и тихо, почти шепотом:

— Кланяйтесь Сергею Николаевичу. Приду!

После обеда из соседних комнат к ним набралось несколько человек выздоравливающих офицеров, пожилых и молодых. Конечно — шашки, грязные анекдоты, подтруниванье над лысым. Дешевой кого-то успел обыграть, с кем-то поругался, кричал:

— Армия! Какая, к черту, у нас армия?.. И что мы за офицеры? Где наш император?

— Я не императору служил, а народу, — возражал гнилозубый, с рыжими седеющими усами офицер. — И теперь служу народу.

— Кулаком по зубам вы народу служите.

— Врете! Нахально врете...

— Господа, господа! — тщетно взывал лысый. — Это ж свинство наконец!

— Молчи, отец игумен! — гремел басом Дешевой.

Кто-то из дальнего угла:

— Князь Тернов преставился...

— Ну?! Когда?

— Сегодня утром. Кранкен.

На мгновенье пугливая тишина, и — сквозь подавленные вздохи:

— Царство небесное... Еще один ад патрес...

Некоторые наскоро, как бы крадучись, перекрестились. Дешевой перекрестился усердно и с отчаянием.

— А вместе с князем — еще двое: Чернов и Сводный.

— Царство небесное, царство небесное...

Пожилой человек с запущенной седеющей бородой сжал виски ладонями и, застонав, уставился в пол. Дешевой надтреснуто запел:

Наша жизнь коротка-а-а...
Все уносит с собо-о-ю-у-у...

— Не войте, ну вас!..

Дешевой боднул головой, брови его отчаянно взлетели вверх:

— Э-эх, выпить бы! — треснул он кулаком в стол.

Пробило восемь. Сестра Дарья Кузьминишна быстро развела всех по комнатам и выключила свет:

— Покойной ночи!

К девяти все стало тихо. В коридоре горела лампочка.

Николай Ребров надел две пары толстых шерстяных чулок, а сверху чьи-то старые галоши, разорвал сзади по шву халат, загнул его полы на манер штанов, накинул на плечи казенное одеяло и прокрался

коридором к выходу. Пусто. Заскрипела дверь в сени, — куча прикрытых рогожею гробов — скорей мимо, — и вот он на дворе. Возле калитки караульный:

— Куда? Кто такой?

— Дарья Кузьминишна приказала зайти за хиной.

— Иди, да скорей! Скоро запру.

Мороз небольшой, и лесная дорога в тишине. Юноша, надбавляя шагу, жадно вдыхал пахучий и крепкий, как брага, воздух. Закружилась голова, ноги шли вслепую, как у пьяного, спину прохватывал холод. Но вскоре, насытившись кислородом, кровь распалила мускулы и душа юноши взыграла.

Ах, как хорошо вырваться от смерти, чтоб видеть вот эту ночь, вот этот лес, дышать, и радостно плакать, и улыбаться звездам. Юноша не двигался, юноша созерцал себя и жизнь, а двигалась дорога, сначала медленно, потом быстрей, быстрей, и вот Николай Ребров у цели.

Та же комната в антресолях барского дома, тот же красноватый свет под потолком.

— Брат, Сережа!

Сергей Николаевич мгновенье стоит с открытым ртом!

— Колька, мальчик! Ты! Вот так маскарад...

И, разрывая объятия, тянется пухлая рука пухлого Павла Федосеича:

— Эге! Вьюнош! Что за вид...

Покрытая инеем большая кукла срывает с себя чалму, одеяло, халат и, греясь в одном белье у жаркой печки, торопится рассказать про свою жизнь.

Торопится брат с Павлом Федосеичем, торопится и денщик и двое незнакомых, бородатых — высокий и низенький, — увязывают вещи, наскоро глотают полуостывший чай, жуют с хлебом колбасу.

— Ну что ж, братишка Коля, можешь с нами бежать?

— Куда?

— В Париж, вьюнош, в Париж! — бабьим голосом притворно-весело кричит Павел Федосеич, но выпуклые глаза его тревожны.

— Да ты болен или здоров? — И Сергей Николаевич — трясущейся ладонью ко лбу брата.

— Когда собираетесь?

— Ровно в час... Теперь семь минут двенадцатого.

Сердце Николая Реброва сжалось, кровь ударила в виски, отхлынула:

— В Россию?

— Ну да, через озеро.

— И я... Брат, возьми меня! Сережа... — Ноги его подогнулись, он качнулся, упал на что-то мягкое.

И сквозь песок, вой ветра, сквозь красное шуршанье падали откуда-то сверху в самый мозг, в самую больную точку — чужие, холодные слова:

— Как же быть?.. Надо остаться.

— Я не могу... Все готово. Деньги уплачены.

— Но нельзя же бросить больного...

— Я не могу...

— Дозвольте остаться мне...

И всё. Потом кто-то склонялся над ним, целовал, шептал.

Перед рассветом юноша открыл глаза:

— Ушли?

— Ушли, так точно, — ответил денщик Сидоров.

Из глаз юноши потекли слезы. Сидоров, с добродушным лицом белобрысый парень, зажег лучину — и в самоварную трубу.

— Ничего, приятель, ничего, — говорил он, свирепо продувая самовар, — настанет и наш черед. Не век же здесь сидеть будем... Однако вас нужно в больницию... Ужо горяченького попьем... Коньячок остался... На донышке...

И вскоре же ввалился с чемоданчиком пыхтящий Павел Федосеич.

— Что ж, ваше благородие?! — удивился Сидоров.

Павел Федосеич швырнул чемодан, сорвал с плеч полушубок и грузно сел на пустую койку.

— Вернулись? — уныло спросил и Николай Ребров.

Толстяк опустил голову и, закрыв ладонью глаза, коротко, прерывисто дышал.

— Погиб... Погиб я... Анафемски малодушен оказался... Колпак, дрянь, тьфу!.. баба! — бабьим голосом выкрикивал он, притоптывая пяткой в пол. — Я не один, не один... Еще трое вернулись... Страшно. — Он подошел к юноше и неуклюже опустился пред ним на колени. — Колечка, голубчик... Страшно! Этот сволочь возница, чтоб ему, чухне, поколеть, таких ужасов нагородил — беда! Будто бы много наших померзло, и только счастливчики благополучно выбираются. Толстопузый дурак я, черт... Сидел бы я, толстопузый, во Пскове, нет! Черт понес отечество спасать. Ну и подыхай, старый дьявол, здесь... Сидоров, дружище... Давай пить, пить, пить!

— Есть, ваше благородие. — И Сидоров достал из своего топорно сделанного сундучка завернутую в грязные подштанники бутылку с ромом и кусок сыру.

Павел Федосеич жадно выпил целый стакан и сразу рассолодел.

— С холоду оно приятно, — улыбнулся Сидоров.

— Колька! Вьюнош! — закричал толстяк. — Знаешь, кто это? — И он похлопал Сидорова по плечу. — Это ангел, это спаситель твой. А я подлец, и кузен твой подлец, и все мы подлецы, бросили тебя, миленького нашего, больного мальчишку. А вот он не бросил... Запомни, вьюнош, русского мужика!.. На всю жизнь запомни!.. Ведь кто нас бежать-то подбил, кто горел этой идеей-то? Он, Сидоров. А вот остался. Это не подвиг с его стороны? Подвиг!.. Христианский! Ближнего возлюбил... А ведь ты ему чужой, — толстяк обнял Сидорова и плакал у него на плече. — Не Сидоров ты, а Каратаев, знаешь, у Льва Толстого Каратаев такой есть, солдат... Вот ты его внук-правнук...

— Так точно, — сказал Сидоров, простодушно улыбаясь. — На нашей деревне Каратаевы имеются... Конешно, кузнецы они... — Нос его еще больше закурносился, и узенькие глазки потонули в скуластых лоснящихся щеках.

— И ты больше не денщик Сидоров, ты знаменитый крепким русским разумом, мягким русским глупым сердцем потомственный мужик. Пей, гражданин Сидоров!.. Колька, пей!

Николая Реброва качало и потряхивало, и кто-то в дальнем углу, за самоваром, срывал и вновь набрасывал на гроба, на кучи гробов, рогожу.

Наступил рассвет. Красный фонарик под потолком погас. Павел Федосеич, мертвецки пьяный, лежал на ковре, широко раскинув пухлые ноги. Он слюняво жевал и мямлил, левый глаз его полуоткрыт и подергивался, как в параличе. За окном мутнело полосатое утро, вначклон заштрихованное медленным пунктиром догоняющих друг друга снежинок, и бессонные глаза Сидорова точно так же мутны, медлительны и бледны, как за окном рассвет.

Но когда окреп день и пики елок четко зачернели на мглистом небе, Сидоров доставил больного в лазарет и чуть не на себе втащил его по высокой лестнице.

— Беглец! Несчастный беглец! — вскричал Дешевой, смачно обсасывая куриную лапку.

На губах Николая Реброва жалкая улыбка, и взор утомленных, ввалившихся глаз его со щемящей тоской окинул стены недавней своей тюрьмы.

Стремительно-нервная походка — чек-скрип, чек-скрип, — и в самую больную точку, в мозг, в душу град упреков.

— Дарья Кузьминишна, — взмолил лысый, и его треугольное лицо сложилось в тысячи морщин, — умоляю, полегче с ним.

— Дарья Кузминишна! Да вы посмотрите, каков он! — как бревно с горы, бас Дешевого.

— Они совсем больные-с, — жалеющим голосом добавил Сидоров. — Они несчастны-с.

Юноша на этот раз действительно тяжко заболел.

Прошло мучительных три дня. Военный доктор, зауряд-врач Михеев, молодой, но облезлый человек, распушил Дарью Кузьминишну, сменил сиделку,

оштрафовал караульного, однако эти меры ничуть не улучшили состояние больного. Нервно потрясенный, он метался, бредил, с его головы не снимали ледяной пузырь.

За эти три дня двухэтажный дом туго уплотнился вновь поступившими больными. Вместо пучеглазого Дешевого и лысого офицера, выбывших из лазарета, в маленькой комнатке Николая Реброва пять человек тяжко больных.

И вот среди ночи — изразцовая печь не печь, изразцовая белая печь — их белая комната, там, под Лугой. Конечно, так: отец, мать, сестренка — все пьют чай. И он, Николай, пьет чай. Что ж тут удивительного? И что-то удивительное есть, но оно в глубине, в провалах, какие-то горькие туманы мешают удивиться.

«Коля, твой чай остыл», — говорит мать.

«Сейчас, мама, погоди, погоди, сейчас», — вот он расхохочется, вот вспомнит, захохочет иль заплачет.

И так все просто, тихо. Отец плывет, утонул в газетном листе, как в море. Хочется обнять его, приласкаться. Тихо, хорошо, и на сердце тихо.

— Пожар, пожар! — Это какой-то хулиган, мерзавец промчался мимо их белой комнаты, там, под Лугой. Хулиган кричит: — Пожар, пожар! — и сразу блеск.

Николай Ребров вскочил. И все вскочили: темно!

— Огня! Свету! Мы горим!

Шум, беготня, крики, изразцовая печь. Нет изразцовой печи, все — изразцовая печь, все — гвалт, костер и пламя...

— Скорей! Выносите скорей! Тише, осторожней.

— Этого, этого, этого... Ну!!

— Бегите!.. Звоните!.. Телефон! Телефон!..

И в самую больную точку, в мозг:

— Закрывайте шубой... Закрывайте одеялом...

— Сестрица! Куда?

— На улицу, пока на улицу... Ну!..

Горел первый этаж лазарета, горел второй этаж, горели гробы, крыша, снег, горели больные, забытые в доме, горел костром мозг Николая Реброва.

— Маама...

В огненном окне замотался призрак, спрыгнул вниз, в смерть; от обуглившихся членов зашипел вспотевший снег.

Кто-то едет, скачет, еще, еще. Холодная струя воды крепко ударила в дым, в пар, в стену.

— Качай!.. Закрывай!.. Багры, багры!..

Николай Ребров из-под шубы, с койки, во все глаза — и не может понять, что кругом, где он.

— Берегись, берегись, трах твою тах-тах!! Черт!..

Николай Ребров сразу понял: «Россия» — чрез уши, чрез тончайшую сеть вибраций, в самую больную, в самую желанную улыбчивую точку этой похабной русской руганью, и вот самое светлое слово, как в метельную ночь призывный звон: «Россия!»

— Берегись, берегись!.. Задавит...

И огневая стена, охнув, с треском рухнула.

И дальше: скрипел под полозьями снег, или собачья свора выла в тыщу голосов. Когда откроешь глаза: лес, спина возницы; когда закроешь — тьма, зыбкая, баюкающая. Лес, тьма, лес, тьма. Нет, лучше не открывать глаз. Что-то с его, Николая Реброва, телом, и тело это чужое, противное, грузное, куда-то его несут, может быть, на погост несут, сердито переговариваются. Недолгая тишина и — сразу густые, бесконечные стоны. Застонал и Николай Ребров. Он открыл глаза и по-живому осмотрелся. Жив. Народный дом. Тот самый: сцена, солома, куча больных. Опять, опять! Почему они не замолчат? Убейте их! Вышвырните их вон, на снег, к черту! Опять больные...

Но вся в сиянье, в звездах подходит к нему она...

— Сестра Мария, спаси...

— Да, я Мария-дева. Спасу!

И его несут невидимые руки, и голос Марии-девы говорит:

— В артистическую, в уборную... Затопите печь.

Ах, эта печь, белая, изразцовая. Нет, нет, это их белая комната, там, под Лугой.

«Коля, твой чай остынет», — сказала мать.

И газетные листы над головой отца зашевелились. Сестра, маленькая девочка, сестренка Катя. Белая

комната, их комната, там, под Лугой, белая комната тиха, так тихо, так понятно все. И что-то нужно вспомнить ему. Силится, силится, но не может вспомнить. Вспомнил:

— Мама! Умираю... Неужели ты не чувствуешь? Смерть.

«Пей чай... Пей до дна! Так надо».

И вновь тьма, и вновь светло, лесу нет, не скрипит снег под полозьями, но собачья свора воет. Псы говорят, — не псы, санитары, но у них собачьи хвосты и зубастые песьи морды, — псы говорят:

— Этот готов... И там шестеро... И этот... Всего семнадцать... Надо выносить...

Сквозь щелки полузакрытых глаз Николай Ребров видит: утро, в окнах свет, на полу солома, и плечо к плечу по всему полу больные или мертвые. Один, рыжеусый, рядом с ним, лежит спокойно, словно спит. Да ведь это же Карп Иваныч, торгаш из-под Белых Струг. А что ж его сын Сергей?

— Карп Иваныч! Где ваш сын? Карп Иваныч, вы живы или умерли?

«Умер», — ответил, не дрогнув, Карп Иваныч, и голова у него стала лошадиная.

Тогда санитар плюнул в руки и стащил с него сапоги:

— Деньги, наверно, есть. Глянь, какое богатое кольцо.

— Кольцо мне, тебе сапоги.

— Ишь ты... А в зубы хочешь?..

И здесь и там — везде обшаривают мертвецов: часы, сапоги, запонки, куртки, портсигары. Потом садятся в угол и при живых, нос в нос уткнув собачьи свои морды, делят добычу, как при мертвых. Живые стонут, охают. Николай Ребров кричит:

— Я еще жив! Не подходи!.. Завтра! Может быть, завтра так же и меня. Завтра...

Но собачьи хвосты растут-растут, крутятся, хлещут, они захлестнут его, они задушат. Стра-а-шно...

— Милый, я здесь, — говорит не Мария-дева, а просто сестра Мария, — я с вами, я люблю вас. Мой муж, Дмитрий Панфилыч, помер.

ГЛАВА XI

Либо смерть, либо Россия

В конце февраля тифозная эпидемия остановилась. Ликвидация Северо-Западной армии, затихшая было во время эпидемии, развернулась в полной силе. Выдавали расчет с большими вычетами за продукты, за обмундировку, выдавались аттестаты о службе.

Николай Ребров каким-то чудом окончательно оправился. Он напряженно занимался в канцелярии с раннего утра до глубокой ночи. Он слаб, тощ и бледен, волосы на бритой голове вырастали медленно, от носа к углам рта пережитое пропахало две резкие вечные борозды, веселые быстрые глаза стали задумчивы, строги, умудренны: они так недавно глядели в смерть.

Состав писарей новый. Прежние бежали или умерли. Умер и хохол Кравчук. Умирая, молился об Украине, о матери: «Ой, мати, мати», о своей жене Гарпине.

Трофим Егоров, приятель Кравчука, похоронил его в лесу, версты за три от дома баронессы. На могиле поставил большой, чисто оструганный крест. На кресте надпись:

«Господи, прими дух твой с миром».

«Здесь покоится унтер-офицер штабной писарь Кравчук Анисим, пострадавший за веру и отечество, который где-то из-под Киеву. 17 февраля 1920 года. Аминь».

Урвав свободный час, Ребров с Трофимом Егоровым пошли на могилу. Навстречу им или опережая их, попадались бывшие солдаты армии Юденича и русские мужики.

— Куда, братцы?

— Куда глаза глядят, — с горечью отвечали они. Их вид был злобно покорный, как у людей, приговоренных к многолетней каторге, утомленные их глаза с ненавистью озирались по сторонам. — А не знаете ли, где тут фольварк Шпильберг?

— Были мы у Ганса, чухна такой есть, мыза у него. Ну, прижимист, черт: за хлеб, говорит, ежели, работайте. Вас много, говорит, тут шляется. А придется, придется дарма работать: есть-пить надо... Эх, братцы...

— Мы как челноки: угнало нас бурей с родных песков, прибило к чужому берегу, посадили нас на привязь, а вот теперь и причалы обрезали: плыви, кто куда желает... Эх, жисть!

Эти надрывные слова стукались в сердце юноши, как комья земли в крышку гроба.

А вот и могила: крест с венком из хвой. На прибитой жести земляком покойного, ветеринарным фельдшером, старательно написано:

О друг, поверь мне из-за гроба —
Твой друг остался здесь живой,
А из холодного сугроба
Не увидать земли родной.
Но все пройдет, настанет лето.
Певунья птичка прилетит,
И мне, несчастному, о, где-то
Придется голову сложить...

Сочинил народный поэт *В. Ф. Злынка*

Юноша минуту постоял с опущенной головой, прочел стихи и неожиданно для самого себя вдруг заплакал.

— Колька, что ты? — растерялся Трофим Егоров. — О чем ты это?

Юноша с трудом оторвал ладони от лица и через озера слез радостно взглянул на солдата.

— О себе, Егоров, о себе, — сказал он, выдыхая слова. — Кравчук зарыт, а надо мной нет такого креста, и я живой. Ему не видать больше родины, а я увижу. Уви-и-жу! Егоров, ты любишь Россию, родину?

— Она баба, что ли? Хы, смешно. — И лицо солдата раскололось пополам улыбкой.

— Дурак ты, — сказал Ребров весело.

Лицо Егорова вмиг срослось, он отвернулся, засопел.

Он за последнее время состарился лет на десять: бритый, согнувшийся, обрюзгший, был похож на старуху с запавшим ртом.

— Конешно, тоскую по домашности, — обиженным голосом сказал он.

— Бежим, Егоров!

— Куда? В Россию? Бежим, Колька. — И узенькие глаза солдата совсем сложились в щелки. — А как сдохнем, окочуримся али замерзнем на озере?

— Пусть. Либо смерть, либо Россия!

Они возвращались домой в радостном молчании. Были сизые сумерки, воздух мягок и пахуч: зима последний доживала срок.

ГЛАВА XII

Взбитые сливки и яйца с перцем

Генерал чувствовал себя значительно бодрее, должно быть баронесса откормила его взбитыми сливками: костыль давно заброшен, глаза помолодели, голос стал уверенней и крепче. Генерал дождался наконец известий от семьи. В Париже все благополучно. Париж живет вовсю. Со всех сторон съезжаются туда финансовые тузы и сорят награбленным на войне золотом. В Париже шумно, шикарно, весело, но если б знал генерал, с какими лишеньями существовала там его семья. Впроголодь, в долг, с униженьями, с нищенской экономией в каждом франке, в каждом сантиме и так вплоть до того дня, когда генеральше, через поручительство какого-то благодетеля, удалось получить в Лионском кредите чек на пять тысяч франков.

Генерал тоже получил здесь изрядный куш ликвидационных, выписал Нелли из Юрьева золотые часы, и Нелли время от времени заходит в комнату генерала, чтоб почитать ему на ночь. Вот уже неделя, как генерал перестал по ночам молиться и лить слезы пред походным своим образком. Генерал те-

перь спит спокойно, улыбчиво, генералу снятся сплошные, соблазнительные сны.

— Ах, Нелли... Какой я видел сегодня сон... Будто бы вы и я идем к морю, в Крыму, конечно... Зной, солнышко, виноград... Сбрасываем с себя одежду и прямо в волны...

Он рассказывает дальше, смачно покрякивает, на забористых местах целует концы пальцев, хихикает.

Нелли кричит:

— Врете, врете, ваше превосходительство! — и заливисто хохочет в белый фартук.

Генерал, хихикая и подрыгивая ногами, треплет ее за пухлый раздвоенный подбородок, гладит шею и пониже, сует за корсаж теплую, согревшуюся в потертых брюках монету — царский рубль.

— Ах, представьте, баронесса, — говорит он, проглатывая два сырых с перцем яйца, — удивительный я видел сон. — И с изящными манерами, в изящных словах рассказывает ей какой-нибудь нецензурный анекдот, ловко, замаскированный светскими пошлостями.

Баронесса сдержанно смеется, баронесса смеется громко, баронесса помирает от хохота, на румяных ее щеках краска еще больше густеет, она грозит усыпанным бриллиантами мизинчиком и кричит красивым контральто чуть-чуть в нос:

— Вы, генерал, неисправимы!..

— Прелестно, прелестно, — приятным баритоном подхватывает ротмистр Белявский и слегка аплодирует холеными ладонями. — Ваше превосходительство, а нуте еще что-нибудь... Вам этот жанр необычайно удается... Баронесса, разрешаете?

Хозяйка, прищуривая кокетливо глаз, кивает головой:

— Продолжайте, продолжайте, генерал.

Она через самовар бросает взгляд в трюмо и незаметным движением руки поправляет сбившуюся от хохота прическу.

Сыр, анчоусы, лафит, какао, анекдоты, хохот.

— А вы не думаете, ваше превосходительство, омолодиться в Париже? — весьма почтительно, но сплошь в зазубринах звучит голос ротмистра. —

Я прочел статейку... Поразительные эффекты... Наш соотечественник, доктор Воронов... Еврей, а Воронов... Странно... По крайней мере так пишет «Фигаро»...

— Еврей?.. Ни за что! — утерев салфеткой губы, крикнул генерал. — А кроме того, мне пришлось бы жениться на другой... Генеральша моя выходит в тираж, так сказать в погашенье...

— Но ведь и ей можно омолодиться, — играя глазами, замечает хозяйка.

— К сожалению, баронесса... — щелкнул шпорами под столом ротмистр и чуть поклонился. — К сожалению, по некоторым физическим особенностям прекрасного пола, это невозможно.

— Да что вы?! — всплеснула она руками. — Ах, как жаль, — но тут же спохватилась: — Впрочем... это как будто преждевременно, — и обменялась сокровенным взглядом с ротмистром Белявским.

Ложась спать, генерал говорил горничной, приготовлявшей ему постель:

— А что, Нелли, если я омоложусь и стану при генеральском чине мальчишкой-сорванцом, вы пошли бы за меня замуж?

— Я даже совсем не понимайт, что есть омолодиться, — оправляя подушки, сказала она.

— Ах, не понимайт? — ей в тон, фистулой прогнусил генерал. — Приходите ко мне читать сегодня, и ви пойметь...

Краснощекий ротмистр Белявский адъютантом при генерале теперь не состоял, его сменил прежний адъютант, поручик Баранов, окончательно выздоровевший и окрепший в великолепном американском госпитале. Генерал этому рад: он любил Баранова за его прямоту, за русский дух, за высокие служебные качества! Был рад и Николай Ребров: поручик тоже нравился ему.

«Джентльмен... Но очень несчастный», — думал про него юноша.

Ротмистр же Белявский весьма уютно устроился при баронессе. Что ему армия? Плевать ему на ар-

мию: баронесса достаточно богата, обворожительна, несмотря на свои тридцать восемь лет, и дала согласие быть его женой. Чихать ему на генерала, на этот старый лапоть ликвидированной армии. Ха! Армия!.. Чихать ему и на поручика Баранова, на этого длинноухого осла, преждевременно состарившегося мальчишку, который едва не врос корнями в милое, но легкомысленное сердце баронессы... Ха-ха! Пусть-ка она полюбуется на поручика Баранова теперь, после тифа... Красавчик... Бонвиван!

На самом же деле поручик Баранов далеко не был так безобразен, как это рисовалось ротмистру Белявскому. Напротив, он высок, осанист, строен, красивая гладко бритая голова в шелковой тюбетейке откинута назад, все тот же крепкий английский подбородок, все тот же строгий, чуть искривленный застывшим сарказмом рот.

Однажды, выбрав время, он вечером направился с визитом к баронессе.

Топился камин. Мимишка сорвалась с бархатной подушки и с серебряным звонким лаем кинулась на гостя, баронесса отложила книгу и кокетливо сказала:

— Ах!..

Между ними произошел такой разговор:

— Ах, как неделикатно с вашей стороны, поручик, приехать неделю тому назад и не показывать глаз.

— Простите, баронесса, но... мне хотелось вас застать одну.

— Ах, вот что? Ну да, его нет... Разве его присутствие вас стесняет?

— А как вы думаете, баронесса?

— Затрудняюсь ответить. Во всяком случае, поручик, я вас должна предупредить, что ротмистр Белявский — мой жених.

— Простите, баронесса. Я пришел не поздравлять вас со столь блестящей партией. Я пришел откланяться и проститься с вами навсегда.

— Навсегда? — хозяйка вздохнула, опустила голову, нервно распахнула и сложила веер. Мимишка тоже вздохнула и звякнула бубенчиком.

— Поручик Баранов, вы сердитесь, вы не правы! Подойдите сюда, сядьте. Не хотите ли чаю?

— Я пришел, баронесса, откланяться.

Веер описал крылатую дугу и резко сжался. Мимишка тявкнула.

— Я никак не предполагала...

— Что я останусь жив? — перебил ее офицер.

— Ах, вовсе нет!.. Оставьте ваши колкости, поручик. Да, вы мне нравились, если хотите... Но я не дух свят, чтоб читать вашу душу. Во всяком случае, отзвука в вашем сердце я не находила. Ведь так?

Поручик широкими шагами беззвучно подошел по мягкому ковру к резному столику и достал из фуражки пару белых своих перчаток.

— Да, да, вы мне нравились, — томно сказала хозяйка и закрыла глаза.

— Вы мне, баронесса, тоже нравились... А что касается отзвука в моем сердце, то... Впрочем, я должен заявить вам, что ваш будущий супруг — подлец. Честь имею кланяться, баронесса.

Мимишка хрипло впилась поручику в пятки, с баронессой же приключилась натуральная истерика.

ГЛАВА XIII

Нагаечка

Мысль о побеге не давала Николаю Реброву жить. Что б он ни делал, о чем бы ни думал, бежать, бежать — навязчиво и неотразимо властвовало в его душе. Он плохо ел, плохо спал. На другой день объяснения поручика с баронессой он поднялся рано, съел остатки простокваши и пошел в лес.

Утро было хрустальное, молочно-голубое. Поблекший месяц дряхлым шаром запутался меж черных хвой. На смену ему розовел восток, загорались облака, еще немного — и молодое солнце из далеких русских недр, из-за Пейпус-озера выплывет месяцу на смену. По наезженной дороге култыхает на трех лапах несчастный пес, на шее кусок веревки.

— А ведь это она... Ведь это собака Карпа Иваныча. Шарик! Шарик!

Пес мотнул изгрызенной мордой и трусливо свернул в сугроб. И вновь юноша стал перебирать в памяти весь свой недавний предсмертный бред: живы или померли Карп Иваныч и Дмитрий Панфилыч? Но воспоминания были тусклы, путаны.

Солнце уже прорывалось через гущу леса. И юноше захотелось забраться на высокую сосну, чтоб взглянуть туда, в тот милый край, откуда вставало солнце.

Николай Ребров подошел к просеке. И вот перед ним два всадника: лесник баронессы — эстонец — на лохматой клячонке, и на великолепном рысаке широкоплечий человек в серой венгерке с зеленым воротником и лацканами.

Николай Ребров мельком взглянул на всадников — и дальше.

— Стой! — И рысак галопом подскакал к нему. — Почему честь не отдаешь?! Ты! Писарь!

— Извините... Я совсем не узнал вас... Я не ожидал...

Нагайка взвизгнула, и два хлестких удара сшибли с головы юноши фуражку. Не помня себя, Ребров схватил большую сосновую ветвь и — наотмашь ею всадника. Конь нервно всхрапнул, подбросил задом, и ротмистр Белявский — через голову — в сугроб.

Юноша бросился в чащу леса, выбежал на тропинку и окольными путями домой.

Поручик Баранов еще спал, когда юноша постучался к нему. Та же противная эстонка, впуская, проскрипела:

— Подождить здесь!.. Шляются раньше свет...

И опять тот же громкий голос:

— Эй, кто? Войдите! А, Ребров?! Генерал, что ли, прислал? Что? Что? Белявский?! Как — оскорбил действием? Как ударил? Кто, ты?! Дай-ка портсигар, дай-ка спичек!

Папироса прыгала в зубах поручика, спичка плясала в руке писаря.

— Да не трясись ты, девушка! Рассказывай.

Выслушав все, поручик Баранов сказал:

— Одобряю. Солдат отдает честь мундиру, а не охотничьей венгерке какой-то. Он бы еще напялил на себя баронессин бурнус. Я переговорю с генералом. Во всяком случае — я беру тебя под свою защиту... Дай мне штаны, дай мне умыться... А вечером, после занятий, прошу ко мне... По-товарищески, запросто... Чайку попить...

Николай Ребров едва выговорил:

— Господин поручик... Я всегда... я всегда был уверен, что вы великодушный человек.

ГЛАВА XIV

Ночь у колдуна. — Надгробное рыдание

Когда ротмистр Белявский вошел в канцелярию, адъютант Баранов громко приказал:

— Ребров! Возьмешь лошадей и отвезешь этот пакет по назначению.

Николай Ребров поехал верхом верст за шесть, в дивизионную хлебопекарню. Там встретил Трофима Егорова.

— Ну, Колька, недельки через две того... Спину чухляндии покажем. Слушай, Колька. А с нами еще один хрестьянин просится, наш мукосей. Он недалечко за озером живет, там, в Расее-то. Да ужо я его... Да вот он... Эй, Лука!

Крупный бородатый крестьянин, поводя согнутыми в локтях руками, не торопясь, враскачку, как медведь, подошел к ним.

— Здорово живешь, солдатик, — густо сказал он юноше, чуть тронув шапку.

— Что, дядя Лука, к нам в компанию ладишь? — на крестьянский лад произнес Николай Ребров. — Поди стосковался по дому-то?

— Как не стосковаться, — угрюмо ответил тот. — Не своей охотой... Солдатня да офицеришки чуть на штыки не подняли; на трех подводах ехать пришлось, все хозяйство бросил: бабу да шестерых

ребят. — Мужик сглотнул обиду, отвернулся и раздраженно засопел. Потом сказал: — Думай не думай, а бежать надо... Что бог даст.

Юноша улыбнулся:

— С тобой, дядя Лука, будет не страшно. Силенка, кажись, есть в тебе...

Домой Николай Ребров возвратился к вечеру, поел вареной картошки с полуржаным, полукартофельным хлебом и, час отдохнув на койке, направился к поручику Баранову.

— Честь имею доложить вашему высокоблагородию, что пакет вручен, двухнедельная ведомость проверена, в наличности имеется муки тридцать два пуда и жмыхов семь с половиной пудов.

Офицер сидел в рваном кресле у письменного стола, что-то записывал в памятную, с черепаховой оправой, книжку. Он в валенках и ватном халате с желтым шелковым поясом. На столе коньяк. И сам поручик порядочно выпивши.

— Вот что, Николаша,— повернулся он к юноше,— зови меня Петром Петровичем. Очень просто: через неделю — фють! Я направо, ты налево. Ликвидация заканчивается. Что? А твое дело с этим прохвостом тоже ликвидировано. Генерал сказал Белявскому: «Жаль, ротмистр, что вы подали в отставку, а то бы...» — и погрозил пальцем очень-очень выразительно.

— Почему в отставку? — спросил Ребров.

— На баронессе женится. Она богачка. На кой черт ему служить, лоб под пули подставлять, на фронте вшей кормить? Да ты, Николаша, садись. Ну, выпьем, Николаша... За юность... Эх, люблю юность!.. Вся наша надежда. Да ты не морщись, пей, это коньяк... А знаешь что? Черта с два, чтоб я позволил Белявскому жениться.

— А разве это зависит от вас? — И юноша почувствовал, как от вина стало загораться истомой его тело.

— Конечно же зависит... Ты слыхал, как колдуны свадьбы портят?.. А я колдун... — Он снял с бритой головы тюбетейку с кисточкой, для чего-то помахал ею в воздухе и опять надел. — Да, брат, колдун

форменный: хомуты наставляю, килы сажу... Пей еще, редко ходишь...

— Я, Петр Петрович, много не могу.

— А я много и не дам. Вот по бутылочке выпьем и... — Он поднял палец: — И... довольно.

— Что вы, что вы!..

Поручик строго взглянул в лицо юноше стальными, быстрыми глазами и молча подал ему письмо-секретку с вытисненным баронским гербом.

— Читай, пока не пьян. А ну, вслух. Приятно...

Николай Ребров потолстевшим языком неповоротливо прочел:

«Милостив. Гос. Поручик Баранов.

Ваш поступок более чем некорректный, он наглый. Если в вас имеется честное имя и так называемая «мундирная честь», которую так презирал мой покойный муж барон фон Берлауген (он вообще ненавидел все русское, особенно военный кость), — то Вы обьязанны или извиниться передо мною, что Вы нагло налгал, или доказать документально Ваши гнусные слова.

Баронесса Э. фон Берлауген.

P. S. Ротмистр Белявский об инциденте ничего не знает».

— Точка! — крикнул адъютант. — Ха-ха-ха! Безграмотно, а ловко вкручено. Понял? Нет? Ну, потом поймешь. Дай сюда!

Он разорвал письмо в лапшу, а клочок с подписью баронессы сжег, пепел стряхнул в рюмку с коньяком и выпил.

— А я любил ее, дуру... Любил, любил, — гладко выбритое порочное лицо его вдруг горько заморгало. Потом порылся в письменном столе и достал валявшийся среди хлама орден Станислава с мечами.

— На, повесь на гвоздик, вон на той стене.

Юноша повесил.

— А почему я ее любил? — спросил адъютант, опять сняв тюбетейку, покрутил на пальце и вновь на-

дел. — Не по любви любил, а оттого, что вот здесь было пусто, — он ударил ладонью против сердца и закрыл глаза.

Николай Ребров не знал, о чем говорить. Он пьянел. Ему захотелось обнять Петра Петровича. Но он постеснялся и, вздохнув, сказал:

— Я тоже несчастный... Я, Петр Петрович, тоже люблю... Двух люблю, и не знаю, которую больше...

— В сам деле? — не открывая глаз, сонно спросил поручик и вдруг ожил. — Ну, гляди. — Он вытащил из-под кучи бумаг браунинг, быстро повернулся вместе с креслом и, не метясь, два раза грянул в крест. Юноша вскочил и вскрикнул. Поручик подвел его за руку к стене, на которой качался простреленный орден.

— Видал? В центр?.. А ты не веришь, что я колдун, — захохотал как-то неестественно, давясь и перхая.

Николай Ребров, покачиваясь от коньяка и перепуга, изумленно прошептал:

— Удивительно метко... Сейчас прибегут...

— Кто? Хозяева?.. Все ушли... — Офицер вскинул руку вверх и как пифия: — Вот так же я, великий маг, страшный колдун, разведу их свадьбу!

— Чью? — спросил Николай. — А, знаю. Ой, не надо, Петр Петрович, не надо...

Плавали рваные струйки сизого дымка, пахло тухлым яйцом, винным чадом и въевшейся в предметы копотью плохих сигар. Лицо адъютанта стало сосредоточенно и хмуро. Он поймал тонкими искривленными губами трубку, задымил.

— Когда бежишь, Николаша? — по-трезвому спросил он и, не дождавшись ответа: — А я его проучу... Я ему покажу, собаке!...

— Кого это, Петр Петрович?.. — взволнованно спросил Николай.

— Да этого... Как его... барбоса... Ну, этого... Белявского. — Размахивая полами халата, то сгибаясь, то выпрямляясь, он быстро зашагал из угла в угол. — Я изрешечу ему череп... Я его... Ты знаешь... какой это стервец? Насиловал крестьянских девок... девчонок,

баб, там, во время нашего знаменитого похода... И с какой наглостью, с какой жестокостью!.. А попробуй вступись отец или мать — петля! ...Однажды, пьяный, изнасиловал шестидесятилетнюю просвирню, а потом застрелил... Это садист какой-то, исчадие ада! А посмотришь на него — комильфо... Герцог Падуанский! Черт его забери совсем... И расправу с тобой припомню, эту самую нагаечку.

Юноша покраснел, в его глазах загорелось сладостное чувство мести, но он смолчал. Поручик Баранов то присаживался наскоро к столу, чтобы выпить вина, то срывался и стремительно чертил крест-накрест комнату.

— А взять здесь, в Эстонии... Одна повесилась, другая отравилась из-за него. Или вот... Может быть, слыхал — Варвара Михайловна, девушка такая, дочь помещика, с отцом приехала, смазливенькая довольно?..

Юноша насторожился, в его груди вдруг пустота, в которую стал вливаться холод.

— Да, да, девушка — бутон. Ну, вот он ее обольстил, мол, женюсь, андел Варя... а потом, вульгарно говоря, сделал ей брюхо и бросил. Словом, женился медведь на корове. Теперь девчонка по рукам пошла... Пропадает девчонка... Что?

Холод в груди юноши заледенил его сердце, сердце остановилось, юноша мучительно вскричал:

— Это не она! Не она!! Как ее фамилия?!

Поручик на ходу выхватил изо рта трубку, хотел сказать — Кукушкина, — но, всмотревшись в переломившуюся фигуру юноши, раздельно сказал октавой:

— А что? Твоя знакомая? Какая она? Шатенка? Высокая? Из Гдова? Нет, нет. Это беленькая овечка такая, блондинка в кудряшках. Фельдшерица, кажется. А не довольно ль, Николаша? Что? — сказал он, заметив, как рука юноши потянулась к коньяку.

— Извините, Петр Петрович... Без приглашения. Ваше здоровье, Петр Петрович! Фу-у... А я, знаете... У меня встреча была...

— Встреча? Очень хорошо...

— У костра... Я тогда захворал... И вот — Варя... Можете себе представить, тоже Варвара Михайловна... Совпадение...

— Это бывает...

— И вот я ее полюбил... Полюбил, Петр Петрович... Все думал об ней, все мечтал...

— Но, друг мой, чего ж ты плачешь-то? Николаша?

— Тяжело чего-то, Петр Петрович. Я ее встретил на праздниках в театре. А вы напугали так... Хотя ротмистр Белявский увез ее кататься. Факт, факт, Петр Петрович! Факт!.. Но вы скажите, миленький... Ведь это не она, не Кукушкина?

— Вспомнил — Морозова! — крикнул поручик и так усердно щелкнул себя в лоб, что тюбетейка свалилась.

Николай бросился поднимать, запнулся, опрокинул стул, сказал:

— Виноват, — и сквозь слезы засмеялся. — Петр Петрович! Ваше высокоблагородие. Ну, давайте поцелуемся, Петр Петрович. Умрем за Россию, ей-богу умрем!..

— Обязательно, Николаша, умрем. Садись, садись... Больше пить — ни-ни...

— Черт с ними — все эстонки, все Варвары Михайловны... все сестры Марии. Ах, Петр Петрович, отец родной!.. Ну, если б вы видели сестру Марию... Марья Яновна, эстонка... Люблю, и ее люблю!.. Но чисто, платонически. Ей-богу! Красивая, знаете, красивая, апельсин без корочек, ну так и брызжет. И она меня беззаветно любит... Петр Петрович, как мне быть? Она изменила мне тоже, она выходит замуж. Как мне быть? Я женюсь на ней, Петр Петрович, я отобью!.. Она пойдет...

— Когда бежишь?

— Скоро, Петр Петрович... Компанией. Человек с десяток.

— И я с вами, — сказал серьезно офицер.

Юноша кособоко попятился на каблуках и дико закричал: «Ура! Ура!» — потом сорвал с вешалки адъютантские рейтузы, подбросил их вверх: «Ура-а!» —

двинул ногой стул, опрокинул умывальник: «Урра! Ура!» — и сам упал в бежавшую ручейками лужу.

Офицер усадил его в кресло, натер одеколоном виски, грудь, за ушами, накапал нашатырного спирта в стакан с водой.

— Пей, экий ты слабеха, — а сам опять проглотил залпом две рюмки коньяку.

Николай Ребров блаженно защурился, запрокинул голову на спинку кресла и весь куда-то поплыл, поплыл, как в волнах. И плывет другой, знакомый, близкий, рядом, тесно, плечом к плечу. Говорит знакомо:

— Тебе легко. Мне трудней. А почему? Я — офицер. Вот, скажем, перебрались мы с тобой на тот берег. Схватили нас, тебе ничего — иди, а мне расстрел.

Юноша встряхнул головой и протер глаза.

— Но я служить хочу, черти. Не убивайте, черти... возьмите меня, используйте мои знания. Я верный рубака, и рука моя — кистень. Товарищи, каюсь, заблуждался. Товарищи! Я ваш... Посылайте меня на передовые позиции, в огонь, в пекло!..

Юноша видит сквозь туман: адъютант повалился перед китайской ширмой на колени и бьет себя кулаком в грудь, крича:

— Я, Петр Баранов, ломаю свою офицерскую шпагу, рву золотые погоны! Товарищи, верьте!.. Вот мое сердце, вот моя кровь, вся моя жизнь, — все отдаю вам, республике, родине моей!.. Ведите!!

Поручик кричал надрывно, исступленно: слова его — огонь и кровь, лицо искривилось в жестоких муках. Юноше стало страшно. Он бросился подымать поручика.

— Дурак, — бранился тот, — мальчишка. Что ты, мальчишка, знаешь! Дурак! — и, пошатываясь, сам добрался до кресла.

Юноша накапал в рюмку нашатырного спирта.

— Петр Петрович, примите, будьте любезны.

Поручик плаксиво улыбнулся, выплеснул из рюмки бурду и налил вина. Потом снял с мизинца перстень, стал надевать на горячий розовый мизинец юноши.

— Что вы, Петр Петрович!

— Бери, бери, бери! Без рассуждений... Вот часы... Суй в карман... В дороге пригодятся... Что?

— Вы ж сами... Вам самим...

Он вытащил из-под кровати пыльный чемодан, опрокинул содержимое на пол.

— Садись, давай делить... По-братски, как коммунисты. На̀ носки, новые, теплые, пригодятся... На́ фуфайку, на́ кальсоны... Несессер не дам, надо.. Мыло. На̀ мыло... Ррреседа...

Пили, пели, целовались. Плавал дым, плавала и кружилась комната, всплывали одна за другой, как привидения, человеческие фигуры, кричали, грозили, топали:

— Ах, какой безобразий... Какой безобразий!

Потом хозяин и гость шли в обнимку сквозь лес к могиле Кравчука. Было тихо, месячно, но лес неизвестно почему шумел и мотался, как пьяный. От этого сплошного шума юношу бросало в стороны, и в голове гудело.

— Петр Петрович, мы выпивши...

— Николаша, друг, младенец! Вниманье, декламирую:

Бурцев! Ера, забияка,
Собутыльник дорогой,
Рради ррома и арака
Посети домишко мой!..

— Эх, Николаша, вечная память Кравчуку! Пой!.. «За-му-у-чен в тяжело-о-лой неволе, ты сла-а-вною смертью погиб»... Пой!.. Ну и дурак был покойничек... Глуп, как... как пуп! Что?

Тыкаясь носами в холодное дерево, целовали могильный крест, клялись в верности новой России и, охрипшие, обессилевшие, плелись домой.

Николаю Реброву жарко, хотелось кинуться в снег. Поручик крепко держал его за руку. Когда проходили через плотину игрушечной мельницы, поручик запел:

Прощай, мой мельник дорогой,
Я ухожу вслед за водой —
Далё-око, далёко...

Николай Ребров остановился и взглянул в прыгавшее лицо адъютанта.

— Вот и вы плачете, Петр Петрович.

— Это во мне Шуберт плачет, Еган Шуберт... Знаешь, чья это песенка? — И адъютант наскоро провел рукавом шинели по глазам. — А я ухожу, брат... Чувствую, что так... Крышка!.. Ухожу, брат, ухожу... «Далё-о-о-ко, далёко», — с болью пропел он, повалился в сугроб и зарыдал.

ГЛАВА XV

Конфликт улажен

Николай Ребров смутно припоминал все это на другой день утром. На мизинце дорогой перстень, в кармане золотые часы.

Надо сейчас же отнести обратно и извиниться перед поручиком. Милый, родной Петр Петрович.

Юноше сделалось невыносимо жаль его. Какой он, правда, несчастный. И как хорошо, что он тоже решил бежать с их партией.

Соседние койки были пусты, но юноше не хотелось вставать. А черт с ней, с канцелярией! И только в первом часу он направился к поручику Баранову.

Но поручик Баранов в это время был в доме баронессы. Он в парадно-походной форме — перчатки, шашка через плечо, — в рейтузах же притаился браунинг.

— Ах, как это кстати, поручик!.. А я только что за вами хотела послать, — испуганным голосом сказала баронесса громко, а шепотом, чтоб не слышали генерал и ротмистр Белявский: — Прошу вас объяснение отложить. Да?

— Не беспокойтесь, — так же тихо ответил он, целуя ее руку.

Генерал взял конем двух пешек — шах королю! — и к Баранову:

— А-а!.. Поручик... Очень рад, очень рад... А меня чествуют сегодня. Вот баронессушка-затейница... Радехонька, что я уезжаю.

Партнер генерала, ротмистр Белявский, поднялся из-за шахматного столика и стоял браво, каблук в каблук. Его румяное лицо с седеющими баками и с высоким лоснящимся лбом надменно улыбалось. Подавать или не подавать руки? — и подал первый. Рука поручика Баранова небрежно, как бы мимоходом, коснулась его холодных пальцев. Ротмистр нервно сел. Его глаза растерянно забегали по шахматной доске.

— Шах королю, Антон Антоныч! — повторил генерал с задором игрока и закряхтел. — А ну! А ну!..

Звяканье шпор четко гранило шаги поручика Баранова.

— Королю шах, а ротмистру, кажется, мат, — едва скрывая раздражение, сказал он.

— Что? Пардон, в каком смысле? — Правая бровь Белявского приподнялась и опустилась.

— Ваши полосатые брючки и клетчатый смокинг очень идут к вашей фигуре, — сказал адъютант, — во всяком случае, мундир не будет скучать о вас, как об офицере.

— Что вы этим хотите сказать?

— Господа! Что за пикировка?.. — на ходу прошуршала хозяйка юбками. — Я в момент, в момент.

— Да, да, — повел плечами генерал, — при чем тут? Ваш ход, Антон Антоныч. Прошу!

Белявский растерянно-нервным жестом поправил белейшие манжеты, как бы собираясь схватиться врукопашную, и к поручику:

— Нет, что вы этим хотите сказать?

— Я хочу сказать, — хладнокровно пыхнул облаком дыма поручик Баранов, — что ваш предшественник, барон фон Берлауген, был, видимо, выше вас: брючки чуть-чуть вам длинноваты.

— Пардон, генерал. — И бывший ротмистр Белявский величаво поднялся, ударил взглядом по поручику и так же, величаво-четкой, нервной поступью, чуть поводя локтями, скрылся за портьерой.

Поручик Баранов зловеще улыбнулся:

— Извините, ваше превосходительство. Я решил с ним посчитаться.

— Только не в моем присутствии... Увольте, увольте... И не здесь, и не сейчас... — замахал руками генерал и затряс головой, как паралитик. — Слушайте, поручик, поручик!

Но... за всколыхнувшейся портьерой раздался серебристый лай Мимишки. Генерал поднялся и, растирая отсиженную ногу, болезненно закултыхал по опустевшей комнате.

— Можно? — остановился поручик на пороге будуара.

Баронесса сидела против венецианского, в серебре, зеркала, спиной к поручику Баранову и освежала пуховкой свое сразу осевшее лицо. Сбоку от нее нахохлившимся индюком стоял Белявский. Он левую руку заложил в карман, а правой округло жестикулировал и, захлебываясь, что-то невнятно бормотал.

— Можно?

Баронесса пружинно встала и так быстро повернулась, что ниспадающие до полу шелковые ленты ее платья взвились и хлестнули воздух. Она крепко оперлась локтем о старинную с бесчисленными ящичками шифоньерку, запрокинула навстречу поручику голову:

— Ну-с? — и закусила дрогнувшие губы.

Глаза Белявского метнулись от нее к нему. Белявский вынул платок и осторожными прикосновениями, словно боясь размазать пудру, стал вытирать свой вдруг вспотевший лоб.

— Извините, баронесса, — начал поручик ровным голосом, силясь казаться спокойным. — Вы изволили в своем любезном письме поставить мне ультиматум: или — или.

Баронесса закусила губы крепче, и глаза ее округлились страхом, как будто над ее головой взмахнул топор. Белявский бессильно опустился на ковровый пуф, в его руке дрожал золотой портсигар с баронской короной.

— Спокойствие, баронесса, не волнуйтесь, — изысканно вежливо поклонившись, сказал поручик. — Я буду лаконичен. Мне вас жаль, баронесса. И только

поэтому, пользуясь правом нашей прежней дружбы с вами, я считаю долгом заявить, что сей человек — подлец.

Баронесса враз опустила, вскинула руки, скомкала и разорвала платок.

Мимишка, злобно тявкнув, бросилась на трюмо, где отразился вскочивший и бестолково замахавший руками Белявский.

— Как? Что? Вы ответите! Ответите! — выкрикивал он заячьим, трусливым визгом.

— Да, отвечу, — спокойно сказал Баранов, однако его подбородок стал тверд и прям, а рот скривился. — Если б не было здесь дамы, я немедленно ответил бы вам пощечиной. Во всяком случае, экс-ротмистр, я в любой час дня и ночи к вашим услугам. — Поручик сделал полупоклон. — Предупреждаю, что, если до завтрашнего вечера не последует с вашей стороны вызова, — я вас убью. Честь имею кланяться, баронесса.

— Интриган! Неуч! Грубиян! — прерывая его речь, топала баронесса стройной, в шелковой паутине, ножкой, и...

— Господа, господа... Что это значит?.. Ая-я-й... — наконец прикултыхал и генерал, еле волоча отсиженную ногу.

— Честь имею кланяться, ваше превосходительство, — щелкнул шпорами поручик. — Конфликт улажен и..., в вашем отсутствии.

ГЛАВА XVI

Белое видение

К Николаю Реброву пришел Трофим Егоров, они вместе отправились отыскивать возницу-эстонца, чтоб условиться с ним о дне побега. Егоров очень обрадовался, что поручик Баранов бежит с ними.

— Это такой человек! Такой человек! Этот выведет.

Они зашли, как их учили, в мелочную лавочку, помещавшуюся возле какого-то средней руки фольварка, и наказали рыжему лавочнику, чтоб он уведомил возницу.

— Сколько народ?

— Девять.

— Надо два подвода... Ладно, скажу. Через три дня в ночь?.. Какая день? Суббот?

Николай Ребров расстался с Егоровым и пошел навсегда проститься с Марией Яновной. Как-то она живет? Иногда воспоминания о ней меркли, заслонялись повседневным сором и служебными заботами, но чувство благодарности за спасение его жизни и весь ее милый, пленивший юношу облик крепко вросли в его сердце. Чем ближе подходил он к заветному дому, тем неотвязчивей впивалась в мозг давно отзвучавшая бредовая фраза: «Дмитрий Панфилыч помер». Жив или помер, жив или помер?.. А вдруг...

Николай Ребров несмело потянул скобку двери.

— Коля! Милый! Почему ты так долго был прочь?! Отец, гляди, кто пришел! — сорвала с груди фартук, бросилась к нему на шею растрепанная, раскрасневшаяся у плиты Мария Яновна.

И юноше вдруг стало так тепло и радостно у родной груди.

— Ого-го-го-го, — вылез, загоготал, смеясь, старик. — Троф пилить? Давай-давай... — тоже обнял юношу, поцеловал и укорчиво закачал длинноволосой головой. — Эх, дурак, дурак... Такой девка упускал.

— А как Дмитрий Панфилыч, здоров? — И юноша затаил дыханье.

Старик сердито, безнадежно махнул рукой. Мария Яновна сказала:

— Умер.

Юноша отпрянул прочь:

— Как! Неужели? Царство небесное... Когда?

— Жив, — сказала она печально. — К сожалению, жив... Но для меня, для мой сердца — он мертвый... — и вновь засмеялась звонким, чистым смехом. — Ну, как я рада. Садись, говори... Николай, милый! Ах,

что же я такая неодетая!..— и она быстро скрылась за перегородкой.

Николай заметил, как она перекрестилась на ходу и что-то зашептала, должно быть молитву.

— Ничего, ничего... как это...— старик, попыхивая трубкой, накинул шубу и — к выходу.— Ничего... Одеваться пошел Мария. Ничего! Ладно... А я в лавку,— подмигнул он и захлопнул за собой дверь.

Юноша смутился. Намеки старика толкали его за перегородку, где вдруг призывно захрустело полотно или шелк. Кровь юноши на миг остановилась.

— Мария! — Перегородку опахнуло полымем, дом исчез, и мимо его взора процвело жасминным цветом, проплескалось белое видение.

— Милый!.. Ах, какая несчастная твоя Мария...

...И Николай сладостно подумал, что он опять в бреду...

...Когда под окном послышались шаги, Мария, обнимая юношу нагими полными руками, в третий раз сказала, почти крикнула:

— Неужели ты не можешь понимать, что пропадешь в России!.. Такой голод, такой кровь везде... Сразу в сольдат и на война... Ну, оставайся же...

— Нет, Мария, не могу. У меня Россия на уме, у тебя — муж...

— Ах, оставь! — топнула она с брезгливой гримасой.— У меня и так боль... Не понимай, куда деть. Митрий — развратник!.. Митрий таскается по чужим женщин... Пфе! Какой дрянь!.. Так только может допускать необразованни матсь... мужик.

— Как ты могла сойтись с таким?

— Ах, смешной вопрос. Как ты попал сюда? А мой брат лежит в вашей земле? Как старуха, жена Митрий, живет в бане с какой-то ваш чиновник? Как убили ваш царь Николай Александрович? Все не от нас... Судьба.

Шаги заскрипели в сенцах. Мария схватила юношу за руку.

— Слушай! Тебе сколько лет?

— Двадцать,— прибавил Николай.

— Мне двадцать один, — убавила Мария. И быстро, задыхаясь: — Слушай! Мы бросаем все, бросаем Митрий, бросаем мой отец, едем в Ревель. В Ревели у меня родня, деньги... Слушай! У меня там дом... Дядя умирает и присылал мне письмо... Слушай, Коля! Мы будем без нужда, ты служить, я могу поступать в больниц. Не бегай в Россию, молю тебя, как бога Христа!.. Скоро большевики уйдут, мы поедем к твой родитель. Ну, милый, ну... — Она тормошила его, заглядывала в его глаза безумными глазами. — Ну, ну!..

Юноша менялся в лице: «да» и «нет», клубясь, свивались в его душе, как змеи, и вот одна змея подохла.

— Нет, Мария! Бегу, — ударил он резко, как ножом. — Прости меня.

Из ее груди вырвался хриплый стон, она с ненавистью оттолкнула его и проплескалась в белом полотне за перегородку, крикнув:

— Откройте дверь отцу!

В комнату вошел Ян со связкой баранок. Из кармана его шубы торчало горлышко бутылки.

— Ого-го... А ну, давай гостю кофей.

Когда, застегивая последнюю пуговку черной кофты, показалась Мария, старик пристально посмотрел на дочь, посмотрел на юношу, сказал:

— Снег пошоль... Метель... Трофф возить плох, — и глубоко вздохнул.

За кофе угощались наливкой, говорили о пустяках. Старик все еще поглядывал вопросительно на дочь, но лицо Марии казалось спокойным, замкнутым.

— Бегут, которые, бегут плохой, — сказал старик, разливая по рюмкам вино. — Эстис очень рабочий надо... Хороший жизнь тут. Чтоб здорофф... Дурак бежит. На Пейпус — смерть.

И еще что-то говорил старик, грустно говорила Мария, но юноша плохо слушал: все перед ним обволакивалось туманом, уплывало в сон, в мечту: вот он, покачиваясь, стремится куда-то вдаль, возница-эстонец гнусит на лошаденку, фольварки, чужое небо,

рощи, нерусский снег, Пейпус-озеро. Нет России, и есть Россия, есть: кудряш ямщик присвистнул, гикнул, гривастые кони мчат — бубенцы еле поспевают блямкать, мужичьи бороды, мужичьи избы, баба-яга на помеле, мужиковские седые церкви, раздольные снега, скирды неумолоченных снопов и навстречу тройка: «Сын!»

Мария вздохнула.

— Пей, — сказал старик.

— По вашему лицу я знайт, о чем вы думаль, — сказала Мария, еще раз вздохнув.

Юноша перевел на нее далекие глаза. Ему не хотелось пробуждаться.

ГЛАВА XVII

«Да, да, да, домой»

Он вышел вечером. Ему нужно дойти по дороге до свертка в лес, спуститься под гору к речке: там, у мельника, жили Надежда Осиповна Проскурякова и Павел Федосеич. В сущности, ему не для чего видеть их. За последние дни он весь в бреду о бегстве. Ему нет дела до остающихся здесь, и чужая судьба теперь не может его тронуть. Разве повернуть домой?

— Нет, прощусь. Все-таки — любопытно.

Дорога миновала рощу и пошла полого вниз. Оголенный кустарник, как борода с усами, обрамлял оба берега речонки. Зачернела колченогая, присевшая на бок мельница. Навстречу из кустов — фигура в большущей шапке. Поравнялись.

— Это Цанкера мельница?

— Да, — сказала фигура. — Батюшки, да, никак, вы, Коля Ребров?! Смотрю, смотрю... будто бы он.

— Сережа! Неужто вы? Ну, как ваш отец, Карп Иваныч?

— Помер. Не очень давно помер. В тифу. — Бледнолицый Сережа снял шапку, перекрестился, потряс головой и завсхлипывал. — Все добро наше растащили. Все семь возов... То солдатишки, то чухна. Да и так изрядно прожились. Теперича ничего у меня

нет, по дому сердце болит, по матери... Вот у мельника служу, у Цанкера. Гоняет, как собаку,— он отвернулся, глядел кособоко в снег, вздыхал.

— Куда ж вы, Сережа?

— За сеном,— взмахнул он веревкой.— Вот тут недалечко. Лошадь надо выкормить, да завтра в больницу квартирантку нашу везти.

— Не Надежду ли Осиповну?

— Ее.

Когда Николай Ребров вошел в дом мельника, его шибануло густым, спертым духом. У стола, весь в серой колючей щетине, сидел ежом мельник, он глядел в толстую тетрадь и щелкал на счетах. С печи несся здоровенный храп, и торчали в неуклюжих рваных валенках чьи-то ноги носами вверх.

Николай поздоровался, объяснил, зачем пришел. Мельник не сразу понял, сердито оторвался от дела, переспросил и кивнул на соседнюю комнату:

— Женчин там. Хворый! А это Павел, водка жрал. Тяни за нога, спит.

— Не сплю, не сплю... Кто пришел? — раздалось знакомое.

Валенки зашевелились, описали ленивый полукруг и, поставив пятки вверх, покарабкались с печи. Их возглавлял широкий жирный зад, едва прикрытый рваными штанами, за задом ползла спина в вязаной синей кофте, рыхлые бабьи плечи и взъерошенный затылок. Валенки пьяно пошарили приступку и, как два бревна, громыхнули в пол — звякнула на чайнике крышка.

— Павел Федосеич! А это я... Навестить пришел.

— Вьюнош!.. Как тебя... Миша... Ты?

— Я Николай, Павел Федосеич... Николай Ребров.

— Ну да, ну да... Ах ты, братец мой!.. — Обрюзгший чиновник приятельски тряс юношу за плечи и безброво смотрел в его лицо заплывшими, блеклыми глазами. Переносица его ссажена, на ней висел отлипший пластырь.— Ах, ах, ах... Пойдем к ней... К старухе пойдем... Она больна, брат, больна,

Вспоминала тебя... Как же, как же... вспоминала,— и он потащил юношу в другую комнату.

Хозяин вновь защелкал костяшками.

— Эй, Осиповна!.. Мать-помещица!... Умерла, жива? Гостя привел. Ну-ка, гляди, гляди...— тонкоголосо суетился Павел Федосеич, зажигая лампу.

Старуха подняла от подушки голову, шевельнулась, клеенчатый диван хворо заскрипел.

— Коленька! Вот не ожидала. Ах, Коленька... Приходится помирать на чужой земле.

— Другой раз не бегай из России, мать,— наставительно сказал чиновник, оправил подтяжки и семипудово сел на край дивана.

Диван крякнул, затрещал и смолк.

В комнате было грязно, по облупившимся стенам гуляли тараканы, в углах грудились набитые мукой мешки.

— Завтра в больницу, Коленька.

— В больницу, в больницу... Хворает она, как же...— поддакивал чиновник, косясь на окно, где стояли припечатанные сургучом бутылки.

— А из больницы в гроб... Ну да ничего, я не боюсь... Был бы Дмитрий Панфилыч счастлив... Ах, какой он хороший, Коленька... Ах, какой редкий человек... Денег мне прислал...

И чтоб перебить забрюзжавшего Павла Федосеича, нервно, приподнято заговорила:

— Будете, Коленька, в России, кланяйтесь всем знакомым нашим... Пусть вынут меня из могилы, домой везут... Да, да, да, домой...

Петр Федосеич раздражительно отмахнулся, неуклюже, враскорячку подошел к двери и закрыл ее. Потом на ухо юноше:

— Бежишь? Шепни тихонько, чтоб не слыхала она.

— Да,— после короткого раздумья прошептал юноша.

Чиновник как живой воды хлебнул, сразу сорвался с места и быстрыми ногами вылетел к хозяину.

Старуха затрясла головой, спросила:

— Что он? Денег, наверное, просил?

— Нет... Да... Что-то такое в этом роде, — смутился юноша. — А чем же вы, Надежда Осиповна, больны?

— Всем, — шевельнулась старуха, диван опять хворо заскрипел. — Вы спросите, что не болит у меня... Все болит. А больше всего — сердце. — Последние слова вылетели вместе с глубоким, тяжким вздохом. — Не сердце, а душа... Душа, Коленька, болит середка... Все потеряла, все!

Пыхтя, вкатился Павел Федосеич, поставил на грязную скатерть тарелку с огурцами, две рюмки и ловко ударил донышком бутылки в пухлую ладонь.

— Вьюнош!.. Ангел божий... Давай-ка, братишка. Грех не выпить, грех.

Пришел Сережа, тоже выпил, но хозяин Цанкер опять угнал его на мельницу спустить в плотине щиты. Старуха заохала, укуталась с головой одеялом и притихла. Николай через силу выпил три рюмки и застоповал: самодел не шел в горло.

— А я, брат, было спился здесь, физия опухла, ноги отекли. С тоски, брат, с тоски, с тоски... Ну, что мы теперь, а? Коля? А? Париж, Америка. Ха-ха-ха! Гром победы. Нет, брат, дудочки... Дураков в Европе мало, чтоб этим идиотам в долг давать без отдачи. Разик обожглись и... Ну, а про Сергея Николаевича ни слуху ни духу? Цел, наверно, цел, цел... Конечно, цел... А я теперь молодец молодцом. Ей-богу... Хоть плясать... Ноги как у слона. Гляди, какие ножищи!.. Да я сто верст без присяду могу шагать... Коля, возьми меня... — Он просительно, по-детски улыбнулся и глянул в самую душу Николая. — Коля, не бросай меня, спаси... Коля, по старой дружбе, умоляю...

Николай с раздражением охватил взглядом его большую и рыхлую, как тесто, фигуру, с дряблым, поглупевшим от несчастья лицом.

— Что ж, я с удовольствием, — раздумчиво сказал он. — Нас артель. Только испугаетесь, как в тот раз.

— Кто, я? Кинь мне в морду подлеца, наплюй мне в харю!.. Нет, дудочки, чтобы я здесь. Не-ет...

Николай Ребров уснул. Его разбудили сдержанные всхлипыванья. В лунном свете сидел по-татарски на полу пред раскрытым чемоданом Павел Федосеич. Он держал в пригоршнях фотографическую карточку, то приникал к ней дрожащими губами, то отстранялся, тогда лицо его тонуло в болезненном восторге, из широко открытых глаз по одутловатым трясущимся щекам катились слезы, и губы шептали.

— Клавдюша, Клавдюша, — выдыхал чиновник. — Не проклинай, молись обо мне, молись... Эх, ошибся я, и вся душа моя, Клавдюша, измочалилась. Живу я, Клавдюша, в великой нищете... И духом нищ. Пью, Клавдюша, пьянствую. Эх, подлец я. А теперь скоро... Жди, Клавдюша, приду скоро. А если умру, помяни меня. Да и сама-то ты жива ли, старушка милая? И тебе тяжко. Ну, что даст господь. Молись за меня, Клавдюша, молись... — он крестился сам, крестил портрет, целовал его и плакал в пригоршни, размазывал по лицу слюни и слезы грязнейшим рукавом.

— Павел Федосеич, — пробудилась помещица. — Опять ты за свое! Что за малодушие...

— Нет, нет, это я так... Чшш... Разбудишь... Это я пластырь искал... Да, да, пластырь... К переносице, пластырь.

— Не плачь, все к лучшему. Надейся на бога.

— Я надеюсь, Осиповна, надеюсь... Ей-богу, надеюсь... А ты спи.

ГЛАВА XVIII

Дикий хохот

На другой день Николай отправился рано. Помещица и чиновник еще спали, он так и не попрощался с ними. Шел домой не торопясь. Утро было пасмурное, угрюмое, и его настроение такое же, как это утро.

«Вот судьба, и что ожидает этих стариков?» — думал он, глядя себе в ноги.

А впереди позвякивали бубенцы, долетало храпенье коней. Ближе, отчетливей.

— Берегись, стопчу!

Николай вскинул голову и отскочил в сугроб. Мимо него, едва касаясь копытами дороги, мчалась запряженная по-русски тройка вороных. В русских, покрытых ковром, санях, обнимая прижавшуюся к его плечу баронессу и лихо подбоченясь свободной рукой, восседал бывший ротмистр Белявский.

— Сукин сын! — сделав ладони рупором, громко прокричал Николай Ребров в снежно-облачный бубенчатый след пролетевшей тройки.

Он пошел проститься с генералом — старик был для него хорош.

— А, Ребров!.. Отлично. А я, брат, мундир чищу... Сам. Я люблю черную работу. Я не белоручка... Труд — надежнейшее средство против скуки, против одиночества. Садись, Ребров... Ну, как там? А я осиротел. Баронессушка уехала и этот... Да-да... Ну, да ничего. Денька через три и я... В Париж, брат Ребров, в Париж. И адъютант Баранов...

— Разве они едут? — удивился юноша, помогая генералу.

— А как же! Какое ж могло быть сомнение... Ну, а ты? Ты как? А? Хочешь в Париж? — Генерал снял с красного ворота пушинку, дунул на нее и медленно стал елозить щеткой по сукну.

— Я, ваше превосходительство... Я здесь...

— А молодец, молодец, Ребров... Похвально... Лучше здесь, чем к тем негодяям с поклоном. Кто они, ну ты подумай, ты все ж таки интеллигент и достаточно развит, полагаю? Ну кто? Ну кто? Приблудыши, вот кто! Эмигрантишки, за границей мотались, а теперь власть добывать приехали, — навозная дрянь! На-воз-ная; — и генерал поднял щетку вверх. — Понимаешь, в чем уксус? Да разве они знают Россию! И разве Россия, наш народ, примет их? И что такое, спрошу я тебя, наш развращенный народ, наш пьяница, эгоист-мужик? Ха!.. Равенство, братство. Плюет он с высокого дерева на братство! Назови мужика братом, он тебе в отцы лезет. А потом, как

это... Кто? Да, Бальзак: «Свобода, данная развращенному народу, — это девственница, проданная развратникам». Понял глубину?

— Большевики стараются, ваше превосходительство, сделать народ счастливым, тогда он будет добродетельным, — несмело вставил юноша.

Но генерал не расслышал.

— Что? Да, да, — сказал он, встряхнул мундир и аккуратно опустил его на дно чемодана. — Карл Маркс, ха-ха, подумаешь... Какая премудрость во щах, — желчно проговорил он. — Сними-ка, Ребров, пожалуйста, сапоги с меня... Кто Русь собирал, чем собирал, а? Легче, Ребров, легче... Ты ногу оторвешь... Слушай-ка, Ребров, а хочешь чаю? Позвони Нелли... Ты знаешь ее? Ах, хороша девчонка, хороша... Слушай-ка, Ребров. Ну, а кто вкусней, по-твоему, эстонки или русские? Хе-хе-хе-хе... А я через три-четыре дня — в Париж... И можешь быть уверен, Ребров, что скоро эта сволочь — большевики полетят к черту. Европа никогда не допустит такой наглости, она им покажет, как аннулировать долги. Да Европе стоит только захотеть: положит их вот сюда, на ладошку — щелк, и нету, слякоть одна, — генерал щелкнул по ладони и сладострастно захехекал. — Вот что значит Европа!

Николай Ребров от чаю отказался, поблагодарил генерала и ушел.

— Петр Петрович, а я к вам, — сказал он, входя к поручику Баранову. — Что ж вы нам изменили?

— Что, в чем дело? — остановился офицер среди комнаты, желтые кисти его халата колыхались.

— Генерал сказал, что вы с ним едете в Париж.

— Какой вздор! У генерала разжижение мозга или слуховая галлюцинация. Я бегу с вами... — последние слова поручик сказал тихо, почти шепотом; он стоял руки назад и опустив голову.

— Вы здоровы ли? У вас красные глаза, вы плохо спали, должно быть.

— Что? — рассеянно переспросил поручик, не поднимая головы. — Нет, спал... Должно быть, спал... Спал или нет? Что? — волоча ноги, он подошел к письменному столу, переставил с места на место чернильницу, подсвечник, подстаканник, сделанный из винтовочных патронов, взял спичку, переломил, бросил, взял со стола недоконченное письмо, прочел, качнул головой, сказал: — Да, да. Пиф-паф. Сегодня вечером... — Он опять заходил по комнате, хмуря брови и о чем-то тяжко размышляя.

Юноша встревожился. Он следил за Петром Петровичем сосредоточенным взглядом, силясь понять, что происходит в душе этого близкого ему человека.

— Мы бежим в субботу, Петр Петрович, в ночь.

— А?! — вскинул тот опущенную голову. — Ах да... про это... Ладно. У нас сегодня что?

— Четверг.

— Четверг, четверг... да-да-да... четверг... Завтра пятница, послезавтра суббота... Так-так... Замечательно, — чему-то подводил он итоги, его лицо вдруг улыбнулось, он подозвал юношу к столу и ткнул указательным пальцем в мелко исписанный лист почтовой бумаги:

— Вот, Николаша... Завтра утром на этом самом месте будет лежать это самое письмо. Отнесешь его по адресу... Понял? По адресу. В собственные руки баронессы.

— Но баронесса, Петр Петрович, уехала с Белявским.

Поручик дрогнул и быстро попятился:

— Что-о?!

— Они сегодня уехали: я сам видел... На тройке. И сзади большой сундук.

Поручик крепко стиснул зубы: на скулах заходили желваки. Белки глаз вдруг пожелтели, взгляд запрыгал с предмета на предмет.

— Подлец, мерзавец, трус!.. Бежал, — с злорадным презрением выдыхал поручик, дергая подбородком. Он сорвал с головы тюбетейку, скомкал ее и бросил об пол.

— Подлец!

Он описал правой ногой, как циркулем, дугу, резко вскинул руки вверх, вперед и в стороны.— Так... Мерси боку... Мерси боку,— зашагал по комнате, все так же выбрасывая руки, лицо кривилось, дергалось, два раза он грохнул кулаком в стол, в клочья изодрал письмо и крикнул:

— Можешь идти, Ребров!.. Можешь идти... Да-да. Можешь идти. Прощай, Ребров... До субботы... Да-да,— с треском двинул ногой кресло, подпер щеки кулаками и закрыл глаза.

Изумленный Николай Ребров пошел на цыпочках к выходу. Возле двери обернулся и взглянул на Петра Петровича. Поручик все так же стоял с запрокинутой головой и накрепко закрытыми глазами.

Николай Ребров медленно притворил за собою дверь и лишь направился по коридору, как там, за дверью, загрохотал дикий, страшный хохот поручика Баранова.

— Что такое? — замер на месте Николай.

Дома он нашел пакет. Там записка Павла Федосеича и письмо в Псков на имя Клавдии Тимофеевны Томилиной. В записке Павел Федосеич сообщал, что он бежать раздумал, он выждет более благоприятных обстоятельств, а пока что ему и здесь неплохо. Записка написана длинно, бестолково, с наставлениями, как жить, с покаянными излияниями заблудшей души, с размышлением о том, что есть отечество, национальная гордость и гражданский долг. Видимо, записка сочинялась с перерывами, за бутылкой водки: вначале почерк был мелкий, как бисер, потом буквы становились крупней и крупней, под конец они шли враскачку, враскорячку, большие и нескладные, то падая плашмя, то кувыркаясь, как захмелевшие гуляки.

Николаю Реброву было грустно и от этого письма, и от свидания с поручиком Барановым. Неужели он, такой выдержанный и холодный, влюблен в эту великосветскую, сомнительной красоты и свежести, куклу? Впрочем, Никалай знает ее лишь по гряз-

ным солдатским сплетням и случайным встречам в парке.

Николай спал тревожно, болезненно. Ему снилась сестра Мария.

Весь следующий день прошел в лихорадочном приготовлении к побегу. Трофим Егоров старательно помогал ему. Ну, кажется, все готово.

Вечером, когда месяц засеребрился на небе, юноша пошел к поручику Баранову.

— Ах, вы дома, Петр Петрович?

— Да. Вот сижу. Размышляю. Поди сюда.

Юноша, на цыпочках, всматриваясь в лицо офицера, подошел к маленькому столику между окнами, за которым, перед походным зеркалом, сидел поручик. На столе открытая баночка с белым порошком.

— Это кокаин, — сказал поручик хриплым голосом. Его лицо изнуренное, под глазами темные тени. — Хочешь нюхнуть? Нет? Напрасно. Помогает. Да-да, брат Николаша. Случаются моментики. Конечно, морфий лучше, но где ж его в такой дыре найдешь? — Поручик поддел тупым концом пера щепоть кокаина и втянул сначала правой, потом левой ноздрей. — С хиной, черт бы их подрал. Его надо два грана вынюхать, чтоб толк был... — Он нюхнул еще. — Ну, до свиданья. Иди... Прощай... Стой, стой, Николаша! — Он обнял юношу, перекрестил и сказал: — Прощай.

— До свиданья, Петр Петрович... До завтра. Я завтра днем забегу к вам. Часов в десять вечера тронемся. Будьте готовы.

— Буду, Николаша, буду. Храни тебя Христос.

ГЛАВА XIX

Побег

Суббота проходила в какой-то странной, мучительной тревоге: все скучало внутри, ноющая боль сосала душу неясным предчувствием, и Николай Ребров нигде не находил места. Не радость, а безотчет-

ная тоска: ему казалось, что в момент отъезда судьба коварно, неожиданно прервет их путь.

Что ж делать? Куда пойти? В лес? Но все противно ему здесь, как кладбище вставшему из гроба мертвецу. Он мысленно призывал мать, молился, взглядывая на висевший в углу казармы образок. Нет, не то, не то... Вот если б вдруг пришла сестра Мария!.. Нет, не надо... А Варя? О, конечно, он взял бы ее с собой, он вернул бы ее к настоящей жизни. Но почему же такая тоска? Он крупными шагами крестил комнату вдоль и поперек, садился, выходил на улицу, возвращался вновь.

Все были в сборе: Трофим Егоров, псковский мужик мукосей Лука, писарек Илюшин, пожилой бородатый солдат Мокрин и шестой, не знакомый Николаю, прасол из Гдова — Червячков, болезненный и хилый. Переговаривались почему-то тихо, вполголоса. Разговоры вялые, раздраженные, словно здесь собрались пленники, которых ждет не свобода, а казнь. У сидевшего на мешке прасола Червячкова совершенно убитый вид.

Спокойней всех Лука. Он лесным своим голосом рассказывал Трофиму Егорову про медвежью охоту, про то, как медведь перешиб хребет двум его зверовым собакам. Николай слушал и не слушал. Он все взглядывал через окно на дорогу, словно кого-то поджидал. Время еще раннее, золотые его часы показывали ровно семь.

— А то, милячок, вот еще как бывает, — гудел Лука, поводя бровями, — ты его, зверя, хочешь скрадом взять, а он тебя...

— Кто-то едет, — сказал Николай и вышел на улицу.

Меж соснами густого парка мелькала подвода.

— Боже мой! — выбросил юноша руки навстречу подъезжавшим. — Вот не ожидал!

Девчонка в большой шали и с кнутом остановила лошадь. Из саней выскочил бывший денщик Сидоров, и закряхтел, приподымаясь, Павел Федосеич.

— Не утерпел, брат, вьюнош Коля... Потянуло, брат. Неотразимо повлекло. Точно перстом кто

указал и повелел категорически: иди! А главное, Сидоров подбил... Ах, Сидоров, Сидоров... Случайно повстречались... Пожелал вроде няньки моей быть...

Сидоров по-детски простодушно улыбался своим курносым узкоглазым лицом и кивал головой. Павел Федосеич снял шапку, перекрестился.

— Ух, слава тебе господи, застал. А Надежду Осиповну, мать-помещицу, отвезли. Отвезли, брат, отвезли, да. Умирать поехала старушка.

Он был одет в теплые, из телячьей шкуры, сапоги, в короткий полушубок, перетянутый по большому животу кушаком, на голове лихо сидела порыжелая свалявшаяся папаха. Вообще Павел Федосеич выглядел молодцом, даже чисто бритое лицо его напудрено, а большие рыжие с проседью усы закручены колечками.

— А мне что-то скучно, Павел Федосеич. И сам не знаю почему...

— Уныние пагубно, — сказал чиновник.

Коротконогий, похожий на мальчишку, рыжий писарь Илюшин, пуча раскосые глаза, во все щеки раздувал казенный самовар.

Чай пили бестолково, на ходу и обжигаясь. Безмолвие сменилось звонким, повышенным говором Павла Федосеича, он необычайно возбужден, наэлектризован.

Николай с кружкою чаю стоял у печки и удивленно прислушивался к неуемным речам Павла Федосеича. «Нет, он не пьян», — подумал юноша. Сидоров улыбался и радостно кивал головой.

— Как бы, папаша, животик только вот... — ухмыльнулся корявым лицом Трофим Егоров.

— Что, телеса? Не беспокойся, землячок: я легче пуха, я лося перегоню, я сто верст без отдыха, через три озера таких, как Пейпус... А вы знаете, товарищи, — выпрямился он и поправил на переносице пластырь. — Мы отдаем себя в иго товарищей в кавычках, будем друг дружку звать тоже товарищами... Ну, так вот, товарищи, дорогие мои, сознание, что мы возвращаемся домой, к своим очагам, так сказать, к дыму отечества, придаст нашим ногам крылья...

Фу-у-у, я, ребята, устал... Хорошо бы водки выпить... — По красному, отечному лицу Павла Федосеича струился пот.

Лука пошарил в кошеле, достал бутылку. Все, даже Павел Федосеич, закричали:

— Спрячь, спрячь!.. Пригодится в дороге...

— Кушайте во славу, — прошуршал серым голосом сидевший на мешке прасол Червячков. — У меня этого продукту запасено. Хватит.

— Налей, — сказал Луке солдат Мокрин. — С отвалом, земляки! — и выпил.

Лицо у Мокрина строгое, борода густая, нос большой, с горбиной.

— Это господские? — спросил он Николая. — В таком разе конфискую, — он снял со стены круглые часы, прикрутил бечевкой маятник с боевой пружиной, чтоб не дрыгали, и — в торбу.

— Напрасно, — сказали Николай и Павел Федосеич.

— Пошто напрасно? — недовольно ответил за Мокрина Лука. — Нешто мало наших денег этой сволочи оставили? Не из дома тащим, а в дом. — Он сорвал с гвоздя градусник в фигурчатой оправе, повертел перед глазами и швырнул, как хлам, в угол, потом выворотил из печки медные дверцы, сунул в корзину, вытряс из постельников солому, встряхнул мешки, круто скатал их, сунул в корзину. — А то мы обносились все. Робенкам сгодится.

Поискал глазами, еще бы чего прихватить, — он рад был все забрать, — но солдат Мокрин сказал:

— Не жадничай, чижало будет, — и ухватился за телефонную трубку.

— Вот это желательно конфисковать, — сказал он, — у меня парнишка дома... Для игры...

Но в этот миг телефон зазвонил.

— Кто у телефона? — спросил Николай Ребров. — Здравия желаю, ваше превосходительство... Когда? Сейчас?.. Ваше превосходительство, я не могу, я плохо чувствую себя... А больше никого нет... Что? Слушаюсь, слушаюсь...

Он быстро накинул шинель, сказал впопыхах:

— Я живо... Экстренно генерал требует.

— Торопись... Скоро выходить, — крикнул вслед Трофим Егоров.

«Вот оно, — смутно подумал Николай, пересекая наполненный сумерками парк. — Как бы не послал куда с бумагой... Не пойду. Я ж расчет получил... Не имеет права».

А сердце бессознательно твердило: «Вот оно, вот оно». Над головой с тревожным карканьем сорвалась ворона, юноша вздрогнул и наткнулся на генерала.

— А Илюшин где? Звонил, звонил...

— Его нет, ваше превосходительство.

— Тьфу! — плюнул генерал. — Возьми меня под руку. — У генерала опять отнялась нога, он грузно подпирался палкой, и юноша ощутил судорожную дрожь во всем его теле. — Черт... Никого нет: ни доктора, никого, — хрипло, прерывисто дышал генерал, хватая ртом воздух.

— Вам плохо, ваше превосходительство?

— При чем тут я! — крикнул генерал, и раздражительно: — Поручик Баранов застрелился.

— Как?! — И ноги юноши вдавились в снег.

— Идем, идем... Черт... этот парк... Какая темень!

Николай весь трясся, веки безостановочно моргали, он всхлипнул и схватил генерала за руку:

— Ваше превосходительство, что ж это?! Что же...

Все провалилось в мрак, в сон, и нет яви. А явь все-таки была, и темный сон не мог захлестнуть ее: — «торопись, скоро выходить» — и где-то в сердце, как зуда, зудила явь.

Лицо поручика Баранова спокойное, но губы чуть-чуть искривлены вопросительной улыбкой, они хотят сказать:

«А ну-ка? Вот и все».

Николай Ребров сделал над собой усилие, нервы его напряглись, душа заковалась в латы.

Генерал снял фуражку с огромным, как крыша, козырьком, перекрестился, сказал:

— Напрасно, поручик, напрасно.

Поручик промолчал, поручик Баранов, все так же таинственно улыбаясь, сидел в кресле с запрокинутой, повалившейся набок головой, левая рука его упруго-крепко впилась в ручку кресла, правая — висела по-мертвому, в виске опаленное отверстие, по виску, по щеке, чрез ухо, на пол — влага жизни — кровь. И тюбетейка валялась в красной луже. Рука успела отшвырнуть револьвер к стене, швырнула и потеряла жизнь, висит. Поручик, видимо, собрался в поход, в Париж, в Россию, на Сену, в мрак, чрез Пейпус-озеро: чемоданы увязаны, все прибрано, он еще с утра расчелся с хозяевами, всех наградил, как властелин.

Хозяева стояли тут же, и еще народ, шепотом переговаривались, двигались медлительно и вяло, как во сне, — должно быть, правда сон, — и огонек в уснувшей люстре загадочно дремал.

— Тебе, — взял генерал со стола письмо и подал юноше. На конверте твердо: *«Николаю Реброву»*. Юноша дрожащей рукой письмо в карман. И сердце опять: «Торопись, торопись».

Но сон был глубок и цепок: латы ослабевали, нервы назойливо выходили из повиновенья.

Сквозь пыхтенье, покашливанье и звяк генеральских шпор тягуче волочились фразы:

— Когда это случилось?

— Полчаса тому назад.

— При каких обстоятельствах?

— Мы ничего не знаем.

Николай Ребров глядел в полузакрытые глаза поручика Баранова, лицо поручика дрожало, и все дрожало перед взором юноши.

— ...слышишь, Ребров! Что же ты, оглох?! Скажите, какая барышня, плачет... Беги скорей в канцелярию, принеси печать... Придется составить акт. Потом ко мне на квартиру. Пусть Нелли приготовит ванну... Понял?

Сон прервался, и юноша, отирая слезы одрябшей ладонью, заполошно бежал чрез парк.

— Куда ты, Николай, провалился? Мы идем.

— Егоров, ты? Поручик Баранов пулю себе в лоб...

— Ну?! Царство небесное, — торопливо произнес Егоров. — Пойдем скорей.

— Я не знаю, как быть, — остановился юноша. — Меня генерал послал... Неудобно бросить покойного...

— Тебе мертвый дороже живых, выходит? Непутевый ты... Идем!

— Но как же так? — растерянно говорил юноша, быстро шагая с Егоровым к казарме. — Я даже не попрощался с ним...

— Ладно, ладно, — покрикивал Егоров. — Авось на том свете поздоровкаетесь. Все там будем. Может, сегодняшней же ночью.

ГЛАВА XX

Звезды в ночи

И сразу в поход.

Через сумрак парка, затем лесной дорогой шли молчаливой кучкой восемь человек. Верстах в трех-четырех их поджидали эстонские подводы.

— Вот когда нам довелось с тобой вместе, Коля, — сказал бывший денщик Сидоров шагавшему рядом с ним Николаю. — Из-за чего же это поручик Баранов застрелились? Такой бесхитростный человек...

— Ах да! — воскликнул юноша. — Ведь у меня же его предсмертное письмо... У тебя, Сидоров, спички есть?

— После прочтем. Наверно, у возницы фонарь. Они всегда берут. Да-а-а, дивное дело, — протянул Сидоров, вздохнув. — И охота людям руку на себя: богу противно, себе неприятно и людям хлопотно. А все от образованности.

— И среди крестьян случается, — заметил Николай.

— Редко же. И то от тяжелой жизни. А у господ от мечтаний от пустых. Душа, говорят, болит. Ха-ха,

скажите, пожалуйста, какая глупость! — Сидоров поправил шапку и повернул к юноше курносое лицо. — Как это может душа болеть? Брюхо она, что ли, или зуб? Вот брюхо, ежели обожрешься, действительно: не подходи, убью. А как опростался в добром аппетите, вот тебе и душе легко. Ха, глупости какие, душа! Сегодня, скажем, тяжело, а завтра, может, так полегчает, песни петь да плясать захочется, почем знать? И выходит — зря убил себя, глупо.

— Нет, Сидоров, ты не понимаешь, — возразил юноша, — например, безнадежная любовь...

— Ах, брось, Коля!.. Очень даже это смешно. — И узкие темные глаза Сидорова сверкнули из-под густых ресниц. — Ежели любишь чужую бабу, неотмолимый грех — лучше отойди. Ежели втюрился в девушку, а она не может тебя любить, тоже отойди: и себя замучаешь, и ее — отойди. На свете девок без счета, любую выбирай, и все по-одинаковому пахнут. Только мы по-собачьи нюхаем, а надо умственно, почеловечьи.

Сидоров говорил внятно, убежденно. Отставшие товарищи стали выравниваться с ним, он понял, что говорит не впустую, голос его окреп.

Павел Федосеич все время пытался ввязаться в разговор, но не давала одышка.

— Уж очень просто все у тебя, Сидоров, — наконец сказал он. — Вот ты говоришь — грех... А что такое грех?

— Всяк знает, что такое грех. Да не всякому выгодно признаться в нем, — ответил Сидоров. — Грех — это когда людям плохое сделать ладишь, людям. Или, примерно, так... Послухай-ка, ваше благородие, что я вам скажу... Да как я могу прикончить свою жизнь, раз она не мне принадлежит, не моя?

— А чья же?

— Как чья! — Сидоров жарко задышал в щеку Павла Федосеича. — Моя жизнь — это все равно твоя жизнь, его жизнь, пятого, десятого: она всем принадлежит, а не мне, и я должен трудиться по гроб жизни. Да как же я самовольно могу уйти с работы, вроде дезертир — трах в башку и вверх ногами...

Вот, к примеру, плотники строят дом людям жить, а тут возьмут да все до единого и удавятся на вожжах от разных любвей. Вот и спрошу я вас: кто же за них дом-то достраивать обязан? А сколько в их руках труда сидело, сколько бы они еще таких домов на пользу людишкам построили за всю жизнь-то за свою? Ага! То-то же и есть. Так и про всякого можно размыслить, и про поручика Баранова, царство ему небесное.

Все вздохнули. Павел Федосеич сказал:

— Нет, ты, Сидоров, настоящий сектант, свою веру ищешь...

— Меня как хочешь называй, — спокойно ответил Сидоров. — Меня мудрено обидеть. Один пытал меня из терпенья вывести, конечно, выпивши и недобрый человек. Уж как он меня не обижал. Я терпел с кротостью. Он меня облает, я молчу. Он меня пуще, я опять молчу, и лицо у меня радостней становится. Его такая ярь разобрала, зубы стиснул да как даст мне в морду, а сам заплакал. Чуете? Заплакал...

— Так и учат дураков, — пробасил Лука. — Этак и морды не хватит. А ты его сам...

— Нет, почему же, — перебил его Павел Федосеич и любовно заглянул в лицо Сидорова. — Оказия... Столько времени прожил с тобой, а не подозревал, что ты новоявленный пророк.

— Не мудрено, ваше благородие, батюшка: ведь я для вас денщик был.

— Ну, ладно, — захрипел чиновник и откашлялся. — А позволь тебя позондировать, пощупать... Ну, допусти, горит дом, и в дому ребенок. Ты, наверно, не бросился бы спасать его, потому как ты можешь рисковать своей жизнью, раз она не тебе принадлежит?

Сидоров медлил отвечать. Потом встряхнул головой и как-то по-особому, радостно сказал:

— Тут, ваше благородие, совсем не то. Тут другое. Тут, если нужно, сила меня бы бросила спасать и не спросила бы меня, — вот в чем суть. Тут плоть с разумом молчит, душа работает... Это особь статья.

— Ты, парень, как монах, — насмешливо progово-

рил Мокрин, надбавляя шагу. — Расстрига, что ли, ты? Тебе колькой год?

— Тридцать первый. А что?

— Сектант, брат Сидоров, сектант, — чуть прихрамывая, сказал Павел Федосеич и распустил тугой кушак. — Ну, а ежели у нас кто стал бы погибать, ты положил бы за того свою душу?

— Напередки не знаю, — раздумчиво ответил Сидоров.

Лесная просека. Послышался легкий свист, всхрапнула лошадь. Павел Федосеич схватился за плечо соседа: «Ай!» Но все благополучно: садятся, крестятся — в путь добрый, — едут на двух подводах. Возница-эстонец крутит лисьей мордочкой, поулюлюкивает на лошаденку:

— Но, ти-ти!.. Я тебе-ти...

— Густав, — говорит ему Николай Ребров. — Одолжи, пожалуйста, фонарь.

Прыгающий, мутный луч огарка осветил письмо. Николай едва разбирал мелкий почерк. Тряслись руки, трепыхалось письмо, как на осине лист. Юноша читал про себя, вскидывая брови. Сидоров внимательно, неотрывно следил за его лицом, читал лицо, как книгу.

«Ну, вот, Николаша, я и убежал. Хотя и не в одну сторону с тобой, рассуждая в вашем земном пространстве и вашем времени, но ты скоро меня догонишь, а тебя догонит тот, кто еще не родился; земля вертится, а время стоит в безмолвии: ему неоткуда и некуда идти. Итак... Впрочем, долой метафизику, это писал не я, писали частички моего взбудораженного мозга...

Поручик Баранов умер единственно из-за того, что ему нечего делать на земле. Слепцу, сбившемуся с пути, трудно отыскать свою тропу. И я не хочу тыкаться лбом в стену: я горд. Я заблудился, не туда пошел, я обманулся и обманут. Ты вдумайся, Николай, — кто мы? Мы на службе у власть имущих, у капитала, которому социализм так же чужд и опа-

сен, как в свое время было опасно христианство для античного мира. И вот иностранный капитал, самый изворотливый и самый подлый, вынул из нас сердце, отнял совесть, вложил в наши руки меч и повел бить — кого? Наших же русских парней и рабочих, нашу же плоть и кровь. И выходит, что мы ландскнехты, фендрики, бандиты, продажная сволочь, — вот кто мы. Это — не ужас?!

Многие этого не понимают, некоторые поняли и спешат прийти с повинной головой, чтоб стать на защиту республики. Но кто поручится, что они делают это в святом порыве, а не спасая свою шкуру? И если большевики, к кому я собирался пойти с чистым раскаянием, хоть на миг усомнились бы в моей искренности, — ты понимаешь, понимаешь — такого поругания над своим святая святых я бы не перенес: я горд и чуток. Стало быть, выхода мне нет, факт бытия моего утратил для меня всякий смысл, я решил смыть с моей души печать братоубийцы Каина, и вот — я себя казню.

Итак, милый юноша, прости, что я тебе пока не попутчик.

Пишу тебе пространно потому, что я люблю тебя, а люблю потому, что ты юн, ты чист, а белейшая, чистая юность — залог счастья всего человечества: если в юности светел, то будет светла и вся жизнь твоя. Пишу тебе, как старик, как отец твой (эти слова мои — может быть, единственный светлый порыв за всю жизнь, — эти слова облегчают мою душу, я это чувствую, чувствую). Отцу не пишу и матери не пишу: к чему им лишние страданья? А тебя благословляю на служение народу.

Я теперь над жизнью, и я вижу: введение в историю закончилось, хаос людских взаимоотношений сгущается в два неравных противоборствующих ядра, человечество обмакнуло перо в кровавые чернила и каракулями начинает писать первые слова новой своей истории. Пройдет положенное время, наука и людская совесть по-настоящему расправят свои крылья, каракули выровняются, встанут четкими рядами, вспыхнут огнем, и вместе с ними вспыхнет

сердце человека в высокой любви, в порыве исканий недостижимого идеала во благо всех людей.

Ну, мальчик, я ослаб, перо притупилось, просит отдыха, а она стоит, она ждет, она торопит. Но я не боюсь ее. Я верю: миром правит Истина, и я свой вечный дух смело предаю в ее чистейшие руки. Я верю, что худо мне не будет. Прощай».

Напряженные нервы Николая Реброва содрогались, он испытывал трепет отчаянья и восторга. Какие-то световые волны, взмахивая, пронизывали его душу, хотелось радостно плакать, молиться, но глаза были сухи, лишь подергивались мускулы лица и прыгал подбородок.

— Нно, ти-ти, я тебе-ти! — хлестнул возница лошадь и загасил фонарь.

Сидоров с выражением любопытства в лице и голосе спросил:

— Ну, что? О чем он пишет?

— Я еще не все понял, — сказал Николай, — но письмо замечательное. Совсем не от любви застрелился. Ах, какой он хороший человек! И, может быть, по-своему он прав. — И юноша пересказал, как мог, суть письма.

Сидоров с грустью произнес:

— Ты говоришь — прав?.. Глупость. Ежели дрянь какая ушла с земли — туда-сюда, а хороший человек надобен миру вот как. По барской правде, может, он прав, по мужичьей — виноват.

— Правда одна, — с чувством превосходства сказал Николай.

— Глупость! — с жаром возразил Сидоров. — У каждого человека своя правденка, маленькая, плохонькая. А только чем проще человек, тем правда его крепче. Мужицкая правда крепкая.

Юноша смолчал: глаза Сидорова мечут искры, спорить бесполезно с ним.

Чрез густую завесу мрака замутнели огоньки.

— Тпрру! — И лошадь остановилась. — Дожидай, — прогнусил эстонец. — Моя пойдет к сольдат, застава здесь, пропуск берут, который..., который

уезжает правильна. Нам много марка давать начальник, а то... тюрьма, — и скрылся.

Ждали недолго.

— Можна... Езжай... Но, ти-ти!

Просерел приподнятый шлагбаум, предостерегающе пролаяла собачонка — хватай их, едут! — закачался фонарь в руках что-то крикнувшего стражника, — луч света мазнул по снегу, по острию штыка и подпрыгнул к голове Павла Федосеича: голова, усы, плечи трусливо упали вниз.

Дорога пошла полями, лошади бежали шустро, задняя похрамывала и водила ушами — должно быть, слышала вой волков. Дорога вступила в лес.

— Приехаль. Конца, — пропищал возница, зажег фонарь и сказал Егорову: — На, держи, пожалюста... Давай остатки расчет.

Лука вручил ему пачку денег.

Он не торопясь пересчитал, вздохнул, сказал:

— Ступай за мной, ступай. Буду говорить.

Все вышли на пригорок.

Николай Ребров осмотрелся. Он на берегу Пейпус-озера. Темное мартовское небо все в звездах, их мерцающий свет скуп, холоден. Простор лишь чувствовался, но был неощутим для глаза: даль расплывалась в сумраке пространства, была обманной, призрачной. Однако юноша видел все, вплоть до своей белой комнаты, там, под Лугой. Его широко открытые глаза горели, словно звезды. Павел же Федосеич, как ни старался всмотреться вдаль, ничего не видел, кроме тьмы, кроме страха, охватившего всю его душу. Его глаза мутны, как ледяшки, зубы стучали, из-под папахи холодный пот.

Лисья мордочка понюхала воздух, рука в рукавице вытянулась в муть:

— Иди прямо, все иди, иди, иди. Далеко иди, верстов десять, а то разъезд утром увидит с берега. Как прошла десять верстов прямо, стой, вертай лева, на Гдов. Иди скорей, не отставай. Ну, дай бог счастлив... — Он засопел и, попыхивая трубкой, повернулся к лошадям.

Павла Федосеича терзала острая борьба с самим собой: душа звала — вперед! — тело кричало — назад! — тело готово хлопнуться, как в могилу, в снег.

— Ну, братейники, идем, — твердо проговорил Лука. — А ну, помолимся.

Все сдернули шапки, опустились на колени. Молитва коротка, но пламенна.

И когда поднялись, когда поцеловались друг с другом по-братски, звезды как будто запылали ярче, и даль раздвинула пути.

ГЛАВА XXI

Пейпус-озеро

Настроение юноши неровное, ухаб на ухабе — взлет и срыв: на бодром общем фоне зияли, как болючие раны, провалы в мрак, и душа его, радуясь, изнывала.

Дорога вначале трудная, утробная — к берегам намело сугробы снега, путники взмокли на первой же версте. Но вот дорога плотней, ноги местами скользили по глади льда, путники облегченно вздохнули, и бородатый Мокрин заводит речь:

— А вот, братцы, ежели удариться в тонкое рассуждение, чтоб веселей шагать, расскажу вам, как я в немецком плену сидел... — Его слова плывут, кряхтят как-то нудно, ненужно и нелепо.

Лука время от времени оглядывается назад: темная стена лесистого берега еще близка. Николай Ребров зажигает свечку, смотрит на часы.

— Четверть второго, братцы, — говорит он.

Идут молча. Только шаги дробят тишину и время. Слышны тревожные вздохи прасола Червячкова и сиплое дыхание Павла Федосеича, тащившегося сзади всех.

— Что, папаша, непривычно? — оборачивается Егоров. — Поди животы взболтал?

У Мокрина в мешке недовольно взыкает пружина: часы сердятся, что их украли и куда-то тащат.

— Бечевка перетерлась, — говорит Мокрин. — Пускай играют, вроде музыки.

Идут. Лука оглянулся и — нет берега.

— Сворачивай, православные! — командует он. — Берег чезнул.

Все повернули за Лукой влево, к Гдову.

— Ишь звездочки чего-то блекнут, — кротким, любовным голосом сказал денщик Сидоров. — Кажись, восход свет копит. — Он шел ныряющей походкой, потряхивая заплечным кошелем, в его руках корзина Павла Федосеича.

Издали громыхал Лука:

— Что вы, черти, как клячи опоенные! Айда скорей!

Звезды действительно слиняли, небо над головами стало выцветать, восток бледнел, готовился вспыхнуть у краев, но запад сгущал тона, вбирая в себя остатки ночи. Все зыбко, изменчиво, предутренние краски затеяли едва приметную для глаз игру, нежно переливаясь одна в другую. А даль по-прежнему незрима: предел ее — прильнувший к берегам туман.

Часы показывали пять утра. Ноги давали себя знать даже привычным ходокам. У Павла Федосеича дрожали колени, от левой пятки прошивала до спины стреляющая боль. Он сдерживал стоны, но глаза его приняли плачущее выражение, зрачки стали расширяться.

На востоке, глубоко под землей, разгорался пожар. И зарево, начинаясь у краев, все гуще, все выше заволакивало небо.

— Солнышко! — И Лука сел на снег.

Артель побросала клажу.

Сквозь разорвавшийся туман зловеще смотрела на путников темно-сизая бахрома эстонского леса. Лес оказался так близко, как будто люди только что начали свой путь, или он, не отставая, все время шел за ними следом, спрятавшись в ночной туман.

— Что ж ты, вожак... Сбились! — продрожал голосом похожий на мальчишку писарек Илюшин.

Артель с открытыми ртами растерянно смотрела в черную бороду Луки. Тот сердитым рывком выхва-

тил из-за пазухи кисет и, вгрызаясь в задымившую трубку, уверенно сказал:

— Идем правильно. Это глаз лукавит.

Наверстывая потерянное на отдых время, артель ходко подавалась вперед.

Горизонты прояснялись.

Вдали чуть намечалась русская полоса лесов, за спиною которых серело родное небо.

— Как чувствуете себя, Павел Федосеич?

— Не спрашивай, Коля, — отмахнулся тот; согнутые в коленях ноги его сдавали, в груди наигрывало хриплое мурлыканье, он то и дело вскидывал голову и с резким шумом выбрасывал свистящую струю воздуха.

Далеко впереди, на гладкой, слегка взбугренной сугробами поверхности, ясно обозначилось темное и небольшое, с воробья, пятно. Двигаясь навстречу путникам, оно вскоре выросло в галку, потом в большого петуха и остановилось. Острые глаза Луки разглядели лошадь и трех закопошившихся на льду людей.

— Рыбаки, однако, — радостно сказал он.

— Слава богу! — облегченно передохнула вся артель. — Наши! Мужики.

Лука оглянулся назад, скользнул взором по эстонскому берегу, вдруг глаза его прищурились и засверлили даль.

— Погоня, — сдавленно и тихо, но как гирей по голове, ударил он по сердцам товарищей.

У Павла Федосеича упал с плеча мешок.

С эстонской стороны на путников опять надвигался воробей, вот он вырос в галку, вот...

— Ребята! Беги к рыбакам! Пропали мы...

Рыбаки совсем близко, погоня тоже не дремала: игрушечная, с зайца, лошаденка, запряженная в сани, быстро росла.

— Помогай бог, братцы, — вразброд и путано закричала рыбакам артель. — Не погоня ли за нами, братцы?

— Она, — сказал широкоплечий белобородый рыбак. — А вы беглецы, никак? Плохое дело. Перетрясут вас всех.

— Как перетрясут? — испугался Николай.

Первым движением его — немедленно сдать на сохранение рыбакам заветные золотые часы с кольцом — подарок поручика Баранова. Он быстро расстегнул свою новую американскую шинель, поймал цепочку, но в это время — грох! — выстрел, путники переглянулись, рыбаки же хладнокровно продолжали свою работу.

Крутя хвостом, подкатила клячонка, двое быстро выскочили из саней, третий направил автоматку дулом к путникам и продолжал сторожко сидеть.

— Документы! — резко крикнул эстонец, обветренное с помороженным носом лицо его надменно мотнулось вверх. — Документы! Ну!

— Руки кверха! — вскинув револьвер, скомандовал другой, приземистый и кривоногий.

— Ой, приятели, да что вы, — заикаясь, жалобно проговорил Сидоров. — Нет у нас документов, извините великодушно. Не знали мы.

— Стойте! Почто вы забираете? — растерянно забасил Лука. — Ведь это втулки к колесьям... А это коса... В деревню несу, к себе. У нас дома нет ничего...

Перетрясли оба мешка Луки и свалили к себе в сани все его добро. Лука клял эстонцев, лез в драку, но каждый раз кидался в сторону от дула револьвера.

— Рыбаки! Вы-то чего смотрите?! — взывал он, хрипя.

Рыбаки долбили лед. Вялый и болезненный прасол Червячков стал разъяренной кошкой: визжал, грыз насильникам руки, лягался, из его разбитого лица текла кровь.

— Ради всего святого! Это подарок... память о друге... — тщетно умолял Николай Ребров.

Перстень и часы, блеснув золотой рыбкой, нырнули в эстонский карман, как в омут. Отряд уехал. Николай дрожал и готов был разреветься.

— Плюнь, — подошел Сидоров. — Лишь бы живу быть.

Николаю не жаль ни перстня, ни часов, его мучило насилие, грубость, унижение человека человеком.

— Ах-ах-ах-ах! — бросили работу, враз заговорили рыбаки.

— Эх... Такую тяготу люди взяли на себя: народ на народ пошел, брат на брата, — душевно сказал старик рыбак, он заморгал седыми, древними, в волосатых бровях, глазами и отвернулся.

— Откуда вы? — подавленно спросил Павел Федосеич.

— Мы на чухонском берегу спокон веку живем. Теперича вроде ихнего подданства. А так — православные хрестьяне.

— Не мешкайте, ребята, шагайте попроворней, — сказал кривошеий рыбак и указал рукой. — Наперекосых идите, во-он туда!

Беглецы пошли.

Плечам легче, но сердцу и ногам трудней.

— Беда, — кто-то вздохнул, кажется, все вздохнули, все вздохнуло: небо, воздух, лед.

Шли, шли, шли. И вдруг Лука на лысом месте, как с размаху в стену:

— Братцы!.. Глянь-ка!

Под вскореженным сизо-багровым льдом вмерзли в его толщу скрюченные нагие тела людей.

Лука сплюнул, задрожал.

— Ой, ты!.. Идем, идем...

И, как от заразы, отплевываясь и крестясь, всем стадом дальше. Шли молча, содрогаясь: над ними и сзади волною темный страх.

Прошагали версту, две. Отставший Павел Федосеич споткнулся, упал.

— Эй, Коля!.. Сидоров!.. Картина... картина, полюбуйтесь, — кряхтел чиновник, стараясь подняться.

Из льда, пяткой вверх, торчала обнаженная человеческая нога. Прутьями висели оборванные сухожилья.

Кругом лед исцарапан в соль когтями волков. Сидоров и Николай подняли чиновника и стали нагонять артель. Павел Федосеич задыхался.

Слева, из обрезанного ветром сугроба, высовывались человеческие кости, лоскутья одежд и, как спелый арбуз, лоснящийся затылок черепа.

— Да тут кладбище, — простонал чиновник.

— Братцы, что ж это! — косоплече шагая, кричал артели Сидоров. — Людей-то сколько полегло.

— А ты взгляни, на чем мы стоим, — озябшим голосом проговорил бородатый Мокрин и ударил пяткой о лед.

Сквозь ледяной хрусталь виднелась вцепившаяся в край замерзшей проруби белая рука. В судорожном изломе она уходила вглубь, и желтоватым расплывчатым призраком едва намечалось утянутое под лед тело.

— Идем, — густо сказал издали Лука. — А то и мы к ним угодим.

— Едут!

— Едут!

— Едут!!

Вдали от эстонского берега, на белой глади, опять зачернела букашка. Путники бросились вперед, роняя фразы, как гибнущий воздушный шар мешки с песком.

— Господи, пронеси... Господи, не дай загинуть.

Мартовский день склонялся к вечеру. Солнце глядело спокойно и задумчиво. Большие пространства снега, казалось, прислушивались к его лучам и жмурились от света. День был безморозный, тихий. Кой-где над полыньями шел парок.

Когда отрывисто щелкнул, как пастуший кнут, выстрел, лед раздался и сжал клещами сердце и ноги беглецов. Опять с саней соскочили двое в овчинных куртках — старик и подслеповатый, с птичьим лицом юнец. Третий — с ружьем — в санях.

— Нас уже обыскивали, — сказал Николай. — И отпустили на родину.

— Все отобрали от нас, — сказал Лука.

— Нет, не все, — гнилозубо проговорил седоусый,

глаза его подлы, он посасывал трубку тонкими бледными губами. — Раздевайтесь.

Мгновенья полной тишины, только вздохнула лошадь.

— Раздевайтесь! Ну!!

И еще — немые окаменелые мгновенья.

Но вот задвигалась косматая борода Луки, задвигались губы, а слова не шли. Сзади заревел в голос Павел Федосеич, глядя на него завыл Червячков. Лука кашлянул, мотнул головой, снял шапку, стал часто, в пояс, кланяться:

— Кормильцы, сударики... Мы не господа какие-нибудь, не баре... Трудящиеся мужики все.

Седоусый круто к саням и свистнул. Мелькая белыми выше колен валенками, зашагал от саней с револьвером в опущенной руке поджарый, длиннолицый эстонец.

— А, черт, куррат!.. — прошипел он. — Моя, что ли, раздевать вас будет?.. Роду-няру... Сволочь... Ну!

Беглецы враз на колени, заплакали:

— Это смерть нам, смерть...

Павел Федосеич с Червячковым переползали от эстонца к эстонцу; скуля и взахлеб рыдая, они целовали эстонцам сапоги, их посиневшие руки крючились от холода.

— Сажайте нас в тюрьму! Не убивайте, пощадите, — последним своим визгом покрывали они весь ужас голосов.

Грабители тоже кричали: «Смирна! Смирна!» — ругались, пинали сапогами, пятились к саням.

Корявое лицо Трофима Егорова покрылось испариной. Он и бородатый Мокрин тряслись от гнева. Лука сжимал кулаки.

Мокрин лихорадочным взором искал, чем бы оглушить палачей. Он передернул широкими плечами, ухнул и с сиплым криком:

— Братцы! Это не разъезд!.. Это душегубы!.. А ну!! Даешь пропуск!! — ринулся на седоусого.

Но в белых сапогах эстонец вскинул руку на прицел и выстрелил. Мокрин торнулся носом в ноги старику и захрипел.

Старик сделал шаг назад, скосил подлые глаза и хладнокровно:

— Не задерживайт... Раздевайсь! А то всем в лоб пуля. Не здохнешь, как собак, уйдешь вшивый Россия свой. Вот бери одежу...—он запустил руки, как вилы, в сани и выбросил на снег кучу грязнейших лохмотьев.

Маскарад был кончен, грабители уехали. Кучка неузнаваемых бродяг, переодетых в ледяное рубище и рвань, наскоро простилась с оголенным трупом Мокрина и еле потащила свои ноги.

Сидоров положил на волосатую грудь убитого свой нательный образок, пошептал, покивал над трупом головой и догоняет беглецов. На скуластом лице его мрак, но в заплаканных глазах благодать и радость.

Николай закутан в рваный летний зипунишко, на ногах хлябают дырявые башмаки. Он глядит на ходу под ноги, в порозовевший предзакатный снег. На снегу плывет труп Мокрина: лицо мертвеца в злобе, зрачки ушли под лоб, глаза мигают льдом. Николай отводит взор в сторону, труп быстро перемещается туда же. Николай говорит Сидорову:

— Никак не могу отделаться... Эта смерть страшней смерти поручика Баранова. А я Мокрина до отъезда никогда не видал. Почему это? Сидоров? А?

Но с ним не Сидоров, с ним обмотанная тряпьем бабища, ее голова повязана, как шалью, грязной рванью.

— Это я, Коля... — раздается бабий хныкающий голос Павла Федосеича.

Жирные щеки его одрябли, живот подтянулся: за этот краткий путь старика перевернуло, как после изнурительной болезни.

— Папаху отобра-а-ли, куртку отобра-а-ли, сапоги отобра-а-ли... Едва ползу. — Его правая нога в огромной валеной калоше, из дыры на пятке тащится тряпица, левая завернута в войлок и скручена лыком. — Все ото-бра-а-ли, — стонет беспомощный старик. — Почему же не отобрали жизнь?

Николай пустился догонять артель. Павел Федосеич отстал, отстал и Червячков.

Солнце село в тучи, даль померкла. Русский берег заволакивался дымкой. Подуло холодом. Наступал морозный вечер. Падали унылые фразы с уст:

— Замерзнем.

— До Руси далеко еще.

— А есть нечего.

— Хоть бы корку...

— Только-только середку перевалили, — тянет писарек Илюшин. — Не дойти.

— Молчи!! — замахнулся Лука. — В морду дам!.. Дьявол!..

Шли вперед медленно и тяжко, в злобе. И двигалось время с запада на восток. Запад в туче, восток серел, небо стало плоским, и Пейпус-озеро потеряло берега. На землю спускался сон, сон баюкал головы, смыкал путникам глаза, манил забыться, уйти с земли. И шагалось куда-то вдаль, в пространство, кто-то шагал, и кто-то вел.

— Устал, не могу, — на ходу открыл спящие глаза Николай и посунулся носом.

— И я устал...

— И я...

— Давайте — привал...

Все повалились в снег. Лука последний.

— А где же Червячков со стариком?

Этот вопрос успел расслышать быстро задремавший Николай, и еще — неясно, путано:

— Эй! Па-л... сеич...

И сразу в тепле, в мягких глухих туманах, удобно, тихо, и колышется-плывет земля. «Читайте, что же вы...» — говорит поручик Баранов, он шагает по комнате, и штрипка волочится за ним белой вьюжной змейкой. Николай Ребров послушно достает письмо поручика, читает: «Милая мама, я иду... Иду, иду...» — Нет, не так, — говорит поручик, глаза его закрыты, по виску через ухо, чрез беспросветную

тьму, тонкими ручейками на пол — кровь. — Надо читать: «Она идет, она идет... идет».

И видит Николай: движется на него седая туча, в туче — смерть, настоящая смерть, живая, с железной косой в руках, седые одежды ее плещут и вьются, как метель, и метельная вьюга опахнула, закрутила юношу — что же это? Смерть? А живая смерть, взмахнув звенящей сталью над головой юноши, и — вкрадчиво поручику Баранову: «Можно?» — «Нельзя!» — крикнул поручик.

— Нельзя, парень, вставай! — И Лука поднял юношу со снега. — Не спи. Отдыхай в сидячем виде.

Николай снова закрыл глаза, голова его повисла.

А там, далеко позади, развалясь на льду, как на теплой печке, мертвецки спал Павел Федосеич. Возле него, упав головой ему на грудь, сидел, скорчившись, Червячков и лихорадочно стучал зубами.

К ним подошли на помощь Сидоров и писарек Илюшин.

— Пойдем, Павел Федосеич, ваше благородие, — растолкали старика. — Пойдем, голубчик.

— А... разве... я не умер? — удивленно произнес старик. — Я... я не могу, Сидоров... Я... я умираю, Сидоров... Нне мммогу-у-у...

— Шагайте, шагайте... Сначала правой... Ну-ну!.. Левой. Вот так.

Старика вели под руки. Он икал, хныкал, жевал язык и сплевывал. Червячков впился в плечо Сидорова и, прихрамывая, кой-как култыхал.

— Эй, братцы, обождите! — кричал Сидоров двинувшейся в путь артели.

Лука остановился, все остановились. Покачиваясь от изнеможения, Лука сказал:

— Дело такое, ребята... Надо идти... Ежели тех двоих на себе тащить, все загинем до единого. Я сам едва живой... А им так и так погибать! — Он стоял согнувшись, лицо его побелело, нос заострился, отливала лунной синью борода. — Как ваше мнение? Николай, как?

Все молчали. Трофим Егоров вяло сказал:

— Пойдемте, ну их... Один чиновник, другой торгаш... Ветер, ночь.

Ночь действительно надвинулась, ночь дохнула мраком, вспарусила небеса, заблестела звездами.

А сзади, под мраком, под звездным небом, из ослабевших рук Сидорова с Илюшиным валились наземь двое.

— Нет, нет, не мммогу-у-у... — упав, стонал старик. — Берите дом во Пскове, все отдам... Несите меня, братцы... Не ммогу... — Застывшие ноги старика не разгибались, кисти рук белы, как снег, он свернулся в большой калач, и слова его были мерзлые, едва слышные.

Не мог встать на ноги и Червячков.

Лука твердо подошел к ним, рванул сначала Сидорова, потом Илюшина за шиворот:

— Идем, дьявол вас заешь!

Сидоров упал, поднялся, закричал:

— Надо артелью тащить!.. Чего дерешься?!

Лука опять встряхнул его за шиворот, ударил по затылку:

— Подыхать тут с вами. Иди, черт святой!.. Ну!

Бросили, выровнялись с артелью и — вперед. А сзади вой, плач, крики оставленных.

— Не оглядывайся! — резко приказал Лука.

Артель надбавила шагу. Вой и крики усилились. Николай зажал ладонью уши.

— Не оглядывайся, — сказал Лука надорванно и засопел.

— Бра-а-а-тцы... Бра-а-а-тцы... — доносилось с ветром.

Вдруг страшный визг, нечеловеческий и острый, резанул морозом по спинам беглецов.

— Не оглядывайся, — скрипучим, пропащим голосом едва выдавил Лука, из вытаращенных глаз его градом покатились слезы.

Сидоров остановился.

— Прощайте, други... Идите помаленечку... А я... — Он поклонился в пояс и косоплече побежал назад.

Никто не обернулся, шли как шли: жизнь влекла вперед, в гору, в родную даль. Лука сморкался.

Но смерть стала настигать и их. Первый упал Трофим Егоров.

— Сил нет... Заме... замерзаю.

— Ты! Убью, черт! — вспылил Лука.

Повалился и Николай.

— Измаялись мы, Лука, — проговорил Егоров. — Поспать бы...

— Огня бы...

— Поесть бы...

— Хо-оло-дно...

— Что ж, ребята, неужто смерть? — уныло сказал Лука и замигал. — Неужто возле своего берега пропадать?

— Где он, берег?! — подавился слезами Илюшин. — Поводырь, черт... Погубитель! Слепых тебе водить. Ведь околеваем мы...

Широколобая луна жгла холодом. Мороз усиливался.

Егоров, свернувшись в клубок, как собачонка, лежал на бриллиантовом снегу, скулил. Николай с Илюшиным не попадали зуб на зуб, корчились от стужи. Лука подпрыгивал, ругался, клял судьбу. Илюшин вскочил, перевернулся, опять упал и заплакал, что-то бормоча. Николай Ребров поймал ухом, что похожий на мальчишку писарек прощается с белым светом, с матерью, и тоже заплакал, но тихо, скрытно, горько.

— Несчастный, несчастный, несчастный, — монотонно твердил он, как в бреду.

На беглецов катилась смерть. Кругом мертво и тихо, бескрестный погост Пейпус-озера выжидающе белел.

Илюшин высморкался, протер глаза и вдруг радостно, как ястреб:

— Огни, огни!

— Где? — завертел головой Лука. — И впрямь — деревня, — сразу погустевшим голосом проговорил он. — Молись!

Илюшин радостно кричал «ура», прыгал козлом от одного к другому.

— Боже правый, господи... — бухал Лука головой в снег. — Ох, мати богородица... Детушки, жена...

Тормошили Луку, целовали в лохматые волосы, в провалившиеся мокрые щеки.

— Лука Арефьич!.. Батюшка... Отец родной... Пойдем!

Словно медвежьей крови влили в жилы, словно отхвостали ноги в жаркой бане веником, четверо путников зашагали на огни.

И только тут, в этот судный миг, каждый понял до конца, каждый оценил по-своему, что́ такое жизнь, что́ такое гибель, и из гибели в радость, из смерти в жизнь устремился каждый.

А впереди, и совсем недалеко, темной полосою берег. Два-три огонька, как едва различимые искорки, все шире, все ярче зажигают душу путников, и в их остуженной крови вспыхивает и трепещет великая радость бытия.

Лишь теперь Николай вспомнил вслух:

— А как же те? Трое-то?

Но всяк думал только о себе, всяк шел своей тропой, и — уползай прочь, в гибель, в смерть, на тропе лежащий.

— Огонек погас... И другой... Лука! Огни погасли...

— Ничего. Ложатся спать.

Шли молча, и каждый уже был в России, дома, в кругу своей семьи. Луна миновала облако и лицом к лицу столкнула беглецов и берег.

И вдруг все четверо в один страшный крик:

— Вода!

Между ними и берегом, на расстоянии сильно брошенного камня, заблестела широкой рекою гладь воды. Потрясенные, в диком ошеломлении смотрелись путники в холодное отражение луны.

— Озеро вскрылось у берегов, — охнул Лука, лицо его вытянулось, и шапка полезла на затылок. — В жизнь не попасть... Давайте всем миром гайкать... Авось лодку подадут.

— А вдруг красный разъезд? Перестреляют.

Николай Ребров поднял жердь и осторожно зашагал в опорках по ледяной воде, ощупывая жердью дно.

— Это наледь! Иди, товарищи, — закричал он. — Это с берега снег согнало, а лед осел...

Вода забурлила, зафыркала от четырех пар ног, как от винта парохода, луна расплескалась на тысячи головастиков и змеек, пустившихся в серебряный скользящий пляс. Вода не глубока, едва хватало до колен, промерзшие в лед ноги удивились обнявшему их мокрому теплу.

Берег гол и темен, над ним чернел сонный лохматый лес, мертвящий свет луны трогал голубым взрыхленные сугробы на опушке.

И так стремилась душа в этот родимый лес, к русским медведям, к русским лешим, к убогим избам с тараканами и вонью, к румяным молодицам, к девкам, к покрытым седым мохом мудрокаменным древним старикам. Лететь бы, лететь, с граем, с криком, как желторотая стая воронят!

По подстывшей за ночь вязкой глине беглецы покарабкались наверх. Все закрестились, вздохнули полной грудью. Лука, на радостях, тотчас же после молитвы матюгнулся, погрозил кулаком на озеро.

— Гори эта армия огнем! Гори!!

Николай, всмотревшись в ночь, крикнул воспаленным голосом:

— Товарищи!.. А ведь на озере огонь. Это наши!

— Верно, — подтвердил Егоров, — я видел, хворост валялся.

Возбуждение сменилось небывалой дрожью, из уст путников, вместо слов, вылетала непонятная гугня:

— О-го-ньку... Деде... де-ревню...

Ноющий, зубастый холод вгрызался в организм и гулял в нем, как в коридоре, ноги то холодели, то вспыхивали, будто раскаленные иголки жалили их, как пчелы. Люди зашевелились, заметались. Потрескивая сучьями, шарились по лесу, искали деревню, деревня провалилась. Кто-то упал во тьме, кто-то кричал:

— Эй, кто живой?..

И вот все четверо сбились в пустом, брошенном сарае. Должно быть, развели костер, — не здесь, не там, неизвестно где, — должно быть, сушили рубище, прогревали тело, палили — жгли огнем сердце, кости, кровь, оттаивали замерзшую душу и глаза. Но глаза смежались, душа смыкала крылья, а лунные лучи, в обнимку с лучами лесного мрака, плели крепкий трудный сон.

ГЛАВА XXII

Родные русские туманы

Их разбудил холод. Рассветало. Смотрели друг на друга с острым удивлением. Они ли это, недавно бодрые, сильные, хорошо одетые, с поклажей за плечами?

— Барахла не приволокли с собой, зато, братцы, жизнь узнали, — сказал Лука Арефьич; борода его с правой стороны опалена, лицо, как и у прочих, в саже, в пепле.

— Как-никак, а половина наших людей загибла, — опять сказал Лука и засопел.

В полуистлевшем рубище, в грязи, в прорехах, не люди — огородные пугалы — пошли искать деревню. А до деревни всего сажен пятьдесят... Леший ее, что ли, накрыл вчера шапкой-невидимкой?

Николай Ребров и Егоров завернули на огонек в бедную лачугу, Лука с Илюшиным — в избу побогаче.

— Ой, кормильцы, да откуда вы? — испугался старик, низенький, лохматый, в синих домотканых

портках и рубахе. — По миру, что ли, собираете? Бог подаст, нет у нас ничего!.. Ступайте со Христом.

Николай жадно ловил русскую мужицкую речь. И так мил, так дорог стал ему этот седой с прозеленью дед. Он шагнул к нему и обнял:

— Дедушка, родной!.. Мы из Эстонии...

— О-о-о, — изумился дед, от него пахло луком и овчиной. — Садись, ребята, коли так... Эй, бабка!..

У печки крепкая старуха в сарафане вытаскивала из пламени рогачом чугун.

— Ой, родименькие мои, ой, детушки. — Она подошла к беглецам, подшибилась рукой и завсхлипывала. — Ой, не видали ли там моего Кузеньку, Юденич-генерал забрал его?

— Кузьма Рыбников, — пояснил старик. — Да где, нешто встретишь в вихоре в таком... Всех перемело — перекрутило... Хвиль-метель...

— А другого-то сынка нашего белые повесили... Не хотел Юденичу служить. Удозорили, выволокли да на березу... Ой, ой, — старуха закрестилась.

— Алексеем звать, — опять пояснил старик. — Алексей Рыбников. Похоронен здесь, на погосте...

А третий-то в Красной Армии. Письма пишет... Поцелуем письмо да поплачем...

— Звать Иван... С белыми не пожелал, дай бог... Не пожелал... Да... Слышь, старуха!.. Ребята-то устали поди, есть хотят... Дай-ка молочка... Хлеба-то нету!..

— Нету, нету у нас хлеба-то... Давно нету... Ох, горе, горе... Ужо я молочка да картошечки...

Николай пялил слипавшиеся глаза и поклевывал. В избе жарко, как в бане: разморило, бросало в сон...

— Иди, кормилец, посбирай, — проговорил старик Егорову. — Авось подадут хлебца-то. Тут есть, которые справные хрестьяне... Ничего, тебе подадут... И мы со старухой пожуем... Иди, милый...

Егоров ушел.

Дед скрипел:

— А коровка у нас есть, это верно. Отелилась... Да, да. Бычишку принесла, а надо бы телку. Это верно... Что ты будешь делать? А коня Юденич слопал... Нету лошадушки, безлошадные мы... Это верно.

В комитетской бедноте... Плохая жизнь по Руси пошла, плохая. Наказал господь... Да! Все сулят лучше. И Ванька из Красной Армии пишет: жди, отец, улучшенья... А плохо же, плохо кругом. Не глядели бы глазыньки мои...

Николай как в люльке, и кто-то сказку говорит. Он открывает глаза, любопытно окидывает деда взглядом, шепчет:

— Наших трое на озере остались. Не было силы идти...

— Старуха, слышь?! — скрипит дед. — Еще трое... — и крестится. — Со святыми упокой... Как звать-то? Со святыми упокой рабов божьих...

А нянькина сказка журчит опять.

— Ой, ой, — говорит старуха. — Это их душеньки, стало, прилетали сей ночи... Три раза в окошко по стеклышку, как птичка крылом трепыхала... Встанем, поглядим со стариком: нет никого, темень, хвиль-метель.

— Дедушка, сделай милость, поезжай... Живы они, — еле ворочал языком Николай.

— Где живы!.. Мороз такой... А ладно, ужо к крестнику схожу... крестник у меня, Панфил Кольцов... А я-то Никита Рыбников буду... да, да. Это верно. Ужо схожу. Он съездит... Недалеко, говоришь? Ох, и загинуло вашего брата, беглецов... Тыщи, тыщи! Не приведи господь.

Полусонный, Николай Ребров жадно ел и пил: хлеб, молоко, соленые прокисшие огурцы, картошку. Чем больше ел, тем сильней наваливался сон.

— Кусай, чего же ты? — кажется, Егоров, его голос, его смех.

И Лука сидит и дед.

Николай очнулся, откусил засунутый в рот кусок, пожевал, и — куда-то все исчезло.

Все четверо проснулись как один. Лежали на полу, на сене. Толстолобый кот, мурлыкая, переходил от одного к другому и с родственным гостеприимством терся о щеки беглецов.

Николай поднялся. Утро. Старуха топит печь. Старик истово молится перед образом, шепча молитву и почесывая изъеденный клопами зад.

— Вот так штука! Никак, целые сутки спали, — потянулся Николай.

— Сутки? — заулыбался дед. — Нет, прибавь, — перекрестился он и поклонился в землю. — Третьего дня легли...

— Ловко, — сказал Лука. — Выходит, двое суток?

Илюшин засмеялся и дернул кота за хвост.

— Так и есть — двое суток. А Панфил гонял верхом на озеро... крестник-то мой, Панфил Кольцов, это верно... Того же утра гонял... Ку-да! Нешто сыщешь? Туман... Такой ли туманище, как молоко. Третьи сутки туман. Что ты будешь делать?

Сердце Николая заскребли когтями. Он встал, попросил у деда зипун и вышел на берег.

Густой туман стоял в деревне и в лесу. И все Пейпус-озеро закутано туманом.

Николай прислонился спиной к сосне и тяжко задышал. Пред ним поплыла вся жизнь в Эстонии: генерал, Варя, сестра Мария, поручик Баранов. Какая мучительная комедия, какая пустота! Не сон ли это? Может быть, сон и Пейпус-озеро, и туман и дед, — все сон?

Нет! Он опять в родных лесах, вот он спрашивает свое сердце, пытается прочесть грядущую свою судьбу, — ведь круг юных дней его завершен, концы сомкнулись, — и от этой грани, из этих береговых туманов он должен твердо вступить на крестный путь, может быть похожий на стезю к Голгофе.

Горб опыта и мертвящая пустота минувших дней лишь открыли ему глаза на прошлое, но чья рука поведет его на простор новой жизни, новых человеческих взаимоотношений? А вдруг и там такой же седой туман, как здесь?

И, как отбившийся от стаи лебедь, он вдруг почувствовал в тумане своего сердца призывный клич. Дрожащими руками выхватил из записной, уцелевшей книжки письмо поручика Баранова и жадно,

залпом перечел его. Да, да... Вот по какой стезе он должен направить свой полет.

Николай медленно сложил письмо, уставился долгим взглядом в снег. Большие мысли не всплывали в утомленном взбаламученном мозгу. Сердце юноши в тумане, и голову обносил туман.

Сердце ныло о другом. И прежде всего...

— Сидоров, прощай!

«Про-щ-а-й!» — откликнулся туман и лес.

«МЕРИКАНЕЦ»

I

Модест Игренев — заправский кузнец. Он сделан на цыганский лад: черномазый, курчавый, глаза большие, цыганские — мечтательность в глазах, и речь отрывистая, насмешливая, жилистый, высокий; в плечах узок, но лапы по силище железные, по уменью — золотые. Чего там о подковах, о жнейках толковать — пара пустяков. Он ружья медвежачьи делал, «молоканку» изобрел — сливочное масло бить — и на самодельном самокате к куму чай пить за семьдесят две версты ездит.

— Мериканец, — говорили про Модеста мужики.

— М-да, мозга в башке густая...

Так и укрепилась за ним слава. И если бы, прости господи, не окаянный леший, быть бы Мериканцу первейшим человеком во всей округе. Ан тут-то вот и сорвалось. Тихомолком снюхался Модест с нечистой силой, да такое выкинул, что все крещеные ахнули.

А случилось дело так.

Сидел Модест поздним вечером на обрыве, вблизи своей заимки, курил трубку и мечтал, поглядывая на золотые облака.

— Другие говорят, что облака — кисель, — рассуждал сам с собою Модест. — Кисель, а не валятся.

Опять же взять птичье перышко: порхает в воздухах... и никаких огурцов. Али паутина... На что уж летяга — белка и та может с дерева на дерево, вроде птицы. А вот человеку не дано... Обида вышла... Ангелу дано, черту дано. Летяге дано... Пошто же человеку не дадено? Полный непорядок...

Дальше — больше, сидит мечтает. Голова от дум огрузла, и уж стало богохульство на ум взбредать. Модест крепился, говорил:

— Грех... не надо. Имеется в наличности у человека башка... Ну, стало быть, кумекай так и так, мозгуй.

Его заимка была на опушке густого сосняка. Он глядел на расстилавшуюся даль. Солнце село. Из-под земли тянулись кверху огненные мечи. Они пронзали подрумяненные груды облаков и гасли в поблекшем небе.

— Врет поди... брешет. А может, и так... Оно, конечно: Гаврило Осипыч человек пьющий, хоть и кум. Заклинаю тебя, дурака, богом святым — летают... И машины такие есть — ирапланы. Ну, мало ль что он спьяна-то... Да и какой он, к свиньям, учитель? Одна видимость. Из солдатишек... Буки аз-ба-ба... Аз пью квас, увижу пиво — не пройду мимо... Эвота о масленой...

Но Модест вновь повернул себя к мечте:

— А хорошо бы, черт... Порх-порх — и там...

От обрыва на целую версту шло мокрое, поросшее осокой болото с круглой озериной; за болотом, на берегу речки Погремушки, виднелась его собственная пасека.

— Прямо не пройти, а обходить взад-вперед сто верст. А ежели бы крылья... взобрался на обрыв — порх — и там!.. — Модест улыбнулся, засопел.

Он просидел здесь до поздних петухов, а лег спать на повети и не смыкая глаз провалялся до зари: в голове суматоха, — позванивали, поблескивали огоньки, взмахивали крылья птиц, без конца, без начала вспыхивали мысли. «А вот захочу... Модест Игренев... знаменитый человек. Захочу и полечу».

II

Целую неделю он был в тревоге, в возбуждении. Молот рассеянно бил не по тому месту, железная сварка ломалась, дрель насмешливо визжала и сверлила дыры не там, где надо.

— Ты что это как сонный, Мериканец? Аль округовел? — сердились заказчики. — Не сатана ли тебе приснился?

— Он самый.

Даже жена, круглобедрая Палаша, удивлялась:

— Иным часом рад целого барана стрескать, а тут так... Ешь!

— Постой, погоди ты, — отодвигал он миску с пельменями, отвертывался к окну и смотрел вдаль как помешанный.

А через неделю, в праздник, утром, он сказал жене:

— Становь самовар. Тащи оладьи... А я за медом слетаю, живо обернусь...

Палаша знала, что муж вернется с пасеки только к обеду — туда-назад верст шесть, — и подала ему узелок с едой:

— На, там закусишь...

— Говорят тебе, через полчаса слетаю...

Палаша долго смотрела ему вслед, у ней опустились руки, а сердце захолонуло.

В это время к заимке подъезжал верхом на своей замухрастой лошаденке Гаврила Осипыч Воблин, кум.

Он свернул в кусты, очистил от пыли блестевшие на солнце сапоги, венгерку со шнурами и стал прихорашиваться перед карманным зеркальцем: ловким зачесом прикрыл лысину отращенными над правым ухом волосами, поставил вверх свои военные, подкрашенные линючей краской усы, ласково провел по гладко выбритому подбородку с ямочкой и надел гуттаперчевый, резко сияющий воротничок номер сорок пять. Пыхтел, сопел, кряхтел: было очень жарко, и воротни-

чок — дань моде — впивался в красную шею острыми краями.

— А-а... Пелагея Филимоновна! Сколько лет! С праздничком!..— вскричал он, входя в гостеприимный двор.

— На уж, целуй... Чего тут... Прохиндей. Привык по-благородному-то? — весело встретила его хозяйка и протянула к толстым, враз оттопырившимся губам кисть руки, пахнувшую луком.

— Хе-хе... С праздничком, пряник мятный!..— Чмок-чмок, — с воскресным днем, достопочтенная Пелагея Филимоновна...

— Чего уж, — засмеялась та в кончик ярко-красной головной повязки, которая так ловко оттеняла ее миловидное синеглазое лицо, — чего уж церемониться-то... Зови Палашей... А при нем ежели — Филимоновной...

— А их нет?

— Кого это их?.. Мериканца-то?.. Да с ума, видно, спятил... На пасеку улетел. Я, грит, не пойду, а полечу, как гусь.

— То ись как?

Через минуту, в одной взмокшей рубахе, Воблин, раскорячившись, умывался во дворе. Палаша рассматривала его плохо закрытую лысину, лила в широкие пригоршни ключевую воду и дразняще посмеивалась:

— Ну и кобыленка у тебя... Чисто коза. Ххи!.. И как это она под тобой, под толстомясым, дюжит?

— Подо мной-то? Ф-фу... — отфыркивался Воблин...— Подо мной даже приятно... Я б те сказал... да боюсь — ковшом по маковке ерыкнешь...

Самовар пускал пары. Сидели друг против друга. Скатерть белая; кирпичный чай с топлеными сливками душист; блины, оладьи, пирожки с начинкой вкусны.

Учитель скатывал в трубочку враз три блина и, обмакнув в растопленное масло, отгрызал. Отгрызет да опять потычет. Вкусно. То же проделывала и хозяйка. Так макали они в общую масляную чашу, смачно чавкали, облизывали губы.

Воблин жадно все пожирал, как крокодил.

— Протрясло дорогой-то. Семьдесят верст ведь.

— Ешь во славу, чего там... У тебя торба-то эвон какая, полвоза сена вбякать можно.

— Хе-хе... Чего-то в голову вдаряет. Рюмашечку бы...

— А ты расхомутайся, — повела она бровями на воротничок.

— Нельзя-с, Палашенька. При даме сердца-то? Нельзя.

— Чего нельзя. Все можно.

— Можно? Ну, в таком разе... — он вдруг вскочил. — По-военному! — и, как петух на курицу, налетел на подавившуюся сахаром Палашу... Чмок-чмок.

— Чтоб тебя... Пусти!.. Мериканец идет!.. Пусти!..

Скрипнули половицы, отворилась дверь.

— Здрасте-ка, приятно кушать.

Большой сухопарый старик, бородка клинышком, крестился на иконы.

— А-а, старшина... Начальник!.. — раздувая ноздри, вскричал Воблин и стал закручивать буравчики-усы.

— Садись-ка, дедушка... — вспыхнув маковым цветом и оправляя красную повязку, сказала Палаша. — Поди устал с дороги-то. Дальний гость.

— А где ж хозяин-то?

Выпили два самовара, а Модеста нет как нет. Пошли к обрыву.

III

Сначала шли рядом.

Старшина, по прозванию Оглобля, сутулый и высокий, шагал, как журавль, Палаша плыла утицей, а Воблин катился брюшком вперед, незаметно чиркая большим оттопыренным пальцем, как по спичечнице, по крутому бедру соседки. Та точно так же незаметно била по руке и томно замирала, потом вдруг ойкнула; Воблин отдернул блудливую руку, схватился за усы и крякнул. Журавль ткнул в Палашу носом:

— Эк тя родимчик-то!..

На самом обрыве лежал вверх бородой бродяга Рукосуй, сосал трубку и поплевывал в небо.

— Помогай бог дрыхнуть! — шутливо крикнул Оглобля.

— Я работаю, — сказал сквозь зубы Рукосуй и лениво повернул к старшине черное от копоти лицо.

— Хы... Что же ты, паря, работаешь?

— Брюхо на солнце грею... — сипло сказал бродяга. — Да еще соловья в кустах слушаю... Чу!.. — и загоготал барашком.

Из кустов раздался стон.

— Мериканец!.. — крикнула Палаша и, вздымая облака песку, кинулась по откосу вниз.

Модест, весь мокрый, дикий, неузнаваемый, сидел, как свая в земле, по пояс в болотной гуще.

— Кум! Товарищ! — всплеснул руками Гаврила Осипыч, укрепившись на твердой кочке.

— Тащите... Зашибся, кажись... Подвела, анафема... попортилась.

— Кто?!

И тут только заметили крылья, как у огромного нетопыря, хитро прикрепленные веревками к туловищу Мериканца...

— Батюшки, са-атин... Сатине-е-т мой, — заквилила Палаша. — Моде-ест, да ты сдуре-е-л...

— Тьфу, твой сатин!.. Ступа этакая... Я, кажись, ногу повредил.

Учитель Воблин деловито засуетился:

— Ну, старшина, командуй!.. Пелагея Филимоновна, пожалуйте удалиться в отдаление... Потому — болото, мужской пол окажется без всяких яких... вообще дело грязное... — закончил он витиевато, как всегда на людях, уселся на сухую кочку и, страшно пыхтя от напряжения, стал проворно раздеваться.

После усиленной работы Мериканца извлекли. Кости и суставы оказались целы, лишь было оцарапано лицо и чуть надорвана ноздря.

Крикнули хозяйке, чтоб убиралась восвояси, а сами в голом виде, похожие на арапов, пошли обходными путями к воде, чтоб смыть с тела густую грязь, начавшую уже подсыхать на солнце.

— Тебе бы надобно пуще махать... Чего ж ты оплошал-то?

— Сильно махал... Саженей десять пролетел. А тут сердце зашлось, я — хлоп!..

— Это тебе, кум, не ироплан. Хорошо, что не башкой воткнулся... Век бы в такой трясине не найти.

— Ку-уда тут...

— Хы! Вот это лета-а-тель. Так сильно махал-то, говоришь? — подмигнул Оглобля.

Гаврила Осипыч Воблин катился сзади, отколупывая с толстых холок лепешки грязи и опасливо озираясь на кусты: не подсматривает ли плутоватая Палаша. Передом шел Мериканец — черт чертом, с крыльями. Непослушными от раздражения руками, злясь и дергаясь, он старался распутать узлы веревок. А Оглобля, как конь хвостом, что есть силы крутил в воздухе полосатыми портками — уж очень донимали комары.

IV

С этого дня про Мериканца в народе такое пошло, что и не вымолвишь.

Усердней всех старался бродяга Рукосуй: он был чуть сумасшедший, и его частенько обуревала, особливо после перепоя, чертовщина и виденица. Рукосуй клялся и божился, что самолично усмотрел, как Мериканец летал на какой-то птице, словно бы на индейском петухе, да откуда-то припорхнул, дескать, коршун, не иначе — из болотины рогатый черт, клюнул индюка в бороду, — ну, знамо дело, Модест и загремел.

Однако бродяжьей божбе веры не было, да и Рукосуй на другой день плел уже иное, до того несуразное, что даже сам удивленно выкатывал глаза и норовил подобру-поздорову скрыться.

Зато потрясучие старухи, эти заправские ведьмины дочери, жившие, по выражению Воблина, «на легкой ваканции у антихристовых слуг», стали открыто говорить, что Мериканец спознался с лешатиком.

Ребятенки сильно начали его побаиваться, да, пожалуй, ни одна душа крещеная не решилась бы теперь пройти в лихое время мимо проклятущей кузницы, где еженощно до первых петухов светился адов огонь и раздавался грохот: кузница на самом обрыве высилась, а село-то под горой — оттуда хорошо видать.

Но вся эта несусветимая нелепица скатывалась с Модеста, как с гуся дождь, а неудача еще более окрыляла его.

Да и судьба к тому же: купил Модест третьеводнись добрую селедку, приказчик завернул ее в печатный лист с картинками. Дома глядь: «Ае-ро-план. Схе-ма-ти-че-ский чер-теж».

— Ха-ха!.. — закатился радостно Модест и поставил кружку с чаем. — Ну верно толкуют, что мне помогает черт.

Палаша ничего не поняла, она вышивала по канве Гавриле Осипычу рубашку и в мыслях сравнивала его, «завсегда такого великатного», со своим долговязым, рехнувшимся хозяином.

И уж мечты ее шли дальше:

«А вот сбегу, да и все... Проклажайся один с нечистиками, коли так».

Но Модест, изрядно, впрочем, ревновавший ее к куму, теперь весь был поглощен иной заботой, и мозг его пламенел. Он не поинтересовался, для кого готовится подарок, да вряд ли приметил и Палашу: мимо него толпой неслися облака, свистел в ушах ветер, урчали струны «ироплана», а внизу расстилалась мглистым ковром земля, пестрели села, города, хибарки, серебрились игрушечные речки, жутко тянули в свою синь безбрежные моря... дальше, дальше, на сухое место, на твердое, в белокаменную Москву... Стоп, машина!

— Мо-о-дест...

Тот улыбался и, глядя куда-то в угол, грозил ей пальцем.

— Модест... ко-ормилец...

Мериканец круто повернулся с делами. Недолго думая, уехал в город и вернулся с целым возом меди, стали, проволоки.

Все село обрадовалось:

— Модест на точку встал... Айда, ребята, волоки в починку всякую стремлюдь!

Однако кузнец принял их не очень-то любезно.

— А подьте вы... Не до вас тут, — и заперся.

Покрутили мужики бородами, пощелкали языками, стали кланяться:

— Ради Христа, Модест... До зарезу...

Мериканец в ответ нехорошо выругался.

— Ишь тебе имя-то Христово до чего тошно. Ах ты, окаянная твоя душа. Какую взял моду — летать!

— И полечу... Неужто с вами тут...

Но, погорячившись, успокоился.

— Оставляйте... Налажу.

День и ночь пыхтел, еще уже стал в плечах, нос вытянулся, только глаза горели, и что-то поделалось с ним нехорошее: бьет-бьет молотом, отшвырнет прочь, приложит ладонь ко лбу и стоит в оцепенении. Заказчик смотрит на него, дивится. А он — за дверь, да и почнет шагать вдоль обрыва взад-вперед, взад-вперед, сам с собою разговоры разговаривает; потом встанет, упрется, как бык, в землю.

— Модест Петров! — окрикнет его мужик нетерпеливо, — да когда ж ты лемех-то сваришь?.. Ведь мне время пахать.

— Сейчас, сейчас... — грозит ему пальцем кузнец и говорит, разводя руками: — Ежели так, то будет этак... Сюда, допустим, шуруп. Ну, а втулку? Втулку, втулку... Вот она втулка-то, вот... Черт... Наперекрест ежели струны?.. Нет, перетрет... Сейчас, сейчас, дядя Василий!

— Какой я тебе Василий? Обалдел? Иди, ради бога, — сердится старик.

— Иду, дедушка Ипат, иду... Механика, брат... — многозначительно подняв палец, говорит Модест. И вновь брызжут искры из-под молота.

Кузнец переселился на жительство в амбар, ключ от большущего замка держал за голенищем и что делал он в амбаре — никто путем не знал, но всяк догадывался: волховству предался мужик, загибла душа человечья.

А Палаша как бы овдовела вдруг: она беспечально стала бегать, по молодости лет, на игрища и домой возвращалась поздно. С досады, что ли? Непорядок в доме, недостаток. Кабы не золотые руки у Модеста, нешто пошла бы за него? За Палашу сватались люди настоящие. Нет, выбрала кузнеца Модеста девья дурная голова, ульстил, чернявый. Вот, думала, поживет вольготно. Да, впрочем, и жила: в меду купалась, сафьяновые туфельки носила. А тут ишь ты, на птичье положенье перешел: «Годи маленько, говорит, Палаша... Озолочу, говорит». Тьфу на его слова, вот что!

V

На деревьях золотились листья, трава шуршала по-особому, цветы иные, не весенние, печально глядели в облачное небо, а птицы стали деловиты, словно люди: люди жнут — птицы зерна подбирают, люди хлеб по дорогам повезли — птицы табунами носятся, галдят, высматривают путину необманную к морю-окияну.

Еще маленько — и потянулись птицы понемногу в дальний край. А за ними собрался и Мериканец в свой губернский Камень-город.

— А я что ж, без гроша буду? С голода подыхать?.. Уйду я... вот что.

— Куда же это?

— Опосля узнаешь. Неужели с тобой горе мыкать? Да чтоб тя разорвало на десять частей и с летягой-то!..

Модест испугался.

— К кому уйдешь-то?

Защемило сердце. Зудили кулаки дать жене трепку, чтоб выбить дурь. Хотелось сделать ей больно еще за то, что... ну, как это?

— Хозяин старается, у хозяина голова трещит от дум... Ведь ежели я сделаю машину-то, ироплан-то... Эх, да чего с тобой, долговолосой, говорить!.. Тошно мне...

Пелагея заплакала, бабья колючая злоба полилась из сердца.

Модест смотрел на нее в упор, кивал головой укорчиво:

— Ты бы радоваться должна... Трепетать... что такой у тебя супруг. Халява!..

— Раа-доваться... В могилу... вот куда. Люди проходу не дают. Эвот авчирась: с колдуном, грит, живет... наверно, у ней, ребята, хвост. Ведьма, кричат. Вот сколь сладко жить!..

Модест крякнул, закусил губы, порылся в карманах, в кошельке — пусто. Достал со дна укладки часы — благословенье покойного родителя, — подал:

— На, заложи жиду... Скоро вернусь. Прощай.

Дорогой говорил попутчику, глуховатому старику солдату:

— Понимаешь ли, в чем резон-то?

— Ась! Как не понять... Все до тонкости...

— Вот-вот. Я все эти самые машины — как свои пять пальцев... Ну, скажем, паровую молотилку. Сто разов разбирал... Плевок...

— Долго ли до греха... Ась? Я тоже топоришко прихватил. Не ровен час.

— А в городу, сказывают, есть самокатная лодка... У ней машина на особицу... винтом воду из-под себя вырабатывает. А мне надо воздух... Сто верст в час чешет.

— Да как же можно?! — воскликнул, прихрамывая, солдат, и его тупорылое лицо с седым, давно не бритым подбородком весело заулыбалось. — Вдвоем али одному... Ну, скажем, он тебя сгреб за грудки... Ась?

— Вот-вот... Хочу рисунок срисовать.

— А я его обухом-то и лясну по маковке...

— Ну да... А потом пожалуйте пакент. Сто тыщ... Я опрощу. Просто чтобы. У меня своя механика.

Так шли они протоптанной тропой, возле покрытой черным киселем дороги и рассуждали по-хорошему: старик был глух, душа Модеста — очарована.

У солдата костыль, да пустая сумка, да еще прожорливый толстогубый рот. У Мериканца — руки. В первом же селе заработал двадцать целкачей. А на шестой день, когда в тумане забрезжил Камень-город, кисет Модеста туго был набит бумажками и серебром.

Солдат страшно попутчиком доволен, усердно качал мехи, похлопывал Модеста по острому плечу, бубнил:

— Экой ты парень золотой!

На постоялом дворе, в самом городе, после длинного пути угостились водкой.

Пьяный старичонко солдат, растопырив руки, торчавшие из широких сермяжных рукавов, то пускался в пляс, — но левая нога озоровала, не слушалась, — то бухался на грудь Модесту, весь захлебывался шамкающим смехом, бормотал:

— Лети!.. Мое солдатское слово — лети... Вот до чего ты мил. Нерушимое благословенье. И я с тобой... Хошь за хвост летягин дай подержаться... Хххых!.. А бабы — дрянь. Не хнычь, сынок... Не стоящие званья...

— Дрянь, брат, дедко... Дрянь!

— Эн, бывало, мы... под Шипкой. Привели, значит, нас под самую эту Шипку. Тут мы и остановились. Да не хнычь ты. Да-кось скорей винца глотнуть. Я, брат, под Шипкой... Пей сам-то! Как хлопнем на размер души да селедочку пожуем с лучком, так и полетим.

Сначала слетел под стол старик, побарахтался там, помычал и захрапел оглушительно.

Модест был мрачен, почему-то сердце размякло, открылись, потекли слезы. И радость была в слезах, но больше было печали:

— Уж чево ближе — жена... Ну, самой дальней оказалась. Пле-е-вать!

Однако уснул Модест очень крепко. Только пред утром пришла Палаша и сказала ему: «Открой глаза. Смотри».

Модест открыл глаза и замер: внизу пропасть, черная вода шумит, в синем небе птица мчится, за ней другая, третья. «Иропланы, иропланы, — слышит крикливый голос, — иропланы, иропланы». Из пропасти поднимается, подбоченившись, Воблин, кум: сначала голова показалась, с зачесом, потом брюхо. Вот стало пухнуть брюхо, пухнуть, и уж закрыло оно все небо: нет белых птиц, ничего нет, одно брюхо непомерное и гнусавый крик смеющегося кума: «Иропланы, иропланы... Ха-ха-ха... А ты дурак...» Модест схватил горячие клещи и что есть силы стиснул ими кумов нос.

— Ой! Кто тут?!

Мериканец вздрогнул.

— Язви тя! Как ты меня сгреб, — закряхтел, закашлялся солдат. — Пошто за глотку?.. Ась?! Кха-кха...

VI

Модест в городе замешкался. Он сдружился с машинистом моторной лодки «Молния». Пришлось спустить в трактирах и пивнушках все деньжата, зато машинист кой-чему Модеста вразумил: продал самоучитель прикладной механики, вместе разобрали, обмерили и составили чертеж машины. Мериканец быстро, цепко все воспринимал и приказал крепким своим пальцам чертить что надо. Сначала грубо, неуверенно, но с каждым часом точнее, чище.

— Это называется кроки, или эскиз. Потом набело переделаем, потом на кальку... — пояснял машинист, с удивлением следя за его работой. В конце концов сообщил о нем механику Образцову.

Тот после знакомства с чертежом расспросил Модеста об его затеях и сказал:

— Вы человек с размахом. Вы — самородок. Вот только... знаний у вас ни черта нет... Понимаете? Теории...

И сразу же начал читать ему лекцию:

— У нас существуют два принципа летательных машин: первый принцип — аппарат легче воздуха...

Запомните. Второй принцип: аппарат тяжелей воздуха. Сообразно с этой теорией, или, вернее, гипотезой...

— Ваше благородье, — перебил его Модест. — Я так полагаю, что без теории полечу... А теория у меня — вот. — Он постучал себя по высокому вспотевшему лбу.

— Нет, товарищ... Это ерунда. Е-рунда! — безнадежно махнул механик циркулем. — Это бабьи сказки. Да вот увидите. Без теории не полететь...

Пока путался Модест с учебой, на заимке случилась оказия: в проклятущую кузню по ночам стал огненный змей летать.

Черным-черны ночи осенние — ни звезд, ни месяца! Вдруг аж полымем все опахнет: хвостатый змей из лесной трущобы мчится.

Положим, что, кроме старухи Волосатихи, чертова знаменья никто и не видал, а Волосатиха, прозванная так за большие усы и бороденку, увидавши, рассказала миру, да на другой день и померла. Толковали другие, что рыжиками объелась бабка, — солоща была до жареных в сметане рыжиков, — однако мир измыслил по-другому: змей, змей тому причина! А тут вскорости древнего старика грыжа задавила:

— Змей!

Тогда православные, после обедни в Успеньев день, приступили к духовному отцу:

— Вот что, батя. А ведь у тебя в приходе-то неладно...

— А что такое, братия мои? — спросил ласково священник.

— Вот те и что... У тебя Модест-мериканец бывает на духу?

— Бывает.

— Гм... И баба евонная бывает?

— Каждый год. А что?

Тут ему все подробно обсказали, выложили все догадки, опасения, вспылили злобой.

Священник улыбался, спорил, доказывал, увещевал, ругал ослиными башками.

Но мир был крут, упрям.

Собрали сход, постановили выгнать кузнеца и кузнечиху вон, кузню сжечь, дом с сараем сжечь и водрузить на сем поганом месте святой крест с водосвятием.

Проходившая старуха потрясучая остановилась, прислушалась, заверезжала.

— В небо взлетывать?.. Хе... Нет, брат... Человек не андел... Без нечистика не полетишь.

— Бабка! Пшла в болото! — прохрипел откуда-то вынырнувший пьяный Рукосуй и, покачавшись, сел горшком на землю. — Дураки вы все, сопляки... чертовы подхвостки.

Он сидел, обхватив колени, грузный, длинноволосый, вымазанный сажей, носастый лесовик. А глаза смешливые, от пьянства выпученные, враскос.

Мужики не знали, вздуть его или дать досыта навраться.

Но бродяга был серьезен:

— И полетит, — сказал он убежденно, ткнув пальцем вверх. — Модест-то? О-о-о... Мериканец завсегда полетит... Свиньи этакие!

— Сорока на хвосте, что ли, принесла? — И мужики сердито засмеялись.

— Эх вы, черти! — прохрипел Рукосуй и стал приподыматься. — Вы и тверезые, да вроде пьяных, я бродяга — и пьяный, да трезвей всякого. Потому — вольный казак, как птаха, а вы — грибы поганые, так тут и сгинете в своем лесу... Мухоморы, черти...

Миру было весело. Ермило мигнул Степке, Степка — Петровану: соскочили с завалинки, ну загибать салазки Рукосую. Тот ругался, орал на все село:

— Я вам такое сделаю, что... Я знахарь. Всем килы наставлю... Всех обхомутаю!..

— Крапивы ему в штаны... Давай крапивы.

— Кара-у-ул!

— Ага-а-а!.. Вот те птаха-канарейка.

VII

Модест подъезжал к заимке глухой ночью. Лошаденка попутчика шла бойко; нужные покупки побрякивали в ящике.

— Не баба у меня, а мед, — говорил Модест в широкую спину возницы. — Натосковался я страсть как...

— Дело известное, — ответила спина. — Мало ль в ней всяких средствий... Для этого и сохнут по бабам-то...

Окна в Модестовом дому были темные.

— Прибавь хоть четвертак... Вот, благодарим. Ну, до свиданьица.

Колеса затарахтели по кореньям, смолкли, а Модест все еще медлил входить в дом. На веревках висело Палашино белье, белой шерсти чулки с черными полосками. Модест вздохнул. Сладко в груди заныло.

Вдруг кто-то пронзительно засвистал во тьме и, поперхнувшись, кашлянул.

«Рукосуй, — узнал по голосу Модест. — Что ему надо здесь?»

В окне колыхнулся свет, погас, вновь вспыхнул. Из дверей вышла Палаша.

— Ну, здравствуй, супружница... Каково живешь?

— Модестушка! Батюшка... Да, никак, ты? — В голосе испуг, тревога. — А у нас гость, только что прибыл, — вильнул ее голос хитроумно, на веселый лад.

— Кто же?

— Да кому же быть? Кум, Гаврила Осипыч. Пьяней вина приехал... Дрыхнет. Чисто смех.

Модест молча поднялся по приступкам. Половицы скрипели четко, дверь с силой грохнула о косяки, затрясся дом.

Вырвал из рук обомлевшей Палаши огарок, окинул взглядом раскрытую постель, стены, печь. С печи торчали босые ноги гостя и раздавался мерный храп. Модест поймал вздрогнувшую ногу и с силой дернул:

— Эй ты, притворяйся!

Голос был крепок, нешуточен.

Гаврила Осипыч, всколыхнувшись животом, спрыгнул на пол и, оправляя сбившийся зачес, встал против Модеста, заспанный.

— Кого я вижу! Кум!..— подхалимно улыбнулся усатый рот.

Модест притопнул и ударил кума в ухо.

— Ах, ты драться?! Ты, хамово отродье, народного учителя избивать?!

Сцепились оба. Минута — Модест выволок кума на крыльцо и через хрустнувшие перила сбросил его в навозную кучу.

— Не расчесывай расчесы-то, черт...— сказал он сквозь стиснутые зубы жене и захлопнул дверь.— Застегнулась?! Все ли застегнула-то? — Голос его был сиплый, глаза страшные, готовые на все.— Ну, спасибо тебе, Пелагея.

Та, обхватив закутанную тряпьем, стоявшую у печки квашню, выла в голос:

— И ничегошеньки промежду нас не было. Кого хошь спроси... Да хоть измолоти его всего — не жаль... Ох ты, моя головушка!

Модест порылся в своей походной сумке, развернул сверток; полыхнуло ярко-красным.

— Вот тебе подарок привез. Кашемир... На платье... Вот тебе тафта.

Он с размаху грохнул сверток о пол и, покрякивая, изрубил топором на мелкие куски.

— На тебе подарок! На! На! На!

Из-за двери слышалось:

— Модест Петров! Я околел. Выбрось хоть штаны да венгерку. Мороз ведь.

— Просвежись!

Потом открючил дверь, вышвырнул одежду, крикнул:

— Уходи, Гаврилка, покуда цел! Да и часовому своему скажи. Сочтемся.

Погасил огарок и бросился, не раздеваясь, на кровать.

Утром ударило в глаза Модесту солнце. Услыхал громкий говор под окном и прерывистые выкрики Палаши.

«Должно быть, заберут. Воблин пожаловался», — быстро сообразил Модест.

В окно четко долетело:

— Чего ты с ним маешься-то? Наплюй ему в шары, да и уйди.

Модест вздрогнул. Решительный, страшный, он вышел на улицу, чуть ссутулясь.

Стояла куча крестьян. Против них, прислонившись к стене, плакала Палаша.

— Вы что, ребята? — спросил Модест. — С обидой али с хорошими вестями?

— А вот, значит, приговор, — паскудно улыбаясь желтой бородой и блестевшими под солнышком зубами, сказал десятский. — Значит, вообче, как с нечистиками и все такое, окромя того огненный змей... Ну, в таком разе мир не согласен, чтобы, значит... И убирайся на все четыре стороны, куда желаишь.

Модест спокойно выслушал, закурил трубку, почесал за ухом, спросил:

— Вы, ребята, верите, что я колдун?

— Известно. А то как?

— Да, я колдун!.. Ежели хотите, можете пощупать хвост. Ночью у меня рога вырастают, а из ноздрей — огонь.

Модест говорил всерьез. Мужики стояли разинув рты, с опаской смотрели на него.

— Ничего, выживайте, гоните меня в три шеи... Ну, только что... — Модест сурово погрозил пальцем, повернулся и ушел в лес.

Перепуганные мужики тихомолком побрели домой.

VIII

Опять стали видеть старушонки огненного змея, да еще будто бы какая-то «оборотка», под видом огромнейшей свиньищи, шлялась ночью из села на гору, в гости к кузнецу.

И снова стали над Модестом изгаляться, все старались как можно больней лягнуть, уязвить его, обидеть.

— Ну, что, Модест, поди скоро на пасеку-то летать будешь?

— Поди теперича тебя нечистики-то вздымут.

— Ты бы свою бабу подковал: смотри, паря, как бы она наперед тебя не упорхнула. Хе-хе.

Модест яро сверкал в ответ глазами и плевался. А иной раз пускал с плеча:

— Дураки! Остолопы! Что вам от меня надо?

Тропа к его кузнице густо поросла травой: он окончательно забросил работу на односельчан. Разве страшна ему черная корка с ключевой водой, если впереди почесть и богатство?

— Я знаю, чем это пахнет.

Палаша ходила надувши губы, укоряла, плакала, ругалась. Но Модест был слеп, глух и нем как рыба. Жена, скамейка, ель в лесу, криволапая сучонка Шавка — все одно. Мечта цепко обвилась вокруг его души, как дикий хмель возле рябины, приподняла его над житейскими делами, насытила мозг огнем, сердце — горячей кровью, глаза — безумием.

— Добьюсь!

День и ночь работал он в амбаре, иногда гасил фонарь, вылезал на волю и, взъерошенный, бесцельно шагал, словно лунатик, не зная сам куда.

Только один человек верил в летягу крепко — бродяга Рукосуй. Он двадцать лет на поселенье прожил и родину лишь во сне видал, а как хотелось: глазком бы, на короткую минуту! Вдруг как-то потянуло, сразу — ну легче в гроб! А тут как раз Модест. Эге! Пусть изобретает.

Рукосуй жил в заброшенной бане, на краю села.

Однажды ночью, лениво развалясь на полу, бродяга трескал водку. Баня была «по-черному»; сажа, копоть покрывали пол, потолок и стены. Курился огонек на камельке, плавал сизый дым, дверь — настежь, звезды видно. Бродяга чернее трубочиста, пьян. Он

то хохочет, как пугач в лесу, то вдруг уставится глазами в мрачный угол, куда еле проникает свет от камелька, и бубнит серьезным голосом:

— Ежели ты лопата, стой в углу. Ежели не лопата — пей!

И тянет заунывно, бессмысленно:

В небе облаки, быдто яблоки,
Уж вы, яблоки, быдто облаки...

У лопаты морда белая, широкая, блином. Облизнулась лопата, разинула хайло. Бродяга плеснул в хайло вином:

— Пей!

Лопата прорычала: Фррр! — и опять распахнула ртище. Рукосуй сам выпьет и лопату угостит. Говорит лопате:

— Ты хоть и ведьма, а дура... Я молодец. Улечу я. Вот те крест святой. Мериканца обману, укланяю, умаслю. Потому — дурошлеп он. И бабу от него сведу, как цыган коня. Ей-ей...

А Модест стоял невидимкой рядом, привалившись плечом к косяку открытой двери, и рассеянно смотрел на сутулую спину пьяницы. Как попал сюда — не знает, ноги принесли. Шел, шел — глядит: в стороне огонек играет, взял свернул. Вот стоит. Где стоит? Ничего не слышит, ничего не видит. Вот пойдет.

— Мне бы только взобраться на летягу-то да ножки свесить, — бубнит бродяга, — взмахнул крылышками — прощай, Сибирь... Хах ты, будь ты проклят!.. Прямо на Волгу-матку. Вот те хрест. Башку разобью об коренья, улечу... Пей, окаянная твоя сила, разевай пошире пасть-то!

Лопата облизнулась, сплюнула.

— Чего? Пей знай... Воблин еще водки припрет. Воблин молодец, будь он проклят! Милуются как-то с кузнечихой вот об этом самом месте, Воблин и говорит мне: «Ты, грит, молчок, старичок...» А мне что, мне наплевать, будь он проклят... И кузнечиха тоже... Убегу, грит... Ты чуешь? Эй, лопата!

Модест встряхнулся, вздрогнул, будто сонного

ударили по голове, и впился железными пальцами в косяк.

— А я ей, это кузнечихе-то, Палашке-то... Беги! Ежели Мериканец твой колдун, — беги, мол. Ты к Воблину, я на Волгу, прямым трахтом, порх-порх!..

Модест рванулся было в дверь, хотел схватить бродягу за ноги и торнуть косматой башкой в огонь. Но какая-то сила круто повернула его прочь.

— Эй, кто тут? — вскричал бродяга.

Кузнец шел молча, ноги вихлялись и ныли, словно тысячу пудов несли, из груди с хрипом вылетало дыханье.

«Так, так, так... Понимаю...» И высоко вскинутым кулаком он грозил проглоченной мраком бане:

— Сводничать?! Вот узнаешь, какой я есть колдун!

IX

Раннее утро было ядреное. Травы крылись серебряной росой.

Прибежал в кузницу, запыхавшись, Рукосуй, слова вымолвить не может, только белками ворочает, на толстых оттопыренных губах слюна кипит.

— Модест!.. — начал бродяга хрипло и хлюпнулся горшком возле горна. — Модест, а ведь это ты летал ночью в поскотине-то! А? Вот те Христос, ты! — В глазах и во всей фигуре его было мучительное ожидание.

Модест поднял молот и медлил ударить по железу. Он смотрел на бродягу пристально, настороженно.

«Разве тяпнуть его, паскуду, по башке?..»

У бродяги сквозь сажу проступили на щеках красные пятна, а лоб и нос покрылись испариной.

— Я всю дорогу вмах бежал... Ух, батюшки! Ну, скажи, ради Христа, — ты?

— Я, — сказал кузнец и опустил молот.

— Ей-бог?! — Бродяга вскочил, подбоченился, встал против Мериканца, а глаза его от радости плясали. — Ты?!

— Пошел ты к праху! Не веришь, что ли? Какая причина врать?

— Верю!.. Сударик мой, верю!! Хы-хы-хы... Язви тя в пятку... Ну и порхал... А я-то кричу: Модест, Модест!.. Да и подумал: высоко, будь он проклят, где услыхать... Хы-хы-хы... Ну, прощавай, Модест Петрович! Гуляй ко мне, угощу. Грибишки есть, рыбешка. — Бродяга пошел вон, но в дверях задержался. — А не обманываешь? — Он скосил глаза к переносице и потряс поповской гривой, словно паралитик. — Обманешь, не спущу!

Кузнец шумно дышал и с надсадой грохал молотом, косясь на Рукосуя. Тот вдруг ухмыльнулся, поскреб под широкой бородой и подхалимно сказал:

— А ты бы полетал, слышь, на народе... Ярманка скоро вот. Пущай мир подивовался бы... А? Будешь, Мериканец?

— Буду! — сжал кузнец кулак и, стиснув зубы, шагнул к бродяге: — Вон!!

— Иду, иду... Прощавай скорей.

Бродяга весело пошел в село, шлепая опорками по пяткам.

Встречному и поперечному кричал не своим голосом, размахивая руками:

— Полетит, будь он проклят!.. При всем народе... На площади... Об ярманке.

— Кто?

— Кто! Балда паршивая... Как это — кто?.. Сам Мериканец.

Его слова гасили хохотом. Бродяга свирепел. Срывал с лохматой, беспросыпной башки сшитую из тряпок скуфейку, грохал ею оземь, брызгался слюной, лез драться:

— А ты не веришь, варначина, не веришь?! Убью, будь ты проклят!

В конце концов его изрядно отлупили и заперли в каталажку, «чтоб продрыхся».

Волгу во сне видел, золотое время, свою молодость. Высокий прибрежный взлобок, на нем — белым кораблем церковь. Кругом поля, поля, ржи шумят, травы цветистые к земле от ветра никнут, плещется Волга серебром, струги несет, а за Волгой —

яблони. Эх, в хоровод скорей, с красными девками позабавиться: «Жарь на гармошке, что ли!»

Бродяга проснулся, посмотрел на решетчатое окно, дотронулся до подбитого мужиками глаза и подумал, улыбаясь:

«Ни-и-чего... Теперича недолго. Недельки три и — ярманка».

Ночь была холодная, сырая. Под горой, над болотами, туман залег, и месяц выплывал из-под земли плешивый, побледневший, мертвый.

Модест ночевал в избе. Собственноручно взбила Палаша мягкую перину и с Мериканцем была очень обходительна. Но Мериканцу не до ласк:

— Отстань, не юли. Дай мне спокой, — сказал он грубым голосом и отвернулся к стене, что-то зашептав.

В окно глянул месяц. Заголубела печь, блеснули лежавшие на скамейке клещи. Модест вяло, как в бреду, заговорил, язык его заплетался:

— То ли во сне приснилось, то ли нет. Ты была в бане с Воблиным? Бродяга плел.

— А ты веришь... Веришь?

Модест молчал. Палаша заплакала. Модест сказал:

— Притворство это.

Палаша заплакала пуще. Тоскливо в избе сделалось, жутко. Модест вздохнул. Хотелось жаловаться — наболело сердце, — хотелось верного друга на земле сыскать.

— Как собаку изводят меня. Летяга да колдун — только и званья мне. Кому какая забота? Ну, делаю и делаю... То тот, то другой... Надоело мне. А тут еще ты канитель заводишь... Эх!..

Долго лежали оба молча. Печка стала серой, погас блеск клещей. Месяц глядел теперь мертвым ликом прямо на кровать, нашептывал. Уснули, что ли? Недолго придется, люди, спать. Пятеро гуляк идут, вот подходят, ближе, ближе, подошли. Эй, спящие, вставайте!

И вдруг загрохотали в окно, послышался хохот, пьяный крик. Модест круто нагнул руль вниз, спрыгнул на зеленый луг с крылатого аэроплана и проснулся.

— Модест! Подь-ка сюда.

«Кровать, черт его знает, кровать! Печка, изба, Палаша. Где ж аэроплан?»

— Эй, Мериканец! На пару слов. По делу!

Модест крепко выругался и со злобой подошел к окну. Толпа гуляк стояла.

— Что вас леший носит?

— Открой-кось.

— Ну?

— Слухай-ка, Мериканец... Вот что... — в голосе говорившего копился смех, — вот прыснет, разорвется. — А вправду ли, что ты колдун? Что быдто полетишь? Покажи, на чем? Ха-ха-ха. На черте, нет?!

— А баба-то твоя еще не упорхнула?

Модест плюнул в чью-то широкую бороду, схватил молот и кинулся вон. Пьяные гуляки с хохотом и руганью сигнули в лес.

— Вы мне душу всю вымотали! Стрелять буду, собаки. Убью!! — истошным голосом, потеряв себя, орал Модест.

В лесу притихли.

Он вошел в дом, выставил в окно ствол дробовика и прицелился на вновь прозвучавший во мраке пьяный смех.

— Рукосуишка хохочет.

Мстительно грохнул выстрел. Хруст раздался в трущобе, оторопелый топот бегущих ног.

— Кажись, влепил, — с облегчением сказал кузнец и единым духом выпил большой стакан вина.

X

Ветер катит перекати-поле: куда ветер, туда и трава летит. Так и человечье ветреное слово — покатилось по всей волости, по всему уезду весть: в осеннюю ярмарку, в селе Ватрушине, Мериканец Модест,

что на речке Погремушке держит кузницу, будет при помощи нечистой силы взлетывать по воздуху на какой-то на своей летяге («а может, и впрямь изобрел мериканскую стремлюдь»).

Докатилась эта весть и до его высокоблагородия, уездного исправника Урвидырова, человека крутого, до всяких новшеств неохочего: живи по старинке, кого надо — чти, шею держи согбенною, ходи на цыпочках и не фордыбачь.

Крутой приказ от него исшел, с крутым, очень страшным росчерком (надо быть, перо сломал), что так, мол, и так, становому приставу вменяется в непременную обязанность, и прочая, и прочая. Словом, следить за Мериканцем в оба и чуть что — свершить по закону ущемление.

Становой дал строжайший наказ местному уряднику: «Сборищ не допускать. Пресечь. Летателя представить в город совместно с механизмом».

Урядник, человек больной, робкий, суетливый, поехал к учителю Воблину, — в одном полку служили:

— Неясно мне слово «механизм». Растолкуй, Гаврило Осипыч.

— Механизм? Ха... Очень известно. Ужо-ко у меня где-то календарь был Гатцука... Механизм, механизм... Что-то такое знакомое, понимаешь. — Приняв необычайно озабоченный вид и поправляя сбившийся зачес, он рылся в шкапу с посудой. Припахивало водкой, и вся комната была насыщена винными парами.

— Напишут же... Что бы просто... Нет! А ты тут вот бейся на тридцати рублях.

— Сейчас, сейчас... Именно, жалованьишко, что ваше, что наше — тьфу! Где ж календарь-то? Агафья, не брала ли календарь? Ты все кринки, дрянь-баба, им покрываешь... Нашла? Ну, давай... Механизм, механизм... Та-ак... Механизм... Вот я идеализм знаю. Это, понимаешь, ну, такая, как бы тебе сказать... Такая вещь, с дырьями... Понимаешь? — Он вытаращил глаза, сделал губы трубкой и уставился на урядника. — А верней всего вот: пойдем к попу!

— Верней верного. Айда ни то!

Они пошли. Дорогой Воблин спрашивал:

— В чем же суть бумаги? Кузнец? Модест? А-а-а... Вон как. Резон... Мужичонко вредный...

— А Па-а-лаша? — подмигнул урядник Воблину, игриво ткнув его пальцем под ребро.

XI

Работа Модеста шла успешно: к зиме аэроплан будет налажен, сугробы мягкие — не расшибешься, пробуй. Модест повеселел, подобрел, находился в каком-то сладостном угаре. Палаша? Воблин? Ничего, после, после. Рукосуй?

— А вот погоди. Расчет будет у меня. Всех умою!

Постукивает по остову машины молотком, натягивает крылья, сам с собой улыбчивый разговор ведет. Иногда заводит песни: одну затянет — собьется на другую, плюнет.

Работает больше по ночам. Сон не берет его и не тянет на еду. За последнее время в черных висках показалась седина, нос вытянулся, провалились щеки. Как-то взглянул ненароком в зеркальце, перетрусил. Он ли, нет ли? И очень сильно стала голова болеть, иной раз такая боль, ну словно кто схватил глаза железными щипцами и выворачивает. Тогда Модест кричит в амбаре не своим голосом, Палаша отрывает от подушки сонную голову, крестится и вся трепещет.

Однажды в поздний час, осмотрев кругом всю свою усадьбу — чтоб ни одна душа не пронюхала — и выждав время, когда Палаша загасит свет в избе, Модест вытащил из амбара заветную летягу, погладил ее белые крылья и ну любоваться ею, как желанным сыном мать.

— Ты не жена... Не продашь, не изменишь...

Вплотную придвинувшись к заимке, стеной стоял безмолвный лес. Небо усеяно четкими звездами, и там, вверху, над головой Модеста, незримо мчались к югу журавли.

— Ишь ты, курлычут как... — прошептал Модест и сладостно вздохнул. Его окрыленный дух устремлялся ввысь, туда, за журавлями.

— Птица летает, сатана летает. Как это не дадено?! Дадено и человеку. Прямо в облака, быдто небесный серафим божий.

Модеста вдруг охватила тихая, ласкающая радость. Он всхлипнул, снял шапку, поднял глаза к лучистым звездам и набожно перекрестился.

Из сумрака светились в этот миг два тайных глаза. На опушке леса, в отдалении, вытянув вперед шею и откинув руки, стоял бродяга Рукосуй. Дрожь трепала его, раздувались ноздри. Душа бродяги тоже была вся взбудоражена и видела во тьме, как днем.

— Летяга... — шептал он... — Ох ты, мать честная... Ле-тя-а-а-га. — Больше ничего не мог сказать — внутри не дозволяло, захватывало дух.

Когда Модест запер амбар, Рукосуй, все так же дрожа и подергивая плечами, потонул в лесу.

— Приведи, господи, помоги, господи... — бормотал он, пробираясь сквозь чащу. — Прилечу на Волгу, обещание дам: прямо в монахи, к отцу Серафиму, Саровскому. Пропади я пропадом, ежели не так!

Кузнец и Рукосуй с одинаковым напряжением ждали ярмарки. Рукосую невтерпеж — свобода. А Модест... плюнет всем мужикам в лицо — не издевайся!

XII

Наконец ярмарка пришла. За день, за два, из далеких же сел и за неделю начал собираться крестьянский люд. Только и разговору было:

— Мериканец летит... Светопредставление.

Дороги развезло в кисель.

По обочинам и луговине емко шагали мужики и по пояс мокрые бабы. В руках батоги, за плечами котомки. Сивый старик, борода с расчесом, солдат-усач на деревяшке, всех степеней кавалер — грудь в крестах, карапузики, богатыри, уроды, парни, девки, ребятня.

Гомон стоял на дорогах день и ночь, сроду ничего такого не было.

— Это что, Лука, коровенку, никак, ведешь на ярмарку?

— Ее. Да, мало горя, и не надо бы... да так уж... Мериканца лажу посмотреть.

— И я, брат... Чего-то он там накумекал.

— А слыхали, братцы, кузнечиха-то?.. Тю-тю!..

— Готово дело... Учительша теперича. Ха́-ха!

Вольные поля лежали, поджидая снега. Скирды пшеницы высились горами здесь и там. Веселый, сытой народ шутил и, несмотря на хляби непролазные, хотя и с превеликой отборной руганью, хлюпал не унывая. Только очень дальние, намучившиеся за длинную дорогу, обкладывали всяко и Модеста, и по уши обляпанных грязью лошаденок, и себя.

— Нелегкая-то понесла... Вот возьму да вывалю всех в грязь!.. Холеры.

Ребятишки оскорбленно мигали, куксились, бабы фыркали на мужиков.

Вот какой-то остановил лошадь и ну полоскать бабу по щекам:

— Летягу тебе смотреть? Летягу?.. Я те покажу летягу очень вкусную!

Та вырвалась и во весь рот заголосила:

— Вороти, коли так, назад! Не поедем! Вороти!

— Как это — вороти?.. Здравствуйте!.. — остановился в недоумении мужик. — Эстолько места проехали да назад?.. Полудурок этакий... Садись, что ли! Ле-тя-а-га!..

А народу прибывает, прибывает. Поскрипывают телеги, ругаются крещеные, свистят кнуты.

— Держи правей! Эй, шляпа!..

Солнце в день ярмарки поднялось хорошее, красное. Загорелись золотом грязевые лужи, помолодела блеклая трава в полях, и недавний снежок на овражных склонах стал розовым. Угревно, тихо, от земли идет пар.

— Хы-хы-хы. А Рукосуишка-то, бродяжка-то... Округовел, слышь! Две недели быдто бы не жравши

высидел. Я, гыт, брюхо-то супонью стягивал, а то, гыт, летяга-то не вздымет... Барсук барсуком теперя стал!

— А вот все высмотрим... Хы, занятно, ерш те в хрен.

Кто припоздался, расположились под селом, зажгли костры, пшенную кашу варят, а другие — и баранину.

— Не прозевать бы. Где он взлетывать-то будет?

— Сказывают, с колокольни.

— Ну?! А поп-то ничего?

— Из кынцыстории гумагу получил: допустить; и ежели удача — чтобы полный трезвон был и водосвятье.

— Ну?! Эвона как обернулось!

И вскорости с луговины, из любопытствующего табора полилось по селу новое известие:

— Анхирей пожалал прибыть...

— Чего анхирей! Прокурат приедет с губернатором... Не говоря об анхирее.

— Вишь, в чем главная-то суть: золотая медаль выходит ему, Мериканцу-то.

— Ври! Медаль, — гукнул чей-то бас, — разве чугунная, да пуда в три, вот это так.

— Кол ему осиновый в брюхо! Он всех чертей билизовал.

— И впрямь... Эвот сусекинского Митьку быдто опять лесовик водил.

— А в болотине, у кузни, леший кажинну ночь вроде как бык ревет, а нет — овцой. Чьи проделки?

Обедня на исходе, но в церкви негусто, боятся прозевать, возле топчутся большой бубнящей толпой.

Все нет и нет. Балаганы торгуют на славу; орехи, погремушки, пряники. А вот и с книжкой балаган: тоже народу куча.

Ударили вовсю.

— Ишь обедня отошла. Где ж он, черт? В трактир бы чайку...

— Братцы! К кузне, к кузне!.. Начинается! — звенит неведомо чей голос.

— К кузне!!

— Как это, к кузне? Сказывали, с колокольни быдто...

— Брешут! У кузни он... Штуку ладит...

Толпа, наступая друг другу на пятки и сшибая с ног, хлынула от церкви к заимке кузнеца.

Колокола весело трезвонили, светило ярко солнце. Кто-то взрявкал на гармошке.

— Ну и веселая же жисть, братцы... Хи!..

— Чего веселей!

— Эй, бабка, брысь! Стопчу!

XIII

Весь яр у кузницы был покрыт народом, и внизу, под обрывом, до самых кустов стоял народ.

По ослизлому откосу, не жалея ног и одежды, карабкались любопытные. Все ближние деревья снизу доверху были унизаны голосистой детворой.

С обрыва видно озеро, кусты, кусок блестевшей речки, церковь и широкий луг от села с извивавшейся дорогой. Бегут, торопятся по дороге запоздалые. «Скорей, сейчас начнется!» — нетерпеливыми глазами кричит им народ, посматривая то на кузницу, то на дорогу, по которой вот-вот примчится архиерей.

— Эвот-эвот, вылез!

— Выле-ез! Ааа... ооо!.. — загалдел, встрепенулся мир.

Из кузницы вышли Модест и Рукосуй. Кузнец волок по земле какую-то штуку, сеть не сеть, одежду не одежду.

Бродяга преобразился: усердно выскреб себя в жаркой бане, белый, неузнаваемый, как именинник, в продегтяренных чирках, в аккуратно заплатанной кацавейке. Брюха нет.

Модест угрюм и мрачен. Кудластый, горбоносый, глаза — два угля, лицо в саже, рубаха ярко-красная.

— Чисто сатана... — отплюнулся кто-то, а старушечья рука перекрестилась.

Оба они уже были на плоской, покрытой дерном крыше. Под ними зиял обрыв.

Шеи бесчисленных зевак вытянулись, носы и бороды задрались вверх, к дьявольской кузне, рты жадно раскрылись, старики пустили слюни.

Модест ощупал толпу пристальным, тревожным взглядом: Палаша здесь, наверно, здесь, в толпе — ведь сегодня разгульный ярмарочный праздник. Но его взгляд не отыскал Палаши. И печальные, умилившиеся на минуту глаза Модеста вновь распалились угрожающим огнем.

— Чего, ребята, собрались? — зычно крикнул он толпе.

— Тебя смотреть.

— Меня? — его губы перекосила злобная, мстительная улыбка, ему хотелось выворотить с корнем стоявший вблизи кедр и ахнуть по толпе. — Меня?! Ну, разглядывайте, когда не лень.

А бродяга, слезливо мигая, упрашивал:

— Дай, Модест, пожалуйста.

— Нет, не дам.

Бродяга кувырнулся в ноги:

— Дозволь ради Христа.

Толпа вся обратилась в слух.

— Гли-кось, гли-кось! Благословленья просит.

— Валяй, — едва заметно улыбаясь, сказал Модест суровым голосом. — Так и быть, лети.

Он быстро привязал ему крылья из бересты, надел какой-то балахон с четырьмя воловьими пузырями.

Толпа слилась в одно, застыла.

Лицо бродяги просветлело, белели зубы в изумленно открытом рту, грудь ходила ходуном, руки тряслись, и с ними трепетали крылья. Он повел глазом по горизонту.

— Садись вот на эту мериканку, я привяжу тебя, — сказал Модест одеревеневшему бродяге.

Будь бродяга в твердой памяти, тотчас усомнился бы, на столь несуразную штуку он уселся — из каких-то салазок, корыта и двух лыж.

Уже к краю придвинул кузнец летягу — вот-вот и кончено.

Но в это время толпа заволновалась, голосисто загудела, загорланили деревья.

— Стой, обожди! — все повернули головы к селу.

По дороге, нахлестывая лошадь, скакал верховой. Он раскачивался вправо-влево, словно пильщик, но держался крепко, — сильней летят брызги, ближе, ближе — машет шапкой, кричит:

— Стой, стой!!!

— Стоим и так! — захохотали веселые. — Эвона это кто. Старшина! Сам господин Оглобля!

— С гулеванья, никак?! Дернувши.

Весь запыхавшийся, длинный, худой, журавль журавлем — старшина упал с коня на четвереньки, кой-как приподнялся и загрозил пьяными кулаками кузнецу:

— Стой! Не моги, слышь! Арестую!

Опять захохотал народ, захохотали деревья, улыбнулся и бродяга. Только Модест был суров и злобен.

— Расходись! Живо! Каки таки узоры? Эй, где сотские, десятские? Расходись! — пьяный крик старшины трещал и ломался, как лучина.

— Господин Оглобля, старшина... Ераст Панфилыч, — сдернул бродяга шапку, из-под шапки упал кисет. — Дозволь...

— Ты што за чертополох? — Оглобля был уже на крыше. — Рукосуишка, никак ты?.. Долой, мазурик!..

А толпа густо прихлынула к самой кузне и взвыла неумолчно:

— Ераст Панфилыч, уважь! Дай свое разрешенье.

— Ни в жизнь! — задирчиво крикнул старшина и, сильно покачнувшись, выхватил из-за пазухи бумагу: — От урядника... Эвот приказ! Начальство я вам али не начальство?

Он самодовольно запыхтел, вдвое переломился над переставшим дышать бродягой, раскорячился и закинул руки за спину.

— Какое ты имеешь полное право, кобылка востропятая, а? Почему же это всяк сидит, к примеру, на твердом месте, а ты вдруг летать, а? — Он долбил Рукосуя длинным носом, журавлиные ноги дрыгали

и гнулись, словно его дергали за хвост. — А ежели улетишь навовся? А?!

Бродяга отчаянно захрипел:

— Я только кругом озерины раза три либо четыре облечу, да и сяду.

— Знаю я, куда ты сядешь-то... В Расею метишь, вот куда! По роже вижу!

И вновь загудел народ:

— Уважь, Панфилыч, для праздника-то. Ува-ажь!..

А бродяга чуть не плача:

— Ты возьми, коли так, господин старшина, ружье, коли не доверяешь. В случае чего — стреляй! Поди не утка я, как ни то уцелишь!

— Десятский! — неожиданно крикнул старшина. — Завяжи ему, подлецу, в таком разе бельма! Чтобы видимости не было, чтобы в дальность расстояния, значит... Хы, занятно, пятнай тя черти...

И, махнув картузом, весело закричал на весь народ:

— Братцы! Так и быть, уважу. Ну, и вы меня, в случае ежели урядник, не выдавать чтобы!..

— Готово, что ли? — хрипит бродяга.

— Готово. Ва-ли-и-и! — ревет толпа.

Привязанный бродяга облегченно вздохнул и заерзал на своей летяге: вот-вот взлетит.

Оглобля цыкнул на него: «Стой!» — скрива накосо надел картуз, поелозил ладонями по сухопарым, забрызганным грязью бокам и обвел хмельным, помутившимся взглядом потерявшую терпение толпу. Потом не торопясь шумно высморкался и, махнув рукой, торжественно скомандовал:

— Пуш-ш-а-ай! Ну-ка-а-а!..

Бродяга размашисто перекрестился:

— Благословляйте!

Взмахнули раз-другой крылья, и бродяга турманом закувыркался под откос.

— Летит, летит! — во всю мочь закричал кузнец.

— И впрямь... Где?

Толпа заахала, заорала:

— Лети-ит!.. Летит!!

Тонкими, пронзительными, как у галок, голосами загомонили деревья, ребятенки с гвалтом поскакали вниз.

— Где? Где? Дяденька, покажь! Это гагара, это птица. Он брякнулся...

— Лети-ит! — кричал кузнец как сумасшедший и тыкал рукою вперед.

И все до одного жадными глазами воззрились в небо, куда указывал кузнец, и всем явственно казалось: «Летит Рукосуй, летит».

— Дьява-а-ал!! Наза-а-ад!! — Обезумев от ужаса и подпрыгивая, как одержимый бесился старшина. — Стреляй, ребята, стреляй! — Он выхватил у соседа берданку и грянул в белый свет. — Стреля-я-й!!

Ребятенки и шустрые мужики с бабами мчались вдоль обрыва, дико орали: «Летит, летит!» — падали, сбиваясь в кучу.

— Стреляй еще... Пропала моя башка. Стреля-я-яй!!

— В кого? В тебя, что ль? Пьяный хрен!!

В это время диким чертом внезапно вырос на крыше Рукосуй. Весь в грязи, он держался за ушибленную шею, тряс башкой.

Толпа завыла, загудела, как в непогоду лес.

— Омманывать, сволочь?!

Бродяга, изловчившись, ударил кузнеца по скуле:

— Омманывать?!

— Камедь?! — взревел свирепо старшина и тоже хватил кузнеца ногой.

Модест сгреб их за опояски, приподнял, как набитые соломой мешки, перевернул вверх пятками:

— Это за жену, это за издевку!! — и с раскатистым хохотом сбросил обоих под откос.

А на крышу карабкались меж тем, захлебываясь злобной пеной, одураченные мужики:

— Бросай его, братцы! Бей! Оплел нас всех...

— Прочь!! — цыганские глаза Модеста страшно выкатились. — Я вас звал сюда? За кой черт лезли?! Теперича квиты! У-ух, расшибу!! — он подпрыгнул и грохнул молотом по камню. Урча, брызнули в толпу осколки.

— Убил! Уби-ил!..

Мужики в страхе отпрянули и, словно большие лупоглазые лягушки, поскакали с крыши.

А внизу в тысячу глоток голосили:

— Анхирей, ребята!.. Эй, вы! Долой с кузни! Анхирей!!

И толпа шарахнулась на луг, где действительно катила пара, певуче позванивали бубенцы.

Народ окружил взмыленных коней.

Сидевший в кибитке, весь желтый, с воспаленными глазами, урядник простонал:

— По какому праву скопище?..

XIV

Модест сам не свой ввалился в избу. Ужасно хотелось есть. Обшарил все углы — пусто, ни корки хлеба. Посмотрел на кровать, на забытую Палашей коричневую с белыми цветками кофту. Грусть напала, непомерная тоска, досада. Он сел за стол.

— Поесть бы... — безответный голос его звучал жутко, вызывающе. — Выпить бы...

Достал бутылку. Она была пуста. Размахнулся и грохнул ее об печь. Бутылка превратилась в соль. Модест оскалил зубы, захрипел. Схватил полено и со всего маху ударил в полку с посудой. С тревожным звоном, с жалобой звякнули-забренчали черепки.

Модест широко открыл глаза.

— Что же это я... Что же, господи? Зачем это?..

Он долго стоял, тяжело дыша и опустив голову.

Потом расхлябанной, усталой походкой направился к амбару. Дорогой говорил себе:

— Ничего, проживу... Поддаваться не след!

Когда открючил дверь и взглянул на крылатую свою машину, сразу полегчало на душе, и мало-помалу иссякла злоба.

— Родная... Настоящая моя.

Он внимательно и любовно осматривал каждый винтик, каждую струнку. Вот у стены самокат, им изобретенный, вместо шин — тугие канаты. Взгляд

его из растерянного и ожесточенного стал одухотворенным, сосредоточенным.

Осенний день еще не закатился, сквозь широкое окно в амбар вливался свет, кузница была за высоким сосняком, и что сейчас творилось там — Модеста не интересовало.

— Ну-ка, американец?

Он достал густо разведенный сурик и начал тщательно пришабривать поршень будущей машины. С жаром, с каким-то надсадным надрывом он принялся за работу: надо все смыть с сердца, надо вытравить, как ржавчину, всякую мысль о том, что было и прошло.

— Крышка!!

Под окном, на грубо сколоченном столе, навалены потрепанные, захватанные грязными руками чертежи, рисунки, вырезанные из картона шаблоны, чертежные инструменты, раскрытая книга «Механик-самоучка».

— Вот она, теория-то... И впрямь — без нее не полетишь.

Гордым взглядом посматривал Модест на всю эту премудрость, возносившую его над самим собою, а железные руки его безостановочно обделывали сталь. Кусок металла визжал и не давался, но упорство человека брало верх — капал пот с лица, и серебряным песком сыпались опилки.

Вдруг в дверь резко постучали:

— Эй, отопри-ка! Урядник требовает.

Модест через минуту, вместе с сотским, угрюмо шагал к селу. Ярмарка была там в полном разгаре: гармошка, говор, драка, шум. У балагана со сластями Палаша беззаботно пощелкивала орехи, Воблин чавкал пряники и сладко щурил на нее глаза. Толпа встретила Модеста враждебно. Гоготали, тюкали, оскорбительно посвистывали.

— Что, летяга, будешь народ мутить?

— Долетался до дела?

— Заместь неба-то — в острог?!

Модест сдвинул брови.

— Эх, народ! Кожаные вы души! — и с сердцем бросил, косясь через плечо: — Не с вами, обормотами, в небе летать!

XV

После жестокого оскорбительного допроса Модеста засадили в «чижовку» под замок.

Урядник ругательски изругал его, как последнюю собаку: «Ах, изобретать? А в бога веруешь? Знать, тебе в морду, подлецу, еще не попадало?!» Грозил судом, тюрьмой, и вот завтра угонят его по этапу в город: пускай.

Побуревшая кожа плотно обтягивала его скулы, в висках густо серебрилась седина, тело требовало покоя. Но дух Модеста был бодр, несокрушим.

— А все ж таки достукаюсь до точки, полечу!

Он лежит на усыпанных голодными клопами нарах. Его охватывает лихорадочная дрожь, щеки то вспыхивают, то холодеют, в ушах звенит, и стонет в груди сердце.

— Нет, врешь! — грозит он тьме. — Модест Игренев полетит.

Там, на обрыве, его опустевший дом, холодная печь, овдовевшая кровать.

— Ничего, ничего... Это я стерплю, — спокойно сам с собой говорит Модест, но его сердце ноет пуще.

Ничего, ничего. Амбар. Крепкий замок железный. Под замком — чудо! Чудо! Вся жизнь Модеста, нет, больше — и жизнь и смерть!

— Господи ты боже мой. — По его лицу проплыла умиленная улыбка, вспыхнули глаза, он встал, шагнул к решетчатому оконцу и посмотрел в ту сторону, где сиротливо дремлет чудо-птица.

— Крылья! Эх, крылья! — Он взмахнул руками и под напором охвативших его чувств радостно, громко засмеялся.

За окном глухая ночь темнела, и небо — в черных тучах. Но для Модеста был яркий день: светлая мечта сладко терзала его уставший мозг.

— Крылья!!

И грезится Модесту: огромная чудо-птица плавно поводит в воздухе белыми крылами, тугие струны гудят, поют. И уже не в силах Модест от радости вздохнуть, весь в огне, в порыве.

Вот он на высокой горе крутой, а внизу ждут не дождутся тысячи народа, настоящего, ученого: генералы, механики, американцы, немцы, доктора, кассиры, исправники и многое множество других людей. «Модест Петрович Игренев на собственной машине полетит, сам господин Игренев!» А сзади, там где-то возле леса, сиволапая деревенщина торчит. «Ага, дружочки, что? Узнали?» А на отшибе, у зеленого кустышка... У-у, тварь! Нет, лучше не глядеть туда... Вот генералам невтерпеж: «Модест Петрович, господин изобретатель, нельзя ли поскорей...» — «Нельзя!» Модест нарочно медлит, красуется, пробует винты, оглаживает крылья: пусть ждут, он проморит их так весь день, всю ночь, пусть генералы ждут — не велика беда — ведь он изобретатель, знаменитый человек, он — на горе! Стойте, дожидайте.

И вот, когда Модесту самолично в мысли вступит, он расправит крылья белые, вспорхнет орлом и помчится навстречу всем ветрам небесным, круче, выше. И оттуда смачно плюнет вниз, на генералов, на народ.

— Тьфу вы все! Ползайте, рвите друг другу глотки, черти проклятые. Я — Модест! Русский большеголовый мужик! В Америку, черти! За патентом. В настоящую Америку. До свидания вам!.. Я...

Модест враз оборвал свой зазвеневший металлом голос, попятился: и сквозь густую тьму ночи всколыхнулся отдаленный свет, там, на горе, у кузни. Ярче, шире, необузданней.

У Модеста сами собой подогнулись ноги, он грузно опустился на пол и застонал. Ему показалось, что сердце его пронзает острый, докрасна раскаленный нож, голова, как воск, плющится под ударами тяжкого молота, и кто-то гнусаво, заливисто хохочет ему в лицо.

— Горит... Амбар мой...

Он вдруг вскочил, высокий, страшный, и со всех сил загрохал руками и ногами в дверь, окрашенную отблеском пламени. Но мертво и глухо было, никто не отзывался, а дверь прочна: еще зимой крепко оковал ее сам Модест железом.

— Амбар... Машина моя... Что вы со мной делаете?..

И в первый раз за всю жизнь свою Модест Игренев заплакал горько, сумасшедше.

В это время, вольготно полеживая у костра на озерине, пьяный Рукосуй варил хлебово из украденного гуся и смотрел вверх, где полыхал вовсю зажженный им кузнецов амбар.

— Я те полечу, будь ты проклят, — ржал он нехорошим слабоумным смехом. — Я те полечу-у-у.

СТРАШНЫЙ КАМ

Будет ли так, чтоб в пуповину нашу грязь не попадала? Будет ли так, чтоб на ресницах наших не было слез?

Из молитв алтайцев

Бубен ходит по горам. Невидимый, звучный, весь в бубенцах. Ночным гуком, ночным звоном, словно лешевым горохом, бьет, бьет, бьет — ходит по горам...

Это кам[1] камлает, духу службу служит, духа упрашивает.

А курмесы[2], его слуги, по вершинам скачут, в невидимый бубен кулачками бьют.

Бум-бум-тра-та-та!.. Дзын-дзын!.. Рррр... ррox!..

Чур! Наше место свято!..

I

Баам!.. Баам!..

Удар за ударом льется и плывет по ущельям Алтайских гор. Маленькая колоколенка, сколоченная из серых бревен, забежала на утес, а над утесом — церковь, такая же маленькая, серая.

---

[1] Кам — шаман, жрец, представитель культа шаманизма.

[2] Курмесы (кормос) — души умерших, имеющие право существовать на земле, например души шаманов.

Ранний летний час. Лучи солнца лишь на вершинах гор, долины — в предутренней сизой дымке. Но розовый рассвет все ниже ползет с вершин по склонам, золотит на своем пути и зеленый куст черемухи, и цветущий маральник, и украшенные крупными цветами мальвы. Вот два белых козла вдруг забелели пуще — мазнуло солнце по рогам, по бороде — фыркнули да на дыбы — слава солнцу, слава теплу, цветам, вкусной траве! — и ну с радости друг друга бить: стук-брык, с вывертом, козлом-козлом!

Люди в долине шевелятся — закурились берестяные юрты серым дымом, проснулся народ в селе. Калмыки, теленгиты, русские. Еще помесь русских с теленгитами — береза да черемуха.

Заблеяли овцы, замычали коровы — как же, солнце! — табуны лошадей, всхрапывая, носятся по увалам гор, назяблись за ночь — ночи в горах студеные, — и мчатся птицы из лесных трущоб, из темных сырых ущелий туда, к солнечным лучам, что обрядили в сыпучие алмазы грохочущий с гор белый водопад.

Когда вспыхнули пожаром крест и окна, колокол замолк, а в церкви началась обедня. Порядочно народу собралось — и праздник знатный: самому угоднику Николе — да и дело: отец Василий вразумлять начнет.

Народу в селе Глызети много: и старожилы русские, и новокрещенные калмыки с теленгитами. Русские православную веру знают крепко: двенадцать богородиц, троица — Христос воскрес, а новая молодая паства — что без матери ягнята: суровый пастух да крепкий кнут надобен.

Обедню служит отец Василий то по-русски, то по-алтайски. А кончил службу, стал речь держать:

— Православные! Наш брат во Христе, раб божий Павел с диаволом якшается. Был он кам Чалбак, камом и остался.

— Как есть кам!.. Ночи напролет камлает, черту служит!.. — заговорил народ от самого амвона и до выхода.

— Нельзя этого допустить. Грех это! Неотмолимый грех!

— Как не грех, знамо грех!.. И сегодня на заре бубен бил. Чего бог Никола терпит, чего смотрит?!

— Вот что, православные. Так ли, сяк ли, нам нужно его окоротать, чтобы против бога ежели — ни-ни!..

— И чего только Никола смотрит... Тьфу!

И когда расходились по домам, все толковали, толковали: был кам Чалбак, камлал, гадал, с чертом знался, курмесов полон рой на посылках у него... Крестился кам, новую веру принял, стал Павлом, а сам все с чертом знается. Чу, чу!..

И смотрят на переднюю вершину, зеленую, а за передней другая выступает — синяя, а за синей — белым-бело: вся в снегах гора в небо уперлась, белая, и только в палящий зной снова зеленеет. Вот в каменной пещере, что врезалась в белоснежную грудь горы, и жил страшный кам Чалбак.

Чу, чу!.. Бубен бьет — взбрякал, взгукал, — ходит по горам!

II

Тихая ночь в горах. Селенье Аннавар во тьме. Ни огонька, ни звука. Горы сгрудились, черные стоят, немые. Клочок неба темный, в ярких звездах.

Где-то собака взлаяла, и проблеяла овца во сне: видно, приснился страшный зверь с острой мордой, горящими глазами.

Тьма. Плывет во тьме голос человечий, грубый... И другой — ему на смену — тонкий, резкий, и третий голос — как труба зычный, злой.

— Надо больше народу... Чтобы всем селом. Жуть!

— Жу-уть! Какая жуть?! Ружья можно захватить, собак зверовых.

— Хе! Ру-ужья!! Много ты супротив дьявола ружьем навоюешь? Батьку надо передом, отца Василия. Крест в руки, да и...

— Не пойдет поп: он хитренный.

— Тогда надо народ сзывать.

— В праздник надо, в воскресенье, ночью.

— Хорошо бы, братцы, винищем накачать кама-то. Все-таки пьяного-то сподручней.

— Дело говоришь. Дело... Мы пастушонка подошлем, Ерему... Вроде как гадать пойдет. Мальчонка проворный.

Вспыхнул огонек, три бороды, три толстых носа к спичке потянулись: пых да пых, чертовым снадобьем запахло, табачищем.

Месяц из-за хребтов выставил посеребренный рог, посеребренная струна протянулась между гор.

— Спать пора!

Зевок за позевком, сладко так! Три бороды посопели трубками, сплюнули, пошли.

— Лето, а мороз... Бррр!

— Это от камня, от гор.

— Чалбак это! Эх, кулаки зудят!

И другой рог месяц выставил. Скрипнула калитка. Смолкло все. Вторая, третья посеребренная струна протянулись между гор, и голубоватый лунный свет рассыпался в долине.

III

— Господи, ты крепок и силен, а я, иерей твой, слаб... Сокрушу выю и чресла грешника, сказал ты... Укрепи и десницу мою, господи, да покараю нечестивца... Дам ему трепку подобающую и брошу к ногам твоим...

Серая фигура растянулась в полумраке на полу. От печки к образкам тканая полоска — половик. Одно окно завешено черной рясой, другое — каемчатой браной скатертью. Свет лампадки, колышется хвостатый огонек. Лик Николы грозен, брови хмуры. «Ария богоотступника заушил еси», — будто шепчут его уста. Возле печки — кот. Щурится кот на огонек лампадки, вот подошел беззвучно к ногам распростертого, трется о подошву сапога, мурлычет.

— Никола-святитель, укрепи!.. Дай мне в руки меч карающий.

— Батюшка! — отворилась дверь, и раздался нежный молодой голос. — Ужинать-то будешь, что ли? Вынимать щи-то? А то прокиснут!

— Вынимай, чадо, вынимай. Милостив буди мне, грешному, угодниче святый...

Всколыхнулся огонек лукаво, шевельнул святитель Николай мечом, кот прочь от батькиной ноги — в лоб сапогом попало.

IV

Сидит Ерема у костра, считает звезды:

— Сорок девять, сорок десять, семьдесят... Тьфу ты, язви тя! Опять сбился.

Не перечесть Ереме звезд, да и зачем? Горазд Ерема печеную картошку есть. Лапой в костер мырк:

— Ох, язви тя! До чего горячая, потому што...

С ладони на ладонь ну покидывать, да в рот: хрустнула поджаристая корочка, белый рассыпчатый комок слюной смочился смачно, два раза Ерема чавкнул и сглотнул.

— Скусно... А ну ощо!

Черненькая собачонка Дунька в Еремин рот умильно смотрит, так и этак головой крутит, пустила две вожжи слюней.

— Дунька, фють! — кричит Ерема. — Аз-буки-веди-глаголь-добро-есть! — и кидает ей картошку.

Хам-ам на лету — не жевавши, проглотила.

Ереме любо, ухмыляется:

— Аз-буки-веди-глаголь-добро-есть! — да камушек немудрый шварк!

Хам-ам! — чакнула зубами Дунька, обсобачила Ерему обозленным взглядом и, обиженная, отошла, прихрамывая, прочь.

Ерема хохочет, заливается.

— Дунька, Дунька! А к колдуну пойдешь со мной, к каму, к Чалбаку? Нá картошку, нá!

Скучно. Что бы такое Ереме сделать?

Тьма кругом, непроглядный мрак. Похрапывают кони, а то вдруг шарахнутся: топы-топы-топ! — не

волк ли? Пережевывают жвачку коровы; еще жмется к костру, прядет ушами лупоглазое овечье стадо.

Пять ворот у Еремы в поле, а волки лютые, глазастые, надо караулить.

— Дунька, усь-узы!

Два ста да еще полста коров одних, а овцам счету нет. Но хозяева ведут счет отлично: недавно Ерему лупцевали — а за что про что? — будто бы двух ярок волк задавил.

— Язви! — вспоминает Ерема, морщится. — Как они меня... Ррраз!

Пять ворот у Еремы в поле. Поди-ка усмотри!

Костер потрескивает, клубится — ветерок взыграл — и все встрепетало, вздрыгало во тьме: маленький вздернутый Еремин носик заплясал на круглом бронзовом лице, мохнатая шапка то сползет на оттопыренные уши, то привстанет, и тень от Еремы скачет как шальная.

Чу! Бубен трижды вдарил и замолк.

— Дунька, усь-узы!

Спать пора, а жутко. Кам... А что такое кам? Тьфу!

Ерема его знает. Кам Чалбак очень даже смирный, очень занятно в бубен бьет, волхвует.

— Вот ужо братаны водки принесут, пойду к нему... Занятно!

Где-то вдали огонек мигнул и погас, мигнул и вновь погас — ветром задувает.

«За рекой за Анчибалом, потому што...» — думает Ерема.

Слипаются глаза, носом клюнул. Спать нельзя. Вскочил Ерема и во все горло крикнул:

— Ксы! Куда лезешь?! Ослепла?!

Но никого возле не было. Та же тьма. Только огонек вдали снова вспыхнул и окреп.

Ерема сорвал с головы воронье гнездо — шапку, помахал ею, чтоб прогнать подальше сон, и запел гнусаво:

За рекой огонь горит,
Старик бороду палит...
Тарили-потарили,
По башке ударили... Эх ты, но-о!..

V

Гремит-грохочет бурливый Анчибал, прямо с гор мчится, от скалы к скале, бьет в камни, седые лохмы чешет. Нет ему уему ни зимой, ни летом, шумит-шумит на весь Алтай.

Белым теменем в небо гора воткнулась. Вершина в ледяной извечной шапке. Пониже — луга с мохнатыми белыми цветами, еще пониже — лес густой, поляны, угревный склон. Страшный обрыв. И не видать, что под обрывом. Ползи к стремнине, ляг крепче грудью, загляни: белые косы рассыпает, точит камни, пенится река. Разве горный козел-яман учует ее грохот, а человечьему уху не поймать — так высока скала. Над обрывом площадка небольшая, на площадке берестяная юрта-аланчик.

У самого обрыва развалился крещеный Павел, кам Чалбак, он курит трубку. Веселый костер горит. Взыграл-взметнулся ветер. Чалбакова жена, молодая Казанчи, долго с костром возилась: вспыхнет, да потухнет, да опять. Казанчи сосновых веток притащила — окреп костер, сонливому пастуху Ереме миг да миг.

— Песню орет мальчишка, шапкой машет...

— Откуда знаешь?

— Я все знаю... Сюда придет... Чую, — как во сне, сказал Чалбак, не выпуская изо рта трубки.

— Бросить это надо... Забыть!.. Ты — Павел, я — Катерина... Казанчи была, стала Катерина... Поп-батька дознается — забранит, богу Николе скажет. Ох, как худо тогда! Совсем худо, совсем!

Мигают звезды в вышине. Невидимую Ереме двурогую луну отлично видит кам Чалбак с женой: вся в серебре, над горными хребтами взнялась луна, холодный свет льет, волхвует. Горы черные, в лепешку сплюснутые мраком, вдруг поднялись из тьмы, сцепились в хоровод, плечо в плечо: голубые, серебристые, молочные, то как хрусталь прозрачные — вон та, в далекой синеве ночной. А эта — мрачная, угрюмая, вдова среди невест — в тени.

— Забыть надо, говорю... Бросить!

— Как могу забыть? — поднял сонные глаза Чалбак. — Не могу забыть. Вот здесь оно, это самое... В сердце... Как брошу?

Казанчи задумалась, между гор в долину смотрит, в серебро.

— По пятнадцатому году я занемог, шибко тяжко было, умру да и умру. Тот сон. Явился будто бы Ульгень[1] и говорит: «Сделай бубен звонкий, сделай одежду, как у кама, всю в железище, молись великому Ульгеню. Пуще молись, пуще!.. А то всех людей ваших лукавый курмес-алдачы в ад перетаскал, слопал всех. Ты постой за мир!» И научил меня, как молиться, какие слова говорить. И я стал камом и больше уж не хворал, стал здоровым, как прежде...

Тихо говорил Чалбак, глаза полузакрыты. Пламя ворчало под его речь, и ветер шелестел травой.

— Сам Ульгень... да, да!.. Сам Ульгень приказал. Как выну из сердца?

— Зачем же крестился, зачем веру сменил?

— Разве не знаешь ты?

Казанчи сидела задумчиво. Белый камзол ее голубел под луною. Так же тихо, будто сам с собой, стал говорить Чалбак:

— Праздник у нас был, в третьем годе это. Батька мой пьяный напился. Подрался. Убил калмыка в драке. Боролись, а батька его со скалы. Дознался поп, призвал батьку: «Крестись со всей семьей — тогда покрою, а то тюрьма». Где тут? Тюрьмы калмык боится. Батька заплакал, попу в ноги. Потом крестился. И я с ним. И ты. Потом батька умер. А я живой... Вот две веры у меня, два бога. Бог русский да свой — Ульгень.

— А Эрлик? Черный Эрлик[2] задавит тебя.

— Эрлика упрошу. Кровавую жертву буду часто приносить. Черный Эрлик любит кровь.

Казанчи вздохнула:

— Если б жалел меня, бросил бы все это... Не жалеешь.

---

[1] Ульгень — Великий Дух, создатель мира.

[2] Эрлик — Дух Зла, властитель преисподней.

Ерема месяц увидал, месяц высоко поднялся, ушла спать в юрту молодая Казанчи.

Чалбак один.

Умное безбородое лицо его грустно. Черные узкие глаза потухли. Печаль в глазах.

И душа его одинокая. Вся в печали, вся в недоумении.

— Два бога — Исус бог, Ульгень бог. Исус — маленький бог — его убили; Ульгень — большой-большой — всех убил, всех сбросил с неба. Самого Эрлика сбросил. А Эрлик... О-о-о!.. Немилостивый, грозный... Не бог — тьфу, тьфу! — какой он бог — а самый страшный! Самый черный есть.

Звезда упала, покатилась, за ней другая. Чалбак проводил их узкими глазами, подумал:

«Вот этак же слуги Эрлика с неба упали. Белый Ульгень сверзил их. Который на гору пал — хозяин горе сделался, который в озеро — хозяин озеру. Моя гора Сумар Улан, мое озеро — Сут, да даст золотое решение, черноволосую голову мою да сделает спокойной...

И смотрит Чалбак на горные хребты, что под луной стоят: голубые, белые и, как хрусталь, прозрачные, — и тянется тоскливой рукой к бубну: надо горам молиться, надо хозяев — слуг Эрлика — чтить:

«Бум-бум-бум!.. Тырррр!.. рата-та!»

Слышит пастух Ерема — в горах бубен бьет, — жутко стало. Топы-топы-топ! — топочут кони, сон прошел.

— Чалбак! Чалбак! — кричит проснувшаяся Казанчи. — Брось! Никола-бог учует — покарает...

Упал из рук Чалбака бубен, покатился: грозный старик Никола поднял меч.

— Эго-й!.. Эй!.. — тонко, придушенно застонал Чалбак. Грозный Никола сдвинул брови, мечом грозит.

И сжалось сердце кама, вся кровь от сердца отлила.

Два голоса:

«Уйди, Никола! Кто тебя звал, — уйди! Мой он, мой слуга. Бей в бубен, бей, Чалбак!»

«Он не Чалбак, он Павел».

«Бей, Чалбак, в бубен! Где твое сердце, Чалбак, где твоя глотка?»

И уж нечем дышать Чалбаку: черный Эрлик горой навалился на него, а курмесы к сердцу присосались, — обомлел Чалбак.

— Ой-ты-ой!..

А бубен сам собою колесом пошел, взлетел вдруг, как живой, над полымем костра, взгукал, взбрякал, да в голову, в голову Чалбаку, в голову: бум-бум-бум!..

«Хватай, бей в бубен! А то задушим...»

Схватил Чалбак волшебный бубен, вскочил Чалбак и закрутился словно вихрь вокруг костра — волчком, волчком. Загремел, зазвякал бубен, черным по горам горохом рассыпается, гудит. И не Чалбак бьет в бубен, курмесы бьют-грохочут, шайтаны его рукой водят, шайтаны крутят его вьюном.

Страшно Чалбаку глаза открыть: адов огонь в глаза полыхает, жжет, а святитель батюшка Никола спорит с нечистою силой:

«Громче, громче! Задушим».

«Сотвори крест, Павел!»

«Крутись, крутись!»

Звякнул меч святителя Николы, распались-хрустнули железища черного Эрлика, и две руки, два крыла горячих обхватили кама:

— Чалбак!

Валялся Чалбак полумертвым телом, горевала-плакала над ним молодая Казанчи:

— Чалбак, на, отпей... Холодная, ключевая.

Отерла Казанчи густую белую пену, что покрыла запекшиеся Чалбаковы губы, протянула ковш ледяной.

— Трубку!

Жадно проглотил ледяную воду, жадно, с надрывом, затянулся Чалбак крепким табаком — пых-пых — нету...

— Трубку! Еще! Больше!

Свою подала Казанчи трубку.

— Крест! Выпусти крест скорей... А то они задушат.

Трясущейся рукой достала из-под его рубахи крест.

— Дунька! Усь-узы!.. — спросонок пробормотал Ерема и задрыгал обутыми в рвань ногами: свалил Ерему сон.

Рассвет зачинался. Туманы наплывали из долин. На востоке утренняя звезда-зарница горела ярко.

Казанчи усердно крестилась на звезду:

— Бог Никола, помогай... Никола-батюшка!..

Чалбак тяжело переводил дух и, весь в поту, дрожал.

VI

Учитель из села Волчихи, Иван Петрович, был весьма благочестив, духовно-нравственные книги почитать любил.

Насквозь прожженный солнцем, подкатил он на своей пегой кобыленке к попову, заросшему зеленой травой, двору.

— А батюшки-то дома не-ету, — нараспев сказала веселая, грудастая, стрельнула черными глазами в черные, чуть раскосые глаза учителя и хихикнула в горсть. На мизинце супир сиял. — На пасеку они ушедши.

— Вот те на! Зачем же это?

— Хи-хи-хи!.. Смешной какой. Ребят учит рихметике, а спрашивает: «Зачем?» Знамо, за медом. Хи-хи-хи!..

Иван Петрович был женат, а священник — вдовый. Иван Петрович улыбнулся и смиренно опустил глаза.

— Чудак поп! Ведь дома мед-то...

— А где же дома-то?

— Да ты. Не мед, что ли? А?

— Хи-хи-хи! Ну-ну! Вот скажу супружнице-то...

Иван Петрович смутился. Он крепче прижал к сердцу пропыленный узелок в голубом платочке — в узелке речи Иоанна Златоуста — и сказал:

— Возьми, Надюшенька, кобыленку-то мою да привяжи. Остынет, попоишь ни то... А я пойду.

Горы! Горы! С семи концов пришли сюда, семь ветров загородили. Млеют под солнцем в зеленых своих цветных уборах. По их подолу и дальше ввысь бегут лиственницы, сосны, как снег блестит обнаженный на ребрах известняк, рудой кровью кровенеют красноцветные песчаники. Розовые нежные кусты маральника перепутались с темной зеленью вереска и елей, ярко-желтые цветистые ковры раскинулись то здесь, то там. О пики выступов и скал чешет гриву водопад с горы — радуга, алмазы, серебро. Солнце греет, облило теплым светом все кругом. Только ущелья мрачны — в них тьма, в них леший! — и по балкам серый камень-курум ползет.

Берег Погремушки, неширокая долина, пасека. По зелено-пестрому ковру лугов щедро разбросаны цветы — ирис, эдельвейсы, астрагалы, духмяные кустики полыни, мяты и тысячи других цветов и безвестных, радующих глаз былинок. Многочисленные ульи, жужжащая картечь хлопотливых пчел. Тепло, свет, пряный запах.

Отец Василий, в широких плисовых штанах, в темно-фиолетовой рубахе, кипятит у костра кирпичный чай. Длинные волосы закручены в тугие косы и — наверх по-бабьи. Лицо полно деловитой заботы, в руке ложка, в тюрючках перец и лавровый лист, в котелке бурлит уха из только что пойманных харюзов — упрела, нет?

— Эзень! — по-алтайски поприветствовал его Иван Петрович.

— Эзень-ба, эзень, — откликнулся отец Василий, с досадой, порывисто благословил протянутые пригоршни и выдернул из костра хлынувший через край котелок.

— Э, шайтан!.. И лезет человек не вовремя! После бы поблагословился... Чуть не опрокинул!.. Ну, что?

— Да ничего, собственно, — смутился Иван Петрович, покраснел. — Вот книгу привез. А больше насчет Чалбака. Что ж он, камлает все?

— Камлает.

— Гм... Миссионер недавно мимо нас проехал. Новый какой-то, сердитый. Все вынюхивал да расспрашивал. Выспросит, да в книжку.

— Кого расспрашивал-то? — встревожился отец Василий, все забыл: уходил кирпичный чай, плавали в недоваренной ухе два слепня да муха.

Иван Петрович лег у костра, под дымом, и, жмуря по-хитрому калмыцкие глаза, сказал:

— Кого спрашивал-то? Да все больше новокрещенных, петь учил их, очень не одобрял, — ничего, дескать, не знают.

У отца Василия опустилась с ложкой онемевшая рука.

— Ну?

— И про Чалбака спрашивал. По дороге, видно, рассказали ему. Как же вы, говорит, допускаете, крещеные? Этого нельзя. Он погибнет, и вы, говорит, все погибнете... А те сдуру-то: пущай камлает, он все узнать может, он всякую болезнь прогнать может...

— Ну?

— Тот аж пожелтел от злости, бороденка затряслась. С тобой хотел потолковать. Пастырь у вас, говорит, одна печаль. Архиерею надо...

Отец Василий чуть приподнял голову, открыл рот и уставился в притворно-печальное лицо учителя.

Иван Петрович ел уху, похваливал, смачно обсасывал рыбьи кости. Отец Василий черпал ложкой, как во сне, и все вздыхал.

— Ну что ж я, ну, что я могу с ним поделать?

— Вразумить.

— Трепку дать, черту пархатому!

— Зачем трепку? Словом надо, лаской, примером.

— Лаской?! — вскричал отец Василий и закашлялся, чуть не подавился костью. — Нет, я как древний бог буду, как Адонай! Покараю, изничтожу и в консисторию доложу! Пущай судят, как хотят.

И стал проворно обуваться, надел рясу, распустил волну черных своих волос.

— Куда же ты?

— Озяб... чего-то озяб я...

— Озяб?! — изумился Иван Петрович. — В такую-то жарищу, да вдобавок у костра?

— Озяб!

Отца Василия била лихорадка.

VII

Под Илью-пророка ночь была темная: месяц огруз, не подняться из-за гор, звезды принакрылись хмарой.

Ехали в эту ночь горной тропой извивной, по обрывистым бомам и кручам, старая калмычка да русский мужик Степан.

А как спустились к броду через реку Анчибал, калмычка выхватила из сморщенных губ трубку, крикнула:

— Стой! Не переброди!

— Тпру! — осадил коня Степан. — Пошто?

— Разве не слышишь? В горах бубен бьет... Камлают... Чалбак это.

— Ну, так что?

— Погибнуть можно... Борони бог, как... Чу!

Развели на берегу костер. Слушают-послушают: в горах бубен бьет-брекочет. Притихли.

Слышат — шум, рокот — по речке вода валма валит, вспенилась, взбурлилась, — люди прочь от костра да в гору. Вот и костер утоп: вал выше, выше, к самому гребню забирает, ошалелая вода винтом взмырила — бурлит, ревет, грозится.

Кони храпят, крестится Степан, причитает старая калмычка:

— Прямая погибель была бы. Утонули бы...

— Осподи, спаси, помилуй!..

Вихрь взнялся, в лесу деревья закачались, затрещал лес, зашумел. Вдруг вспыхнуло пожаром все, разъяхнуло небо огненную пасть, молния горы озарила. И снова все по-старому: тихо стало, река в прежних берегах, на том же месте приветливый костер горит.

Крестится Степан, творит молитву:

— Осподи, заступник-покровитель! Что пригрезилось!..

С перепугу старая калмычка не может в рот табачной трубкой угодить.

— Сильный кам... Чалбак это... Ну и сильный!

А Чалбак в это время сидел на обрыве возле своей юрты и, полный тревоги, поджидал грозу.

И раз, и другой трепыхнула вдали зарница. Небо за горами густо золотилось, и черные хребты, как спины зверей заклятых, подпрыгивали и дрожали. А вместе с ними дрожала и Чалбакова душа: Исус — бог, Никола — бог, Ульгень — бог. Кто сильней, кто за Чалбака? Неужто черный Эрлик пожрет его? И сами собой шепчут побелевшие губы кама:

«Я убью красно-чубарую кобылицу, иноходью ходящую, сердце и печень ее обмотаю вокруг своей шеи, буду шаманить, в бубен бить, умилостивлю гнев твой, о Эрлик!»

Трепещет, мечется душа Чалбака; пуще взметнулась, затрепыхала зарница в небесах. И не зарница — молния — гром затарахтел. В страхе передернул Чалбак плечами: страшная гроза идет — Удалой Ревун!

«Я буду знать и чтить демона над демонами шести родов, буду поклоняться Дерущему в пропасти и его дочери Ветряной Красавице... О Эрлик, все мертвые головы собравший!..»

Стегнула молния. Гром ударил резко.

— Никола, заступай! — вскричал Чалбак.

— Никола-батюшка!.. Помогай скорее! — суетливо роется, ищет что-то в своих кожаных сумах оробевшая Казанчи и не спускает глаз с осиянного Николина лика. Нашла! Вот он, спасительный кусок разбитого грозой дерева. Идет с ним вокруг юрты, причитает.

Из-за подпрыгнувших в страхе гор взвился ослепительный бич и надвое рассек дрогнувшее небо. Грянул громовой раскат, зарокотали небеса, а горы, словно чугунные плиты, с треском, с грохотом рушились в тартар с черных туч.

Оглушенный Чалбак вскочил, заткнул пальцами уши и в один отчаянный голос с Казанчи:

— Удалой Ревун ревнул! Топор Господин зашевелился... Агык! Прочь! Прочь!

И оба в юрту. Пали перед образом поднявшего меч Николы-бога.

— Ой-ой, Никола-матушка!.. Богородица-батюшка!.. Я — Павел.

— Я — Катерина есть... Защищай скорей!..

— Ой-ой!.. Удалой Ревун ревнул, Топор Господин зашевелился... Агык, агык!!

Сел Чалбак у прокопченного дымом образа, лицом к костру, что полыхал-потрескивал средь юрты, взглянул в прорез: небо красным-красно.

«Вот он, вестник семи небес, с каймой из красной тучи, с замкнутым поводом из радуги, с плетью из белой молнии, на небе приказание берущий».

И тянется рука Чалбака к тугому, с гремучими бубенцами, бубну. А гром — свое.

— Свят, свят, свят! — крестится в дырявом шалаше Ерема. Голос у Еремы ребячий, тонкий, с перепугу дрожит и рвется, как у молодого певуна.

— Свят, свят, свят! — и другой голос плывет ему на смену, грубый.

— Ну и вдарило! — гукнул, как труба, зычный голос, злой.

— Чалбак это!.. Он таку беду наводит... — еще голос резкий, с подковыркой.

— Свят, свят, свят!

Сквозь дыры шалаша блеск молнии пробрызнул: вспыхнули три рыжих бороды, вильнул туда-сюда плющавый нос на лупоглазом от страха Еремином лице.

И словно в пьяном полусне взволховал Чалбак. Звякнули-взыграли гремучие побрякушки, бубенцы, рассыпался горохом бубен: тра-та-та!.. тырррр... рох!

— Чалбак! Чалбак! — испуганно завопила Катерина.

— Ишь ты, как наяривает... — сказал своей калмычке у костра мужик Степан.

— Страшный кам... Борони бог!..

— Ужинать-то будешь, батя? — спросила остроглазая, подобрав под передник красные большие руки. На пальчике — супир.

— Ложись, чадо, спать... Ишь какая сила громыхает!

— А я, грешная, поела... Страсть до чего люблю свинину жирную!

— А ну-ка, дай кусочек... С кашей, что ли? Свят, свят, свят, господь Саваоф!..

Дребезжат от удара стекла, барабанит крупный дождь в поповскую крышу под железом, журчат ручьи.

— Никола-угодник... Ой, батюшка!.. Не прогневайся, пожалуйста... Агык! — плачет-причитает Казанчи.

— Бум-бум!.. тра-та-та! — орет во сне Ерема и, повернувшись на бок, храпит, как конь.

— Ишь черт какой!.. Парнишка-то... — сонно пробурчали в три голоса рыжебородые братаны и, один за другим, пустили громоносный храп.

А небесная гроза замолкла.

VIII

Рано поутру — лишь солнца луч — вышел кам Чалбак из своей юрты, сонный, пошатываясь. Голова болела со вчерашнего, набухло сердце каким-то томлением, и вся душа его изнывала:

— Ульгень — бог, Никола — бог, Ильин день — бог...

Ильин день громыхал вчера в ночи, рвал скалы, бухал. Ильин день загорался сегодня в небе ясным солнцем. Поп Василий вот ужо обедню служить станет, поп Василий такой же кам, как и Чалбак, — вот ужо штукой с огнем, с дымом махать станет, вот ужо орать будет во всю глотку, бородой трясти: «Вонми да вонми, аминь, аминь».

А внизу — Эрлик, мучитель.

О, страшный Эрлик, сильный Эрлик, усищи его, как два клыка, закинуты за уши, и ездит он на черной лодке без весла. Чалбак полетит к нему в гости, как волк в капкан, на крыльях гагары полетит, на крыльях дяди-птицы, в самый ад, в самое пекло...

«Бубен!»

«Нет, не надо мне бубен. Дожидай, пожалуйста. Грех мне, грех... Хочется — не хочется... Погоди ужо, погоди...»

Пошатываясь, придерживая рукой больную голову, идет Чалбак по солнечной равнине к обрыву скалы, садится на камень, озирается: совсем проснулся.

Ровной гладью разлился внизу туман: белым-бело. Словно в море утонула даль и все, что под ногами. Только горные вершины встали над туманами да его, Чалбакова, лужайка.

Солнце выше, выше — туман белей. На две половины рассек туман простор: верхняя вся в солнце, в радости, там Ульгень-создатель; нижняя закутана туманом — там бог Никола, люди, овцы, лошади, поп Васька, собаки, мужики.

А еще ниже, еще-еще ниже — у-ух как низко!.. Там Эрлик, грозное сердце...

Чу, Катерина кличет!.. Чалбак придет, придет. Он слышит, он сейчас встанет и пойдет. Но нет сил в ногах, хочется смотреть туда, в туман, где бог Никола, бог Исус, хочется — не хочется взнуздать дядю-птицу, да с бубном, с колотушкой туда, на дно, скрозь семь земель...

— Чалбак!

— Иду...

Нет, не пойдет... Не вдруг пойдет. На каждой ноге камень, на сердце камень, клюет сердце дядя-птица, требует.... И шайтаны вьются-вьются, курмесы кувыркаются, а подойти не смеют — на груди Чалбака сияет крест — Ильин день сегодня, праздник.

Солнце жарит: праздник. Солнце круглое, румяное, как щеки поповской стряпки Надьки; солнце — блин, такой вкусный, поджаристый — поп Васька угощал; солнце — спирт, самый русский, самый горячий, ух ты, обожжет!.. Солнце — волшебный бубен в небе, а шаман — Ульгень: бум-бум-бум!.. Чек-чек!

— Чалба-ак!

— Скоро, скоро... Вот, скоро!

И вдруг со дна моря белотуманного — ба-ам, ба-ам! — вознесся в солнечную высь колокольный звон. Там, в долине, между зеленых гор, в расстоянии пяти стрел из тугого лука — церковь. Там Павел, здесь Чалбак; там Чалбак, здесь Павел — вместе, оба-два, не рассечь, не разлить, ошпарь водой — не разойдутся. А душа одна. Оба-два на одной душе уселись — Чалбак да Павел. Сядь на пень, другой не сядет. А надо... Как быть? Тяжко. Вот тут тяжко, вот здесь... Дрожит перед глазами порозовевшая гладь тумана-моря, все дрожит. И скачет в небе огненный бубен. Надо утереть глаза, суше, суше.

Хочется — не хочется Чалбаку жить.

«Будет ли так, чтоб на ресницах моих не было слез?»

Удар за ударом льется и плывет из неведомых глубин колокольный благовест. Чалбак встряхнулся весь, вздохнул и набожно перекрестился трижды.

— Чалбак!!

И как пошел Чалбак на зов жены своей Катерины, со дна сказочного моря, куда упала с гор узкая тропа, один за другим стали выныривать всадники.

Вот вынырнула из тумана человечья голова, вот — лошадиная. Весело заржал коняга, увидав траву; радостным гиком гикнул солнцу человек. За ним другой, третий — ползут, ползут на луговину.

— Эзень, Чалбак! Эзень! Здравствуй!

— Эзень-ба! Эзень!

— Ни табыш? Что нового?

Много народу собралось: целое семейство теленгитов больную старуху привезли; три рыжебородых, что пережидали грозу в Еремином дырявом шалаше — Петрован да Андрей с Филимоном, — Брюхановы; калмычка с русским мужиком Степаном; и еще подъезжали, подходили русские и инородцы: кто судьбу пытать, кто за исцелением или черному Эрлику жертву принести: «Ульгень — дух светлый, добрый, ему зачем молиться? Он и так не взыщет. Эрлик — сам сатана: не помолись ему — живо в гроб

сведет». Другие же приехали просто поглазеть на кама. С братанами приполз и лупоглазый заспанный пастух Ерема:

— Хы! Страсть занятно, дяиньки!

IX

Жила в селенье старушонка старая, Федосья. Время пополам ее согнуло, идет, на клюшку упирается и низко-низко головой к земле, словно потеряла что-то, глазами шарит.

Единственная отрада в ее жизни — Ерема-пастушок, родной внучек; одна заветная дума в голове — побывать во святом Ерусалиме-граде. Еще при муже, сколько лет тому, запала эта думка. Вот как просила да молила господа:

— Приведи, господи!.. Сподоби меня, греховодницу!

Да так с тем и состарилась, а когда спину пополам переломило, тут уж не до Ерусалима-града, где уж тут!..

И, чтоб утешить душу, стала старая просить владычицу:

— Богородица, владычица, помоги мне, хошь во снях, в Ерусалиме побывать... Хошь во снях, увидеть страдания Иисусика, как его, батюшку, на пропятие вели, как крест тяжелый тащил он на своей спинушке. Матушка, владычица!

А про страданья Иисусовы читал ей по складам Ерема.

И сказал ей однажды во сне голос, отчетливо так, явственно, словно отпечатал:

«Услышана молитва твоя. Наяву узришь».

С тем бабка Федосья и проснулась. И как дошло до сердца сонное видение — обробела: шутка ли, самого Иисуса увидать! Страх напал на бабку, ужас: вдруг в сам деле явится... Сразу обомрешь, ума рехнешься, а то и ноги вытянешь... Сама не рада бабка, что этакое чудо намолила. И стыдно ей перед богородицей, что — намоливши чудо — испугалась. А страх

берет свое: вот-вот Иисус Христос покажется — карачун тогда!

Пала бабка на колени:

— Богородица, владычица!.. Уж не надо мне... Боюсь я... где тут! Осподи помилуй, осподи помилуй!..

И в великом смятенье пошла к отцу Василию. Вечер был.

— Батюшка... вот так и так... Просила я, грешная, богородицу...

Да все ему и обсказала.

Подумал отец Василий, молвил ей:

— Вряд ли узришь, старица Федосья... От диавола это тебе. Бесовское наважденье... Возгордилась, должно быть, вознеслась, вот лукавый и внушил тебе. А ты как думала? Он кем хочешь может показаться... Молись!

Пуще испугалась бабка и не домой, а в чисто поле ночевать пошла, к внуку своему Ереме. И как шла полями, перелесками, все Христос мерещился ей в мыслях; идет Христос согбенный, как она, и крест на спинушке, тяжелый этакий, из кедрача крест срублен, тяжело Иисусу, шат берет...

И не знает бабка, Христос ли, дьявол ли мерещится, вспоминает бабка поповские слова, решает в сердце: дьявол.

— Осподи Христе!.. Наваждение бесовское... Сгинь, сгинь, сатана!.. Аминь — рассыпься!

И не помнит старая, как вынесли ее ноги болючие на Еремин на костер.

А Ерема в это время у костра сидел, считал Ерема звезды в небе: «Двадцать девять, двадцать десять», — и побрасывал Дуньке горячую картошку.

X

Закружился, запыхался кам, звучно ударил напоследок в бубен, сел. Грудь тяжело дышит, ноздри раздуваются, душно, жарко — пот с лица. И всем душно, — в юрте двадцать голов сидят, только соба-

чонки Дуньки не хватает, оставил Ерема Дуньку в чистом поле: псы у Чалбака злые — разорвут.

Так жарко, что у жирного калмыка Бойтоса под кожей сало топится, а сам Чалбак, отдышавшись, тряхнул бубном, бросил вверх, и упал бубен к ногам его, полный снега студеного.

— Снег, снег! — дрогнула вся юрта удивленным гулом.

— Откуда это?

Опрокинул Чалбак бубен на рысью шкуру, что у ног — кучка снега белая, вся в блестках рассыпалась, и струился от нее приятный холод.

— Снег, снег!.. Белый!

Две руки к снегу потянулись; озорная Еремина рука — не верит глаз, и другая — жирного Бойтоса; вот подденет Бойтос горсть снега и разом охладит голую жирную свою грудь, от самого рожденья, пятьдесят четвертый год, немытую.

— Дай! Мне! Мне!

— Агык! — гортанно крикнул кам, и снег без следа исчез, даже мокрого места на рысьей шкуре не осталось.

— Пропал! Снег пропал!

И не успел никто опомниться, крикнул Чалбак калмычке, что со Степаном шла:

— Что тебе нужно?

— Батюшка, сильный кам, ты все знаешь, — сказала калмычка дрожащим голосом. Голова ее запрокинулась, брови поднялись, узкие глаза с трепетом уставились на кама.

— Он все знает!.. Он сильный!.. — выдохнула юрта.

— Ехала я, ехала — старый месяц еще был, — из гостей ехала, арачку[1] пила в гостях, захмелела. Приехала — нет плетки. А плетка от прадеда к деду, от деда к отцу, от отца ко мне пришла... Рукоятка серебряная, насечка золотая... А украл ее у меня...

— Врешь, — тихо сказал кам.

---

[1] Арачка — самогонка из молока.

Встряхнула калмычка головой, раскосые глаза скосились пуще.

— Я думаю, украл ее старик Таптый, больше некому.

— Врешь! Зачем облыжно говоришь? — крикнул кам и, тяжко задышав, поднялся. Звякнул бубен, встрепенулись бубенцы, а побрякушки на шубе зазвенели: крутнулся кам.

«Чек-чек-чек... Агык!» — бросил к костру бубен, и в руках его вдруг плетка, со всех сил вытянул он плеткой по спине калмычку:

— На! твоя, нет? Ты, пьяная, обронила ее в логу...

Передернула калмычка плечами, поймала плетку.

— Она самая!.. Моя! — разинула от удивления рот, да так до утра и просидела.

И вся юрта удивилась, большим испугом испугалась: вдруг не было, вдруг стала плетка.

— Ой, кам!.. Какой могучий кам Чалбак!

— Не я могучий, слуги у меня — курмесы да шайтаны: везде шныряют — в воде, в горах, в степи... О Эрлик, в средину сердца моего вложивший силу вещанья! Я буду поклоняться Дерущему в пропасти, демону над демонами, и его дочери Ветряной Красавице, с лицом черным, как клей, без штанов, голозадой, задницей виляющей, грудями болтающей. Помогай, Эрлик, помогай! — Последние слова сказал кам не своим голосом, будто из-под земли шел голос, из нутра. И глаза кама мало-помалу теряли земную жизнь.

Ерема давно не попадал зуб на зуб, рыжебородые братаны под рубахой кресты щупали.

— Покамлаем о больной старухе, — тихо сказал Чалбак. — Ловите чубарого коня, ведите коня сюда, разводите вольный костер на воле. Будем до утра камлать; Эрлик любит кровь — на заре красного вечера он пожирает кровавую пищу прямо ртом.

— Чалбак!.. Что делаешь, Чалбак?! — едва слышно прошептала жена его, и слезы горести застряли в ее черных ресницах.

Даже не взглянул Чалбак на Казанчи. Он не Чалбак, он продал душу, — он сильный кам. Да, кам!..

Так тиха была ночь в горах, что рокот Анчибала доносился и на эту высь, и слышно было: языки вольного огня на воле ворчливо облизывают тьму. У костра угревно, ярко, волхвует лукавый огонь в костре. Кругом густой сажей тьма нависла, горы утонули, исчезли, нету гор. И звезды лучами золотыми уставились в костер волшебный, ждут — не моргнувши смотрят, — что станет делать страшный кам.

А кам Чалбак камлать собрался, демону служить, демона упрашивать.

И не слышит кам робкого шепота жены своей, любимой Казанчи, забыл Чалбак козлобородого попа Василия, забыл Исуса-бога, грозного Николу-бога, его занесенную десницу с огненным мечом. Все забыл.

— Чалбак!.. Что делаешь, Чалбак?!

Земного не слышит, не видит, не чувствует. Голова его за облаками, сердце в преисподней, душа сбросила тело, как дерево столетнюю кору, душа витает во всех провалищах и безднах, где-то там. Нет калмыка Чалбака, нет христианина Павла; не человек, не черт сидит, — сидит перед костром страшный кам — раб и повелитель.

Булькают где-то там, налетают-налетают, позванивают. Шепчут откуда-то, нашептывают, пересвистываются, по-змеиному шипят. «Идите, идите, я вас жду!» — кричит, что есть силы, кам. Но не кам кричит — уста сомкнуты, и крепко смежились ресницы глаз — то душа его стонет громко во всех безднах и провалищах где-то там...

Челюсти кама сводит судорога, зевает кам. Еще раз зевает, еще раз зевает страшным дьявольским позевком — затрещали скулы.

И вся юрта принялась зевать неудержимо.

Кричит кам громогласно, тужится:

— Эй вы, идите, идите! Шайтаны, курмесы, слуги дьявола! Иди, Патышбий, глотатель жерновов!

Но никто не слышит крика, притаились, молчаливо ждут. Ждут люди, ждут звезды, ждет перепуганный Ерема.

Только собачонка черненькая, Дунька, ничего не ждет... Сидит Дунька в чистом поле, привязанная к тыну, старательно выкусывает блох в хвосте.

Но вдруг зашептали губы кама, громче, громче, — все слышат, а не понимают, и сам Чалбак не разумеет, только сердцем чует, что говорит его язык:

— Косой, кривой, хромой... Эй вы, дьяволы!.. Вот проклинаю себя и проклял... Гей, гей, сатана, Дерущий в пропасти: я верный слуга твой — кам!.. Войди в меня, эй, говорю тебе, войди! Войди...

От ногтей по пальцам, от пальцев к сердцу потекла-заструилась в жилах пламенеющая кровь. Ударило сердце, смолкло, еще ударило и ждет: вот грозный дух полонит все тело, испепелит, раздавит, изничтожит.

Как допотопный зверь, весь лохматый, большой копной сидит у костра, в камской, вверх шерстью, шубе — кам Чалбак. Вот качнулся вправо-влево и с тяжким стоном — исступленье, испуг и радость — вдруг поднялся:

— Вошел! Вошел!.. А-гык!!

И вся юрта взвыла:

— Вошел!.. Сатана вошел в него!

И сжал кам кулаки, и всплеснул вскинутыми вверх руками.

— Бубен! Я властный! Я сильный!.. Я могущественный!..

XI

Вихрем, вихрем крутится кам, воздух винтом буровит, свистит от коловращенья ветер. Бубен грохочет гулко, сечет и режет, не умолкая, тьму. Бубенцы с колокольцами звякают неистово.

— Держите кама! Держите!

Крутится кам вихрем. Огонь в костре прячет со страха свою пламенную голову, стелется к земле, и смолистый дым пугливо мчится прочь.

— Не пускайте кама к огню!.. Сгорит.

— Держите его. Держите крепче!

Крепко схватили кама две любящие руки, от костра подальше. Не видит, не слышит, не чувствует земного кам.

Лохматая шаманья шуба вся в ремнях змеиных, в железе, в ярких лентах; на ремнях, на лентах — бубенцы, погремушки, колокольчики, и еще рыбы, птицы, звери из железа. Шаманья шуба — пуд.

Встрепенулся кам — вздрогнул, зазвучал металл; крутнулся кам — пуще загремел металл; ударил кам в бубен колотушкой, да ну кричать, гукать, бесноваться — стоном стонет ночь, скрозь землю сигают бесы, а Дерущий в пропасти оторопело вбирает в лапы железные когти и неистово рычит.

— Держите кама! Сгорит... Держите крепче!

Крепко схватили кама две любящие руки:

— Чалбак, Чалбак!

Не слышит земного, не чувствует Чалбак. И никому не видать лица его: все в бисерных, железных, костяных висюльках, спускаются висюльки с рысьей шапки, как забрало, до самых губ. Но всяк присмиревший, ужаснувшийся чует: горят глаза огнем, черные искры сыплют, обжигают.

— Ге-ге-ге!.. Чек-чек!

Круче, круче вихри, сильней бьет бубен, змеистые ремни от коловращенья поднялись на воздух, свищут, и пепел от костра столбом. Дико, страшно завывает кам.

— Я вздымусь белой птицей! Это мое место, пусть порастет оно зеленой травой... С твоей кровью слился, о дьявол! Я пришел от страшного бога, и вы, шаманы, с огненными бичами, не выходите из преисподней проклинать меня... О дьявол!..

Заткнула свои уши в больших серебряных серьгах молодая Казанчи, а слезы градом. Хворая старуха застонала, с мольбой на кама смотрит.

— Я сел на пуп земли. Я сильный, страшный. Я пришел сюда, чтоб защитить страждущих...

Поняла старая старуха, прослезилась, а болезнь пуще по суставам ходит — прямо смерть...

— Три черные тени твои, о дьявол, сообщились со мной... Требую — помоги мне!

И три раза скуковал кам кукушкой, три раза стерхом острокрылым, три раза черным вороном:

— Чек-чек-чек... Кар! Кар! Кар!

И три раза подряд взгагачил колдовской гагарой, оседлал гагару-птицу и понесся прямо в ад. Вот и престол сатаны-диавола. На два голоса запел-запричитал — с самим сатаной кам Чалбак в разговор вступил:

— Помоги мне, ты сильный.

— Нет, не помогу.

— Я продал тебе душу. Сожри в старухе хворь.

— Иди к духам, что постарше.

Встряхнул покорно бубном, приостановился кам, и в гору, в гору, — тяжко так — нет сил идти, а надо... В гору, пешком, на небо, к главному духу, — кряхтит Чалбак.

— Как надсадно вздышит... Воды бы дать.

— Эй, дайте каму воды!

Не слышит, не видит, не чувствует, вновь закрутился вихрем, и грохнул бубен бубенцами. Губы кама покрыла пена.

— Я пришел к тебе, о Великий Дух! В руке моей бич небесный, молния. Возврати мне душу чада моего. Кровавую принесу тебе жертву.

С визгом, воем ударил кам три раза в бубен и на крыльях гагары-птицы пустился с неба в обратный путь. Потом застонал и повалился, словно мертвый. Юрта вся похолодела.

— Зашелся... Умер!.. Жив!

Подняли кама, поили водой студеной, придерживали: валилась голова, все тело его расслабло.

— А-гык! — вдруг гортанно крикнул он, весь передернулся, встряхнулся. — Прочь! Уйди-уйди! — И скрюченные руки его разодрали одежду против сердца — задыхался кам.

— Уйди! Уйди!

— Выходит... Дьявол вышел из него, — пронесся робкий шепот, словно шелест осенних трав.

Чалбак запрокинул голову и уставшим, измученным голосом запел, прикрывая глаза рукой. Он пел о том, что улетела восвояси волшебная гагара, что

провалился сквозь землю сатана и вот он, кам, снова оживает.

— Бубен дайте, — прошептал Чалбак мертвыми губами и стал слабо постукивать заячьей лапкой в расписанный жертвенной кровью бубен, стал изгонять остатки дьявола: — Сверху упавшие, вверх подите! Снизу пришедшие, вниз ступайте, вы, дьяволы!

Голос кама надорванный, тихий. Шумно, с хрипом дышала его грудь.

— Трубку!.. — едва слышно прошептал он. — Разденьте... умираю...

Порывисто, жадно курит кам. Руки — лед, хватается Чалбак за сердце — больно сердцу — стонет.

Сняли рысью шапку с перьями филина, с висюльками, сняли шубу. Шуба — пуд. Опустил кам голову, сидит в одной рубахе, дрожит смертной дрожью, икает — истерзанный раб и повелитель. Потный, сонный, сумасшедший, умирающий. И все были потные, сумасшедшие, изжеванные, не знали — где, на чем сидят. Вот поднял кам помутившиеся глаза, посмотрел на сидевших. И всем стало страшно, всем стало холодно — оживший мертвец глядел на них.

И были вместо глаз провалы, вместо зрачков — покрытые пеплом угли, и холодный пот грязными струями сбегал из-под его волос.

— Осподи, спаси-помилуй!

— Свят, свят, свят!..

И никто не мог рассмотреть лица его, — за мертвящим взором спряталось лицо, — и было у всех одно желанье: вскочить, убежать, но отнялись, окаменели ноги, и вся жизнь вытекла из тела.

— Ой! Ой! — кто-то резко прокричал.

— Богородица, матушка! — всплеснулись руки.

— Чалбак! Ой, Чалбак! Что ты?!

Качнулся, задрожал мертвец, исказилось лицо, и крупные слезы выступили на его глазах.

— У-у-ух!.. — выдохнул он из груди весь воздух, мертвый взор стал загораться, оживать, стряхнулся пепел с глаз, и угли запылали.

— Очнулся кам!.. Очнулся!

— Сволочь какая!.. Колдунище!.. — прошептали, тайно крестясь, рыжебородые братаны Брюхановы. — В огне его, анафему, надо сжечь!

Заржал конь вдали, и в другой раз заржал, и в третий.

— Вот ведут чубарого коня, — сказал Чалбак. — Принесем Страшному Эрлику жертву. На четвертый день старуха оздоровеет. Так мне вверху обещали, там...

Все пошли за камом.

Густой мрак кругом, ни зги не видно — сажа.

XII

Приятен чай с малиновым вареньем, медом; вкусны пельмени с перцем, кислым уксусом. Угощаются отец Василий с Иван Петровичем, Наденька прислуживает: с террасы в кухню шмыг да шмыг, и каждый раз задерживается у зеркала: лицо румяно, смугло, черная челка барашком завита, блестит супир — батюшкин подарок.

— Ну и хорошо у тебя тут, отец Василий! Гляди, горы-то, горы-то какие!.. А? — сказал учитель.

С террасы видны цепи гор, голубые и зеленые. На дальней вершине мягко блестит под солнцем снег.

— Вот и оставайся еще денек, переночуй.

— Пора!

— А ежели гром захватит... Убьет ведь, ха-ха-ха!

— Ну, вот еще! Ильин день, слава тебе господи, прошел.

Иван Петрович поддел меду и капнул на чистую скатерть. Отец Василий придвинул ему стеклянное блюдце:

— Экий ты неряха! На!

— Что? Нет, я прямо в рот, попросту. Вот я и говорю. Ученые и тому подобные вольнодумцы не верят, а я верю, — перст божий всегда указует. Да как же! Помню, у нас мужик был, Ипат. Первую его жену, Дарью, огромило в Ильин день, женился на другой — и ту так же, на третьей — и та за ней. То

есть удивительно! Как только Ильин день, туча зайдет — грох! — и овдовел Ипат.

— Бывает, — сказал отец Василий и закурил папироску чрез самоварную решетку от живого уголька. За ним потянулся и учитель, но вдруг метнулся прочь.

Появившаяся в дверях Наденька вся затряслась от смеха. Густо захохотал и отец Василий.

— На, закури от моей!.. Тут, брат, сноровка нужна. Обварился, что ли?

— Вот именно, — сердито сказал учитель поглаживая лоб. — Как он прекрасно меня шпокнул!

— Батюшка, — весело, все еще во власти смеха, сказала Наденька. — Братаны Брюхановы пришли. Пущать?

Три рыжих бороды, все на одно лицо, вошли и закрестились.

— Здрасте-ка... С прошедшим праздничком!

— Ладно, — сказал батюшка. — Ну, в таком разе залазьте, Андрей с Петрованом да Филимон, хе-хе-хе! А который Андрей, который Филимон — ей-ей, не могу разобрать. Хе-хе-хе! Десять лет священствую, а не могу.

— Да-а!.. — изумленно протянул учитель. — Удивительное сходство на самом деле. Вот так чудеса.

— А сами-то вы не путаетесь, который Петрован, который Филимон, хе-хе-хе!.. — сладко закатился батюшка.

— Хы!.. Как это возможно!

— Ну, в чем же дело? Камлали?

— Всю ночь. Срамота одна! Значит, и черта призывал, и окаянщину разную проделывал. А тут, уж перед утром-то...

— Постой-ка, постой, Петрован!..

— Я, батя, Филимон...

— Тьфу! Вот видишь. Погоди-ка, брат Филимон. Эй, Надея! Слетай живо за урядником. Мол, по нужному делу. Скажи, мол, у попа брага. А то замешкается. Ну, иди со Христом.

— Ваш Чалбак, чтоб его, всю ночь спать мне не дал, — сказал учитель. — Бубен наяривал за милую душу, как...

— Неужто слыхать сюда? — в один голос спросили братаны.

— Как рукой подносит. Попутный, стало быть, ветерок дул.

Братаны крепкими зубами грызли сахар, прели, пили чай. Рыжие бороды и лохматые космы их пылали на солнце, как пожар; голубые глаза сонливо щурились.

— Уж вы, ребята, постарайтесь. За веру-то Христову!.. Постойте...

— Не сумлевайся, батя!

Толковали о том о сем, а вскоре завизжала задорным девичьим визгом Надея: — Не лапай! Ишь ты, усач! — Кто-то кашлянул по-молодецки, звякнули шпоры, из коридора на террасу выплыли бравые унтер-офицерские усы.

— Честь имею!

— Честь-то честь, — ляскнул зубами козлобородый батя, и впалые щеки его вспыхнули. — А ты девку все-таки не трог.

— Никак нет... Это ж за ней корова погналась.

Отец Василий усиленно сопел, и громко чавкали братаны.

— Филимон! — наконец сказал священник, глядя в упор на Андрея. — Излагай! Ты, кажется, красноречивый. А господин урядник потрудится запомнить.

Филимон с Андреем враз поставили блюдца, утерли волосатые рты, прокашлялись и начали, перебивая один другого.

— Стой, погоди! Один кто-нибудь. Не могу же я... Ну, снова, — сказал урядник, крутя кривыми пальцами усищи.

Тогда Андрей, ткнув Филимона локтем в бок, пересказал все, как было там, у кама.

Священник хватался за голову, крестился:

— О боже!.. Всех новообращенных смутит. Не-ет!.. Не допущу!

Учитель, прикладывая к ошпаренному лбу ломтик сырой картошки, вторил:

— Это называется позор цивилизации... У-удивительно!

— А тут уж перед утречком, — повествовал Андрей, то пряча в глубоких провалах глаза, то выкатывая их на низкий лоб, — перед утречком калмычишки конягу быдто привели. Да. Привели, стало быть, конягу, скрутили ему веревкой морду, чтобы, значит, ни на эстолько здыху не было. А к кажинной-то ноге по аркану привязали. Вот-вот. Ну, отлично. Тут Чалбак как взлает дурноматом, чисто бес: «Агык, грит, агык!» А калмычишки поняли, да за аркан и схватились, да в разные стороны со всех-то сил дуй, не стой. Вот орда какая!..

— Ах, анафемы! Ах, нехристи!..

— Так бедного конягу на брюхо врастяжку и грохнули... Ну и визжал коняга... Все суставы-то ему вывернули. Аж кости затрещали. То ись так визжал, аж жутко!.. Ерема-пастушонок как вскочит, портки поддернул, да фють!

— Вот они, игрища-то бесовские!

— Не приведи господь! Одно слово — орда! А Чалбак зарычал-зарычал, выхватил нож да коня по брюху — раз! Вот ладно. Полыснул это он, скажем, коня по брюху, да рукой туда мырк! В живое брюхо-то. Да за самое-то сердце и поймался... Тут уж и нам невтерпеж стало, — плюнули, ушли.

— Вот чертова орда!

— Их сколько хошь тут, камов-то этих самых, — сказал Филимон и поперхнулся.

— А мне какое до других дело? — воскликнул отец Василий. — О других пусть начальство печется. А ведь этот — мой духовный сын.

Учитель потряс в пельмени перцу и, с благочестием на лице, сказал:

— Надо словом, а не как-нибудь. Убеждением... Инквизицию побоку. Лаской надо!

Глаза священника забегали, из узких стали круглыми...

— Что? А ты не лезь! Пробовано... И словом пробовано.

— Эвот чем надо! Вот... — помотал в воздухе мохнатым здоровенным кулаком Брюханов Филимон.

— Веру нашу марать не след. Это даже в своде законов есть...— важно сказал урядник и, громко рыгнув, отстегнул на белом кителе две пуговки.— Батюшка, объясните, ради бога, что обозначает синклит и, во-вторых,— святейший синод? Какая в них та и другая разница? Неотвязная мысль во мне...

— Синклит? — переспросил священник и замялся.— Синклит, это... Ну, как бы тебе сказать...

— Или вот! супостат и ипостась? Ведь это два обстоятельства особые?

— Без сомнения. Никакого сходства,— облегченно выпалил священник.— Супостат, это...

— Ваше благословенье,— перебил его урядник.— А как же насчет браги?.. Ваша Надька...

— Ага,— возликовал отец Василий.— Изрядно хорошо. Эй, Надея!

XIII

— Ну, айда скорее! Нечего тут... Раз начальство требовает, и сказ весь! — командовали братаны Брюхановы.— Десятский, чего курятник-то разинул? Волоки его!

— Не торопись, пожалуйста,— спокойно сказал Чалбак.— Куда спешишь? Не уйду.

— Забирай всю лопатину чертову... Всю сбрую. И бубен евонный. Все как есть.

Садилось солнце. В ущельях сгущался сумрак, долины погружались в тень от гор, только белоснежные далекие вершины розовели. Где-то гулко, зычно прорычал дикий козел.

Шли гурьбой. Впереди с ружьями — братаны, с боков и сзади — понятые. Худое, скуластое, безбородое лицо Чалбака спокойно — смазанная жиром медь. Лишь глаза блестят гневом, и, когда доносится сзади плач Казанчи, сердце кама перевертывается.

— Не надо плакать... Худо плакать! — кричит Чалбак по-калмыцки.

— Я боюсь, Чалбак... Они злые... Ружья у них.

Чалбак косится на крестьян, косится на Ерему. Ерема — карапузик — большая шапка из тряпок и

кудели лезет на глаза, уши пополам согнулись, чужие мужичьи сапоги огромные — весь в них ушел, по самое сиденье, — через плечо кнутище — пугало коров — на целую версту волочится сзади, ползет змеей. Ерема улыбается, подергивает носом:

— Хы!.. А чего ж ему, дяиньки, будет-та?

Кам в шубе, в шапке с бубном. Все в рубахах: воздух насыщен испариной, теплом. Каму жарко, трудно: шуба — пуд.

— Иди, — подгоняют кама злые голоса.

— Иду...

Тропинка подошла к обрыву, отчаянно скакнула на сажень вниз и вьется дальше, узкая, над самой кручей, по карнизу.

Кам вдруг остановился. Его толкнули.

— Стой, — сказал он спокойно и посмотрел с обрыва вдаль. Внизу село. Игрушечная церковь. — Знаю... Туда ведете... Кого ведете? — Кам взглянул в упор на Филимона. Тот хотел что-то сказать, смолчал, под взглядом съежился: глаза кама — огонь, и брови — сажа.

Ерема подполз к краю пропасти, сбил шапку на затылок, глянул вниз:

— Ух, ты! — и скорей на брюхе прочь.

Кам у самого обрыва стоял. Рядом с ним — братаны. Привычны братаны к кручам, но и у них, однако, замирало сердце, отпрянули назад.

— Эй, кто я? — обернулся, крикнул кам. — Кто Чалбак? Простой калмык? Бедный калмык? Бить меня станешь? Бить?! — голос резче, резче, задрожало лицо, и глаза прищурились на братьев. — Ну, кто, кто я? Кто? — топал о камни сапогами, кричал Чалбак, вот-вот заплачет. И не голосом кричал — вещей птицей гукал. А бляхи на шаманской шубе звякали.

Братаны растерялись.

Но взял над собою верх Чалбак. Губы закусил, застонал от боли и спокойно так, тихо:

— Ведите... Делайте, что задумали. Знаю, чую, вижу... — спокойно говорил Чалбак, но горячее дыхание шумно. — Кругом курмесы, в пропасти шайтаны,

под седьмой землей Эрлик... Махну рукой — все будет по-моему. Мне только жаль вас.

Пошли. Тропинка сумасшедше скачет то вверх, то вниз, с уступа на уступ. Иди, да не плошай — убьешься.

— Я все могу. Вот обернулся бы медведем, да вниз головами всех вас со скалы, как дохлых бурундуков. Я обернулся бы птицей с медным крючковатым клювом и выпил бы из сердца вашу кровь. Пожалел вас...

— Иди, орда! Мы хрещеные. Не больно-то... Ишь ты!.. А пулю хочешь?! — потряс ружьем старший, Петрован.

— Я иду, — сказал спокойно Чалбак. — Делайте, что задумали. Иду.

Лицо Еремы стало серьезно, испуганно. Он сопел и шел в хвосте за всеми, а на опасных крутых местах полз на четвереньках. Шептал, крестился:

— Воистинный воскресь, господи помилуй...

И все смотрел на кама: ежели оборотится кам медведем, Ерема сигнет на самую вершину, да за камни, да под елку, в лисью нору...

В отдаленье Казанчи плелась. Вот притаилась в камне малая озеринка дождевой воды. Заглянула в нее Казанчи, как в зеркало, испугалась: так вот она какая стала! Где румянец щек, где блеск в глазах?

«Ой, Чалбак!.. Что ты сделал с Казанчи?!»

Возле озеринки малой, на припеке, пахучий розовый цветок растет. Сорвала цветок, поцеловала, заплакала. Зачем сорвала, зачем заплакала — не знает.

— Эй, тетынька! — кричит Ерема и чрез силу улыбается. — Не плачь, иди скорей!

Идет дальше, неживая. Цветок в руке

— Не отставай, тетынька!

XIV

Село, долины, весь мир во тьме. Ни звезд, ни месяца. Мелкий теплый дождь. На берегу, у церкви, большой костер. Много народу, все село, даже старая Федосья тут.

— Ведут, кажется, — сказал урядник, плотней закутываясь в дождевик.

— Ведут, — ответил отец Василий под парусиновым зонтом.

Хлюпали по липкой грязи ноги, шел в шаманьей шубе кам Чалбак. За ним толпа — калмыки, теленгиты, русские. Шумно в село вошли, собаки тревожный лай подняли, крики, ругань, калитки скорготали, усиливался дождь.

В такой поздний час обычно полсела готовится ко сну, полсела крепко спит, а вот теперь взбудоражился народ, словно упал в сонное болото камень. И этот камень — кам.

Два мужика, хромой да кособокий, подхватили кама под руки. Опустил кам голову, сугорбился. Двое на его согнутой спине огромный бубен держат, третий в бубен что есть силы гулкой колотушкой бьет, а сам гогочет. Гогочет толпа, гикает:

— Дуй пуще!

— Не колотушкой надо, а колом!

— Тащи к костру: поп там!

Отродясь бабка Федосья не видала камов, трясет головой со страху, смотрит на согнутую спину кама, на звонкий бубен, прислушивается к гремучим бубенцам, шамкает:

— А-а, окаянная твоя душа!.. Неумытик!..

Ребятишки — мелюзга и чуть постарше — месят босыми ногами грязь, присвистывают. Один в Чалбака камнем запустил.

— Дай ему по шее!

— Бей его!

Ухнул, припрыгнул, ударил кама саморусский кулак по голове. Еще налетел мужик, еще ударил.

— Бей!

— Пусти-ка, пусти! — шамкает косматая Федосья, крутит кулачонками, из беззубого рта злючая слюна летит.

Молчит кам, терпит. Только от каждого удара ниже клонит голову.

Собаки надрывно лают, сердятся, подбежит иная, рванет рывком косматую шаманью шубу.

Тьма кругом и злоба. Дождь не дождь — пьяная

вода поливает сверху, опьянели люди, в один голос с псами тявкают, готовы каму горло перегрызть.

— Бей!

— Погоди, постой! — орут братаны. — Дай до попа довесть.

И как подошли к костру, выпрямился кам, взглянул на священника, сказал раздельно:

— Батюшка, меня бьют. Ты бить не вели.

— А-а, вот ты как богу служишь?! — воскликнул гневно отец Василий и потряс зонтом.

— Я в бога верю.

— Веришь?! Православные! Слышите? Он верит!!

— Да, верю. А камлать не могу бросить.

— Ах, не можешь? Черту служишь?

— Черту и есть... Черту, черту служит! — прокатилось по русской по толпе, что воинственно у костра пережидала.

— Черту и есть...

— Я верю в бога. Я Павел, крещеный. Как брошу камланье? Не бросить. Шайтан душит меня. Эрлик грозится. Курмесы спать не дают... Их много... Каждую ночь мучат меня. Работы себе требуют. Сам не рад. Тяжело мне, батюшка. Голова моя горит, сердце плачет. Пожалеть надо.

— Ты всех моих духовных чад мутишь. Не сметь! В ад тебя! В неугасимый огонь! Грешник ты, отверженец!

— Да, я грешный... Верно. Сам грешу, сам отвечу богу. Не приказывай бить меня. Пусти в горы.

И с криком бросилась в ноги отцу Василью Казанчи:

— Не приказывай бить его, пусти в горы! Окропи святой водой! Бачка, бачка! Пожалей!

— Не приказывай бить его, пусти! Сам за себя ответит, — прокатилось по калмыцкой по толпе, что робко в стороне стояла.

— В тюрьму! — грянул урядник, и два свирепых кулака вынырнули из-под его накидки. — В тюрьму тебя, негодяй! В тюрьму! На поселенье!..

— За что меня в тюрьму?

— Он никому зла не делает, болезни прогоняет,

все узнать может, — пугливо, крадучись кричали инородцы.

— Встань, Катерина, — сказал священник.—В тебе нет вины.

Дождь как из ведра хлынул, резкий, торопливый, сквозь зонт пробивает, холодной пылью обдает холодное поповское лицо.

— Вот поручаю братьям Брюхановым: бубен богомерзкий сжечь, колотушку сжечь! Шапку, шубу сжечь! Все в костер, все! И ты больше не кам. Слышишь?!

— В тюрьму!! — прокричали кулаки и глотки.

— И чтоб в церковь каждую службу! Слышишь?!

И пошлепали две пары калош глубоких в поповский двор. Долго там огонек мутнел.

XV

— Будешь, чертово отродье, будешь?! — свирепо вскричали братаны Брюхановы. — Его надо по всему селу, братцы.

И вновь повели Чалбака по темным улицам и закоулкам. Грязь, дождь. Разит сивухой. Ругань, матерщина, свист. Бьет, грохочет бубен, грохочут бубенцы, собаки сумасшедший лай подняли, светопреставленье. Тьма.

— Чтоб все слышали! Чтоб помнили!..

Кам тяжело дышит, и душа его взбудоражена. Идет или нейдет — не знает.

— Бей!

Кровь пошла из носа.

— Бей, черта!

Искры посыпались из глаз. Кам остановился.

— Го-го-го-го!.. Бей!

И словно холодный огонь коснулся его сердца, словно огненная льдина мазнула по спине, съежился кам, вздохнул, провел ладонью по лицу: кровь.

— Я смирно жил в горах... Кому худо какое я сделал? Не трогал вас. За что убиваете меня?

Заплакал.

И раздался из тьмы плачущий женский голос:

— Чалбак! Чалбак!.. Убьют тебя... Чалбак!

И плакал, сморкался громко Ерема-пастушок.

Инородцы тоже плач подняли, просили жалобными голосами:

— Отпустите... Больно ведь... Человек ведь он... Грех!

— Плачет, холера! Еще он плачет!! А вот как по-нашему! — братаны враз сшибли кама с ног. — Лупи его, вот так! Вот так! Бу-у-удешь?! Рраз!!

Кам тихо прошептал братанам Брюхановым:

— Вы трое пуще всех били... В ползиме у одного из вас родится чудо: родится, сдохнет. Тогда вспомянете меня.

— Что он сказал?.. Кто слышал? Что?

— Родится чудо какое-то... Вот черт!

Мазал свет костра по бородам, по лицам. Поднялся кам, но плохо держат ноги, лицо в крови, глаза заплыли — для кама сплошная тьма.

— Живуч, собака! У-у, ты! Дай-ка камень. Рраз!!

Срубленным деревом повалился кам на землю и, полумертвый, прохрипел, густо сплевывая кровь:

— В доме у вас будет худо... Смерть...

И громко крикнул кам Чалбак последним страшным криком — мстяще, угрожающе:

— Смерть!

Показалось всем тогда: молния блеснула, ударил гром, и бубен в костре взбрякал:

«Смерть!»

Опрометью, врассыпную кинулся народ.

— Убили, убили!..

Хлюпали по липкой грязи ноги, дождь лил как из ведра, и тьма качалась:

«Смерть!»

— Убили... Кама убили!.. Кама!

Только братаны Брюхановы, темные братья во Христе, мужественно остались, чтобы завершить задуманное во славу и укрепление веры русской.

— Господи, благослови! — И, осенив себя крестом, братаны поволокли хрипевшего Чалбака за ноги к обрыву, в речку.

— С нами бог!

XVI

Ночное время проходило. Дождь не унимался. Рождалась заря в восточной стороне, свет плыл по горам, по долам, по селу. Тихо. Спят коровы и люди, птицы, псы. Все мертво.

Только Казанчи не спит. Согнувшись, взмокшая, с растрепанными черными косами, сидит на краю обрыва, в руках розовый цветок. Целует Казанчи цветок вчерашний, шепчет:

— Чалбак... Где же ты? Ну, покажись...

И смотрит вниз, в бушующие волны Анчибала.

XVII

Старая бабушка Федосья до самого утра не смыкала глаз. Ерема наплакался и в стадо не пошел, спит с собачонкой Дунькой как убитый.

А бабка зевает под дерюгой, чешется и шепчет все, шепчет, не переставая:

— Богородица, владычица... Дай мне хошь на последях Иисусовы страданья поглядеть... Как его на пропятье вели... Помирать уж мне скоро.

И был поутру старухе сон. Не сон, а кутерьма какая-то: двигалось все, шипело, махали кулаки, хвосты, летели табунами птицы, и, всхрапывая, бешеные кони проносились вдаль. И сквозь всю эту сумятицу слышит старуха голос:

«Что просишь — исполнилось». — Когда же это? — «Ночью, у костра».

С тем старуха и проснулась.

На улице жутко было. Колокол к обедне звал. И резко, ясно представилось старухе все вчерашнее: избитый, изруганный, идет Чалбак, на согнутой спине бубен тащит, еле передвигается вперед, из носа кровь ручьем, разбиты зубы.

Закрыла Федосья лицо руками да к образу:

— Матушка, владычица!..

И прошептал голос въяве:

«Что просишь — исполнилось вчера».

— Тьфу, наваждение! — плюнула старуха. — Сгинь!.. Тьфу ты!..

Да скорей к отцу Василью.

Идет, вдвое перегнувшись, шарит полузрячим взглядом землю и видит, да не глазами, сердцем отворившимся: ведут Христа на распятие — измученный, избитый, крест на спинушке — и не Исус это, а кам Чалбак — все лицо кровью залито.

Туда, сюда бабка взглядом — нет, видит. Ввалившийся рот молитву шепчет, костяная рука крестится, — а виденица с ней! Защурилась бабка крепко-накрепко — видит: ведут Христа на мученье, и не Христос это, а кам Чалбак.

И словно солнце осветило душу: вдруг стало ясно бабке и тепло:

— Господи!

Сморщилось лицо, из костяных рук клюшка выпала:

— Господи, помяни его душеньку! Господи, прости мне... — и согнулись сами собой древние ноги, и столетний лоб прильнул к земле.

XVIII

С этой проклятой ночи худо в селе Глызети сделалось и пусто: словно налетел вихрь, опрокинул все, угасил огонь жизни, оборвал цветы, — уныло стало.

Случилось что-то недоброе. Черная сила, что ли, против людей пошла? То собаки всю ночь воют, то в горах невидимый бубен бьет.

Дивятся мужики и бабы:

— Ведь сожгли, кажись. И каму полный карачун вышел... И других камов на десятки верст нет... Откуда бубен? Ока-азия!

А бубен бьет да бьет. Ночи темные, осенние. Жутко. То на одной, то на другой горе: «бум-бум-брряк!..»

Даже в Волчихе, где Иван Петрович жил, и там иным часом слышались зловещие удары бубна: бубен ночью по селу ходил.

Иван Петрович человек благочестивый, рассудительный. Позадержался как-то после вечерни в церкви, подошел к образу целителя Пантелеймона, что в уголку висел, да тихим манером, с оглядкой, тайно, взял и помакнул в лампадку ружейный из пакли пыж. А дома зарядил ружье картечью, да сверху пыж-то освященный и задул, благословясь:

— Теперь крепко будет. Его простой пулей не проймешь. — И повесил ружье над самой кроватью.

— Сказывают, по речке ходит, — отозвалась жена, дьяконова дочь, и перекрестилась. — Тело свое разыскивает, говорят... Хозяина...

— Пусть-ка попробует сюда прийти... Да я ему!.. — храбрился природный трус Иван Петрович и, чтоб побахвалиться, пошел вечером в гости к писарю.

Да там и засиделся до самых петухов. Чай был с выпивкой, с закуской, страшные разговоры были: все о том же, о каме, о проклятом бубне.

— Да я его!.. Только бы встрелся... Я б ему!.. — бахвалился пьяненький Иван Петрович. — Трах! — и всмятку...

Когда возвращался домой прогонами, ночь была лунная, голубая, ядреная, ночь вся звенела.

Вдруг слышит Иван Петрович: глухо, тихо бухнул бубен вдалеке. Иван Петрович ускорил шаг; круглое, красное лицо его побагровело; черные, сросшиеся брови вразлет пошли.

Бубен ближе, ближе.

— Батюшки мои! Сюда...

Сорвал нательный крест, очертил им на дороге широкий круг, сел за черту, в круг завороженный.

— Бог в черте, черт за чертой!.. — Ждет, трясется, во все глаза глядит.

Все ближе бубен, близко, к прогону, к кругу: «Бум-бум-бум!.. Бум-бум!» — и словно с разбегу в стену — в черту уперся:

«Дррр-рох!»

— Святии вси! — взвыл Иван Петрович, да на карачках из заколдованного круга вон.

И путем не помнит, как хмельные ноги его к дому поднесли. А дома ни гугу, молчок. Только и сказал жене:

— Буду с ружьем ходить... Пыж святым маслом смазан... Из боговой лампадки... Чуешь? Трах! — и всмятку.

— Господи! Да почему же ты весь в грязи, как свинья худая?

Иван Петрович ни гугу.

XIX

Много кой-чего в народе толковали: будто в прошлую субботу на мельнице бубен брякал, а к старосте, дяде Финогену, в печную трубу голос кто-то подавал; вот еще две лошади в озере утопли, будто бы Чалбаковы шайтаны туда загнали их.

Еще сказывал какой-то обормот-бродяга, будто встретил в лесу старушонку потрясучую, с четверговой свечой старуха землю роет. «Ты что тут шаришься?» — «Чалбаковы, мол, потроха ищу... На кладбище тащить надо, в могилу. Превечный ему спокой». Ну, известное дело, бабка Федосья, больше некому. Так народ и порешил.

И верно. Все время старуха по селу мотается. Идет, перегнувшись вдвое, крестится, а сама шепчет, шамкает: «Челбакушка, батюшка. Грешница я, грешница!» Видно, покачнулась в уме своем Федосья.

И еще слух шел про отца Василья: будто с той ночи проклятущей шибко пить стал, во хмелю ругал черноглазую Надею, а та черную челку пуще раскуделила, грозится: «Меня даже сам урядник на чашку щиколату приглашал!»

Всякое плели в народе.

А вот Брюхановым братанам, тем действительно, должно быть, жизнь не в жизнь. Осунулись, обвисли, только бороды торчат. Оно правда, что сбросить полумертвого человека в воду — штука, ой! Ну что ж, мирское дело, давным-давно все мохом поросло, даже сам отец Василий поучал: «Суд народа — суд божий», — и другие прочие слова. А вот братанам тяжко. Старший, Петр, в лавке торговал, он пожертвовал священнику на рясу, а Надее — на кофту

кумачу. Середний, Андрей, добрую пасеку имел, на боговы свечки обещался воску пуд. А младший, Филимон, дал обещанье отправиться с весны со сбором на украшенье дома божьего. Что ж, правильно, самые душеполезные дела. Жить бы да жить, ан нет!.. Видно, черная Чалбакова душа покою братанам не дает.

— Плюньте, чего вы, — говорили им крещеные.

— Мы что ж... Мы ничего... — хмуро гукали братаны. А больше все молчанкой.

В ночное же время часто собирались братаны вместе, к старшему. И все о том же, все о том же толковали, мрачные — о страшных Чалбаковых словах: «В ползиме родится у вас чудо. Тогда вспомянете меня».

XX

Вот и зима пришла с морозами, с пуховым белым снегом. Задумчиво стояли побелевшие великаны-горы, и только крутые каменные груди их были попрежнему серы, желты, красны. Да щетки леса зеленели то здесь, то там.

Умолкли, уснули водопады, затихла Анчибал-река, перестали дышать долины духмяным запахом, и не слышно звонких птичьих голосов.

Еремин кнут — ужом свернулся, валяется у бабки на печи, а сам Ерема с обозом ушел — определился к ямщикам в подручные — повез в Монголию купеческий товар. Идет теперь, шагает по нагорным извилистым тропам — Чуйский тракт, — и неугомонная Дунька с ним. На каждой ночевке, в какой-нибудь деревушке малой, чавкая за чаем пшеничные сухари, что бабушка Федосья в путь дала, заводит Ерема разговор:

— А вот у нас, значит, какое дело вышло... Был у нас кам, в горах жил, под самым белком, где снег. Ох, и страшенный кам был, потому што...

Так и катилась про страшного Чалбака слава скрозь все леса и дебри вплоть до монгольского Кобдо-города, до Улясутая.

Возвратился домой Ерема после рождества, возвратилась с ним и Дунька. Прикултыхала Дунька домой с изъянцем, на трех лапах, а четвертой лапой на какой-то заимке угодила Дунька в лисий капкан — блудня была, — так без лапы и осталась.

Ерема горько плакал, словно последний дурак ревел:

— Вот кабы Чалбак был жив... Вдарил бы в бубен свой — секунд в секунд лапа у Дуньки выросла бы.

Но вскоре такое случилось, что Ерема и про Дуньку позабыл, да не один Ерема, а все село, вся округа ахнула.

Раннее утро. Голубел рассвет. Звезда догорала на востоке. В обширной Филимоновой избе ярко топилась печь, старуха Секлетинья житные блины пекла, сам Филимон в красном углу богу молился, а толстобокая Марфуша, дочь его, круто заплетала перед зеркальцем густые косы.

Вдруг встряхнулась изба от пронзительного крика, вихрем ворвалась в избу тетка Дарья, сама хозяйка:

— Филимон! Мамынька!.. Пропали наши головушки!.. Ой-ей-ей!

Обомлело сердце Филимона, и кудластая его бородища враз встопорщилась.

— Идите-ка скорей!.. Чудо-то!.. Вот оно чудо-то где доспелось! Ой-ей!!

Не помнит Филимон, как ногами в валенки утрафил, да без шапки, в одной рубахе на мороз, за бабой. А сзади бабка Секлетинья, а за ней Марфуша, а за Марфушей черный кот.

— Чудо-то какое! Эвот он, окаянный, эвот!..

— Тьфу! — плюнула бабка Секлетинья.

А Марфуша взгайкала во весь двор да за бабкин сарафан скорей, словно пятилетняя девчонка.

— За попом надо, за урядником.

— Да ты, черт, сдурела?!

— Страсти-то какие!.. Страсти-то!!

— Нож ему в горло!

Фонарь дрыгал-покачивался в оторопелой Дарьиной руке, слабый свет елозил по парным кучам

навоза, по рогастой Красуле, по овцам. Облизывала Красуля своего новорожденного двухголового теленка, взмыкивала каким-то диким тревожным мычаньем, и слезящиеся глаза ее вместо живых и матерински-радостных были печальны, тупы.

Весь унавоженный двор наполнился оханьем и причитаньем. В калитки, в ворота, через прясла валил народ, все свои, брюхановские. Только Ерема-пастушонок посторонний, учухал пастушьим чутьем своим, — тут как тут. Да недолго Ерема дивовался: разинул рот, выпучил глаза на невиданного страшного урода и тихомолком — марш домой.

А Красуля мычала и мычала; бились в углу, блеяли овцы; лошади бросили хрумкать овес, похрапывали и косились на незваную толпу. Скакали от фонаря по навозу тени, как души заклятых курмесов.

— Шестиногий!..

Теленок нетвердо стоял на шести своих ногах, и четыре глаза его были мутны. Вот потянулся к вымени, два языка высунул, но Красуля откачнулась, хрипло взмыкнула, чуть не поддела урода на рога.

— Как же быть-то? А? — уныло сказал старший, Петр.

— А чего такое? — звонким голосом вскричала разбитная Варвара, жена его. — Взять ружье, да стрелить... А еще мужики! Мертвого калмычишки испугались. Кол ему в душу, вот что!

— Ой, Варвара!.. Не ошибись, девка.

— А что он, татарская лопатка, хрещеным может сделать-то? Тьфу!

— Замолчи, сорока!

Еще солнце не взнялось из-за хребта, а все село уже знало про урода. До полудня Ерема успел двадцать верст околесить: много русских заимок, калмыцких юрт облетел; не пивши, не евши, в морозный день потом изошел; Дунька култыхать за ним устала, начала сердито на Ерему взгамкывать.

А Ерема на каждой заимке знай благовествует:

— Чудо, братцы-хозяева!.. Вот так чудо, потому што...

По улусам, по юртам узнали инородцы, вспомнили слова Чалбака, изумились.

— Ой-ой, кудо есть!.. Кудо большой будет... Мало-мало верно толковал Чалбак. Ой-ой!

XXI

К вечеру Иван Петрович прикатил.

Держали совет у священника. На совете урядник был и Брюхановы братаны.

— Удивительно, — сказал священник, — нечто небывалое.

— Вот именно, — подхватил Иван Петрович. — Хорошо бы осмотреть.

— Надо понятых. Произвести дознание и протокол, — постановил твердым голосом урядник и окинул строгим взглядом опечаленных братанов.

— Что ж... мы ни при чем... Работайте, что по закону... На все согласны.

— А теленка удавить,— сказал урядник и поиграл брелком-башмачком.

— Странно рассуждаете, — возразил учитель, ухмыляясь. — Как же удавить, ежели у теленка пара голов?

— Тогда огнестрельным оружием... — поправился урядник, и щеки его вспыхнули. — Например, из казенного револьвера.

— Все это ерунда, — досадливо отмахнулся священник. — Надо иконы поднять, вот что. Это неспроста все. Это кам накликал на вас чудо-то... его закваска!

— Его, его! — враз вскричали братаны. — Сделайте такую милость, батюшка!

— А теленка убить и закопать.

— А корову? — уставился урядник на отца Василия и выжидательно постукал каблуком в пол.

Священник недолюбливал урядника, насмешливо сказал:

— А корову приобщить к делу.

— Правильно, хе-хе!.. — улыбнулся учитель, аппе-

титно взглянув на румяную Надею, тащившую кипящий самовар. — За хвост, значит, припечатать, входящий-исходящий и все такое... Именно!

— Прошу без обиняков! — обиделся урядник.

Старший, Петр Брюханов, осмелился, сказал:

— Позвольте осмотреть... Перед чаем-то, а? Тут недалечко. Попутно пивка захватим... Да у меня можно и почаевать. Пирог с рыбиной есть с хорошей... Уж не оставьте, ради всех святых...

На улице пурга была. Крутила вьюга. Облаком кружился влажный снег.

— Этакая непогодь ударила.

Поставили кибитками пушистые воротники, идут. Сугробы. Сумрак. В избах сквозь вьюгу мутно светятся огни. Встречный ветер валит с ног. Шли, нагнувшись вперед, резали головами бурю. Снег больно хлестал в лицо.

— Стойте! — крикнул Иван Петрович, и все, хватаясь друг за друга, остановились. — Слышите?

Вместе с воем вьюги звякнуло вдали, зарокотало. Братаны засопели и, сдернув ушастые шапки, как один перекрестились.

— Я ничего не слышу.

— И я... — сказали священник и урядник.

— Слышите?.. Чу!

— Слышу, — сказал священник и от ветра хрипло закашлялся. — Это бубен. Откуда же?

А бубен ближе, громче.

— Сюда идет.

— Я ничего не слышу... Где это? — прошептал урядник.

С треском хлопнули ворота, залилась собака, за ней другая, третья. Ветер мчал-крутил вдоль села дикой пляской, и вместе с снеговыми вихрями, кружась и завывая в их игре, приближались гулкие раскаты бубна.

— Сюда идет. Близко!

— Православные, что же это?

И уж некогда раздумывать, еще минута — стопчет. Вот он — бум-бум-бум! бум-бум-бум! — прямо на них прет — налезает.

— Заклинаю тебя богом живым! — надсадисто закричал священник, выкинул вперед обе руки и попятился.

А бубен рядом.

— Ай!..

Оглушительно бьет-грохочет, бубенцы звоном звенят, собачий лай вьюгу кроет.

— Сгинь! Сгинь!.. Именем божиим! — и, падая и вскакивая, шарахнулся священник прочь. — Стойте, остановитесь!

Но никого возле не было, все потонуло, сгибло в сумасшедшей мутной мгле.

XXII

На другой день поутру двухголовое чудо сдохло.

Одни говорили, что матка на рога поддела, другие — что жеребец копытом захлестнул.

Только Ерема, сидя на печи, свое молол. Его со вчерашней ночи била лихоманка. Большие глаза горят. Волосы торчком, нечесаны. Мордочка худая, словно у лисенка острая. К бабке Федосье народу изрядно приходило: то баданьего настою призанять, то капельку богова масла ребенчишку грыжу смазать, то чертов палец поскоблить — бабка в горах нашла, — дюже славно от порчи помогает.

Сидит Ерема на печи, таращится на приходящих. Вот высокий черномазый мужик пришел. Поприветствовал его Ерема и стал речь держать, чуть заикаясь:

— А меня, дядя Тихон, вчерашней ночью было шайтаны задавили. Вот те хрест! Шел я с гармошкой от Ваньши Косоручки, потому што... Он гармонь ладил мне... Ну, значит, иду. А метелица — страсть! Я как вдарю в гармонь на всех переборах враз, Дунька как взвоет дурноматом... А шайтаны-то шасть на меня всей кучей, потому што... Четыре, либо три, в шубах. Огромадные, лохматые, что твои ведмеди... Вот те хрест!.. Я, потому што, прочь. Шайтаны за

мной. Я, обнаковенно, чебурах в сугроб мордой, да ну орать: «Ай! Ай!» Да ну креститься...

— Врешь, чертенок!

— Вот подохнуть, дядя Тихон, не вру! Ну, тут вскочил я... Глядь: один только шайтан остался, да и тот стрекача задает, лопочет что-то, будто сыч. А рядом с ним Филимоновский-то выродок скок по сугробу, скок... Вот те хрест!.. О двух башках, о сорока ногах, а что хвостов, так и не вымолвить! Вот те хрест!.. «Ммее... — по-телячьи, — ммее...» Тут мы с Дунькой ну бежать, да ну бежать!..

Дядя Тихон улыбался, грозил Ереме пальцем. Ерема засопел еще больше, вытаращил глаза, оттопырил губы:

— Экой ты дурак какой!.. Не веришь?.. — И закрылся с головой дерюгой.

XXIII

Через неделю вечерней порой вновь бубен бил. Погодье задалось хорошее. Звезды были. Тишина. И средь тишины вдруг накатилось. Сначала исподволь, чуть-чуть, потом покрепче, мимо брюхановских домов:

«Бум-бум-бум!.. бряк-бряк!»

Да в прогон, по переулку, тише, тише, так и скрылся.

Кто слышал, кто не слышал.

И слышавшие — в лице белели, менялась кровь в лице.

Слышат, а не видят. Идет, грохочет невидимка-бубен. Разевают рты, крестятся, прочь бегут.

— Неладно у нас, братцы... Надо иконы подымать.

Ночью собаки выли. Сказывают, выли они на том проклятом обрыве у реки. Выли-выли да грызню подняли. Собаки ли? — вот в чем дело. Скорей всего — шайтаны, шиликуны, курмесы.

Выйдут крещеные, послушают.

— Беда! Отродясь такого не случалось.

А поутру пономарь Викентий в колокол звонил. Редко-редко. Дернет за веревку да ждет, словно постом великим.

Печально благовестил колокол, нес унылую весть по селу и по всем местам окрестным, куда достигал медно-гулкий звон, будто звал, приглашал, выговаривал:

«Приходи-и-и-те-е-е!.. Хорони-и-и-те-е-е!»

Началось со старшего, с Петра, и с его жены Варвары.

Как-то сразу слегли они, в одночасье. Жар палил, озноб, пот холодный, и снова жар, неутолимый жар.

— Квасу! Квасу!

Жадно пили холодный квас, гоготали звериным гоготаньем:

— Душа горит... Еще!

И сразу в пропасть, в тьму вечную.

Солнце в этот унылый день поднялось поздно. Над увалами и хребтами, где встать ему, долго желтый туман держался, застилал туман высь небесную и укрытые снегом склоны гор. И из желтой пелены его, словно раздвинув парчу погребальную, показалось наконец холодное, нерадостное — как свеча в изголовьях мертвеца.

Уныло шагал народ из церкви на погост, качались мерно два белых гроба — последний путь земной.

Возле обрыва дорога шла, возле того самого, страшного...

Ерема глянул вниз... Анчибал полынью прососал. Сердито в полынье вода кипела, черная, как деготь. Злился Анчибал-река.

Пели недружно, плохо. Голос отца Василья дребезжал и обрывался.

Земля промерзла сильно. Двойная могила неглубокая. Над могилой плач большой. Но горше всех плакали Филимон с Андреем. Не родных оплакивали братья — участь. Видели братья свою участь впереди, свой черед. Плакали.

Пономарь Викентий все еще на колокольне:

«Приходи-и-и-те-е-е... Хорони-и-те-е-е!..»

XXIV

Не колыхнется огонек в лампадке, словно выкован из золота червонного. Золотом крыта святая икона Спасителя. Из-за иконы верба. Золотится на вербе прошлогодний пушок. Маслом пахнет, ладаном.

Тихий сумрак. От печи жар идет. Кот на печи трет лапой за ухом. Щурится — прицеливает глазом на ползущего по печке таракана.

Распростертая фигура на полу. Ряса разметалась черным. Скупо блестит смазной каблук.

Фигура подымается, крестится, вздыхает, опять в землю. И тень крестится, вздыхает, опять в землю. Вздыхает тень.

Шепчет отец Василий молитву. Но слова сухие, как песок, не от сердца. Поэтому мятется сердце, облегченья нет. Думается дума. Кто посеял ее, чья рука?

— Из Анчибала в реку, из реки в речищу, из речищи в море. Где найдешь? Невозможно. А надо бы земле предать. Все-таки крещеный. Душа его рыщет по земле, иский, кого поглотити... Боже, боже!..

Надея спать легла. Мягко крадется к Надее кот. Заберется кот к Надеиному сердцу, замурлычет. Тепло, угревно у девичьего сердца. Курлы-мурлы.

А невидимое веретено крутит-дрыгочет, перебрасывает нитку через дома, через крыши, да прямо в Филимонову трубу печную — скок! Оборвалась нитка-невидимка, да по бороде, да к Филимону в сердце... Чья рука веретено пустила?

Стоит Филимон перед старинным складнем дедовским, бьет усердные поклоны и точь-в-точь теми же словами, теми же мыслями, что и отец Василий:

— Где найдешь? А надо бы... Поди давно уже в море-окиян уволокло. Господи, прости окаянство наше!.. Помяни его душеньку во царствии твоем.

И десять пальцев мозолистых упираются растопыркой в пол, крепко стучит в половицу покаянный лоб, рыжая борода дрожит.

А сердце в широкой груди мужичьей маленькое такое стало, несчастненькое такое, заячье — с самим богом рабский торг ведет:

— Ежели смилуешься, ежели не попустишь, господи, хрещеной душе загинуть — по самый гроб жизни работник твой... то ись насчет повсеместного сбору на божий храм... Отведи напасть!

Тихо в просторной избе. Капелька по капельке булькает вода в лохань. Да старая бабка Секлетинья мается в кути: ох да ох! Занемогла старуха, вечор соборовали маслом. Крестится Филимон. Чует Филимон участь свою. За плечами стоит участь, караулит Филимона.

— Господи, отведи напасть!.. Кабы знато да ведано... Эх, ты!..

А веретенце дальше — чрез дома, чрез крыши — верть-верть-верть — да ниткой-невидимкой прямо в Еремин двор. Не спится Ереме-пастуху, да и Федосье старой не заспалось в ночи.

— Я, баушка, как мужиком настоящим буду — женюсь.

— Женись, женись...

— Я, баушка, потому што, Казанчи возьму... Она шибко пригожая.

— Красну девицу возьмешь. А калмычка — тьфу!

— Нет, Казанчи! Мне, баушка, жалко ее. Она плачет. А как оженимся мы с ней, она камлать меня научит, я, потому што, угадывать буду. Ты придешь ко мне, я и угадаю.

— Эка, что придумал, неумоя!.. Спи!

— Буду камом, Дуньке ногу приделаю собачью.

Бабушка молчала; Дунька, растянувшись, похрапывала, словно человек.

— А пошто, баушка, сказывают, будто бубен ходит?

— Это душа евонная... Чалбакова. Богу надо за него молиться.

— Сказывают, всех Брюхановых кам сожрет... Все сдохнут, потому што...

— Ну, это как бог попустит. Спи!

XXV

В прощеный день на масленой неделе гулеванье в селе Волчихе было веселое. Костры жгли, девок через огонь таскали, катались с гор.

Хохот, визг, песни. В разных концах гармошки наигрывали. Собакам выть под гармошки надоело, забились в катухи, ворчат.

Иван Петрович наелся блинов крепко, браги выпил подходяще и завалился со своей благоверной спозаранку почивать: завтра надо к утрени, завтра великопостную стихиру будут петь: «Се жених грядет во полунощи».

Поговорили о том о сем, уснули. В переднем углу теплится лампадка. На столе псалтирь, требник, всеобщий русский календарь и раскрытая тетрадь-дневник.

Ежедневно Иван Петрович записывает теперь в свой дневник всякие толки и «очевидные факты» про страшного кама Чалбака. Тикают часы. В окно с неба луна.

— Ваня... Ваня, ты спишь? — шепот испуганный, дрожащий. — Слышишь?

Анна Дмитриевна, смуглая и скуластая, с заплетенной черной косой, сидела на кровати, вытянув ноги под беличьим одеялом и прижав скрещенные ладони к полной, боявшейся вздохнуть груди.

Иван Петрович раскрыл рот, насторожил слух и чуть приподнял голову, а глазами уставился в окно, за окном слышны были приближавшиеся звуки бубна.

— Боюсь я... Ваня!

Сквозь двойные рамы звук слабый, приглушенный.

Сердце Ивана Петровича заколотилось, дрогнуло: к самым окнам поспешно бубен подкатил, грянул раз, остановился.

— Ваня!

Все в комнате зашевелилось: взметнулся огонек в лампадке, зашуршала повешенная на стене карта, и листы дневника стали перевертываться, как под сильным ветром.

— Ваня!

Анна Дмитриевна повалилась на кровать, и головой под подушку.

А бубен взъярился, словно с ума сошел, скок сквозь раму, да ну выплясывать на подоконнике.

«Ррр-а-та-та!.. ррра-та-та!.. Бум!..»

Не помнит Иван Петрович, как ружье со стены сорвал, острым взором на окне бубен ищет, но бубна нет, только пляска его слышна; пляшет бубен, бьет, а кругом ветер воет, мигнул огонек в лампадке и погас.

— Господи благослови!

Вскинул Иван Петрович на прицел ружье и грохнул. Сразу бубен как убитый смолк: настала тишина. Иван Петрович позабыл дышать. Тряслись его руки, ходуном ходил дымящийся ствол ружья.

«Ну и хитер ты, урус!..» — послышался за окном гробовой голос кама, а бубен тихо брякнул, словно взяла его бережно чья-то осторожная рука. И не то всхлипыванья, не то смех тоскливый за окном почудились, и снова, как на погосте, — тишина.

XXVI

Не укрывалась нетоптанным снегом дорога на кладбище: умерла старуха Секлетинья, за ней маленький сынишка Филимона и Андреева дочка Маринка приказали долго жить.

Великое попущенье на род Брюхановых содеялось, великое сатанинское дело совершалось: как на погост кому переселяться — ночью неумолчно страшный бубен бьет.

До городу весть о бубне докатилась. Пришел из города приказ: в корне прекратить.

Урядник всю волость сбил, целую неделю по улусам, по юртам шарились, все горные тропы исходили, во все ущелья заглянули — нет! Кругом ни одного кама, ни бубна не нашли.

Священник не меньше Брюхановых боялся, в черных волосах седина пошла. Надея озорным намеком намекала: так, мол, и так — пришлось прикинуть

к жалованью полтора целковых в месяц. Два раза отец Василий вокруг села с крестным ходом обходил, кропил святой водой брюхановские избы, а ночью, после второго раза, видел страшный сон: будто моются они с попадьей покойной в бане, вдруг из жаратка, вместе с паром, — кам Чалбак, лицо в крови, избитый. «Батюшка, не приказывай меня бить!» — И такой был голос у Чалбака, — не голос, стон, слеза кровавая, — что отец Василий с поднявшимися волосами в страхе закричал:

— Надея!.. Держи его! Не пускай!

И стали с того времени в народе примечать, будто заговариваться начал священник, даже за обедней не то поет, что по уставу.

Уряднику тоже приснился кам: встал перед ним в полном облаченье, в шаманьей шубе, в шапке крылатой с висюльками, а в руках бубен, погрозил уряднику колотушкой, и одно только слово: «Уходи», — но вместе со словом изо рта его пламя пыхнуло, да уряднику в лицо. Открыл урядник глаза, нюхнул, — паленой шерстью пахнет. Он рукой за усы — правый длинный, а левый обгорел. Он к зеркалу — верно! Хоть не из трусливых был урядник, а испугался шибко. Бесспорно, кам Чалбак адовым огнем опалил его.

Хозяйка, краснощекая вдовуха Василиса, в лицо ему захохотала:

— Чудак ты какой!.. Известно, сжег табачищем. Взойду, взойду, а ты лежишь вверх носом, а меж зубов папиросочка торчит.

Но урядник с того времени заскучал, осунулся, стал бояться вечерами из дому выходить, а к пасхе подал просьбу о переводе по семейным обстоятельствам.

XXVII

К лету красному почти всех Брюхановых «шайтан сожрал». Андрея возле города разбойники ухлопали перед самой пасхой, но и про него говорили: «Чалбак знает, где поймать. У него в услуженье шайтанов много». Два брюхановских дома стояли заколоченные,

и весь переулок, куда выходили они, сделался каким-то жутким, мертвым. Если кому нужно в переулок, то мимо домов рысью, а в ночное время — никто бы не насмелился: толковали, что сквозь заколоченные ставни человечьи голоса слышатся, плач, стоны, а то словно бы ребенок закричит.

Третье жилище, Филимона Брюханова, стоит рядом с церковью, и снаружи посмотреть — ничего себе, дом как дом, ставни расписные настежь.

А вот с хозяином беда. Из всего могутного брюхановского рода один Филимон остался с сыном, пятилетком. Сжалилась над сиротой бабка Федосья, переселилась к Филимону, а Ерема опять на пастухову должность поступил.

Смерть второго брата потрясла Филимона и окончательно сломила его. Жалок, страшен стал Филимон. Трудно было узнать его: словно не год, а двадцать лет прошло, седым стариком сделался. Лохматый, оборванный, грязный, будто последний варнак-бродяга. Весь пришибленный, испугавшийся, ходит согнувшись, с палкой, оглядывается, шепчет. Если кого встретит — крестится и боязливыми глазами, в которых стоит холодный страх, как бы спрашивает:

«Не шайтан ли ты, не смерть ли моя?»

Знает Филимон и твердо верит, что участь его ходит рядом с ним, вот уж руку занесла, когда ж убьет? Сегодня, завтра? Забрюхател Филимон Брюханов смертным страхом, и это черное дитя под сердцем сосет змеей его душу день и ночь, высасывает разум, сует в руки нож, тащит к перекладине: «Чего мучаешься? Возьми да удавись!»

Но, видно, ожидать смерти страшно, оборвать насильно жизнь — еще страшней. Да и в уши кто-то наговаривает, какой-то совет дает: «Сделай вот так, тогда жив будешь». Но как сделать-то — не может разобрать мужик, а чует: сделать что-то надо. «Сделаю, — жив буду».

Идет к отцу Василью:

— Батюшка... что мне делать-то? Чалбак всех наших порешил. За мной черед... Научи-ка ты, батюшка, дорогой, хороший... — и в землю бух, заплакал,

захлебнулся Филимон слезами, скривил волосатый рот.

— Этакий верзила, а плачешь, черт, — промямлил отец Василий: язык во рту был толстый, неповоротливый, слова, как лепешки, шлепались Филимону в уши, Филимон ничего не мог понять.

— Ведь вот сколько молебнов служил ты у братанов-то, — поднимается с полу красноглазый заплаканный дядя, — опять же сколько разов избы освящал, а помогло ли? Ничего не помогло... Что же делать-то? Как быть-то мне, батя, а?

Отец Василий крестит Филимона большим крестом и выплевывает в его уши все такие же слова-лепешки:

— Венчается раб божий Филимон рабе божьей Фадею... Во имя отца и сына...

— Батя, батя!!

И смотрят друг другу в глаза. И не замечают той черной мглы, что стоит в их помутневших взорах.

Отец Василий вдруг тряхнул головой, подмигнул Филимону и закатился скрипящим смехом:

— А выпить хочешь, раб божий? — и потянулся к четвертной бутыли опухшей рукой. Глаза у отца Василия бараньи, мутные, голос панихидный, гробовой.

— Ты, батя, как его?.. Ты тово... — и по мужиковой спине прокатился холодный страх.

От священника бредет Филимон к соседу, куму, от кума к писарю, от писаря к Ивану Петровичу, в село Волчиху.

И всем одно и то же, каждого выспрашивает, как быть ему, участь его по пятам идет — спасите, братцы! Но никто путем не знает, чем помочь ему, какой совет дать. Кажется, все уже испытано, а толку нет.

— Жди, Филимон Карпыч, дожидай свово резонту. Ау, брат ты мой!.. Нет чего хуже — смерти дожидать. Тяжко очень.

А учитель Иван Петрович пуще разворошил Филимону сердце; все подробно рассказал ему, как из ружья святым пыжом в чертов бубен тарарахнул, и еще многое из дневника читал про страшного кама, про Чалбака.

— Вот ученые не верят, а я верю... Все факты налицо.

Филимон разинув рот, бессмысленно смотрел на Ивана Петровича и тряс лохматой головой, словно паралитик.

XXVIII

Так и блуждал Филимон из дома в дом все лето, землю забросил, жил подаянием. Часто заходил на могилу близких, плакал.

Однажды бабка Федосья сказала:

— Поди-ка ты завтра с Еремой к Казанчи. Авось простит. Тогда и скука от тебя откатится.

И в двадцатый раз стала говорить ему, как, грешница великая, била она кама, как потом видела его во сне: идет будто вроде Исуса-господа; многое тогда, грешница, поняла она, стала неотступно молиться за грешную душу Чалбака, и, знать, услышана ее молитва, знать, кам простил ее. Другие-прочие, которые... А она, слава тебе господи, жива-живехонька.

Послушался Филимон старуху, пошел с Еремой к Казанчи.

Шли полями, перелесками. Всю дорогу Ерема смешные побаски врал, сам заливался звонким смехом и на Филимона покрикивал:

— А ты пошто не смеешься, сарлы-ы-ык такой, леша-ай!

Филимон шагал молча, заложив руки за спину, глядел в землю, громко сопел.

А вот и юрта. Увидал Филимон Казанчи, сложил на груди руки крестом, стал каяться:

— Прости ты меня, тетка!

И Казанчи ему:

— Прости ты меня, тетка!

— Сам не рад, прости!

И Казанчи:

— Сам не рад... прости.

Посмотрели на нее Филимон с Еремой.

Сидит Казанчи у потухшего костра, лохматая, грязная, и печальными глазами поверх Филимона

смотрит куда-то вдаль. В куче сора побуревший, высохший валяется цветок.

— Вот скоро Чалбак придет... Я в бубен ударю, звонко, звонко...

Встал пастух, мужика за опояску потянул:

— Пойдем, дядя!

А потом тяжело, надрывно вздохнул Ерема, словно собирался заплакать, и сердечным голосом сказал калмычке:

— Прощай. Эвона ты какая стала!.. Жаль мне...

Всплеснула руками Казанчи, засмеялась:

— Эвона... Эвона... Я эвона!

Ерема всю обратную дорогу дрожмя дрожал.

XXIX

Эта последняя ночь предильинская началась собачьим воем.

Как погаснуть золотой вечерней заре, забралась на проклятый обрыв чья-то паршивая собака, уткнулась мордой в омут и завыла. Сначала толсто, хрипло, будто взбесившийся бык дурной, потом вскинула вверх голову, оскалила слюнявый рот, тявкнула и завыла тонко, визгливо, словно острым веретеном сверлила сумрак. И снова, и снова. Поуркивая и щетиня шерсть — по застенкам, по застенкам — трух, трух, трух, — крадучись, спешили к обрыву другие псы.

Повизгивая тревожно и также крадучись, словно вину за собой чуя, култыхала в неспокойную собачью стаю и Еремина трехлапая Дунька.

Кажется, все псы с села сбежались, будто их скликал кто, уселись в кружок и ну выть дурью.

А небо стало темнеть. С востока поднималась из-за горбатых хребтов сизая туча, из ущелий потекла смолой густая тьма, затопила тьма долину Анчибала, обрыв, церковь, все село, ползла по склонам гор ввысь, тянулась к вечноснеговым вершинам. Помутнели белые вершины, ночной час близок. Еще немного, и весь мир меж землей и небом ослепнет, захлебнется тьмой.

Выли собаки надрывно. Ненавидели собаки друг

друга. Зачем-то притащились: ветрено, темно, спать бы да спать, а вот пришли. И тоскливо на собачьем сердце, и больно. Так тоскливо, что и стерпеть нельзя.

«Вву-у-у... Гав-гав... ууууу!!.»

Выходили из ворот жители, прислушивались. И мерещилось им, что не собаки это, а сама тьма непроглядная воет лютым зверем. А в горах, за Анчибал-рекой, черные шайтаны отвечают точь-в-точь так же:

«Вву-у-у... Гав-гав... ууу!!.»

Прятались жители в избы, крестились сами, кругом окрещивали тьму.

— Илья-пророк батюшка!.. Ильинская пятница матушка!..

И слышно во тьме, перекликаются через дорогу:

— Силантий, ты?

— Я. А это ты, Ваньша? Не видно ничего.

— Он самый... Это что же такое будет?.. А?

— Да вот человека, Митьку свово, послал с ружьем... А то не уснешь. Жуть. Откуда их черт согнал?

В безглазой вышине запоздалое стадо говорливых галок пролетало. На свежих пажитях курлыкали журавли. Поскрипывала и колотилась под ветром чья-то незакрытая дверь.

Посреди дороги, спотыкаясь о вылезшие из земли камни или скользя осторожной ногой по парным коровьим кучам, шагал человек с ружьем. Зарядил он двустволку мелкой дробью-бекасинником. Стегнет собачью свору, как кнутом, и будет!

Приложился человек — бах-бах! — и сразу все оборвалось, только слышно, как быстрые лапы оторопело землю топчут, врассыпную собаки прочь.

Улыбнулся человек, покурил, послушал и — домой. И только лишь в калитку — опять на том же самом месте завыли псы.

XXX

Бабка Федосья брюзжит на своего Ерему, сердится:

— Надо искать Филимона-то! Тоскует его душенька. Иди!

— Филимон у попа, верно... Я за Дунькой... А то собаки ее разорвут.

— Дурак какой! Перво человека надо пожалеть.

Взял Ерема кнут, прислушался, пошел к церкви на обрыв. Ничего Ерема не боится. Ну, темно, ну, собаки воют, — эка штука, пусть.

— Потому што, она сумасшедшая... Казанчи-то, — рассуждает сам с собой Ерема; через плечо кнут висит, в правой руке фонарь с огарком. — А вот женимся мы с Татьяной Рыбкиной, это дело... — Ерема улыбается, весело размахивает фонарем — тьма подпрыгивает, со светлым лучом в чехарду зачала играть.

— Ух, ты, язви их!.. Как воют!..

И нежный женский голос вдруг:

— Пасеня, ты? Огрей ты их кнутом хорошень! Боимся мы с мамынькой. Сделай милость, разгони, пасеня-пастушок!

— Ладно, — сказал Ерема толсто, вдруг почувствовав себя заправским мужиком. — А ты творогу со сметаной дашь мне?

— Дам.

— Ну, ладно, разгоню.

Ветер взметнул сильней, огонь в фонаре заколыхался, стал накрапывать дождь. Шагал-шагал Ерема в бабкиных бахилах да споткнулся.

— Язви тя!.. До чего темно, — и пошел прямо на собак.

— Дунька! Дунька-а!..

Вот и обрыв. Внизу Анчибал гремит. Колет тьму голосистый собачий вой.

— Дунька! Фють, фють...

Вильнул туда-сюда фонарь. Зарычала собачья свора, ощетинилась.

— А это хошь? — взмахнул Ерема кнутищем и щелкнул в воздухе, как из ружья.

— Филимон!! Филимон!! — вдруг дурью заблажил он во всю глотку. — Что ты, Филимон?! — упал фонарь, зазвенели стекла. И бросился Ерема во всю прыть домой.

— Филимон! Батюшки, Филимон!!

Отворялись во тьме окна, кто-то кричал ему, кто-то звал испуганно, но Ерема, спотыкаясь и падая, мчался дальше:

— Он воет, он воет по-собачьи... Батюшки!!

XXXI

Словно колдун, словно страшный кам-шаман, окруженный собачьей стаей, сидел Филимон на обрыве, как вывороченный буреломом таежный пень во мху.

Он не знает, как пришел сюда. Кам Чалбак сказал:

«Вот год уж, как вы меня убили. Зачем пожаловал? — Кам Чалбак вынырнул из воды, из Анчибала, и гулко ударил в бубен. — Зачем пожаловал?»

Филимон затряс головой, разодрал ворот у рубахи — душно, — хотел ответить, но слезы не дали. Только и промолвил:

— Прости!

«Не знаю, — сказал кам. — Ступай домой».

Анчибал взбурлил, взъярился, хлестнул волной о камни, и кам пропал.

А псы ляскнули зубами, взвыли. Посмотрел на них дико Филимон — светятся во тьме собачьи бельма, — запрокинул нечесаную голову и взвыл со псами страшным, сумасшедшим воем.

XXXII

— Надея! Надея!! — крестясь и дрожа всем телом, вскричал отец Василий. — Послушай-ка, Надея. Что это?

Оба они стояли у полуоткрытого окна, — священник и девица, — оба тряслись от какого-то необъяснимого ужаса.

На обрыве, бросив вой, яро рычали псы, и слышно было, как зубы зверей кого-то рвут на части, гложут. И сквозь грызню — последний, пронзительный человеческий крик.

— Надея!! Это Филимон!

А потом все смолкло, только Анчибал плескался во тьме.

И вот среди наступившего затишья — громче грома, трескучей синей молнии — ударил бубен. Всяка душа удар тот слышала, все к окнам бросились, даже спящие вскочили, так ядрен и внезапен был удар.

И пошел в непроглядной тьме вдоль села волшебный бубен, он шарахался из стороны в сторону — то вправо бросится, то влево — и гудел и бухал как-то по-особому, не так, как прежде, словно победу праздновал и навек прощался с белым светом.

Одним казалось — выговаривал бубен, жаловался человечьим голосом; другим слышался хохот, словно леший при болоте хохотал, а третьи клялись и уверяли — плакал бубен горько.

Шел бубен по селу, бил колотушкой яро, жаловался человечьим голосом, хохотал и плакал, неистово бубенцы с колокольцами заливались. И чудилось каждому, что колышется, вздрагивает от гула и грохота ночная тьма, и все горы тяжко, до основания трясутся.

— Чур, чур! Наше место свято!

И такая жуть, такая тоска смертная напала на всех людей, ну, вот скулит душа, как неутолимая зубная боль, ну, вот давит сердце... Господи!!

И ныряют головами под подушки, и затыкают уши пальцами, только бы не слышать проклятого звона, гула, рокота.

— Господи, господи!!

Ни крест святой, ни молитва, ни наговоры тайные старушьи от четырех ветров — ничего не помогало: бил, неистовствовал бубен до самых петухов.

Лишь только возгаркнул краснобородый на насесте, сразу сгинул бубен, словно провалился сквозь землю. И ночь до самого утра была немая.

XXXIII

Солнце в Ильин день поднялось над хребтами приветливое. Благовестили к заутрене.

К церкви бодро шагал народ, русские и калмыки с теленгитами. Заходили на обрыв, качали головами,

осматривали изрытую в ночной свалке оплешину и клочья Филимоновой одежды. Вот голенище сапога, вот лоскут холщовой рубахи, кровь на острых камнях, стекла, спички, нательный крест.

— Ну, значит, разорвали.

— А где же он, разорванный-то?

— Стрескали... Думаешь, глядеть будут!

— А по-моему, в реке он.

Загадочно посматривая друг на друга, крестились и — словно озноб по спине — передергивали плечами:

— Вот она, нечистая-то сила, что вырабатывает!

Но каждый думал тайно: «Слава богу, не меня».

За службой отец Василий был отцом Василием, а как вышел к аналою речь держать, вдруг преобразился: румянцем покрылись скуластые щеки и кончики ушей, вспыхнули огнем безумные глаза, зазвучал по-молодому голос. Все придвинулись плотнее к аналою и, потные, распаренные, смотрели в рот священнику.

— В ум вошел поп-то... Слава те, Христу!

— Отцы и братия! Вот мы какой великий грех содеяли, все мы перед богом виноваты, а наипаче многогрешный иерей и пастырь ваш.

— Эх, бачка, бачка!.. Так и есть! — вздохнула узкоглазая паства; русские также вздохнули и потупились.

— Кайтесь, православные!.. Вот сердца наши освирепели, и души наполнились вместо иссопа смрадом...

Долго говорил отец Василий мудреными словами, разобрал всю подноготную, многих вогнал в слезы искреннего покаяния и наконец, всплеснув руками, воскликнул:

— И вот вчера, на том богомерзком утесе, свершилась, с попущения божия, страшная месть кама. В клочья растерзан был псами рыкающими раб божий Филимон, несчастное чадо мое. Сам слышал вопиющий глас его, сам видел его сугубые страдания... О, мучительнейшая из смертей! И видел и свидетельствую... Помолимся об упокоении души его...

— Батюшка! — кто-то крикнул от паперти знакомым голосом. — Дозвольте, батюшка, тут ошибка. То есть вот как это было...

И все обернулись по голосу, а сверкавшие черным огнем глаза священника жадно искали говорившего.

Вдруг весь народ ахнул, и словно огромное дерево упало от паперти к аналою — внезапно расступились все, образовав проход.

— Не бойтесь. Я живой.

— Не верю! Наважденье! Искус! — исступленно закричал священник, простирая вперед похолодевшие руки. — Именем бога живого!.. Изыди вон!..

В церкви произошло смятенье; суеверные в страхе бросились к выходу и в небывалой давке толкли друг другу кости, старухи пластом валялись пред иконами и завывали, а кликуши ойкали, взлаивали, пели петухом, ругались непристойно.

— Черт, черт, черт!..

— Вон его, вон!

— Паки повелевают: изыди вон, мертвец!

— Батюшка, отец Василий!..

— Нет, это настоящий... Не может быть... — позеленев, вскричал Иван Петрович. — Нужно удостовериться, удостовериться! — И в порыве суеверия мазнув по своей трости маслом из лампадки высокочтимого образа, огрел по спине растерявшегося, обезумевшего Филимона тростью и сам, почему-то испугавшись страшно, завизжал, как кликуша:

— Настоящий, настоящий!

Но толпа все это приняла по-своему.

— Бей его!

— Оборотень! Упокойником прикинулся!

— Божий дом опакостил!

— Бей!..

— Не в храме, не в храме! Волоките вон!

— Рой могилу!..

Безумно хрипел Филимон, вырываясь, и не хватало голоса кричать.

А рядом с ним надрывалась, шамкала плачущим провалившимся ртом старая Федосья:

— Филимон Назарыч!.. А ты окстись, голубчик, окстись, окстись... Тогда поверят.

XXXIV

С той поры много лет прошло. Зеленые мхи на скалах поседели, Анчибал-река прорыла себе новую излучину, заросла травой-полынью горная тропинка к опустевшей юрте Казанчи, покачнулись кресты на брюхановских могилах, а сам Филимон Брюханов стал древним седовласым дедом.

Доживает он свой век у Еремея Терентьича Дятлова, богатого заимочника, караулит его пасеку.

Любит Еремей Терентьич за чайком душистым, сидя у костра на пасеке, перемолвиться с дедом о старинных днях.

Дует Филимон на горячую жижицу в китайской деревянной чашке, тягуче говорит, словно по складам читает:

— Так весь наш корень и съел Чалбак... Втапоры ты, малый, пастухом был. А теперича разбогател. Да, брат, да... Взыскал тебя господь за простоту твою... Вот оно...

Хочется Еремею Терентьичу знать все до тонкости, выспрашивает так и сяк, но дед в двадцатый раз одно и то же:

— Тут вдругорядь кам из омутины вынырнул, на скалу залез, да и скажи мне слово: «Вспомнил, грит... Я Павел... Прощаю... Не Челбак тебя, гыт, прощает, а Павел...» А собаки напыхом как прыгнут на него, быдто на ведмедя, да ну грызть, чавкать... Ух, ты, якорь те в нос!

— А ты-то, ты-то, дед?

— Ничего, друг, не помню... Всю память кто-то выскреб из ума. Где, к примеру, ходил, как в церковь попал, ну вот не помню, да и на! Быдто корова языком слизнула. Выволокли меня, значит, православные, на тот самый на обрыв: «Топи его, топи», — закричали. А я, словно немой, только руками развожу да мычу. А тут вдруг, милый человек, речь нашлась. «Братцы, говорю, что же вы, братцы, делаете?.. Ведь я человек есть! Братцы!» Быдто холодной водой им в морды брызнул. Так все и откатились, в ум вошли. Которые очень даже остались недовольные. Яшка Косолапых

аж сплюнул: «Тьфу, гыт... Чего ж ты, гыт, дурака-то валял!» А из меня уж, почитай, вся душа вон вылезла... Вот дела-то! Де-е-ла, брат Ерема, дела!..

Говорили так поздним летним вечером. Темно было. Сырой туман от Анчибала плыл. Рогастый месяц из-за горы приподымался.

— Чу, слышишь, Филимон?.. Бубен в горах.

— А? Не слышу я... Бубен, что ли? Это ничего... Как месяц на рогу — он завсегда ходит... Ничего. Теперича он не душевредный... В наше село путь заказан ему... Ничего. А в горах пускай... Мало горя.

— Чу, чу!.. Ишь как!

То не кам камлает, не гремучий гром гремит, то Чалбаковы курмесы, его слуги, по вершинам скачут, в невидимый бубен колотушкой бьют, ищут, не находят, где Казанчи лежит.

«Бум-бум, тра-та-та!.. Где ты? Эй, отзовись, молодая Казанчи!.. Дзын-дзын!.. Ррррох!»

Давным-давно лежит Казанчи на высоком перевале. Взял-укрыл ее белый камень-мрамор давным-давно. На высоком перевале ветер воет. Злится ветер, гонит Чалбаковых курмесов прочь. Разве скучно Чалбаку одному?

И размахивает пушистыми ветвями угрюмый кедр, что караулит темный вечный человечий сон:

«Прочь отсюда! Здесь нет калмычки Казанчи, здесь Катерина».

ЦАРСКАЯ ПТИЦА

Старик тунгус весь день без передыха тайгой бежал и все оглядывался: не гонится ли за ним страшная болезнь.

И не видно было, где она, только чувствовал старый Илейко, что заползает в него змеей что-то черное, в голову ударяет, по всему телу огнем палит.

Шамана надо, скорее шамана кликать, пусть выгонит страшную болезнь. Илейко отлично знает: она лицо исклюет, глаза выпьет, накатится — задушит.

А как добежал до своего стойбища, упал на оленью шкуру и такое заболтал без разбору, что у сына с женой волосы зашевелились: даром что молодые, им тоже эта хворь очень знакома — лет пять тому перевертела весь народ в тайге.

Ночь без звезд была, небо темное, над тайгой тучи плыли, шумел ветер вершинами.

А там, в болотине, что у речки, в калтусе, шайтаны — таежные дьяволята — гукали. Им любо в такую темень поскакать, покувыркаться: стрекочут, посвистывают, хохот подняли.

Одноухая сучка Бойда ощетинилась, не любит шайтанью свадьбу, хвост промеж лап поджала.

А из болота: гук да гук. Ощерила Бойда зубы, тявкнула да прямо под ноги Ивашке.

— Геть!

Надо оленей скорей собрать, да прочь с этого места, куда глаза глядят, чтоб хворь не догнала да не слопала вместе с бабой.

Ивашка зачерпнул из болота в берестяное ведерко воды и просунул на рогульке больному отцу в чум. Баба оленины вяленой в тряпицу завязала. Ивашка поддел узелок рогулькой и тоже в чум, под самый рот старому Илейке.

— Эй, отыркон — старик! — крикнул Ивашка и заглянул в щелку чума.

Старый Илейко лежал вниз лицом, тяжело мычал и чавкал губами. Перед ним теплился, угасая, костер.

— Пойдем скорей, — заторопилась баба.

Солнце еще не проснулось, — знать, глаза росой промывает, знать, в зарю рядится, а свет уж выпил тьму: засерело кругом, туманы заклубились, дятел топором стучит.

Принюхивается Ивашка — грибами пахнет, мокрым мохом; принюхивается Ивашка, куда путь править — смолистый ветерок трясет — обсушивает хвои. Хорошо бы тут стать, на поляне, отдохнуть. Поляна вся в цвету, красной земляникой, как кровавым дождем, обрызгана, ключик течет, такой светлый.

— Чего стоишь? Пойдем! — кричит баба.

Дальше пошли. Солнце сквозь вершины смотрит. Наступило утро, Ивашка вздрагивал и хватался за голову.

— Ты чего? — встревожилась жена.

— Голова...

— Ой! Надо дорогу заломать, а то нагонит.

— Йе, — подтвердил Ивашка и, прикрякнув, срубил острой пальмой елку. Елка упала поперек тропы. Он сделал в ней расщеп и стал подманивать собаку.

— Бойда, нох-нох...

Бойда поджала ухо — не поглянулся ей хозяин — и только хотела в сторону, а баба скок:

— На, держи... тащи!

Собака заскулила. Ивашка сгреб ее, сунул в расщеп собачий хвост и крепко-накрепко скрутил концы вицей.

Бойда визжала, дергалась, выла жалобно: чуяла Бойда, кинут ее люди. Взглянул на нее Ивашка: черные глаза ее стали влажными, плачущими, как у человека.

— Ты самый друг. Кто верней тебя? Карауль, не пускай болезнь, лай пуще, — в последний раз погладил он собаку.

— Айда! — крикнула баба.

Караван дальше двинулся.

И под гору спустились, и на лысую вершину взобрались, а собачий страшный вой разрывал тайгу.

— Ой ты, как скучает... Пойдем скорее! — зажала уши баба.

Двадцать дней тунгусы тянулись. Далеко ушли. Болезнь не нагнала, сзади осталась.

Пождали-пождали старика — не пришел. Ну, значит, слопала его болезнь. Это ничего, зато сами живы.

Осень проходила с красным листом, с желтым листом, с морозом. Травы сединой взялись, зори были в золоте, с севера белые тучи наплывали, и уж на вершинах каменных сопок выпал снег...

Набрел на Ивашку хороший его товарищ, Чумго, белку промышлял, и говорит:

— Вот я у торгового был, чудо видел.

Ивашка зачмокал губами, с любопытством развесил уши.

— Из города птицу привез торговый. За морем, говорит, такая птица водится. Пьятух... Ну и птица. Под мордой борода трясется, на башке гребень. Песни поет. Громко-громко!

— Продажный, нет? — сплюнув сквозь зубы, спросил Ивашка.

— Нет, — уверенно сказал Чумго. — Уж очень занятная птица. Ночью поет. Как схлопает крыльями,

да «ку-ри-ку!» — так все шайтаны, сколько есть на свете, сразу скрозь землю проваливаются. Страх как боятся.

— А может, продажный? — спросил Ивашка, и глаза его заблестели.

— Однако нет, — раздумчиво проговорил Чумго. — Я так думаю, она и хворь у русских прогоняет: как гаркнет «ку-ри-ку!» — хворь разом из избы вон, да и бежит без передыху, покамест на кого из наших не набросится.

— Ие, — радостно сказал Ивашка. — Такую птицу надо купить. Как такую добрую птицу не купить.

Ивашка далеко проводил в тайгу своего друга Чумго. Всю дорогу разговаривали о неслыханной птице и решили: чего бы ни стоило — добыть ее.

Торговый человек, Петр Абрамыч Трындин, уж седьмой год живет на вершине речки Бирьякана, в глухой тайге: до ближнего села и то верст полтыщи, как не больше. За все время лишь два раза выезжал в село — очень труден путь. Сначала один жил, потом жену приплавил, приказчика Спиридона с семьей, обзавелся хозяйством: корова была с лошаденкой, кошка, шесть собак. Бывало, придут тунгусы за покупками, только языком прищелкивают, удивленно разглядывая лошадь и корову, — впервые видят.

— От так зверь!

А прошлой весной привез торговый молодого горластого петуха и двух молодок. С курицами как-то веселее стало: клохчут, яйца несут, цыплят выводят.

Зима отлютовала, весна идет, понесло дурманным хвойным духом. Но приказчика Спиридона, долгобородого, на кривых ногах мужика, ничто не радовало: баба всю зиму хворала, лопата-лопатой сделалась, а с весны их ребенок все животиком скучал, да на второй день пасхи и... пришлось гробовину ладить.

— Не тужи. Еще трое остались у тебя, хватит, — утешал его хозяин. А хозяйка, Домна Степановна, обнявшись с Дарьюшкой, сидели на завалинке и выли

в голос. Горько без священника зарывать, без отпеванья. Вот она, тайга. Вот оно где, горе-то.

И вечер прошел, и ночь. Гробик в чистой комнате поставили: по углам зеленые пихты укрепили, на пол набросали хвой.

В ночь весенним туманом обволокло тайгу, и утро было в тумане.

Спиридон могилу на угорине под вековечным кедром рыл.

Слышит сквозь туман переливчатый гортанный крик, словно песня:

— А-гы-ый-ле! А-го-о-ой!

Прислушался, бросил лопату да бегом к хозяину.

— Орда идет!

— Ну! Неужто тунгусы? Ах, черт те дери. Вот беда, — засуетился Петр Абрамыч, и его румяное лицо побагровело.

— Малютка-то! Гробик-то!.. Ах ты, боже мой.

— Эй! Живой ли? Петрушке-ей! — звенели, приближаясь, голоса.

— Живой, живой! Иди! — закричал торговый, приставил ко рту сложенные щитком руки. — Ах ты... Как же быть? — обратился он к приказчику. — Прикрой плотней дверь-то в комнату... В кухне почаюем. А то увидят гроб, сбегут.

— Все ли хорош? Здоров ли? — показались Ивашка с Чумго.

— Все благополучно, заходите, — улыбаясь, пошел им навстречу. — А у вас как?

— Плохо, — сказал печально Ивашка. — Вот батько сдох маленько... совсем кончал. У Чумго брат сдох да матка. Плохо.

— А-я-яй, а-я-яй, — притворно крутил рыжей бородой Петр Абрамыч, шагая с тунгусами к дому.

На столе кипел самовар. Домна Степановна плавала вперевалку по кухне с тарелками, бутылками, а у печки копошилась с заплаканными глазами Дарья.

— Якши, — сказал Ивашка, нюхнув вкусный воздух, и закрестился на бутылку.

— Ну, с праздничком, — сказал торжественно хозяин. — Пасха ведь, праздник. На-ка, выкушайте водочки. Христос воскрес!

Распоясались, вспотели. Вино крепкое. Пили молча. В головы хмельной угар вползал.

Вдруг Чумго подмигнул Ивашке и заголосил: — Куре-куку-у!

— Пьятух! — прыснул смехом Ивашка. — Кажи пожалуйста, давай сюда птиса! Купить будем. — Он вытащил из-за пазухи большой кожаный кисет и звякнул. — Во!

У торгового глаза зашмыгали, как мыши в клетке. Он подбоченился, перекинул ногу на ногу и, глядя в сторону, забарабанил по столу.

— Что ж... можно. Эй, Дарья, поймай-ка скорей петуха! Можно и продать. У нас заветного ничего нет, — равнодушно тянул он, но голос его вилял.

Тунгусы нетерпеливо задвигались, закашляли, поглядывая вслед скрывшейся кухарке.

Вот раздалось тревожное клохтанье, отворилась дверь: крупный, красивый петух, спрыгнув с руки Дарьи, гордо огляделся и пустил горлом хрипунок.

— Йе! — восторженно закачали головами тунгусы и захохотали, когда петух вдруг клюнул проползавшего таракана.

— Эй, Петрушка! Вели: пущай гаркат. Ку-ре-ку!

Петух захлопал крыльями, привстал на цыпочки и так громко скукарекал, что тунгусы разинув рот схватились друг за друга.

— От так рявкат. Ровно медведь, — испуганно шептали они.

— Вы чего ж, чудаки, боитесь? На, гляди. Он смирный, — поднес Петр Абрамыч петуха.

Петух вдруг клюнул желтую бусину на груди Ивашки.

— Заест!! — блажью заорал Ивашка и стукнулся затылком в стену.

Купец захохотал:

— Что ты, бог тебя люби!

— Вели: пущай опять гаркат! — храбро крикнул Чумго.

— Ха, вели. Ведь он не человек. А вот он ночью запоет так запоет... Как полночь, так и хватит.

— Неужто правда? Ах ты... — причмокнул Ивашка.

— О-о, да еще как! Всем чертям погибель от него, — хвастал торговый. — Ну, сколько дашь?

— Много дам... Тайга больно надо такая птиса... Борони бог. Больно шайтаны долят, оленей пугают, хворь пущают. У-у-у... — Ивашка даже закатил глаза. — Сколько хошь бери — птиса давай. Шайтан гонять будет.

— Ну дак чего. Клади десятку серебром да парочку собольков, што ли, — загнул купец и с опаской посмотрел на дверь к покойнику.

Тунгусы шепотом совещались.

А петух, взлетев на скамейку, всхлопал крыльями, заголосил, — и это решило все.

— Давай, друг! Пожалуйста, давай!

— Так и быть. Берите. Царский петух... Прямо царский. Только уж для вас. От самого царя.

— О-о? Неужто?! Давай скорей! — еле дыша звякнул Ивашка денежной мошной.

В эту минуту из комнаты, где гроб, распахнув дверь, выбежала босоногая Акулька, Спиридона-приказчика дочь.

— Закрой дверь! — бросил торговый.

Но Ивашка успел увидеть стоящий гроб. Дико, как под ножом, он вскрикнул:

— Плут!! Обманщик! Хворь у него! Чумго, убегай! — вскочил на стол, выбил ногами раму и выпрыгнул за окно. За ним — ополоумевший Чумго.

Дробно стуча сапогами по лестнице, торговый кинулся им вслед.

— Дружки! Стой! Ведь маленький, маленький! От животика! Не бойся!

Сверкая пятками, тунгусы мчались во весь дух, с треском, с хрустом, с диким воплем.

Запыхавшийся Петр Абрамыч ввалился в дом, как грозовая туча.

— Дьяволы! Погубили! — заорал он и грохнул по столу. — Ведь теперь они по всей тайге разблаговестят! Ни один черт носа не покажет! — Он схватил забытую Ивашкой рваную шапчонку и с размаху хлестнул ею приказчика. — У-у, дьявол! — и с яростью бросил ее в лохань.

У приказчика хлынули слезы, он закрыл ладонями лицо, повалился на стол, всхлипнул:

— Петр Абрамыч, побойся бога... Пасха... Горе у меня... Младенчик.

— Пасха? Горе? А у меня радость? Плясать, может, велишь, а?! — Он сорвал с гвоздя ружье, прицелился в стоявшего на одной ноге петуха и, выстрелив, снес ему голову. Обезглавленная царская птица долго летала по избе, обливая пол кровью.

ЧЕРНЫЙ ЧАС

I

— О-го-гой! — закричал тунгус Пиля.

И тайга отозвалась: «О-гой...»

Осмотрелся кругом: лес, снег, клок седого неба. Вынул изо рта неугасимую:

— Агык.

Резко, четко, словно шайтан к ушам: «Агык».

Пиля любил покричать в тайге: один, скучно. Крикнешь — ответит, ну, значит, двое, не один.

Пиля — большой ребенок. Сколько же Пиле лет?

— Тридцать пиять.

Пиле в прошлом году на ярмарке в Ербохомохле сорок было, ведь сам же говорил всем:

— Сорок... Мой старик есть, совсем маленько старый... Дай, друг, винца.

Да и сам батька, поп Аркашка кривой, священник, в книгу заглянул одним глазом и сказал:

— Тебе, чадо, сорок стукнуло.

А вот теперь Пиле только тридцать пять. А весна придет — может, двадцать будет, почем знать... Может, пятнадцать...

Озирается Пиля, нюхтит, как собака по следу соболя, пытает снег, пытает небо, пытает морозный воздух, ищет глазами и душою хоть малый зрак весны.

«Нет, зимно... Синильга — снег кругом, льды кругом, мороз».

Костер урчит, лопочет. Желтое, красное с синим переливом пламя взвивается вверх, когда Пиля сует в костер целую лесину. Холодно. И нет солнца. Куда оно делось, куда ушло? Заблудилось, что ли, или болезнь забрала его? Вдруг помрет, подохнет солнце? Ой, как худо тогда! Тогда и весна не придет. И Пиля останется один, совсем один, как в небе месяц.

Суетливая Камса прыгнула ему на грудь и дружески лизнула в толстые губы. Сплюнув, Пиля ткнул собаку под живот, а сам повалился в снег, стал кататься и корчиться, словно в тяжком припадке, стал кричать придавленным голосом, как у попавшейся в капкан лисы:

— Скушно мне как, скушно. Эй, баба, девка, иди!

Собаки гурьбой к нему, не знают, чем помочь: беда пришла или так сдурел хозяин, может — игру завел.

Собаки выть начали. Вот олени примчались — скоком, скоком — стоп — окружили хозяина кольцом, закинули густодревые рога назад, из ноздрей белый пар.

А Пиля все кричит:

— Ой-ой! Какой я один... Собака я!..

II

Стойте, ветры, не метите снег. И ты, кривая сосна, не качайся!

Солнце, где же ты? Ну! Ну? Разве не чуешь, что Пиля собирается в дорогу?

Крутятся вихри, воют шайтаны в трущобах темных, ходит ветер по вершинам, шумит тайга.

Смерть.

Кому смерть, а Пиле любо: да если б кругом Пили выросли ледяные горы, если б вся снеговая туча опрокинулась на землю и бешеный ветер рвал бы с корнями лес, — для Пили одна забава — встал, пошел: «Эй... Эй!.. Сторонитесь, льды, прочь, крылатые, кос-

матые вихри, эй... эй — умри, издохни, ветер, — Пиля идет! А куда? Хе-хе... Куда собрался Пиля?»

«Самую красивую найду».

Скликал оленей:

— Орон! Орон!

Связал гуськом, в ольгоун, на переднего, учуга, седло набросил.

Стоят олени, дышат, будто говорят:

«Найдем, найдем, самую красивую найдем».

И собаки черные крутятся возле — черные, а поседели — снег, мороз. «Найдем, найдем», — взлаивают хором.

Пиля весь погружен в сборы, неугасимую свою трубку некогда раздуть: торчит в зубах мертвой загогулькой.

— Айда вперед... Ко! Ко!

Куда? Прямо. В то место, где весна живет. Прямо. Даже не оглянулся Пиля на брошенное стойбище. А что ему? Пиле везде приют, был бы огонь да лес.

Сидит Пиля на переднем олене — олень рогастый, крепкий, — голова у Пили огромная — вот так башка, этакой во всей тайге не встретишь. Недаром все над ним смеялись: «Как ты и родился такой!»

Башка у Пили волосатая, длинная грива сзади, в косы плести Пиля не умеет. А поверху волос — какой-то колпак из красной тряпки.

С утра до ночи, с утренней зари до поздних ярких звезд, каждый день все вперед, вперед правит путь свой Пиля. А чего ищет — не находит.

Как стрела из лука, летит его взор туда, сюда: выйдет в долину речки — во все концы смотрит; вознесут его олени на вершину сопки — край неба виден, а того, что надо, — нет...

— Мне надо бабу,— говорит он каждой сосне кудластой, каждому гнилому пню.

«Может, жену, может, мать с сестрой?» — спрашивает его ветер.

— Бабу! — упорно твердит Пиля и свистит злобно, звонко, словно иглой каленой колет насквозь тайгу.

Он очень хорошо знает, что ему надо. Не жену, не сестру, не мать.

Ему надо все.

По-тунгусски:

— Аши.

По-русски:

— Бабу.

И мать, и сестру, и жену — все вместе.

Разве была у Пили когда мать? Он от поганого гриба родился, его шайтан принес. Не было у Пили матери, а надо. До зарезу надо. Тоскливо одному. Все один да один. Скушно.

И сестры у Пили не было, а надо.

А вот и самое главное, что надо Пиле, всему голова, страшно и подумать: жену.

— Ох ты, жена... — сладко простонал Пиля, зажмурился, ухмыльнулся во весь рот.

И куда его несет олень — не знает; что кругом — не видит, все пестро, пестро, искры красные в глазах, огни по сторонам, словно бы кто тихим голосом поет женским, заунывно так, тонко выводит, ласково:

«Вот и я... Что ж ты... Слезай, бери!»

Встряхнул Пиля, открыл глаза — тьма кругом.

«Неужто ослеп я, неужто спал?»

Ночь. Звезды. Олени в куче, видно, давно остановились. Собаки спят. Удивился Пиля.

— Ночь, верно, ночь... хе.

Развел костер. Набросал по снегу хвой, раскинул на них шкуру, лег, а сам думает, греясь у огня:

«Надо богу помолиться, как поп-священник учил, Аркашка кривой, батюшка, отец».

Встал Пиля на колени, крестится, в небо смотрит, в Золотой прикол — звезду высокую, требует, кричит:

— Эй, Никола-батюшка! Слышишь, нет?! Давай мне скорей бабу, — пожалуйста, давай! Один я, сиротинка я... В каменный чум к тебе приду, в гости. Ты там за стеклом сидишь, знаю... В шапке... Ежели дашь, эй, Никола, и я тебе дам... я тебе палку поставлю, как ее... Мягкую... с ниткой, как ее... Слышишь? А не дашь скорей бабу, так и наплевать... И сам найду. Прощай, Никола-батюшка, русский богматушка.

Пиля так усердно, так часто в землю бухал, что вспотел. Мороз с дымом, с белой пылью, а Пиле жарко — стал снег глотать. Потом вытянул ноги и завяз в мертвецком, темном сне.

III

Так только в сказке бывает, в страшной и сладкой сказке.

— Вот олени, вот и собаки. Гляди, гляди: человек спит. — Девушка встала над Пилей, звонко смеется, в ладоши бьет: — Гляди, гляди!.. Страшный какой, губастый.

А Пиля дрыгает то правой, то левой ногой, губами чмокает, облизывается, должно быть, сладкую ежу ест, должно быть, сладкое вино пьет, видишь: в пляс пошел.

— Ха-ха-ха-ха...

Встряхнул Пиля, продрал сначала правый, потом левый глаз. Сердце упало, ударило, кровью захлебнулось.

«Баба, женщина».

Узкие щелки раскосых глаз шире, шире. Открыл рот, в улыбку сложились губы, и ноздри стали раздуваться, как у хорька, почуявшего пахучий след белой куропатки.

«Баба».

Неужели сон? Нет, смеется. Живая, румяная, и серьги в ушах, на руках браслеты. Веселая.

— Здравствуй, — сказал Пиля и приподнялся.

— Здравствуй, — ответила живая, веселая.

Пиля изо всех сил обеими руками свою голову скребет, вынул трубку, достал уголек из полусонного костра.

— Ты кто такая? Девка? Баба?

— Девка.

— Откуда?

— Я? Смотри! — Она быстрой рукой ткнула вправо — звякнули в ушах висюльки. — Вот!

Дымок вблизи клубится. Чум стоит.

— Когда пришла?

— В ночь.

— Куда идешь?

— Не знаю... А ты куда?

Пиля подумал и сказал, усердно царапая руками спину:

— Я? Маленько знаю, маленько нет.

— Ищешь, что ли, кого? Может, оленей ищешь? — спросила она.

— Ищу, — сказал Пиля. — Тебя ищу, — и прищурил глаза.

— Меня-а-а? — насмешливо протянула веселая и так круто повернулась, что подол белой ее парки хлестнул Пилю по приплюснутому носу.

Пиля дружелюбно крякнул и чихнул. Потом лениво потянулся за жердиной, чтоб огреть сучонку, хамкавшую над самым его ухом. Глядь, а веселой-то и нет...

Пиля протер глаза: что за чудо, — нет. И чум пропал. И дым исчез. Эге-ге! На голове его зашевелились волосы, и безусый рот широко открылся.

Было серо кругом. Издыхал, валился наземь день. Надо бы есть, и собаки пищи просят. Нет, дальше от этого лихого места, дальше!

С трубкою в зубах, ошалело шагает Пиля лесом, оленей в поводу за собой ведет, острой пальмой железной просекает сквозь чащу торопливый путь.

Тьма все гуще. Все ослепло кругом, и в черной ночи, в черном морозе пересвистнулись шайтаны из края в край, и чьи-то голоса, то хохот, то рев, то песня. А сзади гонится проклятый черный дух, чу, чу, шуршит хвоей, — того гляди за шиворот сгребет. Ай!..

Как бросит тунгус оленей да ходом, ходом, сквозь тьму, сквозь страх.

Вдруг светом опахнуло.

— Стой! Куда! Эй, бойе! [1]

Пиля враз остановился. Большой костер. Чум, старик и та... вот та... веселая...

---

[1] **Бойе** — друг, товарищ.

— Что же ты, бойе, назад вернулся? — спросила она лукаво и стала выколачивать из сохатиной кости мозг.

— Как назад? — грубо проговорил Пиля. — Я вперед... Вперед да вперед.

Та раскатилась громким смехом и погрозила костью.

— Я стояла возле тебя, говорила с тобой. А ты сидел, сидел да повалился, как старый сохатый, и захрапел. Очень ты здоров спать, бойе.

— Врешь, — возразил Пиля и для угощенья подал старику свою дымящуюся трубку. — Я не спал.

— Не спал? Ха-ха...

— Что смеешься? Я был пьяный. Может, и заснул.

— Пьяный?.. — воззрился на него старик, и его сморщенное лицо сразу покрылось маслом. — Где же ты взял вина? До села надо два месяца идти.

— Где взял? — задумчиво переспросил Пиля. — Уж взял. Я знаю, где взял. Взял да и взял.

— Ну, поднеси мне, — сказал старик и сплюнул.— Где же вино?

— А вот! — нерешительно ответил Пиля и стал копаться в кожаной суме.

Он так долго там шарил, кряхтел, сюсюкал, что старик нетерпеливо крикнул:

— Ну, скоро? Давай! Чего моришь?

Пиля посмотрел сначала в прищуренные глаза старика, потом на девушку и сказал:

— Вспомнил. Это я во сне пил. Русский угощал меня... Михалка, во сне.

Тогда оба враз — старик и девушка — захохотали.

— Веселый ты, — сказал старик, трясясь от смеха и кашляя.

— Мало-мало веселый, — подтвердил Пиля и тоже улыбнулся.

— Веселый, верно, — сказала девушка и облизнула свои покрытые жиром пальцы. — Веселый, только дурной.

— Росомаха дурная. Я не дурной, — обиженно ответил Пиля; он жадно посмотрел на розовый горячий

мозг, который отправила в рот девушка, на ее сладкие алые губы. И ему вдруг неудержимо захотелось есть и целоваться. Он жарко задышал и сел к костру.

— Как же не дурной, ежели колесо такое сделал: от нас ушел, да к нам и вернулся. Ведь твой костер вон там горел.

— Врешь, — сказал он.

— Вру?

— Врешь. Дай-ка мне есть. Я голодный.

Она вскочила и дернула его за отсыревший рукав парки.

— Пойдем... Тогда будешь знать, кто врет. Пойдем.

— Ну, пойдем, — недовольно сказал Пиля и поднялся. — Мне все равно. Пойдем. Куда это?

Девушка пустилась рысью. Серьги ее звенели, он еле поспевал за ней.

— Стой! — крикнула она. — Видишь?

Они стояли у потухшего костра, на том лешевом месте, где провел он прошлую ночь. Пиля обомлел. Ледяным холодом сковалось сердце. Но вот глаза его засверкали, он исступленно завизжал:

— Ты не баба! Ты шайтан! Ты мертвая!!

Та в испуге прочь. И вдруг захрипела: тунгус схватил ее за горло и бросил в снег.

— А, шайтан! — шипел он. — Вот узнаю... кто ты есть... Ага!

Оба, урча, барахтались в снегу. Она со всех сил теребила его волосы, грызла губы, билась. Он рвал на ней парку, рубаху и хрипел, словно бешеный волк, которому скрутили морду.

— Геть!! — раздался внезапный окрик старика, и по большой голове Пили стукнула, как по пустому котлу, жердина.

Пиля вскочил и отряхнулся. Поднялась и девушка: она закрыла лицо руками — яркий месяц в глаза светил — и отвернулась.

— Ну?! — сердито проговорил старик и подбоченился.

Пиля пощупал затылок — вспухла шишка — и сказал тонким, виноватым, заискивающим голосом:

— Ты меня огрел ладно.

— Да-да... Хорошо огрел, — хрипло дыша, согласился старик.

— Ничего. В самый раз. Больно ладно, — отчетливо сказал Пиля. Он поймал ухом таящийся смех девушки и моргнул в ее сторону. — Я думал, она шайтан. Нет, баба, самая настоящая, самая живая, сладкая. Вот возьму ее к себе. Она дочь твоя?

— Дочь. Сирота.

— Эй, как тебя зовут?

— Гойля, — тихим голосом отозвалась тунгуска.

— Ладно. Гойля так Гойля. Ну, разовьючь моих оленей. Поставь чум, свари сохатины. Да вот рукавицы порвались, зашей.

— Сделаю, бойе, сделаю, — покорно сказала девушка и побежала.

— Пойдем ко мне, толковать надо, — проговорил старик. — Кто ты есть? Впервые вижу.

— Я есть Пиля Иваныч Дункича,— по-русски сказал тунгус.

Голос зазвучал внушительно и важно. Пиля даже удивился. Никогда не говорил он так.

Оба пошли к костру. Старик шел вперевалку, раскорячив кривые ноги и подпираясь жердью. Пиля заботливо ощупывал свой вспухший затылок.

IV

Еще до весны далече, а Пиля уже сидит с своей женой в собственном чуме.

Старик на другой же день ушел. Это ничего, что он взял за дочь такой большой калым: двадцать оленей взял, полтысячи белок, пару соболей да мертвые часы с цепочкой. Как покупал их Пиля у купца — живые были, стрелка вертелась колесом, а как уплыл купец — поколели часы, сдохли. Пиля и камнем по ним брякал, и об стену с маху бил:

— Нет, не стукат, помирал совсем.

Ничего не жаль — ни оленей, ни соболей, ни белок, а вот часы хоть и мертвые, а жаль. Но Гойля так ласково улыбается глазами, так умильно что-то говорит с костром. Да пропади они пропадом, часы.

— Гойля!

Старик всех оленей Пилиных угнал. Только двух оставил: дочери да Пиле.

Пускай шагает по сугробам старый, пускай. А им и тут ладно, у костра. Разве плохо пахнут свежие хвои, что густо разбросал Пиля в своем чуме, разве не мягки, не пушисты шкуры, что сидит на них Гойля? Разве не морозна ночь, а в чуме так тепло, угревно и такой вкусный пар клубится от котла.

— Гойля! Эй!..

Молчит Гойля. Вот вздохнула. О чем вздохнула? Движения ее быстры, руки проворны, ловки, блестит серебряный браслет.

— Волосы у тебя, как крылья ворона в снегу, о Гойля. Щеки твои горят, ровно огонь. Губы твои сладки и алы, как малина. Грудь твоя все равно как... — Пиля замялся, голос его дрожал, слова терялись, убегали прочь. — Все равно как... ну, это... Ах, Гойля!

— Как мы будем жить, — прозвучал ее голос. — Ты бедный. Оленей у тебя нет.

— У меня есть башка, у меня есть ружье. Не бойся. Будем жить.

— Я люблю оленье молоко. Где у нас оленюхи?

Пиля быстро сказал:

— Я пойду к шаману. У него волшебный бубен.

Гойля насмешливо прищурила глаза.

— Ой, какой могучий шаман. Вот он переделает двух твоих старых самцов в молодых оленюх...— губы ее криво улыбнулись, и дрогнула крутая бровь.

— Да,— ответил Пиля, и кончики ушей его вспыхнули жаром, а Гойля захохотала и захлопала в ладоши.

— Отчего у тебя большая голова? — лукаво спросила Гойля.

— Когда будешь меня целовать, голова станет маленькой.

— Вот как! Отчего?

— Оттого, что ты станешь целовать... Оттого, что...

— А ты умеешь целоваться?

— Я? — Пиля вынул изо рта трубку, отер толстые губы рукавом и тихо сказал: — Нет.

— Ха-ха-ха... Зачем же тогда взял себе Гойлю?

Пиля снял свой красный колпак и с ожесточением долго скреб голову, потом сказал, чуть раздражаясь:

— Когда купил ружье, белку стрелял мимо, теперь бью в глаз.

Гойля жадно затягивалась трубкой и выпускала из ноздрей густые клубы дыма. Она искоса посматривала на Пилю дразнящим взглядом. Их разделял костер.

— Ты разорвал мне рубаху. Иди на ярмарку, купи кумачу.

— Ладно, куплю две рубахи, три рубахи, — сказал Пиля, и его кинуло в жар: Гойля быстро обнажилась до пояса, и проворная игла с оленьей жилой замелькала в ее руках.

Тунгус весь сладко обомлел.

— О Гойля! — бросив трубку, простонал он. — Я никогда не видел тебя... Ни одну женщину не видел так, безо всего... Гойля...

Он задыхался и пьяно полз на четвереньках к ней. Та чуть пнула его ногой, обутой в бисерный сапог, и проворно поднялась, огненная, гибкая.

— Лови! — с задорным, обжигающим смехом скакнула она по ту сторону костра.

— Ловлю! — Ноздри его раздувались.

— Ай! — крикнула женщина, когда Пиля, опрокинув чайник, облапил ее.— Постой! — и оттолкнула его с силой. Пиля набитым мешком шлепнулся в костер.

— Сгоришь, сгоришь! — захохотала Гойля серебристо звонко, словно бегучая вода в горах. — Давай ужинать, бойе.

— Давай, — отряхиваясь и тоже громыхая счастливым смехом, отвечал по-русски Пиля. — Моя шибко проголодался маленько совсем.

Первый ужин прошел в большом согласье. Гойля шутливо щелкнула Пилю ложкой в лоб. Пиля загоготал от удовольствия и громко рыгнул, что означало: спасибо, сыт. Та рыгнула громче. Но Пиля, оборони бог, не дурак: разве можно поддаться бабе. Он вобрал живот, приподнял плечи, выпучил глаза и рыгнул оглушительно и страшно: спавшая у входа сучка выбежала опрометью вон. Польщенный Пиля, — хозяин так хозяин, — гордо взглянул на жену, облизал жир с грязнейших пальцев, досуха вытер их об волосы и начал говорить, торопясь и запинаясь.

Он говорил о весне, о том, как бил медведя, как обвалился снег с горы, как ходили по небу огнистые сполохи. Он теперь весь в любви, весь в радости: одиночество кончилось, скука сгибла. Вот перед ним сидит Гойля, у нее черные косы, алые губы, и годы ее — годы молодого цветка. Он над ней, как солнце над землей: должна его любить, должна покоряться. Пусть она слушает двумя ушами, пусть поймет утробой. Он все сказал.

Весь потный от длинной речи, он в упор уставился на Гойлю, ждал.

А та, далекая, далекая Гойля, — ее нет здесь, — протянула ему берестяную чашку с чаем и сказала:

— Я люблю сахар... Я люблю вино. О, веселая, веселая вода!

Кто-то вздохнул в Пиле, но кто-то и заулыбался.

Сахар что. Сахару у них будет много. Будет и вино. Он Гойлю возьмет в село, а в селе коленкор да сахар, а в селе вино, такое вино — хватишь, словно уголь проглотил — огонь огнем, — и сразу станешь богатый, сразу станешь, ой какой сильный и счастливый. А потом маленький Пиля у них заведется, этакенький, этакенький. А потом малюсенькая Гойля заведется... у-у... потом, потом...

...Когда в открытую верхушку чума сребролобый месяц уставил свой хитрущий глаз, тунгусы, досыта наговорившись, погружались в сон. Не так-то сразу заснул Пиля. Не так-то сразу и любопытствующий месяц откатился прочь — наступающее утро не спеша толкало месяц книзу.

Пиля, засыпая, слышал медовый шепот молодой своей жены:

— Вот завтра посмотрю, бойе, станет ли меньше твоя башка. Эх, дурной, дурной...

V

Как заснул Пиля улыбаясь, так с улыбкой и проснулся. Но когда открыл глаза, лицо его вытянулось и нижняя челюсть сама собой отскочила: перед ним, грузно опираясь на палку и посмеиваясь, стоял жирный-прежирный старик — якут Талимон.

— Ладно спишь, — сказал якут и захихикал,— так спит медведь в берлоге.

Пиля вспомнил, что должен якуту много денег, — чем он заплатит ему? А старик крутой, беда.

— Ты, вижу, женился? — строго спросил якут, опускаясь у потухшего костра.

— Нет,— ответил Пиля.— Я бедняжка... Где мне...

— Нет? Хорошо сказал, очень хорошо сказал. А почему же с женщиной в одном мешке спишь?

Пиля робко пощупал меховой мешок, в котором лежал, и, толкнув в бок пробудившуюся Гойлю, виновато проговорил:

— Женился... Забыл совсем... Маленько женился... Верно!

— Давно?

— Да-авно.

— Когда же?

— Вчера маленько.

Быстрым оленем выскочила из мехового мешка Гойля, приподнялась на цыпочки и крепко, по-молодому, потянулась, потом пошла за снегом, чтоб согреть чай. Круглая, как у огромного филина, голова старика повернулась вслед Гойле, и черные живые глаза его заблестели похотью. Он причмокнул, прищелкнул языком и спросил вылезавшего из мешка Пилю:

— Где достал, сколько калыму давал? Баба хороша, карауль бабу.

— Баба ничего. Ладная баба, — ответил Пиля и, встряхнув мешок, в раздумье остановился, с опаской посматривая на якута.

— Год нынче худой, белка худая, улов худой, — наконец начал Пиля пискливым, жалостным голосом. — А я тебе, бойе, должен, ой, как много... Как и быть, бойе, как и быть?.. Я бедняжка есть...

— Баба моя старуха, худая, живот отвис... — в тон ему так же пискливо ответил Талимон, и смешливые морщины пошли от глаз по всему лицу.

Весело, шумно вошла Гойля. За нею три собаки.

— Геть, геть! — кричала она на них. — Пиля! Что ж ты стоишь, как горелый пень? Почему погас костер? Почему гость сидит в холоде? Ну, ну!

В чуме мороз, но вот заклубилось трескучее пламя, мороз ходу, ходу, и вскоре такое тепло сделалось, что Талимон снял свою лисью шубу. Красная суконная рубаха, через всю грудь две серебряные цепи: одна с большим крестом, как у попа, другая с часами; вокруг тугого живота серебряный с насечками пояс, руки в золотых перстнях и кольцах.

Бросив острый взгляд на якута, Гойля услужливо засуетилась: гость богатый, может, даст денег, может, подарит кольцо. Гойля быстро заплела черные густые косы, быстро надела шитый бисером нагрудник — халми: гость знатный, пусть смотрит, пусть любуется.

А Пиля сидел повесив нос, шлепая толстыми губами, и боялся взглянуть в глаза богатому купцу.

— Баба моя совсем износилась, — посматривая на круглые бедра Гойли, говорил гость, — а я хоть стар, но еще крепок, как три сохатых. И золота у меня много. В тайге закопано и там, и там.

— Куда идешь, бойе? — спросила Гойля.

— На ярмарку. Мой караван оленей — сто голов. Остановился недалече. Гляжу — чум, слышу — собаки лают. Ага, думаю, стойбище. Вот пришел.

— Угощенья у нас нету... Я бедняжка есть... — засюсюкал Пиля.

— А вот, — сказал якут и развязал огромную суму.

— О-о! — враз вскочили тунгусы. — Огненная вода! Вино!

— А вот, — проговорил якут, выкладывая большой кусок сахару, копченые оленьи языки, связку баранок.

— О! Само слядка! — вскричала по-русски Гойля.

— Сахар, — гортанно сказал старик, — он сладок, как женщина с розовыми щеками... Нет, женщина в сто раз слаще. Когда она целует — о-о, — тогда... — защурился старик и поцеловал воздух.

— Зачем так говоришь? — прервала женщина, раскусывая сахар белыми зубами и раскладывая всем по кусочку. — Ты старый, у тебя жена, дети, внуки.

Якут захихикал, подбоченился и сказал веско:

— Молодое дерево гнется, старое — твердо, как железный кол.

Но вот вскипело все, сварилось, и чарка с водкой пошла по рукам. Все веселей и веселей становился Пиля, все громче, задорней хохотала его жена. Толстощекое лицо якута стало красным, лоснящимся. Он хохотал вместе с Гойлей, незаметно подмигивая на тунгуса, заводил песню, бросал и все чаще поддавал вином пару.

— Пиля! —крикнул он сквозь смех. — Гляжу на тебя и дивлюсь. Много людей пересмотрели мои глаза, такого впервые видят... Да ты бы взглянул хоть раз на себя в воду, что за образина... Тьфу! Ты не сердишься? Я тебе большой друг, и ты мне друг... Ну зачем тебе жена, ну зачем, скажи?..

Пиля враз перестал смеяться.

— Хорек и тот знает, пошто сделана жена, — оттопырив губы, процедил он.

— Ха-ха! Хорек... — воскликнул якут. — Из хорька чиновник шубу шьет, а твоя шкура шаману на бубен разве.

Пиля отвернулся, прикрыл лицо руками, засопел.

— Обидно, обидно это... Старый барсук ты, вот ты кто.

— Ха-ха-ха... Я барсук? — по-злому захохотал якут. — А долг? Нешто забыл, сколько должен? Подай сюда. А нет — в тюрьму.

Гойля испугалась, дрожащей рукой сует в самые губы Талимону вина:

— На, выпей, бойе, выпей.

И сама пьет, проглотит водку, встряхнет головой, сережки звякнут.

— Ты не сердись, друг, я бедняжка есть, — умиротворенно сюсюкает Пиля.

— И ты не сердись. Я тебя люблю, я тебе весь долг прощу, — отдай мне Гойлю.

— Как можно? Что ты! Ты сдурел! — хрипло сказал Пиля.

— Отдай. Я твой друг. Я буду тебя любить. Ты двадцать оленей давал за нее калыму, я тебе дам сорок. Дам сто.

— Торгуй у шайтана дочь. Разве мало тебе баб? Ищи.

— Я нашел.

— Как бы мой нож не нашел твое сердце, —возвысил голос Пиля, и глаза его перекосились.

Отточенный нож валялся у костра, манил. Рука Пили заиграла. Стало тихо, как в тайге перед бурей.

— Ну, спасибо, друг. Так-то ты уважаешь меня, — оскорбленным голосом сказал якут, вздохнув.— Разве я навовсе прошу Гойлю? Я же не навовсе. Эх, ты!

— Не навовсе? — спросил Пиля. — А надолго ли? — голос его вилял.

— На месяц!

— На месяц? Нет, на месяц нельзя.

И Гойля подхватила:

— Как можно!.. Нельзя... нельзя... На-ка, бойе, выпей. На еще.

А Талимон подкатился к самому Пиле большой копной, сел на корточки, руки положил ему на плечи.

— Мой батька уважал твоего батьку, моя бабушка уважала твою бабушку. Пошто меня уважать не хочешь? Эй, Пиля! Самый лучший друг. Ну, а на неделю можно?

— Нет.

— Ну, а на день?

— Нет, — упорно, резко рубил Пиля.

— Ну, на час...

— На час? — переспросил Пиля и, упираясь пятками, немного отполз от якута.

Вновь все смолкло, замерло. Словно застыло все. Даже сохатиный жир на сковородке перестал трещать и языки пламени к земле приникли.

— На час ежели — можно, — просто, от всего сердца сказал Пиля. — Корыстно ли?.. На час можно. Чего тут...

Как затрещит на сковородке жир, как взметнется пламя, и гиканье, и песня. И сам Пиля пляшет, и Гойля пляшет, и старый Талимон трясет толстым животом. И смех, и слезы, и собачий вой. Вина! Дайте Пиле огненной воды! Еще, еще. Э-эх!

Чум пляшет, земля трясется, белый снег под ногами вьюгой вьет.

Вей-вей-завивай!.. Пуще, пуще... Э-эх!

Упал Пиля и хохочет. Хохочет, хохочет. Схватил Пиля за шиворот собаку, целовать стал. Подполз к деревянной ступе, целовать стал. Плачет и целует, плачет и целует, хохотать стал: он самый сильный, самый богатый. Его жена самая красивая. Две рубахи... Три рубахи... Ха-ха-ха-ха! На час, корыстно ли... Где Гойля?.. Где Талимон?.. Стойте ужо... Амиткалле!.. Амиткалле!.. А, шайтан, попался!..

— Агык!!

И словно сохатый в яму — ух! По чуму пьяный Пилин храп пошел.

VI

Вот и весна явилась. Журчат ручьи. Под солнцем журавли плывут. Проснулась тайга, стряхнула зимний белый сон, позеленела.

Пиля один. Не встретил весну. Ушла весна и не простилась.

— Мошенник!.. — не сходит с языка у Пили слово. — На час брал, совсем тащил.

Дни идут за днями. Трава. Цветы. Белки хоркают, птицы свирельные песни завели. Солнце жаркое, солнце светлое.

А Пиля один.

Прошло лето, не сказалось.

А там и осень. А там зима. Хлопнул мороз, сковал мороз воды бегучие. Снегом накрылись все пути. И угрюмый медведь давно в берлоге лапу сосет.

— Мошенник! — хрипло говорит Пиля. — Надо правды искать, надо бумагу писать. Дурак... Ах, какой дурак есть...

И прямым ходом, через тайгу, в село. Месяц два раза подыхал, два раза вновь родился, путина до села большая.

А вот и поповский дом.

— Здравствуй, кривой Аркашка, батюшка-священник... Пиши скорей бумага, пожалуйста, пиши... Мой баба таскал старик. На час брал, совсем тащил...

Батюшка только улыбнулся да этак пальцем возле лба.

— А тут, чадо, у тебя все дома?

С еще большим горем пошел Пиля в тайгу своего родового шуленгу искать. Поклонился ему в ноги, заплакал:

— Держи бабу... Пожалуйста, скорей держи... Лови якута. Совсем один я... Скушно...

Когда узнал шуленга, давно ли было дело, безнадежно свистнул и рукой махнул.

VII

И год, и другой прошел. Голова у Пили стала тоньше, седина гуще, ноги покривились — всю тайгу истоптал тунгус.

Однажды, когда стояла луна, он выл, как собака, и плакал:

— Гойля... Прощай, прощай...

Проплывал на лодке пьяница, купеческий приказчик, у русского купца выручку стянул — да лататы. Нашил приказчик светлые пуговки к пальто, а на шляпу чиновничью кокарду. Стал начальником.

И вдруг Пиля случайно повстречал его, повалился в ноги, бьет себя в грудь, скулит:

— Начальник! Большой начальник, правильный... Мой баба, Гойля, старик таскал. Мало-мало на час брал, совсем тащил.

И вздумал правильный начальник над тунгусом шутку подшутить.

— Знаю, — сказал начальник и охально заржал,— она тово, по рукам пошла твоя Гойля. Не дожидай, не придет, — врал начальник.

— Не придет? Ладно.

Понесли ноги Пилю неизвестно куда. Потом опамятовался, вернулся, оленя за собой ведет.

Начальник на берегу костер развел, бутылочкой блестит.

— Вот у меня один олень. Больше ничего у меня нету. На! Спасибо. Правильно толковал мне все. На! А мой кончал. Совсем кончал. Будет.

И, хватаясь за стволы деревьев, пошел в глубь тайги, лохматый, страшный, потерянный.

«Бойе, бойе», — звенел вдогонку чей-то милый голос, как голос Гойли.

Отмахивался, скрипел зубами, уходил все дальше, дальше, за вековечный темный край.

Стойте, ветры, не крушите лес, и ты, кривая сосна, не качайся.

Зоркий ворон покружил над сосной, сел на вершину кедра, смотрит. Человек. Аркан. Человек висит на аркане смирно, руки вниз, глаза закрыты.

Каркнул ворон, взмыл черным кругом и — прямо к человеку.

Посвящается
Капитолине Васильевне
Вяткиной

ЖУРАВЛИ

I

Ах, и ночи бывают ранней осенью — задумчивые, мудро-грустные. Крепко спят живыми снами осиротевшие леса, нивы, луга, воздух. Но земля еще не остыла, в небе стоят звезды, и через широкую реку протянулся зыбкий лунный мост. На средине реки большая отмель, и через голубоватый полумрак слышны долетающие оттуда странные крики журавлей. Осенние птицы крепки, сыты, веселы и перед отлетом в теплый край затеяли игру.

— Танюха, чу!.. Пляшут... — сказал Андрей.

— И то пляшут, — ответила девушка. — Давай в лодку, поплывем.

— Не подпустят. Сторожкие они. Вот с ружья бы.

Горит костер. Татьяна в горячую золу сует картошку.

Черная шаль накинута на ее льняные волосы, густая прядь их свисла через загорелый лоснящийся лоб к голубым глазам.

— Я видал, как они пляшут, — говорит Андрей, вырезывая на ольховой палке завитушку. — В прошлом годе с дедом лучили рыбу. Ну и тово... Еще русалку видели. На камне косы плела... Голенькая... А красивая, вроде тебя. Я тебя, Танюха, разок видал, как ты купалася.

— Ври, — полные губы девушки раздвинулись в улыбку.

— Видал, видал... Все на свете высмотрел. Рубашонку хотел украсть.

— Бесстыжий.

Андрюха потянулся за угольком, трубку прикурить, но вдруг опрокинул девушку и с жаром стал целовать ее. Девушка вырывалась, вертела головой, не давала губы и, придушенно хихикая, шептала:

— Услышит... Брось... Не балуйся...

По ту сторону костра зашевелилась нагольная шуба, и вырвался тяжкий вздох. Андрей отскочил прочь, Татьяна тоже поднялась. В ее глазах горела страсть, руки дрожали. Андрей, пошатываясь, громко сопел.

— Чу, пляшут... — сказал он. Черные цыганские глаза его не отрывались от алых раскрытых губ девушки.

Ночь, костер, луна и журавлиные крики за рекой опутали девушку и парня пьяным хмелем. Земля качалась под их ногами, как на реке ладья, и быстро побежавшая в жилах кровь неотразимо толкала их друг к другу.

— Пойдем к воде... под обрыв... Журавлей смотреть, — жег ее сердце Андрей.

— Не пойду. Ты целоваться полезешь,— улыбчиво шептала девушка, придвигаясь к парню.

— Истинный бог — нет. Пойдем.

— Врешь. Станешь.

Андрей, подмурлыкивая песню, зашагал к реке. Татьяна проводила его долгим цепким взглядом, постояла, окликнула:

— Настасья... спишь?

Нагольная шуба не шевелилась. Девушка тоже замурлыкала песню, щеки ее то вспыхивали зноем, то бледнели. Она вытащила из золы картошку, забрала ее в подол и, не оглядываясь, побежала свежей росистой тропкой.

Стало безголосо, тихо у костра. Беспризорный, брошенный огонь вдруг заленился, ослаб и задремал.

То здесь, то там позвякивали боталами стреноженные лошади. Сорвалась звезда, осияв на миг голубую ночь.

И сильной мускулистой рукой рванула с себя шубу вскочившая Настасья.

— Дьяволы!.. Карауль их... — бросила она гневным голосом, огляделась и, как молодая кобылица, крутобедро помчалась к обрыву, крича:

— Танюха!.. Танька!.. Бабушке скажу!..

II

Риги осенью топятся жарко: надо успеть к утру просушить снопы. А кто ей будет помогать? Кто привезет из лесу смолья, кто завтра подсобит молотить? Она одна. Второй год идет, как ее мужа убил под Ямбургом злодей Юденич-генерал. Кто поможет молодой Настасье жить?

Поздняя, после третьих петухов, седая ночь. В риге жарко. Андрюха-парень, ее сосед, снял меховую безрукавку и ворошит в печи дрова. Пахнет дымком и дурманным потом ядреных ржаных снопов.

— Спасибо тебе, Андреюшка. Нет-нет да и подсобишь мне, сироте.

— Вот еще подброшу истоплево, да и будет... Спать пойду. Эти снопы снимешь, другие посади.

Настасья сидела возле печки на снопах грустно и не отвечала. Короткая ситцевая кофта колышется на ее высокой груди как живая, и крепкие щеки цветут.

— Только чур, уговор: Танюхе молчок, — говорит дрожащим голосом Андрей и щурит глаза на грудь Настасьи.

Настасья задышала пуще.

— Боишься? — насмешливо протянула она.

— Боюсь, — сказал Андрей и привычной рукой опрокинул Настасью на снопы.

...Было в риге очень жарко, душно. А на просторе стоял туман, и сквозь туман бельмасто намечался месяц в широком круге.

Когда Андрюха шел домой, покрытая инеем трава шуршала. Чрез гряды, от сладких кочерыжек, из тумана в туман стрельнул длинноухий заяц.

— Улю-лю, косой! — заорал Андрей.

Близился рассвет. Творя молитву и сугорбившись, шла за водой к колодцу Татьянина бабка. Кое-где желтели в избах утренние огоньки.

III

Михайлов день пришел с большим снегом. Село справляло съезжий престольный праздник восьмого ноября по старому календарю. Много пива, самогонки, всякой снеди, — песни, плясы, ругань, кулаки и колья.

Гуляла вся сельская знать, даже сам председатель исполкома прикатил из соседнего села. Священник отец Семен после обедни обходил с крестом все по порядку избы, к вечеру его водили под руки, самосильно уже стоять не мог, служил молебны на коленях, сидя и кой-как. К ночи водили под руки по почетным хозяевам и захмелевшего председателя исполкома. К утру и председателя и попа укладывали в крайнем, под железной крышей, доме на одну кровать.

— Как бы греха не вышло, — тыкаясь носом, бубнил хозяин. — С попом вместе вроде зазорно, до кого хошь доведись...

— Ни хрена, сойдет... — мямлили гости. — Он, кутья, советскую власть эвон как на словах-то превозносит.

Веселей всех у молодой вдовы Настасьи. Ей надо веселиться, надо парней да неженатиков прельщать: время уходит, бабье хозяйство — не хозяйство, и сердце бьется под холстом, как птица.

Встань, молодчик, прибодрись,
Ай-люли, прибодрись! —

гремели крепкие молодые груди. У кривого кота звенит в ушах. Вздрагивают золотые хвостики самодельных свечей.

Андрюха изогнулся, сложил калачом руки и красуется средь хоровода.

Кого любишь, выбирай,
Кого любишь, выбирай!

Низкий поклон, суконная железная рука вцепилась в мягкую, шелковую руку:

Да покрепче поцелуй,
Да покрепче поцелуй! —

и выхваченная из голосистого круга Татьяна жеманно подставляет Андрею сомкнутые губы.

— Довольно играть! — звонко, надрывно кричит вдова. — Э-эх! — Щеки ее вспыхивают, она хватается за черноволосую свою голову. — Э-эх!.. Девоньки, выпьем по стакашку... Молодчики!.. — Глаза ее ревниво взглянули на Андрея, и с злобным хохотом она ударила его по спине рукой. — Андрюша... Э-эх!.. А помнишь?

И заходил хмельной стакашек. Бледная, опечаленная, Таня подошла к окну. За окном кругил снег, и рявкала гармошка.

— Плясать! Девоньки... Гуляй, вдова! — разжигающе кричала Настасья, помахивая красным платком. — И коего черта замуж не берете?.. Э-эх!.. А уж поцелую... А уж прижму...

От гармошки, гиканья и плясов дрожала печь.

Татьяне как-то по-особому, впервые стало плохо. Она быстро вышла, по дороге ее мутило, она глотала пушистый снег. И вдруг мгновенный ужас всю сковал ее.

IV

Целую неделю Татьяна ходила как безумная. По глухим ночам она прислушивалась к себе и тихо плакала. Бабка Дарья как-то ночью окликнула ее:

— Ты что?

Татьяна молчала.

Наутро бабка Дарья долго и пристально щупала ее взглядом из-под хохлатых сердитых бровей.

— Лихо тебе? Ой, девка...

Старуха поплелась к Настасье.

— Слышь-ка, вдовуха, слышь-ка, — затрясла она головой в черном повойнике. — Так-то ты караулила внучку-то мою. А я-то, старая псовка, как с путной с тобой пускала в ночное девку-то. Слышь, говори, с кем она?

У Настасьи упал из рук косарь.

— А что? — И губы ее побелели.

— Что, что? Вот те и что!

— А черт ее укараулит! — вдруг закричала вдова в сморщенное старушечье лицо и загремела ухватом. — Поди узнай с кем...

Бабка Дарья трясла головой, беззубо жевала ввалившимся ртом:

— Тьфу! — и, хлопнув дверью, вышла.

Настасья повалилась на кровать, завыла в голос. Ну конечно, теперь Андрюха на Татьяне женится.

Андрей же, похрустывая морозным снегом, шел в волисполком газету почитать и думал: «У Настюхи два самовара, две коровы и лошадь добрая. Татьяна победнее. На ком же? А жениться надо обязательно. Вот дьявол-то. Нешто к колдуну сходить да погадать?»

Идет, насвистывает сердитую, опять про Настасью дума:

«Ежели жениться на Танюхе, Настька убьет... Отчаянная баба... Ведьма».

А навстречу Татьяна, на маслобойку льняное семя относила:

— Здравствуй, Андреюшка! — И оба остановились средь лесной дороги. — Как живешь?

— Ничего. А ты?

— Плохо. Тоскую все.

Она глядела в его цыганские глаза голубыми печальными глазами и пыталась улыбнуться.

— А ты ничего, Андреюшка, не знаешь?

— Ничего.

Татьяна вздохнула. Милое лицо ее померкло. Она опустила голову и глядела в землю.

— Ну, скоро узнаешь, Андрюша... Прощай.

Парень поглядел ей вслед, жалко стало, крикнул:

— Эй, Тань! А помнишь журавлей-то? Вот придет весна, соловьев слушать пойдем.

Девушка молча удалялась.

V

Татьяна продолжала ходить на посиделки, но в плясы не пускалась — мол, голова болит, — а пряла пряжу и пела с подругами песни печальным голосом. Со всего села, из ближних деревень собиралась на игрища молодежь: кончался Филипповский пост — скоро начнутся свадьбы. И немало парней метит на Татьяну — краше, ласковее, работящее девки нет, — даже как-то трое из-за Татьяны по пьяному делу за ножи взялись.

Андрей еще в своем сердце не решил, держит себя с девушками ровно, только Татьяну семечками угощает и, когда, обнявшись, сидит с ней на беседе, шепчет:

— Ни хрена... Оженимся... Советским браком хошь?

За Настасьиным хвостом тоже много трепалось женихов. Но Настасья только одного прикармливала блинами да угощала самогоном — Андрюху.

— Я знаю... На Таньке жениться ладишь, — говорит она, провожая его ночной порой. — Женись, женись... Девка, кажись, с приплодом... вся волость погогочет на тебя, на дурака.

Бабка же Дарья однажды поутру взяла кошель да клюшку и поковыляла через лесок к колдуну на мельницу.

Про Ерофеича давно шла по селу слава — сильный колдун: когда отряды рыскали, хлеб с добром отбирали — черта с два найти им колдуна: шарились-шарились — не только колдун, а и вся мельница пропала, даже одного из отряда холера задавила — в одночасье сдох.

А третьеводнись встретилась бабка Дарья у батюшки отца Семена с женой председателя исполкома, Оленой Митриевной.

— Ох, бабушка Дарья, сходи, сходи. И такой-то колдун, что страсть. Муженек-то мой как закрутил с Михайлова дня, так все влежку, влежку. А из города ревизия обещала быть, того гляди под суд. Говорю, напиши господу зарок, — мол, укрепи, господи, брошу пить, — да запечатай в конверт, пускай батюшка под святой престол положит. Куды те тут, — как начал костить: «Кутья! Обманщик, пиум народа». Я к колдуну, дал мне волчьего помету с наговором. Гляди, ведь проблевался мой-то, — две недели прошло, не пьет.

Пришла бабка Дарья к Ерофеичу. Колдун сидел у печки, толок в ступе кошачью печенку, а ворона по избе ходила, каркала.

— А крест сняла?

— Сняла, милостивец-батюшка, сняла. Присуши ты парня к девке.

Колдун принял от бабки холст да серебряный полтинник, а ей дал старый веник-голик и разъяснил, как надо приступать.

В радости вернулась бабка в свою избу на другой день к вечеру. Только за порог, а Андрюха шасть:

— Я к вам по сурьезному делу. Здравствуйте!

Бабка Дарья размахнулась и ударила его по спине колдовским веником:

— Ши́лцы-ви́лцы-цы́горцы-ходи́лцы!..

— Ты чегой-то, бабушка? — обернулся опешивший Андрей.

— Ши́лцы-ви́лцы-цы́горцы-ходи́лцы! — стегнула его бабка во второй да в третий раз.

Андрей захохотал — знать, спятила старая старуха, — сел за стол и, просмеявшись, сказал отцу Тани:

— Вот что, дядя Григорий, желаю на вашей родной дочери, Татьяне Григорьевне, жениться.

— Матушка, покличь-ка Таньку, — торопливо сказал Григорий.

Бабка Дарья бежала за внучкой и захлебывалась радостью.

— Вот он, колдунище-то, какой... Ну, колду-ун...

VI

Прошло больше месяца, как записались Андрей с Татьяной по-советски, при свидетелях. И, конечно, раз не в церкви, не по-христиански венчаны, никак нельзя мужу и жене вместе жить — жили новобрачные, как и прежде — порознь.

Бабка Дарья — что это за свадьба за анафемская, тьфу! — бабка все еще в наговорный веник верила, то Андрюху по спине хлестнет, то внучку:

— Цы́горцы-ходи́лцы!

Но толку нет. Рассердилась бабка, изрубила со злости веник топором, в печку бросила, а сама в волость, милицейскому на колдуна жалобу нести.

— Он, леший, — сказал милицейский, — и меня здорово нажег: украли у меня барана, пошел к колдуну, а он, сволочь, меня на ложный след навел. Хотел его под арест взять, опасно все-таки: живо грыжу припустит.

Заплакала бабка, не о холсте с полтинником заплакала, — о внучке Тане.

А внучка тем временем — эх, скоро и зима пройдет! — Таня со слезами пеняла своему невенчанному мужу:

— Андрей... Что ж ты не женишься по-настоящему? Пойдем к венцу.

— Леригия мне не дозволяет, вера... Почитай-ка газеты-то...

— Живем порознь, как чужие. Ни работник ты в нашем доме, ни кто.

— Ха! — хакнул по-сердитому Андрей. — Я в согласье хоть завтра перейти жить к тебе. Хоть сей минут.

Григорий, войдя в избу, поймал ухом, крикнул:

— Я те перейду. Много таких мужьев поганых найдется... Отлыниваешь ты, черт... Испакостил девку, да и...

— Она не девка. Она жена мне. Почитай-ка декрет.

— А подь ты с декретом-то!.. Декре-е-ет... Твое ли мужиковское дело декреты знать?.. Совесть-то есть ли у тебя ай нет?

— Дурак ты, Григорий, больше ничего.

С тем и ушел Андрей.

А Григорий стал ругать неистово: и бабку, и Татьяну, и советскую власть, и весь белый свет.

— Чего ж, тятя, разгневался? Ведь Андрей согласен жить, сам не пускаешь.

— И не пущу!.. Легко ли дело! Записались скрадом у какого-то Абрашки. Тьфу твоя свадьба чертова! Сводники проклятые... Иди к Андрюхе в избу, в гражданский брак!

— Давно бы ушла, да его старики меня не принимают.

И бабка накинулась:

— Сама виновата, вот что! Девкина честь на волоске висит, а потеряешь, так и канатом не привяжешь.

Таня упала на лавку, заплакала, завизжала как помешанная.

— Ага, родимчик! А ну-ка, бабка, кнут...

VII

Плыли весенние зори в небесах, сменяя одна другую. Дни становились длинными. С юга тянули журавли.

Татьяна никуда не выходила. Лицо ее скорбное, в пятнах, и мысли скорбные. Настасья щеголяла по весне в новых полсапожках, в желтой с разводами шали. За Настасью сватались парни и вдовцы. Отказывала.

У Андрея были крупные нелады со своим отцом: ходил пасмурный, задумчивый, к Татьяне заглядывал редко. Поругается с Григорьем и уйдет. И отец и Григорий напирали на него:

— Женись на девке по-настоящему, вокруг налоя.

— Я по декретам желаю жить, — говорил Андрей. — Раз новые права, надо уважать.

— Декрет-то твой, видать, в скрипучих полсапожках ходит... Вот твой декрет, — хрипел Григорий, и глаза его наливались желчью. Андрей краснел.

Как-то Григорья не было дома, бабка Дарья тоже ушла — белье полоскать. Вернулась — нет внучки. Она в чистую половину: дверь на крючке.

— Открой!

Не отворяет. Забила бабку дрожь. Грохала-грохала, только стон из-за дверей. Бабка в огород, подставила к окну лестницу, влезла.

Татьяна корчилась в родах, грызла подушку и стонала.

— Ой ты, мнёшеньки! — заголосила бабка. — Она, паскуда, и дверь на крючок!.. Она, непутевая, задушить ладила ребенчишка-то... Ой, грех, грех... — И бабка поковыляла вон, руки вымыть.

А в сенцах Настасья полсапожками скрипит:

— Здравствуй, бабушка Дарья... Не забежала ль курочка моя к вам? Кого это задушить хотите? А?

— Тебя, желта шаль! Тебя, потаскуха! Не приваживай гражданских мужиков к себе. Уходи, уходи!

Вымыла бабка руки, принесла в чистую половину к изголовью Татьяны икону старинную, зажгла богову свечку четверговую, настежь ворота распахнула, чтоб было легче дите рожать — надо бы царские двери в алтаре, да некогда — и опять к внучке, принимать новоявленного правнука.

В это время Андрей стоял пред Григорьем, сняв шапку, и, помигивая цыганскими глазами, говорил:

— Надумал я, дядя Григорий, папаша, нарушить декрет. В церковь дак в церковь. В согласье я... А то мне дома голову отгрызли.

Григорий в гумне сошник к сохе прилаживал. Сурово выслушал Андрея, сказал:

— Дело.

Сели, закурили.

— Ты куда это собрался ехать?

— В лес, — сказал Андрей, — нехватка в дровах.

А меж тем младенец родился чуть жив и на другой день умер.

VIII

Хлопот, хлопот бабке Дарье. Взяла холст да полтинник серебряный, последний, пошла к попу. Отец Семен попробовал полтинник на зуб, пощупал холст, согласился. И в ночное время, крадучись, похоронили младенца на погосте.

Ночь была темная, теплая, поля дышали.

Бабка слегла, Григорий стал пить, Татьяна поправляться.

На третий день вечером Андрей встретился с Настасьей в кооперативе: вдова селедки покупала, Андрей — табак.

Защемило сердце у Андрея. А вдова чоботами скрипит, красуется, грудь так и выпирает. Андрей домой. Вдогонку Настасьин ведьмин скрип:

— Чтой-то загордился, Андрей? Когда свадьба-то?

— А тебе на что?

— Ну как же, поди пригласишь. Ну что, сынка или дочку бог дал Татьяне?

— Чего мелешь! Я не знаю... Только что из лесу приехал.

— А ты сходи... Смотри, задушат... Слышала я, грешница... Ой, нехорошо слышала...

Андрей сопел, дико озирался и, весь похолодевший, плелся по дороге как во сне.

— Пойдем чай пить... Под селедочку, — масляно заглянула в его глаза Настасья.

Как за ведьмой, неотрывно, против воли шел за вдовой Андрей. Она что-то говорила, он не слушал, весь был там, у Татьяны: и хотелось сына, и не хотелось, а на душе тоскливо, скверно, как пред большой бедой.

И только после первых петухов, развеселившись крепким вдовьим самогоном, шел Андрей вдоль села, примурлыкивая песню.

— Стой. Надо постучать.

На стук выглянул в окно Григорий.

— Здравствуй, папаша предбудущий!.. Тесть. А где гражданская жена? Сказывают, ребенок у вас. Где ребенок?

— Нет никакого ребенка.

— В каком случае нет? — покачиваясь, запыхтел Андрюха. — Есть!.. Только посмейте задушить с баб- кой, прямо в тюрьму... Зна-а-ю, брат!

Караульная тетка бросила бить в колотушку, при- таилась во тьме, слушает.

— Иди, парень, проспись, — сказал Григорий и стал закрывать окно.

Андрей вцепился в раму, заорал:

— Тогда даю письменный отпор: не желаю! Вот как... в порядке дня. Раз задушили — к чертям! Вен- чайся сам на ней...

Когда подошел к своей избе, как огнем опахнула его вдова Настасья: в глаза, в лоб, в губы исступ- ленно целовала его, шепча:

— Миленький... Цветик алый... Отказался... Сама слышала... Ну, теперь по гроб мой будешь.

IX

Андрей перебрался на жительство к вдове. Татьяна погрустила недолго: не любит и не любил ее Андрей. Ну что ж. Есть и другие хорошие ребята на примете. Мало ли красноармейцев возвратилось: разговоры, обхожденье, выправка. Вот это женихи!

Быстро стала Татьяна оправляться, расцветать. Налилась Татьяна ядреным крепким телом, и глаза стали такие, что не оторвешься. Эх, девка — красота!

Цвели зеленые луга, цвела Татьяна, а по за- дворью, по проулочкам, чрез грязь, чрез бабий слух, чрез старушьи слюни катилась про Татьяну сплетня: придушила девка дите свое.

И вот пришла Татьяне гибель.

Птицы гнезда вьют, соловьи всю ночь в черемухе тюрлюкают, молодежь игры, плясы, хороводы водит. Этим летом особенно усердно женихались, свадеб будет много.

И Манька, и Палашка, и две Дуньки, двадцать девок на селе — все веселы, все пляшут, от парней

отбою нет. Только Татьяна не пляшет, никто не берет ее. И сидит Татьяна одна как зачумленная. А вернется домой, неутешно плачет. Третья пьяная гулянка, — как отрезало: ни один парень не взглянул. Пришла Татьяне гибель.

Бросила Татьяна на гулянки ходить, заперлась, сидит, волосы рвет, плачет. У Григорья, на дочь глядя, руки опускались, и в сердце чернела кровь. Бабка Дарья с горя умерла.

— А в вековухах сидеть я не согласна, — как-то вечером всерьез сказала Татьяна отцу, всхлипнула и вышла вон.

Отец ужинать кончал. Ему эти слова как ножом по горлу. Зашлось у Григорья сердце, выполз из-за стола и за дочкой следом. В сенцах тьма.

— Татьяна!

Тьма жутко закачалась, и возле раздался хрип.

— Ой! — пискливым диким голосом вскричал Григорий. — Господи Сусе!! — затрясся, снял дочку с петли, понес, — ноги подгибались, — положил на кровать.

И лишь пришла в себя, стукнул в окно кто-то. Борода.

— На-ка, Григорий Митрич!.. Писулька тебе. Чрез волость... заказным.

«От сына», — растерянно подумал Григорий. Сын на фабрике в Питере, в больших делах. Эх, не до письма!

Только утром прочла Татьяна письмо. Брат приехать не обещает — делов выше головы, — зовет сестру в столицу:

«Что ты в деревне киснешь? Чего тебе деревня может дать? Раз сама пишешь, что жить тяжко, собирайся ко мне. Я тебя определю на курсы, человеком будешь».

И загорелось вдруг у Татьяны — ехать.

— Хоть прискорбно мне, — глотая слезы, сказал отец, — а поезжай.

X

Прошло лето, сборы в Питер кончились, наступила осень. И все по-старому: грязь, бедность, самогон. По утрам дробными ударами на токах молотили рожь. А на песчаном острове в ночных потемках играли журавли. Андрюха подкрался на лодке и грохнул из ружья.

И вот теперь у Андрюхи дома живет с перешибленным крылом журавль. Он не подымется больше в небо, он до самой смерти будет жить с Андрюхой на земле.

Утро. Туман. По дороге тарахтит телега.

— Прощай, родимое село!

Настасья едва оттащила смущенного Андрюху от окна.

Григорий, надвинув шапку, помахивал кнутом и весело насвистывал, но его сердце ныло. На телеге Татьяна. Она собралась искать судьбу. Милое лицо ее свежо и радостно. Просветленные глаза упорно смотрят вдаль. Но даль туманна, и над головой висит туман.

И сквозь туман падают на землю вольные крики перелетных журавлей. Летят на юг, прямо к цели.

Что им туман, когда в вышине простор и солнце.

Посвящается
Николаю Максимовичу
Кузьмину

СВЕЖИЙ ВЕТЕР

I

Осень. Лист поблек, наполовину облетел, и заря за рекой цвела холодной бледно-зеленой сталью.

Сон еще далек, деревня вся в вечерних хлопотах: бабы доят коров — пахнет молоком, — запоздалые девьи руки торопливо доканчивают нудную работу — мялка деревянно стучит вот у тех ворот, и травянистые стебли льна превращаются в пепельно-серые волокна. Воздух свеж, стеклянен, и стеклянна река, на студеном стеклянном небе вспыхнули бледные точки звезд, и мутно-белый туман зачинается у померкших берегов. Через туман, через стеклянную гладь остывших струй тоскливо маячит на том берегу огонек. Это в бывшем барском доме, в конторе управляющего совхозом дали свет. Слышен призывный звон колокола: рабочий люд спешит на казенный ужин. В деревне неизвестно на кого, просто по привычке, лает собачонка. В избах зажигаются огни.

— Ванька, пей!.. Мишка, наливай.

Терентий пьет с двумя сыновьями самогон.

Время осеннее, хлеб есть, и червячище в брюхе сосет нутро. Мужичья душа о чем-то тоскует, и вот душе радость: пей.

— Ванька, наливай!.. Мишка, сыпь еще...

Терентий — нескладный, как медведь, нос у него большой, борода большая, рыжая с темным, и волосы на прямой пробор закрывают уши, он красен, крепок.

Жена Терентия, тетка Афросинья, хотя моложе его на пять лет, но в сравнении с ним старуха. Угловатая, сухая, сутулая, правый глаз в кровоподтеке заплыл, левый — с ненавистью и неизъяснимой скорбью смотрит на гуляк.

— Не можете, пьяницы, загородки теленчишку сделать. Он перемахнул да всю корову высосал. И жрать нечего будет, — брюзжит она на ходу.

— А-а, — подымается мужик. — Опять медведица из берлоги выползла?!

— Мамка! — кричит старший, Михаил. — Уходи, мамка.

— Уйду, уйду, — сморкаясь и кривя рот, уходит Афросинья с пойлом. — Должно, скоро уж на погост потащите.

Терентий с силой бросает ей вслед подвернувшийся молоток. За дверью слышно, как она скатилась с лестницы и воет в голос.

Пьяный пятнадцатилетний Ванька гыгыкает идиотским смехом и тянет:

— Мии-мо вд-а-рил... Мамку надо дуть... Ругается... — Его шелковые светлые волосы взлохмачены, под большими белесыми глазами темные круги. — Тятя... Тятинька... — бормочет он. — Я тебя люблю.

— И я, — шершаво говорит отец. Он приподымает Ваньку за волосы и целует в губы.

— А меня не любишь, тять? — грузно наваливается на них восемнадцатилетний Мишка и обнимает их за шеи. — Не любишь?

— Люблю... А ну, робенки, запоем.

И вот нескладно, вразброд громыхает пьяная песня. Кот открыл глаза и поводит ушами.

А за окном голубовато-желтый лунный свет... И через озаренные луной поля и перелески в этот чуткий и звонкий предночной час слышен ритмический

далекий грохот железа о железо — свисток паровоза, и грохот на минуту смолк.

— Миш! А ну, балалайку... Сыпь!

И стены трясутся от топота пьяных ног.

Афросинье страшно идти домой, замерзла, дрожит... Постояла в раздумье, погладила корову и поплелась к брату за три избы. Брат сурово сказал:

— А ты не задирай... Ишь ты...

И покосился на сестру.

— Не знай, у кого и защиты просить, — захлюпала Афросинья. — В исполком ходила — погнали вон. К батюшке ходила — отступился. Как, говорит, я его пойду, бусурмана, улещать, раз он безбожник стал. К кому идти?

И голова ее затряслась.

— Домой, вот к кому! — крикнул с полатей брат.

Афросинья повалилась на колени.

— Братец желанный, одна ты защита у меня... Дай подмогу... Детей, изверг, науськивает: «Бейте, — говорит, — ее, ведьму, я в ответе». Вот он какой. Ой, руки на себя наложу. Нечистики меня смущают: как лягу спать, и почнет, и почнет... Ой ты, головушка моя...

— Не вой, Афросинья, ну тя к ляду...

И брат слез с полатей.

— Что они делают на самом-то деле? Опять били, что ли?

— Вчерась били. Как хлобыснул мне в ухо сам-то, о сю пору звон идет... Просто не слышу ничего, оглохла. И головушка трясется, остановить не могу.

— Эки дьяволы, — пробасил брат и полез в жараток за горячим для трубки угольком.

Его жена месила квашню.

— Не ты первая, не ты последняя, — сказала она, обирая ножом с голой руки тесто. — А меня, думаешь, милует? Все они хороши... Слышь, Макар?! Черт... дьявол...

Голос ее звенел задирчиво, но Макар, повернувшись к ней спиной, чесал зад, рассматривая свою ло-

хматую тень на стене, и спокойно попыхивал трубкой.

Афросинье от этих слов хозяйки сделалось легче: обида стала утихать, и звон в глухом ухе оборвался.

— Прощайте, — сказала она. — Поплетусь.

Придя домой, Афросинья осторожно отворила скрипучую дверь и на цыпочках прошмыгнула за занавеску к печке. Мишка и Терентий сидели за столом, обнявшись за шеи, и пьяными голосами орали друг другу в рот:

Ты-ываспо-о-ой,васпой жи-аварооночи-ик,
Виесной си-идючи-и на-а прота-а-линки-и...

А Ванька валялся под столом и храпел.

Афросинья кое-как перекрестилась и устало легла на шубу к сундуку. Ужасно хотелось спать, и только закатила глаза: топоры, кровь, веревка, омут. Она творит молитву, крестится, но кулаки, бороды, оскаленные рты гогочут над ней, грозят, и плещет у берегов черная волна. «Эка жизнь тебе... Прыгай. Тут глыбко, глыбко...»

Чре-э-ез дрему-у-у-чий бо-о-ор-р...
Чре-э-ез дрему-у-у-чий бо-о-ор-р...

— Ангели, архангели, — шепчет в вязком, как глина, полусне Афросинья. — Не дайте нечистикам душенькой моей завладать...

Но петля в овине перекинута, и какой-то незнакомый зубоскал сам сует в петлю свою голову, смеется... «Видишь, очень даже легко. Чего ж ты?» Афросинья бежит прочь, отмахивается руками, и в красных сапожках, в красной рубахе, с красной рожей гонится за ней — земля дрожит, — «пей... отрава... так и так не жить тебе, сирота», — и сует ей в горло холодную, как змея, бутылку — «пей». Афросинья вскакивает и хватается за сердце.

«Пей!»

«Ага, не лю-юбишь?.. Гыгыгы... Тятя, наливай ему в рот...»

«Доржи! Разжимай. Ширше!..»

И тяжкий темный сон продолжается.

«Гыгыгы...» — ухает нечисть.

И та же ночь. Месяц, лес. В лесу стол, на столе покойник. «Это мой Ванюшка», — обомлела Афросинья.

«Гыгыгы...» — пугает нечисть.

А мохнатые пни замахали корнищами и с треском, вперевёрт, к покойнику:

«Доржи... Ширше...»

«Гыгыгы...»

Покойник затряс головой, захлебнулся, открыл глаза. Открыла глаза и мать. Крикнула:

«Окаянные! Обопьется он. Отравите... Душегубы!..»

Пни взмахнули корнищами:

«А, медведица!..»

«Тятя!.. Мочаль ее...»

И петля, и омут, и тот краснорожий в красных сапогах:

«Бей!!»

Афросинья завизжала, грохнулась, отлетела в угол, поднялась на воздух, стукнулась головой о потолок, о дверь, дверь скрипнула:

— Это что?.. Отец! Брат!

Но она не слыхала.

Красноармеец сорвал с плеч торбу и шагнул к отцу.

— А-а, Петрунька... — попятился тот к стене. — Здрасте... В побывку? Даже неожиданно...

Красноармеец сжал кулаки, разжал, сел на лавку, обхватил руками голову, вздохнул всей грудью.

И Любовь Даниловна сладостно вздохнула там, за рекой, в совхозе.

Над совхозом, над полями и над всей землей проплывала голубая ночь, туман над рекой сгущался, сгущалась у закрайков вода — утром зазвенит ледок; травы, крыши, камни пушнели инеем, как белым мохом, собачонка давно смолкла, погасли огни, и вот Любовь Даниловна собрала колоду карт и завернула лампочку. Она ляжет спать при лунном свете — все голубеет в ее комнате — и долго будет мечтать о нем, далеком. А далекий близко, здесь.

II

Дул свежий ветер, обрывая и крутя пожелтевший лист.

Солнце указывало полдень, и молодая светловолосая конторщица поставила самовар на белую скатерть.

— Так неужели вы совсем?

— Совсем, — сказал Петр Терентьич.

— Очень хорошо... Ах, как это хорошо. Ну, давайте чай пить!.. Погодите, я вас сыром угощу, ведь у нас в совхозе сыр делают.

Петр Терентьич огляделся по сторонам: так чисто, уютно в этой маленькой комнате; в золоченых рамах старинный портрет генерала, картины, трюмо, на лежанке канделябры.

— Это все казенное, из барского дома, по описи, — как бы оправдываясь, сказала она.

— Я знаю... Я только...

И он нахмурил лоб. Ему вспомнилась своя родная изба, темная и мрачная, пропахшая столетней деревенской вонью, вспомнилась вчерашняя встреча с отцом.

— Пейте, пожалуйста... Отчего вы такой грустный? Отец? Слышала, слышала... Это безобразие, какое пьянство идет по деревне. Скандалы, ругань, жен бьют. Наш заведующий хотел даже арестовать вашего родителя... Ну, расскажите, как вы? Как там, в Питере?

— Да что ж, хорошо, — невесело ответил он. — А главное, меня берет забота о матери...

— Да, конечно, — думая о другом, проговорила она, глаза ее были устремлены куда-то вдаль. — А в театры часто ходили? Ах, расскажите, Петр Терентьич.

— Да, ходил и в театры. Редко только... Я думаю, много неприятностей мне предвидится в моей семье.

— А какие же вы пьесы видели? Расскажите, миленький... Я так... я так здесь...

— Разные пьесы. И кинематографы. — Он взглянул с упреком в ее загоревшиеся мечтой глаза. —

Я больше митинги любил да лекции... У нас в казармах, другой раз... Да... Уж вы простите, Любовь Даниловна. Я вот все докучаю... про свои болячки семейные. Уж извините...

— Пожалуйста, что вы, ведь я же вам сочувствую и понимаю вас.

— Боюсь за себя, — вздохнул он. — Как бы промежду отцом и мной чего не вышло. Очень крупно говорили мы... А мать моя совсем больная, за эти два года состарилась, едва узнал ее. Оглохла... Ах, как худо, Любовь Даниловна.

Они пробеседовали так очень долго. Она сказала ему, что теперь уж не до идей, она учительство бросила, чтоб не умереть с голоду: здесь все-таки паек и теплый угол.

— Может, и вы бы толкнулись к заведующему, — авось местишко найдется...

Петр Терентьич взял у нее тургеневские «Записки охотника» и направился в бывший барский дом.

Управляющий, чернобородый, в очках, человек, встретил его радушно, обещал небольшое местишко.

— А ты вот что, Петр, — сказал он. — Ты семью свою как не то урегулируй. А то я возьмусь.

Петр Терентьич пошел по знакомым крестьянам.

Его крестный, высокий, крепкий мужик лет пятидесяти, расцеловался с ним и повел показывать свое хозяйство: вот эта корова Красуля получила премию на местной выставке — десять пудов жмыху. А это новый жеребец, свой, доморощенный.

Крестный схватил поводья и побежал с жеребцом по улице. Ветер трепал его бороду, крутил хвост и гриву гнедого жеребца. Жеребец бил в воздух задом или всплывал на дыбы храпя.

— Тпрру!.. Видал, каков! На будущий год на выставку.

Хозяин весь сиял довольством. Лицо его было гордо и самоуверенно, голос громок, движения размашисты и быстры.

«Вот с таким Русь не пропадет», — подумал Петр Терентьич.

— А это что, пятистенок-то рубишь, для себя?

— Сына женю, — сказал крестный. — Ему. На хутор выделю. Сам тоже на хутор лажу. Вольготней. Нас артель, мужиков пяток, молодец к молодцу, непьющие... Хозяйственники. От этой сволоты, от пьяниц, надо дальше, дело будет... Тпрру, леший ты!.. Ну, как там у вас в Питере? Мозгуют? Войны не предвидится? А объясни, друг, что это за червонец за такой? Бумажный? Ха! Да пойдем в избу... Пойдем, убоинкой свежей угощу, боровка заколол...

Крепкий дом его весь обсажен деревьями, кругом чисто, усыпано желтым песком. Рдела рябина. Петр Терентьич, подпрыгнув, отломил ветку и бросил целую горсть спелых ягод в рот.

Они подымались по лестнице, только что вымытой и покрытой домотканой дорожкой.

— Неужто все это будешь ломать, крестный? На хутор-то...

— Буду. Русь ломали, не боялись, раз добро предвидится. А изба — пара пустяков.

— Трудно.

— А руки-то на что! У меня два сына. Слушай-ка, крестничек... А что ты насчет каператива скажешь? Давай-ка хлопнем сообща!.. Ух, делов, делов теперя... Вот, бабы, крестничка привел... А ну-ка живой рукой на стол. Садись, гостенек дорогой... Теперича сказывай подробно, как и что...

III

Медведеобразный Терентий первые три дня по приезде сына впрягся в работу.

Он с утра уходил молотить с Мишкой и Ванькой, на ночь топил ригу. Обедали и ужинали все вместе. Афросинья лежала, ей подавали пищу на сундук. Отцу, видимо, было стыдно, не разговаривал с Петром, только вздыхал и оглаживал рыжую с темным бороду. Молчали и братья.

— Отец, — сказал Петр за ужином. — Вот ты теперь трезвый. Предупреждаю: мать не бей.

Афросинья, должно быть, услыхала, всхлипнула и заохала.

— А что будет? — насупился отец.

— Будет плохо.

Отец засверкал глазами, бросил ложку, гневно сказал:

— Ежели всяка тварь учить начнет, лучше на свете не жить.

Петр смолчал. Сыновья улыбнулись. Петр сказал:

— А на вас-то, молодчики, расправа найдется у меня скорая.

— А что сделаешь нам, Петька? — спросил Михаил вызывающе.

— Мы тя вздрючим... Только полезь!.. — подхватил Ванька.

Петр опять смолчал. По лицу пробежала тень. Вилка тряслась в его руке и тыкала мимо картошки.

— Большевик, черт, — пробубнил отец. — Приехал на готовенькое-то... жрать. А туда же, грозит. Сволочь.

Чуть вздрагивая бровями, Петр сказал:

— С ваших хлебов я уйду. Не объем. А кто будет мать мою истязать, тому места за решеткой в городе много приготовлено...

Отец сипло задышал и треснул кулаком в столешницу, но, взглянув в лицо сына, сразу осел: лицо Петра было бешено холодное, и стальные глаза, в упор и не мигая глядевшие на Терентия, полыхали мстительной решимостью. Лоб и щеки отца покрылись потом. Братья разинули рты. Петр стал бледен, как мертвец. Зубы его скорготали. Он поднялся, накинул шинель и вышел.

Его била нервная дрожь. Он быстро шагал через огороды к лесу. Всходила луна, опять тявкала собачонка. Пахло самогоном и начавшей подгнивать мертвой листвой. В соседней риге светился огонь и слышался веселый смех детворы, собравшейся печь картошку. Но все это смутно проплывало в сознании Петра, он напряг всю волю в борьбе с охватившим его смятением. Чувство зверя, которое он ощутил

в себе, мучило его. Он понял, что его отец враг ему, враг сильный, железный, но его надо сломить.

Петр повернул к реке.

За рекой, как и всегда по вечерам, горел в заветном окне огонь.

— Простите, Любовь Даниловна, я к вам. На минуточку.

Девушка обрадовалась и, отложив шитье, сказала:

— Ах, как это кстати. Мне ужасно что-то тоскливо сегодня. Давайте читать. Присаживайтесь.

— Лучше давайте говорить, — сказал Петр. — Мне тоже скучно.

Сидели и молча глядели друг на друга. В сущности, он пришел сказать ей, не согласится ли она быть его женой. Эта мысль пришла ему внезапно, в то время когда он пробирался сюда сквозь заглохший барский сад.

— Наступает осень, — сказала она задумчиво, — и в деревне так грустно, особенно зимой. Я ведь городская. Революция загнала меня в ваше болото. Впрочем, вы знаете.

— Мне управляющий предложил место кладовщика, — сказал он. — Думаю, что справлюсь. А я вот о чем...

И он замялся.

Она поглядела в его открытое, с небольшими усами, лицо, на крепкие жилистые кисти рук и, ничего не угадав, спросила:

— Ну, как у вас в семье?

Он безнадежно махнул рукой и уставился взглядом в темный угол.

— Я категорически заявил отцу. Не знаю, что выйдет, — сказал он, помолчав. — И понимаете ли, Любовь Даниловна, вот сидишь дома, и как-то все не то, словно среди врагов. Вот, думаешь, вскочат и убьют...

— Ну, с чего это. Что с вами? Вы расстроены?.. Погодите, я вам валерьянки дам.

— Не валерьянки мне надо. Не валерьянки!

— А что же? Вы нездоровы, у вас озноб.

— Да, озноб, — проговорил он, весь передернулся и засопел. Нужное слово не сходило с языка, а надо

было сказать очень просто и ясно этой городской девушке. А вдруг откажет, топнет, выгонит...

«Какой красивый, — подумала она. — Неужели на деревенской девке женится?»

И сказала:

— Слушайте, Петр Терентьич, а вам бы жениться надо.

— А кто за меня, за мужика, пойдет? — проговорил он насмешливо и раздраженно.

Она опустила глаза. Он видел, высокая грудь ее часто дышала под накинутой на плечи шалью.

— Любовь Даниловна... — начал он.

Но дверь отворилась, лохматая голова просунулась в щель:

— Товарищ Антонова, иди, мы собралися!

— Сейчас, сейчас.

Дверь захлопнулась.

— Пойдемте, — сказала Любовь Даниловна Петру, — я нашим комсомольцам историю читаю... Тут, в доме... Их человек двадцать. Наши рабочие. Есть и из крестьян трое. Пойдемте.

— Нет, я в другой раз. Я к домам... Прощайте, Любовь Даниловна. Многое хотелось вам сказать, да все как-то... Эх, черт его знает... Плохо на душе.

Он провожал ее. Луна взобралась высоко. Кусты еще зеленой акации окаймляли площадку перед домом. В средине площадки — куртина увядших цветов, колокол на высоком столбе и мраморная статуя, голубевшая под лунным светом.

На прощанье она умышленно крепко сжала его руку. Он сразу осмелел.

— Ах, хорошая!.. — проговорил он тихо и страстно. — Ежели буду жениться, тебя не обойду, стукнусь. Прогонишь?

Она задорно засмеялась, и полные щеки ее вспыхнули.

— Вот как! Ты?.. Да разве можно говорить барышне «ты»?

— Можно, ей-богу можно!

— Товарищ Антонова! — с треском открылось окно. — Иди скорей!

Со скотного двора бежала через площадку босоногая девчонка с ведром.

— Погоди минуточку, Любовь Даниловна! — пропищала она. — Я только вот управляющему молоко снесу.

Петра опахнула тихая радость. Он, улыбаясь, шел сначала по темной, усаженной липами дороге, потом мостом, через реку. Ему хотелось смеяться и громко петь. Черт знает до чего просто. Ну, теперь-то он, конечно, будет говорить с ней напрямки. Улыбаясь и рассуждая сам с собою, он незаметно подошел к своей избе.

...Все-е люди-и-и живу-у-ут,
Ка-ак цветы-ы цветут...

— А, Петрунька!.. Енерал! Дерьмо коровье, — расправляя усы и бороду, пьяно закричал Терентий. — Садись, пей! Тепленькая... Не пьешь?.. Ха!.. Рыло не дозволяет?.. Благородство?! Коммунист, черт... Робенки, пой... Пес с ним... Енерал, кисла шерсть...

А-а моя-а-а глава-а-а
Вввя-а-нит, ка-ак тра-а-ва...

Братья подшибились ладонями и орали за отцом дико, крикливо.

Петр ровным шагом, по-военному, подошел к хмельному столу, взял чайник с самогонкой и выплеснул ее в лохань.

— Стой! Что делаешь?! — загремел отец.

— Спать, — сказал тихо, но хрипло Петр. — Пожалуйста, спать... Матерь больная...

— Самогон отдай! Он твой?! — И братья полезли с кулаками на Петра. — Мы те!..

Петр освирепел, развернулся, и Мишка, торчмя головой, вылетел в сенцы. За ним с воем и Ванька. Мать завизжала:

— Ой, Петеньку убивают!.. Ой...

— Ах, вот как ты, сынок?!

И отец с высоко поднятой скамьей кинулся на сына.

В твердой руке Петра блеснул револьвер.

— Прочь! — надсадно, звонко крикнул Петр. Скамья грохнулась на пол, отец выбросил вперед огромные, как бревна, руки.

— Не дури, не дури... — перехваченной ужасом глоткой хрипел он. — Убивать собрался?

— Да, убивать.

— Рука не дрогнет?

— Не дрогнет.

— Ловко... Хорош сынок... Ну, да и у меня гостинец есть...

Он схватил топор, потряс им и, взмахнув, с силой всадил в дрогнувшую стену.

— Батька! Положь.

Отец рванул топор и загадочно сказал:

— Спи, сынок, да не крепко...

Он засопел, поругался в бороду и полез с топором на полати.

Вошли присмиревшие братья, пошептались у дверей, бросили на пол постельник и легли. Петр устроился на лавке, загасил огонь и под подушку сунул револьвер.

IV

И потекли день за днем, ночь за ночью, серые, настороженные. Отец ложился спать в самом углу полатей, рядом с собой клал топор. Сын — с револьвером. И ночи они проводили бессонно. При нужде, среди густых потемок, отец осторожно слезал с полатей, в руках его был топор. Петр крякал и кашлял — «не сплю», — и рука его тянулась под подушку. Отец тоже крякал и шел на улицу. Возвращаясь, высовывал в избу голову, долго озирался, щупая, как филин, тьму. Петр крякал — «не сплю», — отец карабкался на полати.

Мать бессонно вздыхала, крестилась: «Спаси бог и помилуй Петеньку, кормильца, заступника».

Петр выходил тоже с револьвером, отец крякал — «не сплю», — чиркал спичку и закуривал. Только братья, безмятежно похрапывая, спали.

Проплывали ночи, и за темными стенами зрело

событие — сокрытое от человеческого взора. Но вот пробегавшая в голубой ночи собака вдруг остановилась, посмотрела на черные непонятные стены избы и завыла вещим воем.

Ночи проходили в луне и звездах. На подстывших болотах, меж кочками, холодными зеркалами голубел молодой ледок, но река все еще текла на свободе.

И среди ночи, среди морозной тишины, вдруг промчится с отчаянным криком растерзанная, чуть не в одной рубахе женщина. За ней с колом мужик. Нашумят и скроются...

Очередной деревенский сторож, какая-нибудь солдатка Парасковья, побрякивая колотушкой в дырявую заслонку, все подмечает, что творится на деревне. И, наверное, завтра у колодца будет говорить:

— Изот опять Настюху хлестал. Вдоль улицы носились. И еще, девоньки, Митрий с Катериной цапались: он ее за косенки, а она его за бороду; он ее кулаком, она его ухватом. А тут свалил, да и зачал сапожищами топтать. Остановилась я, девоньки, постучала. Жаль... На сносях Катерина-то.

Шел день за днем. Вот полетели белые снежинки, гуще, гуще, и на четверть — ослепительный ковер. Все стало чистым, загадочно торжественным и грустным, как на покойнике свежий вечный саван. Не скоро теперь дождется белая земля угревных дней.

Афросинья кой-как бродила. Как нет Петра, отец ругает ее и бьет. Норовит под вздох и в спину, чтоб не было знаков на лице. Афросинья плачет тихомолком, терпит, Петру ни слова. Голова ее еще больше стала трястись, душа скорбит, Афросинья просит у бога смерти.

Петр Терентьевич служит в совхозе кладовщиком. Он завел большой порядок в складе, против закромов прибил таблички, у него на учете каждый фунт. Прессованное сено с лугов отправляется в город. Клевер, по норме, идет датскому скоту — в совхозе тридцать пять племенных коров. Он свой восьмичасовой рабочий день давно похерил, работает по де-

сять — двенадцать часов. И, беседуя с управляющим, старается ему внушить, что восьмичасовой рабочий день для совхоза гибель.

— Надо идти нога в ногу с мужиком, с зари до зари копаться. Иначе хозяйство всегда будет на шее у государства сидеть.

Управляющий Петром Терентьевичем очень дорожил и сделал его заведующим складом. Петр подумал: «Ну, теперь можно», — и пошел посоветоваться к крестному.

Его сыновья возили по первопутку на хутор сруб. Старик с крупной, краснощекой девицей, будущей снохой своей, пилили байдак.

— Бог помощь! — поздоровался Петр.

— Спасибо, — сказал крестный и улыбнулся. — Нешто возможно тебе бога поминать?.. Грех.

— С маленькой буквы — можно, — заулыбался и Петр. — А я к тебе, крестный, на пару слов.

Вошли в избу. Петр объяснил, в чем дело.

— Зря. Не советую, — сказал старик. — Руби дерево по себе. Бери попроще. Вот какая у меня сношенька-то, бог с ней... Как груздок в бору.

— Да что ж, крестный, я уж откатился от крестьянства... Ведь я перед революцией два года на фабрике работал.

— Смотри, — сказал крестный. — У нее ведь, болтают, было дите.

— Дите? — У Петра дрогнул голос, от плеч по рукам пробежали мурашки. — Чей же, от кого?

— А уж это ее спроси... Мой совет — плюнь.

Домой возвращался Петр раздавленный, желчный. Дома была одна мать.

— Вот, матушка, — начал он. — Присоветуй.

— А что ж, сынок... Дело доброе... Бери, бери, Петенька. Правда, что было у нее дите, в голодный год с управляющим сошлась, — ну, дак что такое? Жизнь не спрашивает. Когда цветку цвести — цветет; когда ягодке зреть — зреет. Мало ли что было. А раз теперича ее сердце все к тебе приклоняется — бери, благословясь.

Петр свободно передохнул, встал и обнял мать.

— Спасибо, спасибо, — растрогался он. — Вот ты какая. Даже удивительно.

Подбородок его дрогнул.

— А тебе поди тяжело, матушка?

— Нет, ничего, сынок милый, ягодка моя, Петенька... Ничего...

Она молча и стыдясь заплакала. Потом сказала:

— Вот уйдешь к жене жить, убьют меня.

— Пусть попробуют. Я с батькой перед уходом всерьез поговорю.

Это надвигавшееся событие в жизни Петра — женитьба — ничуть не изменило его отношений с отцом. Те же настороженные ночи, тот же топор и револьвер.

Петр приносил паек — продукты, да и урожай был недурен, отец продолжал пить, и работа не шла ему на ум.

Теперь он перенес свои гулянки к вдовой солдатке Василисе, толстобокой сильной бабище. У нее было неплохое хозяйство, которым она управляла вместе с дочкой своей, семнадцатилетней ГруНькой. А на Груньку, чернобровую в мать, песенницу и работягу, «пялил глаза» Мишка, Терентьев сын. Конечно, матери это не с руки, ни Ваньку, ни Мишку близко к дому не подпускает баба, а чуть что — со щеки на щеку кормит Груньку оплеухами, — сама желает гулять с Терентьем, сама метит ему в жены угодить. И что та, окаянная сила, Афроська, не сдыхает!

Все знали на деревне, где гуляет Терентий, знал и Петр, но тайных его дум и тайных мечтаний краснощекой Василисы никто не знал.

Терентий часто приходил домой под турахом, в кураже, и вот как-то, пьяный, взлаял на жену:

— Когда ты подохнешь-то? Когда ты мою головушку-то ослобонишь?

— А тебе, отец, зачем? — поднялся из-за книги Петр.

— Пошел к черту! — топнул Терентий. — Тьфу!.. Дорого не возьму и разговаривать-то с тобой, с умником паршивым...

Он поискал топор и полез на полати спать.

Братья, как казалось Петру, остепенились, присмирели, но втайне они злились на мать и на любимчика матери — Петра. Однако Петр, когда не было отца, читал им по вечерам книги, беседовал с ними, иногда водил Ваньку на собрания комсомольцев, которых он обучал политграмоте. Братья хитрили, подчинялись Петру, надеясь в душе, что Петр идет в гору и что им в конце концов с коммунистом братом будет неплохо.

Однажды Ванька сказал отцу:

— Я в комсомольцы запишусь. Петруха наш полуграмоте обучает там.

— Что?.. Против бога?! Полуграмоте?! — цыкнул на него отец.

— Ишь ты! — закричал и Ванька. — Тебе только самогон у вдовухи жрать... А я запишусь...

Отец схватил его за шиворот и бросил носом в угол.

— Ванька, беги! — закричала, заголосила мать. — Убьет... — И побежала на улицу.

— Дьявол!.. — весь дрожа ощетинился Ванька. — Знаю, пошто мамыньку-то хочешь извести: на Василиске жениться ладишь... А я запишусь!

Терентий схватил кнут. Ванька сигнул в сенцы с плачущим злобным криком:

— А я запишусь!..

Терентий успокоился, пошел к вдове. Был вечер. Подмораживало, и снег хрустел. Ванька разыскал Михаила и сговорился с ним бить отца.

— И Василису вздуем, леший те дери, — сказал широкоплечий Михаил. — Тогда Груняху я закоровожу обязательно.

— Грунька все об Петре об нашем... На посиденках только и слов, что о Петре.

Мишка запыхтел и сказал:

— Петруха управляющего милашку короводит... Слышь, Ванька, а не позвать ли на подсобу еще когонибудь?

— Сладим...

— Надо обождать... Пусть нажрется поздоровше...

Мать вернулась домой. А возле освещенного окна, заглядывая в окно, там, в совхозе, взад-вперед битый час ходила высокая девушка. Янтарные бусы желтели на ее синей душегрейке, красный шарф был повязан с форсом, концы его лежали вдоль спины, и между ними грузно падала тугая темная коса.

И там — через занавеску и кусты герани — хмурый Петр. Любовь Даниловна ходит по комнате быстро, говорит. Вот она круто на ходу обернулась, сдвинула брови и развела руками, как актерка, а Петр встал из-за стола, простился и ушел.

— Петр Терентьич! — грудным певучим голосом окликнула его девушка. — Можно мне рядком? А вы поди не можете меня признать. Я — Аграфена, Василисина дочка.

— Груня?.. Вот как выросла!.. Прямо невеста. — В его словах слышалось изумление и какая-то горечь.

— Что ж это вы, Петр Терентьич, к нам на девичьи игры-то не заглянете? Ай загордились шибко?

Груня шла, покачивая на ходу круглыми плечами, и ее коса ходила по спине, как маятник. Петр что-то промямлил, глядя в ноги.

Вызвездило. И дорога через реку была вся в звездах. На том берегу белела в вековой дреме церковь. Хвостатые дымки плыли к небу из почерневших изб.

— Нехорошо, Петр Терентьич, чужих любушек отбивать. Ай, нехорошо!

И она звонко рассмеялась.

— Каких любушек?

— Ха-ха!.. Будто не знаете. Притворщики такие. А откуда идете-то? А я белье носила управляющему...

— Что ж, подсматривала?

— Очень надо. Я бегу, а вы выходите.

— Ну да! Я к Любовь Даниловне по делу заходил.

— Вот она любушка-то управляющего и есть.

— Брось! — крикнул Петр. — Что тебе надо от меня?

— А нет ли книжечек почитать? Сказывают — есть.

— А ты грамотная?

— На вот те...— обиделась Груня.— Знамо, не такая грамотная, как твоя, а книжки читать люблю. Дашь?

— Дам... Пойдем.

Они поднялись с реки на берег. В избе, при свете лампы, Петр во все глаза глядел в лицо красивой девушки, и его сердце неверно дрогнуло. Груня почувствовала это. Она опустилась рядом с ним на колени, заглянула в сундук с книгами и жарко дышала ему в щеку.

— Какую ж тебе книжку? — взволнованно спросил он.

— Про любовь,— шепнула девушка.— Где целуются...

Она запрокинула голову и закрыла глаза, улыбчиво поблескивая белыми ровными зубами. Рука Петра самовольно потянулась и обняла девичью талию.

С грохотом, с ярой руганью вломился в избу Мишка. Все лицо его разбито в кровь.

— А-а, эвон как!.. В обнимку!! — изумленно попятился он и выбежал в сенцы, с треском захлопнув дверь.

— Петр Терентьич, проводи,— сказала Груня.— Боюсь я.

— Кого?

— Мишки,— сказала она тихо.— Нешто не знаешь, он ладит меня замуж взять.

— Парень ладный... Чего ж ты?

— Подь ты и с Мишкой-то! — Она грустно улыбнулась, защурилась, закрыла лицо руками.— Э-эх!..— и затрясла головой, бусы звякнули.

— Вот книжка. Очень занятная,— сказал Петр.— Только без любви.

Она взяла книжку, вздохнула:

— Ну, прощай... Так не хочешь проводить? — и пошла к двери, коса ее опять закачалась, как маятник.

Петр послушно направился за ней. Навстречу попался Терентий. Он выписывал по дороге вавилоны, пел песню и кричал, грозя кому-то кулаком:

— А-а, отца бить?! Родителя!.. Я тебе еще не так посчитаю зубы-то...

Петр и Груня свернули в переулок. Мишка с Ванькой замывали снегом разбитые носы и не смели идти в избу.

Петр сказал:

— Прощай, Груня. А то боюсь, как бы он матерь не тово... Отец-то.

Девушка быстро оглянулась — пусто, лишь она да звездный сумрак, — швырнула книжку в снег и неожиданно поцеловала Петра в губы.

— Оставь! К чему это?.. — отшатнулся он. — Ведь ты знаешь, что я...

— Брось городскую! — обняла его за шею девушка. — Петя... Брось.

V

Был воскресный день. Солнце светило сквозь морозную пыль, отчего меж голубоватых теней и на ребристых увалах снег мутно алел.

Комсомольцы до обеда бегали на лыжах, катались с крутого берега на салазках и коньках, после же обеда они занялись учебой.

В окно обширной комнаты холодного барского дома глядели сумерки. Железная самодельная печь стояла враскорячку посреди комнаты и дымила. За широким крашеным столом сидело человек пятнадцать молодежи. Разговаривали, грызя семечки, курили, смеялись. Краснощекая скотница, дежурившая сегодня по наряду, убирала со стола остатки хлеба и недопитое молоко. Рядом — маленькая каморка. Там живет председатель коллектива, белокурый, болезненный на вид юноша Галкин, с умными серыми глазами. Он вчитывается в только что полученную бумагу из уездного отдела. На его жесткой — ящик и доски — кровати трое маленьких парнишек тренькают на балалайках.

— Петрунька, — говорит председатель. — Сбегай за Любовь Даниловной. Ждем.

Парнишка бросает балалайку. Но в дверь кричат:

— Товарищ Антонова пришла!

В зале дали свет, выплыли со стен плакаты: «Комсомольцы штурмуют небо», «Все под красное знамя союза», «Наука и религия несовместимы»,— и председатель постучал по столу:

— Объявляю собрание открытым...

Шум смолк. И только в двух местах по-детски:

— Немножко внимания!

— Прекратите ваше дыхание!

Но вторичный стук по столу, и Любовь Даниловна, улыбнувшись, начала беседу.

— В прошлый раз я рассказала вам про нашествие татар, про татарское иго. Кольќо! — обращается она к маленькому парнишке-пастуху. — Как ты думаешь, если б Русь не оказала сопротивления татарам, что бы они сделали с Западной Европой?

Парнишка кривобоко ежится, поблескивает из-под огромной тятькиной шапки черными глазенками, пищит:

— Звестно, побили бы... Где, к свиньям, Европе устоять.

Поднялись оживленные перекрестные разговоры. Любовь Даниловну забросали вопросами. Время быстро летело, ее час кончился, а Петра Терентьича все нет.

Петр Терентьич запоздал — он никогда не опаздывает, — что же с ним случилось? Петр Терентьич торопливо, чуть не рысью, приближался к дому, вот заскрипела дверь крыльца, четкие шаги, и он вошел.

— Урра!.. Петр Терентьич!.. Петр Терентьич!.. — Все выскочили из-за стола и окружили его.

— Тсс... На места, ребятки, на места. Пожалуйста, тихо... Оваций я не люблю. К делу!

Он говорил глухо и подавленно, очень крепко сжал руку Любовь Даниловны: рука его горяча, глаза лихорадочны и возбужденны.

— Вы больны? — спросила она вполголоса.

— Да, в этом роде...

— Я пойду поставлю самовар.

И не успел самовар вскипеть, как под окном флигеля с шумом и резвым гвалтом пробежала молодежь, а в ее комнату вошел Петр Терентьич.

— Меня всего трясет, — сказал он и опустился на диван. Мужественное лицо его было бледно и подергивалось. — Опять дома неприятность у меня. Отец пытал мать бить... Я вступился. Отец выпивши... Эх ты, черт! И контузия эта сказывается... Изнервничался я. Чуть что, хочется плакать... Нет, так жить нельзя...

Он вынул платок и громко высморкался.

Любовь Даниловну тоже забила дрожь.

— Любаша... Уж ты прости... В таком вот... при таких вот нервах я уж тебя на ты, по-мужичьи, попросту.

Придвигая ему стакан крепкого чая и кусок жирного пирога с морковью, Любовь Даниловна взволнованно сказала:

— Сам виноват, Петр.

— Сам? Ну да, конечно: чужую беду руками, как говорится, разведу. Эх, ничего не знаешь ты, Любовь Даниловна...

— А если знаю?

— Что ты знаешь?

— Про отца да Василису? Знаю. Про Груню? И про Груню знаю.

— Что? — Он положил обе ладони концами пальцев на стол и откинулся на спинку дивана. Загадочно хитрая улыбка на лице девушки стала быстро таять, лицо вытянулось и окаменело.

— Знаю, что ты хочешь жениться на ней.

— Я? На ней?.. — Он навалился грудью на край стола и опять откинулся. — Откуда вы взяли это?

— Слушок такой, разговоры... — мертвыми губами прошептала девушка. — А потом, помните, там, в проулочке?.. Помните, вечером? Еще Груня книжку-то вашу в снег бросила...

— Что? Что?

— А потом... вы целовались.

— Кто вам наврал?

Он поднялся.

— Мои глаза, — спокойно сказала девушка.

Петр стоял словно исполосованный плетьми. Часы пробили восемь. Он отхлебнул чаю и зашагал взад-вперед по комнате. Волосы на его голове топорщились. Он засунул руки в рукава и вздрогнул. Потом остановился и в упор посмотрел ей в лицо. Ее глаза расширялись и суживались.

— Да, — сказал он хрипло. — Вот в чем дело, Любовь Даниловна... я...

— Глупо! — перебила она и отвернулась. — Глупо так решать судьбу. Ведь я знаю: вы хотите жениться на Груне и переехать к ней, чтоб разлучить отца с Василисой. Но разве это выход из положения?

Она вдруг поднялась, положила ему на плечи ладони, оттолкнула, приблизила к себе.

— Сядь, слушай. Помнишь, говорил: буду жену искать, тебя не обойду? А что вышло? Петр Терентьич? А? — волнуясь, говорила она укоризненно.

Наступило длительно-короткое молчание, он опустил голову и полузакрыл глаза.

— Да ведь я не смел... Ведь я же вижу разницу, так сказать...

— Что? Какую разницу? Слушай! — Она облизнула пересохшие губы. — Мой план таков. Ты знаешь, что заведующий соседним совхозом проворовался и его накрыли? Ты знаешь, что в городе на его место выдвинута твоя кандидатура?

— Ну?! Ей-богу?! — вырвалось из нутра, и белая комната вдруг порозовела.

— Я только что получила из города письмо. Вот оно. Итак, мы женимся с тобой, поедем туда, на новую службу. Я два лета слушала агрономические курсы. И думаю, что вдвоем мы справимся.

Стул под Петром закачался, самовар надул толстые медные щеки и весело запел. Петр схватил руки девушки и молча стал целовать их.

— А мать? Как же мать-то?

— Мать, ясное дело, возьмем с собой. Михаила женим на Груне. Я уже говорила с ней.

Петр дышал, как паровик, глаза его наполнялись

радостью, но меж бровей, над переносицей, глубокая складка не распрямлялась.

— А вот...— начал он и поперхнулся.

— Что? Ну, ну!

— Дело в том... Ведь ты же... Вот наш управляющий, так сказать... Вдруг он не пожелает тебя отпустить. Очень извиняюсь, так сказать. Но я краем уха слышал, будто бы... ты... будто бы вы с ним...

Все поплыло куда-то вкось, вправо, самовар присел и смолк.

— Вздор! Вздор! — губы девушки оскорбленно скривились. — Вздор! Знаю, про что...

Но этот истерический крик прозвучал в душе Петра, как песня соловья весной: душа вдруг стала свободной, радостной.

— Я знаю, кто пускает эти слухи. Сожительница управляющего. Она зверски ревнива. Она ходит за ним по пятам. И при таких условиях... как я могла?.. Нет, это... это... И как ты мог поверить?.. Ты?! — Она передохнула и схватилась за виски. — Эта мегера распустила слух и про ребенка... Будто бы я... Ах, мерзость какая!.. А сама живет с механиком с мельницы... Вот и путает других. Я действительно ездила в город, лежала в больнице. У меня даже свидетельство есть. Операцию делали, аппендицит... Ты знаешь, что такое аппендицит?

Но Петр ничего не знал, ничего не слышал. Все колыхалось в нем и пело. Он опять шагал по комнате и бормотал сам с собой:

— Удивительно. Удивительно. Все ясно теперь, все хорошо. Вот и не верь после этого в судьбу... Любовь Даниловна! Голубка!.. Да ведь ты сокровище для меня...

Большой, широкоплечий, он повалился перед ней на колени, схватил ее белые руки и тряс их с каким-то ожесточением.

И вдруг там, за окном, в морозе:

— Петр!.. Петр!.. Петр!.. — ближе, громче, надсадней. — Петр!!

Он вскочил и в чем был выбежал на крики.

— Отец мамку ищет... Скорей!

И вот оба с братом Ванькой мчатся по реке домой.

— Батька пьяный... Мамынькин сундук изрубил, — еле переводя дух, хрипит на бегу Ванька. — А мамынька к дяде Макару убежала. Ой, убьет!..

Перед глазами Петра черный огонь, и нет под ногами земли, обрубленный мраком полумесяц пляшет в небе, то взметаясь вверх, то падая до горизонта.

Страшный Терентий нашел жену на чердаке, у ее брата Макара, под вениками.

— А-а-а!.. — заревел он зверем.

Пьяный Макар сгреб мужика за горло, но Терентий с силой отшвырнул его. Афросинья катом скатилась с лестницы и без памяти бросилась в избу, за ней — прибежавшие Ванька и Петр.

Терентий, пошатываясь, показался в дверях и, ничего не видя, кроме мелькнувшей за перегородку Афросиньи, загромыхал мертвым шагом к ней.

— Батька!..

Терентий боднул страшной головой и, как зверь на рогатину, полез грудью на Петра. Ванька с криком вцепился в батькин шиворот:

— Вяжите его, вяжите!

Хозяйка Степанида сгребла ухват.

И все завертелось, загрохотало по избе. Терентий то падал, то вскакивал. Степанида била его по голове, по спине ухватом, дико визжа. Посыпались горшки, кувыркнулся самовар, изба тряслась. Терентий выхватил из-под лавки топор:

— Прочь!.. Башку снесу!.. Могила!..

И все волной метнулись от него.

— Брось топор!.. — хлестко крикнул Петр, нырнул рукой в карман за револьвером — пусто — и сорвал со стены ружье. — Брось топор!

— Я те башку...

Раскатился выстрел. Изба подпрыгнула, упала, без чувств упал Петр, и со смертельным хрипом грохнулся Терентий.

Через мороз и лунный свет заполошно бежала, падая и вскакивая, Любовь Даниловна.

VI

Когда Терентия привезли в больницу, фельдшера не было — фельдшер где-то гулял на свадьбе. Терентий, не переставая, стонал, временами впадая в забытье. Заряд дроби скользнул по ребрам возле пазухи и вырвал мускул руки. Сиделка кое-как уняла кровь. К утру руку разнесло.

Афросинья всю ночь тряслась и плакала. У нее ночевала Любовь Даниловна. Они нашли под подушкой Петра револьвер и спрятали в сундук.

Ванька, в волнении, до вторых петухов ходил по избе, бледный, потрясенный. Перед утром ему страшно захотелось есть: вынул из печи еще теплый горшок каши и съел. Потом ушел в больницу. Михаил в эту ночь тоже гулял в соседнем селе. Вернулся пьяный, с разбитой мордой и поломанной гармошкой.

Узнав о несчастье, он удивленно произнес:

— Ну, неужто?!

Потом как-то беспредметно и вяло выругался в пустоту и лег спать.

Арестованный Петр провел за решеткой в клоповнике бессонную ночь. Ему казалось, что ум его мутится, все события спутались, перемешались. Только что прогрохотавший выстрел мерещился ему взрывом бомбы в тот роковой, на фронте, день. И лишь постепенно, в глухой ночи, все стало на свои места, голова дала отчет во всех делах, и душу его охватили непереносимые мучения.

Управляющий совхозом рано поутру выехал в город хлопотать о судьбе своего служащего, Петра Терентьича.

С утра дул ветер. С утра вся деревня только и говорила о случившемся. Сыновья подняли головы, отцы присмирели, и матери молчаливо радовались, почуяв новую нерушимую защиту.

Терентия никто из женщин не жалел:

— Так ему, разбойнику, и надо!

Старуха, бабка Анна, говорила, как пророчица:

— Суд божий... Суд праведный... Спаси Христос...

Пьяницы ругались:

— На отца руку мог поднять... Да в каторгу его, злодея... К стенке!

Но в душе чувствовали, что их кулакам пришел конец.

Ветер креп, ветер взвихривал кучи седого снега. Небо было сердитое, вызывающее, и черные стены изб под взмахами вьюги — как в дыму. Бежавшая против ветра собачонка воротила морду в сторону, щурилась, у Терентьевой избы она присела, тявкнула и побежала дальше. Ставни каталажки скрежетали противным скрипом. Петра пробирала дрожь, и, когда одноглазый сторож Кила затопил печь, железные решетки покрылись холодным потом. В каталажке было мрачно, одиноко, как в душе Петра.

Приходили мать, братья, приносили еду, табак; пришла Любовь Даниловна. Они остались вдвоем. За окном крутила вьюга, сквозь сумрак золотились в печке угли, дрова сгорели все дотла, и Петру показалось, что вот так же сразу вспыхнула и сгорела вся его жизнь.

Петр протянул руку Любови Даниловне и заплакал.

— Что за нервы у тебя, Петр. Ты же мужчина, — сказала она, стараясь придать бодрость своему лицу и голосу.

— Жив? — спросил Петр.

— Жив. Но руку придется отнять, пожалуй. Фельдшер уехал на станцию за доктором. Операция будет трудная, пожалуй, умрет.

— Хотелось бы попросить у него прощения, — глухо сказал он, глядя в землю. — Мне тяжело, — он закусил губы; она заметила, как подбородок его дрожит.

— Петя, успокойся, — сказала она, — тебя возьмут на поруки, управляющий в город уехал, он имеет там вес. А тебя оправдают, наверно. Наши комсомольцы за тебя горой... Шумят.

Прикушенные губы Петра вдруг вырвались и заскакали.

— Ну?! Шумят? — переспросил он улыбаясь.

А молодежь действительно шумела. Председатель Галкин собрал весь коллектив на экстренное заседание. Лица были возбужденны. Молодежь взъерошилась и готова была идти добивать Терентия. Даже сгоряча решили послать депутацию в каталажку с выражением соболезнования Петру, но передумали.

У пастушонка лицо все в саже — по зимам он качает в кузнице мехи, глаза блестят. И сквозь галдеж прорывается его пискливый, как у цыпленка, голос:

— Разгромить каталажку! Разгромить каталажку!

— И то верно...

— Галкин! Становь на баллотировку... Айда освобождать Петра Терентьича.

Шум, ругань, крики. Галкин постучал по столу:

— Товарищи! Это не порядок. Кто сейчас обматерился?

— Васюков...

— Врешь! — запротестовал рябой, широкоскулый Васюков.

— Товарищ Васюков! — застучал Галкин, сердито боднув белокурой головой. — Стыдно!

— Я... только...

— Прошу не возражать... Товарищи! Я предлагаю по поводу случившегося несчастья устроить митинг с участием крестьян и всех вообще желающих.

— Правильно, Галкин! Митинг!

— Потому что это дело, товарищи, из рук вон выходящее, ударное, так сказать. Бытовое. Идем дальше. Наши отцы очень уж распоясались, бьют наших матерей. Такого позора не должно существовать. И если отцы не понимают, им укажут на это дети. Ведь дети, товарищи, всегда умнее бывают своих отцов, потому что культура идет вперед, как прогресс, что всеми доказано, иначе она шла бы назад. Этим я не хочу сказать, товарищи, что берите ружья и стреляйте своих отцов. Ни в коем случае. Мы должны действовать морально. Итак, я предлагаю митинг в будущее воскресенье, после обеда. Кто против? Принято единогласно.

Кто-то крикнул:

— Не пойдут мужики.

Молодежь обменялась мнениями. Да, действительно созвать будет трудно, крестьяне митингов не любят.

— Товарищи! А я знаю, как, — высунулся вперед с широким веселым лицом курносый молодец и заулыбался. — Давайте, товарищи, удочку закинем и будем мужиков ловить, как щук. Например, допустим, так...

Он был в большущих валенках и в желтом овчинном полушубке. Он на каждой фразе взмахивал кулаком и приседал, голос его простуженный, сиплый и медлительный.

— Например, так. У нас в комитете есть табак для выдачи, махра. Так. Взять да пожертвовать полтора фунта махры. Черт с ней! Вот, мол, ребята, по окончании митинга будет лотерея, можете выиграть лучший табачец. Тогда придут. На дармовщинку польстятся.

— А бабам? — пропищал пастух.

— Бабам? — переспросил курносый парень и встряхнул кудрявой головой. — Для баб у нас, правда, что, нет ни хрена... Бабы табак не пьют. Вот ежели молодые которые... — подмигнул он девушкам.

— Павел, без выражений, пожалуйста, — прервал его председатель. — Кончил?

— Хы! Не велишь говорить, так, знамо, кончил.

Девушки засмеялись: одна, с вишневыми глазами, шутливо ударила парня меж лопаток.

Заседание оборвалось само собой, потому что на мельнице испортился мотор и электричество погасло.

— Качать товарища Галкина! — Молодежь рада повозиться в темноте, председатель взлетел на воздух, а в углу — под плакатом «Комсомольцы штурмуют небо» — продребезжал чей-то писк и таящийся смешок: это, должно быть, кудряш неловко облапил девушку с вишневыми глазами.

Ветер стихал, в небе плыли остатки туч, мелькали звезды, и временами прорывался недолгий свет луны.

Маленький пастушонок, аршин с шапкой, шагал враскорячку, дымил трубкой и говорил кудряшу:

— Мой батька тоже мамку полощет. Третьеводнись я ему затрещину в загривок дал. Он мамку бросил, да на меня, я убег, и мамка убегла. Ох, и зверь! Ему пропагандуй, не пропагандуй — хоть бы что.

В селе, куда они вошли, стояла тишина.

— А у попа огонь, — сказал пастушонок.

— Лампадка, — просипел кудряш. — Масло казенное горит, чего ему.

— Давай пустим палкой.

VII

На третий день к обеду вернулся управляющий, и приехал доктор.

Петра освободили на поруки. Он зашел к матери, к Любови Даниловне, и втроем отправились за версту в больницу.

Туда же собирался и священник, приобщать умирающего Терентия.

В палате помещалось четверо: два старика, роженица с ребенком и Терентий. Пахло карболкой, стариками, плесенью и женским молоком.

Койка Терентия стояла возле окна, он лежал головой в угол, и лицо его было в тени; щеки, виски, глаза глубоко запали, большая, рыжая с темным, борода загнулась к плечу.

Все трое подошли к нему молча и молча остановились. Петр взглянул на огромную, как обгорелое бревно, голую, обезображенную руку отца, и в глазах его заметался ужас: Петр весь побелел, качнулся, его подхватила Любовь Даниловна, он опустился на колени и через силу сказал дрожащим голосом:

— Отец... прости меня.

У Терентия забулькало в груди, воспаленные, измученные глаза его с ненавистью остановились на сыне, брови сдвинулись к переносице, и здоровая рука стала шарить возле бока, ища топор.

— Мне тяжко... Прости, отец.

Усы и брови Терентия зашевелились:

— Будь проклят... Не прощу.

Мать с воем повалилась на вытянутые ноги Терентия.

— Терентьюшка, батюшка... Кормилец... Прости ты его, прости...

— Проклинаю.

В палату вошли маленький, седой священник и тучный, краснолицый фельдшер, весь проспиртованный, в белом, залитом йодом или кровью балахоне.

— Ну, уходи, баба, уходи, — подхватил фельдшер Афросинью под пазухи. — Что ты вопишь, как на погосте! Сейчас господин доктор в палату идут. Посторонних прошу уйти. Ах, Любовь Даниловна! Представьте, не узнал. Хи-хи-хи! Богато жить... А-а, Петр Терентьич!.. Какими судьбами? Ах, на поруки. Вот как... Печальный случай, печальный случай. Гангренус, по-ученому. Да-да... Батюшка, сделайте милость, приступите к отправлению религиозного культа. Ну-с, пожалуйте, граждане, в приемную.

Пришел доктор. Спустя полчаса через приемную протащили в большой металлической лохани мертвую, чугунного цвета, руку со скрюченными пальцами. Афросинья вскрикнула и упала в обморок. Петр сидел спокойно, с замкнутой на ключ душой: какое-то равнодушное отношение ко всему отуманило уставший его мозг.

Вскоре появился доктор в золотых очках и с рыжей бородкой. Сиделка на ходу снимала с него операционный халат. Любовь Даниловна обратилась к доктору с вопросом.

— Сказать трудно, — ответил он, пожимая плечами. — Кто же его знает. Скверно, что во время ранения пациент был пьян. Ну и... — он оглянулся назад. — Конечно, на роковом исходе может отразиться и отсутствие фельдшера в нужный момент. Больному все-таки пятьдесят шесть лет. Не знаю, не знаю... Может быть, и выживет... Но скорей всего — умрет.

VIII

Ванька с Михаилом мастерили сосновый гроб и переругивались: ни тому, ни другому не хотелось навестить умирающего отца, хотя бы для того, чтоб снять мерку.

— Я знаю, — сказал Михаил, — когда отец в шапке — в аккурат под матицу.

Ванька поставил на пол доску и сказал:

— Окоротали... Не хватит вершков двух.

— Ни хрена, — ответил Михаил, — в случае чего ноги можно покойнику маленько расшарашить.

— А как же, Мишка, без руки-то отец в могилу ляжет? Говорят, руку-то его в печке сожгли, — спросил Ванька, долбя долотом проушину. — Как же на Страшном-то суде без руки из гроба-то батька вылезет?

— А я почем знаю, — окрысился Михаил. — Ты комсомолец. Ты должен знать. А нет, у попа спроси.

— Поп задаром не скажет, — болтал языком Ванька, — пожалуй, заставит снег чистить у ворот. Ну, а как же Груняха-то твоя. Тю-тю! — И Ванька подмигнул.

— Груняху теперича, бог даст, тятя умрет, я закоровожу, Петр наш ей отпор дал. Петра Любовь Даниловна короводит. Ежели в острог не упекарчат его — женятся.

Цепкая мужиковая жизнь восемь дней боролась в Терентии со смертью. И вот Терентий стал поправляться.

Из домашних ежедневно навещала его лишь одна жена. Когда она появлялась в палате, он сердито отворачивал лицо к стене и не говорил с ней ни слова. Афросинья повздыхает, поклонится в пояс и ни с чем уйдет.

Ни сыновьями, ни хозяйством, видимо, Терентий не интересовался; было похоже на то, что он не прочь и умереть.

Однако недели через две он ожег хныкавшую Афросинью взглядом и впервые сказал:

— Пусть придет Петька.

Афросинья сразу залилась радостными слезами и чуть не рысью побежала домой, а оттуда в совхоз, где опять служил Петр.

— Сынушка, иди, свет, скорей. Отец видеть пожелал. Господи, хоть бы проклятье-то он снял с тебя...

Петр бросил все дела, накинул шинель и быстро зашагал в больницу. Что говорить с отцом, как вести себя и что выйдет из этого свиданья, Петр не знал и не мог сосредоточить мысли на нужном, главном. В голове и врасплох застигнутом сердце — неразбериха, туман. В большом смущении он вошел в палату:

— Здравствуй, отец...

Терентий опять насупил брови, опять зашарил возле бока, как бы ища топор, потом заскрипел зубами и, подняв руку, густо сказал:

— У меня осталась правая рука. И вот говорю тебе: и тебя убью, и матку твою убью... Убирайся к...

— Больше ничего?

— Уходи, сволочь!

Обратно Петр плелся нога за ногу, и дорога показалась ему в сто верст.

IX

Терентию нужно было лежать еще с месяц. Петр долго ломал голову, как быть. Видимо, урок прошел для отца даром, и разруха в семье не изжита.

Но вот помаленьку — одно к одному — все пришло в порядок.

Началось с того, что в сердце вдовухи Василисы, а затем и в ее дом вселился вдовый церковный сторож Захар Кузьмич. Он крепок на вид, — борода с проседью, — в свободное время лудит самовары, чинит сковороды, шьет сапоги, вообще прирабатывает. Он большой знаток библии и священного писания, очень благочестив и при всем том — пьяница, отчего правый глаз его полузакрыт, а нос сизый.

Груня, конечно, ругалась с матерью, мать кормила ее оплеухами и пинками, Захар Кузьмич — поучениями от писания. Груня плакала: и дома горе, и Петр Терентьич оттолкнул ее. Любовь Даниловна напрямки сказала, что у них с Петром решено вступить в гражданский брак, а ей, Груне, вся стать выйти замуж за Михаила — парень хоть куда, хозяйственный, красивый, крепкий.

Подумала Груня и сказала как-то Михаилу, махнув рукой:

— Ну, коли на то пошло — бери.

Ходили к Терентию благословляться.

— Что же ты, Мишка, отца подождать не мог? Али нынче не в почете калеки-то? — щуря большие глаза, сказал отец.

К тому времени Захар Кузьмич очень хорошо напрактиковался самогонку гнать — и Груняшина свадьба была в большом хмелю. Даже Терентию отнесли, но фельдшер конфисковал:

— Рецидиву хотите получить в болезни?! — глотая слюни, заорал он.

Груня стала хозяйкой в доме Терентия, Афросинья не нахвалится, и Михаил в шутку щиплет себя за нос:

— Сон ли, нет ли?.. Груняха, а?..

А за неделю до выхода Терентия из больницы Петр, по хлопотам управляющего, получил новое назначение — заведовать совхозом «Смычка», за двенадцать верст от родного села. Конечно, перебрались туда все трое: он с матерью и Любовь Даниловна. Их отвез на паре сытых коней с бубенцами крестный Петра. Он тоже успел оженить своего сына и с весны перебирается на хутор.

Он сыт, румян, большеборocc. Потряхивая вожжами и почмокивая, он приглядывается к крестнику и говорит:

— А ты чего-то, Петрунька, скис и телом повытек? Это, парень, ни к чему. Ты про то не думай. Твой заряд на всю волость прогремел. Которые из мужиков попризадумались. И выходит, твой грех — как перед богом свечка. Во!

Терентий совершенно выздоровел. Он давно отвалился от сердца Афросиньи, как болячка; Афросинья больше не навещает его, и в лечебницу за отцом отправился Михаил. Когда он заткнул отцу пустой рукав за опояску и сказал: — Ну, тятя, пойдем домой... — Терентий засопел, вздохнул, рот и все лицо его вдруг скривились, но тотчас же выпрямились и застыли вновь.

Дома ничто его не интересовало, он лег на сундук и молча пролежал три дня. На четвертый — пошел к Василисе. Захар Кузьмич хотел чествовать гостя самогонкой, но Терентий мрачно сказал:

— Нет... Будет... Попито.

— Что ж ты станешь делать, сердешный, об одной-то руке? — сочувственно покачав головой и почмокав, спросила его Василиса.

Терентий лениво поднял свой взгляд и заметил в красивых глазах Василисы тоску и какие-то поблекшие огоньки счастливых прошлых дней.

— Не знаю... Не знаю... — растерянно сказал он и, скосив глаза на пустой рукав, вздохнул: — Урод кому нужен... А было времечко, целовали в темечко.

В его глухом унылом голосе звучало отчаяние. И весь вид крепкого мужика был уныл и скорбен.

У бабы защемило сердце, она отвернулась к стене и часто замигала. Захар Кузьмич, согнувшись возле печки, постукивал молотком по чайнику, и его бородатые щеки подергивались от торжествующей улыбки.

Василисе не о чем было говорить, Терентию же ни о чем говорить не хотелось. Сидели молча, только ревниво молоток стучал.

Гость шумно вздохнул, поднялся, сказал: — Прощайте, — и, медленно переступая — будто гири за собой вез, — пошел к двери. Но дверь как крышка гроба: за дверью мрак, погост. В глазах у Терентия зарябило, из пустого рукава вдруг высунулась рука с хмельным стакашком и исчезла. Он вздрогнул, обернулся, последний раз окинул избу долгим взглядом и трогательно, последний раз, проговорил:

— Ну, прощай, Василисушка. Прости, ради Христа.

— Проща-ай! — всхлипнула Василиса.

И дверь захлопнулась за ним, как гроб.

А Захар Кузьмич сердито бросил чайник и рванул из-за ушей очки.

Михайло с женой и Ванька понимали, что у отца не ладно на душе. Были с ним обходительны, ласковы.

— Тятенька, ешь, чего ж ты... Грунь, положи отцу еще.

Но Терентий отодвигал от себя миску и, уставившись в морозное окно, долго смотрел в немую даль.

По ночам он видел странные путаные сны, и чей-то голос звал его: «Пойдем». Проснется — тихо, лишь похрапывает молодежь, да вьюга чешет крышу.

Однажды пришла Афросинья. Терентий как в рот воды: молча лежал на сундуке или задумчиво, с опущенной головой, шагал от стены к стене.

— Ты не представляйся, Терентий!.. Глухой, что ли, ты... Али онемел, — приставала Афросинья. — Говорят, скоро судить вас будут с Петром. Неужели не простишь? Ты старик, а ему жить надо. Побойся бога-то.

Терентий вдруг осатанел. Он со всей силы задубасил кулаком в простенок между окнами, злобно рыча и ворочая глазами.

— Не прощу!.. Убивец! Анафема!.. Будь он проклят.

Приходил и комсомолец Галкин.

— Вот, дядя Терентий, вам повестка... Я в волости был. Через неделю будет суд. Мой совет — помириться с Петром Терентьичем. Ежели помиритесь, дело будет ликвидировано. Я говорил кое с кем.

— Иди, откуда пришел, — мотнул головой Терентий. — Всяк сопляк учить лезет. Тьфу!

Суд был в волости. Со всех деревень, побросав дела, спешил народ.

— Приехавшие из города председатель и члены суда обратились к священнику:

— Батюшка, может быть, вы уступите церковь? Видите, сколько желающих послушать собралось. Разбор дела, надо ожидать, будет поучителен.

Седовласый поп снял очки, опять надел, растерянно улыбнулся и сказал:

— Приемлемо. Благодарствую за вежливость. Религии это не противоречит; ежели сидеть будете без шапок, чинно-благородно. И, разумеется, не курить... Уж очень буду настаивать на этом...

Из совхоза шумливой кучей пришли комсомольцы. Кудлатый парень нес плакат: «Долой пьянство и тиранов отцов». Приехали фельдшер, торговец из села Фомина, два мельника, заведующий совхозом, дьякон, доктор и начальник станции.

Баба Степанида, натягивая рыжий полушубок, кричала на Макара, своего хозяина:

— Иди, пьяница!.. Чего на полати-то забился... Иди послушай.

Комсомольцы дружно перетаскивали в церковь из школы скамьи, стулья, парты.

Был воскресный день, церковь небольшая, за обедней надышали «православные», да и печи натоплены жарко. Староста посоветовался с попом и полез зажигать паникадило. Стол для суда у северной стены, народ — у южной, к алтарю плечом. Однако старики шипели:

— Оно будто... И неудобственно... в храме-то...

Макар был выпивши. Он икал, припав виском к холодному камню арки.

— Суд идет!

И все встали.

Батюшка размотал с шеи гарусный шарф, оправил наперсный крест и, шаркая валенками, проследовал в алтарь за мягким креслом. Народ сидел тихо, по-хорошему. Председатель же комсомольцев Галкин тревожно ходил мимо казенки возле паперти, то щурил, то таращил умные серые глаза, ерошил волосы, что-то шептал и вдохновенно взмахивал рукой.

— Речь зубрит, — пропищал пастушонок кудряшу.

Галкин лишь время от времени бросал взгляд в сторону суда и краем уха прислушивался к отчетливо

звучащему голосу председателя. У председателя высокий лоб, светлая остренькая бородка, пенсне, длинные волосы. Справа от него — два приезжих члена, простые рабочие с фабрики, лица их вдумчивы, сосредоточенны; слева — два местных: лысый крестьянин Ерофеев и рыжеусый кузнец из совхоза. Сбоку секретарь.

Пострадавший Терентий не явился по болезни. Решили его не тревожить.

Начался допрос свидетелей. Первой допрашивали мать Петра, Афросинью. Галкин присел на кончик скамьи, стал слушать. Но слушать было нечего: Афросинья хлюпала в слезах, сморкалась, бессвязно выкрикивала наболевшие слова и фразы.

Председатель мягким и внятным голосом сказал:

— Успокойтесь, гражданка, говорите... Расскажите всю свою жизнь.

— Ох, батюшка-кормилец, судья хороший!.. Какая ж наша жисть... Вот оглохла, вот головушка трясется... Жисти не было.

Галкин стал шарить взглядом. Петр Терентьич сидел согнувшись, руки засунул в рукава, низко опустил голову.

Любовь Даниловна бодрилась. Она кивнула Галкину и попробовала робко улыбнуться. Румяная Груня крепко уселась возле серого, неуклюжего Михайлы-мужа, успевшего отпустить кое-какую бороденку. Черная коса ее по-девичьи отброшена назад — пусть посудачат люди, — и желтые бусы медлительно колышутся на груди. Она не спускает глаз с Петра, и глаза ее тоскуют. А впереди — сельская знать и седовласый поп; он сокрушенно, как мытарь, воззрился на алтарь, крадучись, стукнул по тавлинке пальцем и под шумок запустил в нос аппетитную понюшку табаку.

— Верно-верно-верно! Правильно, — скороговоркой, с места подтверждает он показания свидетелей.

Вот вышел свидетель — крестный Петра Терентьича; он не торопясь, с достоинством поклонился председателю и судьям. Председатель протер пенсне и както по-особому ласково осмотрел его фигуру. От ста-

рика веяло силой мужицких полей и запахом ржаного хлеба. Он весь круто замешан и крепко пропечен — как сбит. Седеющая борода его в крупных кольцах, лоб высок, морщинист, нос широк, над ясными умными глазами темные козырьки бровей, как крылья.

— Какая, братцы, бабья жизнь, к свиньям, — заговорил он густым, словно ржаное сусло, голосом. — Самая собачья жизнь.

— Верно-верно-верно! — поддакнул поп и визгливо чихнул, клюнув в колени носом.

По толпе прокатился дружный бабий вздох, и сотни глаз уставились в широкую спину старика крестьянина.

— В девках с зари до зари работушка, — гудел старик, — выйдет замуж за пьянчугу — смертный бой. А ребят носить — шутка? Сегодня родила, а завтра иди коров обихаживать. От этого самого баба в сорок лет — труха. У мужика харя красная, а бабью личность в кулачок свело. Это надо понимать. Старух мы вырабатываем по глупости своей, вот кого. Взять Афросинью, и взять Терентия. Нешто это факт? Вот и неприятности. А тут винцо. А в башке-то нет ни хрена, а сердце-то кошачье, с перцем. Обожрется винищем, страху над собой никакого нет, кругом погано, — кого бить? Бабу. «Держи рыло огурцом, а то ударю!» Хрясь по уху, хрясь по другому, да за косы, да об пол, и пошло...

— Верно-верно-верно...

Бабы завздыхали пуще, людской пласт шевельнулся, скамейки скрипнули. Председатель резко постучал в стол, народ смолк, словно умер, и паникадило прищурило огни.

— Вы спрашиваете личность Петра Терентьича, что, мол, за человек такой? Человек он, можно сказать, новой жизни. Дай бог нам побольше таких людей, тогда и мы человеками себя восчувствуем. Кто с умом ежели, тот видит — пришли новые права, а новых людей мало вовся. Другой и молодой, да старый. А крестник не таков. И напрасно вы, братцы, посадили его на подсудимую скамью. Сначала Терентия надо на скамью, да и других мужиков разбойных,

пьяниц, с волости десятка два. Вздрючить их, сукиных детей, прости ты меня, господи, чтоб помнили до морковкина заговенья, чтоб не измывались над бабами, как над собаками.

Народ опять шевельнулся. Кто-то, крепясь, всхлипнул, чья-то рука перекрестилась. А в задних рядах закричала баба Степанида:

— Вот что, ребята! Вы моего мужика, Макарку, поганого, взбутетеньте по суду всем миром, намните ему, живодеру, бока. Вот он сидит. Чего в уголке-то притулился, кобель борзой?!

— Гражданка, вы нарушаете...

— А ежели не дадите ему окорот, — пуще завизжала баба Степанида, — вот те Христос, топором зарублю!.. При всех объявляю. Тьфу, чтоб те холера задавила, — плюнула она Макару в бороду.

— Верно-верно-верно...

Перед ней вырос милицейский... А крестный Петра говорил, как молотом бухал:

— В одном, братцы, виню крестника, что промазал по зверю. В брюхо бы его надо стрелять, подлеца, мучителя.

Народ глухо охнул, мужики стиснули зубы и отхаркнулись. Петр быстро поднял голову, взглянул на крестного и поник опять.

Галкин не расслышал, что сказал председатель: председатель, кажется, пригласил старика сесть на место. Старик пошел, тяжко сопя и дергая кудлатой головой. На ходу, высоко вскинув руку, он на всю церковь резко прогудел:

— Мое слово верное. Не бей жену! Жена благословляется богом не на бой, а на любовь. Погибнете, пьяницы, без любви. Собачьей ярью не прожить. Весь мир без любви погибнет! Знай!

Эти мужицкие слова в народ, как в рощу вихрь: все сорвалось, вышло из повиновенья, зашумело, и огоньки паникадила колыхнулись. Мужики крякали и кашляли, бормоча ругательства; бабы голосили, истерически выкрикивая: «Ой, тошно! Ой, миленькие судьи православные, заступнички...» Две молодухи бились головами о стену, плакали навзрыд, визжа и громко

отсмаркиваясь на пол; баба Степанида вскочила на скамейку и, перекосив рот, со всего маху бросила в голову Макара одну за другой свои собачьи рукавицы. Порченая Митрофаниха, с искаженным, страшным лицом, корчилась в судорогах, рвала на себе волосы, лаяла по-собачьи, крича: «Уйди, уйди, уйди!» Она жевала язык, губы кровенились и кипели.

И в народ, в крики, разрывая гвалт, кричал председатель, кричали судьи, кричал поп, осеняя всех крестом. Но вихрь крутил, роща гнулась и гудела. Тогда на лавку вздыбил богатырем крестный Петра и сразу покрыл весь гам:

— Стой! Замолчь! Здесь церковь божия! Здесь человека судят...

Говорили еще свидетели, говорила баба Степанида, заведующий совхозом, фельдшер, вышел было жаловаться на жену непротрезвившийся Макар, но распоряжением председателя — пьяным в суде не место — Макара быстро удалили.

Показания фельдшера были не в пользу подсудимого: поступок уважаемого Петра Терентьича — поступок изуверский, прямо-таки разбойничий, ведь тогда перед подсудимым стоял родной отец. Неужели нельзя было принять предупредительных мер, называемых в медицине профилактика? Например, вместо того чтобы производить преступную вивисекцию из дробовика, не лучше ль было б отца закатать в тюрьму заранее, не доводя его до буйного припадка, то есть аффектум спиритус.

Во время его речи доктор с председателем, конечно, улыбались. Комсомолец же Галкин — и другие комсомольцы — краснел, бледнел, кусал губы. Как! Не может быть, чтоб Петр Терентьич был виновен! Нет!

А показания замужней вдовухи Василисы и ее сожителя Захара Кузьмича были для подсудимого убийственны.

Подсудимый выпрямил спину, несколько раз приподымался, чтоб крикнуть «ложь», но под предупреждающим жестом председателя садился вновь. Любовь Даниловна нервно крутила концы башлыка, вздыхала.

У Груни прыгал подбородок, она скорбно глядела на Петра Терентьича, но перед ее глазами плыл туман.

Захар Кузьмич, поблескивая выпуклыми круглыми очками, правое стеклышко которых было склеено бумагой, и все время оглядываясь на свою грозную бабу Василису, монотонно, как над гробом, дудел, конечно, от священного писания, стараясь рыть подсудимому могилу. Поп и ему поддакивал: «Верно-верно-верно».

И грубо, нагло заверезжал голос Василисы:

— Убивец он, убивец! Вяжите его, окаянного, судьи-батюшки...

— Гражданка!

— Он, убивец, за Грунькой моей таскался, ладил в жены взять, вот те Христос. Сам, пьяный, похвалялся мне: «Не бывать тебе, Василиса, за отцом, убью отца». Вот те Христос...

Галкин схватился за голову. Председатель строго:

— За ложные показания, гражданка...

— Пошто ложные!.. Да чтоб распалась моя утроба... Да чтоб мне... Он Груньку обманул, другую взял. Эй, молодчик, чего молчишь!

«Ага, ага!» — злорадно и язвительно заскакало по толпе. Кто-то слегка присвистнул.

Груня вся вдруг передернулась, затопала дробно в пол, всплеснула руками, повалилась на плечо Михайлы-мужа и заголосила. Но сразу же откачнулась от него с гадливостью и упала пластом к коленям беременной Катерины.

Галкин дрожал и холодел. Он сорвался с места и вновь крупно стал шагать вдоль казенки, судорожно запустив руки в карманы галифе. Что дальше говорилось, он не слышал. Все в его душе полетело кувырком. Вся речь, все, что он хотел сказать в защиту Петра Терентьича, сразу разлетелось в дым. Конечно, после показаний Василисы подсудимый густо влип, и пощады от суда ему не будет. Но это ж не так, не так, неверно! Галкин знает, Галкин уверен в Петре Терентьиче, как в самом себе, Галкин докажет это. Но как, какими словами?

Галкин шагает взад, вперед, с отчаянием озирается по сторонам: иконы, народ, мужичьи встрепанные го-

ловы, как мшистые кочки на болоте, пар от дыханья, золотые хвостики мерцающих огней, и чей-то тягучий, скучный, будто лысое поле, голос.

Это доктор давал свои показания как специалист. Он говорил и полчаса, и час, говорил тихо, непонятно, пересыпая речь мудреными словами, то и дело поправляя на носу очки.

Народ устало зевал, подремывал, пятеро крестьян пошли в ограду покурить. Дремали огоньки чадя, и в рядах шептались. А голос скрипел, скрипел...

Деду капнуло с паникадила на плешь. Он не спеша задрал бородищу вверх, не спеша вытер рукавом лысину и отодвинулся. А храпевшей с запрокинутой головой старухе восковая капля шлепнулась на самый кончик носа. Старуха схватилась за нос и, открыв сонные глаза, слюняво зашипела на прыснувшего в шапку пастушонка:

— Это ты, Колькó, созоровал. Я те...

— Колько! Колько! — звали паренька. Он поднялся на цыпочки и видит: у судейского стола ораторствует Галкин.

— Товарищ председатель и товарищи судьи, — говорит он, и голос его рвется. — Мы, комсомольцы, конечно, по возрасту, не имеем права вести во время суда дебаты иль дискуссии. Но мы ходатайствуем всем корпорем, чтоб выслушали нас в защиту обвиняемого.

Председатель шепнул судьям справа, шепнул слева и, добродушно взглянув сквозь пенсне на побледневшее лицо Галкина, сказал:

— Пожалуйста.

За спиной Галкина, по два в ряд, топтались комсомольцы. Он стоял лицом к алтарю, на восток, и левым плечом к суду. Пред ним, перекинув нога за ногу и схлестнувши кисти рук в замок, сидел в солдатской вытертой шинели Петр Терентьич. Он спокойно глядел в растерянные, загоравшиеся глаза Галкина, и между ними, от сердца к сердцу, от души к душе, прошел невидимый ток высокой человеческой любви. Петр Терентьич шире открыл глаза, едва заметно улыбнулся, и юноша радостно боднул головой, кашлянул и, одернув меховую куртку, начал:

— Мы, комсомольцы... Мы, коммунистическая молодежь... Мы пришли сюда всем корпорем для того, чтобы, так сказать, по всей правде... По всей чистой совести, так сказать, заявить о том...

Он волновался, переступал с ноги на ногу, проглатывал слова, вытягивал шею, как будто ему не хватало воздуха, и поворачивал болезненно-нервное лицо то к председателю, то в сторону народа.

По рядам прошуршало сбивчиво:

— Тише, братцы, Галкин говорит... Хи-хи-хи... Слухай.

— Дуть их надо, сволочей!

— Что? — И Галкин сразу поперхнулся. Ударив ладонью по столешнице, он уставился в пол, как бы ища слов и мыслей. Кудряш комсомолец растерянно ковырял в носу, а девушка с вишневыми глазами, красуясь свежим личиком и яркой кашемировой повязкой, улыбалась. Маленький Колько во все глаза разглядывал председателя и, подражая ему, движением руки откидывал назад гладко стриженные свои волосы, поправлял на носу несуществующее пенсне, гримасничал.

— Я очень извиняюсь, товарищи. Я не могу сейчас гладко, как по писаному, я устал и робею, все спуталось как-то, но это ничего, главную суть скажу по-своему, — овладевал собой Галкин, и голос его становился уверенней и крепче. — Мы просим товарища председателя и судей, мы умоляем не верить некоторым ораторам, я не буду намекать на личности, а только скажу, товарищи, что толстая ораторша, она всем известна как самая скверная гражданка, которая торгует самогоном, поэтому веры ее словам нет! Это она все врет, взводя такое, прямо скажу, подлое обвинение на Петра Терентьича. А почему она может защищать пострадавшего Терентия Гусакова? Ответ, товарищи, ясен — он ее бывший сожитель от живой жены, которую он преступно истязал, как последнюю клячу, или хуже в десять раз, пороча новый деревенский быт в глазах культуры. Вот разгадка истины и опроверженье подлых слов. И обратите, товарищи, внимание, как деревня разлагается по всем слоям. Пьянство, разбой, поножовщина, непростительный

разврат и сифилис... Мужья калечат жен, отцы — детей. А кругом такая тьма, как в непроходимых брынских лесах. И это наша Россия, новая Россия, за которую, за благо которой пролито столько человеческой крови и всяких легло жертв!.. Может быть, старики принюхались, им ничего, по нраву, а нас от такой России, откровенно скажу, тошнит. Наше молодое... Наша молодая душа, товарищи, такую Россию не желает. К черту ее! Даешь новую Россию!! Даешь новую жизнь!! К черту пьянство, к черту самогон, к черту увечье женского...

— Стоп-стоп-стоп! — И священник, деревянно волоча отсиженную ногу, двинулся к оратору.

— Извиняюсь, батюшка... — пал на землю голос Галкина и опять взвился. — А Петр Терентьич всем известен. Он, товарищи, не покладая рук работал с нами, другой раз больной и расстроенный неприятностями с отцом. И много хорошего мы от него узнали, просветились, так сказать, и желаем просвещаться впредь. Да не одних нас! Расспросите настоящих крестьян — всякие разъяснения от него шли, всякая помощь. Да, таких людей, товарищи, не судить надо, а дорожить ими. Отстранять таких людей — это все равно что вешки в чистом поле зимою выдергивать. От таких людей жизнь крепнет. И ежели вы, товарищ председатель и товарищи судьи, — Галкин повернулся к суду возбужденным лицом, и все комсомольцы повернулись. — Если вы, товарищи, не найдете полную возможность окончательно оправдать его — судите лучше нас, судите меня! — Галкин сильно ударил себя в грудь, лицо его скривилось, заморгало, голос сорвался.

— Судите нас, судите меня, ссылайте, сажайте в острог!! — вне себя кричал Галкин, тряся головой и вскидывая руки.

Весь народ до одного замер, открыл рот и выпучил глаза. Паникадило вспыхнуло костром.

Юношу подхватили заведующий совхозом и девушка с вишневыми глазами. Он шел над землей, по воздуху, и всхлипывал, его грудь распирало чувство острого блаженства и умиротворения.

Колько слезно заревел, по-детски пуская пузыри.

Его тоже душило какое-то непонятное, большое и радостное чувство.

Галкин жадно глотал на улице рыхлый пахучий снег, прерывисто дышал и улыбался:

— По моему, должны оправдать...

— Оправдают, оправдают, — сказал, дрожа, завсовхозом.

А там, за красным столом, предоставили слово подсудимому. Он начал тихо, без жестов, попросту:

— Да, я выстрелил в отца, но я спас жизнь матери. Товарищ доктор, защищая меня на суде, объяснял, что я был в то время невменяем, — напрасно — я выстрелил в отца сознательно. Мне больше сказать нечего. Снисхожденья не прошу.

Суд совещался в сторожке. Пользуясь перерывом, батюшка пилил церковного старосту, рыжебородого косого мужика:

— Гляди, все свечи сжег!.. Вот и отвечай...

— Вы же, батюшка, сами приказали...

Поп понюхал табаку и крикнул, взмахнув клетчатым платком:

— А кто же их знал, этих товарищей!.. Вместо суда митинг завели. В воскресенье придется храм святить...

Суд совещался недолго.

Петр Терентьич Гусаков был оправдан. Он выслушал приговор спокойно, потом уткнулся в горячую ладонь и несколько мгновений был как в столбняке.

Первым бросился поздравлять его фельдшер.

— Честь имею... от всей души! Какое же могло быть сомнение...

И гнилозубое, одутловатое лицо его кисло-сладко улыбалось.

Любовь Даниловна взяла Петра под руку, что-то быстро говоря ему своим бодрым голосом. Афросиньи не было: она почувствовала себя плохо и ушла. Груня стояла далеко от всех в темном углу, упершись затылком в стену, и тихо плакала, сама не понимая — от горя иль от радости.

— Пойдем, пойдем... Распустила рюмы-то!.. Оправда-али... — звал ее Михайло-муж.

Гасили огни, батюшка обматывал шею шарфом, крестный Петра, встряхивая скобкой полуседых волос, гулко говорил:

— Спасибо, товарищ председатель. И вам, судьи-мужики, спасибо. Вышло правильно. Спасибо от всех крестьян.

В куполе сгущалась тьма, сквозь голубоватый сумрак едва поблескивала позолота царских врат, на улице тоже темнело.

Поздним вечером поднялся свежий ветер. По полям и дорогам полз белый туман, и коньки крыш курились. В ночь разыгралась метель. Терентий не спит. В избе темно и тихо, за стеной, по мужичьей широкой земле метельная тьма вся в визге, вся в хохоте, плаче.

Терентий слушает — глаза открыты, — и кто-то из тьмы темным, тягостным шепотом зовет его:

«Пойдем».

А метель пуще, метель воет в трубе, плещет в окна, кому-то стелет в поле последнюю постель.

Зайцы притулились под елками и зарываются в снег, лисицы глубже лезут в норы, стая волков, потявкивая и скуля, правит свой путь к жилью. На знакомом пригорке стая садится, поворачивает морды на метель, обнюхивает крылья седого ветра — наносит жилым дымком и вкусным запахом хлевов... Волки отфыркиваются, ляскают зубами, как цырюльник ножницами, и поджаро бегут вперед, пуская слюни.

«Пойдем...»

Терентий встает. Он долго надевает тулуп, и дрожащая рука его неуклюже шарит по углам, разыскивая посох.

Свежий ветер с размаху бросается на избы, метет поля, взвиваясь до самых туч, и, ворвавшись в лес, набитый нежитью и лешими, валит с ног подгнившие дубы.

Терентий ушел.

ОТЕЦ МАКАРИЙ

1

Декабрь. Я сижу на берегу Черного моря и прислушиваюсь к ритмическому гулу его волн. Где-то, вероятно возле Новороссийска, вырвался из-за гор ярый освежающий норд-ост, кинулся на море, взмесил необозримую морскую синь, а здесь, в тихом Сухуми, — лишь отзвук шторма. Но море все-таки гудит.

Здесь тепло, здесь и в декабре лето: всюду цветут розы, дозревают мандарины, набирают цвет древовидные камелии. Но моя мысль по каким-то неведомым путям переносится в любимую Сибирь, в тайгу. И вижу я: это не в море злятся волны, а гудит вершинами тайга, такая же безбрежная, такая же таинственная, как море.

Я гляжу вперед, к анатолийским берегам: вдали, култыхаясь меж валов, блуждает одинокая, в белых парусах, фелюга. А мне грезится, что это бродяга идет по таежным сугробам, какой-нибудь варнак, убивец, Ванька Конокрад.

Ветер ходит над тайгой, гнутся пихты, стонут сосны, и если взлететь на крыльях, — зеленые валы хлещут по тайге. Но кругом зима, декабрь, у бродяги нет крыльев, туго приходится ему, и он спешит к жилищу.

И припоминается мне таежный рассказ. Кто сказывал его — не помню. Может быть, медвежатник дядя Пров за кашей в зимовье, может быть, тетка Акулина, а то какой-нибудь варнак — со многими из них я куривал трубку табаку за время многочисленных своих скитаний.

II

Ветер ходит над тайгой, гудит тайга, как море. Вихлястой снеговой тропинкой плетется сутулый человек. Бороденка, длинные волосы, постное, со втянутыми щеками лицо, монашеская скуфейка колпаком, за плечами котелок и торба. Одет человек в рванье, в тлен.

Морозный вечер. Холод сушит щеки, знобит глаза. Бродяга вдруг заулыбался: близко протявкала собака, понесло жилым дымком.

Семейство старого Вавилы садилось ужинать. Вошел странник, сдернул скуфейку и закрестился плохо гнувшейся, онемевшей на холоде рукой.

— Проходящий, что ли? — сурово, по-лесному, спросил Вавила.

— Стра... странник я, — выдохнул пришелец намерзшие слова. — Так точно, милостивец... Странник.

Вавила заслонил глаза от света, крепко прищурился на пришедшего, сказал:

— Ночуй.

За ужином жаловался Вавила человеку:

— Так что совсем без попа, словно собаки. Два года как опился вином отец Семен, превечный покой его головушке! На моих памятях пятый поп спивается у нас. А теперича к нам в такую глушь ни один священник не пожелал пойти. Кругом лес, трущоба, до ближнего жилья больше сотни верст. Сами кой-как женим, кой-как крестим да хороним, гаже некуда, помахаешь кадилом да поорешь, что в башку взбредет, — ну и ладно. Все думаем: вот ужо новый поп объявится, все осветит, всю чертовщину нашу божественную, и похороны, и свадьбы. Какие мы, к лешевой

бабушке, попы!.. Да... А я в церковных старостах хожу... Эх, стрель тя в пятку!.. Грехи!..

Блеклые глаза прохожего заострились шильцем. Поерошил пятерней длинные лохмы, елейно, назидательно сказал:

— Что же, православные... Будем так говорить, к примеру: я, к примеру, божий иерей, хотя и плохонький, а поп. И, к примеру, изгнан бысть на поселение по ошибке. Но, по благости божьей, коль скоро та судебная ошибка обнаружилась, аз, многогрешный, возвращаюся домой, питаясь подаянием.

Восемь ложек дружно опустились, и все семейство старого Вавилы уставилось изумленным взглядом бродяге в рот.

— Я, известное дело, не навязываюсь. А послужить мог бы в сане иерейском. Ежели понравится вам служба моя, оставите меня попом, ежели не понравится — дальше двинусь.

На другой день расторопный Вавила метелицей носился по селу:

— Мужики, на сход! Поп объявился! Батюшка...

Сход недолго думал: оглядел священника, обнюхал, постановил:

— Взять на пробу.

Только поперечник — парень Тимоха — сказал с насмешливой ухмылкой:

— А пускай-ка взрявкает многолетье погромчей, чтоб оглушительно!

Но Вавила сразу парня оборвал:

— Цыть! Засохни! Всяк щенок в собаки лезет... Дурошлеп!.. — и, обратясь к священнику, спросил: — Дозвольте узнать, батюшка, как святое имечко ваше будет? Отец Макарий? Так-с. Очень даже подходяще.

Мужики сдернули с голов шапки и — под благословение. Священник залился краской, благословляющая длань его дрожала.

В воскресенье — проба. В церкви густо, духовито, как в квашне. Отец Макарий взывал к богу благолепно, со слезами, старухи плакали, бабы сморкались, мужики сопели, отирая пот. Многолетие батя

дернул с треском — за всех православных христиан, за приютившее его село Сугробное, за всечестного старосту, благочестивого Вавилу Карнаухова. Староста Вавила за казенкой приятно улыбался, и белая борода его ползла по тугой синей поддевке, как снеговой вьюнок. Служба кончилась быстро, весело, не как у прежних попишек-пьяниц. Радостные прихожане под трезвон колоколов всей гурьбой повели отца духовного водворять на жительство в обширный церковный дом.

— А есть ли у тя матка-то, кормилец? — участливо спрашивали бабы.

— Увы! — И отец Макарий с великим сокрушеньем возвел очи к небесам. — Увы, дошел до меня слушок, попадья изменила мне, обретя вздыхателя.

— Ах, ах, ах, — закрутили носами бабы. — Мысленное ли дело — попу без матки жить!

Село три дня на радостях предавалось пьянству и гульбе. Отец Макарий хотя и выпивал, но в меру.

— Мы тебе, батя, солдатку пока что командируем, Анисью. Бабочка она молодая, чистоплотная. Мужа ейнова убили на войне. Бабочка подходящая, ничего.

Отец Макарий смиренным голосом сказал несмело:

— Собственно, мне по сану надлежит в супруги целомудренницу брать...

— Каку таку целомудренницу? Девку, что ли? Навряд которая пожелает, — подмигивали друг другу, смеялись мужики.

Солдаточка Анисья повела поповское хозяйство превосходно. Мужики вразумляли ее:

— Смотри не подгадь, Анисьюшка! Ублажай попа всячески... Золотой нам достался священник! Прямо — клад.

И потекла попова жизнь в довольстве, в холе.

Так прокатился длинный год, опять легла зима. Отец Макарий отрастил изрядное брюшко, стал осанист корпусом и взглядом. У Анисьи Иннокентьевны от сладкой, сытной пищи тоже округлилось чрево, и бог даровал ей дочь. Крестьяне отнеслись к ней

с полным уважением, начали без ухмылки величать Анисью «матушкой».

Священник проводил дни в больших трудах, достатки его незримо множились.

Как-то матушка расхвастывалась бабам про попа:

— Он шибко набожный, он даже чудо может сделать. Чирей у меня, родные мои, повыше коленки был; поп благословил, дунул, плюнул — и прошло.

Бабы сразу же поверили, и отец Макарий действительно с тех пор начал помаленьку чудеса творить: у кого живот дуновением излечит, у кого зуб заговорит, лихоманку снимет, из трех же кликуш, трех толстобоких теток: Дарьи, Марьи да Лукерьи, что в церкви кукарекали, великими молитвами изгнал дьявольских нечистиков.

И все больше укреплялась вера в отца Макария, все туже становился кошелек его, а матушка, осиянная славой своего владыки, вновь принялась усиленно полнеть. Валом валило счастье отцу Макарию. Но враг рода человеческого, как известно, никогда не дремлет, он рыщет на земле, «иский, кого поглотити» вместе с сапогами.

И вот на рождестве, после обедни, когда праздничный народ разошелся по домам, последним вышел из храма и отец Макарий. Когда, постукивая посохом, священник величественно пересекал сумеречную паперть, вдруг словно громом:

— Стой!..

Священник вздрогнул и остановился. От мрачной, сырой стены отделилась огненного цвета борода, широкие плечи, два жадных, с волчьим блеском, глаза, и все это вплотную придвинулось к священнику. Отец Макарий обмер, словно мертвеца увидел перед собой.

— А, батя! Здравствуй, с праздничком...

Отец Макарий отпрянул и затрясся так, что дрожал весь пол, и паперть от его дыхания гудела.

Был предрассветный час. В мглистом небе звезда стояла. Проснувшийся на березе ворон каркнул, взмахнул крылом, и, как лебяжий пух, посыпался с ветвей куржак.

Рыжий верзила, страшный, оборванный, сутулый, емко шагал рядом со священником, поскрипывая снегом. Фигура отца Макария стала жалкой, пришибленной.

Оба заперлись в комнату. О чем там говорили — неизвестно. Анисья Иннокентьевна слышала лишь сиплый, озлобленный кашель бродяги.

Три дня, три ночи прожил верзила в доме священника. Он сидел под замком, в каморке, жрал водку, орал песни, скверно ругался. Отец Макарий был мрачен, удручен.

В третьей ночи, когда Анисья Иннокентьевна крепко почивала, отец Макарий звякал ключами, вынимал из сундука накопленные деньги, долго считал их, пересчитывал. Утром верзила скрылся.

— Кто это был? — спросила Анисья Иннокентьевна.

— А это... это брат наш во Христе... Нищий, к примеру.

Отец Макарий повеселел, но ненадолго: ровно через две недели верзила ночью постучал в окно.

— Не рад гостю? — прохрипел он, обнажая широкие гнилые зубы.

— Нет, отчего же... рад, — по-злому сказал священник, и желчь заклубилась в нем.

И опять шептались тайно. Жил верзила целую неделю, теперь уже на свободе, в светлой комнате. Священник же свою с супругою спальню крепко запирал и в головы клал остро отточенный топор.

За эту неделю священник пожелтел, как тыква в сентябре.

Однажды ночью... Впрочем, и на этот раз все обошлось мирно: бродяга ушел. Отец Макарий отдал бродяге последние деньги, часы, серебряные ложки, шубу, самовар. Верзила скалил свои лошадиные зубы, что-то бормотал, плевался и, кривоплече сугорбясь, вышел вон. Сказывали потом, как он нанял лошаденку и уехал.

III

А время подвигалось. Подули теплые ветра. Тайга шумела по-особому, шелковым шелестящим шумом. Зима снимала с земли горностаевый полысевший мех. И вот журчат ручьи, чернеют пашни, тайга оглашается весенним ревом сохатого, дробным стуком дятла, посвистом печальной иволги.

На страстной, в четверг, после стояния, в поповский дом вновь припожаловал бродяга. Лицо его горело пьяным огнем, нос разбит, глаза разбойничьи. Как разбойник, вломился он в дверь, крикнул: «Деньги, сволочь!» — и, бросившись на отца Макария, стал его душить. Анисья Иннокентьевна с визгом — на улицу к соседям.

Священник отшвырнул пьяницу, схватился за топор. В руке верзилы сверкнул длинный нож. Вооруженные враги яростно стояли лицом к лицу, как змеи на хвостах. Крутя ножом и наступая, верзила скрежетал:

— Убью!.. Деньги!!

— Нету денег, кровопивец!.. Все отдал тебе, мучитель мой!..

Верзила с рычаньем прыгнул на врага. Священник увернулся. Нож разбойника с размаху вонзился в стол. Миг — и злодей опрокинулся плашмя на пол; его глотку намертво стиснули костистые поповы пальцы, бродяга закатил выпученные стеклянные глаза и захрипел.

Вдруг:

— Вставай, злодей! Идут!

За окном густые, угрожающие голоса, топот в сенцах, ввалился вместе с Анисьей Иннокентьевной народ. Верзила и священник, шумно дыша и стуча зубами, мирно сидели за столом. Верзила зажал в горсть свою раненую руку: по штанам, по сапогу бежала кровь.

— Вяжи его, варнака! — заорал старик Вавила, потрясая ременными вожжами. — Айда в каталагу!

Народ двинулся к столу. Но отец Макарий, бледный, желтый, еле переводя дух, сказал:

— Остановитесь, православные... Это так... Это он выпивши, мало-мало пошумел. Он мой гость... Христос велит принимать странников... Идите с миром по домам...

Крестьяне удивленно, открыв рты, мигали, и у всех радостная мысль: «Ну и батя наш!.. святой!» Однако раздались сверкающие гневом голоса:

— В случае чего дай нам весточку. В землю втопчем варнака!

Народ ушел. Священник с ненавистью взглянул на верзилу:

— Слыхал? Пока цел, убирайся вон!

Верзила встал, подошел вплотную к быстро поднявшемуся священнику, покачался, попыхтел, густо плюнул в попову бороду и, ругаясь, вышел.

Священник теперь по ночам не спал. Он часто выходил с топором во тьму, дозорил сеновал, амбары: боялся, что варнак пустит красного петуха и все предаст огню. Не раз отпирал сундук, оглядывал опустошенный кошелек и, перхая, плакал...

IV

Пасхальную заутреню совершал поп благолепно и по-своему: прихожане сроду не видали такой службы. Все исцеленные старухи, бабы: Марья, Дарья и Лукерья и с ними дедка Нил — молились впереди. Лица их сияли. Сиял галунами и прибывший из волости урядник. В маленькой церкви духота.

Весь в огненных парчах, отец Макарий третий раз поднялся на амвон с курящимся кадилом.

А верзила меж тем невидимкой карабкался с улицы в алтарь, через окно, открытое для воздуха.

— Христос воскрес! — торжествующе возопил священник, кадя и осеняя всех крестом.

Тут как из-под земли вырос верзила, он развернулся, ударил попа в висок и крикнул:

— Воистину воскрес, Ванька Конокрад!

Поп бревном повалился на пол.

— Дурачье! — хрипел верзила, жег взглядом ошалевшую толпу. — Какой это Макар! Это Ванька-ка-

торжник, со мной на Соколином острову сидел, варнак, убивец!..

Народ оцепенел; каждый думал — это сон. Вдруг, опомнившись, с гвалтом хлынули вперед, смяли кричавшего урядника, настигли обнаглевшего верзилу и тут же растерзали. Умирая, он шептал:

— За правду погибаю... А поп ваш два семейства в Расеи вырезал...

Отец Макарий, он же Ванька Конокрад, в свалке скрылся. Крест и кадило валялись на полу. В исцеленных старух и баб снова мгновенно вселился бес: катались клубком, выли, лаяли, кукарекали, у двух теток живот схватило, у дедки Нила сразу пересекло в поясах.

Ванька Конокрад пропал бесследно. Анисья Иннокентьевна горька плакала: из почтенной «матушки» она снова превратилась в несчастную вдову. Православные проклинали попа-прощелыгу, искали убить его, но не нашли.

V

Спустя месяц староста Вавила ездил в город. Там составили бумагу и отправили в синод, в Питер. В бумаге говорилось, что беглый каторжник, под видом священника Макария, свадьбы правил, грехи отпускал, хоронил, крестил, — дак как же, освящено все это или проклято?

Из синода пришел ответ: «Освящено — по вере вашей».

Мужики на радостях устроили всем селом русскую широкую гульбу.

А растерзанный верзила (уряднику взятку дали) был тайно погребен в кедровнике. На его могиле белел среди сугробов крест. Старый солдат с березовой ногой сделал на кресте надпись. Солдат очень старался: пыхтел, сопел, кряхтел. Надпись гласила:

«Святы боже святы крепки святы бессмертны спи новопреставленный неизвестный проходящи за веру царя и отечество живот свой положивши а паршивый Макарка приблудный поп будь он трижды анафима проклят! Аминь!»

АЛЫЕ СУГРОБЫ

Есть на свете такая диковинная страна, называется она — Беловодье. И в песнях про нее поется, и в сказках сказывается. В Сибири она, за Сибирью ли или еще где-то. Скрозь надо пройти степи, горы, вековечную тайгу, все на восход, к солнцу, путь свой править, и, если счастье от рождения тебе дадено, увидишь Беловодье самолично. Земли в ней тучные, дожди теплые, солнышко благодатное, пшеница само собою круглый год растет — ни пахать, ни сеять, — яблоки, арбузы, виноград, а в цветистом большетравье без конца, без счету стада пасутся — бери, владей. И эта страна никому не принадлежит, в ней вся воля, вся правда искони живет, эта страна — диковинная.

Молола бабка Афимья — безрукий солдат при медалях ей быдто сказывал: «Беловодье под индийским царем живет».

Врет бабка Афимья, врет солдат: Беловодье — ничье, Беловодье — божье.

I

Когда-то, и не так давно, жили в селе Недокрытове два закадычных друга, Афоня Недокрытов да Степан Недокрытов, так по селу и прозывались. Оба в самом прыску, молодые, только по обличью не схожи.

Афоня — мужик как мужик, обыкновенный: запах от него крепкий, речь нескладная, весь он какой-то белесый, точно из крупчатки с мякиной сляпан. Степан же — угрюмый, черный, присадистый, голосом груб, взором грозен. Афоня тихий, задумчивый, весь в мечте, весь в сказке. Степан — черту брат: повстречается медведь-стервятник — хвать ножом, как пить даст. Степан самый заправский охотник, медвежатник, Афоня же с дудочкой соловьев любил ловить, а ружья боялся.

И этих-то разных по виду людей судьба скрутила вместе в тугой аркан, вывела в чистое поле и, завязав глаза, стегнула кнутом мечты и отваги — «иди!».

Дело случилось так.

— Ну, так вот, с богом, ребята, со Христом, — сказало все согласье села Недокрытова. — Не жизнь нам здесь, а гроб. Эвот, поглядите-ка, что покойников-то на погосте: крестов, что в лесу деревьев, сами понимать должны. А земля наша — сквозь песок. А дождей который год нету, сами знаете... Чистая смерть, господи помилуй...

— Еще вот что, ребята, — сказал староста Нефед, ласково посматривая на Афоню со Степаном из-под широкополой жеваной шляпы. — Ежели найдете Беловодье, век не забудем вас. Ей-бо... переселимся и работать не дозволим: сидите себе дома на печи, милуйтесь с хозяйками да малину с медом кушайте. Ей-бо!

Поклонились путники всему согласию в ноги, помолились на церковь, на родительские могилы, вскочили в седла и — в дорогу.

Степан еще раз попросил мужиков:

— Не забывайте баб-то наших. В случае чего так...

— С богом! Езжай без сумленья. Сказано — поможем.

Их жены разливались слезами, выли ребятишки.

Мать Афони, сморщенная, маленькая, прытко бежала за сыном, заглядывала в лицо ему, стараясь улыбаться, но глаза захлебывались горем, в глазах качался, вянул белый свет.

— Буди благословение мое... буди благословение...

— Не плачь, мамушка, брось... Ох, и сказок я тебе расчудесных привезу.

Долго крестила иссохшая старая рука взвившуюся на дороге пыль. Поворот, пригорок — и всадников не стало.

II

Сначала в седле тряслись, потом на пароходе Волгой плыли — вот так река! До чугунки добрались — как пошли отмахивать да как пошли крутить, Урал — вот так это горы! А там и Сибирь — плоская, ровная, а дальше опять река, да не река, речища — Обь... А за речищей опять горы начались, не горы, а горищи — сам Алтай! Господи помилуй, господи помилуй, этакие чудеса на свете есть.

— Куда же это ваш путь принадлежит? — спросил их в селе Алтайском дядя сибиряк-чалдон.

— Правильную землю ищем, Беловодье, — робким Афоня ответил голосом.

— Беловодье? — переспросил сибиряк и насмешливо присвистнул, нахлобучивая картуз на брови. — Это сказки. Старухи на печи сказывают. Беловодья, братцы, нет. А езжайте-ка вы, братцы, вот куда... Езжайте вы прямым трактом в Онгудай, такое село есть. А там покажут — куда. Много вашего брата, самоходов, в тот край прет.

Долго ли, коротко ли ехали — горы, речки, луга, калмыки — и всех встречных спрашивали:

— А скоро ль Возгудай-то?

— Какой Возгудай?

— А этот самый... как его...

Юрты, деревушки, церковка. Цветы, трава, дикий козел ревел на сопке поутру. А ночью в густо-синем небе — звезды. Афоня весь в порыве, в трепете: вспорхнуть бы, облетать бы, а крыльев нет.

— Степан, господи Сусе... Степан? Глянь-кось, глянь-кось.

Степан едет передом в седле, угрюмый, гложет на ходу баранью кость.

— Степан!

Но всему бывает свой черед: за рекой Урсул засерело на пригорке Онгудай-село. В Онгудае их снова опахнули холодом.

— Где это видано, чтоб такая земля была: реки молочные, берега кисельные. Эх вы, лапотоны! Ничего вы, лапотоны, не смыслите. Эх, Расея-матушка!

Афоня было в спор, турусы начал разводить. Степан же отсек сразу:

— Киселей нам не надо никаких. Мы добрую землю ищем.

— Так и толкуй, — сказали сибиряки-чалдоны. — Добрую землю вам покажем. Это надо за Кемчик идти, в Урянхайский край.

— Чей же это край? — спросил Степан.

— Не то китайский, не то наш. Попросту сказать — ничей.

— Слава те Христу, — перекрестился Афоня. — Его-то нам и надо. Это самое Беловодье-то и есть. Оно!

Прожили в Онгудае путники целую неделю. От Онгудая через горы, сказывают, суток шесть пути; они заготовили провианта вдвое: сухарей, крупы, масла, пару хороших коней достали, выносливых, калмыцких, их и ковать не надо: сталь, а не копыта.

Хозяйственный Степан суров, смекалист, быстр. Афоня же так... все про пустяковину: а красива ли дорога? а какого, мол, цвета горы? а какие распевают там птицы, громко ли грохочет гром в горах? Даже о том спросил Афоня, не водится ли в тех местах летучий змей с хвостом, — сказывала, мол, бабушка Афимья.

Только на прощанье по-серьезному проговорил Афоня:

— Ну, а ежели заблудимся да погибать начнем?

Ему ответили:

— Тогда — аминь. Кругом безлюдье.

— Ни-ичего, — бодро протянул Степан. — Несчастья бояться — счастья не видать.

Выехали в солнечный воскресный день. Через первые хребты провожал их бывалый зверолов Иннокентий. Солнце блестело вот как. На перевал вздымались

целый день. Солнце ниже, ниже, они все вверх, гнались за солнцем, не спускали с солнца глаз. Вот зацепилось оно за сопку, еще чуть-чуть — и нет его. Степан как гикнет: «Айда!» — как вытянет коня нагайкой: гоп, гоп! Глядь — солнце опять над сопкой, снова светлый день.

Долго гнались за солнцем, долго не давали ему пасть на дно.

Остановились на ночлег в горах.

— Вот так это горы! — радостно, таинственно говорил Афоня, сидя у костра.

— Настоящих-то гор еще и не нюхали, — возразил провожающий Иннокентий. — Что буде завтра.

Утром выбрались путники на самый перевал. Глянул Афоня — и все внутри его заплясало: весь Алтай всколебался перед ним. Горы, как хребты страшных чудовищ, высились над землей: ближние — в яркозеленой щетине леса, на ободранных боках кровавые подтеки; а там — черные ребра обнажились, там — осыпь серых камней — курум. Дальше же яркая зелень блекла, голубой закрывались горы завесой, гуще, гуще завеса, и уж в правую руку, куда летел очарованный Афонин взор, — было синим-сине. Налево лежали хребты нагие, словно звериные спины облысели от времени или словно вся шкура была содрана с чудовищных хребтов до самого до мяса.

Все они вздымались серой массой, с черными впадинами балок и ущелий. Какие-то легкие тени скользили по освещенным солнцем склонам. Афоня догадался, что это тени плывущих в небе одиноких облаков.

А небо было голубое, спокойное, солнце недавно поднялось из-за хребтов и... что это там впереди блестит — больно глазами глядеть?

— Снег! — вскричал Афоня. — Гляди-ка, Степан, снег!

— Это вечные снега, вечные льды. Спокон веку так, — внушительно сказал Иннокентий. — По-нашему называется — белки.

Весь горизонт уставлен белыми хребтами, только ниже склоны голубели в сизой дымке, а вершины гор хлестали глаз резкой белизной.

— Через эти снега вам придется идти. Ничего, не бойтесь. Вот эту сопочку-то видите, — эвот, эвот чернеет?..

Иннокентий толковал им целый час, все обсказал подробно, куда идти, в какой балке ночевать, какие речки вброд переходить, а там вот то-то будет, а там вот это-то. Ну прямо отпечатал.

— Самое трудное вам — до белков добраться, — сказал сибиряк. — Как белки перевалите, близехонько и Беловодье ваше.

— До этих белков мы поди завтра же и доползем, чего тут, — проговорил Афоня, поглядывая из-под ладони козырьком на четко видневшийся снеговой хребет. — Рукой подать.

Сибиряк с презрением посмотрел на него, — он видел в нем человека никудышного, — сказал:

— Нет, паря, дай бог на четвертые сутки подойти к белкам-то. Поболе сотни верст до них.

— Да ты сдурел! — крикнул Афоня.

Действительно, хребты казались совсем близко. Афоня поднял камень, раскорячился, швырнул.

— Нет, паря, не докинешь.

Афоня стал сибиряка просить:

— Иннокентий, проводи нас, чего тебе.

Тот сверкнул глазами, как ожег:

— Каждого провожать — подохнешь. Поди хозяйство у меня. Эт ты, лапотон, чего сказал. Башка с затылком!

Степан сурово тряхнул головой.

— Не хнычь! Найдем и сами. Не в таких местах хаживали.

Афоня сразу поверил в силу друга, знал Афоня — в разных переделках бывал Степан, жизнь Степана для Афони сказка, Афоня поверил другу, и весь испуг его прошел.

III

К следующему утру друзья осиротели. Они в глубокой котловине. Каменные стены окружили их со всех сторон так плотно, что, казалось, некуда идти: вот за-

легла едва приметным стежком их узкая тропа, а там упрется в стену и — шабаш. Громады каменных хребтов, клок неба сверху. В небе плавает орел. Зорко видит: две козявки еле движутся внизу. Ринуться камнем, ударить грудью, выклевать глаза? Зачем? Орлу — простор и высь, и нет ему дела до земных козявок. Солнце, воля!

А в глубокой котловине сырой, обманный сумрак, остатки ночи еще не ушли отсюда, и жар-птица только к полдню вздымет над козявками свой палящий ослепительный костер.

Афоня видит и орла в выси, мечтает о жар-птице за хребтами. Но главная дума там, в Беловодье, по ту сторону белков.

— Степан! А где же белые-то хребты? Со снегом-то? Ой, сбились мы с тобой.

Степан только улыбнулся.

— Настоящий ты Афоня.

Действительно, в их сегодняшней тюрьме взгляд упирался в стены, и только орлиным взорам был не заказан мрак и свет.

— Он ви-ди-ит, — улыбнулся и Афоня, подморгнул парящему в выси орлу.

Афонин чалый конь след в след шел за конем Степана. Степан сидел в седле прямо и уверенно, был с круторебрым конем своим одно. Он внимательным взглядом щупал все кругом, он чутьем охотника угадывал, куда вильнет тропа и что таится вот за тем зубчатым черным мысом, будет ли завтрашний день ясен и погож. За широкими плечами — наискосок ружье, переметные кожаные сумы набиты туго, конь гриваст.

Афоня же сидит мешком, ссутулился и будто дремлет. Он сорвал травинку, жует ее, рассеянно поплевывает, мечтает. Новизна поражает его ежечасно. Вот перед ним райское место, глаз не оторвать. Но стегнула тропка крутым взлетом вверх и вправо — ахнула душа Афони: все не узнать, все стало по-новому, занятней, краше.

И кричит Афоня:

— Степан! Степан! Чего это?

Отдаленный шумливый гул вдруг проник в тенистое ущелье, где ехали путники. Все креп и надвигался этот гул, все мрачней, непроходимей становилось ущелье. Афоня недоуменно прислушивается, стараясь задержать дыхание. Но вот кони вынеслись на залитую солнцем равнину, всадники враз повернули вправо головы и остолбенели: с поднебесной высоты возле самых путников грохотал осатанелый водопад. Падучая вода яростно била в камни, вся дробилась в облачную пыль, пыль взлетала туманными крыльями: вот один, вот другой крылатый призрак отделяются, тихо плывут под легким ветром, протягивают к путникам седые ласковые руки, плавно повертывают в сторону и манят за собой куда-то вдаль, в волшебную долину между гор. И вновь, и вновь без конца встают из грохота и дыма белоснежные видения, их зрак и все кругом в тумане, крутая радуга мягким кольцом обхватила все, призраки преклоняют головы с разметавшимися волосами, осторожно опускают крылья, чтоб не коснуться самоцветной радуги, плывут в неведомую даль и исчезают.

Водопад кропил всадников золотой, в блестках солнца, пылью; их лица были мокры, алмазный бисер горел на траве, на иглах беззвучно шумевшего кедра. Суровым грохотом был оглушен весь свет, от земли до солнца. От грохота колыхались горы, и, казалось Афоне, тряслась земля.

— Степан, голубчик! — что есть силы заорал он. — Вот так чудо!

Но голос его умер, грохот сдавил горло, запечатал слух. Афоня перекрестился.

— Ой, ты, чудо-то какое, — бормотал он. — Вот так диво!

Он не мог и не пытался понять, что в нем творится, он весь во власти этого дьявольского грохота, этих невиданных чудес, ему хотелось и хохотать и плакать, точно он распался надвое и обезумел. Торопливо и словно во сне, он крестился, крутил головой, сморкался в подол рубахи, взглядывал сквозь радугу на живую сказку, и вновь его душу охватывал непереносимый трепет, тяжкая радость мешала ему дышать.

— Ой, смерть! Ой, поедем скорей, господи! — карабкался он на коня.

И долго озирался на радугу, на встающие в тумане уплывающие призраки; грохот глуше, глуше, и, когда уткнулись путники в стену гор, было совсем тихо, безмолвная стояла ночь.

IV

Прошло три дня. Конь Афони рассек камнем ногу, стал хромать. Степан встревожился. Афоне нипочем. Он все мечтал о Беловодье, о радуге, рассуждал сам с собой, по привычке размахивая руками, иногда крестился и шептал молитвы. Степан был хмур: запасы убывали, дичь не попадалась на пути, а главное, чем ближе подъезжали путники к снеговому перевалу, тем дальше, казалось, отодвигался он.

Теперь ехать поневоле приходилось шагом. Да и тропа стала капризной, озорной: как будто нарочно, играючи, она заманивала человека вдаль, крутилась меж огромных камней, подпрыгивала вверх, на уступ скалы, чтоб вновь упасть в бездну и там где-то схорониться в серых россыпях курума.

Путники поняли, что началась опасность, что горный дух Алтая — человеку враг.

— Ну, Афоня, теперича держись.

— Держусь.

Конец четвертых суток караулил их. У Афони с утра щемило сердце, лицо бледное, напряженное, взгляд растерянный и странный.

Солнце в горах садится рано: горный дух Алтая любит прохладу, одиночество и мрак.

Солнце садилось. Гребни гор обрамлялись золотой чертой заката. Стало вдруг холодно. Тропа предательски манила путников на высокую скалу. Они послушно поддавались. Тропа шла обрывистым карнизом, бомом. Внизу гремела речонка. Вода в ней кипела белой пеной. Из ущелий к речке выползал туман.

— Степан, чего-то боюсь я.

Путники были на большой высоте.

— Гляди мне в спину, не гляди вниз, — не поворачивая головы, проговорил Степан.

Горы на западе стали черными, туман поседел, обозначился резче. Солнце скрылось, и лишь световые мечи рыхлыми пучками шли от него из-за гор в пространство. Сумрак вырастал со дна, поднимал свой горб — вот выпрямится, встанет и растопырит над Алтаем расшитую звездами хламиду.

Скала, по откосу которой карабкались лошади, почти отвесно падала в невидимую речку. Тропа лепилась сбоку, как карниз, по случайным, созданным природой, выступам, а скала вздымалась над тропой и уходила вверх, в хмурую глубь небес. Иногда ширина тропы была в сажень и больше — кони шли вольготно; то она суживалась до аршина: тогда даже Степана кидало в оторопь, сердце же Афони обмирало, он холодел, дрожал. Чтоб не загреметь в пропасть, кони в опасных местах шли в наклон, норовя прижаться к скале. Всадники помнили наказ сибиряка — сиди, не шелохнись, не мешай коню; всадники сидели смирно, Афоня чуть дышал. Кони отрывисто всхрапывали, бока дрожали; напряженный шаг их осторожен, точен. А тропа забирала выше, выше.

— Повернем назад, — слезно взмолил Афоня.

— Дурак, — ответил Степан. Голос его сердит, безжалостен. — Как же назад, ежели коню не оборотиться?

Афоня понял, что обратно повернуть нельзя.

Кони всхрапывали все чаще, в горах переливался, прыгал ответный храп. Копыта цокали о камень резко. Резко цокали в ответ копыта где-то там, в пространстве. И в пространстве, за хребтами, уже зачиналась ночь.

Афоня боялся глянуть вниз, но круча под ногами с правой стороны тянула неотразимо. Афоня вскидывал голову, искал в небе звезды, ощупывал глазами широкую спину Степана, но все нутро кричало, орало: взгляни вниз! — и не было мочи противиться. Афоня видел внизу серую мглу: то наползали на речку туманы. И еще он видел, не глазами, а чем-то другим — видел такое, что...

— Ой, Степан, я слезу... Я пешком пойду.

Степан молчал. Степан сам был не в себе. Темнота сгущалась, а где конец тропы?

Конь его идет ощупью, дрожит, прядет ушами. Ступь все медленней, все осторожней. Сорвался из-под копыт камень, гулко покатился вниз, задняя нога коня скользнула. Степан ахнул и враз облился холодным потом, едва удерживаясь в седле. Он быстро обхватил коня за шею. Коню передался ужас всадника, он всхрапнул и, остановившись, привалился боком к скале. Степан не знал, что делать. Охваченное мраком пространство как бы исчезло: стало совсем темно. А сзади молил Афоня:

— Степан, голубчик! Погибель наша.

— Стой, дожидай! В потемках куда, — дрожащим голосом проговорил Степан.

Афоня вплотную подъехал к нему, но тот боялся повернуть голову: ухнешь с конем в пропасть.

Впервые в жизни Степан почувствовал полную беспомощность. Он ясно понял, что весь его жизненный опыт, отвага, сила — ничто. Может налететь ночная птица, может сверху оборваться камень — конь вздрогнет, неверный шаг и — смерть. Конь стоял смирно. Степан не смел понукать его. Но как же быть? Дожидаться до утра в седле? Задремлешь. Слезть с коня? Опасно: тропа в этом месте так узка, что четыре лошадиных ноги едва умещаются на ней. Степан терял присутствие духа.

Он уже ничего не мог различить перед собою: горы сгрудились вместе, враждебно придвинулись к путникам, черные, немые. Обложенное облаками небо мрачно. Слева едва серела скала, в холодный гранит которой упирался дрожащий локоть Степана. Мысль работала напряженно, она вся без остатка увязала в этой тьме, выхода не было, и Степан, зло сопя, скрипел зубами:

— Будь оно проклято, это дьявольское Беловодье.

И неизвестно, шло или остановилось время. Степан перестал чувствовать коня под собою, не ощущал земли, не знал, жив он или нет. Мрак убил его, он как в могиле, весь холодный, недвижимый. Грудь переставала дышать, мысль пресеклась, он — мертвец.

«Фу ты, леший... Неужто смерть?» — вдруг вздрагивала вся его душа.

Степана бросало в мгновенный жар, волосы на голове шевелились, сердце ударяло полной силой. Степану тогда представлялось, что кругом пусто: ни земли, ни неба, одна тьма, и что он среди этой тьмы подвешен на гнилой веревке, в пустоте. Один, совсем один. Веревка вытягивается, потрескивает, еще минута — и веревка лопнет: враз засвистит в ушах ветер, обомрет дух, а тело будет падать, падать, падать — хрясь!

— Ох, ты...

Вот раздался грубый трубный звук. Тьма откликнулась и замерла. Это ревет горный козел. На душе стало легче — не умер, жив.

Афоня хныкал, бормотал:

— Экие страсти, батюшки мои... Голова чего-то у меня кружится.

— Ну?..

— Тово гляди сорвусь.

— Держись. А то костей не соберешь.

— Пресвятая ты моя богородица... Заступница...

Вдруг облака стали серебриться.

— Никак месяц, — радостно сказал Степан.

Из-за хребтов взнялась луна, облака разорвались, пространство посерело, потом вдруг наполнилось ровным голубоватым светом. Столпившиеся горы враз отпрянули на свои места, внизу засверкала серебристым шнуром речка, из мрачных провалищ плыл туман.

— Батюшка Степан... Сорвусь!

— Завяжи глаза.

— Страшно шевельнуться.

Степана покоробило. Он чувствовал, что Афоня вот-вот опрокинется в пропасть, и не было силы помочь ему. Степан шевельнул повод, лошадь вздохнула и осторожно двинулась вперед.

— Поезжай полегоньку. Ежели страшно — защурься! — крикнул Степан и привычным ухом поймал, как сзади цокают о камень копыта.

Тропа быстро пошла книзу, стала шире, от сердца Степана отлегло. Облака то наплывали на луну, то разлетались. Тропа чуть поднялась вверх и круто стала спускаться. Речка здесь разлилась широко, была молчалива и тиха: рухнувшие скалы подпирали ее течение. При лунном свете Степан ясно различал над ее поверхностью мокрые, блестящие лысины камней.

«Слава богу, выбираемся», — облегченно вздохнул он.

Но вот его лошадь приостановилась, подобрала все четыре ноги в одну точку и скакнула вниз. Степан едва усидел, схватившись за шапку.

Еще прыжок — Степану больно стукнуло ружье о спину.

— Эй, держись! — закричал он Афоне.

Но в этот миг что-то загрохотало сзади. Степан круто обернулся, обмер: лошадь Афони сплоховала — всхрапывая и цепляясь передними ногами о край скалы, она грузно сползает задом в пропасть.

— Афоня! Афоня!!

Еще мгновенье — и, высекая копытами искры, лошадь со ржанием покатилась вниз.

— Афоня!! — чужой, отчаянный крик вылетел из груди Степана. Он соскочил с коня и бросился к краю пропасти. — Афоня, где ты? Эй!

Лунный сумрак молчал. Только разрывало сердце смертельное лошадиное ржанье внизу, сменявшееся тяжким кряхтеньем и почти человеческими ее стонами. Конь Степана тревожно ржал в ответ и бил копытом о камни.

— Степан, умираю... Степан... — слабо раздавалось возле Степана, немного ниже, во тьме.

Степан, как лунатик, стал осторожно переступать с карниза на карниз. Он не думал об опасности, его кто-то вел, указывал, куда ступить, он сделался легким, бездумным, странным, ноги враз прозрели, руки к скале — магнит к железу, крылья опасности поддерживали его над бездной, страх вел книзу бесстрашным для души путем.

— Помоги... Ради Христа.

Степан склонился над Афоней. Тот завяз в расселине скалы. Степан догадался: на том проклятом месте Афоня не усидел, упал и этим сразу нарушил точно рассчитанный прыжок коня.

— Руки, ноги целы? — спросил Степан, ощупывая старавшегося приподняться товарища.

— Кажись, целы... Ведь я не высоко летел, сажени с две... Бок зашиб, голову.

— Сиди. Дожидай...

Степан, так же по-кошачьи карабкаясь, стал быстро спускаться к лошади.

Он не знал, долго ли и как спускался, — он был не свой, не здешний, он спустился в пропасть, широко открыл глаза. И содрогнулся. Чалая лошадь Афони, падая с огромной высоты, напоролась животом на остро торчавший ствол сломленного крепкого деревца. Она упиралась в камни передними ногами, зад же лошади, подпертый пронзившим ее стволом, висел в воздухе. Она ржала мучительно, с смертельной тоской, била задними копытами по воздуху и крутилась, стараясь освободиться. Но крепкое острие все глубже уходило в распоротый живот. Рот ее был оскален и покрыт пеной, голова бессильно моталась во все стороны. Степан с маху ссек топором лесину, лошадь стала на все четыре ноги — и зашаталась. Степан потянул из живота ствол — вместе с хлынувшей кровью вывалились внутренности, как кольчатые змеи. Лошадь протяжно охнула, опустила голову и застонала по-человечьи; задние ноги ее отказывались служить, подгибались, словно она собиралась сесть. Степан засопел. Лошадь повалилась на бок. Шатаясь и скривив рот, Степан зашел спереди, опустился на колени и обнял лошадь за шею.

— Миленькая моя... Лошадушка... Детишка моя, лошадушка... Лошадушка!

Он целовал ей глаза и лоб. Глаза ее были влажны и под луной блестели умоляюще. Она вся затихла, чего-то ожидала покорно.

— Миленькая, лошадушка.

Степан глухо крякнул, перекрестил ее, вскинул ружье и выстрелил ей в ухо.

Глухо, перекидисто загрохотал в горах выстрел, долго перебрасывался от горы к горе, и последние отзвуки его где-то зарылись в туманах.

V

Теперь приятели плелись пешком, Степанов конь тащил на себе весь груз. Торбы с хлебом и сухарями стали тощи, а сказочное Беловодье не подавало о себе никакого голоса. Путники приуныли. Афоня шел с обмотанной головой, припадая на правую ногу. Тяжкая дорога и ушибы мешали ему молитвенно настроиться, но он все же молился молча и за убившуюся вчера лошадь и за свое спасенье. Шли ровными лугами, блестело утреннее солнце, красовались цветы в траве, от самоцветных гор веяло теплым, смолистым запахом. Вчерашний ужас еще не иссяк в глазах Афони, бледное, постное лицо его сосредоточенно, все думы его там, среди мрака ночи, и слух наполнен липкими звуками предсмертного ржанья. Он не видел солнца, не замечал росистых трав кругом.

— Хоть бы черт повстречался, — буркнул Степан.

— Что ты такое слово вымолвил! — ответил Афоня и взглянул в хмурое, озлобленное лицо Степана.

Степан сказал укорчиво:

— У тебя ведь душа коротка. Ты все над землей привык порхать, по-птичьи. Сказки бы тебе бабьи слушать, а не... Я знаю, о чем ты думаешь... Вот ужо тебя богородица или андел божий на крыльях прямо в Беловодье, к кисельным берегам. Нате, кушайте, Афанасий Митрич. Хы! А своими ногами не хочешь пошагать?

— Вовсе даже не об этом я думаю, — печально молвил Афоня и, помолчав, спросил: — Степан, отчего Чалка так ржала? Сердце за нее болит. Это я сгубил ее.

— Ничего не ржала. Тебе погрезилось... Сразу насмерть зашиблась.

— Пошто ты выстрел дал? Пристрелил?

— Ничего не пристрелил. Козла увидал, да промазал.

Афоня вздохнул, испытующе посматривал в притихшие глаза друга.

Обедали у ручья, в тени густого кедра. Степан набрал грибов, хлёбово было вкусное. Афоня повеселел, взор вновь окрылился сказкой, мысли отлетели от земли. Но Степан отрезвил его:

— По расчету, вчера на месте должны быть, а еще и белков не видно. Шестые сутки путаемся. Околеешь тут.

— В Беловодье отдохнем.

— Плохой ты товарищ. Беловодье... Кажись, сказано тебе ясно, что Беловодья на свете нет! — отрубил Степан.

— Куда же оно девалось? Есть. Мне видение было, сон. Вот уснем в беде, а проснемся у молочных рек.

Степан насупил брови и махнул рукой.

Тропа опять ударилась в горы. Шли каменистыми россыпями. Путь труден, неподатлив. У коня из сбитых ног сочилась кровь.

Вдруг на повороте внезапно вырос всадник. За ним шла в поводу свободная, незаседланная лошадь.

Мрачные морщины на лбу Степана разлетелись, лицо ожило. «Ну, теперя доберемся, — подумал он, с надеждой посматривая на приближавшегося всадника. — Кровь пролью, а лошадь будет наша».

— Куда? В Урянхай, что ли? — зычно спросил всадник, поравнявшись. — За хребты?

Путники рассказали ему все. Афоня захлебывался от радости, умильно посматривая в свинячьи глазки великана всадника, и юлил перед ним, как повстречавшая хозяина заблудившаяся собака.

Всадник пудовой горстью огладил круглую бороду, сказал:

— Вертайте, самоходы, назад. В белках вам крышка.

— Выберемся, — возразил Степан, оглядывая огромную фигуру мужика. — Взад оглобли поворачивать не рука нам.

— За смертью идете, — угрюмо проговорил мужик. — Вьюга была, путь в снегах перемело.

— Продай, пожалуйста, коня, выручи нас, — стал просить Степан, чувствуя, как в сердце закипает неприязнь.

— Ты умен, — раздраженно ответил всадник. — Для себя его купил, эвот какую путину сломал.

— Продай! — решительно отсек Степан, глаза его сверкнули. — У тебя два коня... на одном доедешь.

Мужик, не ответив, тронул коня.

— Продай! — с отчаянием заорал Степан, хватаясь за ружье.

Мужик обернулся и, вмиг сорвавшись с седла, в два прыжка был за выступом скалы. Щелкнул затвор ружья, дуло нащупало Степанов лоб.

— Бросай ружье, язви тебя! Убью!!! — взревел из-за скалы медвежий голос.

Афоня пал на колени, взмолился:

— Дядя! Дядя!!

Степан подался назад, заскрипел зубами и покорно повесил ружье за плечи. Его била дрожь. Лицо налилось желчью и подергивалось.

Мужик вперевалку подошел к Степану и спокойно сказал:

— Мой совет — назад. Упреждаю. Было бы сказано. Садись на мою лошадь — и айда... А промежду прочим... Знаете дорогу?

И опять подробно рассказал им, как идти. Сел в седло и, не оборачиваясь, поехал.

Афоня кричал ему вслед:

— Ежели погибнем, на тебе ответ перед богом!

— Всяк сам за себя ответчик! — гулко бросил тот.

Степан с ненасытной злобой сек взглядом широкую удалявшуюся спину, руки чесались пустить вдогонку пулю, но мощь и звериное бесстрашие всадника были защитой ему.

— Ну и дьявол... — скрипел Степан зубами.

Афоня проговорил:

— Господь с ним.

— А подь ты к праху, фаля! Тьфу!!

VI

На следующее утро, пробудившись, Афоня закричал спавшему товарищу:

— Степан, Степан! Глянь-ко, белки!

Степан приподнялся из-под шубы. Перед ними, совсем близко, высились громады гор, их подол и взлобки опушены густым лесом, выше — полоса леса обрывалась, обнажая серые, исчерченные черными ущельями склоны, а вершина хребта придавлена пластами снега, приветливо розовевшего в нежных потоках утренней зари.

Афоня был в одной рубахе. Не чувствуя холода, он дивился на вознесенные к облакам снега. Все гуще алели снежные вершины, все голубей становились сугробы на обрывах и кручах, в ребристых же гранях снег до боли глаз блестел расплавленным стеклом.

Афоня сложил молитвенно руки и шептал, умиляясь:

— Господи, господи, снег-то какой... красный... Так бы и погулял там.

— Может, там смерть наша сидит, — сурово сказал Степан, разжигая костер.

Но Афоня не слышал, не замечал его. Афоня опустился на колени и гнусаво, по-старушечьи, запел:

— «Заступница усердная, матерь господа выщая».

— Выщая, выщая, — брюзжал Степан и крикнул: — Где у тя чайник-то? Ишь замерзла в нем вода-то. Оболокись [1], заколеешь!

Степан знал, что эта видимая близость белков — прямой обман, дай бог хоть на вторые сутки дойти до снегового перевала. Сегодня путникам придется пересекать топкое болото, отделявшее их от грани лесных трущоб, и сегодня же последний сухарь будет съеден.

Степан угрюм и молчалив, Афоня радостен.

— Ты не беспокойся. Вот помяни мое слово: как в лес вступим, живность найдем — рябков либо зайчишек...

— Мерблюда на сосне, — буркнул Степан и почувствовал, что желудок его пуст.

---

[1] Оболокись — оденься.

Шли каменистым болотом целый день. Ноги вихлялись на кочках и проваливались по колено в воду. Сапоги текли, промокшие ноги зябли. Болото местами покрыто вереском, баданом, клюквой и брусникой: для куропаток — рай. Степан держал ружье наготове, но — странное дело — кругом мертво.

Тропа то пропадала, то обозначалась снова, были видны следы лошадиных ног, путники двигались уверенно. К вечеру тропа исчезла. Искали, искали — не нашли. Решили ночевать на сухом взлобке: что скажет утро. Разделили остатки сухарей, пустые мешки разорвали на онучи. Афоня целую шапку прошлогодней клюквы набрал:

— Птица век ягодой кормится.

— А ты птица, что ль? — возразил Степан. — Сдохнешь... — Голос звучал печально, как ни старался бодриться Степан.

— А ты верь, ты верь! — выкрикнул Афоня, ударяя себя сухим кулаком в грудь; голубые глаза его вспыхивали и белая бороденка, хохолком, тряслась. — Тогда, Степанушка, все будет хорошо.

Степан поднял на Афоню тяжелый взгляд, собираясь ударить друга злобным словом, но чувство нежности, поднимавшейся от самого сердца, останавливало его. Он только вздыхал, дивясь беспечности товарища.

Утром моросил дождь, и белки задернулись тучей, голодные путники вновь принялись отыскивать тропу. Все выползали, вынюхали — нет.

Степан сел верхом и взад-вперед ездил по опушке леса — нет. Поиски длились очень долго, неудача злила Степана, плевки и ругань летели из его уст.

Весь мокрый, от неудачи позеленевший, Степан подъехал к Афоне. Тот приподнято сказал ему:

— Идем! Я знаю. Идем скорей.

Тайга разинула колючую пасть и поглотила их. И в яркий-то день в тайге живет сумрак, теперь же все небо в тучах: путники подвигались наугад, вслепую. Степан то и дело припадал к земле, шарил мох, пушистый и мокрый, — не было никаких следов.

Прошел вечер, прошла ночь.

Кружили еще целый следующий день тайгой и закружились окончательно: снеговые хребты пропали. Дождь все моросил.

— Надо солнца ждать. А то... — не докончил Степан и, отвернувшись, засопел.

Сделали шалаш из хвои. Лежали рядом с закрытыми глазами. Не спалось. Думали каждый о своем. Глухая ночь.

— Ты спишь? — спросил Афоня.

— Нет.

— Я все думаю. Деды-прадеды эту землю-то праведную спокон веку, сказывают, искали — не нашли. Вот уж, кажись, тут и есть, уж звоны слышны колокольные. Только бы войти — ан нет, лукавый сомустил: грех вышел, перегрызлись деды и — прощай, земля святая! Идут назад ни с чем.

Помедлив немного, говорит Степан:

— Я звонов твоих колокольных не ищу.

— А что же ты ищешь?

— Чернозем. Да всякое угодье чтобы... Пущай мужики на землю крепко сядут. Отъедятся хоть.

— Эх, брат, брат... Ты все о брюхе...

— О чем же еще?

— А ты о душе бы...

— Душа попу нужна.

— Ведь в той земле живут народы без греха, по правде. А у нас как? Сердечушко во мне все изболелось. Бывало, уйдешь по весне в бор соловьев ловить, да и думаешь... Я люблю думать по ночам...

— Ночью спят, днем работают, — попыхивал трубкой Степан, — а ты все в розмыслах каких-то бабьих... Анхимандрит...

Афоня вздохнул и проговорил негромко в нос:

— Какие вы все обидчики!

VII

День был пасмурный, накрапывал дождь. Степан тщетно искал с ружьем добычи, принес к обеду только двух малых дятлов. Тайга на всем пространстве

покрыта мохом и лишайником, бока у лошади от бескормицы ввалились.

Беспокойство в душе Степана все нарастало, сердце ныло нехорошим предчувствием. Ослабевший Афоня дремал в шалаше и сквозь дрему посматривал на друга, как больной ребенок на отца.

Степан начал перебирать вещи в мешке. Ему нужна коробка с пистонами и пороховница. Сначала движенья его были неторопливы и уверенны, потом стали быстрей и суетливей, потом... Дрожащие руки его судорожно хватались за тряпье, как за раскаленное железо: трепал, встряхивал, швырял, обшарил все карманы, вытряс сапоги, шапку, сорвал с себя и перетряс всю одежду, вновь кинулся к мешку. Лицо сделалось мертвенно-бледно, волосы прилипли к запавшим вискам, в глазах безумный страх.

— Что ищешь? — тоскливо спросил Афоня.

— Ножик, маленький такой, — помедля, дрожащим голосом проговорил Степан.

— А эвот он, эвот...

Степан сел на пень, под морду лошади, обхватил колени и весь согнулся. Долго глядел в землю, потом сердито плюнул, кого-то ругнул с плеча и завалился спать. Сон его был глубок и крепок.

Афоня охал, бредил, звал мать с женой.

На другое утро засияло солнце.

Степан поднялся нехотя. Глаза его были потерянны, пусты, но рассеянный Афоня не прочел в них ничего.

— Жрать, Афоня, жрать, — хриплым басом буркнул Степан в бороду и приподнялся, большой и крепкий, как медведь.

— Нету, — уныло вымолвил Афоня. — Вот заячьей капустки, травки кисленькой пожуй.

Молчаливо, отчаянно пили пустой чай. В животе бурлило.

Пошли на восход, чуть левее солнца.

— Солнышко красное, укажи путину верную, — приговаривал Афоня.

Шли прямиком. Попадались огромные, скатившиеся с гор обломки скал и в три обхвата валежины.

Ругаясь, обходили. Сапоги истрепались вдрызг, одежда о сучки трык да трык — в клочья.

Начался пологий подъем — тянигус. Афоня охал, хватался за бок, отставал. Он весь сделался каким-то шершавым, взъерошенным, согнулся и походил на старика.

Степан бодрым, но вкрадчивым голосом спросил:

— А не попала ли к тебе коробочка с пистонами? Да порох еще?

— Куда мне? Не брал.

Ну да, дело ясно, значит обронили на прежних стоянках. Только чудо могло спасти их теперь. Но Степан в чудеса не верил. В усах и бороде его едва промелькнула язвительная улыбка.

— Да, Афоня, любезный друг, — начал он тихо и подавленно. Его поджигало брякнуть сразу всю страшную правду, чтоб ошеломить Афоню, но опять кто-то заградил уста, и сердце Степана облилось последней любовью к другу. — Теперича мы, Афоня, оживем... лишь бы снега перевалить.

— Бог поможет. Только бы вот маленечко поесть, — откликнулся Афоня и тяжело вздохнул.

Вдруг Степан бросил повод:

— Козел... — и быстро пал за валежину, взводя курок.

Афоня взметнул глазом на высокую, торчавшую поверх сосен скалу. На остряке прямо и неподвижно стоял круторогий зверь, подставляя грудь. Степан волновался. Решалась судьба. Руки дрожали.

— Не торопись, промажешь, — шепнул Афоня. Устремленное к скале лицо его вытянулось и застыло.

Раскатился выстрел, хохочущий, нахальный. Козел подпрыгнул и кувыркнулся рогами вниз.

— Готов, готов! — закричал Афоня и, забыв про ушибленную ногу, побежал к скале.

Степан же сердито поднялся, сорвал с головы шапку и бросил оземь. Лицо озверело, рот плевался и шипел:

— Анафема. Пропастина... Змей.

Он видел: пуля ударила возле козла в скалу, от камня брызнула мелкая пыль осколков. Остался

единственный дробовой заряд. И неизвестно, для чего теперь его беречь.

«Для себя. В рот», — без всякой жалости подумалось.

Афоня возвращался медленной, вихлястой походкой, сгорбившись, обхватив живот.

— Сам видел, как он мякнулся. Все обползал — нету, — сказал Афоня скрипучим, задыхающимся голосом.

— Целехонек. На рога пал, да и умчался. Они завсегда на рога кидаются.

Афоня лег на траву и прикрыл глаза рукою.

— Измаялся я, Степанушка... Тяжелехонько мне.

— Пойдем, валяться некогда.

На ходу Степан поддерживал его. Голод морил их, высасывал соки, как жоркий клещ. Афоня опустил голову, шагал нетвердо, враскачку.

— Трое суток не ели мы с тобой.

VIII

Лишь к позднему вечеру истомленные путники выбрались на край тайги, к густому большетравью. Впереди было мрачно, взор упирался в серый склон хребта, заслонявшего почти все небо.

Вот он, хребет со снеговой спиною: перевали его — и вступишь в теплый, безмятежный край. Надо бы радостно кричать и целовать камни, скатившиеся с заоблачных высот, но путники угрюмыми, почти враждебными взорами встретили эту мрачную твердыню: в них все приникло, ослабело, съежилось.

Степан лениво и вяло, двигаясь как во сне, стал разводить костер. Афоня в бессилии лег, укрылся шубой, у него звенело в ушах, ныла грудь, дрябло трепыхалось сердце. Хотелось напиться холодного, кислого. Он взглянул в сторону хребта и порывисто повернулся к нему спиною, как к врагу.

Думы Степана были тяжелы и черны. Ему казалось, что смерть ходит по пятам за ним. Но кто же накликал ее? Он — Степан.

Он так загряз в этих думах, что, обрубая сучья, ударил себя топором по руке и долго сосал липкую кровь из пальца. Афоня застонал. Степан покосился на него.

«Афоня, друг... Желанный мой...» — мысленно прошептал Степан и засопел. Он подошел к спящему товарищу, пощупал его голову: голова пылала.

— Сидеть бы тебе дома, с бабой, а я, черт, дурак, сманил тебя — пойдем, мол, чужие края усматривать... Да в могилу и завел, — вслух думал он. — Э-эх!

Едва нашел воды, вскипятил чаю, а в другом котелке сварил какую-то бурдомагу: ягода, трава, неизвестные коренья и грибы. Есть хотелось неимоверно. «Аж от голодухи пупок к спине присох». За эти дни он очень исхудал, плотно пригнанная к его фигуре синяя поддевка висела мешком, ноги дрожали, руки обессилели, и весь он одрях, словно разбитый хворью старец.

«Хоть бы ломоть хлеба черствого, покрытого плесенью! Неужели больше не суждено досыта наесться? Мяса бы, мяса вареного, с желтым жиром!»

Степан сплюнул и вытер рукавом свисавшие в бороду усы.

— Нет, врешь, — бодрясь, шептал он, помешивая бурдомагу. — Авось фартанёт. Жизнь — штука темная, словно лес в ночи.

Но сердце не верило обману слов, сердце мучительно сжималось, и Степан рычал, как раненый зверь, уносящий в себе пулю.

«Вот и обед, ха-ха! Будить иль не будить?»

Афоня подал голос:

— Я кусочек съел бы. Дай мясца. Горяченького. Козлятинки...

— Нету, браток, нету, милячок.

— А? — поднялся на локтях Афоня. — Ты чего, Степанушка, сказал?

— Нету, мол. Какая козлятина? Вот суп без круп.

Афоня сбросил шубу, сел:

— А козел? Я нашел. Я притащил. И спереди и сзади по башке... А рога в сапогах... Э-эвот какие!..

Он снова повалился, почавкал пересохшим ртом, сказал:

— Пить...

Степан вытаращил глаза и на четвереньках подполз к нему.

— Ой, ты... Никак огневица. Заговаривается... Афоня, Афоня!

Больной лежал с закрытыми глазами, будто спал, на пылавшем лице улыбка, губы шевелились, вытягивались, искали чего-то. Льняные волосы нависли шапкой на белый потный лоб.

— Вот грех... — горько сказал Степан, вздыхая.

Потом помочил в холодной воде утиральник, обмотал голову товарища.

Бурдомага была отвратительна. Но Степан жадно пожирал, по-волчьи, горькие коренья и грибы глотал целиком. Достал бутылку с водкой и, разглядывая, повертывал ее перед пламенем костра. Водки было немного, она искрилась желтым и синим.

— Чертово пойло... А?

Он берег ее для перевала через снега, но соблазн огромен: скулящая тоска и голод требовали дурмана. Степан задрал вверх голову и, не отрываясь, выпил. Последний глоток долго задерживал во рту: было жаль расстаться. Зажал в горсть бороду, искоса посматривал на костер, не видя его, и прислушивался к себе, ждал волшебства. Как будто стало легче, веселей, но эта веселость не настоящая, она обуяла лишь голову, а там, на сердце, в исподе, все так же одиноко, мрачно.

— Только разбередила... Тьфу!

Где-то надрывно стонала выпь, поухивал филин. Над головой теплились звезды, крупные, четкие. Выплыл месяц. Склоны хребта стали видимы сквозь сизую мглу ночи, от каменистых гребней и деревьев пала густая тень.

Степану показалось, что воздух вдруг похолодел, а жаркое дыхание костра ослабло. Он уставился на месяц и начал вслух думать, роняя бессвязные слова:

— Эвот ты куда взобрался, месяц-батюшка, какую

высь. Поди и деревню нашу видишь? Известно. Вот и скажи, крикни нашим-то, ведь рот у тебя, и глаза, и нос... Усмотрел, мол, я человека у костра, прозывается Степан Недокрытов, не вашей ли деревни он?

Степан помахал месяцу шапкой, силился улыбнуться, но улыбка вышла жалкая, плаксивая, язык заплетался, в отуманенной голове пляс и чехарда.

— Да ты ничего, понимаешь, такого не сказывай. Эй, месяц! Все, мол, честь честью... очень примечательно... Любови Офросимовне скажи, хозяйке моей... Сидит, мол, твой супруг, Степан Недокрытов, у костра, жив, здоров, и таковы ли радостные думы у него во всех мозгах... очень даже радостно у него на кипучем сердечушке... Так все чередом, брат, и обскажи... Могилкам тоже посвети, батюшке с матушкой. Пускай не дожидаются гостя во сыру землю, пускай одни полеживают... вот, вот... А ты зубы-то не скаль, знай слушай!

Степан огляделся кругом и зябко повел плечами: ему почудилось — живая тень бродит меж деревьев, прячется. Не медведь ли стервятник? Пусть, Степан не струсит. А может, леший-лесовой?

— Эй! — вскочил Степан, в сердце его бурлило. — Черт! Леший! Бери душу! Продаю! Отрекаюсь! Себя не жаль, товарища жаль... Бери! Только укажи дорогу. Брось водить. Не озоруй... Бери душу! Черт, сатана с хвостом! Кажи харрю! Эй!!! — И Степан по-цыгански свистнул.

— Степан, Степан! — резкий раздался Афонин голос. — Какие слова мелешь... Окстись!

Степан покачнулся. Словно проснувшись, он сразу отрезвел, пнул ногой пустую бутылку, подошел к Афоне и присел возле него на корточки.

— Тяжело чего-то стало, — тоскливо сказал он. — У души ноги ослабели, Афонюшка, не держат, в шаг пошли.

В голубоватых зыбких далях посвистывало, пересмеивалось, пискливо завывало.

Афоня заохал, с боязнью перекрестился.

— Ну, как? — спросил Степан.

— Плохо. Порешился я весь.

Степан долго не мог заснуть. Месяц укатился за горы, Сохатый[1] перекинулся вправо. Степан лежал у потухшего костра, не смыкая глаз. Чертово гуканье затихло, тягучая настала тишина. Степан ворочался, приподымался, жадно затягивался трубкой, валился вновь. Он не находил себе покоя. Все внутри ныло, тосковало страшно. Хотелось схватить нож и разом покончить неодолимую тоску. Такого душевного состояния он сроду не знавал. Впрочем, года три назад его мучил сгнивший зуб. Степан бросался тогда от боли на стену, брал в рот ледяную воду, — боль вдруг стихала, но через мгновенье с удесятеренной силой валила его с ног. Потом, помнит, загнул железный гвоздь, вбил его под корень зуба и вырвал наболевшую гниль вместе с куском десны. Страдание кончилось.

— Ничего не остается, — сказал сам себе Степан, и рука его крепко сжала нож.

«Не смей», — ясно отпечаталось в самых ушах его.

Он боднул головой и стал напряженно вслушиваться. Было тихо. Над лесом тянули птицы, крылья их торопливо свистели в ночном воздухе. Отфыркивался конь.

— Матушка, матушка... Родимые мои детушки... Женушка ненаглядная, — шептал из-под шубы Афоня.

Степан различил ухом, как Афоня плачет, и настороженная рука Степана выронила жадный до крови нож.

IX

Утро было теплое, яркое, веселое. Степан встал бодрый. Отчаянье перегорело в нем и провалилось вместе с ночью в тартар. Он верил в настоящий день — будет удача; в жилах гуляет взбудораженная кровь, в небе горит солнце. Светло, тепло. День будет удачный, верный.

---

[1] Сохатый — Большая Медведица, созвездие.

Степан выпил ледяной воды, взял ружье с последним зарядом дроби и, посматривая на сверкавшие снега перевала, уверенно зашагал сквозь лес. Он сейчас принесет козленка, либо зайца, либо большую птицу.

Последний выстрел будет смертелен.

Чтоб не заблудиться, он делает на деревьях затесы топором. Вот только мучает голод, подтянуло живот. Ничего, сейчас. Горячее варево, парное мясо. А пока он обламывает молодые нежные верхушки у приземистых елок, очищает их и с аппетитом ест.

Полянка, мох. Степан бросил взгляд в можжевеловый, облитый солнцем куст и замер. Под кустом кормилась крупная тетеря с цыпленком. Сердце заработало безостановочно, буйно. В глазах замелькали мухи, по пищеводу прокатилась судорожная волна, рот наполнился слюною.

«Афоня, Афонюшка, голубчик». И, припав к земле, Степан, как ящер, стал красться к добыче. Тетеря совсем близко. От нее наносит ветерком вкусный дух. Так, так. Сейчас зажарят и съедят.

Хрустнул под коленкой сук, тетеря сорвалась, заклохтала и, описав круг, вновь села к тетеревенку. Сзади чуфыкнул тетерев-черныш, тетеря чуть растопырила крылья и завертела головой. Степан, вновь вминаясь в мох и не дыша, ползет все ближе, ближе. Осталось шагов десять... Пора.

Цыпленку захотелось поразмяться: он вытянул одну ногу, потом другую и весь встряхнулся, как молодой щенок. Тетеря позвала его: «Клу, клу», — и клюнула ветку с кровавыми ягодами.

В Степане ожил голодный хищник, но от волнения, от бессонной ночи руки тряслись, и направленное в тетерю ружье ходило, как солома в ветер. С пихты, под которой притаился Степан, вдруг посыпалась хвоя: над самой головой его предупреждающе крикнул подлетевший тетерев. Тетеря тотчас отозвалась и приготовилась сорваться.

«А ну!»

Степан спустил курок и вместе с грохотом кинулся вперед. Тетеря снялась с места и полетела низом, в чащу, маня за собой тетеревенка. Тот с испуганным гвалтом носился меж кустов, удирая от настигавшего его врага.

«Врешь, не уйдешь!.. Стегнуло!»

Степан пал на него, он выскочил, понесся, Степан за ним.

«Ага! Папороток перешиблен!.. Папороток!»

Тетеревенок взлетел на сук, отдышался и, перепархивая с дерева на дерево, улетел на зов матери.

Степан, сжав кулаки, долго смотрел им вслед. Рот его был полуоткрыт. Потом свирепыми прыжками бросился к ружью, сгреб его в обе руки и, рыча, со всех сил стал бить им о дерево. Ложе — вдребезги, ствол изогнулся в колесо. Он отшвырнул изувеченную сталь и привалился плечом к сосне. Закрыл ладонями свое крупное бородатое лицо, ссутулил широкую спину, съежился и стал жалок видом. Крепкий, своевольный мужик не мог сдержать малодушного язвительного стона. Чтоб заглушить его, Степан до боли стиснул зубы, тогда из ноздрей вырвалось звериное мычанье. Степан хрипел, плевался. И вдруг сразу захотелось выкричать все, что накопилось внутри за сорокалетнюю жизнь его.

Тут представилась вся его каторжная участь, с малых лет и до последнего месяца, вся русская мужичья жизнь. Безземелье, голод, нищета. А кругом: болезни, смерть, тяжкий, черный труд впустую, из-за корки хлеба. И единая радость — царев кабак. И единая радость — на шею петля. Для чего ж родился, для чего он жил, слепой и темный? Ведь вот другие люди, в городах, — те все знают, им многое дано, вся мудрость жизни у них как на ладони.

«А мы кто? Ни зверье, ни люди... Эх! Скотинка, тварь...»

И лишь одна особая мысль кружилась над сердцем Степана. Издали, намеками, она хотела ему открыться — и не открывалась, не могла: так ласточка среди бушующего океана безнадежно ищет, куда присесть.

«Жалеючи шел. Для миру старался. Мужиков жалел...» — скользнуло было в сознании и пропало. Самое главное, огромное. И не осенило большим светом, и не оправдало: слишком темна была ночь в душе.

И вновь на маленькое, ничтожное, внутрь себя, внутрь своей личной жизни: тетеря, потерянная коробка с пистонами и порохом, неудачи.

Ноги его подгибались, плечо скользило по древесному стволу, он присел к самым корням и, стиснув голову руками, выл. Вой был темный, страшный, необузданный: все человеческое, все вечное тонуло в нем, оставалась одна земля, один допотопный зверь.

Потом быстро встал, вздохнул, отмахнулся рукой — разом все свалилось с крутых плеч — и твердым шагом пошел к костру. Был в душе холод, мрак, яркая ненависть к самому себе. Будь что будет, но он расквитается с собой. Он отрубит свою проклятую, предавшую его руку, он выткнет себе оба глаза. Он... О, погоди, погоди!

Афоня лежал с открытыми глазами.

— Что, милячок, каков? — спросил Степан ласково.

— Неможется мне.

— Ничего, как-нибудь. Недалечко теперь. Да и солнышко...

— Степанушка, мне плохо.

Губы Афони белы, лицо желтое, скуластое, щеки ввалились.

— Ничего, как-нибудь, — утешал его Степан, свернул шубы в торока и навьючил лошадь. — Пойдем.

— Не выдюжить мне... Я бы тут подождал тебя.

— Пойдем!

Афоня повиновался. Степан взял его под руку, Афоня пошатывался, охал. Степан ощущал через свою рубаху, как от тела друга пышет жаром.

— Как же мы с тобой в снегах-то поплетемся? Афоня, друг...

— Не знаю. Заслабел я шибко.

— А там, за хребтом, — кисельные берега, радуги, петухи индейские, калачи крупичатые на березах...

Степан говорил, как сказку сказывал, улыбаясь, заглядывал в его глаза. Афоня не говорил ни слова. Степан недоумевал: почему Афоня не спросит — где ружье?

Вот луга кончились, пошел крутой подъем, усеянный обломками скал и крупными откатными камнями. Начинался взъем хребта. Афоня едва переставлял ноги. Степан выбивался из последних сил, в глазах от голода темнело, голова кружилась, позванивало в ушах.

По пути в полугоре одинокая приземистая сосна. Она словно вышла из лесу прогуляться, да тут и расселась лениво: крут подъем. Афоня со стонами повалился в ее тень.

— Не пойду... Хоть зарежь... — и заплакал.

Солнце палило. С хребта струились по склонам ручейки — дозорные вечных снегов. Над разогревшимися камнями дрожал, переливался воздух. Под ногами Степана прошмыгнула зеленая ящерица. На соседний камень вскочила маленькая зверушка и посвистывала. Ей откликались другие свистунки.

Вверху, под бледно-голубым небом, кружился орел. Он видел холодные снега, тайгу, край неба, еще видел за хребтами — вот тут и есть, рукой подать — жилища людей, табуны, зеленое приволье. А вот и эти две серые, припавшие к земле козявки... живы! Раскидистым винтом, плавно орел спускался, орлиный клекот слетел к земле. Свистунчики стремглав, вниз головой, — за камни.

— Орел, — сказал Степан, подымая к небу взгляд.

Афоня молча лежал с открытыми мокрыми глазами.

— Как же быть, Афонюшка? Надо идти.

— Силушка кончилась. Нету силушки.

— Ты сам посуди, милячок: назад идти — об одном коне, без корму, ближний ли свет? И помыслить страшно. Не́жить кругом, безлюдье.

— Ку-у-да тут, — уныло протянул Афоня.

— А тут, может, два шага — и жительство. Сказывал крестьянин, снега не широко лежат. Авось как ни то... А может, и повстречается человек какой, как знать?

— Может, и повстречается.

Степан говорил ровным голосом, улыбался через силу: хорошо он знал, что снеговой путь — убойный и человека встретить — не придется. Степан понимал, что с полумертвым другом далеко не уйдешь, что их жизнь оборвется скоро. Но не лечь же под сосну, вот тут, да скрестить на груди руки, ждать конца. Нет, Степан со смертью еще поспорит.

И вдруг:

«Убить коня».

Лицо его сразу прояснилось, глаза загорелись. Вот оно! Отъедятся, отдохнут, а там разыщут путь: с сытым брюхом куда угодно: вперед, назад.

— Посади ты меня на лошадь, — скрипуче заохал Афоня, — может, усижу.

— Дело, — согласился Степан, и мечта его камнем в омут.

«Нет, действительно не гоже... Назад без коня — голод замучит, вперед пешком — прямая смерть в снегах».

Едва хватило сил посадить в седло безжизненного Афоню. Степан задохнулся от натуги, присел на камень, обливаясь холодным потом. Мучил голод, ни на что бы не смотрел. Заморенный в тайге конь тоже обессилел: велик ли груз — высохший Афоня, а коню в тягость.

Подъем делался все круче, израненные ноги лошади отказывались служить. Пойдет, пойдет да станет... Степан понукает — стоит, дерет — стоит, только глазами говорит Степану: «Пожалей».

— Зарезать падину, съесть! — кричит Степан...

— Да я лучше на осине удавлюсь... Что я, турка, что ли? Тьфу!

Согнувшись в три погибели, обхватив лошадь за шею, Афоня был как мертвый, голова моталась.

— Привяжи! Свалюсь я... Ой, смерть... — как сквозь сон, тянул Афоня.

Становилось холодно, из балки, по которой подвигались, несло зимой.

Измученное тело Степана тоже требовало покоя, но, пока солнце высоко, надо залезть на хребты: авось сверху что-нибудь и досмотрит глаз. Авось...

X

Вот и снега. Белый, ослепительно сияющий погост. Степан щурится, едва перенося резкий свет, у Афони глаза прикрыты тряпкой. Вначале, по северному склону, плотный наст снега вздымал коня, но лишь перешли на солнце, конь сразу увяз по брюхо. Больших трудов стоило освободить его. Степан стал искать твердого места, но и сам провалился: снег раздрязг от солнца. На Степана напало равнодушие и желание все это разом кончить. Ему припомнилось предостережение мужика — не сворачивать с тропы: путь опасен, в ледниках встречаются огромные трещины, обманно перекрытые снегом: шагнешь — могила. Уж если сбились, надо друг с другом связаться веревкой, идти гуськом. Где она, тропа? Где веревка? Скорей бы провалиться.

А солнце снижалось, может быть, ночью станет твердый наст, но разве можно дожидаться ночи? Куда во тьме пойдешь, как заночуешь без огня?

Афоня совсем стал плох. Он стонал, хныкал, валился с лошади.

— Погубитель, погубитель... Что ты со мной делаешь? Куда завел? — бессвязно шептал он и, сорвав с глаз повязку, позвал шагавшего рядом Степана. — Степанушка, где ты? Не давай ему, не давай...

Степан шел, увязая вместе с лошадью, безжалостно хлестал ее по глазам плетью и не откликался. Лошадь вдруг ухнула передними ногами, с маху ударившись мордой о камень. Из рассеченной губы лилась кровь, лошадь вылизнула два выбитых зуба. Степан изозлился, исстегал ее. Выдираясь из густо рассеянных, прикрытых снегом камней, она оборвала себе все копыта, щурила поврежденный плетью глаз,

поджимала больные ноги. Степан плюнул, бросил плетку, сел. В душе пустота: ни одного желания, ни одной мысли. Лицо его вспыхивало и бледнело, белки глаз покрывались желтым налетом. Он перестал себя чувствовать, обратился в пень: дерево срублено, пень будет торчать серой кочкой, пока метель не навеет над ним сугроб.

Афоня сполз с лошади и, скрючившись, валялся возле, прямо на снегу.

Вечерело. Лучи солнца косо ударяли в снег. Все заалело кругом. От грудастых сугробов и неровностей по алому полю ложились голубые тени, алмазы горели в снегу огоньками. Разливался зимний холод. Лошадь дрожала, от нее клубился пар. А позади, внизу, было лето, зеленела тайга, шумели травы.

— Мороз на дворе, зима... На печку бы...

Это Афоню мучила хворь, он бредил. Рука его самовольно поддевала снег, прикладывала к горячему лбу.

— Степан, — тихо позвал он, очнувшись. — Поди ко мне...

Степан взглянул на солнце.

— Ого! Фу ты, черт... Вечер! — и подошел к Афоне.

Афоня дрожал, глаза были возбужденные, большие, в темных кругах.

— Вот и отходили мы с тобой, Степанушка. Беловодью конец. Умираю. Трудно. Дух сперло.

«Баба... — подумал Степан. — Из-за тебя гибну», — и колючим взглядом в Афоню, как стрелой. Потом сказал, кривя губы:

— А ты верь. Что же ты хнычешь?

— Верю.

— Верь, верь. Авось бог валенки тебе пришлет, ангелы в баню поведут: парься! Эх, дура!

Молчание. Потом тусклый, рыхлый, как вата, голос:

— Смерть так смерть... Когда-нибудь надо же... За мир старались.

Трудно. Больной замолк, глаза закрылись, дышал тяжело, прерывисто.

Степан стоял в одеревенении.

— Жене моей кланяйся, батюшке кланяйся... — Афоня замотал головой.

— Отец твой давно померши. И жена также.

— Все равно кланяйся.

Степана что-то ударило в сердце.

— Скажи им, скажи...

Тут полились у Афони слезы, и лицо его исказилось.

Степан сказал:

— Пойдем.

— Закрой шубой, перекрести... Ступай.

— Пойдешь или нет?

Афоня молчал. Алые снега и небо вслушивались в человеческую речь, но были спокойны, холодны.

— Коня бросим. Я тебя поведу, пойдем. Я тебя, Афоня, на закукрах. Слышишь? Солнце закатится. Слышишь?!

Афоня заметался:

— Домой, домой! Я вперед тебя... Ковер какой — жар-птица... А ты верь, Петрованушка. Петрович... Ваня...

Степан снял с себя полушубок и сел перед умирающим на корточки. От Афони шел жар, дыханье вылетало хриплое, горячее. Степан укрыл товарища своим полушубком, огляделся вправо, влево и в одной рубахе неторопливо пошел вперед.

Идти было недалеко: громадная трещина саженной ширины пресекла путь. Она удалялась от Степана в обе стороны, и не видно ей конца-краю. Снег тут сдуло, обнажился темный лед. Острые, словно обсеченные, грани льда отвесно спускались в бездну, они отливали зеленоватым цветом, как бутылочное стекло.

Степан боялся подойти к обрыву: скользко. Он стал ползти. Заглянул в провалище. Бездонная тьма. Сделал руки козырьком, смотрел вниз пристально, долго. Тьма. Стало жутко. Вздрогнул и — ползком назад. Руки закоченели. Всего облепило холодом, сжало, заморозило. Степан взмахнул несколько раз руками, подпрыгивая и стараясь ударить себя по

спине, чтобы согреться. Из груди мужика помимо его воли рванулся какой-то лающий, скулящий крик. Еще и еще. Зубы стучали. Степану ясно: это он скулит, его замерзающее тело мечется, требует: спаси, спаси. Вдруг как-то все ожило, все, что было позади, все вспомнилось. Назад бы, в жизнь бы! Глаза Степана расширились: «Помоги-и-те!» И другая, в левое ухо, кровь огнем кричит: «Так тебе, черту, так... Торчмя башкой... Ну!»

— Помоги-и-те!!

Резкий, отчаянный голос упал тут же, в ноги, и подхлеснул и взвил душу. Напряг Степан всю силу, какая еще оставалась в нем, какая была в этих алых сугробах, в морозе, в полумгле. Он решительно повернул назад и на бегу, не чувствуя пути, твердил одно и то же:

— Сам сдохну, а тебя, Афоня, выручу... Выручу, выручу, выручу...

Подбежав, он выхватил нож и полоснул в горло дремавшую лошадь. Рухнула, задрыгала ногами и, вывалив язык, грызла снег. Перерезанное горло ее хрипело, хлестала кровь в подставленные ковшом пляшущие пригоршни Степана. Жадно глотал кровь, захлебываясь и урча. И все закровенилось: лицо, борода, рубаха. Глаза пьянели, разжигались. В них быстро нарастала буйная, звериная мощь.

Степан перевел дыхание: «Сыт».

Афоня лежал под двумя шубами недвижимо.

— Афонюшка, товарищ... Повремени чуть-чуть, запри дух... Выручу, не умирай.

Осторожно стащил с него свой полушубок, оделся, плюнул в пригоршню теплой кровью, ударил ладонь в ладонь:

— Айда! Ррррработай!

И, не оглядываясь, только борода тряслась, ударился бежать вперед. Он знает: вот и край перевала. Увидит внизу: дым, огонь, жилище. Он будет звать на помощь, он скатится с кручи к жителям: «Братцы, спасайте человека! Человек замерзает, Афоня... Братцы!..» И чувствует, как коченеет, замерзает сам. Руки совсем зашлись, грудь едва дышит от уста-

лости. Опять та проклятая щель. Как попасть? Волку не перепрыгнуть, широка... Дьявол!

И видит: там, за провалищем, на посеревшем небе, четко маячит всадник.

— Эй!.. — не веря глазам своим, радостно закричал Степан.

Но всадник не остановился.

— Эй! Стой! Стой!

Откуда-то пронесся ветер, взметнул снега, готовил к ночи вьюгу. Степан бросился вдоль бесконечной черной щели, отыскивал узкое место, чтоб перескочить.

— Стой!.. Стой!.. Стой!..

Ветер еще раз ударил вихрем, и не понять: сюда идет или удаляется всадник. Уходит. Ага! Вот, кажется, здесь поуже. Надо перескочить... Уйдет, уйдет...

Вся кровь ударила разом в голову, огонь метнул в глазах: «Спасай». Вложил пальцы в рот, свистнул оглушительно: «Сто-о-ой!!» — перекрестился.

— Эх, пропадай, душа... — и взвился над провалищем.

Страшный, смертный крик пронесся к всаднику. Всадник враз остановил коня.

XI

Сугробы алели.

Афоня подходил к нездешней, райской земле. Он шел по облакам, по тучам.

Пастухи попадались, гнали овец, шерсть на овцах серебряная. «Куда?» — «Туда». А тут медведь с исправником в орлянку бьются. «Поддайся, мишка, я исправник». И Афоня: «Поддайся». Глядит: медведь знакомый, — в третьем годе валенки ему, Афоне, подшил. «Маши крыльями, маши!» — кричит орел. «А скоро?» — «Бог даст, к вечеру».

Поля, поля... Будто все выжжено. Саранчи много на нивы пало, надлетают, ударяют Афоню в лоб. Афонин лоб звенит, как колокол: ба-а-ам. Мир поет:

«Радуйся, Афоня, великий чудотво-о-рец!» — «А я ведь земли-то, братцы, не нашел... Сугроб нашел». Тут его схватили, начали трясти, бить, ругать. «Пустите! Эй, посторонитесь!» — взрявкал медведь.

В это время стало так темно, так одиноко. Кой-где, кой-где огоньки.

XII

— Нишяво, нишяво, лежи...

Было тепло и чисто. На столе шумел самовар, горы белых лепешек с творогом, кринки, мед. Против Афони, свернув ноги калачиком, сидел на полу татарин в тюбетейке, ласково смотрел на него.

— Помогать надо друг дружке, жалеть надо.

— А где товарищ мой, Степан?

— Какой товарищ? Нету товарищ.

Едва шевеля языком, Афоня объяснил.

— Яман дело... Совсем наплевать... Уж десять дней притащил тебя... Давно... Нишяво, нишяво, лежи. Мой пойдет искать. Соседа забирал, шабра, с ним пойдем. Яман дело.

— Он за меня душу положил, Степан-то мой, — проникновенно, горестно сказал Афоня. — Сам загинул, а я живой... Собака я. — Он прикрыл глаза ладонью и всхлипнул.

— Который за людей сдохла, эвот-эвот какой большой, шибко якши, — дружески сплюнул татарин. — Шибко хорош, ой, какой хорош!..

— Из-за меня он... Собака я... — замотал головой Афоня. — Сидеть бы мне, собаке, дома.

Татарин опять сплюнул и сказал:

— Земля шибко якши тут... А-яй, какой земля, самый хорош. Работать мало-мало можна, денга колотить можна.

Афоня слушал, то закрывая, то открывая глаза. Хотелось повалиться в ноги этому черномазому скуластому человеку, что спас ему жизнь, и плакать, плакать.

— Нишяво, ладно. Конь твой кидать надо, махан, мало-мало помрил, горлам резал. Двух коней тебе

дам: все равно зверь, все равно ветер... Вот какой. На! Денга не надо... Помогать надо. Вот-вот.

Афоня увидел на окне пороховницу Степана и коробочку с пистонами... Как?! Значит, они были у него, у Афони?! А где ж ружье? Но не спросил.

Опять вспомнился Степан, вспомнился белый погост в горах. Но волна ликующей радости, все побеждая, гулко била в берега.

Посвящается
Сергею Дорофеевичу
Разумову

ТАЕЖНЫЙ ВОЛК

I

Я познакомился с ним в предгорьях Арадана, на верхнем Енисее.

Звать его Леонтий Моисеевич Бакланов. Он среднего роста, мускулистый, коренастый, ему шестьдесят два года, но седины мало. Борода большая, нечесаная, в крупных кольцах.

— Я гребень не ношу с собою: бороду мою хвоя чешет.

Его знают кругом на сотни верст. Одни уважают в нем человека справедливого, верного, искателя правды, другие, в особенности женщины, чтут его как вещего старца, колдуна. Его зелено-голубые глаза с мудрым лесным огоньком светятся из-под густых бровей весело и лукаво. Впрочем, иногда они становятся сосредоточенны, строги, и если он в упор взглянет на человека, вдруг почему-то сделается неловко, жутковато. Он, видимо, обладает большой гипнотической силой. Говорят, ежели он положит человеку руку на плечо да поглубже уставится в глаза, — человек уснет.

Однажды, после лесной прогулки, я пил в его опрятном доме чай. Пришла женщина с ребенком, ребенок плачет, криком кричит.

— Ты выйди ненадолго,— сказал мне старик Бакланов. — Надо ребенчишка попользовать.

Вскоре действительно ребенок затих, мать ушла радостная.

Бакланов, смущенный, с неспокойным взглядом, какой-то весь взвинченный изнутри, опять присаживаясь за восьмой стакан чаю, сказал мне:

— И сам не пойму, что это делается со мной. Вот придет баба. И воды в миску нальешь, и чертовщину всякую плетешь над водой, вроде — наговариваешь для виду. Ведь сам не веришь, а на ребят действует... На человека.

Во время чаепития пришел его сын Степан, парень лет шестнадцати, такой же краснощекий крепыш, как и отец. Он молча повесил ружье, поздоровался со мною и сел к столу. Его мать, моложавая, с красивыми крупными глазами, придвинула ему кринку с молоком.

— Убил чего-нибудь? — спросил Бакланов сына.

— Нет, папаша. Ходил-ходил — нету ничего. Глухаря, тетерева видал.

— Дак что же,— проговорил Бакланов.— Ты бы показал ему, как надо падать.

При этом старик взглянул на меня, как бы ожидая одобрения за картинно сказанную фразу.

Я прожил у таежного отшельника пять дней. Не раз хаживал с ним на охоту. Бакланов всегда с топором сбоку, в особых скобках, у ремня, и с ружьем. Если нужно сходить в амбар или в сеновал на гумне, всегда берет с собой ружье.

— Без ружья нельзя,— говорит он.— Наше дело лесное, таежное. Как-то посылаю я сына Степку на ключик за водой, а он мне: «Да сходи, папаша, сам». Вот пошел я без ружья и только стал к воде спускаться, глядь — с той стороны ключа, в кустах, сохатый воду пьет, смотрит на меня. Потом как взовьется — марш! — только земля заохала. Обидно стало. Пришел домой, стукнул Степку чайником по башке. С тех пор за лучиной иду — ружье беру.

И вот собираемся мы с ним в тайгу. Едем на лошадях верхами. Конь его Бурка — нечесаная грива

чуть не до земли, сам круторебрый, пузатенький такой, и ноги неуклюжие, но копыта, как кремень: Бакланов никогда не подковывает своего коня, а горные пути Бурки зачастую сплошной камень.

Своей сноровкой, сметливостью и повадками Бурка не менее замечателен, чем и сам Бакланов. Во-первых, удивительная его привязанность к хозяину. Где не проехать конем, хозяин слезает, пригибается и пролезает меж стволами под гущей хвои, а конь пробирается за ним, идет след в след, как умная собака.

Медведя Бурка не боится: учует звериный дух, запрядет ушами, всхрапнет и морду повернет в ту сторону. Хозяин к медведю — и конь за ним. На бегу конь боек. Бакланов относится к коню по-дружески, почтительно, любовно, даже больше того — как к равному себе. Значительную долю своих охотничьих удач он приписывает Бурке, и, рассказывая о каком-нибудь таежном эпизоде, Бакланов всегда говорит: «мы» и «мы с Буркой». Или так:

— Не укараулим зверя — так выследим, не выследим — так догоним.

Бурка знает тайгу великолепно, зрительная память у него на диво. Едем с Баклановым таежной тропой.

— Эту тропку я называю — Козлиный прошпект: козлы ходят тут на водопой.

Вдруг Бурка сворачивает, идет напролом в тайгу. Моя лошаденка послушно за ним.

— Что такое? — спрашиваю я.

— Сам не знаю. Погляжу, — отвечает Бакланов.

И вскоре, едва выбрались на прогалинку, Бакланов радостно кричит с коня:

— Батюшки-светы! Да ведь мы с Буркой в третьем годе пятеро суток на этом самом месте прожили. Вот и шалаш, и головни, и щепки.

Мы вновь сворачиваем на тропу и вскоре спускаемся к потокам шумной каменистой речки.

Блистал солнечный знойный день, в глухой тайге стояла духота, но здесь, в речной долине, была про-

хлада: резвясь, сквозные шалили ветерки. И назойливых комаров как не бывало.

— Стой, Леонтий Моисеич! — крикнул я и соскочил со своей лошаденки.

Среди окатных камней горел под солнцем ослепительно белый камень — кварц с золотыми блестками.

— Не золото ли? — сказал я и стал вкрапленные в кварц блестки выковыривать ножом.

Бакланов, не слезая с Бурки, глядел на мою работу сверху вниз. И я услышал укорчивый его голос:

— Брось. Не за тем, дружок, в тайгу идем. Зверя промышлять идем. Пусть за золотом другие люди ходят.

Эти слова его показались мне вескими, мудрыми, и, подчиняясь ему, я подумал: «Видимо, у Бакланова все предусмотрено, каждый шаг рассчитан, и жизнь свою он разыгрывает как по нотам, не сворачивая в сторону от раз намеченного пути».

Но в дальнейшей дороге, когда я высказал Бакланову свои мысли, он сразу же меня разбил:

— Какие такие планты могут в лесной жизни быть у человека? Как вступить, да как шагнуть, да где ночевать будешь. Нет, дружок. Вот мы мекаем с тобой рассесться да чайку всласть попить, а взовьется ураган да хлобыстнет на нас дерево стоячее, тут и гроб нам. Нет, дружок, тайга все планты человечьи может перепутать, с толку сбить. Идешь в тайгу — помалкивай в тряпочку; только звериный нюх имей да сам зверем притворись, забудь, что ты есть человек, а зверь и зверь, только по-лесному умный, в сто разов умнее человека.

И, повернувшись ко мне, по-крепкому добавил:

— Только таежную правду надо помнить, она превыше всех небес.

Он видел во мне человека хотя и хорошего, но городского, для таежной жизни никудышного, несмекалистого, темного и, пожалуй, глуповатого. Над таким чудаком не грех и подшутить и даже слегка поиздеваться: ничего-то он не знает, ничего не подмечает, ни во что не верит, ни в таежные приметы, ни в леших,

может заблудиться в трех соснах, может ни за нюх табаку погибнуть. Да разве это человек?!

Однако ироническое отношение ко мне сквозило лишь в его зелено-голубых глазах да в едва уловимых нотках голоса. Когда я нес какую-нибудь, по его понятиям, очередную околесицу, он только крякал или тихо посмеивался в бороду и презрительно крутил носом.

Впрочем, искоса взглянув на меня и улыбнувшись, однажды он сказал:

— Это очень хорошо, что у тебя шляпа белая и новая: пусть медведи да олени подивуются на настоящего питерского франта.

Я не мог в данной фразе подметить желание обидеть меня, поиздеваться, нет. Это была просто приятельская шутка.

Иногда он любил поразить мое воображение своей дьявольской таежной наблюдательностью. Например, едем высокой, выше коня, травой. Он всматривается в траву, говорит:

— Гляди, недавно медведь прошел. Нет, — вглядываясь пристальней, поправляет он себя. — Нет, не медведь, а кони шли некованые и люди.

— Почему?

— А разве не видишь? Как раз вровень с лошадиной мордой трава кой-где общипана, лошади на ходу срывали. — Он осмотрелся по сторонам и, указывая вправо, сказал: — Значит, вот на том пригорке они делали привал: больше негде — кругом болото. Вот и мы там каши сварим.

Действительно: пригорок, полянка, потухший костер.

— Человек пятнадцать было в артели, — говорит Бакланов.

— Почему?

— А разве не видишь? — И он, играя глазами, вопросительно смотрит на меня, как на простофилю.

Я со всех сил стараюсь разгадать секрет, насколько возможно проницательно ощупываю смущенным взором головни, пепел, землю, небо, облака и никак не могу постигнуть тайны следопыта.

Бакланов, попыхивая носогрейкой, берет меня за рукав и начинает поучать, как тупого школьника:

— Гляди... Четыре дырки вокруг костра, значит четыре палки — тагана — были воткнуты в эти дырки, на каждом тагане по чайнику висело, каждый чайник на троих, на четверых, вот тебе четыре раза по четыре — сколько?

Я быстро сделал удовлетворившую его арифметическую выкладку и, краснея, спросил:

— Когда же они были? Сегодня, наверно?

— Ха-ха... Вот так угадал! — Бакланов разгреб сапогом пепел, пощупал землю. — Три дня назад, вот когда.

— Тоже скажешь, — засмеялся и я. — Подумаешь, какая точность. Может — пять дней, может — четыре... Может — месяц.

— Нет, в точности три дня. Земля под костром холодная, значит — не сегодня. И не вчера, потому что на углях седой налет сдуло. А три дня назад шел дождь. Если бы до дождя чаевали здесь, пепел смыло бы, — значит — после дождя. Понял?

II

Однажды я приехал к Бакланову ранней весной. Отправились в тайгу. Еще кругом снег лежал, лишь на оплешинах и взлобках бурела прошлогодняя трава.

Нашу охоту прервала жестокая метель. Мы залезли в палатку, а лошадей пустили в тайгу на волю.

Прошло добрых часа два, метель не унималась. Бакланову наскучило безделье, он взял ружье и вылез из палатки.

— Жди. Я лошадей погляжу.

Да и пропал. Ждал-ждал я, сил не стало. «Куда, — думаю, — в такую метелицу ушел?»

Хоть не хотелось выбираться наружу, однако какое-то тревожное чувство заставило меня покинуть походную, такую уютную в непогодь, палатку. Ветер унимался. Снег сыпал густо, не спеша, большими влажными хлопьями. Было мутно кругом и тихо. Очертания тайги за поляной неясно серели, и не

понять — лес это или горный кряж? Где ж, однако, Бакланов? Неужели заблудился? Часы мои показывали ровно семь. Еще немного — и ночь прикроет тайгу и небо мраком. А вдруг Бакланов не выйдет вовсе? Вдруг его задрал медведь, или сломал он себе ногу и умирает где-нибудь от нестерпимой боли и отчаяния?

И мне стало жутко. Мне ж не выбраться одному отсюда. И конечно же я должен погибнуть голодной смертью или пасть жертвой своей неопытности, поставленный лицом к лицу с неотвратимым случаем. Спускавшийся сумрак ослеплял мои глаза и мозг. Сердце мое дрожало, голова пламенела, охваченная роем малодушных предположений.

И вдруг... Сначала послышался родной такой, милый голос, затем показался и сам Бакланов: вот он, едва видимый сквозь испещренный снежной сетью сумрак, движется на меня, желанно отделившись от загадочной опушки леса.

— Бакланов! Бакланов! — кричу я весь в радостном каком-то ослеплении.

— Ну, как? — слышу его ответный голос, бегу ему навстречу, поскользнувшись, падаю, вскакиваю... Но — Бакланов исчезает. Что же это, галлюцинация?

— Бакланов! Бакланов!! — надрываю глотку.

Но Бакланова не было и нет. Галлюцинация.

Я возвращаюсь обратно в палатку, выпиваю вина; руки мои дрожат, и тело в легком ознобе. Выхожу. И вновь вижу Бакланова, идущего емким шагом прямо на меня, и вновь это не человек, а призрак, сотканный из ничего моим взбудораженным воображением.

Когда наконец вышел из тайги настоящий, живой Бакланов, с ног до головы запорошенный снегом, и двигался на меня плывущей тенью, я тоже принял его за призрак, но все-таки окликнул:

— Бакланов, ты?

— Я самый.

— А костер погасает, чай остыл, — проговорил я спокойным голосом, стараясь скрыть недавние свои страхи.

— Костер погас — это не беда, — сказал Бакланов, отряхивая снег с себя и сдирая для огня бересту. — Костер живо запылает, а вот я сам едва не погас, вот это да!.. За оленем шел, за оленем бежал... Я бы выстрелил, да боялся: Бурку ушибешь; он возле меня все крутился и теперь за мной пришел... Эй, Сивка-Бурка!.. Один раз все-таки выстрелил, не утерпел, знал, что не попаду: темно, — а чтоб олень помнил, что я с ружьем хожу. На костер твой вышел — дымком наносило; ежели бы не костер, заночевать довелось бы в тайге. «А ведь дружище-то мой чай кипятит», — думаю, да ну шагать. Так и выбрался. Все рассчитывал, что ты гул сдогадаешься ружьем подать. Ну, ладно.

Костер вновь буйно разгорелся.

Бакланов спросил:

— Ну, а что б ты стал делать, ежели я совсем пропал бы? Как ты стал бы выбираться отсюда?

— По балке я прошел бы, — говорю я, — и по горе прошел бы, и в Тетерью-речку спустился бы, а как с речки выбраться, пожалуй, не сумел бы. Впрочем, я на Бурку твоего сел бы... А он...

— Нет, дружок, — перебил меня Бакланов. — Мой Бурка только меня принимает да разве сына, Степку, когда бочка с водой запряжена. А вот и вода вскипела. Кроши чай.

III

Как-то в разгаре лета мы предприняли с Баклановым длительное путешествие в нагорную тайгу.

Нет ничего приятнее, как после страдного, наполненного приключениями дня вольготно расположиться у костра на отдых и, попыхивая трубкой, слушать певучую речь Бакланова.

— Годы мои длинные, — обычно начинал он, — а жизнь короткая: нечего и рассказать тебе.

На эту излишнюю его скромность я только улыбался: еще до знакомства с ним слыхал я, что он рассказчик замечательный, что жизнь его богата опытом, событиями, встречами. Но надо же Бакланову

немножко поломаться. Наконец он начинает издалека вспоминать.

Однажды, много лет назад, к его таежному жилищу подъехали верхами знатные люди: это экспедиция Академии наук. Его наняли проводником; да кого же еще и нанять, раз Бакланов знает всю округу на большие сотни верст? Недаром его зовут — таежный волк.

— Сто рублев на месяц положили, — гордо говорит Бакланов. — Сто рублев! Правда — харч мой. А какой у меня харч — табак да спички! Мой харч в тайге гуляет: стрелил — вот и харч. И был в этой самой экспедиции человек один, Залогов назывался. Хоть бы путное чего, а то вот этакенькую букашку ловил. Всякую. Смешной этот человек — Залогов, никудышный.

— Не Залогов, а зоолог, ученый, — поясняю я.

— А тут вот еще что случилось, — вспоминает Бакланов. — В экспедиции планщики ходили, планты плантовали. А главный-то — полковник. Натакались как-то его солдаты на медвежий след. «Вашескородие, — сказали они полковнику, — разрешите облаву на зверя сделать». Узнал я про это, подумал: «Что за облава за такая может быть? Нешто порядок это: на одного беззащитного зверя двадцать мужиков с винтовками?.. Кощунство это!» Говорю набольшему: «Допусти меня, твое благородье, одного: оглянуться не успеешь — медведя тебе доставлю, двадцать пять рублев жалованья тебе в залог кладу». Через час медвежье сердце теплое притащил, говорю: «Вашскородие, попробуйте *сердешного*».

Мы с ним только что аппетитно пообедали, пьем кирпичный чай. Его Бурка и мой конь траву у дымокура щиплют: комары не любят дыма, злобным облаком толкутся в ожидании.

Мы на мягкой, покрытой зеленовато-белым мохом прогалысинке, кругом тайга. Солнечный день, и лес сегодня тих, задумчив. Я пристально взглянул на ближайшую сосну, удивился: ствол этой сосны, от земли аршина на два, блестел на солнце огненно-красными рубинами.

— Это комарьё, — сказал Бакланов. — Насосались лошадиной кровушки, пока ехали мы, а вот теперь от дыму и тово... Ужо-ко я камедь устрою, — он улыбнулся, вскочил и пошел шнырять по тайге.

Я приблизился к дереву. Как спелой брусникой, ствол унизан набухшими кровью, готовыми лопнуть комарами. Я шевельнул одного-другого комара: ни с места, не летит — пьян иль сладко дремлет.

— Ужо, ужо, — подошел Бакланов и посадил в комариное алое стадо двух головастых муравьев.

Те осмотрелись, подбежали к соседним комарам, тщательно ощупали вздувшиеся их брюшки, деловито ознакомились с топографией населенного поживой места, произвели приблизительный учет скоту, сбежались вместе — лоб в лоб, посоветовались усиками и пустились вниз головами в бег к земле.

— Сейчас начнется, — сказал Бакланов, щуря на солнце свои веселые глаза.

Через четверть часа к комариному стаду пробирались организованные отряды муравьев. Немедленно началась горячая работа. Муравьи попарно подползали к пьяной комариной туше, ловко подхватывали ее передними лапками и клали на загорбок третьего муравья. Тот, пыхтя и придерживая комара за лапки, пер его, как пьяного мужика в участок. Упарившись — это уже на земле, — муравей сбрасывал с себя кровопийцу и, покачиваясь, стоял на месте. Двое других муравьев клали ношу на загорбок третьему, свежему своему товарищу и — дальше. Вскоре сосна была чиста.

— Доброе дело сделали, — заметил Бакланов, — подлый гнус умной скотинке дали — муравью. А раз добро с тобой мы оказали, значит и нам добро будет: козулю ухлопаем, а нет — марала. Ты что, не веришь в это самое? Напрасно, мил человек, напрасно! — Он снял шляпу, положил широкую ладонь на мое плечо и, обдав меня ясным взором мудрых таежных глаз, сказал внушительно: — Человеку ли, зверю ли, ничтожной твари ли какой — все единственно — сделаешь добро, тебе так же будет. А зло — и тебе злом обернется. Запомни, милый друг.

На этом вся видимая жизнь стоит. Если б принял человек в свое сердце эту заповедь хорошую да по поступкам поступал, тогда рай на землю снизошел бы. В это я крепко верю. Я в розмыслы люблю башкой уйти: время здесь в тихости плывет, не торопясь, не то что в городах больших: думай себе на свободе, прикидывай так и так, умствуй. Начальник экспедиции, бывало, говаривал: в книге мудрость; а я говорю: в природе мудрость. Только не вдруг ее, природу-то, поймешь. И пытать природу надо благословясь, да с толком, а то в дураках оставит тебя природа, в такую душевную пропасть заведет, как липку тебя обворует, всю душу разденет догола, в глаза тебе насмеется, плюнет. Щенком заскулишь тогда, удавки себе попросишь, какого ни на есть конца. А ты верь, милый человек, верь в добро, тогда и благо тебе будет. Верь!

Как любимого сына своего, шершавой, мозолистой ладонью он гладил меня по голове. И свет из-под нависших его бровей пронизывал меня, взвешивал, пытал, дорого ль я стою. И показалось мне, что передо мной не человек, а одухотворенная скала, древняя и мудрая, и что не человечий детский взор, а лучи древнейшего от века солнца окутывают меня таинственной и нежной лаской, как любимого сына своего.

— Например, послушай, парень, как я одну зверюгу пожалел, джайрана [1]. Такой случай со мною на Кавказе был.

— Как же ты, Леонтий Моисеич, попал туда, на Кавказ-то?

— Долго сказывать... А впрочем... Отдал меня батька, донской казак, по обещанью в монахи, в Старый Афон, место свято. Одначе, как подрос там, бежал оттуда, через Турцию в Персию пробрался, из Персии на Кавказ. На Кавказе с горцами в дружбу вошел, охотой промышлял с ними. На двадцать ше-

---

[1] Джайран — козуля.

стом году оженился, а как стукнуло двадцать шесть, сказал жене: «Пойдем в Сибирь-землю, слушать, как тайга шумит, усматривать, как дикий зверь рыщет». И перебрались мы сюда, к великой Енисей-реке. Вот и все житье мое. Теперь слушай. Охочусь это я на Кавказе, иду карнизом по высоченной горе. И такая тропочка случилась, в аршин шириной: слева — стена в небо, справа — пропасть. Гляжу — встречь мне джайран осторожненько бежит. Остановились оба; он на меня взирает со страхом, я — на него. А разминуться нам никак нельзя — узко. Обратно ему тоже никак нельзя: собака настигала, взлаивала где-то под горой. Хотел я застрелить его либо в пропасть спихнуть. А он возьми и взмолись ко мне глазами: «Дядя, уступи дорожку, не убивай, спаси меня!» И повернула меня какая-то сила назад. «Иди, — говорю, — дурачок, иди!» Выбрался я обратно на широкое местечко, гляжу — и джайран мимо меня стрелой стегнул да в лес. Вскорости собака промчалась, за ней — охотник верховой. Радостно мне стало: спас животную. А день жаркий: над камнем воздух колыхался, камень теплом дышал. Разомлел я, прикорнул возле тропки под чинарой в тень. Закрыл глаза, сон на меня напыхом пошел. И как теперь слышу — где-то внизу струи говорили. Лежу, думаю: «Вот хорошо, доброе дело сделал. Пусть живет джайран, и пусть живет Бакланов. Хорошо, шибко хорошо!» А сон уже, чую, навалился на меня совсем, могильной пеленой закрыл. И вижу мертвым глазом — тропинкой мышь, словно комочек, катится. И слышу мертвым ухом — звенькнуло что-то на каменной тропе. «Эге! — вынырнул я из сна, как поплавок. — Эге! А ведь этот самый мыш какую-нибудь серебрушку обронил». Я знал, что мышу серебрушка дорога, все к себе в норку тянет. Стал я ползать по тропе, искать-искать: не наших времен денежка серебряная. Давай я норку мыша отыскивать. Норку не нашел, а еще четыре денежки нашел. Ну, думаю: «Клад поблизости». На другой день привел двух товарищей своих. И верно: на пещеру натолкнулись, разворотили камни, а там два гроба из плитняку. В одном гробу великан ле-

жит, кости одни, и через весь гроб — меч громадный. В другом гробу — женщина-покойница в парче: два браслета золотых, серьги, кольца, разные висюлечки, на лбу обруч, все золотое, в каменьях дорогих. И черная коса, длинная, густая. По такой косе — писаная красавица должна быть эта женщина, княгиня либо кто. Взять мы ничего не взяли — кому продашь? — сразу влопаешься, — а заявили в городу ученым людям. В награду нам дали триста рублей...

И в ту же ночь, как получил я деньги, сама княгиня явилась мне во сне. Будто сидит княгиня возле меня на камушке во всех нарядах пребольших и моего мыша на ладошке держит. Мыш встал на дыбочки, свистнул, джайран явился, тот самый, мой. А княгиня будто вся голубая сделалась: и улыбка ее голубая, и голос голубой. И все заголубело вдруг: мыш, джайран, княгиня, вся земля, все небо, и сам я голубой. И уж ничего не разобрать: все мчится, крутится, словно вихрь-метель. И через голубую вьюгу чую голубые короткие слова княгини черноокой: «Смерть, джайран, мыш, я, золото, жизнь. Купи коня, бери жену, иди за Урал, в жизнь. За благо — благо». И вот все голубое сложило крылья, чезнуло, как чезнет туман от бури, все сгинуло, нет ничего: ни неба, ни земли, и меня нет. Чисто.

Долго-долго я после размышлял над этим, и по сей день случай тот с ума нейдет. Так и сяк мекаю, ищу ключ от двери потайной, от сна. Смерть, жизнь, мыш, джайран, княгиня, я, золото, земля и небо — словом, все, — не едины ли мы в видимостях разных? Так полагаю темным розмыслом своим — едины. Ну, почему ж мы все заголубели, заструились, как пар, как дым? Так полагаю коротким розмыслом своим — вся видимость из единого месива сляпана. И месиво то — воздушная пустыня. И всё, весь мир голубой — воздушная пустыня, дух. Только нам по-настоящему смотреть не дадено. Да и слава те, Христу! Ежели б могли мы по-настоящему на богов мир взглянуть, вчистую, без обмана, — с ума бы спятили, сдохли бы, как льдинка на огне. И выходит, что все умственно подведено. И выходит — нечем и незачем гордиться

человеку. Человеку, цветку, букашке, камню — по-моему, одна цена. Бесценная, великая цена.

Как всякий зверолов, как всякий бродяга или странник, Бакланов — поэт в душе. Но поэзия его не от Старого Афона: она дочь азиатских просторов, гор, тайги. Сидя у костра или попыхивая неугасимой трубкой где-нибудь на обрыве, откуда открывается дикая картина угрюмых гор, он любит всласть помудрствовать. Его речь то плавна, то бурлива, как поток, но всегда звучит убедительно, красочно, певуче; может быть, уклад древнего монастыря еще с юных лет заковал его речь в грань напевных берегов, и поэт-бродяга даже в старости воздает всему осанну. Мудрость его проста и трогательна: «Люби все, люби всех. За правду умри».

Он недоверчиво относится к человеческому разуму. Он говорит:

— В башке у человека темный мясной умишко. Над башкой ум. Над умом умище. Умишком жить — носом по земле елозить, хвостом звериным к правде. Умом жить — на корячки встать, мордой человечьей к правде. Умищем жить — на ноги подняться, за сегодняшний краешек сегодняшнюю правду взять. Как это, почему? А очень просто. Людская правда — круг на оси крутится, как колесо. Идет колесо — хватай! А через сто лет другую правду схватишь; а та правда, старая, уж кривдой будет. А колесо крутится, вертится тихо-тихо, и через тыщу лет старая кривда опять в правду обернется. И поймают людишки старую правду-кривду, и снова правдой назовут ее, и за новую кривду-правду большую кровь прольют. Понял? Все на свете крутится, все на свете повторяется: из жизни смерть, из смерти жизнь. А настоящая-то, не межеумочная, не сегодняшняя правда не на колесе скользящем, а на оси незыблемой. Только не дотянешься до той оси, ось ту солнце стережет: глазыньки от света лопнут. Значит, до всамделишной правды человеку и не дойти вовсе, не дадено человеку это.

Так мрачно заканчивает он лесную, первобытную

философию свою и, чтоб развеять одолевающее меня беспокойное смятение, говорит мне:

— Ну, ладно, голубчик... Ничего... Не желаешь ли, происшествие одно расскажу тебе? Знатнецкий случай был со мной: правда на правду наскочила. Хочешь?

Я выразил согласие, и Бакланов, попивая послеобеденный кирпичный чай, начал.

— Лютая зима была. Солнце в рукавичках вставало, потрескивали от мороза деревья, скалы. Вышел я из зимовья, за плечом медвежье ружье — бердан — да малопулька — белок пострелять пошел. И только выбрался на взлобок — глядь: под угорчиком человек сидит в сугробе, голову вниз, воротничишко кверху, сжулился, и лыжи возле.

Подошел я, гляжу — незнакомый человек; толкать-толкать его: замерз. Опрокинул покойника на бок — он так калачом и лег, застыл. Возился я над ним изрядно, покуда в чувство его привел. Дотащил до зимовья, подкрепился он спиртом да пищей горячей, уснул. На другой день жив-здоров. Как оклемался, говорит мне:

— Я, — говорит, — села Перевального житель, девяносто верст отсель. А сам я портной, тридцать три года от роду, Гарасим Яфимыч Карпов. И надо было мне в Минусинске кой-какой прикладишко купить: уряднику новый мундир я шил. В нашем селе почтарь знакомый, он каждые две недели за почтой в Минусинск на лыжах бегает. Прошу его Христом-богом: купи приклад. Он не хочет: «Пойдем, — говорит, — на лыжах вместе: и приклад купим, и погуляем там — наливочки попьем, пивка, того-сего...» Я говорю: «Нет, я не могу идти, я не привычный на лыжах, сам замучаюсь и тебя задержу». А он — пойдем да пойдем, — чуть не насильно меня тянет: «Я, — говорит, — не шибко пойду. Устанем — отдохнем. Пойдем!» И сунул черт меня пойти. За первый день шестьдесят верст прошли. Я совсем из сил выбился. А еще верст сотни две идти. На другой день

ноги у меня задрыгали. Говорю ему: «Потише, куда ты вмах?» А он: «Иди, иди, не отставай!» К вечеру отобрал он у меня топор, спички, сухари, сказал мне: «Ты шоркай потихоньку по моей лыжнице, по следу, а я за горку вон за ту спущусь, костер налажу, пожрать сготовлю, отдохнем там». Я поверил, отдал все. А сам потихоньку в путь. Почтарь мой живо из виду под горку скрылся. Подымаюсь я на гору. «Вот, — думаю, — перевалю — и сразу к ужину». Поднялся, глянул, а он уже на следующую гору вздымается, верст за десять от меня. Взобрался да как приурежет с горы, только я его и видел. В нутрях похолодело у меня, волосья от ужасу зашевелились. И догадался я, что почтарь меня бросил, что неминучую смерть дал мне. Слеза меня прошибла: как есть один, помощи ждать неоткуда, того гляди волки разорвут. И решил помирать. Попробовал спускаться — упал, да так уж и вставать не захотелось. А тут кто-то в гармошку заиграл, девки запели, будто баня теплая и будто пьяные олени лесом с вениками шли... А ты, отец, и спас меня.

Рассказывает так, а сам горько плачет. Говорю ему:

— Не горюй. Я выдам тебе подорожную, укажу до ближайшей заимки дорогу, верст пятнадцать будет.

Бумаги у меня, конешно, не было, а содрал большой пласт бересты белой, камень вап[1] нашел и написал вапом так:

«Этому человеку всякую помощь оказывать. Я его от смерти спас замерзшего. Лошадей давать задаром, кормить задаром. Перевозить его от жителя к жителю, до самого Минусинска».

И расписался: *«Леонтий Бакланов, таежный волк».*

Наградил его всем, вывел на короткую дорогу, и он ушел. Летом дознавался я: приказ мой чалдоны выполнили в аккурате, потому — всяк уважает меня за то, что я всю тайгу наскрозь прошел, что закон тайги держу.

---

[1] Вап — красящее вещество, краска.

Ну вот. Теперь слушай, милый друг, дальше.

После этого стал я почтаря поджидать, погубителя. Знаю, этим же путем побежит обратно. И знаю — в какое время. В конце пятых суток вышел я на пригорок, жду. Помню, под осиной встал. Тихо было. А на осине прошлогодний листок сухой холпит-шевелится. Что-то шепчет мне. Кругом бело, только лес по горам чернеет, небо тоже белое, солнышко сквозь туман глядит, книзу путину свою правит.

И час, и два я жду — нейдет почтарь. Злоба копится к нему: прислушаюсь, прислушаюсь — кипит в грудях! А осиновый листок сухой холпит-шевелится, по-доброму опять-опять что-то шепчет мне. Не слушаю его: «Отстань», — твержу. Тут летучий ворон возьми и крякни надо мной: «Почтарь!»

Ага, вот он-он! Приструнил я себя, встряхнулся. А тот прямо на меня спешит. Снял я бердан с плеча. Только он ко мне — я:

— Стой!!!

Он остановился шагах в тридцати, взором выпить меня хочет, рыжая бороденка в куржаке, из-под оленьей шапки глаза чернеют.

— Бакланов, ты никак?

— Я самый. А где товарищ твой, Гарасим Ефимович Карпов, портной?

— Он в городе остался, подбирает приклад себе...

— Врешь! Зачем ты врешь? Ты бросил его вот на этом самом месте!

Почтарь шапку снял, от потной головы дым пошел, опять нахлобучил шапку. Говорит мне, и слышу: в голосишке овечий хвост дрожит, как перед волком. Говорит почтарь:

— Ты все, Бакланов, знаешь... Колдун ты! Да, действительно он от меня отстал. А мне невозможно было ждать... Неужто умер?

— Умер. Сейчас и ты умрешь.

— Бакланов!.. Что ты?! Леонтий Моисеич!..

— Стой, не шевелись, — сказал я и вложил патрон в бердан.

— Бакланов! Бакланов!.. Нет моей вины!..

А я ему:

— Ты у него топор отобрал, спички отобрал, харч весь отобрал обманом. Убивец ты!

Поднял я бердан, взвел затвор на выстрел. А он на корячки хлоп, ползет ко мне по сугробу, кричит последним голосом:

— Не губи, не убивай!

— Стой! — кричу. — Нешто не Бакланов я? Нешто не должон я правду таежную исполнить? Погубитель ты. Молись, варначина, богу: застрелю, как волка бешеного, и в снег не закопаю.

Прицелился я из бердана прямо в башку ему: шапка евонная свалилась, дым от башки идет, а сам он, словно пес, на четвереньках.

Слышу — взвыл:

— Слово одно!.. Бакланов!! Не губи! Одно слово в оправданье... Тогда поймешь...

Опустил я бердан.

— Ладно. Говори слово. Только умное!

Подошел я к нему. Кровь в его лике сменилась: лико — быдто снег. И сам дрожит. А глаза пытают меня: по-доброму или по-злому подошел к нему? Выпытали нужное, обмякли, надежный огонек засветился в них, обмороженные щеки задрожали: всхлипнул мужик. И с той самой минуты чезнула во мне злоба, и подкатился под наши ноги — ковер не ковер, а что-то теплое, может, шкура парная медвежачья, может, еще чего. И в душе сразу оттеплело: вижу — ушибленный человек передо мной.

Только мне не захотелось показаться добрым, строго спросил его:

— Ну?!

Он и говорит:

— Ослабел, — говорит, — я со страху, как ты бердан навел. Большой ужас, — говорит, — смерти в глаза глядеть.

— Ах, тебе ужас, а ему не ужас?!

Смолчал он, морду отвернул, мигает. Зажег я кострище из валежника, из смолистой пихты. Усадил его:

— Ну?

— Жена у меня имеется, супруга законная, — говорит он.

— Как звать?

— Любаша.

— Хорошее имя. Складное. А к обличию подходит?

— Подходит вот как: очень даже пригожа из себя. С Николы зимнего двадцать второй год пошел.

— Любит тебя?

— Любила.

— Его любит?

— Да. Его любила, царство ему небесное.

— Про царство помолчи, — говорю ему. — Вместо царства ад, может.

А он и говорит:

— Ежели ему ад, мне — царство: может, Любаша опять ко мне приклонится.

— Твоя Любаша при нем жила?

— Нет, при мне. Бегала к нему. Я накрыл. С того дня грех пошел.

Спрашиваю его:

— Кто ж виноват в том грехе, по-твоему?

— Знамо, он, будь он проклят... Царство ему небесное... Портной этот самый! Гараська Карпов.

— Нет, — отвечаю, — пустопорожние твои слова. Не он, не баба твоя. Ты всему виной: укрепу ослабил, чем ни то оттолкнул жену.

— Бабу за подол не удержишь.

— По согласью, по любви за тебя шла?

— Обязательно по любви... То есть... Эх!..

Говорю ему:

— Иной раз птица на зерно идет, да в силок попадает. А из силка в котел.

Прикинулся он, что не понял, вздохнул, а в глазах злобная хитринка. Открыл сумку, вытащил шерстяной отрез.

— Вот, — говорит, — это Любаше своей несу... подарок.

Насупился я, прощупал его из-под бровей взглядом, говорю:

— Не поможет, — говорю ему, — опоздал. Уйдет от тебя Любаша. Укрепы нет.

Тут он у большущего костра в дрожь пошел, опять кровь сменилась в лике. Мотнул головой, закрыл рыло ладонями да в хлипки, в хлипки.

— Ты не знаешь, — говорит, — ты не знаешь, Бакланов, до чего она приятна мне! Дня не прожить без нее. Куда бы я ни пошел, она все возле меня. Иду-иду — со мной! Вот и сейчас возле нас сидит... Любашенька, Любаша, солнышко!!

И ткнулся он, дурья голова, рылом в снег, точно его кто по шее съездил, и пополз на коленях, шапку в костер бросил, волосы рвет на себе, воет, и лик нехорошим стал.

— Стой! — кричу. — Стой, опомнись!! Ежели слова умного ты не мог сказать, зато дорогую слезу пролил. Иди! Твою пулю медведю в сердце подарю. Иди с богом.

Разрядил я бердан. Почтарь слезы вытер, на спокойствие себя поставить хочет, а морда нет-нет да и взыграет, скуксится, белые зубы из-под усов сверкнут.

— Иди. Перед слепой человечьей правдой прав ты. Сумей оправдаться перед правдой светлой.

Вздохнул он, стал на лыжи, повязал башку шалью, распрощался со мной, пошел. Вот обернулся, вот спросил:

— А где ты похоронил его, царство ему небесное? — сказал он и перекрестился.

Не сразу я ответил. Подумал и сказал:

— Нешто поп я? Спроси у мороза да у вьюги.

Он опять перекрестился, отвесил мне поклон, крикнул:

— Бакланов, батюшка! А ты, чур, молчок! Про что мы знаем с тобой — тому гроб, могила... И чтоб больше ни единая душа...

— Гроб, могила! — крикнул я.

И эхо отозвалось в лесу: «Могила!» И ворон каркнул: «Гроб!» А почтарь все дальше — меньше, дальше, скрылся.

Мы с Баклановым снялись с места, двинулись. Нам надо засветло перейти вброд таежную речонку. Вступили в болото. Подошвы наши скользили по ровному и белому, как мрамор, дну: июльское солнце еще не растопило донный лед. За болотом мы сели на коней. Комары преследовали нас. Бакланов сделал два свежих веника, и мы без передыху отбивались от назойливого гнуса. Из глубокой балки, где сгущался вечерний мрак, подуло ветром. Комары исчезли.

Я спросил Бакланова:

— А о дальнейшей судьбе почтаря ты, Леонтий Моисеич, ничего не можешь рассказать?

Бакланов натянул поводья, остановился.

— Тпру... Я ведь даве молвил тебе: гроб, могила. И слово мое верное: недаром дураки колдуном меня считают. Натакался на почтаря, вскорости же после моей росстани с ним, один зверолов, товарищ мой. Мертвого нашел. Медведь почтаря задрал. На моих памятях отродясь такого случаю не было, чтобы зимой медведь мог человека заломать безоружного. А было по всем видимостям так. Как распрощались мы с почтарем, сиверко подуло, буран зачался. А тут ветролом в тайге ударил, лес корежить стал. Вот и грохни сосна, да прямо по берлоге. Всплыл медведь, а почтарь-то тут как тут. В одночасье ему и карачун пришел. Я полагаю, что именно так могло случиться это все.

Бакланов понукнул коня и убежденно добавил:

— Как хошь, так и мекай. Бакланов оправдал, медведь не оправдал. Одно только наверно знаю: ту самую пулю, что на почтаря готовил, вогнал-таки в медвежачье сердце — невзадолге разыскал я этого зверя и устукал благословясь. На!!

День сегодня простоял жаркий. С горных белков натаяло много снегу, и речонка вспенилась, шумела. Наши кони, переходя речку вброд, наваливались тугими боками на сшибавшую их воду, пофыркивали и храпели. А дальше, за речкой, зверючья тропа в кедрач вошла. Кудрявые кроны великанов кедров давали густую тень. Смолистая, теплая тишина стояла.

— Леонтий Моисеич! — заговорил я. — А ты всерьез хотел застрелить почтаря-то?

— Нет, — ответил Бакланов, оглаживая русую бороду. — Только острастку ладил дать. Чтоб на всю жизнь зарубина осталась в сердце. Человека убить — себя убить. Слезавай — приехали.

IV

— Я над всем этим краем властитель. Не в похвальбу, а так оно и есть. И глянь, ты только глянь, какая красота кругом, премудрая красота, великая красота! От этой красоты господней, от природы, — вот взглянешь — замрет, замрет сердце, и слезы потекут. Я тридцать два года здесь, в горах, в тайге. Да пусть скажут мне короли земные, вельможные правители: «Бакланов, владей всем нашим богачеством, дворцами, городами, пей, гуляй, писаных раскрасавиц хороводь, спускайся с гор, иди к нам, властвуй!» — «Нет, — скажу я, — нет, ваши царские величества, покорнище вас благодарим: околдовала меня мать-природа, угрела, осветила солнцем, обвеяла белыми туманами: здесь родилась новая душа моя, некуда отсель идти и незачем. Здесь смерть приму. Аминь!»

Бакланов Леонтий Моисеевич по-настоящему чувствовал природу, понимал, любил ее. И складные его слова были кротки и страстны, как псалмы. Голубые, с прозеленью, глаза старика блестели молодостью. В их лучистом, то серьезном, то улыбчивом взгляде чувствовалась большая мощь. Ими он мог повелевать, ими же мог согреть, умягчить чужую озлобленную душу.

Мы едем с ним верхами по карнизу полутораверстной кручи. Приземистый, но могуче сложенный, он с конем — одно. Он останавливает своего Бурку и говорит мне:

— Слезавай! Иди за мной.

Я повинуюсь — старик не зря зовет меня. Вот мы на свободном от хвойных зарослей обрыве.

— Гляди, — сказал Бакланов и властно повел по горизонту рукой. — Можешь понять, восчувствовать? — не обертываясь, сказал он тихо.

Мы были на страшной высоте. Прямо перед нашими глазами высилась плавно очерченная цепь гор, прорезанная темными балками. И дальше, поскольку хватал наш жадный взор, вся земля всколыбалась и вскоробилась: горные хребты застыли в волнообразном беге к горизонту и, постепенно понижаясь, тонули там, окутанные голубоватой пеленой воздуха. Лишь на самом краю земли, приподнявшись над всем миром, ослепительно сверкали вознесшиеся к небу нетленные вечные снега. Это пики Араданских гор и далее — главный массив — Саяны.

— Просторы вы мои, просторы, — упоенным, мечтательным голосом шептал Бакланов.

Под нашими ногами бурно пенилась река. Ревом ревели пороги, но на нашу высоту звук не долетал. И сквозь неподвижную тихость воздуха, ежели взглянуть влево, вниз, можно видеть: верстах в пяти от нас врезано в горы зеркальное альпийское озеро. Ясно-голубая поверхность его, как нежный с лоском шелк, очаровывала зрение: хотелось лететь на крыльях к этой таинственной волшебной глади и окунуться в нее, и плавать в животворных, очищающих водах.

Пока мы стояли, умиленные волнующим очарованием, картина менялась. Солнце уходило за горы, ясность воздуха стала еще больше, тени в провалищах и безднах — резче; серые, желтые, красные тона горных обнажений и все краски ландшафта освежились, ожили, заулыбались какой-то задумчивой, мудрой и благостной улыбкой. А седовласые великаны на горизонте надвинули по самые бороды свои снеговые шлемы и, замыкаясь в глубь себя, готовились к сторожевой дреме. В этой памятной картине великая искусница природа, казалось, щегольнула всеми красками видимого спектра: от сверкающей белизны до чернильного мрака преисподней. А над всем этим — бесстрастная, глухая тишь небес,

— И глянь, ты только глянь, какая красота кругом!.. Великая красота, премудрая красота!..

Мы спустились на ночлег в долину, развели костер.

За чаем Бакланов стал повествовать. Его жесты характерны, широки. Голос в меру звонок, плавен, выразителен, речь певуча.

Когда он молчит, его скуластое лицо обыкновенно, будничио: крепкие, загорелые, в мелких морщинах щеки, глубоко сидящие глаза, широкий толстогубый рот, пепельно-русая, в крупных кольцах борода. И какое-то дремотное, обращенное внутрь себя, созерцательное выражение.

Но вот он начал свой рассказ, взнуздал, пришпорил память, и, сдерживая страстность речи, он весь преображается. Лицо становится живым, светлым, вдохновенным, глаза горят мудрой веселостью, и хмурые нависшие брови в напряженном движении.

Слова его просты, но убедительны, и все на своих местах; он знает толк в словах, прислушивается к ним, ясно понимает, что даже за пустяшным словом стоит большая сущность, и поэтому в его речи они начинают светиться внутренним огнем, приобретают значительность и вес. В моменты душевного подъема его голос становится жутким, вещим, и сам он — как пророк. Он начинает.

— Десяток лет тому случилось это, в та поры я еще самосильным был. Сказывал тебе, что я властитель этому месту, один я здесь на сотни верст.

Помню — голубое глазастое утро было, глубокий снег лежал. Месяц ноябрь кончился, скоро Николин день. А к Николину дню надо пушнины добыть изрядно. В Николин день две ярмарки живут, одна в Минусе, другая в Усинском. Вот туда и надо пушнину доставить, долг сквитать: должен я был Абдулу Мехметову, богатому купцу, близко к тысяче. А Абдул Мехметов — человек крутой: не оправдаешь себя — туго тебе будет.

Вот вышел я зверовать на промысел. Первонаперво лег на новом месте спать, в зимовье своем, и

видел сон — будто белки через реку плыли, хвосты вверх, трубой. Хороший сон: добыча будет добрая.

Ладно. Выхожу на поляну. А дело к вечеру, солнце книзу клонит, тени от деревьев в синь пошли, бегучие огонечки по снегу полыхают. Глянь — две лыжницы, две дороги от лыж, в нетоптаном снегу моем. Как так?! Кто мог осмелиться мое царство опоганить?!

Вскозырился я весь, упрямая кровища заиграла в жилах. Следить, следить: лыжницы под горку. И видно мне с горы — два черных человека: один сидит, этак колени обхватил, будто задумался, другой поодаль на боку лежит, лыжи валяются в сторонке. Смотреть, смотреть: не шевельнутся, будто мертвые.

Вот так раз — да ведь это купчина мой, Абдул Мехметов! И в мыслях твержу себе: «Ну, Бакланов, действуй, людишки погибают!» И стал лыжи укреплять.

А черт и говорит мне:

«Ты погоди, куда ты?»

«Как — куда? Ты вчера родился, что ли? Ведь люди там».

А черт мне:

«Нешто это люди? Один — купец Абдулка, другой — его поводырь-дурак».

«Нет, — отвечаю, — нельзя... Закон тайги не дозволяет. Надо спасать людей».

А черт и говорит:

«Эх, Бакланов, Бакланов!.. Закон тайги обормоты выдумали. Одной правдой не прожить. Не ходи, Бакланов! Обожди немножко, ну немножко!! Стой!»

«Нет, пойду».

«Кого ты спасать хочешь?! Ты ему тыщу должен!.. Ведь он грабитель. Ведь сколько он на тот свет народу сплавил, сколько народу по миру пустил! Его все клянут, а ты спасать хочешь. Дурак ты! Ведь он на ярмарку идет, пять тысяч у него в сумке; все твое будет. Ты только стой на месте, все без тебя сделается. И уж скоро, совсем скоро будет так, как надо. И не будешь ты горе мыкать, в Москву уедешь, слад-

кая жизнь твоя пойдет. Ты только слушайся меня, стой...»

Огляделся я — туда-сюда глазами шарю, голоса лукавого ищу; пусто, только те двое чернеют в сугробах, да от солнца по снегу алые полосы пошли.

Говорит мне черт:

«Он дочерь твою изобидел, он брата твоего в могилу свел, он и тебя за братом в гроб загонит. Ведь он же враг твой?»

«Враг».

«Пошто ж ты хочешь спасать его?»

«По то, что враг он мне. По этому самому. Друга всякий будет спасать, это не диво. Врага трудней».

«Ум твой пустой, Бакланов. В душе твоей гордыня, Бакланов. И ты только вспомни, что святые отцы рекли: гордыня — дочь дьявола. Убей в себе гордыню, Бакланов, дай околеть купцу».

«Нет! Будет жив, может добрые дела окажет».

И плюнул тут черт:

«Тьфу! От змеи не родится голубя. Неотмолимый грех тебе, ежели змею не изничтожишь».

Взяло меня за живое, говорю в думах черту своему:

«Не раз и не два сказывал мне родитель: жил в тайге пакостник один, забеглый каторжник, варнак. И так он насолил крещеным — замыслили крещеные убить его. А тут совесть в нем голос подала: противна варнаку жизнь стала — в крови, в злодействе. И порешил он на себя руки наложить. И только голову в петлю вставил, чтоб глотку затянуть, — бегут тайгой мужики: «А, злодей!» А варнак и говорит им: «Моченьки не стало жить так: совесть мучает меня». А мужики ему: «Ежели перестанешь злодеем быть, тогда живи, запрету от нас нет, живи!» Заплакал в ответ варнак. И сказывал мне родитель не раз, не два: стал с тех пор варнак самым желанным человеком, вся округа узнала о его жизни праведной, вся округа ходила к нему за поущением. И стал варнак святым. Вот так же и с Абдулкой может приключиться».

Примолк черт, не вздышит, видно слюни на клубок мотает. Только кончил я раздумье, он и говорит:

«Чудак ты, Бакланов, ей-богу, чудак! Абдулка твой злодей неисправимый. На душе у Абдулки до самого донышка копоть одна, грязь».

«Нет, скользки твои речи, увертливы, — отвечаю я черту своему. — Ежели дождь неделю поливает, не верь, что солнца нет: скатятся тучи, вот оно, солнышко-то, вот! Так и душа чужая: мрак, мрак и вдруг — светло».

И не знал черт, что ответить, только дыхнул в душу мне:

«Убей змею!»

«Нет! — говорю я. — Не возьму на себя греха».

«Бакланов, друг! — убеждает меня черт. — Ради бога не страшись греха... Ведь дело твое будет бескровное: крови ты ни капли не прольешь, руки своей не замараешь кровью».

«Совесть замараю...»

«И совесть твоя будет бела как снег. Ты только обожди, ну, обожди, Бакланов, прошу тебя, умоляю, не ходи! Сейчас они замерзнут».

«Прочь с дороги!» — ударил я голосом и зашагал на лыжах.

А черт всхлипнул и — чую — сзади меня идет, дышит в затылок жаром, темные искры рассыпает предо мной и сердце мое чавкает, чавкает песьими зубами: больно сердцу, и душа дрожит. Вот-вот схватит меня, вот-вот схватит. И уж схватил, окаянная сила, поймал, за ногу поймал: стоп, левая нога, стоп, правая нога, и я сам — стоп! И стал крутиться черт в моей душе: опять ласковым прикинулся, сердце лижет, из моих дум каинову удавку хочет вить.

И подумалось мне тут: «Зачем же это я в сам деле хочу своего врага спасать?» Стою, умствую в гордыне.

А черт и говорит:

«Вот и спасибо тебе, Бакланов! Ведь я люблю тебя, ведь я и не требую от тебя: поди, мол, стукни топором по черепу, убей! Раз ты греха боишься, я на убийство тебя не подстрекаю. И крови ты ни капли не

прольешь, и руки своей не замараешь, дело твое будет бескровное. Ты только закури трубочку, Бакланов! Пока куришь, все без тебя окончится: разве не видишь, уж к ним смерть идет?»

И верно. Гляжу я: белым пыхом смерть по сугробу вьюнком перевивает: вьет, вьет, вьет — и прямо к людям. Обличья у смерти нету, а сила есть.

«Врешь!» — крикнул я, да — ходу. Шорк-шорк на лыжах и сразу скатился с горы к Абдулу Мехметову, купцу.

Сбросил свою куртку из собачины, давай пыхтеть над человеком. Возился, возился — фу ты, мать честная! Умер человек! Стою над трупом отошедшим, и черт примолк. Передохнул я мало-мало, давай опять над покойничком пыхтеть, изрядно ему в рот спирту влил, да ну его, как чурбан, катать взад-вперед, мять руки, ноги разводить. Чую — покойник дух перевел и мертвые глаза открыл.

«Слава тебе, господи!» — перекрестился я и за другого человека принялся.

И возговорил Абдулка мертвым голосом:

— Бакланов!.. Неужто я живой?

— Живой, — говорю, — Абдул Мехметыч, самый живой теперича доспелся...

А он и говорит, и вижу — слезы градом. Говорит купец:

— Тебе ли, Бакланов, было спасать меня? Ведь я враг твой!

— Враг...

— Дочерь твою я изобидел.

— Дочерь изобидел.

— Брата твоего в могилу свел!

— Верно, в могилу свел.

— И ты все-таки спас меня? Ты?! Ведь помри я — долг бы твой насмарку. И всеми моими деньгами завладел бы ты. Ведь десять тысяч денег при мне.

— Совесть мою в мильоны не складешь.

— Верю, Бакланов, большущей совести твоей. Теперича, Бакланов, ты мой самый главный друг. Больше отца, матери!

Тут спросил я купца Абдула:

— Как же это ты, скажи на милость...

Отвечает купец:

— Черт попутал меня, шайтан! Мало-мало скупой я сделался. Просил с меня хороший проводник до Усинска дотащить тридцать пять рублей. А этот трухомёт, кобыла, за пятнадцать согласился. Я деньги жалел, его брал. А он, чалдон, и меня погубил и сам околел, собака! Бросай его!! Подох и ладно!

А черт и шепчет мне:

«Вот видишь, Бакланов, кого ты спас: не сердце у Абдулки, — камень!»

Слава тебе, тетереву: оживил-таки и этого покойника — проводника. Костер развел, чаю скипятил.

Развеселился купец за чаем, распарил брюхо, говорит:

— Ну, Бакланов! Чего хочешь проси, все дам тебе... только сведи меня на ярмарку, в Усу. Сколько долгу за тобой?

— Семьсот тридцать два рубля восемь гривен, — отвечаю.

— Будешь должен шестьсот тридцать два рубля восемь гривен. Только веди. Согласен?

— Нет, — говорю, — хозяин, не могу тебя вести. Ты сам знаешь, мне надо весь долг сквитать да еще заработать на прожитье. А мои деньги в лесу бегают. Потащу тебя — деньги убегут: теперича — самый лов зверю, ты сам, хозяин, отлично понимаешь. Обожди недельку в зимовье у меня, тогда задаром доведу.

— Да ведь мне каждый день дорог. Вот-вот ярмарка.

— Тогда прибавь.

— Нет, не могу. Сто рублей — цена. Ни гроша больше.

А черт и шепчет:

«Вот видишь, видишь, какую змею ты отогрел? Да разве это человек?! Убей его! Двинь по башке колом!»

Эх, засверкали у меня глаза: «А ведь черт дело говорит...» Одначе сдержал шальную кровь свою, сказал:

— Тогда до свиданьица, прощай, Абдул Мехметыч. Путь укажу тебе верный: дойдешь с проводником, — сказал я и в лыжи стал.

— Стой, Бакланов, стой! Еще полсотни долгу скощу тебе... Тащи!

Встряхнулся я, подумал, говорю:

— Согласен. Может, чрез это гибель мне самолично приключится, а все ж таки... Согласен, ладно!

Спать в зимовье ушли. Купец спал крепко, на особицу храпел. Проводник, мужичонка ледащенький такой, все хныкал лежа, — похнычет, похнычет, перекрестится:

— Спасибо тебе, добрый человек, из могилы меня выкопал, от смерти отнял!

А с полуночи я видел сон. Будто черт со мною бьется. Черт весь серый такой, надутый, словно из резины. Лика никакого нет, ни рта, ни глаз, просто мешок тугой, в середке — гадость, гарь. И словно сижу я на пенышке, пригорюнившись, и слезы капют. Черт кэк надлетит, кэ-эк хвать мне в темя, чтобы, значит, совесть приглушить. Бьет и бьет с налету. А я ни рукой, ни ногой шевельнуться не могу. «А ведь приглушит мою совесть-то», — подумал я. И только я подумал — встал Абдул. Вот вижу: встал Абдул и зачал в кишку черта надувать. И вижу: черт стал раздуваться, раздуваться, Абдул — хиреть. И сделался черт с корову, Абдул с белку. «Эй, проводник! — запищал по-беличьи Абдул. — Дуй мне в кишку, я — в черта. Лопнет!» Вскочил мужик, стал в кишку Абдула надувать. Мужик Абдула надувает, Абдул — черта. И стал черт с гору, Абдул с корову, мужик с белку.

«Ай, батюшки! — заверезжал по-беличьи мужик. — Ежели черт лопнет да купец лопнет, тогда и мне несдобровать: в собачью блоху обернусь, подохну!»

Тогда я самолично встал, давай мужика надувать в кишку, мужик — Абдула, Абдул — черта. Дули, дули — черт выпучил глаза, вывалил язык и лопнул. И как

лопнул черт, всю местность серый дым окутал. И как окутал всю местность серый дым, мы все вскочили, выбежали из избушки, глядь: всю местность серый дым окутал, мороз стоит, утро зарождается.

Бакланов сделал перерыв, задумался, как бы припоминая, что повествовать. Я уверен, что рассказ, который он не однажды повторял, Бакланов всякий раз ведет по-новому, прибавляя что-то от себя, углубляя смысл отдельных выражений, шлифуя форму: он творит. Его слушаю не я один, его слушают ночь, тайга, костер, небо, вся земля, вся тварь. И, зная это, Бакланов благовествует в молчаливое пространство, как признанный поэт, которому рукоплещет многолюдный зал.

Ночь наседала на землю, разрасталась. От тьмы стало тесно у костра. И ничего кругом не видно. Но я чувствую, что Бакланов видит все. Он и во мраке не заблудится, пройдет неведомым путем, он сумеет отвести душу разговором со встречным деревом, с камнем, со звездой, а если попадется черт — и с чертом. Ему все знакомо, все понятно, даже смерть.

— Бедному умереть легко, стоит только зажмуриться, — мудро изрекает он.

— Ладно. Тихо к утру сделалось, — стал продолжать Бакланов. — И как слиняла восточная звезда, стал людишек своих будить.

— Что ты? — говорит Абдул. — Еще только два часа ночи. Рано!

— В небе-то рано, да в сумах-то у нас поздно, — отвечаю я. — Харч на исходе, а в зимовье бежать — далече очень.

И вот пошли.

Проводник на лыжах кой-как тараканьими ногами сучит, а хозяина я на себе тащу: в нарты посадил его, тащу, совсем ослабел хозяин. А шагать поболе сотни верст, еще взад такая же охапка. Да, главное дело,

надо перевалить Араданские хресты, а там всегда пурга живет. Когда вернусь?!

Весь день без передыху шли. Абдул Мехметов — грузный: нарты глубоко врезаются. Сто потов я согнал с себя, небо с овчинку показалось. И нет укороту черту моему, опять надо мной изгаляться стал: «Тащи, тащи!.. Бог, ха-ха, заплатит! Бог любит дураков!»

Остановились ненадолго, погрызли всухомятку сухарей, айда вперед. А проводник плелся, плелся, да и заныл:

— Смерть моя, боле не могу! Задави меня, собаку, брось!..

Брякнул я его с сердцов на нарты: «Садись, анафема!» — и двоих повез.

«Ну, — думаю, — аминь, решу себя, аминь. Все втроем загинем. Да, спаси бог, ежели пурга ударит, вьюга». А уж на Арадан-хребет вздымаемся.

Только так подумал — взикнул поземок понизу, и деревья плечами, головами замотали. Батюшки, пурга, погибель, смерть!

— Ребята, — говорю, — верная наша смерть идет! Пурга!

Взмолились мои людишки:

— Бакланов, батюшка, Леонтий Мосеич, отец родной!

А черт хихикает мне в ухо: «Что, дурак паршивый, влопался?! Теперь уж вези, раз продался, спасай людей, лесную правду выполнишь! Ха-ха...»

Сглотнул я нутряные слезы, говорю людишкам своим:

— Вставайте, окапываться будем. Ежели пурга покроет нас, может неделю под снегом придется жить. А где еда? Еды — раз пожрать, и нету.

Как полоснет ветрище, как посыплет сверху сизый мокрый снег; вот она матушка-пурга: ложись — выдюжит сила, будешь жив, а нет — аминь.

А черт и говорит мне:

«Бросай их! Беги домой, жив будешь. Место заприметь, потом вернешься, богат будешь».

Сжал я на черта кулаки, остервенел.

А пурга так и крутит, мокрым снегом свет белый замутило. Вдруг слышу — ну, как во сне услышал, ветер поднес к ушам, — слышу: бубенцы взбрякали где-то недалечко и храпанули кони. Навострил я лыжи — дуй, не стой!

Глядь — дорога, редко кто этой дорогой ездит, глядь — казаки в Усинское возвращаются: сбились с тракта, сюда попали.

Кричу им:

— Станичники, здорово! Узнаете, нет?!

— А-а, Бакланов!.. Ребята, это Бакланов, зверолов! Садись, Бакланов!.. Папаша, к нам! к нам!...

— Вот, ребята, — говорю им, — живность у меня имеется, захватите-ка в Усу!

Словом, коротко сказать, устроил я горемык своих на подводах, сказал казакам:

— Живность чтоб доставить в аккурате, правильно. В Усе с рук на руки сдадите мне. Бакланов вам это говорит, таежный волк.

А сам опять дуй, не стой — на лыжах. Пурга меня любит, будто путь расчищает мне; припустил полным ходом с Араданского хребта — пошел чесать.

Лошадиная дорога вихлястая, соколиная дорога впрямь идет; бегу по птичьему пути, налегке бегу, без груза, а в сердце радость, и вольные ветерки в спину поддувают. В лес вступил — воет тайга верхним воем, вьюгу над вершинами несет, а внизу тихость. И темная темень растеклась. Только чур, Бакланова тьмой не удивишь, чертовым посвистом не застращаешь: сгикает, допустим, черт, а я его, нечистую силу, — матюгом!

Переть, переть — посветлее в тайге сделалось, месяц встал. Переть, переть — кончилась тайга, кончилась пурга, небо в бисере, и Усинская станица на виду.

Пру, пру, пру, надрываю силы и уж не телом путь держу — телу давно бы подохнуть надо, — душа ведет вперед, как в машине пар.

— Здорово, хозяюшка! — крикнул я молодице Матрене Митревне, — постоялый двор она содерживала. — Становь самовар большой, скоро к тебе гости будут, а я на печку!

И как залез в тепло, сразу захрапел. А время к утру. Храплю, а сам все чувствую: прозвени струна, прошурши цветы, подай птица свой голос свиристельный, — враз услышу: на моей башке, на самой на макушечке, глазастое ухо такое есть — во тьме видит, во сне слышит, сторож недреманый такой.

Слышу — в сенцах медвежьи лапы затоптались, слышу — дверь скрипнула, вижу через закрытые глаза — Абдул Мехметов ввалился, с ним проводник-чалдон, казаки.

— Хозяйка! — загремел купец. — Все давай на стол: самовар давай, всякую еду давай, водки давай. Через часок-другой должен знатный гость прибыть, мой спаситель!

А я и кричу ему:

— Твой спаситель давным-давно на печке дрыхнет, третий сон видит.

— Бакланов, ты ли это?.. Отец родной!.. Да как ты?! Ведь мы на лошадях, почитай, вмах гнали.

Ну меня целовать, ну меня миловать да в ноги кланяться.

Разогрелись чаем, снедью подкрепились, водочки подвыпили, в пляс пошли. И хозяйка каблуками брякала, молодица Матрена Митревна. Эх, и хороша бабенка, язви ее в пятку! Вперед грудью ходит, глазами поводит. Э-эх!.. Ну, ладно... Было делов порядочная сумма.

И как стал Абдул Мехметов вполпьяна, вынул охапку денег.

— Вот тебе, отец родной, Бакланов, сто пятьдесят по договору. А это вот тебе четвертной билет за скорость за твою. А как спас ты меня от неминучей смерти — половина долга прочь! Убыток свой с других возворочу.

Взял я деньги, говорю:

— За то, что вел тебя, — принимаю деньги, за скорость тоже принимаю. Но за то, что спас тебя, — не могу принять. И как можно жизнь человеческую на деньги оценить! Да знаешь ли ты, что такое означает человек? Подумай-ка погуще об этом самом, Абдул ты мой Мехметыч, милый! Может, и ты тогда

ко всякому человеку с правдой, с ласковостью подойдешь.

И как ни упрашивал меня, в ноги двадцать разов бухал, — уперся я, стал на своем: ни-ни.

И вот в обратный путь приближаюсь я к своему зимовью.

А черт и говорит мне:

«Ха-ха!.. Велики эти деньги!.. Грош нашел, тыщи потерял... Дуррак!»

Плюнул я ему в безмордую морду, подлецу! И прямо пошел в обход — кулемки, слопцы, плашки проверять. И что б ты думал, милый человек? Тридцать два года промышляю здесь, такого фарта мне сроду не было: пока таскал купца, девять соболей попалось в ловушки, двенадцать лис, без счету хорьков да горностаев! Да полторы тыщи за десять ден сиводушных белок взял: стадом белки по вершинам шли. Коротко сказать: не токмо долг сквитал, а еще капиталишко нажил. И уж черту нечем меня крыть. Молчит. Тогда сам я начал выкликать его. Молчит.

«Ну, Черт Иваныч, — кричу ему, — кто прав: я или ты?! Отвечай, нечистик!»

Молчит.

«А может, вернуться, может, поступить в проводники к Абдулке да пришить его? А? Богатым буду, знатным буду, в Москву поеду... А?!»

Молчит черт, словно сгинул.

Тут сдогадался я, что черт — во мне, что черт — совесть моя черная. И завернул я ему, окаянному, гайку туго-натуго: до сей поры молчит, хоть бы раз свой голос подал — молчит, как в рот воды.

Кончил Бакланов.

Костер угасал. Груда умирающих углей в предсмертных переливах: ярко-голубых, красноватых, тусклых. Вот проблеск жизни на мгновение прожег серебряный зигзаг в костре, все вскоре замутилось, обросло седым пеплом, словно инеем, и тьма медленно легла пухлым брюхом на костер.

Стало кругом холодно, пустынно, пусто, и мою душу охватило какое-то томление, тоска о недосказанном, о том, что человеку, может быть, и не нужно знать.

Но я все-таки спросил:

— А как же?..

— Что? Ты про Абдула? — сразу поймал мою мысль Бакланов. — Изволь. Деньги все-таки угробили его, загиб. Деньги — пот людской да кровь, грех в них. С ярмарки в позапрошлом году он ехал, из Минусинска-города. Да как переезжал зимним временем чрез Енисей-реку, зарезали его разбойники: нож в горло, лошадей угнали, а Абдула привязали к саням, под лед спустили. А как взыграл Енисей весной, всплыл мокрый покойничек во всей сбруе и с санями вместе. И хоть мертвецким темным оком опять все-таки довелось ему по-холодному на белый свет взглянуть. Да снова навеки в землю.

Бакланов вздохнул, замолк и опустил на грудь кудластую голову свою. Тьма придавила пупком последний уголек в костре.

И из тьмы, откуда-то снизу, откуда-то сверху, усталым проблеском просветлели чрез мрак последние слова Бакланова:

— И остался я купцу должен три рубля. И захотелось мне чистым быть: заказал священнику, отцу Панфилу, по Абдулке панихиду. Может, Абдулкиной душе это наплевать, зато мне спокой. Аминь.

V

Наверное, читателю интересно знать, как Бакланов отнесся к революции? Меня, признаться, такой вопрос очень занимал. Мне казалось, что этот активнейший, с сильной душою человек, вся жизнь которого — сплошные поиски правды-справедливости, не мог не отозваться на охватившую страну революционную стихию. По основному ядру своей натуры Бакланов должен был густо завязнуть в революции и положить мятущуюся свою душу за благо народа своего.

Я несколько лет не получал от старика вестей и готов был с горечью вычеркнуть имя его из списка живых своих знакомцев, как вдруг — и совершенно неожиданно — пришло от него нацарапанное порыжелыми каракулями письмо. Оно было вложено в самодельный конверт, неумело заклеенный жеваным черным хлебом.

Вот это письмо:

«Милай живой ли ты приеждяй в гости много расскажу обо всем. Богу угодно было таежную правду чрез меня выполнить левой рученьки не стало глаз выколот стариком исделался чрез то а за правое дело стоймя стоял сначала за Колчака ишел опосля тово супротив Колчака повел дружину партизанскую все по горам да по лесам. Много было делов кровавых а и по ся пору не в полной вере где настоящая правда скрыта. Приеждяй.

А писал в 1923 году в марте самоличный Левонтий Бакланов однорукой».

АЛЧНОСТЬ

Страничка прошлого

Торговый человек Афанасий Ермолаич Раскатилов гремел на весь уезд. В каждом большом селе у него по лавке, богатей был, но в рост денег не давал, не маклачил.

У купца служил с малых лет Григорий Синяков. Когда Григорий осиротел, купец взял его в лавку мальчишкой на посылках.

— Присматривайся, Гришка... Человеком будешь, — сказал купец и потрепал по щеке. — Грамоте-то знаешь?

— Мало-мало кумекаю, — расторопно ответил мальчик. — Рифметику учил, еще хрестоматию, о рыбаке и рыбке наизусть...

— Про рыболовство, что ли?

— Нет, про старуху про одну. Называется — стихи.

— Ну, это ерунда. Нашему брату ни к чему твои стихи. А сколько семью пять?

Гришка замигал.

— Вот, сопляк, и не знаешь. Выходит: твоя наука — тьфу.

Афанасий Ермолаич старился. Григорий рос. Кудри купца засеребрились, его жена легла в могилу на долгий отдых. Смерть близкого человека и полное

одиночество заставили купца пристально всмотреться в прожитую жизнь свою, вспомнить все обиды, которые вольно или невольно причинял он ближним, подвести всему итог. Купец с особым тщанием припоминал и добрые дела свои, когда человеческое сердце источает к людям свет любви... Но добрых дел осталось мало в памяти купца, и душа его скорбела.

Чтоб иметь оправданье своелюбивой своей жизни и успокоить прозвучавший голос совести, купец решил вывести Григория Синякова в люди.

«Под конец дней и я должен возжечь свою свечу перед господом».

Из мальчишек Григорий стал подручным, из подручных — приказчиком, потом на отчет сел, в конце же концов заделался главным доверенным хозяина.

Время шло. Григорий женился на тихой Даше и припеваючи жил себе у тестя-мельника. Хотя новый доверенный отпустил русую бороду, обзавелся двумя детьми, но хозяин, по старой памяти и на правах благодетеля, все еще Гришкой его кличет:

— Гришка, слушай-ка! Съезди-ка, брат, в Княжево, турни там доверенного в три шеи: жулик, черт.

Григорий Иваныч ехал и вершил суд с расправой.

— Эй, Гришка! Одначе пора доходы собирать. Айда-ко благословясь.

И ехал Григорий Иваныч по всем десяти лавкам проверять кассы, производить учет, отбирать выручку.

Однажды, глубокой зимой, в ночь перед отъездом, Григорий увидел скверный сон. Будто в лесу он. И наткнулся на лешего. Сидит леший в сорокаведерной бочке из-под спирта, выгребает лопатой деньги: золотые червонцы горьмя горят, как угли, и соблазнительно позвякивают, ну такая от их звона по всему лесному царству музыка идет, всю жизнь прослушал бы. «Дай и мне», — не утерпел Григорий. «Бери, — ухмыльнулся леший, — только смотри, как бы не того... не этого...» — да и не докончил. Григорий целую шапку червонцев наложил. И с тем проснулся.

— Ох, и худой же сон, — вздохнула его жена Даша.

Старуха тут толклась, горчички пришла занять, уж очень вкусно с горчицей студень кушать. Та — то же:

— Будет тебе, родимый, испытание. Мотри, гляди в оба. С опаской поезжай, благословясь.

Тесть-мельник успокоил:

— Ты не слушай баб. Снам петух верит. Ну-ка, выпьем на прощаньице...

Однако, когда расставался Григорий с Дашей, сердце напоминало ему о том, чего нет, но будет.

Кругом белели обильные снега, морозы стояли с дымом, и зыбучая, вся в выбоинах, дорога как волны в море.

На холоде Григорий Иваныч забыл свой темный сон, знай нос три чаще, а будет мороз одолевать, выскочи из кошевки да дуй во все лопатки рядом с Пегашом. А купеческий Пегаш — рысистый полукровок, ехать на таком коне не скучно, да ежели и злой человек умыслит в ночное время пакость сделать, Пегаш не выдаст. Только крикни: «Грабят!» — рванет Пегаш, полозья в визг, снежная пыль столбом, и ветер свищет.

Да, впрочем, Григорий Иваныч и не очень-то боялся нападений: денег в бумажнике немного, для отвода глаз, вот разве шубу снимут или топором по черепу. Ну что ж, судьба. А вот хозяйских денег разбойникам сроду не найти: в березовых полозьях кошевки продолблены потайные глубокие пазы, в них вся казна лежит.

Пока объезжал епархию, время стало к весне клониться. Пожалуй, можно и домой путь править, а то рухнет дорога — плохо. Солнце припекает крепко, старики пророчат дружную, раннюю весну.

«Авось с недельку еще продержится, — утешал себя горячий на работу Григорий Иваныч Синяков. — Авось морозец ударит, утренник».

И он решил в последний пункт завернуть, в торговое село Кринкино. Подъехал он в сумерки к реке

Прибою, только бы перебраться на тот берег — тут и Кринкино, слышно, как собачонки брешут.

Лишь стал коня на лед спускать, вдруг:

— Стой, паря! Ты сдурел! Переночуй добром. Вишь, темно.

Оглянулся Григорий Иваныч — старик возле него, дедка Арсений, бородой трясет. Послушался умного совета, ночевал у старика.

А ночью дождь пошел, к утру ручьи взбурлили, дождь пуще, пуще.

— Переночуй еще, — сказал дед Арсений. — Ежели не выведрит да как след быть не подкует морозцем, придется тебе, паря, домой ехать в обратную. А то чего доброго мырнешь, да и не вымырнешь.

Еще ночь пережидал Григорий Иваныч. Действительно, морозец пал.

— Ну, благословляй, дедушка Арсений.

— А ты вот что... Иди-ка через речку пешком... Вишь, лед-то посинел... Пегаша не сдержит.

— Сдержит... Без саней никак невозможно мне.

Народ стал подходить. Какая-то старуха пробиралась осторожно по льду: к обедне благовестили, шестая великопостная неделя шла. Показалось солнце, стекла в церкви на том берегу загорелись мертвыми огнями, воробьи на прясле гомон подняли.

Григорий Иваныч забрал в горсть вожжи, стал спускаться. Возле самой закрайки — лавина. Пегаш всхрапнул, перескочил, кошевка стукнула, брызги фонтаном вверх. А сзади крик:

— Правей! Правей держи!!

Лед синий, жухлый, весь сопрел. Чувствовалось, что река напружилась, выгибала закованную спину: вот-вот треснут льды и поплывут.

— Назад! Вороти назад!

— Стой! Стой!!

Грузный Пегаш опять всхрапнул и пугливо поводил ушами: лед оседал под ним. У Григория Иваныча захватило дух: впереди погибель, сзади смерть. И вдруг его ослепил огонь решимости. Он вытянул коня:

— Малютка, грабят!

Пегаш рванул вперед и вбок, лед вмиг расселся, конь ухнул передними ногами в полынью, лягнул задом и...

По берегу пронесся отчаянный многогрудный крик. А дальше Григорий Иваныч ничего не помнил.

Пахло квашней, пылали огнем дрова в печи, было темно, угревно. Григорий Иваныч обвел каким-то отчужденным взглядом незнакомую избу, посмотрел на старуху в пестрядинном сарафане, валявшую на столе хлебные караваи, громко вздохнул.

— Очнулся, болезный мой, — ласково сказала старуха. — Ну слава те Христу. Ужо соченек тебе свеженький спеку да яичко дам освященное: второй день пасхи ноне.

— А где же это я? — робко спросил Григорий Иваныч.

— У Демьяна... Вот где. В Кринкине, в селе. Вот, вот. Выловили тебя, болезный мой. У Демьяна ты. У него, у него. А я двоюродной бабкой им прихожусь. Бабкой, батюшка, бабкой.

Григорий Иваныч хотел спросить про Пегаша, про сани, но все это стало ненужным, мелким, все куда-то отодвинулось во тьму, и только мысль, что он жив, охватила светлым ласкающим потоком все существо его. Тяжелой, непослушной, будто чужой рукой он прикрыл глаза.

Но чей-то колкий, с ухмылкой, голос крикнул ему в ухо:

«А как же деньги?!»

И Григорий Иваныч почувствовал, как холодеет его тело. Он сразу вспомнил тот темный сон: лесная трущоба, леший, золото, — вспомнил опасенье жены и старухи: «Будет тебе испытание...» Звонким переливом звякали червонцы в ушах, охватывало смертной тоской сердце.

«А как же деньги, хозяйский капитал, Пегаш?»

Но горячечный сон в бреду, провалах, вспышках положил всему предел.

И снова... Что-то бубнило — рассказывала старуха, пожмыхивая тестом, кто-то грузно вошел и сказал:

— Здорово-те живете... Христос воскрес!.. Ну, каков болящий?

— Христос воскрес, и болящий воскрес... — ответила бабка. — Голос свой подал, оклемался. Вот она, жизнь то наша...

Но Григорию Иванычу хотелось лишь покоя. Целую неделю пролежал он влежку. Настроение было мрачное, угнетенное: утонул Пегаш, унырнули под лед сани. В десятый раз вынимал он чудом уцелевшую книжку и едва различал растекшуюся от воды запись, подводил итог погибшим собранным деньгам.

«Девять тысяч двести».

— По какому случаю на чужой подводе? — встретил его хозяин Афанасий Ермолаич и грозно насупился. — А Пегаш где?

— Несчастье со мной стряслось. Едва не погиб. И деньги все потонули... Извините, ради Христа.

Купец откинул с глаз серые лохмы, открыл рот и попятился:

— Сколько жа?

— Да девять тысяч с лишком.

В груди купца захрипело, глаза выкатились, большое бородатое лицо закровенилось.

— Жулик! Разбойник! Грабитель!

Григорий Иваныч вздрогнул, сгорбился, прильнул плечом к стене, чтоб не упасть.

— Что вы, Афанасий Ермолаич... Помилуйте... Сколько лет верой и правдой...

— Вон!! — затрясся, затопал купец, ударил дряблым кулаком в столешницу. — Ты мне больше не слуга... Чтоб духу твоего не было! Вон, вон!!

Шатаясь, выходил из комнаты Григорий Иваныч, в глазах темно, а вдогонку каменным градом убойные слова:

— В тюрьму, сукина сына! В острог! Я те выучу!

Купец, задыхаясь, грузно, как большой медведь, сел в кресло. С озлоблением поглядывая на уставлен-

ный иконами кивот, где теплились две серебряные лампадки, хрипло жаловался богу:

— Вот и спасай с этакими дьяволами душу: сами в ад лезут и тебя туда же тащат. Тьфу!

Григорий Иваныч, после болезни худой и бледный, растерянно вошел в свой дом.

— Тятенька приехал, тятенька!..— закричали обрадованные ребята. — Христос воскрес, тятенька!

— Воистину воскрес, — сказал Григорий Иваныч, поцеловал жену, детей и заплакал.

Григорий Иваныч постепенно впадал с семьей в нищету. Мельник-тесть, на шее которого они сидели, стал с зятем груб, придирчив. И как-то с его языка сорвалось:

— Ежели ты украл деньги, пошто ты их не оказываешь?.. Дармоед, черт паршивый.

Григорий молча терпел.

Весна кончилась, наступило лето. В купце начала пробуждаться совесть. Хотя алчность глубоко въелась в его душу, однако мысль о приближающемся смертном часе, о том, что к концу дней необходимо стать чистым и безгрешным, надо все понять и всех простить, — эта тревожная мысль заставила купца, через упорную борьбу с самим собой, протянуть руку помощи опозоренному приказчику. И он призвал Григория Иваныча к себе.

— Вот что, Гришка, — сказал купец. — Хотя ты без малого и разорил меня, ну только что черт с тобой, прощаю. Посажу тебя на отчет. Езжай в Гриблянку, торгуй.

Расстался Григорий Иваныч с родным своим селом, забрал семейство и переселился на новые места. Из кожи лезет, большой оборот купцу сделал, все норовит загладить невольный грех. А обида от купца давно исчезла в его сердце: русский человек памятного зла носить в себе не может.

К Михайлову дню по первопутку прикатил к нему купец-хозяин. Произвел учет, — все в должном порядке было, — и, по приглашению Даши, пошел

к приказчику откушать. Купец поесть горазд: угостили его на славу. Ну, была, конечно, и подобающая выпивка.

Размяк, рассолодел купец, похлопал опального человека по плечу, сказал:

— Ну, Гришка, будь опять главным у меня. Езжай по епархии деньги собирать, как поп ругу.

У Григория Иваныча задрожали руки, поставил стакан с чаем, в глазах зарябило: прихлынуло такое к сердцу, что и не скажешь.

— Ведь кто тебя знает, Гришка... Может статься, и все девять тысяч водичку хлебают, а может... — и купец двусмысленно подморгнул приказчику осоловелыми глазами.

— Что? — растерянно замигал приказчик. — Все еще подозреваете?

— Всяко бывает, — хихикнул по-пьяному купец. — Человек, скажем, не ангел. Да...

Очень обидным показалось это Григорию Иванычу. Эх, дать бы купцу по благочестивой роже! Но пришлось стерпеть: у него не было доказательств правоты своей.

Пьяное лицо купца покрывал пьяный елей. Он набожно перекрестился, поцеловал Дашу, поцеловал Григория Иваныча и, рыдая на его плече, сказал:

— Душе своей я не враг. Ты чуть не опанкрутил меня, а я тебя прощаю. Вот сколь я угодный богу человек.

И вот...

Поют полозья легких санок-беговуш, весело работает резвыми ногами гнедой, в яблоках, жеребец; из села в село мчит Григорий Иваныч купеческую прибыль собирать.

Не в потайных полозьях теперь прячет он деньги, а за рубаху, в кожаный кисет, разбойные места проезжает засветло, всегда держит наготове о пяти зарядах револьвер.

И случилось ему пересечь низовье все той же памятной реки Прибоя, смертельной купели своей. А тут

с полден буран поднялся, метелица. Надо пережидать — чего доброго дорогу потеряешь, средь поля поморозишься.

Вот и деревенька Легостаева к Григорию Иванычу задом повернулась. Через огороды, гумна, огуменники стал в улицу прогоном пробираться. Глядит — у прясла, подле риги, кошевочка аккуратненькая стоит в снегу, и по размерам точь-в-точь его, тогдашняя. Однако никакого внимания Григорий Иваныч не обратил — кошевка и кошевка, они все на одну стать, как галки в поле. Так, мелькнуло в мыслях и пропало.

Попросился в избу обогреться.

— Милости просим... Залазь, добрый человек, — сказал мужик Никита, суетившийся, сухопарый, с острыми неприятными глазами. — Вы кто такие будете?

— А по лесной части я, из города, — соврал Григорий Иваныч.

— Так, так... Это ничего...

Сели чаевать, железную печку баба затопила, быстрое тепло туго набило избу, а за окнами буран крутил. Григорий Иваныч пьет чай, а сердце стукочет, надрывается, и леший в уши червонцами звенит, — ну, неудержимо хочется Григорию Иванычу осмотреть кошевку.

«Ерунда какая... Вот ерунда...» — возражает сам себе. А ноги встали и к двери понесли его.

— Куда?

— Я на минутку... Коня проведать...

Да бегом, через буран, через вьюжную воющую непогодь — к овинам.

Глядь: его кошевка. Ей-богу же его... Его! Надолба, винтики, планка потайная.

«Она!»

Вернулся в избу, дрожмя дрожит, губы прихватил зубами, не держат зубы, чакают.

— Ты что?

— Замерз очень.

— Грейся.

А в избе как в бане. Разморились все, сон стал одолевать: наскоро поужинали, почивать легли. Ветер бил с налету в стены, избяное высасывал тепло. Тетка

Матрена завернулась в шубу, захрапела. Хозяин же и гость, попыхивая трубками, мигали во тьму.

— Спишь?

— Нет.

И путаной околицей Григорий Иваныч хитрую речь повел:

— Слушай-ка, дядя Никита, — начал он, приказав голосу быть твердым, сердцу тихим. — Это твоя рига-то на задах?

— Моя... А что?

— Добрая рига схлопана. Бревнища-то семивершковые, кондач.

— Рига добрая.

— Видать, хозяин ты справный. Корова, кажись, ярославка. И коняга круторебрый, бабка в ноге широкая...

— Мерин добрый... Только ленив, лешева ноздря...

Помолчали.

— Хозяин ты хороший, а вот кошевку возле риги без призора бросил... В снегу валяется.

Никита повернул к гостю голову и, ухмыльнувшись тьме, вяло ответил:

— Кошевка эта приблудная. Сказывали, быдто нонешней весной, в Кринкине-селе, сто верст отсюда, раскатиловский приказчик в воду умырнул вместе с конем. Все думаю — его. После половодья, как вода ушла, у меня на покосе оказалась эта кошевка-то.

Сердце Григория Иваныча остановилось и вдруг с такой силой заработало, что на висках напряглись жилы и где-то позади глаз стали постукивать тугие огоньки.

— Нет, — сказал он, и голос его поскользнулся, дал нырка. — Нет, я раскатиловскую кошевку знаю... У той задок белой жестью обит. Давай сменяемся...

— Нет, паря, не стану. Самому нужна. А тебе пошто занадобилось меняться? Твоя лучше.

— Ну, вот и давай. Твоя легче.

— Нет, — уперся Никита.

— Я придачу дам.

— Сколько же?

— Три рубля дам. И бутылку спирту на магарыч.

Проснулась Матрена, сквозь позевки закричала:

— И не думай меняться! Что ты!.. Да нешто можно? Находкой меняться — счастье свое из дому гнать...

— Спи знай! Сча-а-стье... — передразнил Никита жену свою.— Бабьи глупости... стану я тебя слушать... Как же. А вот что, гостюшка желанный: давай пятерку и две бутылки. Идет?

— Идет,— мысленно перекрестился Григорий Иваныч.

— Бери... Пользуйся моей простотой,— алчно прищурился Никита и поскреб когтем лопату-бороду.

— Эт ты, чурбан, чурбан! Башка телячья, — заверезжала с печи баба.

Гость и хозяин, как по уговору, гулко захихикали в ответ.

Ранним утром, едва отъехав за поскотину, Григорий Иваныч остановил гнедка, опрокинул кошевку вверх полозьями и прыгающими, любопытными руками принялся отвинчивать гайки.

«Неужто Никита догадался, выгреб золото?»

Кровь в лице то холодела, то вскипала. И вдруг...

Сорвал Григорий Иваныч с головы шапку, пал на колени в снег, крикнул:

— Царь небесный, батюшка! Даша, ребята, Афанасий Ермолаевич!!

Гнедко всхрапнул и покосился на него. И неизвестно, на крыльях какой волшебной птицы летел Григорий Иваныч в свое село, к купцу-хозяину:

— Тпру!

Легким пухом, с легким сердцем впорхнул он в хозяйские хоромы и облегченно, как гиря с плеч, крикнул во все легкие:

— Афанасий Ермолаич, вот! Вот выручка, а вот девять тысяч двести... Те самые... Вот!

И швырнул на стол скрученные в трубочки, чуть проржавленные с краев кредитки — потайные проемы в кошевке были пригнаны плотно. И швырнул два звонких столбика червонцев, — звякнуло золото, заиздевалось: «Сколько, сколько, сколько я испортило

вам крови?..» И последний раз устрашительный леший всхохотал, последний раз побренчал обманным золотом и — в чащу. Темный сон окончился, ядреное солнечное утро было, золотые зайчики играли в серебряной бороде купца-хозяина.

Хозяин, так же как и в тот далекий несчастный день, широко разинул рот и выпучил мутные глаза. И пока пересчитывал девять тысяч двести, все головой крутил, чмокал, улыбался. Потом сказал, покаянно всплеснув руками:

— Ну, Григорий Иваныч (первый раз в жизни приказчика по отчеству назвал), прости меня, старого дьявола, Григорий Иваныч! Вот пока что тебе в награду двести золотом. А эти вот три сотенных бумажки, — они шибко проржавели,— обменяй в городе, в банке. А ежели, допустим, не обменяют по причине порчи, пожертвуй их в Богоявленский монастырь отцу Исидору на вечное поминовение родителей моих. Я бы сам поехал в город, да болен, понимаешь, спина гудит.

— Ну, а если обменяют в банке, жертвовать в монастырь все три сотни?

— Нет, что ты! — испугался купец и повернул к иконам спину. — Сотнягу сунь... Будет за глаза.

Купец в волнении тяжко дышал и расслабленно сел в кресло:

— Плохое мое здоровье стало, — сказал он. — Ноги пухнут.

Григорий Иваныч переминался у стола, поглаживая ладонью скатерть. Скатерть грязная, в яичнице, в жирных пятнах от щей, от сала, в красных пятнах от вина. В комнатах неряшливо, одиноко, скучно; пахло ладаном, чадом восковых свечей, лампадным маслом, по грязному полу черный таракан бежал, и солнышко нехотя красило выцветшие мрачные обои на стенах.

— Одышка, — сказал купец; лицо его было испуганно, печально.

Григорию Иванычу стало жаль купца.

— Вам бы полечиться, Афанасий Ермолаич, да отдохнуть...

— Отдохнуть? — захрипел купец. — А кто будет делом заправлять?

— Дело — бог с ним. Здоровье — главное.

— Не ты наживал, не тебе и учить меня... Ну, ступай, милый, с богом... Ступай, Григорий Иваныч...

Тот пошел и сказал от двери:

— Вот вы меня наградили, монахов хотите наградить. А как же мужик Никита? Надо бы и его поблагодарить...

Купец поднялся, крикнул:

— За что? За то, что счастья своего не мог удержать? К черту!

— Тогда я из своих. А то неловко. — И Григорий Иваныч вышел.

На другой день купец все-таки велел Григорию Иванычу отвезти Никите двадцать пять рублей и лошадь.

— Понимаешь, сон я видел... Будто Никита душил меня: «Подай, Кощей бессмертный, деньги». Вот сволочь какая... Отвези, черт с ним.

На той же неделе, утром, Григорий Иваныч радостно въехал в Никитин двор.

Сухопарый Никита выслушал, распрямил сутулую спину и побледнел, как полотно. Деньги и лошадь, однако, принял. В избу Григория Иваныча не пригласил, только сказал на прощанье жестким, ледяным голосом:

— Девять тысяч... Ну, ну... А что же ты, пес пархатый, говорил, что по лесной части?.. Эх ты, жулик, жулик. Жаль, что я тебе топором башку тогда не ссек.

На Никиту навалилась смертная тоска. Золото скрежетало в его душе, дразнило, отняло покой. Никита запил горькую. Он никому не обмолвился про свою обиду, пил ожесточенно, одиноко. Вся деревня диву далась — мужик был трезвый. Жена и к попу, и к колдуну — напрасно. После молебна с водосвятием Никита пуще запил. В припадке бешеного буйства он выстегнул глаза подаренному коню и

разворотил ему ножом верхнюю губу, конь едва кровью не истек.

Под воскресенье крепко Никита уснул. Матрена обрадовалась:

— А ведь, гляди, помог колдун-то...

А утром нашли Никиту в риге. Над самым тем местом, где когда-то стояла купеческая проклятая кошевка, висел на вожжах его жалкий труп.

Афанасий Ермолаич Раскатилов, узнав об этом, перекрестился и, позевывая, назидательно сказал:

— Дурак, царство ему небесное... Правильно в церкви-то поется: «Виждь имений рачителю, сих ради удавление употребивша...» Эх, жизнь, жизнь: пообедай, да и спать ложись. — Он опять зевнул, закрестил рот, пошел в опочивальню.

И в ночь купца не стало. Должно быть, ожесточившийся Никита сорвался с вожжей и придушил его. Купец валялся в спальне на полу. В левой горсти крепко зажаты червонцы, в правой — костяные старенькие счеты, на столе кучки золота. Остановившиеся глаза на темном лице выражали страх и удивление.

Отец Михаил, священник, покивал головой и, горестно вздохнув, сказал:

— Виждь имений рачителю.

«САДКО»—ГОСТЬ СОВЕТСКИЙ

В конце августа 1933 года мы выехали по Мурманской железной дороге в Кандалакшу присутствовать при подъеме со дна моря ледокола «Садко», затонувшего летом 1916 года. На вокзал вышел проводить нас и познакомиться с нами Фотий Иванович Крылов, начальник Эпрона, силами которого производятся по всему Союзу подъемные работы затонувших судов. Фотий Иванович накрепко наказал своему подчиненному, а нашему главному бригадиру, Николаю Евгеньевичу Фельтену, заботиться о том, чтоб писательская бригада ни в чем не нуждалась, и обещал приехать через несколько дней на работы. Наши жены полушутя, полусерьезно стали просить начальника отправить и их в экспедицию вместе с нами. Но Фотий Иванович, зная, как всякий лишний человек обременяет работу, и имея от природы шутливый характер, начал запугивать их всякими страхами: холодно, неуютно, киты плавают, водолазы — народ весьма лютый и в крепких словах неразборчивый и так далее. Женщины, мило кокетничая, продолжали настаивать. Фотий Иванович, чтоб отвязаться, сказал: «Подумаю», — и предупредил, что, если бабье попадет на подъем, он заставит их мыть палубу, нести вахту, готовить матросам кашу и вообще, знаете ли... Тогда женщины отстали, а мы благополучно двинулись в путь-дорогу.

Наше купе забито вещами. Фельтен суетливо готовит чай. Он плотный, подвижной, похож на моряка в отставке, веселый и крикливый, весь в своего десятилетнего сына Леву, который тоже идет с нами помогать вытаскивать со дна моря ледокол «Садко». Вообще оба Фельтена весьма оживляют компанию веселостью, криком, шумовыми эффектами. К чаю Фельтен достает сгущенное, в жестянках, молоко.

— Да, всякие чудеса бывают на свете, — кричит он. — Например, послушайте! Иду я по Васильевскому острову. В окне погребка вот эти самые банки сгущенного молока стоят. «Голубчик, продайте мне десяточек банок! Во всем городе нет».— «В одни руки могу только одну банку». — «Но у меня две руки!» — «Все равно, больше одной банки нельзя». — «Голубчик, побойтесь бога, ведь я везу с собой несколько человек на дальний север...» — «Бога я, конечно, бояться не обязан на службе, дома — другое дело, а помимо всего этого...» — «Эх, голубчик! Ведь мы едем за полярный круг, «Садко» подымать». И представьте, только я этак сказал, продавец открыл рот, отступил шаг назад, и борода его задергалась: «Как?! Вы едете на «Садко»?» — «Ну да, на «Садко», ледокол такой, семнадцать лет на дне моря почивает. А вы разве слыхали?» — «Ха, слыхал... Не то что слыхал, а собственноручно тонул на нем. Даже мой пиджак и штаны с трубкой в каюте остались...» — «Голубчик, отец родной, отпустите десяточек банок или хоть штук пять! А я вот при свидетелях заявляю, штаны ваши доставлю вам с «Садко». И было отпущено мне моментально не пять, а пятнадцать банок молока.

Мы подивились этой сказочной встрече! «Да, бывают же в жизни случаи»,— и стали припоминать разные происшествия, не объяснимые ни с каких научных точек зрения. А двое из наших ехали с охотничьими ружьями, ну, вот те завели разговоры о таких маловероятных в жизни своей встречах, что мы из приличия сначала прыскали таящимся смешком в рукав, потом стали хохотать в открытую. Громче всех смеялся Лева:

— Ну уж вот это-то на двести процентов враки!..

Вообще ехали довольно весело. Переночевав в вагоне две ночи, рано утром высадились на станции Кандалакша. Нас встретили писатель-полярник Иван Сергеевич Соколов-Микитов (Фотий Иванович называет его — Никита Соколов) и еще молодой инженер с парохода «Декрет», что при подъеме «Садко». Выяснилось, что подъем задерживается: вчера вылетели из морской пучины два понтона, лопнули стропа (тросы).

— Да вы сами увидите. На месте разъясним вам все подробно.

Иван Сергеевич Соколов-Микитов пока что пригласил нас к себе, он вместе с полярником-художником Николаем Васильевичем Пинегиным устроился в чистом домике у карелки, вблизи пристани. Версты две шагали новым поселком строящегося Химкомбината (будет работать на полуфабрикатах из Хибиногорска). Дальше безобразная, усеянная валунами дорога тянется через старый железнодорожный поселок с лачугами, бараками, направо — рыбный консервный завод, пристань, на путях ветки пыхтит паровоз. Все это старье будет срыто до основания, сюда подвинется новый поселок. Еще с полверсты, и мы попадаем в старинную Кандалакшу, заселенную поморами, выходцами с земель Великого Новгорода. Она обосновалась при устье реки Нивы на возвышенных, местами скалистых взлобках, утыканных валунами и ниспадающих к морю и реке зеленой луговиной. Три кривых улочки, обставленных деревянными богатыми домами и хибарками, старая церковь, а возле уреза воды в беспорядке толпятся амбарушки на свайных ногах, почерневшие от времени и сажи бани, далеко выдвинутые в море мостки с вешалами для рыболовных сетей. Челны, лодки, иолы, карбасы, боты, вообще — рыбачья промысловая обстановка с суровым видом на Кандалакшскую губу. Прибрежная полоса оживлена лишь ранним утром, когда поморы отправляются на рыбалку или за грибами и ягодами, и вечером, когда они возвращаются.

Доносится мерный шум. Это река Нива играет в порогах. Иду туда, на самый берег. И вот у ног

моих быстрая мелководная Нива. Все ложе и берега ее покрыты окатными камнями. Зеркальная холодная вода то с шумом несется над ними, то бурлящими кольцами обходит опечки, осередыши, огромные камни-одинки. Левый противоположный берег гористарист, высок — это каменный кряж, поросший ельником, одетый ковром разноцветных мхов, усеянный сплошными кустами брусники, голубики. Кой-где видны зеленые белоствольные березы, кой-где листва на них расцветилась желтыми платочками, — недавно легкий был мороз. По горам белыми пятнами перепархивают с камня на камень домашние козы, так же перепрыгивая с камня на камень, движется, с удочкой, человек, за ним лайка. Синее небо, седые облака на нем, сердитый гул живой воды. Я окинул взором всю эту картину слева направо, до самого устья реки, и остолбенел. Да ведь это горная красавица Катунь, так хорошо знакомая мне по суровому Алтаю! С высокого берега я оглянулся назад. В полуверсте от меня лежал неширокой полосой Кандалакшский залив, уставленный большими и малыми островами и лудами. И снова давно знакомая, когда-то виденная мною панорама Сибири. Да ведь это величавая река Лена с ее семиверстной под Якутском шириной, с ее островами Хатыстахом, Харьелахом и другими. Словом, в кандалакшском ландшафте повторился и южный Алтай, и далекий север угрюмой Сибири.

За нами подан бот «Орел». Мы едем на место подъема «Садко». Погода прекрасная, и море спокойно. Наш путь вдоль гористого берега. Вот миновали устье Нивы. На каменистом мысу — деревянная церковь. Это бывший глухой монастырь, отделение монастыря Соловецкого. Горы, идущие вдоль реки Нивы, загибают в залив. Вот Крестовая гора с высокой вершиной, гора дика и лесиста, там ходит медведица, на днях задрала корову. Вот следующая за нею гора. По легенде, «в досюльные времена» черт скатился с нее на лыжах, — по скалистой, обращенной

к морю твердыни пропаханы две глубокие лыжницы — щели.

Наш бот, попыхивая вонючим дымком, подворачивает к берегу, где лежит в воде — кит не кит — нечто странное. Это допотопных времен подводная лодка, поднятая с морской глубины. Устройство ее примитивно и непонятно: железный, с обручами, сигарообразный обрубок. Эта посудина служит теперь вместилищем пресной воды: с гор бьют прозрачные струи, человек ловит их резиновым шлангом и — прямо в подлодку. Мы берем ее на буксир, чтоб отвезти питьевую воду на место работ за пятнадцать километров. На ходу гребной винт нашего бота ударился в буек подлодки — обрубок бревна: легкий хряст и — стоп. Осмотрели, стряхнули с винта намотавшиеся водоросли, вышли в море. Вожак бота рассказывает:

— Третьего дня вот так же винт намотал на себя шибко много водорослей, бот остановился. Ну что ж, не водолаза же звать. Разделся, набрал в себя побольше воздуху, нырнул. Гляжу, намоталось дряни страсть сколько. Стал работать. Вынырну, вздохну поглубже да опять нырну, работаю под водой минуты две-три. Четыре часа так нырял, а вода ледяная. Ничего, не простыл. Четверть литра спирту выдали мне... Стой! — вдруг закричал он и застопорил машину. — Глянь, вода льется, течь! Откуда это?

Оказалось, от удара винта о бревно сшевельнулся вал, вылетели сальники, образовалась значительная течь. Подводную лодку бросили. Вода в боте прибывала быстро. До берега километра четыре, до ближайшего острова километра полтора, под ботом глубина несколько сажен, шлюпки с нами нет, вместо нее — опасение быстро пойти ко дну.

— Ребята, отливай проворней!

Водоотлив не помогал: отольешь ведро, прибудет три, вода одолевала. Дали полный ход к острову. Надежды дойти было мало: машина вот-вот могла захлебнуться, и тогда — прощай. Намотали на шест смоченную нефтью куделю, зажгли, даем сигнал бедствия видневшемуся в нескольких километрах «Декрету». Нас не замечают, там не до нас, там, наверное,

идут свои горячие работы. Вода прибывает, лица пассажиров бледнеют, но спасительный остров все ближе и ближе. Машина фырчит, идет вперебой, сейчас остановится. Еще минута, другая, еще пять минут — и полузатопленный бот упирается носом в камни. Наконец мы на суше. Очутившись на твердом месте, мы все стали храбрыми, один храбрее другого, и опасный, счастливо разрешившийся случай взяли в перекрестный огонь хвастливого юмора: «Да что тут, океан, что ли? Эка штука — Кандалакшская губа какая-то! В крайнем случае можно было бы броситься вплавь до берега. На худой конец, да и то вряд ли, ну один, ну двое утонули бы, только и всего, эка штука какая, ха-ха-ха! Мы и не в таких переделках бывали...»

Часа через три нас снял с острова пришедший с «Декрета» катер. Подходя к «Декрету», мы увидали плавающие вблизи него два огромных железных цилиндра.

— Зачем эти бочки плавают тут?

— Это два подъемных понтона, они вырвались на днях из глубины.

Карабкаемся по веревочной лестнице на высокий борт «Декрета», знакомимся с начальством, с командой. У хозяев приветливые лица, хозяева радушны, гостеприимны. А у меня все-таки лукавые подозрения. «Вот черт этих шляп принес, только работать мешают порядочным людям», — наверное, думают наиболее работающие из них. Мы обращаемся к начальнику работ Павлу Владимировичу Симонову:

— Расскажите, что и как. Введите в курс дела.

П. В. Симонов, высокий, плотный, пожилой моряк, — на правой щеке, возле рта, иногда появляется складка сарказма. Он водолазный ученый специалист, один из лучших водолазов Союза, человек образованный, на нем лежит главное руководство по подъему судна. Он подводит нас к борту «Декрета».

— Вот видите буек? — начинает он. — Это нос «Садко». А его корма приходится как раз под носом нашего судна. «Садко» — ледокол, по типу родной брат «Малыгина». Он затонул летом 1916 года во

время рейса с губернатором и архиереем из Архангельска в Кандалакшу. На полном ходу он наткнулся на камень — остряк, распорол себе брюхо, сошел с камня и быстро затонул вот на этом самом месте. Губернатор брал ванну и был спасен, кажется, в голом виде, во всяком случае — без брюк. Вот на этом островочке Богомолихе, от нас не больше километра, все и спаслись. Место гибели было точно отмечено на карте; мы пришли сюда девятнадцатого июня, то есть два месяца тому назад, отыскали утопленника и, обследовав водолазами положение дела, тотчас приступили к работам.

— На какой глубине лежит «Садко»?

— Он, в сущности, не лежит на боку, он стоит. Он почти правильно опустился на киль вверх палубой, правда с незначительным креном. Глубина до дна двадцать три метра, до верхней палубы метров двенадцать. Подъем предполагается понтонным способом по проекту главного корабельного инженера Бобрицкого. Принцип и техника подъема таковы. По длине корпуса и перпендикулярно к продольной оси судна подводятся под дно «Садко» двенадцать так называемых полотенец. Каждое полотенце состоит из двух железных листов, положенных друг на друга. Они небольшой, около полуаршина, ширины и в несколько метров длины, ну, словом, имеют форму обыкновенных полотенец, только материал в них попрочнее и потолще: листы железа, четверть дюйма толщины каждый. А длина полотенца такова, чтоб ее хватило, да еще с запасом, обнять поперек корпус поднимаемого судна. Теперь, как же просунуть эти полотенца под дно «Садко»? Ведь дно твердое, может, даже камни есть, да и киль за семнадцать лет врос в грунт. Прежде всего надо в соответствующих местах проделать в грунте траншеи. Есть разные способы: рефулерный, сжатым воздухом, напором водяной струи, наконец, если позволяет грунт, простой лопатой. Мы применяли, и очень удачно, примитивный способ: размывали грунт напором струи. Как это делается? Да очень просто. Водолазы спускаются на дно со шлангами, каждый шланг (резиновый рукав,

кишка) оканчивается пипкой и соединяется с особой нагнетательной машиной на «Декрете». Когда водолаз дает сигнал, что он приготовился к работе, по шлангам пускают под большим давлением непрерывную струю воды, водолаз направляет пипку в нужное место, грунт под напором струи разрыхляется, вылетает в стороны, и вот мало-помалу водолаз вымывает себе ход под корпус судна, а навстречу ему с другого борта то же самое проделывает другой водолаз, наконец они стыкаются, расширяют промоину лопатами, руками, — приходится очень трудно, больше ползком на брюхе, ведь тоннель небольшой, чтоб только можно было кой-как продернуть полотенце. Иногда попадались камни, их обмывали, вымывали для них могилу и опускали туда. Как-то попался небольшой скалистый выступ. Как тут быть? Взрывать нельзя, днище «Садко» повредишь, пришлось мыть траншею немного правее.

Полотенца через траншеи протаскиваются так: в каждом конце полотенца имеется ухо, к тому и другому уху прикрепляют дюймовый трос, концы троса идут из-под воды к паровой лебедке на «Декрете». Нет, не так я вам сказал! Один конец троса, прикрепив его к уху, наматывают на барабан лебедки, а другой, свободный конец, прикрепленный к другому уху, сначала протягивают через траншею, а затем уже, перекинув трос через корпус «Садко», подают на лебедку, лебедка потянет на себя этот конец, а вместе с ним потянет и полотенце. Поняли? Все эти работы производятся под водой вслепую, ощупью.

— А что, под водой темно?

— На такой большой глубине, конечно, темно. Водолазы брали с собой электрические лампочки, да все побили. Итак, полотенца продернуты, все на своих местах, они как бы разостланы по дну. Далее, с помощью тросов, наматывая их втугую на барабан лебедки, концы полотенец загибают вверх; это делают до тех пор, пока полотенца не выгнутся и не обнимут корпус «Садко» вплотную. Теперь под водой такая картина: двенадцать полотенец, обняв корпус судна, выставили свои двадцать четыре конца и как бы

ждут — вот придут двенадцать Геркулесов, схватят ручищами за концы полотенец, надуются и выхватят «Садко» на поверхность моря. Но мы, вместо мифических великанов, пробуем применить в качестве подъемной силы реальную механику и физику, мы применяем понтоны, также двенадцать штук, по числу полотенец.

— Расскажите, пожалуйста, как устроены понтоны?

— Расскажу вкратце, а подробно как-нибудь потом. Понтоны — вот два плавают — представляют собой огромные, не склепанные, а спаянные по швам цилиндрические бочки. Двумя глухими переборками понтон разделен на три камеры, на три отсека. Кубатура двух крайних отсеков равна кубатуре одного среднего. Вы видите на верхней поверхности понтона два овальных отверстия, расположенных по краям среднего отсека. Это выходы двух труб, прободающих цилиндр насквозь; они называются клюзами, через них пропускаются двойные стропы (семидюймовые стальные тросы, сложенные вдвое), сначала конец стропа заводится, скажем, в левый клюз, затем протягивается по верху понтона к отверстию другого, правого клюза и спускается через него вниз. Таким образом строп обнял понтон по спине, спустил свои концы в клюзы и выставил их наружу, внизу. На концах стропов особые приспособления, чтоб соединить стропы с полотенцами.

Когда понтоны остроплены, их надо подвести к соответствующим местам. Будем говорить о первой паре понтонов, о понтоне номер один и понтоне номер два. Понтон номер один подводят, скажем, с правого борта «Садко» и ставят как раз против того места, где под водой торчат правые концы первой пары полотенец, а понтон номер два устанавливают с левого борта против левых концов той же пары полотенец. Теперь надо понтоны утопить. Для этого в понтон нагнетают воду через отверстия в подводной его части, вода замещает воздух, и понтон, направляемый легкими тросами, тонет.

Далее, к двум стропам затонувшего понтона номер

один прочно прикрепляются два конца полотенец, а другие два конца этих же полотенец прикрепляются к двум концам стропов понтона номер два, соответственно расположенного по другую сторону корпуса «Садко». Таким образом, пара понтонов с двумя своими полотенцами установлена, то есть сложная подъемная единица готова. Таких единиц у нас шесть, или, фигурально выражаясь, — шесть Геркулесов.

Когда все понтоны спущены и скреплены с полотенцами, им надо придать подъемную силу. Сделать это нетрудно, стоит только вытеснить воду и заменить ее сжатым воздухом. Если их нагнести воздухом до отказа, они приобретут, как воздушные, большого размера, шары, огромную подъемную мощь. Они от натуги задрожат, натянут стропы, натянут полотенца, рванутся вверх, сшевельнут присосавшийся к морскому дну корпус «Садко», неудержимо попрут дальше вверх, и колоссально грузный утопленник поднимется на поверхность моря.

Теоретически все правильно, расчеты верны, они взяты с большим запасом: подъемная сила каждого понтона двести тонн, то есть двенадцать тысяч пудов, и в двенадцати понтонах две тысячи четыреста тонн, то есть сто сорок четыре тысячи пудов, тогда как поднимаемое судно вместе с наполняющей его водой весит тысячу восемьсот тонн. Запас подъемной силы, как видите, очень большой, и теоретически, казалось бы, эффект подъема обеспечен. Но... «вот тут она ему и сказала...» Все дело в качестве подъемного материала, а отчасти и в том, что подобный способ работ нами применен в Союзе впервые: мы работаем и в то же время на работе учимся. Четыре дня тому назад — вот видите эти два понтона? — они вдруг, ни с того ни с сего, с шумом, с водоворотом вырвались вхолостую. И если б понтон с маху хватил в дно нашего старого сорокалетнего «Декрета», мы лежали бы теперь рядышком с «Садко».

При этих тревожных словах у слушающих вдруг замелькали в глазах зайчики робости, выражение былого юмора ушло из глаз в пятки, кто-то, придав голосу притворную храбрость, спросил баском:

— Ну, а теперь не может выскочить понтон и потопить нас?

— Нет. Если и вылетит, то не потопит: понтонам дано еще мало воздуху.

— А как вытесняется из понтонов вода? Как происходит дутье?

П. В. Симонов подвел нас к корме, где помещается сложная установка компрессора, механически нагнетающего воздух.

— Вот видите, от компрессора идут шесть резиновых шлангов (трубок), по три на каждый понтон; они спускаются за борт в воду и там, под водой, соединяются с вентилями в понтонах. Воздух через шланги нагнетается компрессором до четырех атмосфер; он, как уже было сказано, вытесняет воду через особые отверстия внизу понтонов. А понтон, эта огромная железная бочка, внутри разделен вертикальными железными же стенками на три части, на три отсека, причем в среднем отсеке грузоподъемность воздуха сто тонн, в боковых — по пятидесяти, а всего — двести тонн. Впрочем, об этом я тоже говорил вам.

— Почему эти два понтона вырвались?

— Когда было все готово, мы дали дутье в средние отсеки всех двенадцати понтонов. Потом одной паре понтонов стали давать полное дутье, нагнетая воздух в боковые отсеки. Они оба вылетели. И что же оказалось? Оказалась небывалая в практике вещь: разошлась в сторону так называемая сплесень, то есть соединение или сплетение двух концов троса. Трос иногда рвется по целому месту, но не было случая, чтоб расплеталась сплесень, ведь тут, при сращивании, сплетаются в двух тросах шестнадцать стальных прядей, а в каждой пряди по тридцать проволок. Мы сейчас заняты выяснением причин этого досадного случая и придумываем меры к устранению его.

Во время чая в кают-компании Алексей Николаевич Толстой выразил охоту спуститься в скафандре водолаза на дно. П. В. Симонов резко запротестовал и стал застращивать его:

— Неопытному человеку надо учиться на глубине трех-четырех метров, на чистом дне, возле берега. Давление трех атмосфер — две от глубины и одна обычная, наземная — на глубине двадцати трех метров может плохо отозваться на вашем здоровье! Под водой вы можете растеряться и погибнуть. Нет, этого я не допущу.

— Да я не растеряюсь.

— Да уж будьте уверены, уж мы-то знаем! Например, так. В шлеме имеется золотник, такая кнопка; водолаз время от времени кивком головы влево нажимает изнутри эту кнопку и таким образом травит, то есть выпускает наружу воздух: ведь имейте в виду, что с компрессора все время беспрерывно подают по шлангу свежий воздух, и если вы забудете травить излишки воздуха, то вы весь раздуетесь (то есть не вы лично, а ваш водолазный костюм) и вылетите на поверхность вверх ногами.

Будущий водолаз-одиночка смущенно помигивает, а Павел Владимирович продолжает застращивать:

— Или так. Представьте себе, что лопнул шланг для подачи воздуха или испортилась кнопка. Получается что? Получается следующая картина. Давление воды обжимает вас вплотную, стискивает вас, вся кровь от ног, где давление больше, и со всего туловища бросится вам в голову, получается кровососная банка в голове, голова вспухает, сосуды лопаются, вы умираете. Одного такого выволокли и едва стащили шлем с раздувшейся головы.

Лицо и глаза будущего водолаза-одиночки наливаются удивлением, легким протестом и значительной робостью.

— Вы также должны научиться ходить по дну, а то ногу подымете, вас и опрокинет, как пьяного.

— Но ведь я же полезу в воду в трезвом виде.

— Это все равно. Я однажды сам едва не погиб, и тоже в трезвом виде. Забрался в кают-компанию одного затонувшего парохода, хотел пошарить в шкафу, — иногда коньяк попадается, — кружил, кружил там в темноте, да и обмотал, не замечая того, шланг

вокруг столба, что потолок подпирает. Я дерг — крепко держит. Я туда, я сюда, нет, не могу вспомнить, как шел и как запутался. Ну что ж, думаю, если сигнал подавать, потянут и, конечно, не вытащат; если водолаза на помощь звать, вдвоем еще хуже запутаемся. Вот, думаю, чертовщина. Да кой-как, кой-как, призвав все хладнокровие, все-таки выкрутился.

— А коньяк-то добыли?

— Вылезаю из воды, братве бутылку показываю. Братва взглянула, смеется: я вместо буфета в аптеку попал — касторка.

Он замолчал. Нам развело губы.

— Павел Владимирович, а ну, еще что-нибудь про водолазов.

Тот вытер пот на широком лбу рукавом форменной тужурки, и выразительные складки на его обветренном лице заиграли веселостью.

— Однажды к водолазу, работавшему в петербургском порту (это до войны еще было), пришел в гости кум, мужичок из деревни. Водолаз собирался в воду лезть, а сам большой озорник был, вот он и говорит куму: «Жена, говорит, у меня хворает, надо бы сбегать навестить ее, да, кстати, и винишка достать». А кум ему: «Беги, у меня и закуска имеется хорошая, преснушки с творогом, беги, а я замест тебя мырну, наука твоя не хитрая — под водой сидеть, не то что наше хрестьянское дело, а мне все-таки интересно, буду на деревне хвастывать, на самое, мол, донышко мырял». Водолаз согласился, мужичка одели, а как стали надевать пудовые калоши из меди, он сказал: «Это ни к чему, это ваши глупые выдумки, я и без этого фасона мырнуть могу, я мырять с малых лет привычный: бывало, купальну господам ставили, по три часа в воде сидел». Однако обрядили его по правилам. Водолаз сказал: «Смотри не забудь, кум, башкой-то потряхивать, трави воздух-то, потряхивай почаще, слышишь?» Кум ответил: «Учи кого другого, знаю». Рассказал ему водолаз, что под водой делать надо, и стали мужика на аркане в воду спускать. Не прошло и пяти минут, как при общем хохоте мужик выбросился вверх пятками из воды, он был раздут,

как кит. Когда раздели, стал ругаться: «И чего ж ты, кум, не упредил меня, рыжий ты черт! Только я за сваю ухватился, начал пошевеливать, к-э-эк меня култыхнет да подхватит, так вверх ж...й я и вылетел! Нет, видно, и ваше дело не из легких».

Мы посмеялись. Спросили: хорошо ли слышит водолаз телефонную передачу?

— Водолазные телефоны еще не вполне усовершенствованы. Водолаз под водой слышит значительно лучше, чем его слышит принимающий. Чем глубже водолаз, тем слышимость по телефону яснее. Тут играет роль плотность воды. Поэтому на глубине тридцати сажен два водолаза могут переговариваться между собой на расстоянии четырех шагов друг от друга — не по телефону, конечно, а так, просто кричать в воде. На глубине двадцати сажен можно переговариваться на расстоянии только двух шагов, а на десятисаженной глубине они могут говорить друг с другом, лишь столкнувшись лбами. И еще, может быть, интересно вам знать. Водолаза подымают со дна не сразу, на каждые восемь метров глубины ему полагается при подъеме пятнадцать минут высидки. И когда подымали в Балтийском море подводную лодку с глубины пятидесяти сажен, водолазы работали на дне только по десяти минут, а подъем водолаза на поверхность занимает шесть часов, да, кроме того, на два часа его помещали в особую камеру со сжатым воздухом.

— Почему так медленно подымают водолаза? — удивились мы.

— Кровь человека под большим давлением усиленно поглощает азот. Постепенный подъем дает организму возможность исподволь освобождаться от излишков азота. Если же поднять водолаза с большой глубины сразу, кровь моментально вскипает, как в откупоренной бутылке нарзан. И мгновенная смерть.

— А сколько часов работают водолазы на «Садко»?

— Три-четыре часа. А некоторые, в неотложных случаях, работают ударно и по шести часов.

Обратно мы ехали на боте рыбачьего колхоза. Был поздний вечер. Небо еще горело краской заката. Горы справа отливали густым сизо-бархатистым тоном, профилируясь на бледно-зеленый светящий небосвод, а море казалось перламутровой сказочной степью. И все: море, горы, небо и сверкающий закат вдали, — вся эта панорама дышала какой-то особой чарующей свежестью севера, в ней и восторг, и щедрость, и непередаваемая грусть.

Вдали, наперерез нам — с моря — лодка. Бот дал свисток. Бородатый командир сказал:

— Свои. Рыбачки. Наши колхозницы... — И крикнул: — Мартынов! Приготовь легость!

Подплывшие две женщины ловко поймали конец, ловко зачалили на свою лодку и пошли ходом на буксире, радостные: «А то штука ли в поднявшийся супротивный ветер, да еще встречь теченья, махать веслами целый десяток километров».

— Как встречь течения? — недоумеваем мы. — Да разве в море теченье есть?

— А как же! Прилив-отлив, — поясняют нам поморы, — шесть часов прилив да шесть часов отлив живет, а тут опять прилив, опять отлив, так море взад-вперед и ходит. Два прилива в сутки живет. А каждый новый прилив на полчаса опаздывает против прежнего прилива. А подъем воды бывает до двух с половиной сажен.

Небо слиняло, ветер крепнет, гладь воды взрябилась, на ней дрожит игра холодных лунных отблесков. Меня в теплом пальто пронизывает дрожь, а бабам в лодке хоть бы что: одеты в легкие кофтенки, проворно потрошат добытую рыбу, сельдь, треску, тут же прополаскивают ее в солененькой морской воде и весело перебраниваются с матросами, сгрудившимися на корме бота. Старуха зубаста, ее дочь, молодая баба, миловидна, — редкое в Кандалакше явление. Матросам хочется свежей рыбки, но денег у них нет. Правда, деньги были, да вчерась пришлось пропить — водка здесь, сами знаете, какая дорогая, сорок рублей литр, — а вот они могли бы за рыбу предложить вместо денег что-нибудь получше, ну, например, они

с удовольствием выменяли бы на парочку трески толстогубого Митьку... вон-вон который носом крутит, он давно собирается жениться на какой-нибудь красотке, ну вот хоть бы на той, которая в корме сидит и зубки скалит. На лодке обе женщины, бросив потрошить рыбу, громко смеются, что-то кричат в ответ, но плеск моря и тарахтенье бота заглушают их голоса. Старуха грозит красным кулаком и сквозь смех тужится перекричать гул моря.

— Моя красоточка замужем давно! Таких Митьков мы и с медом есть не станем. Мы брезгун-ы-ы!

Однако нашему добрейшему бригадиру удалось-таки выменять — не на Митьку, а на белую муку — хорошей рыбы, и вечером мы лакомились беломорской ухой и жареной свежей сельдью. Пища здоровая и вкусная.

Вечером к нам зашел на огонек местный охотник. Он — бывший забайкальский казак, события забросили его в Кандалакшу вскоре после немецкой войны. Он высок ростом, сухощав, лицо суровое, а голос и борода, как у соборного пьющего дьякона. На госте вязаная шерстяная фуфайка, изделие местных поморок.

— В этой одежине я ходил промышлять зверя в сорокаградусные морозы. Только сверху брезентовый непромокай надевал. Легко и не холодно.

Он был на войне, имел ранения, много видел плохого и хорошего, не раз встречался с главнокомандующим, великим князем Николаем Николаевичем.

— Ужасно любил он ругаться по-матерно, — говорит бородач. — Генерал не генерал, солдат не солдат, для него все едино, даже женщин не стеснялся, как пустит-пустит... Строгий был. И еще очень уважал он бороться.. Однажды выходит из палатки из своей и встречает генерала. «Давай, генерал, бороться. Меня никто не может побороть, даже солдаты-гренадеры. Попробуй ты». Нечего делать, пришлось генералу согласиться. Генерал был низенький и толстобрюхий, а Николай Николаевич

в сажень ростом и тощий. Вот раскорячил он ноги, нагнулся и обхватил генерала крепко-сильно. И стали друг друга возить, как два медведя. А мы стоим руки по швам, взираем на усмотрение борьбы, нам лестно. Вот возили они друг дружку, возили, и случись тут с толстобрюхим генералом грех: то ли он дюже сытно пообедал, может, каши сверх комплекта накушался с горохом, а либо капусты. Только Николай Николаевич как тиснет его со всех сил, а генерал как, извините за выражение, как... Ну, сами понимаете, дозволил себе сверх программы нечаянный звук... Тут все захохотали, великий князь тоже захохотал, еще раз тилиснул генерала со всех сил и крикнул: «Сдаесси?!» — «Сдаюсь, ваше высочество», — ответил генерал и сразу пал из уваженья на обе лопатки...

Охотник говорит выразительным басом, никогда не улыбается, но вызывает в слушателях хохот. В сущности, он не врет, он верит в правдивость своих слов, как мусульманин в истину слов корана, и твердо убежден, что мы тоже верим ему вполне. Он дальше повествует о Дикой дивизии, которая, по его словам, показывала на войне чудеса храбрости. Горсть горцев внезапно нападала ночью на оплошавшую часть неприятеля, отбивала пушку, пулемет и мчалась с трофеями в свой штаб, стучалась в запертые двери, требовала немедленно выдать всем героям по георгию. Из окна штаба высовывался заспанный человек, отвечал им, что сейчас ночь, что награды так быстро не выдаются. Окно закрывалось, герои снова ломились в дверь, кричали: «Даешь георгий! Мы герои!» Дело кончалось тем, что из штаба выходили двое, наскоро нашивали героям георгиевские ленточки, а кресты обещали выдать через неделю. Самодовольные горцы широко улыбались и шли спать.

— Они дикие. Они страху не чувствуют. Я знаю, как они брали неприятельское орудие. В них в упор пушка стреляла, подряд раз тридцать, аж раскалилась вся. А им наплевать! Скачут, направо-налево рубят, подскакали, искрошили всех. А один дикий горец вскочил на пушку да как начал лошадей нахлестывать, живо пушку в свой штаб пригнал... Так,

верите ли, штаны на нем загорелись, аж дым валит, а он, дьявол, сидит верхом на пушке да орет: «Ура, ура!» — не моргнув глазом, повествует наш бородатый гость.

Еще он рассказывал (притом сущую правду), как в прошлом году против самой Кандалакши появилась касатка — небольшой кит. Поморы поскакали с ружьями в карбасы, в лодки и устукали касатку.

— А тащили ее на берег всей Кандалакшей. Сотни народа на берег высыпали, в канат вцепились. Как налегли со всех сил, канат лопнул, а все народонаселение вверх тормашками. Смеху было много.

Взяли около двух тонн жиру, сняли кожу. В подтверждение своих слов бородач показывает свои фотографические карточки. На касатке, как на острове, позируют четверо стрелков, среди них — наш собеседник.

Он много повествовал про охоту на медведей, лисиц, белок, про рыбную ловлю. Взманил наших охотников идти завтра на рябчиков.

— Я знаю одно место, вчера там был. Рябчиков там видимо-невидимо, как грязи.

Наши ходили с ним и, кроме дятла, ничего не видали.

На следующий день заглянул к нам еще один кандалакшский тип. На четверть он охотник, на три четверти рыбак, но тоже большой любитель путать правду с вымыслом.

Его красочным рассказам о рыбной ловле что-то плохо верилось, он подорвал доверие к своим словам сообщением о двух случившихся в его жизни «фактах». Во-первых, он одной пулей как-то умудрился убить медведя, рябчика и чуть ли не тюленя. Второй факт — с повреждением собственного глаза: однажды рассказчик разряжал ружейный патрон; по несчастью, патрон взорвался и ударил ему в глаз с таким изумительным искусством, что сам глаз не пострадал, но на глазном яблоке получился ясный отпечаток выгравированной на медной обойме надписи: «Калибр № 12»...

— И теперь осталась эта мета?

— Никак нет. Факт произошел до войны. А в прошлом году надпись исчезла.

Впоследствии бородач охотник пренебрежительно говорил про рыбака:

— Так ведь он же врет на весь Кольский полуостров...

Я пошел слоняться по Старой Кандалакше. Было утро. В кривых закоулочках между амбарушками, на каменистом приплеске садятся в ёлы, в боты рыбаки. Несколько женщин и девочек волокут лодку к воде; сейчас поплывут на острова за грибами, ягодами. А по заливу уже скользит добрый десяток мелких посудин; на них рыбаки, охотники, ягодницы. Кандалакша пустеет.

Возле амбарушка с открытой дверью — три бочки. Старик укладывает в них, пересыпая солью, только что пойманную сельдь, которую корзинами подносят с бота два парня. Оба из пришлых, служат в промысловой артели на жалованье. Старик неразговорчив, груб, угрюм. Да и большинство населения Кандалакши относится к приезжим неважно, всех пришлецов называют бурлаками. Более словоохотливые старики говорят, что раньше, до проведения железной дороги, они жили здесь припеваючи, их никто не знал, и они ни в ком не нуждались. А как стали прокладывать дорогу, понаехала постылая русь, бурлаки, — и вся жизнь сразу испохабилась: добрые нравы исчезли, пошло пьянство, воровство, разврат. Да и рыбы стало как-то меньше.

— Ране-то, бывало, по весенней путине столько рыбы натягаешь из моря, всю весну, все летечко только и делаем, что гуляем. И бабы каждый день выпивши. Ходят по улице, песни орут, платочками помахивают да в гости к соседям ездят. И так до осенней путины. А осенью опять с рыбой. Рыбу продашь, всего накупишь, всякого добра, опять тем же побытом всю осень, всю зиму до весны гуляешь. Ну, правда, зимой, конечное дело, рыбу ловим же...

Ежели при разговоре присутствуют молодые рыбаки, они тотчас же начинают сбивать стариков.

— А школы со всеобщим обученьем раньше были? А театры да кино были? Что вы видели в жизни, что понимали? Да не больше, чем медведь в лесу. Да вы дальше побережья-то своего и не бывали нигде. А вот мы, например... Вот захотим — в Ленинград поедем, захотим — на агронома либо на ученого рыбовода учиться станем. Эх, вы!

Иду к рыбачьим пристаням. Там молодежь — парни и девицы, промокшие, озябшие, но румяные от работы, выбирали из судна огромные сети, развешивали их на высокие вешала, ловкие девичьи руки тут же чинили в артельной сети прорехи. А в боте сидел похожий на колдуна бородатый хмурый дед с хохлатыми бровями. На мой поклон и на вопросы отвечал скупо, холодно. Я подарил ему пачку папирос. Он вздохнул, поправил на голове высокую шапку, стал разговорчивей. На дне бота небольшая куча свежей сельди.

— Сколько, дедушка, селедки-то? Пуда три будет?

Он посмотрел на мои брюки, на мою шляпу, ухмыльнулся в седую бороду:

— Ха! Угадал, брат, ловко... Не три, а сто пудов тут рыбы-то. Да разве это улов? Это безделица, пустяки.

В море, недалеко от берега, ныряя и всплывая на поверхность, резвились три морских белокожих зверя.

— Видишь, — указал на них дед, пошевеливая густыми бровями. — Белуха называется. Зверь морской. Ребят своих молоком кормит. Груди у нее. Перевернется вверх брюхом, ластами прижмет свое отродье к груди и кормит, как баба. В ней весу десять пудов живет. Поморы очень даже довольны ею, она за сельдью охотится, в залив к нам загоняет ее, к нашим берегам. Как появится стая белухи, знай не зевай, отваливай в промысловую путину. И ежели фарт тебе, улов будет добрый: по триста, по пятьсот, а то и по тысяче пудов в сутки на ватагу в восемь человек. Иным годом, правда, не шибко часто, рыбы столько надобываешь, аж надоест перевозить ее на берег. Кажинный божий день пятьсот да тыщу. Да так месяца два-три тянется. Во как

бывало ране-то, — прищелкивает языком старик и, пошевеливая волосатым ртом, неумело закуривает папиросу. — А вот теперь стали стрелять белуху из-за жира да из-за кожи, на голенища кожа-то идет. Артель такая есть. Белуху отпугнули, она боится заплывать сюда, и мы теперь не знаем, есть сельдь или нет. Глазом удозорить ее трудно, и по нашему мнению, по глупому стариковскому смыслу, охота на белуху — рыбоводству вред. А раньше мы ее вот как жалели: ежели кто застрелит, от рыбаков не отделается — живому не быть тому, утопим...

К нам подошел пожилой, с морщинистым, но веселым лицом рыбак.

— Белуха, это раз, — сказал он. — А вторая причина — видали, какой поселок-то громадный возле будущего завода строится? Народу много там живет. И такую моду завели: из уборных все выбрасывать в море. Где ж тут смысел, будьте так любезны? Это прямо загиб понятий, уклон паршивенький, вредительство... Дозвольте папиросочку... Ах, до чего по махорке мы изголодались... Премного благодарю вас! А дозвольте вашу специальность? А-а-а, так-так... Партейные, нет? Вторично мерсите.

Я дал ему пяток папирос, он одну закурил, четыре спрятал под кепку и весело затараторил, поплевывая в воду:

— Будем надеяться, будем надеяться. Всё-тка, как-никак, артель наша богатеет помаленьку: и бот свой с нефтяной машиной, и хорошие сети. Всё-тка богатеем. Раньше на кого работали? На купчишек. А теперь на себя...

— Врешь! — пробубнил старик и вытаращил строгие глаза на собеседника. — Врешь, мелево! Вот ране-то действительно на себя работали, а теперь на камунью, на товарищев. Понял?

— Ай да дед! Ай да Митрофан Лукич! Вот ужо тебя гражданин сочинитель-то пропечатает в газетине, будешь знать тогда.

— А что, не правда, что ли?

— С какой стороны смотреть, — возразил веселый рыбак и улыбчиво подморгнул мне глазом. —

Ежели с глупой стороны, может, и твоя правда окажется, а ежели со стороны общественной, то твоя правда-то не правдой, а кривдой будет. А правда общественная с пользой для блага пролетарьев-рыбаков остается всё-тка за нами. Хошь сердись, хошь нет, Лукич...

— Умник... Поди проспись.

— Ты, что ли, угощал меня?

Похожий на колдуна старик, чтоб перевести неприятный ему разговор на другую тему, заводит речь о рыбной ловле в Ледовитом океане. Старик со всей ватагой много раз бывал в опасности: и на оторвавшихся льдинах гоняло его по океану, и не однажды тонул. Как-то выбросило их бот на камень, вдруг начался прилив и шторм.

— Так изволь, пожалуйста: нараз вода, нараз вода, едва не затопило.

Он видит, как я записываю в книжку, начинает говорить с воодушевлением:

— А то есть на море-океане такая птица — глупыш. Она гнездо вьет на субое. А субой — это где вода с водой встречается, тут намывает чурок, щепок, всякого мусора, вроде маленького островочка образуется плавучего, с челн величиной. Она тут и гнездо вьет, и яйца несет. А как шторм взыграет — пропало ее жительство. Оттого птица называется — глупыш. Она вроде чайки, только ручная совсем: багром подденешь, на борт посадишь, она и сидит, как попова дочка. А то есть, — пиши в книжку, сказывать буду, — есть еще птичка-аляпка, на суше живет. Бежит по земле — и в воду. И вылезет она на другом берегу речки, по дну перешла и не захлебалась. А плавать ей не показано, нет на лапках перепонки...

На берегу послышались детские бегучие голоса:

— Эй, Граня! Хой, хой сюда! (Иди.)

Кандалакша, как и все почти села и становища беломорского и мурманского побережий, исстари заселена главным образом выходцами с земель Великого Новгорода — ушкуйниками. Сюда, на вольные

просторы океана, также бежали из северных удельных княжеств или преступники, спасаясь от преследования, или же любители свободной жизни. При Екатерине II сюда ссылались и украинские семьи. При царе Петре I стекались в этот дикий край раскольники. Новые колонизаторы захватывали лучшие рыбные места, оттесняли кочевников в глубь страны и сами становились хозяевами. Великий Новгород, владея, таким образом, новыми колониями и всем поморьем, отдавал богатые рыбные становища на откуп. К концу исторической судьбы Великого Новгорода Поморье перешло к только что возникшему Соловецкому монастырю, наложившему на весь край свою тяжелую руку. Тогда же возник и маленький монастырек в Кандалакше. При Петре III все вотчины были от Соловецкого монастыря отобраны. На протяжении долгой жизни своей колонизаторам приходилось воевать не только с местными кочевниками, но и со шведами, датчанами, норвежцами, посягавшими на их независимость. Суровая природа, опасности и лишения на морских промыслах, постоянные схватки с врагами выработали особый тип помора — мужественный, отважный, закаленный.

За время недавней гражданской войны в Кандалакше похозяйничали англичане. Их жестокие расправы с застигнутым врасплох населением хорошо памятны многим. Мы жили в доме местной гражданки Соболь, вдовы с четырьмя взрослыми теперь детьми. Ее муж был расстрелян английским командованием.

— Сам на пулю набежал, — говорила хозяйка. — Как пришел отряд, мужа дома не было. Ну, у нас обыск. Поискали и ушли бы. А тут, как на грех, он и идет по улице. Мужики кричат ему: «Убегай, убегай, тебя ищут!» А он видит, что домишко наш окружен англичанами, говорит мужикам: «Как я могу убежать от семьи, они семью мою могут обидеть». И пошел прямо в дом. Его спрашивают: «Ты коммунист?» — «Да, коммунист». Тогда его взяли, увезли с собой по железной дороге, на разъезде застрелили, а труп под

откос выбросили. Мы едва нашли его, похоронили. И до сей поры на могилу ездим плакать. Ну, Советы, правда, помогли нам: по пяти рублей на каждого ребенка положили в месяц, мне десять рублей. И паек давали. Так и подняла детей: один в матросах ходит, другой механик в кино, а девушки в канцелярии служат.

Как пережиток и старинный обычай в Кандалакше, да и в прочих поморских селах и становищах — это деревянные, больших размеров, иногда до трех сажен высотой кресты. Вы их встретите и на улице между домами, и на морской скале, и в церковной ограде, и на горе возле прекрасного нового здания Государственного океанографического института. Кто их ставил и по какому случаю, никто не помнит. Однако старожилы говорят, что в старину такие кресты ставились на облюбованном для поселения месте, на становище и так далее. Сначала поставят крест, затем начинают стройку. Другой повод — кресты по обещанию. Застигнутые бурей, близкие к смерти поморы дают обещание в случае избавления от гибели поставить крест. Кресты эти очень просты и в простоте своей являют собой значительные архитектурные памятники. Они гладко строганы, не раз крашены то в синюю, то в желто-красную или коричневую краску и все испещрены резными надписями церковной, трудночитаемой вязью и орнаментами христианского культа: копьями, крестиками, райскими птицами — сирин и алконост — и другими. Молодежь к крестам равнодушна, старики чтут их. Иногда поставленные на горах парные кресты играют роль створов, по ним ориентируются в море рыбаки.

Не было времени ознакомиться с местным фольклором, но он, без сомнения, существует. Однажды вечером под окном одного дома я заслушался старинной проголосной песней. Пели подвыпившие рыбаки, мужчины и женщины, и пели великолепно.

Что же еще сказать о Кандалакше? Коров очень мало, молоко пять рублей литр. Да оно и понятно: нет выпасов, нет сена. Лошадей еще меньше. Но под

навесами хозяйственных поморов — по нескольку саней, между ними — расписные, с своеобразным орнаментом и на высоких, как у нарт, копыльях. Есть несколько десятков овец. Часть их путается в селе на вытоптанной луговине, а главное стадо уводится весной на заповедный большой остров и там пасется до холодов. Огородов мало. Не умеют до сих пор выводить овощи. Длинные летние дни, когда солнце вовсе не сходит с горизонта, оказывается, для овощей вредны: картофель, репа, брюква, свекла идут тогда не в корень, а в стебель. Надо в известное время создавать искусственную ночь, то есть прикрывать растения брезентом, рогожей. И только морковь, наоборот, лучше развивается при длинном дне. Эти особенности огородничества на крайнем севере я узнал при посещении Полярного отделения Всесоюзного института растениеводства (за Хибиногорском).

Надо надеяться, что это учреждение окажет помощь правильному развитию местного огородничества.

Меж тем работа на «Садко» шла день и ночь усиленным темпом. Приехал Фотий Иванович Крылов и начальник северного округа Эпрона Василий Яковлевич Васин. Подойдя к «Декрету», мы заметили, что на его борту выстроилось все начальство, впереди тов. Крылов, все в форме, у всех руки под козырек, видна деловитость, дисциплина. Нам подали трап — лестницу с поручнями (спускают его в редких случаях). Пока мы взбираемся, личный состав все еще продолжает стоять «смирно», руку под козырек. Такая торжественная встреча нашей бригады трогает нас, но мы не знаем, как вести себя. Я пробую тоже сделать руку под козырек, но козырька у меня нет, я в шляпе. Я снимаю шляпу и в растерянности помахиваю ею в воздухе. И для чего, думаю, такие тонкости, такая парадная встреча? И опять думаю: «Нет, отлично, очень хорошо...» Радушно здороваемся попросту. И. С. Соколов-Микитов шепчет мне:

— Вы, как старший по возрасту, должны были сказать: «Вольно».

— Ну, откуда же мне это знать? Уж, пожалуйста, не стыдите меня!

Фотий Иванович шутливо опрашивает нас, удобно ли нам в Кандалакше живется, хорошо ли кормит нас Николай Евгеньевич Фельтен, ведь он скуповат, и так далее. Нет, мы всем очень довольны, мы благодарим Фотия Ивановича Крылова, что он предоставил нам возможность ознакомиться с такими своеобразными работами.

Мы идем к правому борту «Декрета». Через борт свисают и идут в воду к десяти затопленным понтонам сорок шлангов. Два понтона все еще плавают на поверхности.

— Мы хотим дать дутье во все десять понтонов,— поясняет тов. Крылов. — Пока накачаем воздухом крайние отсеки. Затем по очереди дадим дутье и в средние. А сейчас мы подводим под корпус два выскочивших неделю тому назад полотенца. Видите, внизу, под бортом, стоит водолазная станция — бот? Видите, облачают, как архиерея, второго водолаза.

Людмила Попова, поэтесса, стоит на носу водолазного бота, она в кожаных штанах и с наушниками телефона через голову. И другая женщина в кожаных штанах готовится к облачению «архиерея». И еще двое молодых людей возле компрессора и шлангов заняты делом. Это художница и два корреспондента.

— Я всем им дал дело, — улыбаясь, застенчиво говорит тов. Крылов. — Чего же им зря на «Декрете» сидеть? Пусть работают.

Мы тоже улыбаемся застенчиво и думаем: «А вдруг шустрый начальник и нас заставит надеть скафандр да нырять в водичку...»

— Алексей Николаич, — обращается Крылов к Толстому. — Я слышал, что вас Симонов очень напугал, когда вы хотели спуститься на «Садко». Ерунда! Пожалуйста, спускайтесь. Да мы всех писателей спустим по очереди... — У нас вытягиваются лица. Крылов это замечает. — Желающих, конечно, — добавляет он. — Так как, Алексей Николаевич?

А. Н. Толстой весело сказал: «Прекрасно», — но я заметил, как у него задрыгал мизинец на левой руке

(впрочем, за точность наблюдений своих в данном случае я не ручаюсь).

Пока мы так разговариваем, три фотографа и киносъемщик всячески берут нас под обстрел объективов. Где-то сверху, между трубой и мачтой, раскорячившись, пристраивается тов. Фельтен со своим старомодным, величиной с собачью будку, но великолепным аппаратом. Мы замечаем, что нас ловят объективы, начинаем слушать разговор начальника только в пол-уха, наше внимание переключается на мысль о позе, мы крутим усы (у кого они есть), стараемся придать лицу выражение старых морских волков. Впрочем, я говорю только о себе. Другим этого не нужно. Например, Соколов-Микитов и без того натуральный морской волк, да к тому же и сниматься он ленится, на выигрышное место нужно тащить его чуть не за шиворот.

— Минуточку! Товарищ Шишков, чуть влево. Шляпа кладет на глаз тень, чуть запрокиньте голову. Гран мерси! Товарищ Симонов, а вы продолжайте держать руку вскинутой, палец вытянутым, указывайте на понтоны. Благодарю... Можете разговаривать: экспозиция одна сотая секунды... Есть!

Некоторые из нашей бригады, чтобы не нарушать стиль военного корабля, выразили желание иметь форменные морские фуражки. Фотий Иванович не отказал и в этом капризе, и через пять минут советская земля обогатилась тремя лишними моряками.

Итак... Бригада молодцов-водолазов в полном действии. Вовсю работает компрессор на боте, нагнетая воздух под воду для дыхания водолазов. На телефонах — труженицы-женщины в кожаных штанах, у сигналов на борту бота — молодые люди. Один водолаз давно в воде, пускает с десятисаженной глубины на поверхность пузыри. Другой приготовляется к спуску. Он надевает шерстяные штаны, фуфайку, две пары носков, теплые портянки, сапоги, ему подают скафандр — нечто целое, отлитое из резины, с рукавами, штанами, сапогами. Эти одежины (рубашки) существуют трех размеров: первый рост, второй рост, третий рост. Водолаз залезает в беловато-серую одежину,

как акробат в трико, и, ступая важно, подобно статуе командора, подходит к табурету и садится, как на трон. Начинается архиерейское облачение. Морской владыко важно вытягивает обе руки вперед. Двое бросаются к его рукам, завязывают поручни, натягивают сначала теплые, затем резиновые рукавицы. Тащат медную манишку с наплечниками, вправляют ее за ворот, в испод резинового одеяния просовывают припаянные к манишке многочисленные болты в дыры хомута одежды, накладывают на эти болты и натуго завинчивают гайки. Таким образом, металлическая манишка и резиновая одежда спаиваются воедино, водолаз со скрытыми под резиной медными плечами сразу становится широк корпусом и величав, как монумент. На ноги надевают медные калоши, каждая по полпуда весом. На грудь и спину возлагают, как архиерейские панагии, две свинцовые, висящие на веревках полупудовые бляхи. Облачая, шутят: «Ручку! Ножку! А ну, чихни, мы тебе нос утрем платочком. Ну, брат, ежели тебе в штаны блоха залезла, так и просидит там, пока всю кровь из тебя не высосет». Лицо водолаза чуть краснеет, но выражение его спокойно, уверенно. Сейчас лик морского владыки скроется от взоров: вот торжественно несут медный шлем, как драгоценнейшую митру. Шлем нижним краем с винтовой нарезкой вставляется в кольцо манишки с такой же нарезкой и привинчивается. При последнем обороте зеркальное стекло шлема встает как раз против лица водолаза. По шлему дает хороший шлепок дружеская рука — дескать, готово. Морской владыко подымается с трона. В обхват его талии привязывают конец сигнала (пеньковый просмоленный канат), а весь сигнал, сложенный кольцами, лежит возле борта. При сигнале — дежурный, его дело травить канат, то есть отдавать его, когда водолаз того требует, или, наоборот, подтягивать слабину, выбирать из воды. Морской владыко, подобно Геркулесу среди пигмеев, грохоча пудовыми калошами, подходит к лестнице, уходящей с борта в воду и там скрывающейся в глубине. Вы видите, от шлема идет, во-первых, воздуходувный шланг, привинченный к особому рожку шлема, во-

вторых, телефонный провод, соединяющий голос водолаза с берегом (с бортом), в-третьих, уже упомянутый сигнал. Еще видите на шлеме кнопку: ударяя в нее кивком головы, водолаз через две секунды в третью травит (выбрасывает) излишний воздух.

Вот водолаз спускается по ступенькам, погружается с головой в воду, видны быстро всплывающие на поверхность пузыри — признак, что в шлеме фильтрация. Водолаз дает сигнал, его вытягивают, он снова садится на табуретку. Шлем отвинчивают, винтовые нарезки смазывают смесью сала с суриком, прокладывают марлей, снова навинчивают шлем. Теперь все в порядке, водолаз спокойно спускается в воду. Он все время дает знать о себе по телефону, где он находится, что делает, и спрашивает, что нужно делать, а женщина в кожаных штанах, принимая в наушники слова водолаза, громко передает их начальнику экспедиции Симонову, стоящему с рупором на командном мостике. Телефонистка выкрикивает:

— Халиновский спустился на верхнюю палубу! Халиновский идет к корме! Встал на грунт!

Симонов командует в рупор:

— Пусть идет к правому борту, к понтону номер шесть!

— Халиновский! — кричит в трубку телефонистка. — Вы меня слышите? Идите на правый борт, к понтону номер шесть!

Второй водолаз тоже время от времени подает снизу свой голос.

Меж тем на «Декрете» при двух паровых лебедках, на корме и на носу, работают люди. По палубе снуют краснофлотцы, расхаживает боцман. И все, напряженно слушая команду в рупор, тотчас исполняют приказы. Лебедки, постукивая, потрескивая, крутятся, они работают в полном контакте с водолазами. А водолазы в данный момент выправляют четыре полотенца, протягивают их под корпус «Садко» через проделанные тоннели, — к концам полотенец прикреплены стальные тонкие тросы, идущие из воды на лебедки.

— Вира полотенце (поднимай)! — передает телефонистка слова водолаза.

— Вира полотенце! — командует Симонов.

Лебедка делает несколько оборотов.

— Стоп, стоп! — несется по палубе.

Лебедка враз прекращает работу.

— Держи так! — кричит телефонистка.

— Держи так! — командует Симонов.

— Есть так держать! — отвечает лебедка.

Ф. И. Крылов спрашивает телефонистку:

— Почему молчит Халиновский? Не уснул ли?

— Халиновский! Халиновский! — взывает Людмила Попова — телефонистка. — Как вы себя чувствуете? Хорошо? Что, что? — и кричит Симонову: — Давай на нос! Берите на нос!

Лебедка работает.

— Стоп, стоп!

Подает голос второй водолаз. Ему нужно ориентироваться в темной воде, для этого он усиленно травит воздух, на поверхность пачками взлетают пузыри, вода как бы закипает. Телефонистка говорит:

— Вы спрашиваете, где пузыри? Пузыри под «Декретом». Что? (Водолаз перемещается.) Теперь пузыри на два метра от правого борта «Декрета».

— Потрави!

— Есть потрави! — отвечает лебедка и дает ход в обратную сторону.

— Сто-о-о-п!!!

— Есть стоп!

— Потрави!

— Майна помалу!

А часть краснофлотцев с механиком работает на шлюпках возле понтона, продевает в клюзы концы стропа. Так идет время. Солнце греет вовсю, мы в летних костюмах. Вдруг Людмила Попова кричит, как в экстазе:

— Товарищи, Халиновский звонит в колокол! Халиновский! А ну еще! А ну еще!.. Ну, прямо как подводный звон из града Китежа... Что? Колокол на рубке «Садко»? Чудесно... А ну еще! Что, что? Вира, помалу!!

— Вира помалу!..

— Есть вира помалу!

Ф. И. Крылов говорит нам:

— Подготовительные работы продлятся долго. Надо заправить полотенца, срастить их с понтонами, проверить прочность стропов. Придется выписать запасные новые стропы из Ленинграда... Словом, вы можете на это время поехать на Нивастрой, в Хибиногорск. А к подъему я вас вызову.

Вот вылез второй водолаз, весь облепленный тиной, водорослями. Вскоре кончилось время и другому. Сразу тащить его нельзя. Халиновский минут двадцать отдыхал на верхней палубе «Садко». Лицо Людмилы Поповой расплывается в лунообразную улыбку, она приятно сообщает нам:

— Халиновский сидит и распевает «Сердце красавицы». Не желает ли кто послушать?.. Продолжайте, Халиновский, продолжайте!.. У вас прекрасный тенор. Что?.. Ха, ха!.. Ничего подобного, ха, ха... Какой вы шутник... Что? Мерси.

Через неделю, завершив поездку по новостройкам, мы вернулись на «Декрет». Все было готово к подъему. «Декрет» отведен от «Садко» метров на пятьдесят. Буйки по бокам, вешки над кормой и над носом точно обозначали положение затонувшего корабля. Было тепло и полный штиль — море застеклело. Казалось, все сулило удачу. Однако начальство, водолазы, команда были возбуждены, нервны. Всплывет «Садко» или нет? Вот вопрос, который гвоздем засел в их сердцах и сознании. Все шесть пар понтонов продуты наполовину, то есть на сто тонн каждый из понтонов. Работа компрессоров на «Декрете» приостановилась. За борт свисали вермишелью шланги, они уходили под воду, к невидимым теперь понтонам, прижавшимся к двум бортам «Садко».

Внешне спокойный, как всегда улыбчивый, но внутренно взбудораженный, Ф. И. Крылов говорит нам:

— Ну, вот. Сегодня мы проделаем не подъем, а, так сказать, генеральную репетицию подъема.

Дадим полное дутье всем понтонам и посмотрим, что из этого получится. Если стропы не лопнут, корабль всплывет. Но боюсь, что стропы опять разъедутся в сплесенях. Поэтому и говорю: сейчас будет лишь проверка, репетиция подъема.

Время было обеденное. Мы воспользовались всегда любезным гостеприимством хозяев и спустились в кают-компанию. Наверху был отдан приказ дать полное дутье до двухсот тонн четырем кормовым понтонам.

Мы вели разговоры, гадая, всплывет корабль или заартачится. Хозяева шутили, бодрились, но видно было, что им не до шуток, что одним ухом они чутко прислушиваются к малейшему наверху звуку. А там, наверху, во всю кипела жизнь: слышались возгласы, топот, работа компрессоров. То один, то другой из начальства выходили наверх, вновь возвращались. Вот упитанный, во всем белом, юнга, похожий на толстомясую краснощекую девушку, притащил нам в огромнейших чайниках чай.

И вдруг наверху что-то случилось. Над нашими головами дробный бегучий топот, смятение, невнятные выкрики: «оо-шо-шо-шо...»

— Пошел!.. — вскочил Крылов. — «Садко» пошел! — И мы все бросились за ним на палубу.

По морю шло волнение. «Декрет» качнулся. Два понтона, вырвавшись из глубин, плавали, подобно китам, огромные, мокрые. Вода возле них бурлила и пенилась. Через мгновение с шумом гневно взлетел на поверхность третий, за ним — четвертый понтон. Вода каскадами ниспадала с их гладких боков, вода клубилась, кипела, стала изжелта-белой. «Декрет» опять закачался. И не успела утихнуть стихия воды, как на двух шлюпках плыли к месту аварии краснофлотцы, боцман, механик, водолазы. Вот подлетели к понтонам, и — лишь глазом моргнуть — люди махом, как в цирке, на скользкую гладь бочкообразных чудовищ-китов бежали, скользили, валились, вставали, ползли к клюзам, выхватывали концы порвавшихся стропов, отвинчивали вентили, чтоб выпустить воздух, что-то кричали...

— Что, сплесени, что ли, разошлись?! — спрашивали с «Декрета».

— Они! Они, дьявол их дери, чтоб им лопнуть, чтоб их бабушке в неглыбком месте утонуть!.. — злобно неслось с понтонов.

Вот порвавшиеся стропы уже на палубе «Декрета». Так и есть: разошлись концы стропов в сплетении (в сплесени). Для прочности все сплесени сжаты были железными жомами (струбцинками), но при натяжении стропы вытянулись до отказа, их диаметр стал меньше, струбцинки поэтому перестали работать на сжатие; они теперь свободно ходили по тросу, как кольцо по смазанному мылом пальцу. Причина расхождения сплесени: сердечник (центральная часть троса, стержень) должен быть не стальной, как здесь, а пеньковый, сталь прядей троса (проволок) должна быть более мягкой, чем здесь, иначе при сплетении конца с концом вместо трения, вместо въедания пряди в прядь получается вредное скольжение. Вывод: надо заменить старые стропы новыми, удовлетворяющими техническим условиям, добытым при опытной практике по подъему «Садко».

Значит, подъемным работам волей-неволей суждено затянуться. Но на лицах начальства на этот раз я не заметил никакого уныния. Напротив, в голосе сталь, в жестах упорство, в глазах вера в победный исход всего дела.

— Это ерунда, что сорвалось, — говорит Фотий Иванович. — Мы еще учимся. Такого типа работа — первый наш опыт. Но будьте уверены: «Садко» мы вырвем зубами. «Садко» будет наш!..

Мы облегченно вздохнули. Поверхность снова спокойного моря то здесь, то там змеилась белыми змейками: змейки крутились, шипели, плевались малыми брызгами. Это из всплывших шлангов выходил сжатый воздух.

Второй раз мы приехали в Кандалакшу вскоре после подъема «Садко». Погода теплая, тихая. Кой-где на темени гор белеют каймы недавнего снега.

Воздух прозрачен. От Кандалакши прекрасно виден за пятнадцать верст остров Богомолиха, «Садко» и спасательный караван. Мы спешим туда на колхозном боте. Возле берега кажет круглую башку чернолобый тюлень. Он играет подобно дельфину, пускает круги и скрывается. Мы идем вперед. На нас надвигается сказка. Вот он, «Садко», драгоценный утопленник, столько лет пролежавший на дне. Впрочем, не был он мертв, он был лишь в летаргии. И вот, подхваченный руками и знанием геркулесов-эпроновцев, он приподнят теперь из черных пучин Белого моря, он еще не проснулся совсем, он щурится, но грудью глядит уже в небо, в свет и простор. Он щурится, ничего не может понять: где губернатор, где монах в черной рясе, где все другие? Местность та же, но времена, но люди не те. Он вспоминает толчок, сильную боль, вздрог всего корпуса, распоротое брюхо свое, падение вниз и безмолвие. А это что за народ? Какие-то здоровые дяди с загорелыми лицами суетятся на нем и возле него. И еще какой-то небольшого роста человек: он, видимо, главный, он командует. Его называют «товарищ начальник». Что значит — товарищ? Ведь начальник одно, а товарищ — другое. Нет, ничего не может понять спасенный «Садко».

Карабкаемся по ужаснейшей веревочной лестнице — штормтрапу — на высокий борт «Декрета», она отвесно падает вниз и болтается. Это, я вам доложу, с непривычки акробатика трудная. Осматриваемся. Нас приглашают к обеду. Начальство любезное. Обед так себе. Фотий Иванович Крылов с нами. Угощает, шутит. Однако видно, что он очень переутомлен, силы надорваны. Ему нет сорока, а его густые, торчком, вихры над высоким лбом — с проседью. О Крылове надо много писать, его жизнь есть путь подлинного революционера и преданного строителя социализма. Он всегда на деле, всегда там, где требуется воодушевление, натиск, последний удар воедино собранных сил.

За обедом ведется живая беседа о том, как был поднят «Садко». После аварии с понтонами были

поставлены новые стропы (тросы) из более мягкой стали и несколько толще старых. 14 октября, в половине четвертого, кормовым понтонам дано было полное дутье. Вдруг резко забила рында (звон в колокол), на поверхности воды дрогнули боковые вехи «Садко», а кормовая легла плашмя, вода пошла винтами, забурлила, пожелтела, запенилась белым валом, с глубин тяжело поднялась корма чудовища, облепленная ракушками, медузами, илом, водорослями. Присутствующих охватила лихорадочная оторопь и радость: сбросив с себя бурлящие каскады вскипевшей воды, корма остановилась, понтоны на месте, стропы и полотенца крепко держат тяжкий груз. Значит, наконец подъем совершен! «Садко» стоял в воде в наклон, он оперся носом в грунт, а корму выставил на поверхность. Спустились темные сумерки. Полный подъем отложен на завтра. На спасательной флотилии в эту тревожную ночь почти никто не спал. Лучи прожекторами освещали корму застывшего чудовища.

Продувка остальных понтонов началась рано утром. Инженер Бобрицкий не отходил от компрессоров на «Декрете», регулируя и учитывая подачу в понтоны воздуха. В десять тридцать опять сполошно забила рында, вода над «Садко» задышала, стала выпучиваться брюхом, корма закачалась, и нос плавно и тяжко пошел на поверхность. Приветствуемый кликами, весь «Садко» — гость советский — уже красовался над водой и, раскачиваясь в кипящих волнах, начал приходить в равновесие. Чернобородый боцман Дубровкин бросился с лодки на мокрую палубу и укрепил на капитанской рубке «Садко» морской флаг Советского Союза. И немедленно же по всему «Садко» было проведено электрическое освещение. К вечеру спасенный корабль, весь в огоньках, уже был приведен к острову Богомолихе и, поддерживаемый понтонами, поставлен на отмель.

— Нашли что-нибудь на нем? — задаем мы праздный вопрос.

— Нашли. Принесите-ка пластинки!

Мы слушаем «Гайда-тройка» тогдашней дивы

Вяльцевой, отрывки из оперы «Садко». Штук двадцать добытых из воды граммофонных пластинок просушены и звучат, как с фабрики. Еще нашли с английскими марками пепельницы, ночные горшки, рюмки, электрические лампочки, они великолепно горят. Еще пять бутылок коньяку: три попорчены соленой, проникшей через пробку, водой, а две выпиты водолазами.

— Под водой?

— Нет, за обедом. Но некоторые искусники могут и под водой распить. Это делается очень просто. Найдут бутылку вина и — куда-нибудь в небольшую каюту. Сойдутся лоб в лоб, кричат наверх в телефон: «Давай, черти, больше воздуху! Еще прибавь, еще!» А сами усиленно травят воздух из шлема. Пузырьки буль-буль-буль — и кверху, к потолку. Вскоре под потолком образуется воздушная подушка. А они все травят да травят воздух, вода все больше вытесняется. И когда воздух дойдет им до плеч, водолаз отвинтит товарищу шлем с головы и попоит его винцом, потом опять привинтит шлем. Затем выпивший таким же порядком своего товарища угостит, и оба веселенькие становятся. Но это было раньше, в частных водолазных обществах. Теперь строго...

Несколько слов о водолазах. Их труднейшая работа достойна всякого удивления. Это они горячей кровью своей, стынувшей в холодной октябрьской воде Белого моря, вырвали корабль из плена враждебной стихии. Вот он, Смольников, — высокий, рыжий, стройный, он в воде, как рыба. Не раз работал по восьми часов. Ночью, без освещения (вода, как чернила, холодна и черна), во время аварии он один ощупью переставил тридцать два шланга из крайних понтонных отсеков в средние, продул их и вновь поставил на прежнее место. А по заделке главной пробоины днища, где нужны смекалка, сила и ловкость, он подряд проработал двенадцать часов, с передышкой на час: из воды вылез шатаясь, покурил, отдохнул — и снова на дно. Приказом Ф. И. Крылова тов. Смольников трижды был награжден. Какие бесстрашные люди! Но и на них, как следствие нервного

переутомления, иногда нападает чувство тревоги. Один из них жаловался своему товарищу: «У меня теперь пред спуском всегда какое-то тоскливое предчувствие. Ночь черная, вода черная, глыбь, холод. Вот, думаешь, больше не вылезу, погибну на дне, последний раз вижу людей. Знаю, что чепуха, что просто нервы растрепались, а жутко как-то: ночь черная, вода черная, глыбь, могила. Когда оденут, подойдешь к краю, задержишься, оглянешься на огонек, на товарищей, шаг шагнешь по палубе, опять задержишься, сердце сжимается, тоска... Потом быстро в воду... И сейчас же сигнал: «Тяни обратно». Вытащат, отвинтят шлем, что-нибудь соврешь в оправданье: туго, мол, перчатки завязали... А потом уж, как спустишься на дно, работаешь без передыху, все забудешь...»

Вот водолаз Ибрагим Тангаличев, партийный. Тоже работал по шесть-семь часов. Во время аварии он спас водолаза Арсеньева, сигнальный канат которого, во время заправки стропа, запутался между корпусом «Садко» и понтоном. Арсеньев выкручивался из удавки больше трех часов, тут подоспел Тангаличев, перерезал шланг, телефон и сигнальный канат, и потерпевший пробкой вылетел на поверхность. Впрочем, героев здесь много. Начиная от Фотия Ивановича Крылова, кончая любым краснофлотцем, — они все герои, все объединены одной благой волей, единым желанием спасти корабль, принести посильную пользу государству.

Спускаемся на шлюпку, как с третьего этажа дома, все по тому же проклятому штормтрапу. Фотий Иванович, в длинных резиновых бахилах, в бараньей старой кацавейке, проворно спустился, как белка, первый. Вторым лез рослый и широкоплечий, как водолаз в скафандре, И. С. Соколов-Микитов, я все ждал, что веревочная лесенка лопнет под ним. Третьим спускался С. Я. Маршак. Он вцепился в веревки мертвой хваткой, руки его тряслись, очки вспотели, он весь напрягся, бормотал: «Ужасно

скользко, ужасно неловко, ступеньки скользят». Ему кричали снизу: «Держитесь крепче, не бойтесь! Правую, правую ногу, теперь левую, не глядите вниз... Левей, левей! Ну, прыгайте!» Я после спуска минут пять пыхтел и отдувался. А Фотий Иванович простодушно подсмеивался над нами:

— Ничего, помаленьку привыкнете. Страшны только первые сто раз.

Мы с товарищами впервые вступаем на палубу «Садко», и вновь душу охватывает какое-то непередаваемое волнующее чувство. Кругом дыхание севера, море и небо в свинцовых с белилами красках. «Садко» еще дремлет, но уже чувствует топот сапог, гул голосов, легкий бег ветра. Его чрево до отказа набито каменным углем, на чреве вдоль раны заплаты, и там внизу, в затопленном кубрике, догнивает на матросской койке туша тюленя, когда-то заползшего на корабль любопытства ради и вместо поживы нашедшего смерть себе. Дымовой трубы, откуда, бывало, валили тучи черного дыма, нет: она срезана льдами. Грот-мачта с гротмарсом тоже упала: она лежит тут же, растянувшись до самого носа. Вся палуба блестит, как новая, даже не совсем слезла белая краска. Вообще все деревянные части в соленой воде только окрепли. Два дня тому назад был субботник. Все вышли на работу, корабль очистили. В горловинах вентиляционных труб, на потолках штурвальной и радийной кают все еще висят красно-бурыми гроздьями колонии ракушек морских пиявок, красных как кровь, червей и всякой невиданной твари. Все это поросло бородатыми лохмами тины, водорослей, морского мха. Декоративно, но не безвредно: присосавшиеся моллюски выделяют кислоты, разрушающие железо. Однако ни корпусу, ни тем более машине они вреда не принесли. Машина и котлы (как оказалось впоследствии) в полной сохранности. Вот только, странное дело, чугун... От долгого пребывания в воде он стал мягок, как сыр, его можно резать ножом, но на воздухе он, как уверяют, приобретет прежние свойства. «Совнарком» через двадцать резиновых шлангов выкачивает из машинного отделения воду, приводит «Садко» в чувство. Корма

заметно приподнялась, нос чуть опустился. Под водой сейчас работают два водолаза, накладывают пластырь, врачуют болезни корпуса, но не все еще раны залечены; есть фильтрация, вода убывает слабо.

— Каков размер главной пробоины?

— Больше двух сажен длины и фут ширины. Пробоина эта несколько выше двойного дна. Если бы корабль получил пробоину в пределах двойного дна, пожалуй, не затонул бы.

Прилив усиливается, вода в море идет на прибыль. Вот она тонким слоем полилась через края, через двери кают, через всякую щелочку.

— Эй, внизу! — командует в рупор П. В. Симонов. — Сейчас вода будет заливать корму. Из трюмов все выбирайтесь наверх!

— Что ж, «Садко» опять сядет?

— Да, сядет, на четверть аршина. Завтра постараемся заделать все пробоины, а денька через два приведем его в кандалакшскую пристань. А оттуда в Архангельск на капитальный ремонт.

— Во что обойдется ремонт?

— Да, пожалуй, около полумиллиона. Да подъем стоил около миллиона. А корабль куплен в Англии в 1913 году за миллион с лишком золота. Вы слышите? Золота! Он был в работе очень мало, он почти новый. Как видите, подъем ледокола оказался весьма выгоден, овчинка стоила выделки. Не так ли?..

Мы уговариваем Фотия Ивановича немножко отдохнуть, переключиться в иную обстановку, провести вечер с нами. Он неохотно соглашается, мы берем его, так сказать, на буксир, привозим в свою квартиру. Заказали самоварчик: вот, думаем, всласть попьем чайку, на свободе побеседуем. Но не тут-то было. Около одиннадцати часов Фотий Иванович срывается с места и идет пешком через непроглядную тьму по усеянной камнями грязной дороге в новый кандалакшский поселок. Зачем? Он переночует там у знакомого, а завтра чуть свет он будет рыться в заводских и железнодорожных складах, осматривать

электрические помпы для откачки воды с «Садко». Ему там обещали.

За чаем все-таки шли разговоры по душам. Ф. И. Крылов рассказывает нам кой-что из своей жизни. Он — сын бедного крестьянина одной из центральных губерний. Живший в их селе земский начальник обратил внимание на смышленого, шустрого подростка, приспособил его к службе в своей канцелярии на побегушках, затем определил в школу морских юнгов. Впоследствии юный Крылов поступает по призыву на морскую военную службу; за малый рост не хотели его принять, но дело было улажено: Крылов — моряк, с кличкой «маленький».

— Так все меня и звали: маленький да маленький.

Он ведет рассказ тихим голосом, на его лице то и дело играет улыбка, он подсмеивается над собой, над драматическими моментами своей жизни.

— Однажды на корабле хлеб раздавали. Боцман по палубе шел. Вечер, темновато было. А боцмана у нас не любили за свирепость. Какой-то матрос подкрался к нему сзади, да как даст буханкой хлеба по башке, а сам бежать. Боцман за ним. Матрос куда-то юркнул и скрылся. А я иду себе, ничего не знаю. Боцман вгорячах подумал, что это я угостил его, снял большущую дудку на железной цепочке да, не говоря худого слова, хвать со всей силы мне по спине, рубаху насквозь прошиб, кровь пошла. Хотел жаловаться по начальству, да плюнул: боцман со свету сжил бы меня.

Добродушно подсмеиваясь и над разбойником-боцманом и над самим собой, Фотий Иванович продолжает:

— А то на лодке мы плыли, я в веслах. На секунду веслом взмахнуть не успел, мичман концом наметки мне в зубы ткнул, губу в кровь разбил. Вообще служить было трудновато.

Затем началась революция. Крылов лицом к лицу с врагом на передовых позициях. При наступлении Юденича он командовал батареей на Красной Горке, был сильно контужен, лишился чувств.

— Отбросило меня взрывом большого снаряда,

Ну, и маленько позвонок треснул, руки омертвели, а потом в госпитале позвонок срастили неправильно. Надо бы в особый корсет взять всю спину с позвоночником, а почему-то не сделали. А вскоре, как сросся позвоночник, я упал с высоты и как раз на поврежденное место. Больно было...

Далее, с 1920 года, уже начинается деятельность Крылова по подъему судов. Он был назначен на должность начальника Северного отделения Государственного судоподъемного управления.

— Жил в Архангельске. Самому приходилось лазить в воду.

Крылов рассказывает о первых работах: подъем «Народовольца», «Память Азова». В декабре 1923 года возник Эпрон при хозяйственном отделе ГПУ, а в 1928 году Эпрон реорганизовался в самостоятельную единицу. Ассигнования были ничтожные, а дела уйма. Надо было как-нибудь зарабатывать средства на развитие предприятия. Подвернулся удачный случай: подняли со дна Черного моря много ценных судовых частей, заработали несколько сот тысяч рублей. Японцы работали в то время на Черном море по подъему «Черного принца». В 1930 году подняли в Каспийском море персидский тральщик, он загораживал выход из порта и вход в него. Сам шах интересовался работами эпроновцев. Сняли с мели у турецких берегов большой пароход «Ильич».

— Английское спасательное общество подергало, подергало — отказалось. Мы в три дня сняли. Или, например, огромный пароход «Харьков», чуть ли не тринадцать тысяч пятьсот тонн водоизмещения. Мы по случаю купили его в Германии, а как ввели в Черное море, залезли в так называемый фальшивый Босфор вместо настоящего и посадили пароход на подводный камень. И как раз самой середкой днища. Вода сбыла, пароход повис и надломился пополам. Это нынче летом произошло. Мы раздернули корпус на две части и привели в Севастополь сначала нос «Харькова». Тогда еще была пущена острота, что «Харьков» самый большой пароход в мире, его корма в Босфоре, а нос в Севастополе. Затем мы привели

в севастопольский порт и корму, корма шла под своими парами, рулем вперед. Теперь «Харьков» в доке, обе части соединены и спаиваются автогенным способом. Да вообще, если перечислить все спасенные и поднятые из воды Эпроном суда, получится огромный список. А работы предстоит хоть отбавляй. Со времени империалистической войны только в одних северных водах лежит на дне несколько сот судов.

— А каковы качества наших водолазов? — поинтересовались мы.

— Превосходны. Это показал подъем лодки номер девять нынче в Балтике. Работой на глубине пятьдесят сажен мы в водолазном деле побили мировой рекорд. По водолазному морскому уставу предельная глубина опускания водолаза — двадцать сажен. Ну, мы, как видите, нарушили это правило и не каемся: лодка номер девять поднята. А раньше, на первых порах, мы работали действительно плоховато, мешкотно. Например, в Черном море были затоплены подводные лодки. Ну что ж... Год обследовали, год проект составляли да год поднимали... Это не темпы... Мы полтора года ходили возле лодок, прочесть название не могли. Правда, глубина была большая — до тридцати двух сажен. А вот японцы... Они на «Черном принце» работали, денег много на «Принца» просадили, ни черта не нашли там, никакого золота, прогорела их компания. Вот там водолазы сообразительные, под водой расторопные, вообще — молодцы. Сговорились с нашими ребятами, один из японцев на пять минут спустился, лодку два раза обошел, прочел название, определил в точности грунт, а вылез — чертеж составил, изобразил положение лодки, причину аварии показал. У японцев методика высокая, они очень поворотливы, летают под водой. Говорят, японец-водолаз, ежели на пари, не отстанет от подводной лодки: умелым регулированием в скафандре воздуха водолаз становится невесомым и может делать под водой какие угодно скачки. Я так слышал, и это вполне возможно.

— Что ж, значит они наилучшие в мире водолазы?

— Нет. Мы подымаем не хуже их. На Дальнем Востоке возле их берегов мы подымали такие суда, о подъеме которых они и не помышляли и думать позабыли. Они ловки на мелких, так сказать, ажурных работах, а на крупных, где нужны упорство, энергия, героика, средства, — они пасуют. Тут мы бьем всех. Они, эти японцы, как и корейские женщины-водолазы, замечательны своей ловкостью, акробатикой, но они лишены тех необходимых данных, которыми природа наградила нас, да плюс к этому — у наших высокое сознание долга...

— А каков заработок водолазов?

— От трехсот рублей и выше. Ну, там, хороший паек, обмундирование и прочее. Теперь молодежь наша помаленьку привыкает, набирается опытом, кадры есть, но их все-таки недостаточно: дело растет. А энергии у молодежи хоть отбавляй. Энергии, геройства, готовности жертвовать своей жизнью в любой час. Ну, а старики водолазы у нас замечательные. За ними ни смотреть, ни проверять их. Они и молодежь учат.

На прощанье Фотий Иванович с большим юмором рассказал нам, как в момент всплытия кормы «Садко» на пароходе «Ленин», испугавшись невесть чего, дурью замычала корова. А когда всплыл весь «Садко», она замычала еще ужаснее... И в довершение всего запел красноперый петух.

— Что ж, хороший признак!

— Мы в признаки не верим. Ни в признаки, ни в призраки, — посмеиваясь, сказал Крылов. — А корову на пароходе держат не для признаков, а ради молока для команды. Иногда и нам на «Декрет» молочка дают. На «Ленине» вообще народ хозяйственный. У них и курица, и петух есть.

На следующий день рано поутру к нам постучался Ф. И. Крылов.

— Ах, вы спите еще! Простите, разбудил вас...

Лицо у него усталое, но возбужденное, с нервным румянцем, серо-голубые глаза блестят. Видно, что он плохо спал.

— У товарища Петровского ночевал я. Легли очень поздно, часа в два. А в пять разбудил меня резкий крик за перегородкой: перегородка тоненькая, из фанеры. Должно быть, жена ругала мужа: «Ты что ж, сукин ты сын, дурак мохнорылый, отчего ты не требуешь первой категории карточек?!» А тот ей тихим голосом: «Потише ты, потише, Пелагея, неловко, посторонние люди там». А она еще громче: «Молчи, дурак! Бороду всю выдергаю да в печку брошу! Чтоб были мне карточки первой категории, сукин ты сын, нахал!» А тот опять ей шепотом: «Слышь, потише, неловко, моя».

Петровский говорит мне: «Вы заройтесь головой в подушку, спите». — «Нет, говорю, очень строгая у тебя соседка за перегородкой, очень серьезная. Давай вставать». Так и поднялись с ним, пошли на склады...

— Да вы раздевайтесь, Фотий Иванович! Сейчас чай будем пить. Хлопцы, вставайте проворней!

— Нет, некогда мне, — отвечает Крылов, — меня бот ждет у берега, надо на «Садко» спешить. — Он берется за дверную скобку и, уходя, говорит: — Ничего на складе не нашел подходящего. Электрические помпы не годятся, у них вольтаж другой. Жаль, время потерял. Ну, спите пока. А я к полдню пришлю за вами бот.

— Да вы сами-то хоть бы отоспались разочек всласть...

— Честное слово, некогда. Вот «Садко» в Архангельск отправим, тогда уж. Сон — чепуха, предрассудок... У нас при подъеме лодки номер девять иные водолазы по восемь суток не спавши жили. До того увлекутся, бывало, сядут в шлюпку, веслом раз, два взмахнут и засыпают. А я чем лучше водолаза? Ну, до свиданья...

И этот железный, весь в трудовой зарядке человек уходит.

Потягиваясь, покуривая, покряхтывая, мы начинаем помаленьку подыматься.

ЧЕРТОЗНАЙ

— А вот, честна компания, я весь тут: росту огромного, ликом страшен, бородища, конешно, во всю грудь. Я таежный старатель, всю жизнь по тайгам золото искал, скрозь землю вижу, поэтому и прозвище имею — Чертознай.

Ох, и золота я добыл на своем веку — страсть! Мне завсегда фарт был. А разбогатеешь — куда деваться? Некуда. В купецкую контору сдать — обсчитают, замест денег талонов на магазины выдадут, забирай товаром, втридорога плати. А жаловаться некому — начальство подкуплено купцом. Ежели с золотом домой пойдешь, в Россию, в тайге ухлопают, свой же брат варнак пришьет. То есть прямо некуда податься. И ударишься с горя в гулеванье, кругом дружки возле тебя, прямо хвиль-метель. Ну, за ночь все и спустишь. Конешно, изобьют всего, истопчут, с недельку кровью похаркаешь, отлежишься, опять на каторжную жизнь. Да и подумаешь: на кого работал? На купчишек да на пьянство. На погибель свою работал я...

Людишки кричат: золото, золото, а для меня оно — плевок, в грош не ценил его.

Например, так. Иду при больших деньгах, око-

севши, иду, форс обозначаю. Гляжу — мужик потрясучего кобелька ведет на веревке, должно — давить повел. У собаки хвост штопором, облезлый такой песик, никудышный. Кричу мужику:

— Продай собачку!

— Купи.

— Дорого ли просишь?

— Пятьсот рублей.

Я пальцы послюнил, отсчитал пять сотенных, мужик спустил собаку с веревки, я пошел своей дорогой, маню:

— Песик, песик! — а он, подлая душа, «хам-ам» на меня, да опять к хозяину. Я постоял, покачался, плюнул, ну, думаю, и пес с тобой, и обгадь тебя черт горячим дегтем... Да прямо в кабак.

А было дело, к актерам в балаган залез: ведь в тайге, сами поди знаете, никакой тебе радости душевной, поножовщина да пьянство. А тут: пых-трах, актеры к нам заехали, был слух — камедь знатно представляли.

Захожу, народу никого, кривая баба керосиновые лампы тушит, говорит мне: камедь, мол, давно кончилась, проваливай, пьяный дурак. Я послал бабу к журавлю на кочку, уселся в первый ряд:

— Эй, актеры! — кричу. — Вырабатывай сначала, я гуляю сегодня. Сколько стоит?

Очкастый говорит мне:

— Актеры устали, папаша. Ежели снова — давай двести рублей.

Я пальцы послюнил, выбросил две сотенных, актеры стали представлять. Вот я пять минут не сплю, десять минут не сплю, а тут с пьяных глаз взял да и уснул. Слышу, трясут меня:

— Папаша, вставай, игра окончена.

— Как окончена? Я ничего не рассмотрел... Вырабатывай вторично. Сколько стоит?

— Шестьсот рублей.

Я пальцы послюнил, они опять начали ломаться-представляться. Я крепился-крепился, клевал-клевал носом, как петух, да чебурах на пол! Слышу: за шиво-

рот волокут меня, я — в драку, стал стульчики ломать, конешно, лампы бить, тут набежали полицейские, хороших банок надавали мне, в участок увели.

Утром прочухался, весь избитый, весь истоптанный.

— Где деньги?! — кричу. — У меня все карманы деньгами набиты были!

А пристав как зыкнет:

— Вон, варнак! А нет, мы тебе живо пятки к затылку подведем.

Вот как нашего брата грабили при старых-то правах...

Одначе, что ни говори, я укрепился, бросил пить. Два года винища окаянного ни в рот ногой, золото копил. И облестила меня мысль-понятие к себе в тамбовскую деревню ехать, бабу с робенчишком навестить. Ну, загорелось и загорелось, вынь да положь. Сел на пароход, ду-ду-ду... — поехали. Через сутки подъезжаем к пристани, а буфетчик и говорит:

— Здесь село веселое, девки разлюли-малина. На-ка, разговейся. — И подает мне змей-соблазнитель стакан коньяку, подает другой, у меня и сердце заиграло с непривыку. — Золото-то есть у тя? — спрашивает.

— Есть, Лукич... Много. На, сохрани, а мне выдай на разгул тыщенку. — Отдал ему без малого пуд золота в кожаной суме, суму печатью припечатали; отсчитал он мне пять сотенных, говорит: «На пропой души довольно».

Вылез я на берег, окружили меня бабёшки да девчата, одна краше другой, ну прямо из-под ручки посмотреть. А у меня все персты в золотых, конешно, кольцах, четверо золотых часов навздевано, на башке бобрячья шапка, штанищи с напуском, четыре сажени на штаны пошло, из-за голенищ бархатные портянки по земле хвостом метут аршина на два. Как вскинул я правую руку, да как притопнул по-цыгански: — Иэх, кахы-кахы-кахы! — Тут девки-бабы целовать меня бросились... Я расчувствовался

благородным обхождением, пальцы послюнил, сотенную выбросил:

— Эй, бабы, парни, мужики, устилай дорогу кумачом! Веди меня к самому богатому хозяину. Айда гулять со мной!..

Зачалось тут пьянство, поднялся хвиль-метель. Я требую и требую. А богач мужик и говорит:

— Да чего ты бахвалишься?.. Есть ли у тя деньги-то?

Расчесал я пятерней бородищу, гулебщики под ручки повели меня, я иду, фасон держу, великатно на обе сторонки кланяюсь. А богач мужик пронюхал, низкие поклоны с крылечка отвешивает, пожалуйте, мол, гостенек, разгуляться.

Вот ввалился я с дружками в избу, горланю само громко:

— Редьки, огурцов! Шан-пань-ско-ого!..

Я хлоп по карману — пусто, обобрали. Я — «караул, караул!» да в драку. Богач мужик обозлился, выставил меня на улку. В крапиве проснулся я в одних портках. И пароход ушел, и золото мое вор-буфетчик с собой увез.

С недельку покашлял я кровью, да опять назад в тайгу. Долго после того я грустил, непутевую жизнь свою стало жалко. Эх, дурак-дурак!.. В одночасье голым стал. Ведь два года маялся. Два года! Хотел на родине доброе хозяйство завести, человеком сделаться.

И облилось мое сердце кровью. И озлился я на царские порядки, на купчишек, на мирских грабителей.

И вот прошел в народе слух, будто бы на приисках какая-то советская власть желает укрепиться. Я опять заскучал. А вдруг, думаю, при новой-то власти хуже будет... Дай, думаю, с горя напьюсь да учиню порядочное безобразие. А уж зима легла.

Велел ребятам воз кринок да горшков купить, велел кольев по обе стороны дороги понатыркать, а на

каждый кол по горшку надеть, как шапки. Взял оглоблю в обе руки, а сам в енотовой, конешно, шубе, иду, будто воевода к кабаку, да по горшкам оглоблей:

— Раз, раз! Эй, ходи круче! Сам Чертознай гуляет. Бей в мелкие орехи! Раз, раз!

И как закончилось мое гулеванье, очутился я в снегу, весь избитый, весь истоптанный.

Долго ли пролежал я, не знаю, только очухался в чистой горнице, тепло, на кровати на мягкой лежу, как барин, на столике разные банки с лекарствием, и башка моя рушником обмотана. И сидит предо мной душевный человек, и капает капли в рюмку, и подает мне:

— Пей.

Гляжу: лицо человека тихое, благоприятное, бритый весь, по обличью сразу видать — человек ума высокого.

— Пошто ты со мной валандаешься, — говорю ему, — ведь денег у меня нет.

— А мне твоих денег и не надо, — говорит.

— Врешь, врешь, приятель! Я-то знаю, раз у меня денег нет, ты меня выбросишь вон, здесь все так делают, человек хуже собаки здесь.

— Ну, а мы по-другому, — отвечает он, — советская власть рабочим человеком дорожит, рабочий — брат наш.

— А вы кто такие будете?

— Я секретарь, советской властью сюда прислан добрые для рабочего люда порядки заводить.

— А где же я, будьте столь добры, лежу?

— В моей комнате. Я тебя, товарищ, в сугробе подобрал, боялся — замерзнешь ты.

— Так пошто же ты подбирал-то меня?! Я ж сказал тебе: денег у меня нет, оглох ты, что ли?..

А он только улыбнулся да рукой махнул.

У меня аж борода затряслась, слезы подступили: хотел вскочить, хотел в ноги ему бултыхнуться, да он удержал меня и говорит:

— Только пьянствовать, старик, брось. А то — гроб тебе.

— Брошу! — закричал я. — Честное варнацкое слово — брошу! Да оторвись моя башка с плеч! Ведь умирать-то дюже неохота, робенчишка жалко, робенок у меня на родине остался, Ванькой звать, матка спокинула его, с посторонним человеком снюхалась...

А он мне кротко:

— Поправляйся, ребенка обязательно выпишем.

«Ох, ты, ох, — думаю, — какие добрецкие люди на свете есть». А секретарь мне:

— Вот отдохнешь, становись золото мыть. Я слышал — ты большой этому делу знатец.

— Нет, — отвечаю, — ослобони, товарищ секретарь. Я на золото шибко сердит теперь, чрез него горе одно видел в жизни. Да будь оно трижды через нитку проклято! Погибель моя в нем.

И оставил меня секретарь при себе: месяц прохворал я, потом стал вроде посыльного, стал струмент выдавать, да на кухне кой-какой обедишко готовить, ну и... по махонькой, конешно, выпиваю в тайности, а иным часом и подходяще дрызнешь. Секретарь придет, принюхается, я рыло в сторону ворочу, дышать норовлю умеренно, а он, миляга, все-таки приметит, что я окосевши, и учнет, дай бог ему здоровья, пропаганд против меня пущать, учнет стыдить меня, политике вразумлять. Да не одного меня, а всех. По баракам ходит, везде пропаганд ведет. От этого вскорости я в ум вошел, начал понимать, кто друг нашему брату трудящемуся, кто враг.

А работы уж развернулись на широкую, купчишки разбежались, везде порядок, пьянство на нет сошло, золото в казну старатели сдают, харч хороший, словом — со старым не сравнишь.

И стал я подумывать, как бы мне советскую власть отблагодарить.

Полгода прошло. Лето наступило. Секретарь и говорит:

— На вот тебе получку, иди погуляй, культурно развлекись.

Я сметил, что секретарь проверку хочет мне сделать... Ох, хитрец... Я пальцы послюнил, пересчитал деньги, иду, не торопясь, поселком, иду, любуюсь: все наше, все советское. Кооператив торгует, десять новых бараков большущих, Народный дом огромаднейший под крышу подводят. Постоял, поглазел, поскреб когтем бороду.

И понесли меня непутевые ноженьки в кабак.

«Ах, — думаю, — что же это я, варнак, делаю. Ведь замест культурности я винищем, конешно, обожрусь». И начал сам с собой бороться. Вот схвачусь-схвачусь за скобку, да назад. У самого слюни текут, а все-таки борюсь. Ну, борюсь и борюсь...

Глядь — бригада комсомольцев идет на работу, батюшки — рогожное знамя у них. На рогоже буквищи: «Позор!» — и дохлая ворона повешена. Приискатели в хохот взяли их:

— Эй вы, рогожнички! — кричат, присвистывают, изгаляются всяко.

Ах, мать честная! Жалко мне стало молодежь. Парни все работяги, совестливые. Посмотрел на них, подумал: вот робенок мой приедет, подрастет, обязательно в комсомол определю. Увидели меня ребята, гвалт подняли:

— Дядя Чертознай! Опозорились мы. Бьемся, бьемся, а все впустую... Смекалки еще нет у нас. Помоги! Бригадиром нашим будешь.

А кобылка востропятая, приискатели на смех подняли меня:

— И чего вы, рогожники, к Чертознаю лезете? Он забыл, как и кайло-то в руках держать. Будет землю рыть, ногой на бороду себе наступит.

Задели они меня за живое, осерчал я, выхватил рогожное знамя, взвалил его на плечо, скомандовал:

— Комсомо-о-лия! Айда за мной, малютки.

И повел прямо в тайгу, хотелось мне сразу их на золотое место поставить, было у меня на примете такое местишко сильно богатимое, да с пьянством забыл я — где оно.

Вот придем-придем, начнем шурфы рыть, я покрикиваю:

— Давай-давай-давай, малютки!

Парни до седьмого пота преют, аж языки мокрые. Нет, вижу, что не тут.

— Айда на ново место! — командую.

Так и бродим по тайге, ковыряем породу, а толку ни беса лысого. «Ах, — думаю, — старый дурак, пропил память». И ребята приуныли. Ну, я все-таки подбадриваю их:

— Солому ешь, фасон не теряй, малютки!

И стал я, братцы, с горя сильно пить, у спиртоносов водки добывать. Ой, грех, ой, грех... Так протрепались мы по тайге почем зря боле месяца.

И случилось, братцы мои, вскорости великое чудо чудное. Как-то выпивши лежу ночью под елью, малютки храпят, намаялись, сердешные, а мне не спится. Вдруг, как в башку вложило, вспомнил. Ну, прямо вижу явственно: вершинка Моховой речушки, огромадный камень-валун, да кривая сосна развихлялась в три ствола... Выскочил я, загайкал, как лесовик:

— Го-го-го-го!.. Вставай, малютки, пляши! — И припустился возле костра в пляс. Комсомолия продрала глаза, спросонья закричала:

— Батюшки! Чертознай с ума сошел.

Одним словом, мы чем свет то место разыскали: вот он, камнище, вот вихлястая сосна.

Я наклонился, рванул мох, — золото!.. Наклонился, рванул, — золото! Ребята принялись, как копнут где — золото!..

Вот ладно. Оставил их, говорю:

— Шуруй, малютки. Обогатим советскую власть. Давай-давай-давай! — А сам, дуй-не-стой на прииск.

Секретарь повстречал меня:

— Чертознай! Куда ты запропастился? Скоро торжество у нас, Народный дом открываем.

— Молчи, молчи, Петрович, — по-приятельски

подморгнул ему и спрашиваю: — А робенчишка-то моего выпишешь?

А он:

— Деньги посланы, ребенок твой едет.

Я возрадовался, да шасть в цирюльню. Командую цирюльнику:

— Бороду долой, лохмы на башке долой!.. Чтоб личность босиком была, как у секретаря... Катай!

Цирюльник усадил меня в кресло, а мальчонке крикнул:

— Петька! Мыла больше, кипятку. Приготовь четыре бритвы! — И начал овечьими ножницами огромаднейшую бородищу мою кромсать да лохмы. Он стрижет, Акулька подметает. Я взглянул, батюшки! — целая корзина, стогом, да из этой шерсти теплые сапоги можно бы свалять. Оказия, ей-богу... И пыхтел цирюльник надо мной с лишком полтора часа. А как воззрился я в зеркало, ну, не могу признать себя и не могу. Дурацкий облезьян какой-то... Ну, до чего жалко стало бороды...

Цирюльник полюбопытствовал:

— Уж не жениться ли задумали?

— Нет, — отвечаю, — не жениться, а молодым хочу быть. Ведь я с комсомолией работаю. Не с кем-нибудь, а с комсомо-о-лией! К тому ж скоро ребенок должон ко мне прибыть.

— Ваш собственный-с?

— Да уже не твой же. На подивись. — Тут я вынул, конешно, из кисета карточку.

Цирюльник поглядел, сказал:

— Да это же совсем грудной ребеночек.

А я ему.

— Ну, теперь он подрос, конешно. А у тя ладиколон есть? Облей мне лысину, чтоб культурно воняло.

И вот слушайте, братцы мои, начинается самое заглавное. Вот, значит, входим в Народный дом. Кругом флаги, аплакаты, музыка. Народищу — негде яблоку упасть, на сцене за столом — начальство.

У меня, конешно, рогожное знамя в руках, я команду подаю:

— Комсомолия, шагом марш! Ать-два, трах-тарарах. Ать-два, трах-тарарах. Ать-два. Стой!

Секретарь взглянул на меня, на облезьяна адиотского, удивился:

— Чертознай! Ты ли это? А где ж борода?

Я схватился было за бороду, бороды, действительно, не оказалось, я сказал:

— Отсохла, Петрович! Ну, товарищ секретарь, а мы к тебе с подарком. Я свое место заветное нашел. Новый богатимый прииск. — Тут обернулся я к робятам: — Комсомолия, вперед! Ать-два! Давай-давай-давай, малютки! Мишка, шуруй золото на стол!

И зачали мои парни золотые самородки на стол валить. Тут все в ладоши забили. А я залез на сцену, само громко закричал:

— Я всю жизнь, робята, хуже собаки маялся, купчишки обсчитывали меня, тухлятиной кормили, начальство по зубам било, и выхода мне из тайги не было. Не было! Я озлобился, пьяницей горьким стал, в сугробе едва не замерз, так бы и подох. А кто спас меня, кто меня в кроватку уложил, кто лекарствием отпаивал, кто уму-разуму учил? А вот кто: секретарь. Он первый... первый... за всю жизнь человека во мне увидел. Советская власть первая... на хорошую дорогу меня поставила. Да что меня — всех!

Опять все в ладоши стали хлопать, а я не вытерпел, скосоротился, заплакал. Утираю слезы кулаком да бормочу:

— Сроду, мол, не плакивал, а вот... от радости, от радости. Всю жизнь с великой печали пьянствовал, дурак... Ребра поломаны, печенки-селезенки отбиты... А вот зарок дал, не пью теперича...

Секретарь заулыбался, вопросил:

— Давно пить-то бросил?

— Вторые сутки не пью! Шабаш.

Народишко засмеялся, а секретарь и говорит:

— Товарищи! Давайте премируем Чертозная хорошей комнатой, шубой да часами, а бригаду комсомольцев знаменем почета. Как звать тебя?

— Чертознаем звать, — отвечаю.

— Это прозвище. А как имя, как фамилия?

— Забыл, товарищ секретарь.

— Как, собственное свое имя забыл?

— Вот подохнуть, забыл. Леший его ведает, то ли Егор, то ли Петруха. Тут слышу: в задних рядах ка-а-ак громыхнут хохотом, как закричат:

— Чертознай! Чертознай! Робенок к тебе прибыл.

И вижу, братцы, диво: посреди прохода прет к сцене лохматый, бородатый мужичище, вот ближе, ближе... Я воззрился на него, да так и обмер: ну, прямо как в зеркало на себя гляжу, точь-в-точь — я: бородища, лохмы, рыло, только на четверть пониже меня, сам в лаптях, и на каждой руке по робенку держит. А за ним краснорожая баба в сарафане... «Батюшки мои, думаю, виденица началась, самого себя вижу, ка-ра-ул...» А он, подлец, к самой сцене подошел да гнусаво этак спрашивает:

— А который здесь Чертознай числится?

— Я самый, — отвечаю. — А вы, гражданин, кто такие будете?

А он, подлец, как заорет:

— Тятя, тятенька! — да ко мне. — Я глаза, конешно, вытаращил, кричу:

— Ванька! Да неужто это ты?

— Я, говорит, тятя. Со всем семейством к тебе, вот и внучата твои, Дунька да Розка, два близнечика.

Я от удивления присвистнул: с пьянством все времечко кувырком пошло.

— Вот так это робено-ок! — говорю.

А он, варнак, улыбается во всю рожу, да и говорит:

— Вырос, тятя, — и целоваться ко мне полез, ну, я легонько осадил его:

— Стой, робенок! Еще казенные дела не кончены. А не помнишь ли ты, Ванька, как звать меня?

— Помню, тятя. Вавила Иваныч Птичкин.

— Верно! Птичкин, Птичкин, — от радости заорал я.

А миляга-секретарь зазвонил и само громко закричал:

— Давайте, товарищи, назовем новый прииск именем Вавилы Птичкина, то есть — Чертозная. Почет и слава ему. Ура!

Тут все вскочили, ура-ура, биц-биц-биц, музыка взыграла, барабаны вдарили, а комсомолия качать меня принялась. Я взлетываю, как филин, к потолку да знай покрикиваю:

— Давай-давай-давай, малютки!

ШУТЕЙНЫЕ РАССКАЗЫ

«НА ТРАВКУ»

Яков Мохов, наголодавшись в Питере, выхлопотал в фабричном комитете двухнедельный отпуск и укатил в Краснозвонск «на травку».

— Это ты правильно, — сказал ему товарищ. — Краснозвонский уезд завсегда был сытый. Народ справно там живет. Вот и мне картошки пришлешь.

Ехать было очень голодно: на станциях — хоть шаром покати, пустыня.

Но лишь сошел в Краснозвонске с поезда, какой-то шершавый дядя с кнутом вырвал у него восьмушку махорки, сунул в руку полкаравая хлеба фунта в два, а тетка за маленькую катушку ниток дала десяток вареных яиц.

Яков Мохов весь расцвел:

— Господи... Вот так чудеса! — сел на лавочку да все без запинки и скушал.

— Полный резонт... — сказал он самому себе и в веселом настроении пошел на рынок: день воскресный, как раз базар.

Зычно бухали колокола к поздней обедне — церквей в городе много; зеленели сады, ласточки с веселым гамом резали воздух; к базару тянулись подводы; лошади откормленные, гладкие, народ приветливый и сытый.

А вот за мостом, у собора, и базар. Тороватый прасол продает целое стадо домашних уток, вот две большущих бочки масла, творогу, возы яиц. Хотя цены высокие, но у возов хвосты — всяк пить-есть хочет.

Местные жители на чем свет ругают приезжих питерцев, которые ходят гурьбой по базару, у каждого за плечами мешок, в руках сумка со всякой всячиной: чулки, брюки, чашки, часы, сукно, ситец.

— И чего их пускают сюда? Гляди, как набивают цены-то. Приступу нет.

— Захочешь есть, так... Поди-ка побывай в Питере-то, нюхни-ка!.. Нужда гонит.

— У вас заработки. А у нас что?

— Заработки... Велики наши заработки.

Яков Мохов наблюдал все это издали, прислушивался, присматривался, наконец и сам принял участие.

Он подошел к рыжебородому, маленькому, похожему на колдуна, старичонке:

— А почем картошка?

— Картошка? — переспросил тот, хитроумно взглянув на покупателя, и поскреб под бородой. — Картошка у меня серебрянка называется, не скороспелка. Прямо с гряды. Вот какая картошка-то... Сахар! Триста целковых мера.

— Дорого.

— Дорого? — опять переспросил старик сердито. — Зато в городе. Не хочешь, не бери.

— Как это не бери? Я есть хочу!.. Чего тебе картошка-то стоит... Грош она стоит. Мародер этакий.

— Стой, стой! Ты не лайся... Ну, ладно, взял я, скажем, триста рублей с тебя, — а что я на них могу купить? Ну-ка, скажи! Три фунта соли. Понял?

— Верно, верно!

Кругом загалдели, собиралась толпа.

— Вот рубаху сейчас купил! — крикнул парень. — Пятьсот рублей. А она греет, что ль? Ситец!

— Лошадь — тридцать тысяч! Колесо — две тыщи. Коса, уж на что коса и та шестьсот. Ха!

Яков Мохов улыбался, глаза его сверкали.

— Вот у тебя, я вижу, сапоги новые обуты, — задорно сказал старик колдун и подбоченился. — Во сколько их ценишь? В три тыщи? А я кладу за них четыре рубля с полтиной, как до революции, а свою картошку — пятиалтынный мера. Это сколько же выходит? Тридцать мер? Так и есть... Вот получай тридцать мер да разувайся, ежели на то пошло! Желаешь?

— Ха-ха-ха! Разувайся, товарищ, разувайся! — подзуживали ротозеи.

— Заплачешь ведь! — возвышая голос, чтоб заглушить поднявшийся шум и хохот, говорил Яков Мохов. — Спятишься, старый хрен... Ведь тридцать мер, ежели по три сотни — девять тысяч выходит, а я три прошу. Взвоешь ведь!

— Кто, я? Ничего не взвою. Разувайся, и никаких!

— Не валяй ваньку-то! До старости лет дожил, а дурак.

— Может статься, и дурак, да не дурашней сына твово батьки.

— Ха-ха-ха!..

— А где у тебя картошка-то? У тебя и картошки-то полторы меры.

— Поедем. Живо накопаю. У меня две девки!

— Где ему? — подзуживали зеваки. — Он только бахвалится. Поди и сапоги-то не его, а для прогулу взял.

— Известно, не его! — подмигнул старик зевакам. — Ему и во сне-то не снилось таких собственных сапогов носить.

— Ишь, ишь закраснел как!

— Едем, черт тя дери, едем!! — крикнул взбешенный Яков Мохов и залез в телегу к старику.

Вышло чудно как-то и нелепо. Ну, для чего он продал сапоги? И куда ему тридцать мер картошки? Ему масла надо, крупы, яиц, хлеба.

Тьфу!.. Он с досадой посматривал на сутулую спину колдуна, на его хитрые, с прищуром, глаза, на клокастую рыжую, с сильной проседью бороду.

Но лишь только выехали за город, досады как не бывало. Кругом лежали желто-золотистые нивы и зеленые поля, виднелись рощи, перелески, то здесь, то там белели церкви. Воздух насыщен пряным густым теплом, солнце склоняется к западу, по пажитям чинно расхаживали грачи, а в выси все еще звенели песни жаворонков.

— Ух, ты! Давно я не был в деревне. Я ведь тоже из мужиков.

— Так-так-так... Само хорошо, — живо откликнулся старик.

— А служу на фабрике в Петербурге.

— Так-так-так... Благодарим покорно... Оно и видать: краски-то никакой в лице нету... А кость широкая. Поди харч плохой?

— Ну да... А после пасхи в больнице месяц вылежал.

— Так-так-так... И чего вы, ребята, например, все мутите? За дело бы надо. Нешто это жизнь?

— А тебе плохо? Наверно, помещичью землю поделили? А?

— Насчет землицы — это правда, землица отошла к нам от барина добрая. Благодарим покорно... И лесок есть, и сад, а яблоки — во! — в два кулака другой не уложишь, да еще пасека... Все под мужиком теперича!

Старик свесил с телеги ноги, покрутил головой и скрипуче засмеялся, его маленький круглый носик совсем потонул между толстых лоснящихся волосатых щек.

— Вспомнил штуку... Хошь — расскажу? Тут в пятом годе такая канитель вышла с помещиком-то нашим, что страсть. Погромишко, вишь ты, мужики-то устроили, то есть все покострячили — дым коромыслом! А я поопасался ехать, как бы чего не вышло, думаю. Одначе баба забранилась: «Дурак, грит, ты... Эвот, люди возами добро возят. Грыжа, грит, ты собачья!» Оделся я, поехал. А там уж и взять нечего:

что муку, что небиль, али платье — все расхватали, чисто под метелку. Нет, думаю, надо, что ни то и мне, а то — старуха глотку переест. Гляжу — чан большущий, дубовый, ведер на сорок, на боку лежит. Я его в сани, грузный черт, аж становую жилу надорвал. Вот поворотил я с ним домой, да и подумал: «А на кой леший мне чан?» А сам глазом шарю, нет ли еще чего билизовать: значит, в антирес входить начал. Гляжу, кобель барский, тощий такой, согнулся в дугу, будто стрючок, шуба-то на нем короткая, а мороз. И стал я за ним гоняться, ну вступило в мысли поймать да и поймать. Чисто ошалел тогда. То ись до того упрел, гонявшись, аж душа вон. Одначе изловчился, пал на него, а он меня цоп за нос! — едва не отгрыз. Скрутил я его кушаком, да в чан-то и посадил, и сам туда залез, а кушак-то вокруг себя, чтобы, значит, не убег кобель-то. И поехали мы с ним, благословясь, домой, как сенато́ры. Вот ладно. Вдруг откуда ни возьмись черкесцы — у соседнего барина, слышь, служили они, — за мной... Я как начал нахлестывать кобылу-то, они за мной. Ке-эк в это времечко дорога крутанула, сани вверх копыльями, все на свете перекувылилось, тут нас с кобельком чан-то и накрыл, двух дураков. Живым манером это черкесцы опять чан перевернули и почали меня плетками драть. Дерут, а мне смешно: кобелишко-то со страху кушак мог оборвать, да как сиганет, отбежал в отдаленье, да ну гавкать дурноматом. Тут и черкесцы засмеялись, ей-богу право, бросили меня драть-то. Я встал на ноги, один как порснет мне в морду кулаком, я опять слетел. Только было подымусь, как порснет по уху, я опять в снег башкой. Я караул заорал, взмолился. Бросили. Распрощался я тут с ними честь по чести и пошел ни с чем домой, потому кобыленки и след простыл. Иду да кровью отплевываюсь, зуб мне вышибли, самый клык.

Старичонка долго хохотал, подстегивая лошадь; грустно улыбался и Яков Мохов.

— Вот видишь, — сказал он старику. — Разве это порядок? А теперь кто тебя пальцем может пошевелить? Никто.

— Как есть — никто! — Старик помолчал и сказал раздумчиво. — Оно верно, что с этим уставом с теперешним можно было бы жить, кабы удовольствие... А то, вишь, никакого удовольствия: ни тебе сахару, ни чаю, ни гвоздя. Тьфу! Эвот селедка, уж на что дерьмо и та в сотню въехала. А бывало на сотню-то две коровы да коня купишь. — Он ударил себя кнутом по голенищу, защурился и закрутил головой. — И деньжищ энтих теперя у всех крещеных — гибель! А впрочем, — что в деньгах? Бумага и бумага... А удовольствия никакого тебе нету. Да-а... Так-так... Ну вот, например, вы, фабричные — коего черта, прости бог, не вырабатываете ситцы да сукно? Оглашенные вы эдакие, будьте вы неладны! — вдруг переменив тон, крикнул старик.

Лицо его стало строго, но глаза смеялись.

Яков Мохов ответил не сразу. Долго глядел на него в упор, потом сказал:

— Темный вы народ, жадный. Вам бы только в брюхо все. Есть селедка в аршин величиной, есть ситный, вот мужику и хорошо. А что ежели его в зубы урядник лупцевал, да землишки было — кот наплакал, — это мужик забыл. Вот ты плачешь, что фабрики стоят. А где взять хлопка, угля, нефти, железа? Ведь все это тю-тю от нас! Поди-ка повоюй, говорят.

— Ране было же.

— Так зато раньше и помещик был. Раньше и исправник был, и земли у тебя не было. Ну что, ежели тебе дадут, к примеру, сто аршин ситцу, двадцать аршин сукна, пуд мыла да пуд сахару и скажут: получай, только помни, все обернется по-старому, снова будешь не хозяином, а холуем последним. Согласишься?

Старик вздыхал, крутил головой, покрякивал, потом сказал:

— Нет! — и нахлобучил шапку.

— Ну а ежели водки еще в придачу? И бочонок самолучших сельдей? А? — улыбнулся Яков.

Старик захохотал и мрачно сплюнул:

— Благодарим покорно... Ха-ха-ха!.. Вот так загакнул загадку. Водка! А?! Да у меня своя брага сварена, ей-богу право. Вот приедем, угощу. Эвот и село наше.

Через полчаса сидели за самоваром. Две девицы — Дарья с Марьей, одна другой краше — наперебой потчевали гостя:

— С преснушечками-то, с соченьками-то... Уж не взыщите, мы по-деревенски.

И хозяин весело покрикивал:

— Намазывай толще маслом-то, не жалей, не купленное. Эй, Марья, а ну-ка в погреб, бражки бы похолодней!

С крепкой браги Якова бросило в краску, и в глазах замелькало.

«Этакая благодать, — подумал он, — вот бы пожить-то где», — и поддел на ложку густого пахучего меду.

— Живем, благодарю покорно, ничего... — громко чавкая и запивая брагой, сказал старик. — Только вот в чем суть: бог урожай послал очень даже примечательный, а убираться не с кем: я стар, а девкам одним не управиться... Вот беда-то...

Яков Мохов поставил на стол блюдце и несмело сказал:

— А что, ежели я бы? Насчет работы-то. Я могу.

— Да ну? — вскричал захмелевший старик. — Ах ты, ясён колпак... Яков Иваныч, друг!.. Неужели остался? А уж насчет жратвы мы тебя побережем, то ись так будем ублажать, ну прямо лопнешь по всем пунхтам. А девки-то, девки-то у меня — малина!.. — Он подмигнул на зардевшихся девиц и вдруг: — А ты женатый?

— И не думал.

— Ну?! Право слово? Девки, слышали?

Девки зарделись пуще и заходили козырем, грудь вперед, как на подносе.

Хозяин захихикал скрипучим смехом, подскочил к сундуку:

— Раз! — выбросил он новые сапоги. — Первый сорт, со скрипом... Два! — выбросил другую пару. — Три, четыре, пять — это девкины! Нна! Уж насчет обувки — извини — вполне имеем. Ха-ха-ха! Уж извини. То ись надул я тебя, Яков Иваныч, вот как... То ись на рынке-то. Не сапоги твои, ты мне нужен, ты! Приглянулся ты мне: большой да широкий. Дай, думаю, уманю. Ха-ха-ха! Благодарим покорно. Оно как по писаному и обернулось. Чисто камедь... Ах ты, ясён колпак. Дарья, браги!! Марья, ходи веселей! Не зевай, девки, холостой ведь он...

Яков Иваныч улыбался.

ЭКЗАМЕН

— Ну, так как? Это ваше последнее слово, Надюша? — выразительно спросил Утконогов.

— Да, самое последнее... Вы сами посудите, Петр Федотыч... Я, конечно, за кондуктора пошла бы, но страсти боюсь, что вы на экзамене обрежетесь.

— Пожалуйста, в смысле экзамена не сомневайтесь. Например, я все выдолбил как нельзя лучше. Вот разбудите меня в самое ночное время и задайте вопрос...

— Ах, что вы говорите!.. Разве я могу, будучи, без сомнения, девицей, будить в ночное время спящих мужчин во сне... А вдруг вы вскочите и замест экзамена начнете мужские глупости... А вот я вам, Петр Федотыч, прямо отвечаю: ежели вы, без сомнения, провалитесь, то за меня сватается один солидарный женишок.

— Кто такой? — оторопело спросил Утконогов.

— Да уж есть, — кокетливо протянула Надюша; круглые, нажеванные щеки ее налились улыбкой, как яблоко. — Сватается за меня Кузьма Ефимыч Жеребяткин... Они не советуют за вас выходить, а я, без сомнения, напротив...

Утконогов шел домой в большом волнении. Да, черт тя ешь, этот самый Жеребяткин конкурент по всем статьям. Этот самый Жеребяткин не кто иной, как нарядчик кондукторских бригад. Вот кто Жере-

бяткин. И Надюша, видать, не промах: у Жеребяткина хозяйство ай-люли, одних свиней штук пять. Ах, дьявол!

— Ну да ничего... — сказал он вслух. — Ведь экзаменатором-то мой знакомый техник назначен, Лебеда.

Через два дня Петр Федотыч отправился на экзамен и зашел к невесте.

— Ах, до чего вы интересные собой, — сказала девушка. — Только смотрите, как бы не сбили вас. Такой вопрос поставят на ответ, что... Например, меня на экзамене в комячейке спросил инструктор: а где живет Карл Маркс? Я сказала: они померши. А мне сейчас же опровержение: Карл Маркс живет в сердцах пролетариата. Представьте! Я, без сомнения, не могла знать, и чрез эту неприятность чуть не слегла в обморок.

Петр Федотыч весело расхохотался и сказал:

— Этих паник я не признаю. А раз вы жили в городе у генеральши, позвольте облобызать вашу ручку, мадмазель.

И пошел через село на станцию в полном душевном равновесии.

Но, отворив в контору дверь, он вдруг оцепенел: за письменным столом сидел старший слесарь усач Григорьев и вместо знакомого техника нарядчик кондукторских бригад Жеребяткин. На мгновение в мыслях пораженного Петра Федотыча промелькнула с язвительным хохотом Надюша, он в страхе зашевелил губами, его усы сначала поднялись кверху, потом загнулись назад, как у моржа.

— Заставляете себя ждать, — сухо встретил Жеребяткин и оправил свой новый красный галстук.

— Извиняюсь, у меня часы отстают, — убитым голосом промямлил Утконогов и подумал: «Боже, боже... Он экзаменатор. Прощай, Надюша!»

— Прошу занять место... Напоминаю, что экзамен поведу по всей строгости, согласно экономических потребностей и вообще новых веяний во всех подобных начинаниях, а также будучи идеологическая подоплека. Итак, приступим.

Нарядчик Жеребяткин говорил хотя высокопарно, но вяло и скрипуче, точно стонал. У него флюс, адски болели зубы.

У Петра Федотыча екнуло сердце, но он овладел собой и ответы давал с треском, правильно, четко и толково. Нарядчик Жеребяткин недовольно крякал.

Прошло больше часа. Все трое взмокли от напряжения и жаркого солнечного дня.

Почти вся инструкция блестяще исчерпана. Петр Федотыч даже сверх программы изобразил карандашом схематический чертеж сцепления вагонов обыкновенной и уленгутовской стяжкой.

— Я полагаю, довольно бы... По-моему, товарищ Утконогов выдержал и заслуживает кондукторского звания, — сказал Григорьев, облизнув пересохшие губы.

Утконогов засиял, ему ужасно захотелось расцеловать Григорьева.

— Что? Как это довольно! — оживился Жеребяткин. — А вот мы испытаем, на сколько градусов у него котелок варит. — При этом нарядчик Жеребяткин так сильно засопел, продувая ноздри, что подвязанная к флюсу вата полетела клочьями.

— Отлично. Хорошо, — сказал он, хватаясь за больную щеку. — А вот, например, в товарном вагоне везут покойника. Что это: живность или груз?

«Ну, на этом-то не собьешь меня», — подумал Утконогов и бойко ответил:

— Никакой покойник не может почитаться живностью, раз он умер. Живность шевелится и чуть что — должна поднять крик. Например, корова издает вроде мычанья, петух поет. Под товар тоже подвести нельзя, все-таки это бывший человек, и в смысле товарооборота не может быть и речи. А просто — покойник. Довольно странный, сбивчивый вопрос.

У экзаменатора глаза стали круглыми и завертелись.

— Ну, так, — сказал он. — А вот что значит: находясь на службе, кондуктор должен являться в трезвом состоянии? Что обозначает трезвое состояние? Например, я могу выпить ужасно много, и как только

начинаю ругаться на татарском языке, значит — стоп. А другого с трех рюмок развезет. Как тут сопоставить?

Григорьев хихикнул в рукав, а Петр Федотыч, чуть подумав, ответил:

— Трезвое состояние значит, когда человек не шатается, не ругается и все понимает.

— Так это и Григорьев, ежели окончательно будучи напьется — не шатается, не ругается, а сразу ляжет на обе лопатки, как бревно, и все понимает.

Григорьев опять хихикнул и сказал:

— Это к инструкции не касаемо, к чему же сбивать?

Но Петр Федотыч нашелся:

— Трезвый — значит ничего не надо пить.

— Извиняюсь, — сердито запротестовал экзаменатор. — Такого правила в инструкции не сказано, чтоб из общества трезвости. Ну, ладно. Этот вопрос спорный и вытекает из крепости естества. А вот... — И он задумался. — Вот скажите мне, что надо делать, ежели в поезде есть вагоны с негашеной известью?

— Я должен убедиться, — начал Петр Федотыч слово в слово по инструкции, — что в этих вагонах нет щелей и дыр и люки закрыты настолько плотно, что устранена всякая возможность проникновения в вагоны дождя, снега и тепе́.

— Что, что? Это что за «тепе́» такое? — изумился экзаменатор и стал перелистывать инструкцию.

— Я и сам призадумался, — грустно ответил Петр Федотыч. — Чистосердечно сказать, не понял. Но безусловно — сырость, раз известь негашеная. Я так полагаю, что озорники, которые ездят на крышах, например, во время революции... И прямо, извиняюсь, с крыш это самое... А в крышах, конечно, щели. Ну, и потеке́.

— Тьфу ты! Ничего ты, сударь мой, не понимаешь. Тут пропечатано: дождя, снега и т. п., то есть — и тому подобное, а отнюдь не и тепе́.

— Я не знал. Тут неясно... — упавшим голосом проговорил Утконогов.

— Ага, неясно! — обрадовался Жеребяткин. — Это не ответ. Для кондуктора все должно быть ясно.

Григорьев твердо сказал:

— Протестую. По моим соображениям, какая же может быть сырость, кроме снега с дождем? Ответьте мне сами-то, товарищ Жеребяткин.

— Сырость? — заносчиво проговорил Жеребяткин. — Сырость может быть всякая. Мало ли какая сырость бывает...

— Например?

— Ну, сырость... Мало ли там. Сырость — это... Ой, ой... Батюшки, стрельнуло как! — Он схватился за щеку и, весь перегнувшись, побежал по комнате, широкоплечий, приземистый, с брюшком.

А слесарь Григорьев резонно говорил:

— Как я осистен, то подписываюсь руками и ногами под ответом товарища Утконогова. Ответ правильный. Кроме как от безобразий, никакой сырости в естественной природе и не обнаружено вредной для извести. Вопрос исчерпан.

— А вот, — раздалось от окна, и Жеребяткин прикултыхал на место. — А вот ответь. Сидишь ты в порожнем отделении и побился, скажем, об заклад с другим кондуктором. Ты говоришь: «На таком-то перегоне поезд обязательно сойдет с рельс». А тот отвечает: «Нет, не сойдет». И действительно, поезд прошел благополучно, и ты проиграл. Хвать, а денег-то и нет, заплатить-то и нечем. Ты бежишь в ночное время, когда все спят, и начинаешь вежливо трясти свою мать и говоришь ей в сонном виде: «Матка, дай-ка скорей деньжат!»

— Никак нет, — возразил Петр Федотыч. — В силу параграфа тридцатого кондуктор не должен без надобности беспокоить пассажиров, особливо ночью.

— Но, во-первых, не без надобности, а во-вторых — это же твоя родная мать?..

— Это меня не касается. Ежели, скажем, мой отец, покойник, придет с того света да начнет в вагоне стекла бить, я и отца на ближайшей остановке вышвырну в вежливой, но твердой форме. Во-вторых,

согласно параграфа пятнадцатого, я не имею права занимать порожние отделения.

— Так, так. Ну что же, все? Хорошенько обдумай мой вопрос.

Утконогов подумал и сказал:

— Да, все.

Нарядчик Жеребяткин вильнул бритой, в ермолке, головой и пристукнул в стол ладонью.

— Ага, все? По-твоему, все? А вот и врешь. Как же ты смеешь, черт тебя бери, биться об заклад, раз у тебя на перегоне не благополучно?.. Извольте радоваться, вместо того чтобы подать на паровоз тревожный сигнал, он, каналья, бьется преспокойно об заклад и идет как ни в чем не бывало будить родную мать, а тут поезд через три минуты должен кувырнуться!

— Ага, конечно... Я сейчас же...

— Ах, сейчас же?! Нет, брат, поздно! Поздно, черт тебя дери!! Что у тебя там было на путях? Шпалы выворочены, рельс развинчен или бык лежал? Отвечай!!

— Откуда же я могу знать?..

— Ах, вот как! Он, каналья, бьется с каким-то паршивым ослом об заклад и не знает, почему бьется?.. Харрашо-о-о-о...

— Я протестую! — крикнул слесарь Григорьев и весь взъерошился. Его глаза на прокоптелом лице сердито белели. — Ерунда какая-то! Он же инструкцию отлично знает, а вы нарочно запутываете. Прошу задавать вопросы по существу понятий, а это уже вроде как тенденция. И, кроме того, остается недоказанным, что он каналья. Я протестую. Прошу называть товарищем. И на «вы».

Такое заступничество растрогало Петра Федотыча. Губы затряслись, на глазах показались слезы.

— По-моему, довольно, — авторитетно сказал Григорьев. — Вполне достоин своего звания. Заявляю, как осистен.

— Последний вопрос, самый понятный, незапутанный, — проговорил экзаменатор и весь хищно сжался, как на мышонка кот.

— В вашем вагоне, товарищ Утконогов, едет беременная женщина. Понятно? И вот она случайно родила двойни, что вполне допустимо инструкцией. Понятно? — мотнул он головой Григорьеву. — Ну, вот. Что же вы, товарищ, должны сделать? Скорей, скорей...

Петр Федотыч потер лоб, быстро припоминая всю инструкцию.

— Я должен разыскать кондуктор-фельдшера; если такового не имеется, я должен... Больше в инструкции ничего не сказано...

— Надо шевелить мозгами! — почти крикнул Жеребяткин.

— Я, конечно, буду искать бабушку промежду пассажиров, которая повитуха. В случае неимения налицо таковой, буду умолять всякую попавшую женщину...

— Ну, ну! — торопил Жеребяткин.

— Ежели таковой не повстречалось бы во всем поезде, что невозможно допустить... Я кой-как... конечно, я не спец по части новорожденных младенцев, но...

— Чушь! — оборвал Жеребяткин. — Совсем не то.

— Я на первой же остановке честно, благородно, соблюдая вежливую форму, должен отнести роженицу в приемный покой, а также двух появивших младенцев.

— Чушь, чушь! — торжествующе сказал Жеребяткин. — Далеко не в этом суть вопроса.

Петр Федотыч в замешательстве переминался с ноги на ногу. Слесарь Григорьев поспешно вышел в другую комнату и поманил пальцем Жеребяткина.

— В чем суть? Я тоже ничего не понимаю... — тихо и конфузливо спросил он.

— Да очень просто, — весело подмигнул Жеребяткин. — Ведь младенцев-то два... Понимаете? Ежели б один, ну, тогда он прав... А то два...

Когда Жеребяткин до конца объяснил в чем дело, Григорьев сквозь сдержанный смех воскликнул:

— Ах, ерш те в гайку! Совершенно верно!.. Хы-хы-хы...

— Надо скорей кончать, — сказал Жеребяткин, ковыряя спичкой зубы. — У меня рукобитье сегодня... Надюшу-то Дроздову знаете?

— Поздравляю, поздравляю...

И оба вышли фертом к взволнованному Петру Федотычу.

— Ну что ж, знаете?

— Никак нет.

Слесарь Григорьев, совершенно неожиданно для Петра Федотыча, крепко и внушительно сказал:

— Стыдно этого не знать, товарищ! Это даже дураку ясно. Какой же ты после этого, к чертовой матери, кондуктор?

— В чем же суть? — весь уничтоженный, продрожал голосом Петр Федотыч.

— Ты должен, — поднимаясь и рубя ладонью воздух, стал чеканить Жеребяткин, — после установленного факта в рождении, ты сейчас же должен стребовать с этой самой мадам дополнительный билет. Один младенец бесплатно. А ежели два образовались в поезде, это уж целый билет дорога заработала. Итак, резюмируя способности мозгов, ты чрез полгодика можешь явиться для вторичного экзамена об это место.

Петр Федотыч качнулся, мотнул головой и, сдерживая гнев, угрожающе сказал:

— Ну, в таком разе мы с вами, гражданин Жеребяткин, посчитаемся... Я найду правду. Теперь не прежние времена... Так влетит, что...

И экзаменаторам действительно влетело.

СМЕРТЬ ТАРЕЛКИНА

— К черту, — сказал сам себе Петр Иваныч Тарелкин, прикултыхав домой с трудповинности, и бросил в угол лопату. — Так больше жить нельзя. Это не жизнь, а каторга... Хуже! Это хождение преподобной Феодоры по мукам. Хуже...

Он снял с правой ноги стоптанный сапожишко и осмотрел ступню: так и есть, большой палец посинел и вспух. Руки тоже поцарапаны, и рассечена бровь. Он размотал веревку, служившую ему поясом, швырнул ее под кровать, сорвал с плеч дырявую бабью кацавейку и долго шагал взад-вперед в одном сапоге, припадая на больную ногу.

— Ха, транспорт... Вози им песок из карьера, балласт... — бубнил он, тараща озлобленные мутные глаза. — А зимой дрова заготовляй на железку, для общественных портомоен проруби долби, окопы рой... Тьфу! Черт бы их драл.

Петр Иваныч остановился и так свирепо потряс кулаками, что рыжие длинные космы его заплясали по острым плечам. В эту минуту, взлохмаченный, дикий, грязный, он напоминал допившегося до чертиков дьякона.

В изнеможении он повалился на кровать и сердито запыхтел.

— И завтра, и послезавтра все то же, то же. Может быть, еще десять лет такую волынку тянуть придется... Это с больным-то сердцем.

Но настроение его вдруг резко изменилось: по испитому длинному лицу проползла улыбка, большой кадык на хрящеватом горле судорожно запрыгал, фиолетовый нос весь наморщился, засвистел и затрясся в смехе.

— Гениально! Гениально! — радостно воскликнул Петр Иваныч и ударил себя ладонью в лоб.

Отворилась дверь. Петр Иваныч поспешно придал лицу вид безвинно пострадавшей жертвы и закрыл глаза.

— Петруша! Да что ж ты, голубчик, развалился-то, — чуть гнусавя, сказала Фелицата Николаевна и стала разматывать с головы шаль, — хотя бы рассаду полил, ведь завтра некогда, завтра ты назначен на заготовку шпал. Милицейский с бумажкой приходил.

— Не пойду, — равнодушно сказал Петр Иваныч и густо, но без всякого выражения сплюнул. — Я — бывший соборный регент, а не батрак. К черту!.. Я им больше не слуга... Арестант я, что ли?

Треугольное личико миниатюрной Фелицаты Николаевны побелело.

— Да, никак, ты рехнулся, Петруша! Да ведь по нынешним временам за это могут расстрелять!

— Как это меня могут расстрелять, раз я умру, — загробным голосом проговорил Петр Иваныч.

Жена испуганно задвигала бровями.

— Как, Петрушенька, умрешь?

— А очень просто: вот вытяну ноги и умру... Вон какие перебои в сердце.

Фелицата Николаевна уронила на пол шаль и криво опустилась на стул.

— Нет, довольно! — вскричал Петр Иваныч басом и так свирепо шевельнулся, что кровать заскрипела под ним, как коростель.

— Вместо того чтоб этак мучиться, Фелицата Николаевна, лучше раз навсегда покончить все расчеты с жизнью.

Обомлевшая женщина метнулась взглядом по широкому ножу, по веревке, по здоровенному крючку,

где висела лампа-«молния», и враз замелькали перед ней хрипящие призраки.

— Ты не имеешь права умирать!.. Ты не смеешь руку на себя накладывать! — И лицо ее перекосилось от ужаса.

«Очень любопытно, черт возьми», — едва сдерживая смех, подумал Петр Иваныч.

Но ему стало жаль жену, и он сказал:

— Дурочка... Фелицата Николаевна... Я ж пошутил. Я умру не по-настоящему. «Смерть Тарелкина»-то смотрели, — пьесу-то, помнишь? Недаром и фамилия у меня такая же — Тарелкин.

Фелицата Николаевна сидела с разинутым ртом и ничего не понимала.

На другой день она заявилась в отдел учета рабочей силы. От волнения лицо ее горело, руки тряслись, по груди и животу ходили волны робости.

Безусый заведующий поправил кепку и ткнул в яичную скорлупу окурок.

— Вам, гражданка, что?

Пишущие машинки трещали с ожесточением, очаровательная блондинка пудрила пуховкой нос и щеки.

— Извиняюсь, товарищ, — начала Фелицата Николаевна, потряхивая головой, задыхаясь. — Я пришла доложить, что мой муж, товарищ Тарелкин, и вчера не был на трудовой повинности, и сегодня не пойдет, да, может, совсем не будет ходить.

Юноша засопел, лицо его стало как уксус.

— Ха!.. Значит, с вашей стороны донос? Очень приятно... Садитесь, гражданка... Ваш адрес? Я сейчас пошлю арестовать его.

Машинки вдруг замолкли. Пуховка в очаровательной руке остановилась.

Фелицата Николаевна впилась руками в край стола.

— Что вы, товарищ!.. У него понос, холера у него. Он вот-вот умрет.

— Холера? — Брови молодого человека взлетели вверх. — Тогда его немедленно надо в заразные

бараки. Грибами, что ли, объелся? Сейчас я позвоню. — И рука его потянулась к телефону.

— Ради бога! Не холера у него, извиняюсь. Я перепутала, просто я от неприятности вся трясусь. — Фелицата Николаевна окончательно потеряла нить мыслей. — Он нес дрова, упал и разбил себе голову... Теперь в беспамятстве, сорок два градуса жару.

Лицо юноши стало как горчица, потом — как игривый квас.

— Не упали ль вы сами, гражданка, на голову? — Губы его кривились в улыбке. — И что вам наконец от меня угодно?

Фелицата Николаевна беспомощно вытаращила глаза, как бы припоминая цель своего прихода.

— Товарищ! — вышла она из оцепенения. — Извиняюсь, товарищ, извиняюсь. Я пришла заявить, что мой муж, гражданин Тарелкин, извиняюсь, при смерти.

Она выходила на цыпочках и косолапо, барышни провожали ее улыбками, а когда скрылась, начальствующий юноша сказал кокетливым баском:

— Ненормальная дура.

Их городишко небольшой. Жили они во флигеле на одиноком пустынном огороде. Петр Иваныч было разделал пять гряд под картошку и всякую всячину, а тут, пожалуйте, шпалы. Ха! А не желаете ли вы фигу?!

Петр Иваныч на третий день благополучно умер.

Фелицата Николаевна, в черном платочке, двое суток без передыху бегала по всем надлежащим местам. Наконец все документы выправлены, и покойный гражданин Тарелкин был навсегда вычеркнут из списка живых.

Петр Иваныч целую неделю со всем усердием копался на огороде. Погода солнечная, все зазеленело. Скворец в скворешнике гоготал, словно молодой жеребчик, и заливался свистом, как ямщик на облучке.

Эх, как это прелестно, что Петр Иваныч умер! Для кого умер? Для них, а не для себя. Теперь знай

работай. Кто из знакомых на такой пустырь придет? Полная гарантия. Отлично, гениально!

Как-то попала Петру Иванычу в руки старая газета. Прочел, и глаза его засверкали.

— Да ведь мы — чурбаны, колпаки! Мы прозевали изрядную выдачу... Не угодно ли: на саван столько-то аршин. На траур столько-то... Гроб из заготовительного склада; в случае отсутствия такового — выдается денежная себестоимость. Срок получения десятидневный. Боже мой, сегодня последний день!..

А Фелицата Николаевна как на грех уехала в деревню за мукой. Усопший Петр Иваныч немедленно составил подложную доверенность от лица жены на имя несуществующего двоюродного дяди, Антона Огурцова, нахлобучил шляпу грибом на самый кончик носа, отхватил ножницами половину бороды, нафабрил ее черным жениным фиксатуаром, отчего рыжая борода стала темно-зеленой, и под видом гражданина Огурцова, предвкушая большой барыш — недаром всю ночь вошь снилась, — корыстолюбиво зашагал по пыльной улице.

«Господи, как бы не влопаться», — с ноющим чувством подумал он.

Но когда поднялся в присутствие и внимательным взглядом окинул лица всех служащих, от сердца отлегло: ни одного знакомого человека.

Заявление его все инстанции прошло благополучно: двенадцать виз с росчерками и печатями так исполосовали все свободные места бумаги, что негде клюнуть курице, и вот, в конце занятий, когда служащие похватались за картузы, ему вручили ордер на получение, сказав:

— Бегите скорей вон к тому оконцу... Без двух минут четыре... Может, успеете.

Петр Иваныч совсем по-молодому, — даже приподнял темные, нарочно надетые очки, — подъехал, как на лыжах, к загородке и сунул в оконце ордер:

— Ради бога... Вот!..

Но его протянутую руку вдруг схватила за решеткой для дружеского пожатия неизвестная рука, и знакомый голос произнес:

— А, Петр Иваныч!.. Здравствуйте, милый человек.

И обе головы, одна перепуганно, другая любопытно, так порывисто нырнули друг другу навстречу, что в самом оконце сильно стукнулись лбами и едва не поцеловались.

Петр Иваныч в страхе отпрянул, как от вставшей перед ним змеи, выдернул руку, волосы на его голове зашевелились и, словно в тяжком сне, он прирос к месту.

Из оконца высунулась широколобая лысая голова с черными височками и не то подозрительно, не то приветливо осклабилась в самые очки усопшего.

— Однако что же это такое? Вы, должно быть, хворали, вас нельзя узнать, Петр Иваныч! А?

— Вы ошибаетесь... Я совсем не Петр Иваныч... Петр Иваныч Тарелкин помер... Вы ошибаетесь. Я — Антон Огурцов — дядя.

Но голова, очевидно, не слыхала. Она на мгновение поджала бритые сухие губы и вновь растеклась в улыбке, на этот раз определенно ядовитой.

Петр Иваныч словно окунулся в ледяную воду.

— Позвольте мне обратно ордер, — забормотал он. — Тут ошибка... Ради бога, ордер...

— Ордер? Он регистрируется... Сейчас, сейчас... Кто ж у вас умер, Петр Иваныч? Уж не супруга ли?

Голова унырнула за решетку и близоруко стала водить по ордеру острым носом. Вдруг рот головы вытянулся ижицей, брови заскакали по лбу вниз и вверх, уши и черные зачесы на височках задвигались.

— Гм!.. — зловеще сказала голова, щелкнула кистью руки по ордеру и, как торпеда, выбросилась в оконце. — Гражданин Тарелкин!..

Но на том месте, где стоял Петр Иваныч, была совершеннейшая пустота.

Вечер. Покойник с собственной вдовой, только что вернувшейся из деревни, пили морковный чай. На покойнике лица нет, руки его тряслись. Не переставая, он курил махру.

— Чует мое сердце, что облава нагрянет, арестуют, — говорил он. — И откуда этот бритый дьявол взялся? Ведь он же в уезде был. Бывший кабатчик, в коммунисты записался, перевертень, черт. Такие самые злобные. Боюсь я... И надо ж было так влопаться... Тьфу!

— Придется, Петенька, завтра же в деревню тебе бежать... Ох, хоть бы ноченьку-то переночевать благополучно!

— Я так полагаю, надо обриться мне...

Вдруг раздался стук в дверь.

Оба вздрогнули и открыли рты. Занавески на окнах спущены, горела лампа.

— Скорей в подполье!.. Пропал я, пропал... — зашипел покойник. Сердце его стучало, и громко стучали в дверь.

Мигом спустились в подполье; Петр Иваныч залез в мешок и сел в угол.

— Заслони меня чем-нибудь... Вот ящиком... Вот еще мешком с углями...

Вдова вылезла, закрыла люк и, придав лицу скорбное выражение, вся оледеневшая, открыла дверь.

— А-а, — протянула она и сразу обозлилась. — Ульяна Сидоровна!.. И откуда это вы приперлись?

— А уж я думала, тебя зарезал кто, — пробасила, вваливаясь, рыхлая женщина. Дряблое лицо ее жирно и красно, белый чепец на голове взмок, под мышкой огромный веник, в руке чемодан. Она закрестилась на иконы. — Фу-у-у!.. А я из бани к тебе... Дай, думаю, навещу вдовуху, божью сироту. Почитай, с полден пошла, да ишь как... Очередь с версту... Тьфу ты! Что и за жизнь — и когда эти большевичишки сквозь землю-то провалятся...

Женщина грузно шлепнулась на кресло и вытерла рукавом салопа потное свое лицо.

— А с кем же ты чай-то пила? Две чашки-то зачем?.. А табачищем-то как разит. Дым как на пожаре. Неужто куришь?

— Курю, — сказала вдова, и уши ее покраснели. — После покойника осьмушечка осталась... С горя.

— Фу-фу... Да. Посетил господь. С чего это он? Вот те и Петр Иваныч!.. Царство ему небесное... Э-эх!.. Ну-ка, налей чайку.

— Извиняюсь, — растерянно и не без раздраженья начала вдова. Зубы ее выбивали дробь. — Извиняюсь, Ульяна Сидоровна... Я вас никак не могу угостить чаем... Пожалуйте в другой раз, Ульяна Сидоровна.

— Почему это не можешь? — гостья сдернула мокрый чепец, бросила его на стол, и заплывшие жиром красненькие, безбровые глазки ее засверкали.

— Я сейчас спать лягу, Ульяна Сидоровна... Я должна завтра чем свет встать, чтоб к заутрени на кладбище попасть, Ульяна Сидоровна, на панихидку...

— Чудесно, — перебила гостья, — я у тебя ночую. И я с тобой на панихидку пойду.

Хозяйка вся затряслась от злобы. Подбородок ее подался вперед.

— Нет, нет, это невозможно, Ульяна Сидоровна!

— Я пятьдесят пять лет Ульяна Сидоровна! Ошалела, что ли, ты... Как это невозможно? — и стала цедить из чайника в чашку. — Я вот на кушетке и прикорну... Не бойся, не объем, у меня кой-что захвачено... Ой, и пить захотелось, прямо душа горит.

Гостья, кряхтя, нагнулась под стол, вытащила из чемоданчика мочалку с мылом, потом грязное белье, бутылку самогонки, два яйца, завернутую в тряпицу селедку и краюху хлеба.

— Эх, хорошо бы еще луковку.

А в это время покойник прогрыз в мешке дыру и жадно прильнул к ней волосатым, как овчинная рукавица, ухом.

— Погиб... погиб...

Но заскрипел люк, опрокинулся вниз сноп света и перед покойником кто-то задышал.

— Петруша...

Из дыры на мгновенье блеснул колючий глаз, на смену ему подъехал рот.

— Кто? Облава? — прошипел рот и тотчас же уступил место уху.

Раздался чей-то голос и скрип ступеней.

Ухо, глаз, рот упали вниз, покойник весь съежился, вминаясь в угол, и перестал дышать.

— И куда вы лезете?! Куда лезете!.. — раздраженно бросала хозяйка. Но покойник не мог разобрать слов. — Не сидится вверху-то вам!..

Все смолкло.

Ухо, потом глаз подъехали к дыре: тишина и темень.

Петр Иваныч облегченно передохнул, перекрестился: «Кажись, ушли», — и его забила такая сильная дрожь, что мешок подскакивал и мотался во все стороны.

Прошел битый час. Что за оказия, почему не приходит жена, уже не арестовали ль ее? Петр Иваныч вылез из мешка и, расшарашив во тьме руки, тыкался в покрытые плесенью углы.

Он взобрался на лесенку и приник глазом к светлой щели люка. В поле зрения заблестел самовар, чашки, чьи-то толстые красные руки. Ба! Да ведь это бабка Ульяна. И самогонка. Разве войти да покаяться? А вдруг облава, и ежели при бабке сесть в мешок, обязательно выдаст. Нет, надо ждать.

— Пей, — говорит старуха, придвинув чашку хозяйке.

— Не много ли будет, — отвечает та хмельным голосом, — с непривычки-то. Уж очень крепок самогон-то...

— За упокой души... Хоть и не стоит он того... Ну, превечный ему покой, — говорит старуха и пьет.

Петр Иваныч сплюнул и прошипел:

— Чтоб те самой сдохнуть без покаяния!

— А ты не хнычь, — говорит старуха. — Слава богу, что и помер-то. Пьяница, царство ему небесное, был...

— Нет, извиняюсь, он хороший, — возражает вдова и пьет.

— Хороший? Первый поножовщик был покойничек... Первый пьяница. Все певчие пьяницы. Я

сызмальства знаю его. Подзаборник, кабацкая затычка, не тем будь помянут...

Петр Иваныч стиснул зубы и сжал кулак.

«Ну и чертова старушка!» — подумал он. Глаза его горели ненавистью, душа горела жаждой выпить. Взор его был зорок и хищен, как у ястреба.

— Он мне, каторжная душа, семь с полтиной золотом остался должен. Ха, тоже муженек!... Уж раз подох, превечный спокой его головушке, то скажу тебе, сирота. Как-то говорит мне пьяненький: «Ох, говорит, Ульяна Сидоровна! Жена, говорит, мне наскучила, подыщи ты мне вальяжную даму из купеческого или епархиального сословия».

Петр Иваныч ударился теменем в крышку люка и проскорготал:

«Ну, только бы революция окончилась, я тебя, дьявольскую старушку, изувечу».

Хозяйка прижала к глазам платок и горько заплакала. Старуха потянулась к бутылке.

«Ах, выжрет все», — с жадностью подумал усопший. Но старуха, налив две чашки, отставила порожнюю бутылку и вытащила из чемодана другую.

— Давайте скорей ложиться спать, — сквозь слезы сказала хозяйка.

Петр Иваныч замерз, запрокинутая голова его кружилась, затекла спина. И ужасно хотелось выпить самогону. Ну, положеньице! Черт его сунул умереть! Сидя на ступеньке под самым потолком, он засунул руки в рукава, клюнул раз-другой носом, задремал.

А когда открыл глаза, было тихо. Покойник приподнял крышку люка. Тишина, горит лампадка. Он просунул в комнату свою рыжую встрепанную голову и осторожно закорючил ногу, чтоб выбраться наверх.

Но вдруг душераздирающий визг хлестнул его колом. С хриплым лаем, визгом, криком мимо него толстобоко протряслась старуха.

И все сорвалось с мест и понеслось: стол, самовар, окошки...

Старуха мчалась среди лунной ночи вскачь, за ней — мертвец. Старуха ухнула, упала. С маху на нее упал мертвец.

— Ульяна Сидоровна! Душечка!.. Это я — Тарелкин... Самогону, дайте самогону!..

Старуха рявкнула и заорала, и с нею заорал весь свет. Покойник ткнул кулаком в пьяную старушью пасть.

— Ульяна Сидоровна!.. Ангел... — и сгреб старуху за глотку.

Старуха вскинула к небу толстые ноги, вытянулась вся и захрипела.

«Бежать... Скорей...»

Мертвец метнулся и — по воздуху, как птица. И вслед свистки, ругань, крики:

— Держи, держи!..

Все опрокинулось и завертелось: капуста, гряды, глазастый месяц, орущая толпа людей — и красный конь пронесся с хохотом.

Петр Иваныч в сенцах. Схватил тяжелый топор-колун и притаился: пропадать так пропадать.

И первому — раз по голове, другому — раз... Свалили, вяжут.

— Ребята, к стене его!

— Как, без суда?

— Без суда... Он мертвый...

Морды, морды, морды, тыща ружей в грудь.

— Пли!! — залп.

С треском обломилась гнилая ступенька, на которой кошмарно спал Петр Иваныч, он кувырнулся в пустой, из-под капусты, чан, враз проснулся и от страшного испуга по-настоящему мгновенно умер.

Посвящается
Льву Рудольфовичу
Когану

СПЕКТАКЛЬ В СЕЛЕ ОГРЫЗОВЕ

Военная страда окончена, и красноармеец Павел Мохов опять в родном своем селе Огрызове.

Была весенняя пора, все цвело и зеленело, целыми днями тюрликали в выси жаворонки, а по ночам пели соловьи. Навозница кончилась, до сенокоса еще далече, крестьяне отдыхали, справлялись солнечные праздники: Николай-вешний, троица, духов день — с молебнами, трезвоном колоколов, крестными ходами, бесшабашной гульбой и мордобоем.

— Вот черти! Живут, как самая отсталая национальность, — возмущался Павел Мохов. — Ежели с птичьего полета поглядеть, то революции-то здесь и не ночевало никакой. Позор!

И недолго думая образовал театральный кружок-ячейку.

Народ ничего не понимал, в члены записывались очень мало. А когда дьячок пустил для озорства слух, что записавшимся будут селедки выдавать, в ячейку привалило все село, — даже древние старцы и старухи.

Председатель Павел Мохов рассмеялся и колченогой старушонке Секлетинье задал такой вопрос:

— Хорошо, я тебя, бабушка, зарегистрирую. Вот тебе роль, играй первую любовницу. Можешь?

— Играй сам, толсторожий дурак, — зашамкала бабка, приседая на кривую ногу. — Подай мои селедки, что по закону причитается!.. Три штуки.

Вообще было много хлопот с кружком. Потом наладилось. Через неделю разыграли в школе веселый фарс, крестьяне хохотали, просили еще сыграть, сулили платить яйцами, молоком, сметаной.

Только вот беда: не было пьес. Написали в уездный город. Выслали «Юлия Цезаря». Когда подсчитали действующих лиц — сорок человек — без малого все село должно играть, а кто же смотреть-то будет?

Тогда Павел Мохов и другой красноармеец, Степочкин, решили состряпать пьесу самолично. Долго ли? Раз плюнуть! На подмогу был приглашен новоиспеченный учитель Митрий Митрич, из бывших духовных портных.

Все трое, чтобы никто не мешал, после обеда заперлись в прокопченной бане, захватив с собой четверть самогону. К утру пьеса была окончена. В сущности, сочинял-то Мохов, а те двое — так себе. Осунувшаяся, словно после изнурительной болезни, вся троица вылезла на воздух и, пошатываясь, поплелась в великой радости. Лица у всех были в саже.

— Любящая мамаша, — обратился Павел к своей матери совсем по-благородному, — угостите автора чайком. Я теперь автор, сочинил сильно действующую трагедию под заглавием: «Удар пролетарской революции, или Несчастная невеста Аннушка». Пьеса со стрельбой... Поплачете и посмеетесь.

Красотка Таня ни за что не хотела участвовать в спектакле. Очень надо! Павел Мохов ей даже совсем не нравится. Пусть Павел Мохов много-то, пожалуйста, и не воображает о себе. Но Павел Мохов всячески охаживал Таню со всех сторон. Нет, не поддается.

Ну, ладно! Вот что-то она скажет, когда его пьесу поглядит.

Репетиция шла за репетицией. Пьеса подверглась коренной переработке и получила новое название: «Безвинная смерть Аннушки, или Буржуй в бутылке».

Всю последнюю неделю село жило под знаком «безвинной смерти Аннушки»: девицы воровали у родителей холсты для декораций, парни — конопляное масло для малярных работ, кузнец Филат украл в совхозе белил и красок.

Неутомимый Павел изготовлял огромную, склеенную из двадцати листов, плакат-афишу: он раскинул ее на полу в своей избе и целый день, пыхтя, ползал на брюхе, печатал всеми красками, подчеркивал.

Особенно кудряво было выведено: «Сочинил коллективный автор Павел Терентьевич Мохов, красный пулеметчик». Потом следовало предостережение: «Потому что в трагедии произойдет стрельба холостыми зарядами, то прошу в передних рядах, так и в самых задних рядах никаких паник не подымать в упреждение ходынки». И в конце: «Начало в шесть часов по старому стилю, а по новому стилю на три часа вперед. С почтением автор Мохов». И еще три отдельных плаката: «Прошу на пол не харкать». «Во время действия посторонних разговоров прошу не позволять». «В антрактах матерно прошу не выражаться».

В конце каждого плаката было: «С почтением автор Мохов».

После генеральной репетиции Мохов сказал:

— Успех обеспечен, товарищи! Будет сногсшибательно.

Мимо Таниной избы прошел подбоченившись и лихо заломив с красной звездой картуз.

А на другой день уехал в город, чтоб пригласить члена уездного политпросвета на показательный спектакль.

В день спектакля публика густо стала подходить из ближних деревень в село Огрызово. С любопытством рассматривали плакат-афишу, укрепленную на воротах школы.

В школе едва-едва могло уместиться двести чело-

век, народу же набралось с полтысячи. Спозаранку, часов с трех, зал был набит битком. Публика плевала на пол, выражалась, плакат же «Прошу не курить, с почтением автор Мохов» был сорван и пошел на козьи ножки. В комнате от табачного дыма сизо. День был знойный, душный. С беременной теткой Матреной случился родимчик: заайкала, — и ее унесли...

В пять часов Павел Мохов стал наводить порядки. Весь мокрый, он стоял вместе с милицейским на крыльце и осаживал напиравший народ.

— Нельзя, товарищи, нельзя! Выше комплекта, — взволнованно кричал он. — Ведь ежели б стены были резиновые, можно раздаться, но они, к великому сожалению, деревянные.

— Допусти, Паша!.. Ну не будь сукиным сыном, допусти. Мы где ни то с краешку... На яичек... На маслица.

— В антрахту залезем, братцы, не горюй, — утешались не попавшие на зрелище крестьяне, — всех за шиворот повыдергаем! Не век же им смотреть! Половину они посмотрят, а другую половину мы.

Около шести часов прибыл со станции представитель уездного политпросвета, светловолосый красивый юноша, товарищ Васютин. Павел Мохов был крайне удивлен: ведь обещался приехать бородатый, а тут — здравствуйте пожалуйста! Однако Павел дисциплину понимает тонко: рассыпался в любезностях, провел его в свою избу, сдал на попеченье матери, а сам — скорей в школу и подал первый звонок. Публика отхаркнулась, высморкалась, смолкла и приготовилась смотреть.

Товарищ Васютин отмывал дорожную пыль, прихорашивался перед зеркалом, прыскал себя духами. Мать Павла усердно помогала ему переодеваться. Она очень удивилась, что гость без креста и натягивает белые штаны.

Франтом, с тросточкой, попыхивая сигареткой, краснощекий товарищ Васютин проследовал на спек-

такль. В кармане его щегольского пиджака лежали две ватрушки, засунутые матерью Павла.

— Промнешься, соколик, дак пожуешь.

Второй звонок подавать медлили.

В артистической комнате содом. Павел Мохов рвал и метал. Доставалось молодому кузнецу Филату. Филат должен, между прочим, изображать за сценой крики птиц, животных и плач ребенка — все это Павел ввел «для натуральности». На репетиции выходило бесподобно, а вот вчера кузнец приналег после бани на ледяной квас и охрип, — получается черт знает что: петух мычит коровой, а ребенок плачет так, что испугается медведь.

— Тьфу! Фефела... — выразительно плюнул Павел и, стрельнув живыми глазами, крикнул: — А где же суфлер? Живо за суфлером! Ну!

Меж тем стрелка подходила к семи часам. То здесь, то там приподымались девушки, с любопытством оглядывая городского франта.

— Ну и пригожий... Ах, патретик городской...

Таня два раза мимо проплыла, наконец насмелилась:

— Здравствуйте, товарищ! — И протянула ему влажную от пота руку. Очень высокая и полная, она в белом платье, в белых туфлях и чулках.

— Пойдемте, барышня, освежимся! — и Васютин взял ее под руку. Рука у Тани горячая, мясистая.

Девушки завздыхали, завозились, парни стали крякать и подкашливать, кто-то даже свистнул.

Милицейский и шустрый паренек Офимьюшкин Ванятка тем временем разыскивали по всему селу суфлера Федотыча.

— Ужасти в нашем месте скука какая. Одна необразованность, — вздыхала Таня, помахивая веером на себя и на кавалера.

— А вы что же, в городе жили?

— Так точно. В Ярославле. У одной барыни паршивой служила по глупости, у буржуазки. Теперь я буржуев презираю. Подруг хороших здесь тоже нет. Например, все девушки наши боятся гражданских браков. А вы, товарищ, женились когда-нибудь

гражданским браком? — И полные малиновые губы Тани чуть раздвинулись в улыбку.

— Как вам сказать? И да, и нет... Случалось, — весело засмеялся Васютин, и рука его не стерпела: — Этакая вы пышка, Танечка...

— Ах, право... мне стыдно. Какой вы, право, комплиментщик!

Гость и Таня торопливо шли по огороду вдоль цветущих гряд.

Вечер был удивительно тих. Солнце садилось. Кругом ни души, только кошка играла с котятами под березкой. Сквозь маленькое оконце овина, рассекая теплый полумрак, тянулся сноп света. Он золотил пучки сложенной в углу соломы.

В овине пахло хлебной пылью, мышами и гнездами ласточек.

— Товарищи! — появился перед занавесом Павел Мохов. — Внимание, внимание! По независимым от публики обстоятельствам, товарищи, наш суфлер неизвестно где... Так что его невозможно, сволочь такую, отыскать... То спектакль, товарищи, начнется по новому стилю!

А ему навстречу:

— По новому так по новому!.. Начинай скорее, Пашка!.. Другие не жравши с утра сидят... Животы подвело!

И еще кричали:

— Это мошенство! Подавай творог! Подавай яйца назад!

Но Павел не слышал. Обложив милицейского и Офимьюшкина Ванятку, что не могли найти суфлера, он самолично помчался отыскивать его.

Суфлер — старый солдат Федотыч, двоюродный дядя Павла Мохова. Он хороший чтец по покойникам и большой любитель в пьяном виде подраться: все передние зубы у него выбиты. Но, несмотря на это, он суфлер отменный и находчивый: чуть оплошай актер, он сам начинает выкрикивать нужные слова, ловко подделывая голос.

Павел подбежал к его избе. Так и есть — замок. Он к соседям, он в сарай, он в баню...

И весь яростно затрясся: Федотыч лежал на спине и, высоко задрав ноги, хвостал их веником, голова его густо намылена, он был похож на жирную, в белом чепчике, старуху.

— Зарезал ты меня! Зарезал!.. — затопал, завизжал Павел Мохов.

Веник жарко жихал и шелестел, как шелк.

— Павлуха, ты? Скидавай скорей портки да рубаху! Жару много, брат!..

— Спектакль! Старый идиот! Спектакль ведь!

— Какой спектакль? Ты чего мелешь-то? У нас какой день-то седни? — и вдруг вскочил. — Ах-ах-ах...

— Запарился?

Федотыч нырнул головой в рубаху.

— Башку-то ополосни! В мыле.

Задорно прогремел звонок. Сцена открылась, и вместе с нею открылись все до единого рты зрителей. На сцену вышла высоченная, жирная попадья.

Ни одна девушка не пожелала играть старуху. Взялся кузнец Филат. Лицо у него длинное, как у коня. На голову он взгромоздил шляпищу: впереди сидит, растопырив крылья, ворона, кругом — непролазные кусты цветов; на носу же самодельные очки, как колеса от телеги. Он очень высок и тощ, но там, где нужно, он столько натолкал сдобы, что капот супруги местного торговца, женщины очень низенькой, трещал по швам и едва хватал Филату до колен; из-под оборок торчали сухие, в обмотках, ноги, которыми очень грациозно, вперeплет и с вывертом, переступал Филат.

— Африканская свиньища на ходулях, — шепнул товарищ Васютин Тане, жарко дышавшей ему в лицо.

Попадья, виляя задом, мелко засеменила к шкапу, достала четверть и, одну за другой, выпила три рюмки.

— Вот так хлещет! — завистливо кто-то крикнул в задних рядах.

— Угости-ка нас...

— Мамаша! Мамаша! — выскочила в белом переднике ее дочь Аннушка. — Как вам не стыдно жрать водку?!

Та откашлялась и сказала сиплым басом:

— Дитя мое, тебе нет никакого дела, что касаемо поведения своей собственной матери.

В публике послышались смешки: вот так благородная госпожа, вот так голосочек... А Павел Мохов за кулисами, оглушенный басом попадьи, заткнул уши и весь от злости позеленел.

— Ах, так? — звонко возразила Аннушка. — Нынче, мамаша, равноправие. Я из вашего кутейницкого класса уйду в пролетариат... Я — коммунистка. Знайте!

— Чего, что?.. Коммунистка?! А жених? Такой благородный человек... Я тебе дам коммунистку! — загремела, как из пушки, попадья и забегала по сцене; ворона и кусты тряслись...

Павел Мохов тоже с места на место перебегал за кулисами и желчно, через щели, шипел Филату:

— Что ты, харя, таким быком ревешь. Тоньше, тоньше!.. Ведь ты женщина.

Этот злобный окрик сразу сбил Филата: слова пьесы выскочили из его памяти, — и что подавал суфлер, летело мимо ушей, в пространство.

Растерялась и Аннушка.

— Уйду, уйду, — повизгивала она, и глаза ее, как магнит в железо, впились в беззубый рот суфлера Федотыча.

Попадья крякнула для прочистки глотки и, едва поймав реплику суфлера, еще пуще ухнула раскатистой октавой:

— Стыдись, о дочь моя! Ничтожество — твое имя!

— Позор, позор! Паршивый черт!.. — громко зашумел из-за кулис сквозь щель Павел Мохов. — Я тебе в морду дам!

— Позор, позор! — всплеснула руками Аннушка и вся в слезах шмыгнула за кулисы.

— Позор! Паршивый черт! Я тебе в морду дам! — загремела и попадья-Филат, полагая, что эти слова подсказаны ему суфлером.

Тогда Федотыч грохнул в своей будке кулаком, презрительно плюнул.

— Тоже ахтеры называются!..

И вдруг, к удивлению публики, невидимкой зазвучал со сцены его пискливый женский голос:

— О дочь моя... Я тебя великодушно прощаю, — фистулой выговаривал Федотыч. — Иди ко мне, я прижму тебя к своей собственной груди. Вот так, господь тебя благословит, — и сердито зашипел: — Где Аннушка? Аннушку сюда, черти!..

Аннушку выбросили из-за кулис на кулаках. Семеня ногами и горестно восклицая:

— Я ж говорю вам, что не знаю роли... Я сбилась, сбилась... — она подбежала к попадье, которая безмолвно стояла ступой, обхватив живот.

— Благословляй, дьявол! — треснул в пол кулаком суфлер.

— Господь тебя благослови! — как протодьякон, пробасила попадья.

Павел Мохов метался за кулисами.

— Занавес!.. К черту Филата!.. Ах, дьяволы. Погубили пьесу. Снова!

Но положенье спас буржуй-жених. Он роль знал на зубок, на сцену вышел игриво; попадья и Аннушка вновь овладели собой; Федотыч суфлировал на весь зал, как сто гусей, и на радостях суетливо глотал самогонку: из суфлерской будки несло сивухой.

Потом вошел маленький бородатый священник в рясе и скуфье набекрень, отец Аннушки.

— Поп, поп! — весело зашумели в зале. — Глянь-ка, братцы! Кутью продергивают.

Несчастную Аннушку стали пропивать: жених с попом устраивают кутеж, гармошка, плясы, попадья в присядку чешет трепака, подушки с груди переползают на живот. Аннушка плачет. Зрителям любо: ай-люли; хлопают в ладоши — «биц-биц-биц!». Аннушка не любит жениха, плачет пуще. Но вот врывается в кожаной куртке рабочий-коммунист:

— Я спасу тебя!

— Милый, милый! — бросается ему на шею Аннушка.

Жених лезет драться, но коммунист выхватывает револьвер:

— Она моя! Смерть буржуям!.. К стенке!

Поп с женихом в страхе ползут под кровать. Занавес. Хлопки. Восторженные крики: «Биц-биц-биц!»

Перерыв длился полтора часа. Стемнело. Зажгли две керосиновые коптилки. Мрак наполовину поседел.

У актеров — как в сумасшедшем доме: кто плачет, кто смеется, кто зубрит роль.

— Глотай сырьем, — лечит Федотыч голос кузнеца. — Видишь, у тебя кадык завалило.

Кузнец яйцо за яйцом вынимает из лукошка, целый десяток проглотил, а толку нет.

— Не могу больше, назад лезут, проклятые... — хрипит он.

— К черту! — волнуется Павел Мохов. — Где это ты видел, чтобы так попадья говорила? Банщик какой-то, а не попадья!

— Знай глотай... Обмякнет, — бормочет Федотыч. Бритое, жирное лицо его красно и мокро, словно обваренное кипятком. Самогонка в бутылке быстро убывает.

Из зала густо выходила на свежий воздух публика. Навстречу протискивались новые. Косяки дверей трещали. С треском отрывались пуговицы от рубах, от пиджаков. Иные тащили выше голов приподнятые стулья, чтобы не потерять место. «Налегай, ребята, налегай, жми сок из баб!»

Костомятка была и в коридорчике. Удалей всех продирался толстобокий попович в очках. Он яростно тыкал локтями и кулаками в животы, в бока, в спины, деликатно приговаривая: «будьте добры» да «будьте добры!». Старому Емеле, до ужасу боявшемуся мышей, подсунули в карман дохлого мыша, а как вышли, попросили на понюшку табаку.

Прозвенел звонок. Народ повалил обратно.

Дядя Антип, из соседней деревни, постоял в раздумье и, когда улица обезлюдела, махнул рукой:

— А ну их к ляду и с камедью-то... — закинул на загорбок казенный стул и, озираючись, пошагал, благословясь, домой. — Ужо в воскресенье еще приду. Авось второй стульчик перепадет на бедность на мою...

— Внимание, товарищи, внимание! — надсадно швырял в шумливый зал Павел Мохов. — По независимым от публики обстоятельствам, товарищи, попадья была высокая, теперь станет маленькой. Поп же, то есть ее муж, как раз наоборот, сделается очень высокий. Но это не смущайтесь. Это перетрубация в ролях, и больше ничего. Даже лучше! Итак, я подаю, товарищи, третий и самый последний звонок!

Занавес отдернули, и зал вытаращил полусонные глаза.

Вот выплыла попадья, по одежде точь-в-точь та же, только на коротеньких ножках и пищит, а вслед за нею — высоченный поп, тот же самый — грива, борода; только ряса по колено и ходули-ноги длинные, в обмотках.

В публике смех, возгласы:

— Пошто попадье ноги обрубили?

— А ну-ка, бабушка, спляши!

— Эй, полтора попа!!

Изрядно наспиртовавшийся Федотыч едва залез в будку, но суфлировал на удивленье ясно и отчетливо: вся публика, даже та, что в коридоре, имела удовольствие слушать зараз две пьесы — одну из будки, другую от действующих лиц.

Жировушка Федотыча — в черепке бараний жир с паклей — чадила суфлеру в самый нос.

Действие на сцене как по маслу. Буржуя-жениха прогнали, в доме водворился коммунист. Аннушка родила ребенка, который лежит в люльке и плачет. Люльку качает поп (кузнец Филат).

Он говорит:

— Это ребенок коммунистический, — и поет басом колыбельную:

Баю-баюшки-баю,
Коммунистов признаю...
Ты лежи, лежи, лежи,
И ногами не дрожи...

— Достукалась, притащила ребеночка, — злобствует попадья. — А коммунистишку-то твоего опять на войну гонят.

— О, горе мне, горе!.. — восклицает Аннушка и подсаживается к люльке, чтобы произнести над ребенком длинный монолог. Она роль знает плохо, влипла глазами в будку, ждет подсказа, в будке чернохвостый огонек чадит, и Федотыч — что за диво — наморщил нос и весь оскалился.

— О, горе мне, горе!.. — взволнованно повторяет Аннушка.

Вдруг в будке захрипело, зафыркало и на весь зал раздалось: «Чччих!» — и огонек погас.

Федотыч опять захрипел, опять чихнул и крикнул:

— Эй, Пашка! Дай-ка скорей огонька... У меня жирову... А-п-чих!.. жирову́шка погасла.

За сценой беготня, шепот, перебранка: все спички вышли, зажигалка не работает.

— О, горе мне, горе!.. — безнадежно стонет Аннушка, забыв дальнейшие слова.

— Погоди ты... Го-о-ре!.. — кряхтит, вылезая из будки, пьяный Федотыч. — У тебя горе, а у меня вдвое. Видишь, жирову́шка погасла. Нет ли, братцы, серянок у кого?

Публика с веселостью и смехом:

— На, дедка! На-на-на...

И снова как по маслу.

Аннушка так натурально убивалась над сделанным из тряпья ребенком и так трогательно говорила, что произвела на зрителей впечатление сильнейшее: бабы сморкались, мужики сопели, как верблюды.

Офимьюшкин Ванятка подрядился вместо Филата за три яйца плакать по-ребячьи. Он плакал за кулисами звонко, с чувством, жалобно. Какой-то дядя даже сердобольно крикнул Аннушке:

— Дай титьку младенцу-то!

И баба:

— Поди упакался ребенчишко-т... Перемени, Аннушка, ему пеленки-то.

Словом, действие закончилось замечательно. Все были довольны, кроме Павла Мохова. Он, скрипя зубами, тряс за грудки пьяного Федотыча:

— Дядя ты мне или последний сукин сын?! Неужто не мог после-то нажраться? Такую, дьявол старый, устроил полемику со своей жиро̀вушкой...

По селу пели третьи петухи.

За Таней и Васютиным, опять шагавшими вдоль цветущих грядок, шли в отдалении парни с гармошкой и орали какую-то частушку, для Тани очень оскорбительную.

— Эй, ахтеры! — кричали в зале. — Работайте поскорейча... Ведь утро скоро. Которые уж спят давно!

Действительно, на окнах и вдоль стен под окнами сидели и лежали спящие тела.

Когда открыли сцену, наступившую густую тишину толок и встряхивал нечеловеческий храп. Это дед Андрон, согнувшись в три погибели, упер лысину в широкую поясницу сидевшей впереди ядреной бабы, пускал слюни и храпел. Другие спящие с усердием подхватывали.

Настроение актеров было приподнято: это действие очень веселое — пляски, песни, хоровод, а кончается убийством Аннушки. Мерзавец буржуй-жених, которого зарезали в прошлом действии, должен внезапно появиться и смертоносной пулей сразить несчастную Аннушку. Это гвоздь пьесы. Это должно потрясти зрителей. Недаром Павел Мохов с такой загадочно-торжествующей улыбкой сыплет в медвежачье ружье здоровенный заряд пороху: грохнет, как из пушки.

Но если б Павел Мохов видел, каким пожаром горят глаза коварной Тани и с какой страстью стучит в ее груди сердце, его улыбка вмиг уступила бы место бешеной ревности.

Парочка тесно сидела плечо в плечо, от товарища Васютина пахло духами и табаком, от красотки Тани — хлебной пылью, мышами и гнездами ласточек.

Декорация — елки и сосны, берег реки, Аннушка с ребенком сидит на камне.

— Какой хороший вечер, — говорит она. — Спи, мой маленький, спи. Чу, коровушка мычит. (За кулисами мычит корова.) Чу, собачка взлаяла. (Лает собака.) А как птички-то чудесно распевают! Чу, соловей... (Поет соловей.)

Яйца, видимо, подействовали: Филат на все лады заливался за сценой и соловьем, и собачкой, и коровушкой.

Появляются девушки, парни. Начинают хоровод. Свистит соловей, крякают утки, квакают лягушки, мычит корова.

— Дайте и мне, подруженьки, посмотреть на вашу веселость... — сквозь слезы говорит Аннушка. — Папаша и мамаша выгнали меня из дому с несчастным дитем. А супруг мой, коммунист, убит белыми злодеями на всех фронтах. Которые сутки я голодная иду, куда глаза глядят и не глядят.

Аннушка горько всхлипывает. Ее утешают, ласкают ребенка. За кулисами ржет конь, мяукает кошка, клохчут курицы, хрюкает свинья.

— Ах, ах! Возвратите мне мои счастливые денечки!

Зрители вздыхают. Храпенье во всех концах крепнет. Давно уснувший в будке Федотыч тоже присоединил свой гнусавый храп. Лысина деда Андрона съехала с теткиной поясницы в пышный зад.

Вдруг из-за кустов выскочил буржуй-жених, в руках деревянный пистолет.

Наступила трагическая минута.

Павел Мохов взвел за кулисами курок.

— Ах, вот где моя изменщица! — И жених кинулся к Аннушке. — Вон! Всех перестреляю!

Визготня, топот, гвалт — и сцена вмиг пуста.

Лицо буржуя красное, осатанелое. Он схватил ре-

бенка, ударил его головой об пол и швырнул в реку.

Аннушка оцепенела, и весь зал оцепенел.

— Ну-с! — крикнул жених и дернул ее за руку.

Павел Мохов еще подбавил пороху и выставил в цель дуло своего самопала. Он в пьесе не участвовал, он к сцене совершенно непригоден: терял себя, трясся, бормотал глупости, а театр ужасно любил. Поэтому на спектаклях в городе ему обычно поручалось стрелять за кулисами. И уж всегда, бывало, грохнет момент в момент.

Здесь он точно так же ограничил себя этой на взгляд малой, но очень ответственной ролью.

— Ведь мы же с папочкой и мамочкой полагали, что вы зарезаны, — вся трепеща, сказала Аннушка буржую-жениху.

— Ничего подобного!.. Ну, паскуда, коммунистка, молись богу. Умри, несчастная! — И жених направил пистолет в грудь Аннушки.

— Ах, прощай, белый свет!.. — закачалась Аннушка и оглянулась назад, куда упасть.

Павел Мохов сладострастно спустил курок, но самопал дал осечку.

Зал разинул рот и перестал дышать. За сценой шипели в уши Мохова:

— Вали-вали-вали еще, Пашка, вали...

— Умри, несчастная!! Во второй раз говорю! — свирепо крикнул жених.

— Ах, прощай, белый свет!.. — отчаянно простонала Аннушка и закачалась.

Павел Мохов трясущейся рукой спустил курок, но самопал опять дал осечку. Злобно ругаясь, Павел выбрал из проржавленных пистонов самый свежий.

Жених умоляюще взглянул на кулисы и, покрутив над головой пистолет, вновь направил его в грудь донельзя смутившейся Аннушки.

— Умри, несчастная! Последний раз говорю тебе!..

Кто-то крикнул в зале:

— Чего ж она, дура, не умирает-то!

— Ах, прощай, белый свет!.. — третий раз просто-

нала Аннушка, и самопал за кулисами третий раз дал осечку.

Дыбом у Павла Мохова поднялись волосы, он заскорготал зубами. Жених бросил свой деревянный пистолет, крикнул: «Тьфу!» — и нырнул за кулисы.

Аннушка же совершенно не знала, что ей предпринять, — наконец закачалась и без всякого выстрела упала.

— Занавес! Занавес давай! — скандал на всю губернию, суетились за сценой.

Но в это время, как гром, тарарахнул выстрел.

Весь зал подпрыгнул, ахнул.

Храпевший суфлер Федотыч тоже подпрыгнул и, подняв на голове будку, побежал с нею по сцене. С окон посыпались на пол спящие, а те, что храпели на полу, вскочили, опять упали — и поползли, ничего не соображая.

Занавес плавно стал задергиваться.

— Товарищи! — быстро поднялся на стул Васютин. — Я член репертуарной коллегии драматической секции первого сектора уездного культагитпросвета...

Мужики злорадно засмеялись. Раздались выкрики:

— Жалаим!

— Толкуй по-хрещеному!.. По-русски...

— Товарищи! Главный дом соседнего с вами совхоза, бывшие хоромы помещика, обращается в Народный дом для разумных развлечений. Я имею бумагу. Вот она. Советская власть охотно идет навстречу вашим духовным запросам. А теперь кричите за мной: «Автора, автора!»

И зал, ничего не понимая, загремел за товарищем Васютиным.

Автор же, за кулисами, упав головой на стол, плакал.

Васютин пошел за сцену и в недоумении остановился.

— Товарищ Мохов! Как вам не стыдно? Вас вызывает публика. Слышите? Ну, пойдемте скорей.

Павел Мохов вытер кулаками глаза и уже ничего не мог понять, что с ним происходило. Куда-то шел,

где-то остановился. Из полумрака впились в него сотни горящих глаз.

А Федотыч меж тем, пошатываясь, совался носом по сцене, душа горела завести скандал.

— Товарищи! У вас теперь свой Народный дом, свой драматический кружок. А кто организовал его? Да конечно же бывший красноармеец товарищ Мохов. Ежели спектакль прошел и не совсем гладко, это ничего, ведь это ж первый опыт, товарищи. Вот пред вами тот самый автор, сочинитель пьесы, которой вы только что любовались... Почтим его. Да здравствует талантливый Павел Мохов! Браво! Браво! — захлопал Васютин в ладоши, за ним — сцена, за ней — весь зал.

— Бра-в-во! Биц-биц-биц! Браво! Молодец, Пашка! Ничего... Жалаим... Павел, говори! Чего молчишь?..

— Почтим от всех присутствующих! Ура!! — надрывался Васютин.

Федотыч плюнул в кулак и, пошатываясь, подкрался сзади к своему племяннику.

Павел Мохов взглянул орлом на Таню, взглянул на окно, за которым розовело утро, и в каком-то телячьем восторге, захлебываясь, начал речь:

— Товарищи! Да, я действительно есть коллективный сочинитель... — но вдруг от крепкого удара по затылку слетел с ног.

— Я те дам, как дядю за грудки брать! — крутя кулаком, дико хрипел над ним Федотыч. — Я те почту от всех присутствующих!..

На следующий день товарищ Васютин уехал в город. Вместе с ним исчезла и красотка Таня. Она сказала дома, что едет в город на фабрику, будет там работать и учиться на курсах. В школе же после «Безвинной смерти Аннушки» недосчитались семи казенных стульев.

Павел Мохов от превратного удара судьбы — и спектакль не удался и Таню проворонил — долго грустил.

Его утешал пьяненький Федотыч.

— Ты, племяш, не серчай, что я те по шее приурезал, — шамкал он. — А вот ежели такие теятеры будем часто представлять, у нас не останется ни небели, ни девок.

— Ничего, дядя, все наладится... Вот только ученья во мне недостает, это факт. Поеду-ка я за просвещением в город. А как вернусь, уж вот спектакль загнем, уж вот загнем!.. И обязательно библиотеку устрою, чтоб наше Огрызово село было передовым...

И Павел Мохов направился в город на курсы избачей.

ШЕРЛОК ХОЛМС—ИВАН ПУЗИКОВ

1. СЕНЦО

День был душный, жаркий. К вечеру соберется гроза. Недаром деревья так задумчивы, так настороженны.

В ограду бывшего имения господ Павлухиных — ныне совхоз «Красная звезда» — въехал на сивой лошаденке кривобородый, с подвязанной скулой, рыжий мужичок в лаптях. Соскочил с телеги, походил с кнутом от дома к дому, — пусто, на работе все.

— Тебе кого? — выглянула из окна курчавая, цыганского типа голова.

— Да мне бы Анисима Федотыча, управляющего, — ответил мужичок, снимая с головы войлочную шляпу-грешневик.

— Я самый и есть, — сказала голова.

— Приятно видеть вашу милость. Желательно нам сенца возик... Потому как понаслышались мы...

— Здесь не продается. Это учреждение казенное.

— Да ты чего!.. Да ведь Серьгухе нашему вчерась продал, сельцовскому. Хы, казенное... Вот то и хорошо! Чудак человек!

— Зайди. Шагай сюда.

А в ночь действительно собралась гроза. Тьма окутала всю землю, освежающий дождь сразу очистил воздух, небо ежеминутно разевало огненную пасть,

чтоб вмиг пожрать всю тьму, но каждый раз давилось, кашляло и рычало злобными раскатами. Все живое залезло в избы, в норы, в гнезда. А вот вору такая ночь — лафа.

Наутро — хвать, батюшки мои! — забегали в совхозе: какой-то негодяй похитил в ночь все металлические части самолучшей молотилки.

Управляющий Анисим Федотыч рвет и мечет: ведь на днях комиссия из городу приедет инвентарь ревизовать, да и молотьба недели через три. Что делать?

Сбились с ног, искавши. В ближней деревне Рукохватовой у подозрительных людей пошарили, — конечно, не нашли.

Анисим Федотыч, природный охотник и собачник, даже привлек к розыскам свою сучку Альфу. Но сучка, обнюхав молотилку, привела всю компанию из понятых и милицейских к избе красивой солдатки Олимпиады, к которой тайно похаживал управляющий. Кончилось веселым смехом всей компании и конфузом Анисима Федотыча. Он сучку тут же выдрал.

Совхозский писарь Ванчуков сказал:

— Я бы присоветовал вам обратиться к сыщику Ивану Пузикову. Он, по слухам, человек дошлый, знаменитый.

— А ну их к черту, этих нынешних... — возразил управляющий. — Каторжник бывший какой-нибудь.

— Напрасно. — Писарь стал рассказывать совхозу о подвигах сыщика.

В конце концов Анисим Федотыч согласился.

— Поезжай.

Писарь оседлал каурку — да на железнодорожную станцию, что за двадцать верст была.

— Ладно, разыщу, денька через три ждите, — только и сказал Иван Пузиков, агент «угрозы», то есть уголовного розыска.

И действительно, в конце третьих суток — уж время ужинать — взял да и явился в совхоз «Красная звезда» сам-друг с товарищем Алехиным.

Посмотреть — юнцы. Особенно Алехин. Правда, Пузиков важность напускает: между строгих бровей глубокая складка; правда, и глаза у него стальные, взгляд холодный, твердый, и рот прямой, с заглотом, а подбородок крепко выпячен. Вообще Пузиков — парень ого-го. То ли двадцать лет ему, то ли пятьдесят.

Осмотрел, обнюхал их Анисим Федотыч со всех сторон, — да-а, народ занятный.

— Ну что ж, товарищи, пойдемте-ка. Темнеет.

— Успеем, куда торопиться, — сказал Пузиков. — А вот чайку хорошо бы хлебнуть.

— Ежели ваше усмотренье такое, то чаю можно... — недовольно проговорил совхоз. — А на мой взгляд, надо по горячим следам.

— Ерунда, папаша! — ответил Иван Пузиков. — И не таких дураков лавливали.

Чайку угроза любила попить. А тут варенье да пирог с мясом, с яйцами.

За чаем Пузиков завел рассказ. Управляющему и неймется, и послушать хочется — очень интересно угроза говорит.

— А почему я по этой части? Через книжку, через Шерлока Холмса. Тятька меня к сапожнику определил в Питер. Я ведь из соседней волости родом-то, мужик. Пошлет, бывало, хозяин за винишком по пьяному делу — ну, двугривенный и зажмешь. Глядишь, на две книжки есть. Эх, занятно, дьявол те возьми. Все мечтал, как бы это сыщиком стать; мечтал-мечтал, да до революции и домечтался. Теперь я сам русский Шерлок Холмс, Иван Пузиков.

— Слышал, слышал, — заулыбался во все цыганское лицо совхоз, и щеки его заблестели. — Я, конечно, вас, товарищи, и винцом бы угостил, да боюсь — время упустим. Уж после вот. По стакашку.

— Ерунда, папаша, злодей не уйдет. А выпить не грех.

— Слышал, слышал, — пуще заулыбался совхоз, налил всем вина, выпили. — Слышал, как самогонщиков ловите.

— Всяких, папаша, всяких, — вдруг нахмурился Иван Пузиков и почему-то дернул себя за льняной чуб. — Да толку мало, вот беда.

— Почему?

— Город выпускает. Мы ловим, а город выпускает, сто чертей. Ведь этак и самого могут ухлопать. У меня и теперь несколько ордеров на арест. Вот они. — Иван Пузиков вытащил из кармана пачку желтеньких бумажек и крутнул ими под самым носом управляющего.

— Ха! Вот какие дела! — воскликнул тот. — А по-моему, мазуриков щадить нечего. Иначе пропадем.

— Кто их щадит! У меня все на учете, папаша. Я все знаю. Например, в одном совхозе, и не так чтоб далеко от вас, управляющий самогон приготовляет на продажу. Два завода у него.

— Кто такой?

— Секрет, папаша. А в другом совхозе хлеб продает, овец, телят. А в третьем — сено.

— Се-е-но! — управляющий уставился в ледяные глаза угрозы, и по его спине пошел мороз.

— Да, папаша, сено.

— В тюрьму их, подлецов!

— Все там будут, папаша, все. Только не сразу, помаленьку, чтоб дичь не распугать.

— Пейте, товарищи, винцо... Позвольте вам налить.

— Например, ваш рабочий, Рябинин Степан, револьвер имеет. Сам отдаст, вот увидите. А знаете, откуда он взял? Вот и не скажу. А знаете, кто нынче на пасхе мельника ограбил, латыша? А я знаю: два брата Чесноковых из вашей деревни.

— Не может быть! Чесноковы исправно живут. Откуда это вы знаете, товарищ? — вытаращил глаза управляющий и подумал: «Ну и ловко врет».

— А как же Ивану Пузикову не знать, папаша?

— Надо в тюрьму. Ведь ордер-то есть?

— Ах, папаша! — Пузиков таинственно сдвинул брови и переложил трубку в левый угол кривозубого рта. — Ну вот, скажем к примеру, арестую я завтра по ордеру вас (совхоз заерзал на стуле и пытался

улыбнуться), увезу в город, а через неделю вы дадите взятку, и вас выпустят. Что ж, вы похвалите меня? (Совхоз выдавил на лице улыбку.) А вдруг вам вползет в башку подослать, скажем, того же Рябинина Степана, он и ахнет пулей из-за куста.

— Да-да-да, — растерянно заподдакивал совхоз, и обвисшие усы его задергались. «Однако с этим чертом Пузиковым ухо востро держать надо».

— Ну, товарищи, еще по стакашку, коли так... Для храбрости. Да и пойдем. Полночь. Самая пора.

— Зачем мы, папаша, будем ночью тревожить порядочных людей. А вот нет ли балалаечки у вас? Сыграть хочется, а ты, Алехин, попляши.

Управляющий сердито буркнул:

— Нету, — и опять подумал: «Ни черта им, молокососам, не сыскать».

Утром Анисим Федотыч встал рано, отдал приказания и вошел в комнату, где ночевала угроза.

Пузиков и Алехин сладко храпели.

— Дрыхнут.

Управляющий сходил на мельницу, распушил плотников, что чинили плотину, и когда вернулся, — угроза умывалась.

— Чай пить некогда, — сказал Пузиков, — а вот на скорую руку молочка.

Выпили с Алехиным целую крынку, и оба заторопились.

— Кого из рабочих подозреваете, папаша?

— Никого.

— Правильно. А из Рукохватовой?

— Андрея Курочкина. А еще, пожалуй что, Емельян Сергеев. Тоже вроде вора, говорят.

— Ерунда, — нахмурился Пузиков. — Не они. Я всю деревню вашу насквозь знаю. Деревня — тьфу! Все три волости... Как на ладошке.

— Скажите, какие способности неограниченные, — восторженно сказал совхоз, а под нос пробурчал: — Хвастун изрядный.

Алехин туго набил махоркой кисет и подал Пузикову портфель.

— Ну, теперь, папаша, за мной в деревню, — сказал Пузиков. — Учись, как жуликов ловит Иван Пузиков, деревенский Шерлок Холмс.

Он быстро пересекал двор. Широкоплечий, кривоногий, низенький, куртка нараспашку, из-под козырька сдвинутой на затылок кепки лезет огромный лоб.

— Не сюда, товарищ, не сюда, — кричит едва поспевавший совхоз, — в обратную сторону!

— За мной, папаша!

Он, словно сто лет здесь жил, перелез через изгородь, обогнул беседку и боковой тропинкой подошел к скотному двору, где четверо рабочих накладывали на телеги навоз...

— Здорово, Степан Рябинин! — крикнул он весело и твердо. — Бросай вилы, айда за мной! Понятым будешь. Я — Иван Пузиков, агент угрозы. Понял?

Степан Рябинин — черный и сухой скуластый парень, в ухе серьга — удивленно посмотрел на незнакомца, ткнул в навоз вилы и сказал:

— Ладно.

Повернули назад. Угроза передом. Свернули влево.

— Не сюда, товарищ Пузиков, вправо надо, — опять сказал Анисим Федотыч.

— Не сбивай, папаша. Слушай-ка, Степан! Ты ведь в этой казарме живешь, в номере седьмом, кажется?

— Так точно, — ответил Степан. Голос у него скрипучий, — не говорит, а царапает словами уши.

— Зайди и возьми, пожалуйста, наган. А то, сто чертей, опасно... Может быть, дело будет. Ну, живо!

— Это какой такой наган? — тряхнул серьгой Рябинин. — Чего-то не понимаю я ваших слов.

— Фу, ты! — возмутился Пузиков. — Да револьвер. Револьвер системы «наган». Понял?

— Нет у меня никакого револьвера.

— Нету? А куда ж ты его дел?

— Не было никогда. С чего вы взяли?

— Не было? Это верно говоришь? Не врешь? А из чего ж ты грозил застрелить председателя волисполкома, помнишь? Пьяный, на гулянке, в спасов день. Помнишь? Почему ты его вовремя не сдал?

Степан Рябинин чувствовал, как весь дрожит, и напрягал силы, чтоб овладеть собой.

— Нет у меня револьвера! Сказано — нету!

— Да ты не волнуйся. — От тенористого резкого голоса Пузиков вдруг перешел на спокойный ласковый басок. — Чего зубами-то щелкаешь? Ну, нету и нету. Верю вполне, и пойдемте все вперед.

Анисим Федотыч ядовито ухмыльнулся.

Степан Рябинин то шагал как мертвый, то весь вспыхивал и в мыслях радостно молился:

«Слава богу, пронесло».

До деревни с версту. Анисим Федотыч был с брюшком, фукал, отдувался: очень емко шли; прорезиненный дождевик его со свистом шоркал о голенищи.

В деревню вошли с дальнего конца. Пузиков бегом к избе, вскочил на завалинку — и головой в открытое окно:

— Эй, тетя! А Фома Чесноков дома?

— Нету, батюшка. В поле навоз возит.

— А брат его Петр?

«Вот леший! Неужто всех поименно знает?» — подумал совхоз.

— Петруха в кузне. А ты кто сам-то, кормилец, будешь?

— Сахарином торгую. Ну, до свиданья. Увидимся.

Кузнец Петр Чесноков ковал какую-то железину.

— Бросай-ка, Петр Константиныч. Идем скорей с нами. Понятым будешь.

— Каким это понятым? — И Петр грохнул молотом в красное железо. — А кто ты такой, позволь спросить?

Лысая голова его была потна, и все лицо в саже, только белки блестят, как в темных оврагах — весенний снег.

Вдоль деревни шли гурьбой: еще пристали председатель сельсовета и двое милицейских.

Иван Пузиков подвигался медленно: остановится, посмотрит на избу, дальше.

— А в этой, кажись, Миша Кутькин живет? — спросил Пузиков. — Мой знакомый... Надо навестить.

Кутькин, мужичок не старый, возле сарайчика косу на бабке бил. Бороденка у него белая, под усами хитрая улыбка ходит. Взглянешь на усы, на губы — жулик; взглянешь в глаза — нет, хороший человек: взор ясный и открытый.

— Здравствуй, Миша, — ласково сказал Пузиков. — Нешто не признал? А помнишь, вместе на свадьбе-то у Митрохиных гуляли? Я — Ванька Пузиков, из Дедовки.

— А-а-а, так-так-так... Чего-то не припомню, — сказал Кутькин, подымаясь, и стал растерянно грызть свою бороденку.

— Ну, как живешь, Миша? А это у тебя что? — И угроза заглянула в сарайчик. — Мельницу, никак, ладишь? Очень хорошо! А железо-то не купил еще? Ну, ладно. Вот что, Миша! А можно мне в избу к тебе, бумажонку написать?

Сухопарая тетка Афимья низко поклонилась навстречу вошедшим и суетливо стала прибирать посуду: чашки, ложки разговаривали в трясущихся ее руках. Пузиков вильнул на ее руки глазом.

Все сели, кроме хозяина избы, кузнеца и Степана.

— Ну-ка, милицейский, пиши акт, а я буду говорить тебе. — Пузиков задымил-запыхал трубкой и достал из портфеля письменные принадлежности. — Пиши.

Милицейский, курносый парень, сбросил пиджак и приготовился писать. Лицо Пузикова было спокойно, простодушно: двадцать лет. Он диктовал вяло, уставшим голосом, словно желая отделаться от этой ненужной проволочки и поскорей уйти. Потом голос его внезапно зазвенел:

— Написал? Пиши. «Постановили: Михаила Кутькина, укравшего в совхозе «Красная звезда» принадлежности молотилки, немедленно арестовать». —

Глаза его зорко бегали от лица к лицу, — ему сразу стало пятьдесят.

Мишку Кутькина, хозяина избы, точно кто бревном по голове.

— Да ты, товарищ, обалдел!.. Какой я вор?! Что ты?!

— Миша, да ты не ерепенься, — мягко сказал Иван Пузиков и пыхнул густым дымом. — Раз я делаю, значит — делаю правильно. Ведь я знаю, где у тебя вещи... В подполье, под домом. Верно?

Кузнец Чесноков, крякнув, моргнул тетке Афимье; та схватила ведро и быстро вон. Мишка Кутькин сгреб себя за опояску, но руки его тряслись, — видно было, как плещутся рукава розовой рубахи.

— Шутишь, товарищ, — слезливо сказал он. — Обижаешь ты меня.

— Ничего, Миша, не обижаю. Писарь, пиши! «Во время составления акта кузнец Петр Чесноков подмигнул Афимье Кутькиной, а та поспешно вышла, чтоб перепрятать краденое».

— Во те на! — уронил кузнец, как в воду клещи.

Мишка Кутькин ерзал взглядом от бельмастых кузнецовых глаз да к двери, и слышно было, как зубы его стучат. Анисим Федотыч удивленно вздыхал.

— Алехин! Где Алехин? — И голова Пузикова завертелась во все стороны. — Тьфу, сто чертей! опять с девками канителится... Степа, будь друг, покличь моего помощника.

Степан Рябинин повернулся и на цыпочках вышел вон.

— Да! Вот что, товарищ Петр Чесноков. Скажи ты мне откровенно, как священнику, — кому ты делал собачку к револьверу?

Кузнец поднял брови, отчего лоб собрался в густые складки, и глупо замигал.

— Никому не делал... Совсем даже не упомню.

— Ах, Чесноков, Чесноков, ах, Петр Константиныч, — застыдил, замотал головой с боку на бок Пузиков, заприщелкивая укорно языком. — А я-то на тебя надеялся, что все покажешь: борода у тебя

большая, человек ты лысый, прямо основательный человек, а вдруг — запор. Ая-яй... А я еще за тебя перед городскими властями заступался. Те, ослы, на тебя воротили, что ты с братом ограбил мельника. Ая-яй!

Кузнец попятился, взмахнул локтями.

— Спаси бог, что ты, что ты!..

— Да ты не запирайся.

— Никакого я мельника не воровал.

— Да я не про мельника. Разве в мельнике вопрос факта? Я про револьвер. Степан Рябинин откровенно сознался мне, что револьвер ему ты чинил, ты!

Кузнец засопел, потом прыгающим голосом ответил:

— Извините, запамятовал. Действительно, Степка правильно показал — его был револьвер... Точь-в-точь... Ну, как он просил не говорить...

— Пиши! — резко крикнул Пузиков. — «По показанию Петра Чеснокова, он чинил револьвер, принадлежащий Степану Рябинину, который системы «наган»...»

Тут скрипнула дверь, и с воем ввалилась баба, за ней Степан и Алехин с мешком.

Баба упала в ноги Пузикову и захлюпала:

— Ой, отец родной... Ой, не загуби...

— Стой, тетка Афимья, не мешай, — ласково сказал Пузиков и еще ласковей к Степану: — Степан, голубчик, не в службу, а в дружбу, будь добр, притащи нам револьвер скорей. Вот ты отпирался давеча, а кузнец, спасибо ему, показал, что твой... И, ради бога, не бойся, Степа. Ничего не будет, до самой смерти... Ну, пожалуйста.

Степан заметался весь, блеснула в ухе серьга, ожег кузнеца взглядом и, пошатываясь, вышел вон.

— Вставай, Афимьюшка, вставай, родная...

— Ой, батюшка ты мой... Сударик милый цейский...

— Эка беда какая, что хотела перепрятать, — участливо говорил Пузиков. — До кого хошь доведись. Всякий дурак бы так сделал... Даже я. Под овин, что ли?

— Под овин, сударик ты мой, под овин...

Он, не переставая, пыхал трубкой, тугой кисет пустел, и комната тонула в дыму, как в синем тумане. Не торопясь, вытряхнул все на стол из принесенного Алехиным мешка.

— Э-эх, добра-то что. Все ли, нет ли? Папаша, а?

— Чего-с? — У Анисима Федотыча рябило в глазах, и кончики ушей горели, в голове чехарда, он ничего не мог понять, только шептал: «Вот так дьявол!»

— Да, — раздумчиво говорил между тем Пузиков. — Тут не хватает двух веществ: перекидной ручки — это той самой, ты над ней пыхтел, Чесноков, в кузнице, когда мы пришли... А кроме того, двух медных болтов и шайб с гайками. Они тоже у тебя, товарищ Чесноков... Ну, пойдемте.

— Ей-богу, нет!.. Рази меня гром! Отсохни борода! Да чтоб утробу мою червь сосал!.. Знать не знаю!

Пузиков очень внимательно перебирал вещи в двух сундуках кузнеца. Кузнец трясся так, что дрожала вся изба.

— Эка у тебя добра-то сколько, — спокойно говорил Пузиков. — А? Вот буржуй... Ну, это, между прочим, ничего. Похвально. Нищий завсегда нищим будет. Грош ему и цена. А ты, видать, человек хозяйственный.

Жирная баба стояла у скамейки, как огромное изваяние; она обхватила ручищами жирную грудь и охала басом.

— Чего ты охаешь? Грыжа, что ли, у тебя? — сказал Пузиков.

— Да как же мне не охать-то... Ох!..

— «Ох, ох...» Экая ты трупёрда, деревенщина... А еще такая полная мадам. Стыдись! «Ох, ох...» Вот тебе и ох... Вот видишь, какая рукавица-то? Знатная рукавичка. При царе три целковых стоила. Кожа-то — прямо бархат... а ты — «ох...».

— Никаких болтов у меня, товарищ, господин сыщик, нету. Сами изволили усмотреть... — словно по

камням, впереверт, вперекувыр сказал своим голосом кузнец.

— Что? — фукнул Пузиков из трубки в самый нос ему. — И болтов нету, и рукавички другой нету. Болты — черт с ними, не в болтах факт, болтов у тебя и быть не может никаких. А вот рукавичку мне подай.

— Потерявши рукавичка. Выпивши, из города вез... По... потерявши.

— Ты потерял, а я нашел... Сколько даешь?

— Шу... шутить изволите.

— А это что? Она? — И Пузиков вынул из портфеля другую рукавицу. — А нашел я ее у мельника в избе.

Баба охнула и шлепнулась задом на скамейку.

— И знаешь, товарищ Чесноков, когда? На другой день, как вы его ограбили. А ежели не веришь, дак в обеих рукавицах в середке мельникова мета есть. Тебе и невдомек. Ну-ка, понятые, рассмотрите.

Кузнец упал на колени.

— Наш грех, наш грех... Не губи, ради Христа.

Бодро вошел Степан, взглянул — и руки у него сразу опустились.

— Что, револьверчик притащил? Молодчина, Степа. Давай сюда. Вот и все, кажись. — Иван Пузиков обвел компанию торжествующим, улыбчивым, но все же крепким взглядом. — Ну, вот, ребята, мы тихо, смирно, не торопясь, разыграли, как в кинематографе, не хуже, чем в «Собаке Баскервилей». Товарищи милицейские, этих трех гусей арестовать! А придет Фомка Чесноков, и его, злодея, в ту же дыру.

Все стояли бледные и тряслись. Больше всех — и неизвестно почему — волновался Анисим Федотыч.

Пузиков, заложив руки в карманы, произносил поучительную речь.

— Есть такой заграничной сыщик, Шерлок Холмс. Он хотя и спец считается, но, будучи по службе у буржуазной власти, хватает без разбору всех мазуриков. Я же, Иван Пузиков, сыщик российский, и, кроме того, — сын своего народа. Поэтому передайте

мужикам, что ваша деревня наполовину воры. Этого ни в каком специальном случае я не потерплю! Далее, по порядку, участь Чесноковых — тюрьма! Хотя они, допустим, и обокрали мельника, который богатей, однако за них, товарищи, безвинно арестован мужик из бедноты. Второй пункт предложенья: Степан Рябинин, как возвративший револьвер по своему инициативу, освобождается из-под ареста. Можешь идти, Степан! Что же коснувшись Михаила Кутькина, то я ничего, товарищи, сделать не могу. Ты, Миша, сам посуди: украл ты государственный механизм от молотилки, то есть достояние республики. Это называется — позор! Укради ты не только механизм, а, скажем, всю молотилку у какого-нибудь кулака контрреволюционера — совсем десятая статья. И я, может статься, во время обыска все рыло бы себе своротил об эту самую молотилку, а сделал бы вид, что не нашел. Потому что уравнение имущества социализм не возбраняет. Азбука коммунизма гласит прямо. Ты же, как сказано, украл достояние республики, да еще перед самой страдной порой, а ведь эта самая молотилка предназначалась обслужить целых три деревни. И нет тебе даже оправдания, что ты несознательный элемент, что-что, а это ты, как хозяин и мужик самосильный, должен был сообразить. До свиданья, Миша!

Угроза надувалась у Анисима Федотыча заслуженным чаем и ела пироги.

Анисим Федотыч волновался. От пылающих ушей загорелись щеки, и воловья шея налилась кровью, а глаза — как у попавшей в капкан лисы.

«Все, дьявол, знает. Пожалуй, знает и про сено».

— Товарищ Пузиков, — начал он, ероша курчавые черные, с синью, волосы. — За такое ваше самоотверженное старание я своею властью обязан вас вознаградить, не щадя средств. Что бы вы с товарищем пожелали?

— Что бы пожелали? — Пузиков откромсал долю пирога. — Я бы пожелал вас, папаша, арестовать.

— Ха-ха-ха, — обомлев, захохотал, словно залаял, Анисим Федотыч. — За что?

— За сенцо, папаша, за сенцо.

Совхоз вдруг перестал смеяться, глаза его округлились, и густые брови сразу насели на нос. Он резко стукнул в стол.

— Мальчишки! (Алехин вздрогнул.) Сопляки! Я вам не Мишка Кутькин! Я вам...

И, закусив удила, понесся, не в силах удержаться.

Пузиков набивал трубку, сторожко посматривая, как бы управляющий не смазал его в ухо.

— Постойте, папаша... Да вы не петушитесь... Ведь свидетели есть, — спокойно сказал он.

— Свидетели?.. Я те покажу свидетели!

— Алехин, покличь-ка мужичонку-то... Как его... Тимоху...

— Какого Тимоху? — с сердцем спросил юнец, искренне сердясь и на товарища и на совхоза.

— Фу ты, боже мой!.. Какого, какого! Ну, я сам схожу. — Пузиков схватил портфель и вышел.

Совхоз все время взад-вперед ходил по комнате, поправлял ворот — шее было тесно. Шагнул к шкафу, выпил большой стакан вина.

— Сыщики... Тоже считаются сыщики. Оскорблять порядочных людей... Ответственных работников... Слетите, голубчики!.. Оба слетите, сопляки паршивые... Я вас!

Но вот в дверях показался дядя, — ну конечно, тот самый: лапти, синяя рубаха, скула подвязана, и рыжая бороденка кривулем. У совхоза лицо стало длинным и открылся рот. Мужик снял с головы грешневик, перекрестился и прямо в пояс:

— Здорово, Анисим Федотыч... Здорово, милячок. А я опять за сенцом к тебе... До-обрецкое сенцо.

— Что ты мелешь! Кто ты такой? — злобно прохрипел совхоз, а в голове, как молния: «Вот скандал! Турну, пока Пузикова нет». Пошел вон! Здесь казна... Ступай, ступай. — И кулаки совхоза крепко сжались.

— Это само хорошо, что казна... Ты не гайкай, — чуть попятился мужик. — Бесстыжие твои глаза. Жулик ты казенный!.. Вор!..

— Убирайся вон, рыжий черт! — И совхоз остервенело сгреб его за шиворот. — Вон!

Мужик захрипел, треснула рубаха.

— Караул, караул!.. Эй, Пузиков!..

— Вон! В тюрьму, подлец!!

Вдруг словно бомба ахнула:

— Ах, ты так, папаша? А ну! — Мужик рванул, и совхоз, взлягнув ногами, грохнулся спиною в пол.

Мужик, тяжко сопя, стал снимать с себя бороденку и парик.

— Пузиков! — простонал управляющий.— Это ты?

— Я самый, — сказал тот и протянул управляющему руку. — Ну, папаша, подымайся.

Алехин во все горло хохотал.

На этот раз все обошлось благополучно. Пузиков так и сказал, прощаясь:

— На этот раз, папаша, ничего... Больно пироги хороши. Только помни!

Вечером, собрав всех рабочих, Анисим Федотыч угостил их самогоном и держал речь:

— Вот, товарищи, жулик сразу и влопался. Мишка Кутькин... А вы как были честные труженики, так и оставайтесь. Да здравствует советская власть!

Анисим Федотыч сена больше ни-ни-ни. А вот когда обмолотили рожь, — урожай в «Красной звезде» нынче отменный, — хлебцем стал помаленьку поторговывать. И то с великой опаской, по мешочку, самым знакомым мужикам.

Первым приехал поздним вечером Антон Седов.

— Ради Христа, ржицы продай... Весь хлеб градом порешило.

Антону Седову как не уступить — закадычный, можно сказать, друг.

Но совхоз был так напуган тем проклятым из угрозы, что долго и подозрительно всматривался в мужика, как индюк в чужого гуся. Потом подвел его вплотную к лампе.

— А что это у тебя, дядя Антон, в бороде как будто что-то ползет, — и сильно рванул его за густые клочья бороды. Борода оказалась природной, собственной.

2. ПУГОВКА

— Ваня, — сказал Алехин своему другу, белокурому молодому человеку с прямым широким ртом, — к тебе пришли.

Тот сделал стариковское лицо и, прихрамывая, вышел в кухню.

— Извиняюсь, товарищ. Вы Иван Пузиков, наверно? Я со станции Павелец, весовщик Мерзляков, из комитета служащих. У нас, изволите ли видеть, систематические хищения из вагонов вот уже полгода. Только протоколы составляем, а поймать не можем...

— Знаю, — сказал белокурый и задымил трубкой. — Там у вас целая шайка работает. Они у меня все наперечет, как пальцы. И скажите, что Иван Пузиков, деревенский Шерлок Холмс, уже давненько на вашей станции сидит... Да он же с вами знаком.

— То есть как? Позвольте... — опешил Мерзляков. — Значит, вы не Пузиков?

— Так я вам и сказал. Ха! Может, Пузиков, а может, не Пузиков. Возможно, что Пузиков-то вот который, — показал он на Алехина, — а может, и я... Это сокрыто мраком тайны. Скажите вашим, что шайка на днях будет обнаружена самым удивительным способом... Прощайте. Мне больше некогда с вами толковать.

Он завалился на койку и пролежал колодой до самого вечера, от нечего делать поплевывая в потолок.

После обедни, в праздник, пришел к своему будущему тестю, торговцу Решетникову, станционный конторщик Бабкин, большой говорун и гитарист. Пили кофе, ели пирог, ну для праздничка, конечно, клюкнули.

Невеста Варя хотя и рябовата и чуть косила на правый глаз, однако ничего себе, Бабкину годится: приданого порядочно папаша обещал.

— Да, — сказал Бабкин, покручивая большие черные усы. — Эти доморощенные сыщики, вроде Пузикова, ни черта не стоят. А вот настоящего Шерлока Холмса бы сюда: в два счета — раз, раз — и пожалуйте бриться.

— Очень надо, — сказал торговец недружелюбно. — А я бы не желал. Черт с ними, крадут — и молодцы. Хоть народу в руки перепадает. А то ка-а-азна. Какая, к свиньям, казна! Это не прежние времена!

— Ах, папаша! — воскликнул Бабкин. — Странно даже слушать мне...

— А потому, что молод ты. Например, прикатили мне на прошлой неделе бочонок алеонафту по тайности и за грош отдали. Так что же, неужто отказываться?

— Ах, папаша!.. Опасно это. Лучше бы вы не говорили мне.

Вечером того же дня, не дожидаясь прихода сыщика Ивана Пузикова, весовщик Мерзляков, чтоб выдвинуться по службе, организовал свою собственную охрану. Пять человек доброхотов, тайно от казенной охраны, темной ночью залегли под вагон груженого поезда.

Мерзляков чиркнул спичку, чтоб закурить, и при вспыхнувшем свете вдруг обнаружил, что в их пятерке лежит пластом шестой, посторонний.

— Кто это? — оторопело спросил Мерзляков.

— Чшшш... — прошипел шестой и зашептал: — Нельзя курить... вспугнете. Чшш... Идут!

«Ага, это Иван Пузиков, сыщик», — мелькнуло у догадливого Мерзлякова.

Все шестеро впились вытаращенными глазами в лениво прошагавшие вдоль вагона четыре пары ног. Неизвестный шестой выполз на брюхе и повернул голову вслед уходящим.

— Четверо, — прошептал он. — Кажись, с ними ваш конторщик Бабкин. Лезут в третий от нас вагон.

Он вдруг вскочил, крикнул:

— За мной! — и, выстрелив в воздух, помчался вдоль поезда.

Среди мрака раздались путаные крики:

[redacted] ста!..

Куча тел, тузя друг друга, каталась по земле.

Конторщик Бабкин, Варечкин жених, отбежав в сторону, кричал:

— Стойте, дьяволы!.. Ведь это мы, свои!.. Мы пломбы проверяем на вагонах. А вы нас... Тьфу!

Запыхавшись, примчалась с винтовками и казенная охрана.

Шли к вокзалу сконфуженные. Глупее всех чувствовал себя Мерзляков.

— Что ж ты, Мерзляков, неужто ослеп, своих бьешь, — весь дрожа, стал пенять ему жирный дорожный мастер Ватрушкин и сморкнулся кровью.

— Извиняюсь, Нил Данилыч, — сочувственно проговорил Мерзляков. — Как это ни прискорбно, но мы приняли вас за жуликов... Очень извиняюсь...

— От твоего извиненья у меня во всей башке звон идет. Этак садануть...

Мерзляков внезапно остановился:

— А где же этот, незнакомый-то?..

Меж тем незнакомый поспешно шагал в ближайшую деревеньку, в которой вчера снял пустую избу старого бобыля.

Вскоре пришел к нему Иван Пузиков, деревенский Шерлок Холмс. За последнее время Пузиков появлялся у своего помощника Алехина на какой-нибудь час, всегда торопился и, сказав нужное, уходил с мешком под мышкой.

— Ну, как? — спросил он Алехина.

— Плохо, — виноватым голосом ответил тот и рассказал все подробно про недавний бой возле вагонов.

— Дурак, — мрачно и насмешливо произнес Пузиков. Нахмурился, покрутил льняного цвета волосы свои, потом расхохотался. — Здорово наклали?

— Не надо лучше, — улыбнулся Алехин. — Я какого-то раскоряку за машинку сгреб, так он на манер как заяц заверезжал.

Пузиков сдвинул брови.

— А какой из себя Бабкин? — спросил он.

— Черноусый такой, в кожаной куртке. Он сватается за дочь лавочника.

— А, знаю, — сказал Пузиков. — Надо будет за ним последить.

Алехин изумленно уставился в лицо товарища.

— Как, за конторщиком Бабкиным?

— Эх, щенячья лапа! — воскликнул Пузиков. — Неужто не понимаешь ничего?

— Нет, — откровенно сказал Алехин. — А в чем вопрос?

— Ну, ладно. По окончании поймешь.

Утром Мерзлякова подняли в конторе на смех. Особенно ядовито издевался помощник начальника станции Алексей Кузьмич Бревнов, рыжий вислоухий франт.

— Хотел выслужиться, любезнейший. Каждое дело ума требует. Ха-ха! Так накласть своим...

Мерзляков даже рассердился.

Но под конец занятий Алексей Кузьмич потрепал начальственно весовщика Мерзлякова по плечу:

— Не огорчайтесь, дружище... Уж такой язычок у меня дьявольский. Вот что: приходите-ка послезавтра ко мне на вечерок. Выпьем, понимаете... День рождения у меня...

Бабкин вечером пошел к невесте.

«Надо ж, черт возьми, купить девчонке хоть карамелек», — подумал он и зашел в еврейскую лавку. Когда входил, заметил прошагавшего человека в белом фартуке и еще тетку. Тетка остановилась и посмотрела ему вслед.

— А, товарищ Бабкин! — приветливо встретил его длинношеий, с остренькой бородкой и красными губами еврей. — Ну, когда же ваша свадьба? Купили бы для Варвары Тихоновны часики... Хорошие у меня есть, серебряные, фирмы «Мозер»...

— Ей отец подарил золотые часы, — сказал Бабкин.

— Что вы говорите!.. Те часы темные. Я отлично знаю происхождение тех часов. Те часы, прямо скажу, краденые... Ой!..

— Каким образом?

— И очень просто. По секрету вам скажу: тут, у вас на станции, работает целая шайка. И представьте, носильщик Носков украдывает ящик с электрическими лампочками, то есть достался в порцию после дележа. И очень хорошо... И он идет и обменивает этот ящик на золотые часы у агента постройки. Так говорят. Я, конечно, не могу поручаться за то, что говорят. Не всякой вере давай слух, как говорится по-русски... Этот самый Носков золотые часы продал вашему будущему папаше, даже забрал у него вином и самогонкой.

Бабкин растерянно хлопал глазами и весь покраснел от раздражения. Черт знает, хоть от невесты отказывайся! Он ничего у еврея не купил и в самом мрачном настроении направился к тестю.

Был летний мглисто-серый вечер. В лужах квакали лягушки, поздние стрижи острокрыло чертили последний быстрый путь. Посреди улицы, рассуждая сам с собой, деловито шагал человек в белом фартуке. Тетка с замотанной шалью головой шла мужиковской походкой по пятам Бабкина.

— Тебе что надо, тетушка? — спросил он, остановившись у ворот тестя.

— Ох, кормилец, — загнусила тетка. — Зубами маюсь, хотела какого-нибудь снадобья у торгового купить...

— Нет у него, — всматриваясь в теткино лицо, сказал Бабкин. — Иди в приемный покой на станцию. Там фельдшер даст.

Варя встретила его радостно, но вскоре же сказала:

— Какие вы, право, неласковые, Володичка. Что это с вами приключилося?

— Так, — ответил Бабкин. — Очень уж много подлости на свете, Варя. Ну да бросим об этом говорить. К Алексею Кузьмичу-то на танцульку собираетесь?

Пузиков не застал своего помощника Алехина в избе. Разжег на шестке теплину и вскипятил чай. После третьего стакана вошла в избу тетка, та самая...

— Садись чай пить,— сказал Пузиков. — Где был?

— Бабкина следил, — проговорил Алехин, снимая сарафан.

— Тьфу! — плюнул Пузиков. — Экая башка у тебя свинячья. Что ж мы — двое за одним человеком ходим?

— Как так?

— А вот и так... Мужика-то в белом фартуке заприметил? Ну, дак это я...

Алехин недовольно почесал за ухом, сказал:

— Бабкин у тестя, должно, и ночевать остался... Я ждал-ждал, жрать ужасти как захотелось...

— Ничего подобного. Он задним ходом вышел.

Ложась спать, Пузиков сказал:

— Слушай, Алехин. Я вынюхал, что послезавтра будет вечеринка у помощника начальника станции... Как его фамилия-то?

— Я знаю: Бревнов, звать Алексей Кузьмич, — с гордостью отрапортовал Алехин.

— На этот раз молодчага. Дак вот. Нам с тобой надо на эту вечеринку попасть. Может, там самую главную птицу схватим. Понял? Ты прямо войдешь и скажешь на ухо хозяину, что ты агент угрозы, что хочешь, мол, остаться на вечере под видом, ну, хоть... черт его знает... ну, хоть десятника по земляным работам. Понял? А я потом приду. А завтра подговори носильщика Носкова, передай ему вот эту бутылку коньяку, — он здорово вино жрет, — пусть выпьет и по

сигналу явится на вечер и скажет вот какие слова... запиши. И адрес его запиши. Записал? Чтоб в точности. Он тоже замешан.

Чуть свет Пузиков исчез.

Алексей Кузьмич Бревнов жил широко, и вечер устроен на славу. Стол ломился закусками, пирогами, выпивкой. Среди гостей лица почетные: инженер-механик Свистунский, начальник станции Петров с супругой, священник. Конечно, был Бабкин с невестой Варечкой и будущим тестем.

Бабкин сегодня весел, прикладывался к рюмочке, играл на гитаре и рассыпался Варе в любезностях.

Хозяин, Алексей Кузьмич, сиял пуговицами на новенькой тужурке и тоже приухлестывал за Варей. Бабкин возбуждал в нем изрядное чувство ревности. Хозяин старался ему дерзить, но Бабкин отгрызался.

— Это из рук вон, — говорил раскатистым басом инженер Свистунский, — сегодня опять обнаружена кража из вагона с грузом мяса.

— Слышали, слышали, — подхватил кто-то.

— И что стража смотрит, ведь под самым носом вагон стоял. Отсюда из окна видать... Позор!

— Увы! Испортился народ наособицу, — воскликнул священник и откромсал добрый кусок пирога.

— Черт знает, Иван Пузиков не едет. А пообещал, — уныло промямлил Мерзляков, потянувшись к выпивке.

— Плюньте вы на этого Пузикова! — крикнул охмелевший Бабкин. — Черта ли понимает ваш Пузиков! Сами разберем... Мы ужо опять ночью под вагон залезем. Товарищ Мерзляков, возьмите меня в свою компанию!

Все захохотали. А дорожный мастер Ватрушкин потер подбитый Мерзляковым нос.

В это время вошел молодой парень. Он что-то пошептал хозяину, тот деланно улыбнулся и сказал гостям:

— Это вновь командированный десятник земляных работ. Присаживайтесь с нами, товарищ.

Алехин смирно сел в угол, закурил папиросу и стал наблюдать, нахмурив лоб. Ему подали стакан чаю и кусок пирога.

Бабкин задирчиво кричал:

— Видали мы Пузиковых!! К черту их!

— Потише, — осадил его хозяин, взглянув на Алехина. — В противном случае попрошу вас удалиться.

— И что ты ко мне вяжешься, — охмелевшим языком сказал Бабкин. — Может, к Варечке ревнуешь? А?

— Прошу меня не тыкать. Невежа! Без году неделя служит, а тоже позволяет себе...

— Ах, вот как... Что?!

Но в это время Алехин, взглянув на часы, распахнул окно. Из окна темнела ночь. По лестнице загрохотали грузные шаги, и в комнату ввалился пьяный носильщик Носков. Покачиваясь, он взглянул на подмигнувшего ему Алехина, помахал картузом и, глупо ухмыляясь, сказал:

— Честь имею поздравить с днем рождения!.. Честь имею объявить, что Иван Пузиков сейчас будут здесь. Хи-хи-хи... До свиданьица, — он было повернул к выходу, но Алехин загородил ему дорогу:

— Товарищ Носков, сядьте и — ни с места!

Гости разинули рты. Хозяин ерошил волосы, пьяный Бабкин лез к нему:

— Плевать я хотел на этих дураков, на сыщиков!.. Нет, ты мне ответь... Ревнуешь? Может, Варечку поддедюлить хочешь? Бери! Бери!

— Убирайтесь к черту!

— Бери! Я отказываюсь. Сам отказываюсь... Чьи на ней часы? Краденые... Вот этот самый Носков, носильщик, восемнадцатого марта ящик с лампочками упер из вагона да агенту постройки на часы выменял, а часы будущему папаше всучил... Пожалуйста, сиди, Носков, не корчи рожи!.. И вы, папаша, не огорчайтесь.

— Безобразие! — кто-то кричал. — Ишь нализался... Выведите его вон!

— Кого? За что? — взывал Бабкин. — Меня-то, Бабкина-то? Что он правду-то говорит? А чьи сапоги-то на мне? Краденые, вот и клеймо казенное...

Из вагона... Мне подарил их мой будущий папаша. Уж извини, папаша. Раз начистоту, так начистоту... Вот Пузиков придет, все ему открою... Я много койчего знаю. Где Пузиков?

Алехин заглядывал в окно, в ночь. Пузиков не появлялся. Гости были как в параличе. Варечка истерически повизгивала. Ее отец весь побагровел и, сжимая кулаки, надвигался на Бабкина. С Носкова сразу соскочил хмель. Бабкин колотил себя в грудь и, кривя рот, кричал сквозь слезы:

— Я за правду умру, сукины дети!.. Да! Умру!!

И вдруг трезвым, спокойным голосом:

— Ваше благородие, а где же пуговка-то у вас?

Алексей Кузьмич Бревнов, хозяин, быстро провел рукой по пуговицам, быстро скосил вниз глаза: блестящей пуговицы на тужурке недоставало.

— Вот она, — сказал Бабкин, протягивая пуговицу. — Я ее вчера в вагоне нашел, в том самом, откуда вы вот эту телятину украли.

Хозяин залился краской, побледнел, выхватил из рук Бабкина пуговицу и швырнул на пол.

— Стервец! — крикнул он и весь затрясся от злобы.

Бабкин поднял пуговицу, посмотрел на нее.

— Да, ошибся... Извиняюсь... — промямлил он. — Действительно, не та: топор и якорь на ней есть, а сукно серое, видите, кусочек болтается. У вас же сукно черное... Извиняюсь.

— Милицию сюда! Протокол! — колотил хозяин в стол кулаком.

— Стой! — крикнул Бабкин. — Милицию я и сам приглашу. Стой! Забыл совсем. Идемте в вагон... Эй, где Пузиков? Идемте в вагон. Иначе все под суд за укрывательство. Отвечаю головой... Мы и без Пузикова обнаружим.

Обрадованные скандальчиком гости повалили за Бабкиным.

При свете фонаря в вагоне на туше мяса лежала блестящая пуговица с клочком сукна, а вместо черноусого пьяного Бабкина, но в его одежде, пред ошалевшей и перепуганной компанией стоял бритый,

совершенно трезвый, широколобый человек со строгими глазами и ртом.

— Конторщик Бабкин, которого вы три недели тому назад взяли на испытание, это я самый и есть, Иван Пузиков, деревенский Шерлок Холмс. Алехин, подай-ка пуговку сюда!

Он твердо подошел к Бревнову, примерил пуговку и твердо сказал:

— Ты, Бревнов, арестован. За компанию с тобой — Носков и торговец Решетников. А там распутаем весь клубок. Ну, Алехин, понял ли хоть теперь-то всю мою музыку? Эх ты, ежова голова. Покличь милицию!

Алехин, казалось, был ошарашен больше всех. Он высунулся из вагона и засвистал в свисток с горошинкой, как Соловей-разбойник.

ХРЕНОВИНКА

Дядя Филимон вышел с Николаевского вокзала и сразу разинул рот: это кто же такой на коне-то взгромоздился?

— Эй, паренек хороший, — спросил он папиросника. — Кто же это будет? Генерал какой али товарищ?

— Александр Третий. Пугало.

— А-а, так-так... Действительно... — сказал мужик, снял с головы гречневик, поблестел лысиной, перекрестился и опять надел. — А у нас Карло Марков в городу в уездном. И борода такая же. Только пеший, так что по грудь. Тоже, говорят, правильной жизни был. А городок наш маленький, можно сказать бедный, дрянь. А не знаешь ли, паренек хороший, как мне Груньку отыскать, дочку? Фамиль моя Филимон Комар, из деревни Болотище. Край наш дикий, лесной, неудобный край.

— Надо улицу знать, дядя.

— Она не на улице, она на линии. Иди ты, пишет, тятенька, на линию и все считай. Восемь линий пройдешь, тут я не живу, а на девятой-то в аккурат и тово... В этом доме, пишет, булочная, крендель золотой висит. Тут, говорит, и ищи меня.

Филимон долго путался по городу, наконец разыскал квартиру и с черного хода вошел в кухню. Пусто. Рыжий кот, засунув голову в стеклянную банку, лакал молоко.

— Брысь! — крикнул Филимон и, постояв немного, пошел по коридору, покашливая.

Отворил одну, другую, третью дверь — никого. В четвертую комнату дверь была открыта. Филимон заглянул туда и замер. В кресле сидела приятненькая барышня, она размахивала рукой, громко кричала в стену и смеялась. Больше в комнате никого не было. Вдруг барышня наморщила брови, дробно затопала ногами в пол и закричала еще громче:

— Кто? Я сумасшедшая? Ха-ха! Может быть. Ах, так? Ну, погодите... Я вам такое сделаю, что... А очень просто. Я сумасшедшая и есть... Что?.. — Она вдруг взвизгнула, захохотала и подпрыгнула в кресле.

У Филимона от страха ослабли поджилки.

— Бешеная! — сразу догадался он и, подхватив котомку, кривобоко по коридору марш.

А сзади стучали каблучки, и звонкий голос кричал:

— Кто это? Кто тут ходит?!

Филимон обернулся, ахнул, бросил котомку и кинулся по лестнице. Его схватили двое: в очках и без очков.

— Стой! Куда?.. Ты, дьявол, что бежишь?!

А сверху скакала сумасшедшая:

— Держите его, держите!.. Вор!..

— Ой, батюшки мои! — взмолился Филимон. Он пучил глаза и весь трясся. — Бешеная!.. У нас на деревне колдуны... Вот так же... Портят... Ой... Пусти! Не держи! Заест! — Он двинул по очкам одного, по уху другого, ноги у него подсеклись, и он покатился на сиденье по ступенькам вниз.

А навстречу — девушка с корзиной.

— Тятенька, что ты? Тятя!

— Груняша, убегай!.. Бешеная! — хрипел обезумевший Филимон.

Чай пили втроем в кухне. Филимон все еще с опаской покашивался на барышню и повествовал:

— У нас, в нашем селе, колдун на колдуне. А то и бабы которые. Вот у соседа на полосе залом одна

ведьма сделала, колосики этак вниз пучочком завязала... Ну, знамо, хозяйку спортили. По-овечьи блеет, сама с собой разговор имеет, навроде тебя...

— Филимон Иваныч, — засмеялась барышня, — значит, я, по-вашему, тоже порченая? Ведь я же объясняла вам, что это — телефон.

— Понимаю, — подозрительно сказал мужик.

— Это верно телефон, тятенька, — подтвердила Груня. — Проводится он по всему городу, и можно говорить. Проволока такая.

Филимон благодушно засмеялся и погрозил дочке пальцем.

— Пойдемте, Груняша, поговорим при нем.

Филимона вволокли в комнату силой, как к антихристу.

— Да не бойся, тятя, что ты на сам деле дикий какой... Вот смотри. Видишь, висит штучка, на штучке рогулька, а на рогульке трубка. Вот сейчас вызову... кого бы это?.. Да! Хочешь, Прокофия Киселева, крестника твоего, он в Пассаже служит... Вызвать?

— Куда ж ты его вызовешь? Чего от дела малого отрывать. Поди сколько сюда прошагает... Лучше мы к нему ужо...

— Зачем, — улыбнулась барышня, а Груня стала звонить. — Он будет разговаривать со своего места. За версту или за две. Даже с Москвой можно говорить.

— Грунька, брось! — закричал Филимон. — Брось чертовщину! Грех! Как это можно, чтоб за версту... скрозь стены. Глотку перекричишь.

— Кто у телефона? — нежно начала Груня, оправила кудерышки и с улыбкой поклонилась в стену. — Здравствуйте, Прокофий Павлыч. (Филимон прыснул в горсть.) Ну, как поживаете? Ах, какой вы комплиментщик. Кто? Я? Ха-ха-ха! Ну и просмешники вы, ей-богу. (Борода Филимона тряслась от смеха, он подмигивал барышне и кивал на тараторившую Груню.) А знаете, кто с вами сейчас будет говорить? Мой тятенька, а ваш крестный. Да-да-да! Сегодня. Только что. Я передаю трубку. Тятенька, бери.

Но Филимон крутил бородой и похохатывал:

— Ну и озорница! Так я тебе, девка, и поверил. А и ловко ты камедь ломаешь... А?

— На, на, садись, тятенька, — усадила она его в кресло. — Говори в трубку-то. Говори: «Здравствуй, крестник».

— И чего ты, коза, озоруешь надо мной, стариком. Ну, да ладно, потешу тебя. Ну... Здравствуй, крестничек!

Вдруг лицо его вытянулось, левая пятка чиркнула по полу, и плечи передернулись.

— Ково? — закричал он дрожащим голосом, вращая глазами. — Прошка, ты? Откедова? Что ты врешь, едят тя мухи! Как ты можешь в трубку залезть, едят тя мухи?! — Он оторвал трубку и, прищурившись, заглянул в нее. Руки его тряслись.

— Не отрывай, тятя. Говори, говори... — сквозь смех приказывала Груня.

— Нет, ты не настоящий! — снова закричал Филимон в трубку. — Это напущено! А ну, скажи: Христос воскрес... Ах, едят тя мухи! Хы... Ну, а как крестну твою зовут?.. Верно, тетка Агафья...

Лицо Филимона сразу прояснилось, на лысине выступила испарина, и клокочущий восторженный хохот уже не давал ему говорить. Он только выкрикивал:

— Толкуй, толкуй! Ах, едят тя мухи!.. Хы-хы-хы... Верно... О-о! Неужто? Ну, и едят тя мухи... А? Чего?.. Хы-хы... Тьфу ты, едят тя мухи!.. А ну, скажи, чего у меня на левой ноге есть? Верно, желвак. Прощай, прощай, едят тя мухи, Прокофий Павлыч... Ха-ха-ха, едят тя мухи с мошкарой.

Груня, вся красная от смеха, повесила трубку. Барышня, улыбаясь, затягивалась папироской. Филимон несколько мгновений сидел молча, потрясенный.

— Да, — наконец проговорил он. — Да... Вот так, елеха-воха, музыка!

Лицо его было подавленно и удивленно. Посидев еще с минуту, он глубоко вздохнул, встал, размашисто перекрестился и сказал:

— Благодарим. Приятно. Ну, барышня, едят тя мухи... Уступи ты мне эту хреновинку, в ножки поклонюсь. То есть вот как нужно, до зарезу. Сидел бы я в избе да покрикивал в трубчонку: и в поле бабам на работе, и в лес, и по волости по всей. А захотел — с Груняхой али с тобой перекинулся словцом: здорово, мол, барышня, едят тя мухи... Ах, ах... Сидим мы, как кроты, в дыре и ничевошеньки не знаем.

ПОРТРЕТ

Было дело в го́лодный год. А сам я — мастер по церковному цеху, святых рисовал, то есть живописец. Как ударил голод, тут уже некогда угодников мазать, да и негде: даже попы нуждаться стали.

И вот пришла мне в голову идея:

— А поезжай-ка ты, Семушкин, по деревням, — внушаю сам себе,— будешь с богатых мужиков морды малевать.

В четырех селах ни хрена не вышло, в пятом — клюнуло. Кулачок замечательный там жил, бывший торгаш, страсть богатый, черт.

— Ладно, — говорит, — рисуй по очереди всех: меня, Матрену, Акульку, Мишку. Потому — по-благородному желаю жить: чтобы все на стенках висели, форменно, да.

Стали торговаться. Я по пуду муки за портрет прошу и по три десятка яиц. Он говорит: пиши за харч, жрать будешь и — довольно.

— Это грабеж, — говорю ему, — вы, гражданин, искусство не цените. Вы, гражданин, не знаете, что знаменитый художник Репин по три тысячи золотом за портрет берет.

— Начхать мне на твоего Репина! Он — Репин, а я — Огурцов. А не хошь, как хошь. Забирай струмент и — дальше.

И стал я его, сукина сына, писать. Жарища стояла адова, то есть такая жара — шесть собак на деревне

очумело. Я посадил его, подлеца, у ворот, на самый солнцепек и велел волчью шубу с шапкой надеть.

— Пошто! Рисуй в красной рубахе, при часах.

— Нет, — говорю, — в шубе солиднее, богаче. Все вельможи в шубах пишутся. Даже Никола-зимний на иконе и тот в рукавицах.

Он сидит, пот градом с него, а я, конечно, в холодок устроился. Разглядываю его, а он пыхтит: тучный, дьявол, жирный.

— Что же ты, живописец, не малюешь?

— Я физиономию вашу изучаю, очень величественная у вас физиономия, как у воеводы.

Он бороду огладил, приосанился. Я ему:

— Нет, Митрий Титыч, шевелиться нельзя.

— Ну?! Неужто нельзя?.. А меня клоп кусает.

— И разговаривать нельзя. И мигать нельзя: кривой будете, вроде урода. Замрите, начинаю, — и стал подмалевывать.

А в это время муха ему на нос и уселась. Он глаза перекосил, носом дергает, а в душе, вижу, ругает муху, ну прямо живьем сожрал бы ее, а нельзя.

Я говорю:

— Пожалуйста, не обращайте на нее внимания: поползает, поползает да улетит. А то портрет испортите, снова придется.

Гляжу — он губы скривил чуть-чуть и подувает на муху с левого угла. А муха оказалась нежной, не любит ветерок, взяла да поползла на правый глаз. Мужик моргнул, да лапищей как хлопнет. Муха и душу богу отдала.

— Ну вот, — сказал я, — портрет испорчен.— Снова.

— Господин живописец, — взмолился он, — нельзя ли в холодок? Шибко жарко, сомлел я весь, и глазам очень трудно на солнышко глядеть.

— Нет, нет, — сказал я, — замрите окончательно.

Часика через три я объявил перерыв. Мужик бегом к пруду, шапку на дороге бросил, шубу на дороге бросил.

— Мишка, подбирай! — и, не стыдясь баб, оголился да ну, как тюлень, нырять, ныряет да гогочет.

Как пришел он в чувство, за обед сели. Я ем да думаю: «Я те, анафеме, покажу, как сквалыжничать, ты у меня взвоешь».

— А много ли возьмешь, живописец, ежели без шапки? — спросил Огурцов.

— Два пуда, меньше не возьму. Снова писать придется.

— Да ведь ты пуд просил?

— Меньше двух пудов не могу. В шапке ежели — пуд. Не желаете, тогда до свиданья. Я художник самый знаменитый. Меня даже в Москве каждая собака знает.

— Патрет мне шибко нравится, — сказал Огурцов. — А я тебя не выпущу. Ежели сбежать надумаешь, на коне догоню, раз ты знаменитый. Так и быть, рисуй простоволосым, без шапки.

После обеда хозяин выпил одиннадцать стаканов чаю, надел шубу, перекрестился и пошел.

— Идем, что ли, черт тебя задави совсем. Только ты не серчай на меня, голубок...

Жара была еще сильней. Хозяин шел к стулу, как к виселице. Я разрешил ему говорить за десяток яиц. Говорил он, говорил, болтал, болтал, а пот так и течет с него: шуба волчья, теплая, сам же он, повторяю, тучный.

— Вот до чего упарился... Аж в сапогах жмыхает.

— Ничего, — говорю, — терпите.

— Да долго ли терпеть-то?.. Аж пар из-за голенища валит... Аж дышать тяжко... фу-у-у...

Через час у него кровь из носу пошла. Через два часа он вдруг побелел, простонал:

— Кваску ба... — и упал.

Я только написал одну голову. Сходство поразительное, даже сам я удивился. На другой день хозяин отлежался, говорит:

— Дюже правильно личность обозначил. Приятно. А сколько возьмешь, ежели без шубы? А то жарко очень...

— Дорого, — говорю, — пять пудов.

Он ощетинился весь, хотел ударить меня по уху, однако пошел, пошептался с хозяйкой, вышел, сказал:

— Рисуй, сволочь!

Я потребовал плату вперед, посадил брюхана в холодок — в красной рубахе он, при часах, с медалью — и стал со всем старанием писать.

Словом, окончилось все хорошо. Прожил я у кулака два месяца. Мучицы заработал и деньжат.

На прощанье кулак сказал:

— А ты все-таки — жулик... Ловко нагрел меня.

Я ответил:

— Другой раз не жадничайте... Вы — человек богатый.

Дома же обнаружил я, что он, проклятая сквалыга, в муку порядочно-таки песку подсыпал.

БАБКА

Солнце хватало горячими клещами без разбору всех и все: красных и белых, валявшуюся вверх копытами мертвую кобылу с развороченным боком, старух и мальчишат, пушки, патронные гильзы по дорогам, траву, букашек. Коровы с телятами стояли по горло в воде, лениво взмыкивая.

Нагретый воздух трепетал и колыхался, словно боясь ожечься о грудь земли, и вместе с ним колыхалось на зеленом пригорке село Ивашкино.

Разведка знала, что село до оврага занято красными, за оврагом же, там, где церковь, — белыми из армии Юденича. Политрук отряда, рабочий-путиловец Телегин, и два его товарища входили в село без страха: белые и красные в открытый бой пока не вступали, та и другая сторона ожидала подкреплений.

— Эх, пожрать бы чего-нибудь... Молочка бы с погреба, — изнемогая от жары, пересохшим голосом сказал Телегин. Пот грязными ручейками стекал по красному лицу в густую бороду, кожаная куртка его раскалилась, как железная печь, и ноги в сапогах — как в кипятке.

— Айда в избушку, — махнул рукой Петров, приземистый рыжеусый молодец. — Только, черти, пожалуй, не дадут: белые их поди распропагандировали.

— Даду-у-ут, — устало улыбнулся всем лицом и бородою товарищ Телегин.

— У них, у дьяволов, снегу зимой не выпросишь, — сухо сплюнув, проговорил Степка Галочкин, курносый парень.

— Да-а-дут, — опять улыбнулся Телегин. — Ежели умеючи, у мужика все выпросить можно. Вы, ребята, на меня посматривайте: что я буду делать, то и вы.

В кожаных новых картузах и куртках, в новых сапогах, одетые так же чисто, как и белые, трое коммунистов вошли в избу. Пахло хлебами, жужжали мухи. У печки, с ухватом, старуха в сарафане и повойнике.

Телегин снял картуз, подмигнул товарищам, истово, по-мужиковски перегибаясь назад, усердно закрестился на иконы. А за ним и те двое.

— Здорово, хозяюшка! — весело крикнул Телегин. — А нет ли у тебя чего покушать?

— Ох, кормильцы наши, ох, батюшки! — засуетилась у печки бабка. — Садитесь, ягодки мои, спаси вас бог, садитесь... Ужо я хлебца свеженького выну, ужо молочка...

Бабка принесла две крынки студеного молока, вытащила из печи хлеб, похлопала его — кажись, готов — и накромсала гору:

— Кушайте, родненькие мои, голубчики... Уж не взыщите. Кушайте во славу, не прогневайтесь...

Голос у нее ласковый, глаза ласковые, с подслеповатым старческим прищуром, морщинистые губы в рубчиках — ввалились. Она держала ухват, как посох, и умильно посматривала от печи на гостей. Кривой котенок сидел среди избы и умывал лапой гноящийся свой глаз.

Кожаные куртки с наслаждением глотали молоко, прикрякивая.

— А где же те-то, окаянные-то?—спросила бабка и скрипуче, со слезой.—Вы смотрите, детушки, с опаской... Они, раздуй их горой, в нашем краю вчерась рыскали...

— Кто, хозяюшка?

— Да красные-то эти самые, чтоб им!.. — крикнула бабка, беззубо зажевав.

Кожаные куртки молча переглянулись, а Степка Галочкин прыснул молоком, как из лейки. Телегин улыбнулся в бороду, спросил:

— А ты, хозяюшка, неужто красным ничего бы не дала?

— Красным? — подпрыгнула старуха. — Гори они огнем! — и стукнула в пол ухватом. — И хлеб-то весь в подпол побросала бы да карасином облила, и крынки-то с молоком об башки бы им расколотила... Тьфу!

Петров подавился хлебом и закашлялся, а голоусик Галочкин надул щеки и опять прыснул смехом в горсть.

— Ужо я вам, ангели мои, сметанки... ужо, ужо...

— За что же ты, бабушка, ненавидишь красных героев? — тенористо спросил Петров.

— Тьфу! — плюнула старуха и сухим кулачком утерла дряблый рот. — Да как же их любить-то, ангели мои господни... Эвот вчерась нашего Гараську они, ироды, вытащили из колодца да уволокли с собой... Гараська у нас, парень... Ну, знамо, билизацию он не принимает, воевать не любит, залез в колодец, вроде как схоронился там... Ох, и ревел Гараська, аж слезами весь изошел...

Бабка покарабкалась на полку за сметаной и, подпираясь ухватом, сутуло поплелась к столу.

— Ты, хозяюшка, видимо, принимаешь нас за белых, может, за офицеров? — рыгнув, спросил Телегин. — А ведь мы не белые...

— А кто же вы? — влипла в пол старуха, и ухват в ее руке закачался. — Не красные же вы, раз богу помолились...

— Нет, не красные...

— А кто же? — глаза старухи прищурились, и ухват вопросительно застыл.

— Мы черные...

— Чево-о-о? — попятилась старуха.

— Черные...

— Это какие же такие еще черные? — И голова старухи сердито затряслась. — Кого же вы, ребята, бьете-то?

— Кого придется, — сдерживая улыбку, сказал Телегин. — Белые попадут — белых, красные — красных.

Бабка взмотнула локтями, и глаза ее запрыгали; она повернула от стола назад и через плечо бросала:

— Черти вы!.. Вот черти... Что надумали, а? Черные какие-то, а?! Направо-налево кровь льют, а?! Нате вам сметанки, на-те — издевательски улыбаясь, рывком совала она к столу крынку со сметаной и отдергивала назад. — На-те, окаянные... На-те... — Глаза ее горели яростью. — Ишь ты, черные, ни дна б вам, ни покрышки, подлецам... Замест сметаны-то в три шеи вас, дураков паршивых... Мы че-о-рные... Тьфу!.. — И старуха, ударив в пол ухватом, зашоркала к печке. — Нет, ребята, это не по-божецки... Уж вы, ребята, одной стороны держитесь: либо белой, либо красной... — Голос ее стал мягче, и глаза глядели на пришельцев жалостливо. — Эх, ребята, ребята!.. Дуть вас надо, дураков...

— Хозяюшка, — сказал Телегин, — мы хотим дальше идти, а ты разреши нам оставить у тебя кой-какие вещишки...

Но в этот миг открылась дверь, быстрым шагом вошел красноармеец и спросил:

— Палатки-то вносить, товарищ Телегин?

Слово «товарищ» ошарашило старуху как бревном: она вдруг стала маленькой, как девчонка, ухват дрябло заляскал в пол, и сарафан сзади гулко встряхнулся.

— Ой, ребята, — безголосо прошипела она и шлепнулась на лавку. — Ой, ребятушки, товаришши... Дак кто же вы?

Степка Галочкин — ноздри вверх и захохотал в потолок горошком, а Телегин серьезно:

— Красные, хозяюшка, красные...

Старуха разинула рот, несколько мгновений лупоглазо смотрела в лица красноармейцев и вдруг сорвалась с места.

— Ребятушки, голубчики, товарищи наши! — заорала она осипшим басом как сумасшедшая. — Бейте их, окаянных, белых этих самых! — грохнула она ухватом в пол. — Бейте их хорошень!.. Бейте!.. — Бабка злобно поддела котенка ногой и едва устояла. — Они, подлецы, родного старика моего

в баню заперли, хозяина... Вавилой звать... Пошел он вчерась к дочке, — дочка у нас в том конце замуж выдана. А его там и замели — ты, мол, красный, — да в баню на старости лет... Вот они, собаки, ваши белые-то, что делают... Давите их, подлецов, пожалуйста!!

Бабка — как ведьма: космы растрепались, повойник на затылок сполз, из беззубого рта летели слюни.

Красноармейцы хохотали. Галочкин уткнулся лбом в столешницу, крутил головой и заливисто визжал; подброшенный котенок лез с перепугу в валеный сапог; темным облаком под потолком шумели мухи.

РАЗВОД

Существовали на сей земле супруг с супругой, Иван да Марья Природовы, ткач и ткачиха. Десяток лет жили дружно; правда, случались малые скандальчики, но это уж обычно, это исстари идет, по всем законам: все в природе зуб за зуб, клык на клык, даже волки лютые грызутся, почему же людям в мире жить, раз они от обезьяны?

Только однажды, совсем недавно, случился грех, и в совершенно трезвом виде. Грех, к огорчению, кончился разводом.

Грех не сразу выпер в их жизни, он, как клубок, накручивался исподволь: сегодня нитка, завтра бечевка, послезавтра — аркан. И стиснул аркан их души.

Разрыв случился из-за двух вер. Одна вера в бога, другая в красном платочке, просто Вера, ткачиха тож. Марья по природной женской слабости была религиозна, Иван же вольнодумец. Марья на сходке, когда церковь постановили обратить в театр, полезла в драку; Иван, в отместку ей и согласно идеологии, снял дома все иконы, проворчав:

— Да ты Вере-то в подметки не годишься, ежели критически... И как я с тобой, с чертом, жил...

— Тьфу! — плюнула жена.

Остальное все понятно.

После развода они вошли в комнату как чужие. Муж принес колбаски фунт. Она — баранок и селедку. Пожевали молча, всяк в своем углу. Иван поискал нож, не нашел, а спросить — самолюбие не позволяет. Отгрыз колбасу, подумал: «Вот и свободный я. Куда захочу, туда и пойду», — и с остервенением опять отгрыз. Марья озабоченно уписывала селедку, запивала чаем.

«Хорошо бы и мне чайку, — подумал Иван. — Не даст, пожалуй. Обозлившись».

Он почему-то на цыпочках подошел к водопроводу, напился и, как бы устыдившись малодушия, беспечно замурлыкал:

Выхо-ожу один я на доро-о-огу-у...

Марья зевнула, взглянула на стенные часы — десять — и стала оправлять кровать.

— Отвернись! — крикнула она Ивану, как нищему, который назойливо выпрашивает денег. — Теперича ты мне — тьфу. Я раздеваться стану. Можешь глаза пялить на Верку на свою.

Иван отвернулся. Марья разделась, перекрестила подушку и легла.

— Можно, что ли, оборачиваться? — спросил Иван. Но ответа не получил.

Где же лечь? Дивана нет. На стульях разве?

«Э, черт... Лягу на полу».

Марья спала крепко, Иван тревожно. Утром опять пришлось Ивану отвернуться.

На работе Иван да Марья спрашивали у товарищей, нет ли, мол, на примете у кого хоть какой-нибудь комнатушки? Куда тут... Нет.

— Это раньше бывало: комнат — сколько хошь... А поди-ка разведись... наплачешься...

Подходила вторая ночь.

— Теперича моя очередь на кровати... Кровать не твоя, а общая, — сказал Иван.

— Отвернись, — сказала Марья, разделась и легла на пол. Иван спал крепко, Марья тревожно: все вертелась на полу — жестко.

Пришла третья ночь. Иван читал газету. Марья достала новую рубашку в кружевах, нарочно перед самым носом Ивана разложила ее на столе и стала продевать в проемы розовые ленточки. Иван покосился на рубашку, крякнул и никак не мог перелезть на другую строчку: голова вдруг отказалась понимать прочитанное, в голове замелькала женская рубашка, тело — бывшей жены или ткачихи Веры — все равно.

— Отвернись, передену рубашку, — сказала Марья.

Ивану показалось, что голос Марьи прозвучал не так, как раньше. Иван отвернулся к зеркалу и протер глаза. В небольшом квадрате зеркала отражалась часть кровати. Марья отпахнула одеяло, и рубашка скользнула с ее плеч. Сердце Ивана стукнуло, остановилось и — раз-раз-раз — пошло работать без узды. Чтоб не смотреть на отражение крепкого женского тела, Иван, согласно идеологии, зажмурился, но тотчас же открыл глаза.

Ложась на пол, он думал:

«Придется постельник сделать. Черт его знает, этот развод. Ничего не предусмотрено».

На пятую ночь, когда Ивану опять пришла очередь спать на полу, Иван сказал:

— Слушай. Без постельника немыслимо на полу валяться. Если, так сказать, вдуматься категорично, мы можем, как тот, так и другой, спать вместе на кровати, ведя себя соответственно.

Марья подумала и сказала сердито:

— Ложись! Только чтоб спина к спине.

— Обязательно! — воскликнул Иван. — Соответственно... И тому подобное.

Ах, как приятно! В комнате восемь градусов, а до чего тепло спине. А все-таки надо идеологии держаться.

— Пожалуйста, не шевелись, — сказала Марья, засыпая.

— Я не шевелюсь... Я так, от нечего делать... Приятно очень.

Днем, в воскресенье, у них был такой разговор.

— Когда же ты уберешься от меня, постылый? — сказала Марья.

— А куда же мне, ежели кругом такое уплотнение?

— К Верке к своей, вот куда!

Иван взглянул в глаза Марье: бешеные бесенята, огоньки.

— Она сама при муже, — угрюмо сказал он. — Мы с ней, ты думаешь, как? Мы с ней просто по-хорошему.

— По-хорошему? — закричала Марья. — А пошто мял-то ее на танцульке. В коридоре-то?

— Мял-мял... Эка беда какая... Да ведь как вас, баб, не мять... Ежели вы такие... Ну, это самое... Всякий комбинат. Поневоле будешь мять...

— Поневоле? — еще звонче крикнула она. И сразу тихо, сквозь сдержанные вздохи: — А впрочем, сказать... Чего это я, дура... Теперича мне тьфу на тебя. Чужой ты мне, вот все равно как это полено. Мни, кого хошь, тешься.

— А ты?

Марья замигала и быстро в сенцы.

Легли опять спать спина к спине. Ивана подмывало повернуться. Марья, будто угадав, сказала сквозь зубы:

— Ты не вздумай облапить меня. Я тебе не девка гулящая.

— Ну, вот еще... Что я, маленький, что ли?

— Да ведь вы... О, чтоб вам сдохнуть!..

Иван огорченно улыбнулся тьме. И чтоб укротить себя, пытался направить мысли иным путем:

«Двенадцатый разряд... По какому праву? Да он, этот самый Лукин, без году неделю и служит-то... Неужто за то, что языком трепать умеет? А мне едва одиннадцатый дали... Обида или нет? Да, да... О-о-о-обида, — засыпая, думал Иван. — Чего? А хорошо бы поэтому... как его... ну вот этому в морду дать. А-а-а, Лукин, вот он-он... Держи его... двенадцатый разряд... А? Разряд? Хватай, бей!»

Иван занес руку, чтоб сгрести обидчика в охапку, и почувствовал, что его рука прикоснулась к чему-то мягкому, как крутое тесто. И вслед за этим обидчик крепко дернул его за бороду, крикнув:

— Пожалуйста, без объятиев своих! Отъезжай на пол... Ежели руки распространяешь.

Иван очнулся и сказал:

— Извиняюсь... Затмение... Комбинат.

И вновь спины вместе, дружба врозь. Лежит Иван, хлопает во тьме глазами, не может разобрать — хнычет Марья или хихикает над ним. Лежали долго.

— Иван! — позвала Марья.

Иван притворился спящим и легонько захрапел.

— Ох, какая канитель мне с ним, — вздохнула Марья и, повернувшись к мужу грудью, опять тихонько позвала: — Иван!

Иван храпел. Тогда Марья слегка прикоснулась губами к Ивановой спине и чмокнула, сказав: — Ах, душка мой... Василь Василич...

— Извиняюсь!.. В чем дело? — быстро повернулся к ней Иван. — Какой это Василь Василич у тебя имеется?

— А тебе какое дело? — сказала Марья и повернулась к нему спиной.

— Мое дело, конечно, маленькое, — сказал Иван. — Эх, Маша, Маша!..

— Ты с Верками да бознат с кем путался, а мне зевать? Плевала бы я...

— Вовсе я даже ни с кем не путался... Как честный человек говорю... Ха! Променял бы я тебя на Верку. Даже смешно.

— А что? Скажешь, меня любил?

— Неужели нет? Эх, Маша... — Он горестно взмотнул головой, и кончик его носа зарылся в густую косу Марьи.

Марья быстро повернулась к нему грудью, крикнула:

— Ах ты, дурак паршивый, притворщик. Ишь ты, прикинулся, храпел, как конь... Сроду не знавала никого опричь тебя. А ты и уши распустил. Я просто испытать... Ха! Василь Василич какой-то, провались он.

— Маша! Изюминка!

— Ваня!

А перед утром Иван сказал:

— Просто непонятное бывает на свете. Ведь вот жили мы с тобой, скажем, десяток лет, и ничего такого... все как-то... Даже наскучили друг дружке. А тут, черт его знает то есть, как развелись, с того самого моменту я прямо втюрился в тебя, как самый безнадежный влюбленный буржуй. То есть черт его... И с каждым моментом гораздо пропорциональнее... Ну, хоть на стену полезай или топись... Вот что значит психология... Развод придется онулировать... Ах, необдуманный комбинат какой... Идеологически паршиво вышло.

Марья вздохнула и сказала:

— А хорошо бы нам ребеночка.

— Не плохо бы, — сказал Иван. — А что касаемо религиозной почвы, то ее как-нибудь урегулируем. И вдобавок, Маша, надо пружинный матрас купить.

«НАСТЮХА»

Приказано было в нашей деревне Крайней женотдел образовать. Ну ясно, оборудовали. Председательша — Фекла Пахомова — чернущая, как цыганка с табора. И страсть какая злобная — перцем не корми. То есть так взъершила баб против мужиков, не надо лучше: поедом стали бабы мужнишек есть: «Ах вы, пьяницы! Ах вы, окаянные! Да мы вас, да вы нас...» Даже ежели, скажем, желательно допустить над собственной женой что-нибудь особенное, ну, вот это самое, дак и то она — пошел, говорит, к черту, думаешь, говорит, легко в тягостях-то нашей сестре ходить... А чуть вразумлять начнешь, она норовит ухватом по морде смазать, да с ревом в женотдел: «Караул, караул, убил!» А какое, к свиньям, убил, ежели сам стоишь у рукомойника, нос замываешь, а из носу невинная, конечно, кровь...

Других мужиков председательша Фекла Пахомова, чтоб ей в неглыбком месте утонуть, в суд потянула, — дескать — увечат жен. И что ж? Разве наши суды — суды? Жены пришли на суд краснорожие, у мужьев под глазами фонари понатырканы, даже один хромает. И, невзирая на подобные приметы, мужиков присудили к штрафу да к отсидке.

— Разобьют рыло, а скажут: так и было, — ругали женщин мужики.

Один прибег домой — лица нет, аж зубами скрипит, а бабу колошматить воспрещено. Дак он что... Он от горькой злобы собственную собаку удавил, сгреб за шиворот и сразу в петлю:

— На, — говорит, — тебе, сучья тварь, на! Повиси заместь моей стерьвы — Машки... У-ух! — и заплакал. Сидит в хлеве, на навозе, сморкается на все стороны, плачет. Мужики очень смирные у нас, а бабы — бой.

Этот ужасный террор проистекал до осени. Феклу Пахомову вытребовали в город служить, то есть к повышению. Она бобылка грамотная, собралась, уехала. Бабья часть провожала ее с воем.

Мужики сказали на сходе:

— Ну, длиннохвостые, кончилась вам масленица. Кого хотите в председательши? Становь кандидатуру, черт вас ешь!

Та не хочет, эта не желает, третья — боится. Так никого и не избрали. А из волости приказ — избрать. Судили мы, рядили, дай, думаем, изберем в председательши мужчину.

Сельсовет, мельник наш, сказал:

— Что же, братцы, деревня наша Крайняя, на самом краю, дальше болото на сто верст, к нам никто дорого не возьмет и заглянуть-то из порядочных. Давайте, братцы, изберем Настасея. Имя у него вроде бабье, и фамиль — сам поп не разберет — Сковорода. Баба тоже может сковородой быть за всяко просто.

Тогда начал говорить сам Настасей:

— Я ничего, братцы, согласен, как говорится. И имя... тово... действительно, чтобы... Даже маленького меня и звали-то «Настюхой». Только, братцы, как бы какого худа не было... Кроме всего прочего, конечно, да.

— Хы! Худа. Эка штука гумагу раз в месяц под-

махнуть. Пиши фамиль само неразборчиво, чтоб гаже нет.

— Да мне разборчиво-то и не... А только... этого, как его... чтобы... Сумленье у меня, да. Вдруг нагрянут. А человек я робкий. Я такой человек, урони возле меня, скажем, ложку, я так и подскочу до потолка. Человек я припадочный...

— А ты не скачи... Ты что, блоха, что ли?.. Соглашайся знай. А мы тебе... Ребята, соберем Настасею пудишек пяток муки в честь уважения. И четвертуху самогону первый сорт. Идет?

Стал с тех пор Настасей Сковорода председательшей женотдела.

И стало мужикам вольготно, бабам худо.

А тут... Ну, так даже и не выдумать. Вдруг — фють! — здравствуйте — прикатил мимоездом какой-то заведующий член из города, и прямо к председателю сельсовета, мельнику Вавиле Четвергову. То да се, спросы да расспросы, ну как, дескать, дела, почему нет избы-читальни, почему нет комсомола, работает ли женотдел?

— Сделайте милость, ваша честь, чайку испить, — краской залился Вавила. — Женотдел у нас справный. Председательшей женщину мы избрали, Настасья Сковорода фамиль. Бабочка толковая. Ведет линию парцинально, согласуемо...

— Нельзя ли с ней переговорить?

— Даже невозможно! Они, кажись, больные, — похолодел Вавила. — Они, кажись, ребенка родили. Быдто мертвенький... царство ему небесное.

— Тогда я навещу. Где она?

У Вавилы сразу осел живот, и тугой поясок ослаб.

— Что вы, товарищ, господин, как вас... с непривыку... Она в отдаленности живет, на хуторе, в лесочке... Быдто, сказывают, волки бешеные там рыщут, волчица да волк, пара. Согласуемо... Спаси господь...

Приезжий прищурился по-хитрому из-под очков в лицо Вавилы.

— А все-таки мне надо с ней переговорить.

— Тогда вот какое дело, товарищ хороший, как вас... с непривыку... имя-отчество. Вы после чайку прилягте отдохнуть. Столько верст проехамши, болотина да буераки. А вечерком я доставлю ее вам, на сон грядущий. Ведь вы заночуете? А куда же ваш путь принадлежит? Ах, в Павловское? Очень даже приятно нам, Павловское селенье подходящее. Народ — чистяк. Ах, какое село веселое... — повеселел наш пузан Вавила.

— Будь по-вашему, — сказал гость. — Только ко мне не пускайте пока никого: заниматься надо.

— Будьте вполне благонадежны, — вскричал Вавила. — То есть ни одна тварь не побеспокоит вашу честь.

— Карауль начальника, — сказал Вавила своей жене, а сам по деревне марш. Обежал все избы — хоть бы одна баба согласилась на полчасика председательшей побыть. Ах, ерш те в бок. Вот так штука...

Вавила к Настасею Сковороде и сразу заорал:

— Чтоб те сдохнуть, дурак паршивый! Пропадаем мы все. Член приехал! Требует! Ах, ах... Приделился, дьявол бородатый, в бабью должность, вот теперича иди!

— Ой, убегу я... В лес уеду, — взмолил, замотался Настасей.

— Убегу... Дура! Он книги требует. Он баб скличет. Хуже будет!

Настасей хлюпнулся на лавку и по-сумасшедшему выпучил глаза.

— Стриги рыжую бороду свою проворней, черт тя, собаку, ешь! — крикнул мельник. — Бритва имеется? Ужо я писаря позову, он обкатает.

Через час Настасея перевернули на Настасью.

— Повойник мой на башку-то надень! — злобилась его баба. — А поверх-то... Ужо-ко я шаль

повяжу. — И не знала баба, хохотать иль плакать, — баба хохотала.

— Форменно. Сойдет, — окончательно развеселился мельник. — Член, кажись, подслеповат. А голосишка у тебя, слава богу, бабий... Сойдет. Эх, жаль, член самогон не впотребляет. Слышь-ка, тетка Дарья!.. Напхай ему кудели вот в этом месте... Так... Убавь! Прибавь! Так, в плепорцию. Вот мужика и в красотку перевернули, хе-хе... Даже замуж можешь в этом сарафане выходить за какого ни то расстригу. Идем проворней. Не подгадь. Личность веселей держи, с игрой!

Председательша Настасья по записной книге давала объяснения проезжему гостю. Заикалась, голосишко дрожал, вилял, руки тряслись. И смех и грех, вот те Христос.

— Да вы, гражданка, не волнуйтесь. Говорите спокойно. У вас, кажется, все в порядке, — сказал член и глазами заморгал.

— В порядке, ваша милость, как вас... — сиял мельник именинником. — Бабочка она хорошая, толковая. — Линию ведет парцинально, согласуемо.

— Говорят, у вас несчастные роды были?

— Никак нет, — тонким голосом ответила Настасья и шаль натянула на глаза. — У нас... как его... все рожают, конечно, правильно, счастливо, да.

— Нет, нет. У вас лично, — поправил гость.

— Это, извините, я спутал, — выставил наш мельник бороду. — Та даже совсем другая женщина. Та действительно, черт ее знает, взяла да и... тово...

А гость — ну прямо как на грех — открыл на улицу окно, крикнул:

— Эй, тетушки! Шагайте обе в избу на пару слов.

Настасье показалось тут, будто юбка сама собой полезла вниз, будто из-под шали снова выставилась бородища. В избу вошли тем временем две тетки под хмельком — после баньки хлопнули.

— Ну как, тетушки, — спросил гость и очками поблестел. — Председательшей женотдела довольны?

Настасья охнула от ужаса, сгреблась за край стола. Мельник боком-боком к теткам:

— Выручай, молодайки, — шепнул им и даже толстую маленечко по заду приласкал.

— Председательша наша дюже хорошая, — перемигнулись тетки, — усатая, бородатая, женатая... Хи-хи-хи... А, чтоб вас... Камеды!..

Побелела Настасья, рученьками всплеснула, зашаталась.

Мельник крикнул:

— Пошли вон!.. Пьяные ваши рожи!.. Они — полудурки, товарищ дорогой, тово... с максимцем... Вон!!

У теток враз раздулись ноздри, а спина дугой, как у кошек перед собакой.

— Ах ты брюхан! — заорали обе вдруг. — Нам — тьфу, что ты сельсовет! А пошто же ты лишних по две копейки за помол берешь? Это порядки? Тьфу! Слушай, товарищ городской, мы тебе всю правду истинную... Он, нечистик, с чертом знается... Вот он какой сельсовет... Тьфу! Он, паскуда, нам в женотдел мужика рыжебородого всучил. Дуняха! Веди-ка сюда Настасея Сковороду...

— Как? — ополоумел гость. — Вот ваша председательша.

— Тьфу! — плюнули обе тетки. — Наш Настасеі бородатый... Это он, брюхан, полюбовницу свою привел... У него их...

Настасья вскрикнула, хлопнулась врастяжку, захрипела.

— Обморок... Воды! — засуетился гость. — Кофту расстегните. Смочите грудь.

Тетки — к неизвестной бабе. Живо кофточку долой, вот так фунт — замест того-сего — ха-ха — куделя!

— Боже милосердный! — в страхе перекрестился мельник и попятился. — Кто же это? А?!

Тетки в хохот, в визг, понять не могут. Лежавшая вверх носом председательша шевельнула правой ручкой и чихнула.

А мельник плаксиво на колени перед гостем пал.

— Ваше скородие, как вас, с непривыку... Голубчик! Не губи... Действительно — мужик это... Только

очень бритый... Враг попутал... То есть ах, боже... с перепугу все, согласуемо. Просто неисповедимо как... Ах, ах, ущерб какой... Вставай, рыжий черт!! — сдернул мельник шаль с плешивой головы Настасея. — Ишь развалился, быдто дохлый гусь... Кланяйся!.. Проси прощенья!..

Гость — брови вверх — протирал вспотевшие очки и взмыкивал, потом стал неудержимо хохотать. Настасей помаленьку приходил, слава богу, в чувство.

Через десять дней, приказом города, были перевыборы в сельсовет и женотдел.

ПЛОВЦЫ

Море играло, как через край шампанское. Волны били в скалы и тщательно вылизывали пляж. Солнце обдавало, как из печки. И если взглянуть с обрыва, от беседки, можно видеть: пляж обрамлен длинным кружевом обнаженных тел. Дырявый заборчик отделяет женскую и мужскую половину. Вот несколько четвероногих подползли к щели и всосались взглядом в запретные обители женского эдема.

— Товарищи!.. Нехорошо... Неловко, — окликнули их.

С моря донесся резкий крик:

— Тону! Спасите...

Кружево тел сразу вздыбило вверх, кружево хлынуло к волнам. И путаные фразы:

«Тонет... Тонет... Вынырнул... Кто умеет плавать? Товарищи, на помощь... Эй!..»

На берегу — общее смятение. Никто плавать не умел. Бестолково суетились: «Лодку, лодку!» — «Я бы мог, да судороги у меня».

Вдруг из женской половины бросилась в волны длиннокосая нимфа. Искусно и быстро рассекая воду, она легкими взмахами плыла к утопавшему. Все замерли. Тысячи глаз влипли в нимфу, ждали подвига. Вот утопающий вынырнул, поболтал руками и — камнем вниз. Нимфа, круто повернув к нему, нырнула. И чрез мгновенье, при общем восторженном

крике, на морской поверхности забелели два тела. Пловец был спасен.

Довольно интересный случай, прошумевший на весь Крым. Завершился он тоже интересно, по пословице: «Из огня да в полымя», — парочка поженилась.

С тех пор счастливые новобрачные всегда уединялись для совместного купанья куда-нибудь под скалу, в прохладу.

Миша Пташкин слепо верил в случай.

— Вот, черт его бей, какое счастье человеку привалило... Вместо того чтоб захлебнуться, такую красотку в жены взял... Где тут справедливость? Где закономерность? Темный случай, судьба — и больше ничего... Тьфу, черт! — ерепенился Мишка Пташкин, и его угреватое, красное лицо с усиками щеточкой нервно дергалось. — Тоже приемчик, черт его бей, — продолжал он. — Наверно, нарочно прикинулся, гадина... Мазурик, больше ничего... Такую провокацию пустить. Да я бы...

— А ты попробуй сам... Ты тоже ведь жениться собираешься, — сказал ему приятель, телеграфист Очков.

— И попробую, — волновался Миша. — Думаешь — не попробую? Очень просто, возьму да и попробую. — Он тонкими, в бородавках, пальцами отщипывал ягодки винограда и ловко швырял их в рот. — Например, Зоя Петровна... Это не товар, по-твоему? А мускулы... Ты видал, какие у нее мускулы? На состязании в плавании второй приз взяла. Уж я ли за ней не ухаживаю? И сладостями разными пичкаю, например мороженым. И в горы верхом прогулки устраиваю. А она на меня — нуль внимания. Я по крайней мере на трех скамейках и на четырех деревьях в парке ее имя вырезал. Я с риском для жизни залез ради нее, как орангутанг, на новую беседку и на самом видном месте изобразил красной краской ее и свои инициалы с сердцем, проткнутым амурной стрелой любви! Вот до чего дошло... Меня чуть не арестовали за это, едва убежал. А она взгля-

нула и — ни звука. Даже сказала: «Государственное имущество способны портить только дураки и хулиганы». Третьего дня хотел немножко обнять, вроде как случайно, а она: «Нет, уж вы, пожалуйста, того...» Через это я прямо-таки сгораю, во всем теле страшный вольтаж. Нервы — дрянь. Бессонница. А если уснешь — голые женщины в двусмысленных позах снятся. Я, конечно, не предлагал ей брак, я понимаю, что моя физиономия ей не нравится. А вот ежели я стану тонуть, а она, спасая утопающего, на мою мускулатуру вблизи взглянет, тогда посмотрим, кто кого...

Широкоплечий кривой телеграфист Очков на все лады подхихикивал над ним, наконец разразился звонким смехом:

— А ты всамделе попробуй, Миша, раз на свой вольтаж надеешься. Может, и тебе фартанет...

— Обязательно попробую! Только в тихую погоду. И когда море посильней прогреется.

Через неделю у Миши был такой разговор с Зоей Петровной Голоноговой.

— Ах, Зоя Петровна, — сказал он, вытягивая длинную шею с кадыком, — я еще три фунта потерял. Вы не догадываетесь почему?

— Нет, не догадываюсь, — сказала девушка.

— Вы — мучительница, Зоя Петровна. Видит бог, мучительница, — вздохнул Миша Пташкин. — Ах, зачем я увидел вас... Через вашу наружность и отверженную любовь я вернусь из отпуска дефективным субъектом. Почему вы такая недоступная? В данный политический момент, когда кругом электрификация, на каждом углу громкоговоритель, ваша щепетильность звучит как абсурд. Уверяю вас. Вы корчите из себя бог знает какую целомудренность. Это не тактично, уверяю вас. Если б я был манекен, на который натягивают в магазинах брюки и пальто, то, конечно... Но я очень нервный, живой человек, с внутренней секрецией, что видно из популярных лекций. Правда, я, будучи в оптовом магазине, получаю по

семнадцатому разряду и мог бы вам предложить.. Как это выразиться культурнее...

— Нет, я замуж не собираюсь, — улыбнулась девушка, выписывая зонтиком вензель на песке. — Глядите, как хорошо садится солнце...

— Да, неплохо, — сказал он уныло. — А вот я не могу ни сесть, ни лечь. Как зажмурю глаза — вы во всей натуральности, без ничего, как апельсин без корочек. Зоя Петровна! — И, оглянувшись, он бросился перед ней на колени. — Я люблю вас!.. Мучительница вы моя! Будьте моей по гроб жизни. Мне, как спецу, делают в нашем магазине значительную скидку со всей мануфактуры... Скоро будет получен великолепный тюль и тарлатан...

— Оставьте глупости, Михаил Степаныч! — И девушка отвернулась. — Встаньте!

— В таком случае, — вскочил Миша Пташкин и с бешенством стал выколачивать ладонью из штанов песок. — В таком случае, исходя из вашей жестокости, мне один выход — это утопиться. Да, да! И обязательно на ваших глазах... Уверяю вас... Да, да. Поверьте, вас замучает совесть... Вот нарочно оставлю на берегу в бутылке записку, а сам поплыву и утону. Нарочно!..

— А я вас спасу.

— Пожалуйста! — фатальным голосом воскликнул Миша Пташкин.

Море было тихое, день жаркий. Миша Пташкин, взволнованный и решившийся на последний шаг, зашел в часовню, поставил толстую свечу Николаю-чудотворцу, шефу утопающих, и направился к морю. Разделся, присосался глазами к щели в женский рай, сам себе сказал: «Здесь... Вот она... Ну, случай, выручай».

Он перекрестился и с трагическим лицом бросился в воду. Когда ноги потеряли дно, он отплыл сажен десять вперед, закричал: «Тону...» — и скрылся под водой. Тут был обрыв: тело до дна шло лениво, долго. Он умел кой-как плавать, но внутреннее

чувство предостерегающе сказало ему: «А вдруг утонешь?» Он пробкой вверх. «Утону, — подумал он, — ой-ой, судорога». И не на шутку закричал:

— Спаси-и-те-е! Эй!!

Он повернул назад, в левой икре заныло, задергалось; он быстрым движением рук стал растирать ногу, захлебнулся, пошел вниз, открыл глаза — зеленое стекло воды, и пальцы на обеих ногах болезненно скрючились. «Конец...» Он с силой ударил руками: голова, взор обмакнулись в солнце, в воздух, — берег близко, люди мечутся белыми птицами. И она, спасительница, плывет к нему. В крике, в брызгах он забился по воде, теряя силы. Вот закачался берег, закачалось над ним, под ним, кругом что-то неповоротливое и тягучее, все надломилось, посерело, растеклось, и последняя мысль была: «А как же... я за квартиру не заплатил...»

Пловец лишился чувств.

Он открыл глаза в тайное, в тот свет, в рай иль ад — не знает, и осмотрелся. Ни чертей, ни ангелов. Белые, самые обыкновенные стены. Койка, сестра милосердия.

— Ну, как? — участливо спросил сидевший возле него кривой телефонист.

— А где Зоя Петровна, — слабо проговорил утопавший. — Где моя избавительница?

— Тебя спас я! — гордо сказал телеграфист, и улыбавшийся глаз его излучал самоотверженную любовь. — Я спас тебя, на лодке...

Миша Пташкин ударил в него, как пулей, свирепым взглядом, ахнул, прошипел: «Подлец ты!» — и вновь лишился чувств.

УСЕКНОВЕНИЕ

В село Нетоскуй прибыл знаменитый, с двадцатью тремя медалями, фокусник. А село большое, на четыре улицы, и в каждой улице по настоящему кулаку сидело, богатею.

В самой же маленькой избенке, на краю села, Мишка Корень жил, парень головастый, хотя и рябой весь, но очень грамотный: чуть что, вроде кулацкого засилья, например, так в газете и прохватит, потому — селькор, а подпись — «Шило».

Кулакам Мишка Корень — как чирий на сиденье, кулаки искали случая стереть его с лица земли.

Вот тут-то фокусник и пригодился.

Объявил фокусник, что желающему из публики он будет топором голову срубать, потом опять приставит, человек снова оживет.

Неужто верно? Да, да, да, милости просим убедиться.

Посоветовались кулаки между собою, и лавочник Влас Львов пригласил фокусника к себе на угощенье.

Вдвоем пили, взаперти.

— Да, гражданин фокусник, туго нашему брату и с богатством теперича, — печально помотал бородой Влас Львов. — И вот в чем суть... Ежели, допустим,

коснувшись вашего рукомесла, вы оттяпали человеку голову, что же, неужели он умирает тут?

— Без сомненья, умирает, — ответил фокусник, бритенький и юркий, во рту золотой зуб и важнецкая сигарочка торчит.

— Так, так... Кушайте во славу. Пожалуйте уточку... Ах, какая утка примечательная... Просим коньячку... По личности сразу видать, что вы очень умный, просто полюбил я вас совсем. Ну, так. А потом, ежели голову приставить, опять срастется? Ока-а-а-зия... До чего наука достигает... Страсть... Милай! Друг! А позволь тебя, андель, спросить... Например, ежели оттяпаешь, а тут в тебе головокружение, захвораешь нечаянно и на пол, вроде обморока? Тогда как? Ведь не станет же человек без башки полчаса дышать, умрет. Правильно иль нет?

— Без сомнения, правильно, — фокусник потянул из стакана коньячок. — Тогда, без сомнения, умрет так ловко, что, хоть пять голов приставь, не воскреснет. Но я в обморок никогда не падаю.

— Жаль, — мрачно вздохнул хозяин. — Шибко жаль. Только со всяким несчастья бывают. И по суду, ежели коснется, тебя завсегда оправдать должны... Ну что ж. Голову отрубил, скажем, парню, да и сам в обморок ляпнулся. Несчастный случай — да и все. А мы тебе... хе-хе-хе... сотняшку рубликов пожертвовали бы. Чуешь? Ну это — промежду прочим, к слову. С глазу на глаз мы. Великая тайна, значит.

Фокусник допил коньяк, ухмыльнулся и подьявольски хитро подмигнул хозяину:

— Понимаю... Идет. Какого цвета волосы?

— Хых ты, андель, херувим! — схватил хозяин гостя в охапку, целовал его в уши, в лоб, в глаза. — Ах, до чего догадлив ты! Лохмы светлые у паршивца, как лен. Такая гадюка, страсть... То есть ах... Одно слово, ухорез, пагуба для всего правильного хрестьянства. Вот тебе в задаток два червончика. Ну только чтобы верно. Понял? Вот, вот. Достальные — после окончанья. Прибавка будет. Озолотим.

А вечером кулацкий элемент предупреждал крестьян на сходе:

— Смотрите, братцы, своих парнишек не пущать башки оттяпывать. Боже упаси. Заезжему прощелыге с пьяных глаз — фокус, а человеку может приключиться смерть с непривычки.

Народный дом густо набит зеваками.

Фокусы были замечательные. Вырастали цветы в плошках на глазах у всех, исчезал из-под шляпы стакан с водой, фокусник изрыгал фонтаны пламени и дыма, в гроб клали девушку — помощницу, закрывали, открывали при свидетелях и — вместо девушки лежал скелет.

Зрители пыхтели, впадая в обалдение, старики и бабы отплевывались, крестились, призывая всех святых. Ребята широко открывали рты и не дышали.

После перерыва фокусник еще проделал много разных штук и в конце заявил ошалевшей толпе, что он хворает и поэтому отрубание головы отменяется. Народ вдруг взбунтовался, зашумел.

Громче всех, подзуживая зрителей, буянил кулацкий элемент:

— Ага, ишь ты! Руби, руби! — шумел народ. — Толпа была возбуждена, раздувались ноздри.

— Идя навстречу желанию публики, — начал фокусник, — и благодаря угрозам, я, конечно, как будучи беззащитен против сотен зрителей, соглашаюсь. Но предупреждаю: операция может закончиться печально, потому что я утомлен и близок к обмороку.

Кулацкий элемент многозначительно переглянулся: «Клюнуло. Все как по маслу... Так».

— Согласны на таких условиях? Я всю ответственность переношу на вас.

— Жалаим!.. Просим! Сыпь!!

Кулацкий элемент радостно заерзал на скамейках.

— Желающие, пожалуйте на плаху! — озлобленно крикнул фокусник и покачал широким топором.

Никто не шел. Все оглядывались по сторонам, шептались, подбивая один другого. В углу уговари-

вали древнего старца — ведь это ж не взаправду, а ежели выйдет грех, деду все равно недолго жить. Старец тряс головой, плевался, а когда его подхватили под руки, загайкал на весь зал:

— Караул! Грабят!

И вот раздался голос, очень похожий на голос торгаша Власа Львова:

— Пускай Мишка Корень выступает! Он — комсомол, не боится ничего.

Минуту было тихо. Потом, рассекая полумрак, взвились насмешливые крики, как бичи:

— Ага, Миша! Боишься?! Вот тебе и нету бога! Тут тебе, видно, не митинги твои... Ха-ха!.. Попался?!

Селькор Мишка Корень, сидевший на первой скамье, вдруг встал, весело швырнул слова, как горсть звонких бубенцов:

— Сделайте ваше одолжение, сейчас! — и быстро заскочил на эстраду.

— Не боитесь? — спросил фокусник громко, чтоб все слышали, и, скосив глаза, строго осмотрел жизнерадостного, в белых вихрах, юношу.

— А чего бояться? — так же громко ответил тот. — Без головы не уйду.

— Ну, смотрите... Чур, после не пенять. Давайте завяжу вам глаза, а то страшно будет.

В задних рядах девчонка, сестра Мишки, с ревом сорвалась с места и кинулась домой, предупредить отца:

— Мишку резать повели!

Фокусник завязал лицо юноши белым платком по самый рот и усадил его возле стола с плахой.

Юноша не знал, что заговорщики, затаив дыхание, ждут его конца, ему и в ум не приходило, что фокусник — продажная тварь, предатель, он не чувствовал сердцем, что его сейчас убьют, поэтому так доверчиво, с улыбкой он положил на плаху свою голову.

На сцене — полумрак. Фокусник засучил рукава и ухватился за топор. Весь зал с шумом поднялся на ноги, вытянул шеи, замер. Зал верил и не верил.

Сверкнул топор, зал ахнул, голова с хрястом отделилась от туловища, тело Миши сползло со стула на пол.

Фокусник взял в руки белокурую, с завязанным лицом, голову и показал народу. Из горла свисали жилы, струилась кровь.

С визгливым криком несколько женщин лишились чувств. Зал оцепенел. Мертвящей волной пронесся мгновенный холод. Зал копил взрыв гнева и тяжко, в сто грудей, передохнул.

Фокусника охватила жуть, он увидел звериные глаза толпы, побелел и зашатался.

«Сейчас упадет», — мелькнуло в сознании торгаша Власа Львова.

Толпа враз пришла в себя и с гвалтом, опрокидывая скамьи, топча упавших, зверем бросилась вперед:

— Убивец!! Подай Мишку!

Толпу охватило яростное пламя мести, крови:

— Ребята, бей!! Души!!

Но вдруг толпа с налету — стоп! — как в стену: из-под стола с хохотом поднялся казненный Мишка Корень и в гущу взъерошенных бород, перехваченных ревом глоток звонко закричал:

— Товарищи! Я жив и невредим!! Да здравствует советская власть! Урра!

Весь зал взорвался радостными криками: «Ура, браво, биц-биц-биц!»

— Товарищи! — надрывался фокусник. — Это же в моих руках голова куклы. Это же ловкость рук! Прошу занять места... Сейчас будут объяснены все фокусы!

Тут вздыбил на скамьи весь кулацкий элемент. Очнувшийся Влас Львов громогласно заорал:

— Жулик ты! Обманщик!.. Тьфу твои паршивые фокусы!! — И озверевшим медведем стал продираться к выходу. — Хорошенькие времена пришли! Ни в ком правды нет... Ни в ком!!

Фокусник, юркий, бритенький, улыбнулся ему вслед. Во рту фокусника золотой зуб и важнецкая сигарочка торчит...

ПРИМЕЧАНИЯ

Второй том настоящего Собрания сочинений В. Я. Шишкова охватывает почти двадцатилетие его пооктябрьской литературной деятельности, включая в себя повести, рассказы и очерки, созданные писателем за период 1918—1938 гг. Идейно-тематическое содержание произведений Шишкова этого времени во многом продолжает основные линии его дореволюционного творчества: используя богатейший запас наблюдений над жизнью старой Сибири, писатель по-прежнему уделяет большое место изображению тяжкой судьбы национальных меньшинств Севера в условиях царской России («Страшный кам», «Черный час», «Царская птица»), показу таежной деревни («Мериканец», «Отец Макарий»), русского и сибирского крестьянства («Алые сугробы», «Таежный волк»). В то же время его внимание привлекает и пореволюционная деревня, сложные и глубокие социальные преобразования в ней, которые повлек за собой великий Октябрь. Являясь представителем той лучшей части старой интеллигенции, которая сразу и безоговорочно приняла социалистическую революцию, Шишков со вниманием и искренним доброжелательством всматривается в изменение облика своей родины и в первую очередь особенно близкой и понятной ему «мужицкой Руси». Совершая длительные пешеходные путешествия по ряду губерний Центральной России, он воочию видит, как причудливо переплетается здесь «древнерусский уклад с былью наших дней». Сочетание в быту, нравах, взаимоотношениях крестьянства тяжелого многовекового наследия прошлого — собственнических инстинктов, невежества, косности, темноты — с новым, революционным, столкновение этих двух начал, нелегко дающаяся победа нового является темой таких произведений Шишкова, как

«Свежий ветер», «Журавли» и многих из юмористических «шутейных» рассказов («Усекновение», «Бабка», «Настюха» и др.).

Однако круг творческих интересов писателя в пооктябрьские годы далеко не ограничивается крестьянской тематикой. Живя общими со всей страной интересами, Шишков откликается и на другие важнейшие вопросы, волновавшие советскую литературу.

Так, в частности, теме гражданской войны, одной из основных для прозы и поэзии начала и середины 20-х годов, посвящена повесть писателя «Пейпус-озеро», занимающая значительное место в литературном наследии писателя. Этой повестью и открывается данный том.

Последующий материал, как и в первом томе, расположен в хронологическом порядке — по датам написания произведений или по их первым публикациям. Этот принцип расположения сохранен и внутри выделенного в томе раздела «Шутейные рассказы».

Все произведения печатаются по текстам последних прижизненных изданий Шишкова с сохранением принадлежащих автору посвящений, сносок, шрифтовых выделений. Как и в первом томе, повести, рассказы и очерки не датируются, поскольку основные сведения относительно их написания, времени и места первой публикации содержатся в примечаниях.

ПЕЙПУС-ОЗЕРО

(Стр. 7)

Впервые опубликовано в альманахе «Наши дни», 1925, кн. 5. В этом же году выпущено отдельным изданием в издательстве «Книга». Вошло в VI том Полного собрания сочинений В. Я. Шишкова в двенадцати томах (ЗИФ, М. — Л. 1926—1929). Печатается по тексту книги: Вяч. Шишков, «Пейпус-озеро», изд-во «Недра», М. 1930, где произведение датировано автором: «1924 г.».

В основе «Пейпус-озера» лежат подлинные исторические события эпохи гражданской войны — вторичное поражение Юденича под Петроградом осенью 1919 года и отступление его разбитой Северо-западной армии в Эстонию. Для главной сюжетной линии повести — истории Николая Реброва — Шишков использовал воспоминания одного из «беженцев» — П. А. Иванова, уходившего в Эстонию вместе с белыми, но вскоре вернувшегося на родину.

Повесть была задумана писателем в самом начале 20-х годов, в 1922 и 1923 годах он уже собирал материал для нее.

В письме от 2 сентября 1923 г. к своему другу и товарищу по работе в Сибири В. П. Петрову Шишков сообщал, между прочим: «Был опять в Лужском уезде... Здесь проходил Юденич, и мне необходимо было собрать материал для романа в дополнение к собранному прошлым летом» (Архив Шишкова). Однако в 1923 году Шишков был занят главным образом работой над романом «Ватага», в связи с чем завершение «Пейпус-озера» отодвигалось на второй план. «Пейпус-озеро» движется медленно, его надо проверить, как работу школьника первой ступени, — писал В. Я. Шишков В. М. Бахметьеву в начале 1924 года. — ...в Эстонии я не был, а в таких случаях собственные глаза и уши надежней всякого воображения. Надо познакомиться с работами об Эстонии. Надо отыскать людей, бывших там во времена Юденича, надо повидаться с юношей, рассказ которого о своих скитаниях положен в основу повести» (письмо к В. М. Бахметьеву от 18 января 1924 г. — «В. Я. Шишков, Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Ленинградское газетно-журн. и книжн. изд-во, Л. 1956, стр. 256). Весь этот кропотливый труд по окончанию и отделке повести и был проделан писателем в основном в течение 1924 года.

Резкая и справедливая критика литературной общественности в адрес романа «Ватага», дававшего ошибочную и превратную картину партизанского движения в Сибири, несомненно, помогла писателю гораздо глубже продумать идейную концепцию «Пейпус-озера», дать в этой повести правильную и политически зрелую оценку событиям гражданской войны. Шишкову удалось вскрыть здесь духовную растленность и полное ничтожество «белой гвардии», претендовавшей на высокую миссию «освободительницы России»; он показал пробуждение политической сознательности среди рядового состава армии Юденича, критическое переосмысление своего отношения к «большевикам» и «большевистской России» теми представителями интеллигенции, которые покинули родину по политической близорукости и простому недомыслию. Эти творческие удачи писателя были отмечены рецензентами, писавшими о «Пейпус-озере». Так, в частности, в обстоятельной и подробной рецензии В. Гольцева, опубликованной в журнале «Печать и революция», указывалось на тематическую актуальность повести, где «остро и убедительно... выведена Шишковым целая вереница людей, которых неумолимо отмел в сторону великий вихрь Октябрьской революции», «ярко показано... неуклонное разложение остатков Северо-западной ар-

мии Юденича, укрывшихся в Эстонии после бессмысленной попытки поработить за иностранный счет советскую Россию... Чем дальше идет время, тем яснее обнаруживается полное банкротство белых, окончательное крушение идеи «спасти» от большевиков «Великую Россию». Лучшие из людей, попавших в эмиграцию, мучительно сознают это. Одни из них (как поручик Баранов) бесславно гибнут, другие (как Николай Ребров) находят в себе силы бежать «домой», в «Советскую Россию». В этой же статье В. Гольцев обращал внимание и на своеобразие писательской манеры Шишкова, его высокое художественное мастерство, благодаря которому он умеет придать повествованию «яркую эмоциональную окраску», заставить читателя не «остаться холодным и равнодушным к изображаемому», довести напряжение сюжета «до очень высокой точки». «Надо думать, — выражал предположение критик, — что «Пейпус-озеру» обеспечена длительная жизненность: его будут читать и перечитывать» («Печать и революция», 1926, кн. 7, стр. 205—206). Это предположение целиком оправдалось: многократно выходившая при жизни писателя повесть не раз переиздавалась и после его смерти, принадлежа к числу наиболее популярных произведений Шишкова.

«МЕРИКАНЕЦ»

(Стр. 148)

Впервые опубликовано в журнале «Творчество», 1919, № 12. Отдельной книгой вышло в издательстве «Пигмалион», Пг. 1922. В сборник произведений Шишкова «Взлеты» (изд-во ВЦСПС, М. 1925) вошло под названием «Крылья». «Это заглавие более подходило к названию книги (имеется в виду сборник «Взлеты». — *В. Б.*) и полнее обнимало содержание», — пояснял В. Я. Шишков в письме к П. С. Богословскому от 17 марта 1926 г. (См. «В. Я. Шишков, Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Л. 1956, стр. 265.) В IV томе Полного собрания сочинений (ЗИФ, 1927), по тексту которого печатается произведение, автор вернул повести прежнее название — «Мериканец».

В цитированном выше письме к П. С. Богословскому Шишков сообщает о сюжете «Мериканца» следующее: «...такой чудак был на р. Томи, мастерил себе «летягу», пробовал летать, завяз в болоте и плюнул на свои изобретения. Слышал про изобретателя от других. Остальное — вымысел...» Текст повести позволяет

видеть, что «слышанное писателем от других» составляет лишь небольшую часть фабулы «Мериканца», занимая там всего три первые главы. Творческая фантазия художника, его «вымысел» пошли гораздо дальше сообщенного ему факта. Оттолкнувшись от него, Шишков создал глубоко волнующее произведение о горькой участи талантливого самородка, для которого в условиях старой России закрыты все пути к творчеству, к осуществлению своих стремлений. Именно эту идею повести подчеркивал библиографический журнал «Бюллетень книги», рекомендуя «Мериканца» для сельских библиотек и указывая, что произведение Шишкова «является страничкой, иллюстрирующей тяжелую атмосферу, убивавшую творческие возможности наших самоучек и тем самым оттеняющей просветы, внесенные сюда революцией» («Бюллетень книги», 1923, № 3, стр. 43).

СТРАШНЫЙ КАМ

(Стр. 187)

Впервые с подзаголовком «Повесть шаманья, алтайская» опубликовано в «Московском альманахе», М. 1923, вошло в III том Полного собрания сочинений. Печатается по тексту книги. В. Я. Шишков. Страшный кам, изд-во «Недра», М. 1931, где повесть датирована автором: «1919 г. Петроград».

Материал для повести «Страшный кам», работать над которой Шишков начал еще в 1917 году, был собран писателем во время его изыскательских работ на Алтае. Первый раз Шишков попал на Алтай в 1910 году, возглавляя рабочую партию по исследованию реки Бии. «Работа была чрезвычайно опасная, — вспоминал писатель в автобиографии, — но весь риск окупился впечатлениями: познакомился с бытом кержаков-староверов, теленгитов, калмыков, с культом шаманизма: шаманы (камы) во время моления в глухих горных ущельях приносили кровавые жертвы подземному богу Эрлику, жертвенной лошади привязывали к каждой ноге по аркану, и четыре группы алтайцев, вцепившись за концы арканов, раздирали ее живьем. Кам ударом ножа извлекал жертвенную кровь из ее живого сердца. Визг лошади, оранье толпы, громовой грохот аршинного бубна, игра ночных костров во тьме» (См. автобиографию В. Я. Шишкова в I томе Полного собр. соч., ЗИФ, 1928, стр. 59). Культ шаманства и само камлание камов Шишков наблюдал и при вторичном посещении Алтая во время летних работ 1913—1914 годов по

исследованию Чуйского тракта, хотя в это время «калмыки и теленгиты уже ...переходили в бурханизм (упрощенный буддизм)» (там же, стр. 66). Именно тогда Шишков и услышал историю о казни кама. «В основу «Страшного кама», — писал Шишков П. С. Богословскому, — положены личные наблюдения, расспросы крестьян, священника, учителя о совершившейся казни кама. Звуки бубна слышат до сих пор (в 1913—1914 году я был там). Если интересуетесь, могу прислать мои очерки «По Чуйскому тракту», напечатанные в «Сибирской жизни», там есть и про кама» (Письмо к П. С. Богословскому от 17 марта 1926 г. — «В. Я. Шишков, Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Л. 1956, стр. 265).

Эпизоды, связанные с культом шаманства, жертвоприношения грозному богу Эрлику необычайно красочно и впечатляюще воссозданы на страницах «Страшного кама». Достоверность и точность в описании этих обрядов явились причиной того, что повесть «фигурировала даже в качестве пособия» для студентов антирелигиозного факультета Ленинградского политико-просветительного института им. Крупской (См. Л. Р. Коган, «Из воспоминаний о В. Я. Шишкове» — в книге «В. Я. Шишков, Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Л. 1956, стр. 175).

Однако при всем богатстве и яркости этнографически-бытового материала в повести, он не самодовлеет в ней, значимость этого произведения определяется прежде всего его глубоким социальным и психологическим содержанием. Идейный смысл «Страшного кама» заключен как в обличении религиозного изуверства наиболее зажиточных слоев сибирской деревни (священник, учитель, кулачество), являющихся прямыми виновниками страшной расправы с Чалбаком, так, с другой стороны, и в изображении гибельного влияния религиозных предрассудков на душу человека, который, будучи бессилен освободиться от них, падает их жертвой.

ЦАРСКАЯ ПТИЦА

(Стр. 255)

Впервые опубликовано в «Петербургском сборнике», изд. журнала «Летопись дома литераторов», 1922. Печатается по тексту Полного собрания сочинений, том III, 1927, где рассказ датирован автором: «1921 г. Петроград».

ЧЕРНЫЙ ЧАС

(Стр. 263)

Впервые опубликовано в альманахе «Круг», 1924, № 3. Вошло в III том Полного собрания сочинений. Печатается по тексту книги: Вяч. Шишков, Пурга. Повести и рассказы о старой Сибири. Новосибгиз, 1938, где рассказ датирован автором: «1921 г.».

ЖУРАВЛИ

(Стр. 282)

Впервые опубликовано в «Красном журнале для всех», 1924, № 1. Печатается по тексту Полного собрания сочинений, том II, 1928, где рассказ датирован автором: «1924 г.».

СВЕЖИЙ ВЕТЕР

(Стр. 297)

Впервые опубликовано в журнале «Молодая гвардия», 1924, № 4. Печатается по тексту Полного собрания сочинений, том II, 1928, где рассказ датирован автором: «1924 г.».

Материалом для рассказа «Свежий ветер» послужили непосредственные наблюдения писателя над жизнью деревни в первые годы существования советской власти, в частности впечатления, полученные им при посещении в начале 20-х годов Лужского уезда Петроградской губернии. «Я в тех местах жил два лета, видел комсомольцев, собрал материал», — сообщал В. Я. Шишков в письме к П. С. Богословскому от 17 марта 1926 года («В. Я. Шишков, Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Л. 1956, стр. 264—265). Уже в очерках «С котомкой», написанных в октябре 1922 года как раз по возвращении из Лужского уезда, Шишков приводит рассказ одного сельского врача о случае, который наряду с личными впечатлениями писателя лег в основу сюжета «Свежего ветра».

«...Выписался недавно один больной, — говорит доктор, — пожилой крестьянин, жил с двумя сыновьями и с женой, пьянствовал и парней приучил пить. Жену ругал, бил, истязал, и сыновья помогали... Так продолжалось больше года. Жена от побоев в старуху превратилась, оглохла, но вот пришел сын-красноармеец и сразу вступился за мать: «Вот что, отец, ты лучше оставь, теперь не прежние права. А то плохо будет. Упреждаю!»

Целый месяц красноармеец с батькой воевал, и кончилось тем, что однажды в ссоре сгреб ружье, да и царапнул в старика. Я думал, что умрет, — нет, ожил. Руку только пришлось отнять. Пока лежал, говорил: «Поправлюсь, и его убью, и старуху убью». Однако все обошлось хорошо. Фактик этот возымел... свое действие... Мужики вдруг почуяли, что пришла какая-то новая сила — их дети, красноармейцы, — и эта сила вступается за слабого... Многие мужички призадумались» (Вяч. Шишков, Полн. собр. соч., т. XI, ЗИФ, 1927, стр. 18).

В тех же очерках «С котомкой» писатель не раз сам прямо формулирует мысль, послужившую лейтмотивом «Свежего ветра», — мысль о первостепенной роли крестьянской молодежи в преобразовании жизни деревни: «...как будто начинает въедаться в жизнь свежая струя: с одной стороны, возвратившиеся пленные... с другой, и это из главных главное — мужичья молодежь, потрепавшаяся в вихре революции по широкому лицу России. У них и взгляд шире — народ бывалый, и к старому укладу отвращение, у них воля и тяга к новой, красивой жизни» (там же, стр. 62).

ОТЕЦ МАКАРИЙ

(Стр. 344)

Впервые под заглавием «Отец Макарий приблудный поп» опубликовано в журнале «Сибирь», 1926, № 3. Вошло в XII том Полного собрания сочинений, в сборник произведений Шишкова «Пурга. Повести и рассказы», изд-во «Недра», М. 1931, в сборник «Сибирь в художественной литературе», Новосибгиз, 1938. Печатается по тексту книги: Вяч. Шишков, Пурга. Повести и рассказы о старой Сибири, Новосибгиз, 1938, где рассказ датирован автором: «Сухум. Декабрь 1925 г.».

АЛЫЕ СУГРОБЫ

(Стр. 353)

Впервые опубликовано в журнале «Красная новь», 1926, № 10. Вошло в XII том Полного собрания сочинений и в сборники произведений Шишкова «Алые сугробы», изд-во «Пролетарий», Харьков, 1927; «Пурга», изд-во «Недра», М. 1931. Печатается по тексту книги: Вяч. Шишков, Пурга. Повести и рассказы о старой Сибири, Новосибгиз, 1938, где рассказ датирован автором: «1925 г.».

В письме к П. С. Богословскому от 17 марта 1926 г. Шишков говорит об этом рассказе следующее: «Алые сугробы» — в бытность мою в 1913 году на Чуйском тракте встретил вечером возле нашего изыскательского стана двух оборванцев, сидевших у костра. Оказались — крестьяне (самоходы), искавшие за горами, в Сойотии, в Урянхайском крае хорошей земли. Землю нашли, теперь возвращаются домой, в свою российскую деревню, чтоб на будущий год скопом переселяться.

В пути терпели неимоверные лишения — вроде описанных мною» («В. Я. Шишков, Неопубликованные произведения. Воспоминания о В. Я. Шишкове. Письма», Л. 1956, стр. 265).

Сравнивая текст «Алых сугробов» с изложенными в письме подлинными фактами, мы видим, что эти последние под пером писателя получили совершенно определенную интерпретацию. Шишковым был сделан акцент прежде всего на «неимоверные лишения», которые терпели в пути крестьяне, сделан для того, чтобы как можно более выразительно показать готовность нищего, обезземеленного крестьянства преодолеть и вынести любые невзгоды и трудности, лишь бы обрести иное, чем у них, более достойное и приемлемое для человека существование. В как бы дополняющих друг друга образах трезвого сурового реалиста Степана и мечтателя Афони воплощена тяга мужика не только к сытой и обеспеченной, но и красивой, яркой, содержательной жизни. В этом смысле «Алые сугробы» и образ Афони прямо перекликаются с одним из ранних рассказов Шишкова «Колдовской цветок» и его главным героем, крестьянином-мечтателем, стремящимся найти заветный волшебный цветок (См. т. 1 наст. изд.). «Алые сугробы» — одно из наиболее поэтичных и глубоких по идее произведений писателя, к сожалению, не было понято и по достоинству оценено критикой, отметившей в момент появления рассказа лишь чисто внешние, стилевые его особенности — «условно-сказочный колорит» и «полуфантастическое, полуреалистическое изображение крестьянских искателей» («Книга и профсоюзы», 1928, № 3, стр. 38).

ТАЕЖНЫЙ ВОЛК

(Стр. 392)

Впервые под заглавием «Бакланов» опубликовано в журнале «Новый мир», 1926, № 11. Журнальный вариант рассказа был значительно короче позднейшей редакции, не делился на главы и

заканчивался эпизодом смерти почтальона. Полностью, под заглавием «Бакланов — таежный волк», рассказ вошел в XII том Полного собрания сочинений. Под названием «Таежный волк» рассказ опубликован в книге: Вяч. Шишков, Пурга. Повести и рассказы, изд-во «Недра», М. 1931, печатается по тексту этого издания. Рассказ датирован автором: «1926 г.».

АЛЧНОСТЬ

(Стр. 429)

Опубликовано в книге: Вяч. Шишков, Пурга. Повести и рассказы, изд-во «Недра», М. 1931, где рассказ датирован автором: «1927 г.». Печатается по тексту этой книги.

«САДКО» — ГОСТЬ СОВЕТСКИЙ

(Стр. 443)

Очерк написан после поездки В. Я. Шишкова осенью 1933 года в Заполярье вместе с группой советских писателей (А. Н. Толстой, С. Я. Маршак, И. С. Соловьев-Микитов и др.). Участники поездки побывали в Хибиногорске, на Нивострое, в заполярных совхозах, на Беломорско-Балтийском канале. Особенно большое впечатление произвела на Шишкова героическая работа водолазов-эпроновцев по подъему со дна моря затонувшего в 1916 году ледокола «Садко». Подробному описанию этого подъема, трудовым будням эпроновцев и посвящен очерк «Садко» — гость советский», опубликованный в сборнике «Эпрон», Л. 1934. Очерк печатается по тексту сборника.

ЧЕРТОЗНАЙ

(Стр. 487)

Впервые опубликовано в журнале «Литературный современник», 1938, № 5. Печатается по тексту книги: Вяч. Шишков, Пурга. Повести и рассказы о старой Сибири, Новосибгиз, 1938. Автором указано место написания рассказа: «г. Пушкин».

ШУТЕЙНЫЕ РАССКАЗЫ

В творчестве В. Я. Шишкова особое место занимает большой цикл юмористических произведений, создававшихся в основном в первой половине 20-х годов и названных самим авто-

ром «шутейными рассказами». Шишковым было написано свыше 120 таких рассказов, они публиковались в тогдашних юмористических журналах («Дрезина», «Красная панорама», «Красный ворон», «Смехач», «Бегемот» и др.), выходили отдельными сборниками («На травку», изд. ЦК Помгол при ВУЦИК, Харьков, 1922; «Спектакль в селе Огрызове» — изд-во «Книга», М. — Л. 1924; «Радиосатана», ЗИФ, Л. 1926; «Кикимора», изд-во «Красная газета», Л. 1928; «Бисерная рожа», ЗИФ, 1927, и др.) и заняли целых четыре тома в его двенадцатитомном собрании сочинений (т. VII—«Спектакль в селе Огрызове»; т. VIII—«Торжество»; т. IX — «Диво дивное», т. X — «Цветки и ягодки»). Острое чувство комического, вкус к смешному, забавному, органически присущие дарованию писателя, нашли в шутейных рассказах свое наиболее полное и разностороннее выражение. Объектом юмористики Шишкова в пореволюционные годы является прежде всего «наследство старого в новом», те нелепости и несуразности в быту и взаимоотношениях людей, которые неизбежны при ломке старых, отживших свой век устоев, привычек, традиций. Писателя интересуют все и всяческие «гримасы жизни», но, по справедливому замечанию одного из первых исследователей творчества Шишкова П. Медведева, эти гримасы не страшат его, ибо воспринимаются только как некое отклонение от здоровой нормы. Вера в торжество этой нормы никогда не покидает писателя, отсюда жизнерадостность и искренность его смеха, бодрость и оптимизм его юмористических произведений, лучшие из которых сохраняют свое звучание и в наше время.

«НА ТРАВКУ»

(Стр. 499)

Впервые опубликовано в книге: Вяч. Шишков, Подножие башни. Очерки и рассказы, Пг. Госиздат, 1920. Вошло в сборники произведений Шишкова: «На травку», Харьков, 1922; «Взлеты», изд-во ВЦСПС, М. 1925. Печатается по тексту Полного собрания сочинений, том VII, где рассказ датирован автором: «1918 г.».

ЭКЗАМЕН

(Стр. 507)

Впервые опубликовано в журнале «Дрезина», 1923, № 8. Вошло в сборник шутейных рассказов Шишкова «Спектакль

в селе Огрызове», изд-во «Книга», М. — Л. 1924. Печатается по тексту Полного собрания сочинений, т. VII, где рассказ датирован автором: «1922 г.».

СМЕРТЬ ТАРЕЛКИНА

(Стр 515)

Впервые опубликовано в журнале «Прожектор», 1923, № 12. Вошло в сборник Шишкова «Спектакль в селе Огрызове», изд-во «Книга», М.—Л. 1924, в VII том Полного собрания сочинений. Печатается по тексту книги: Вяч. Шишков, Шутейные рассказы, ЛенГИХЛ, 1935, где рассказ датирован автором: «1923 г.».

СПЕКТАКЛЬ В СЕЛЕ ОГРЫЗОВЕ

(Стр. 526)

Впервые опубликовано в журнале «Красная новь», 1923, № 5. Вошло в сборник «Спектакль в селе Огрызове», изд-во «Книга». М.—Л. 1924, в VII том Полного собрания сочинений. Печатается по тексту книги: Вяч. Шишков, Шутейные рассказы, ЛенГИХЛ, 1935, где рассказ дан с посвящением Л. Р. Когану и датирован автором: «1923 г.».

ШЕРЛОК ХОЛМС—ИВАН ПУЗИКОВ

(Стр. 524)

Впервые опубликовано в журнале «Красная нива», 1923, № 10. Вошло в VIII том Полного собрания сочинений. Печатается по тексту книги: Вяч. Шишков, Торжество, Шутейные рассказы, изд-во «Недра», М. 1931, где рассказ датирован автором: «1923 г.».

ХРЕНОВИНКА

(Стр. 569)

Впервые опубликовано в журнале «Красный ворон», 1923, № 36. Вошло в ряд сборников юмористических рассказов Шишкова, в VII том Полного собрания сочинений. Печатается по тексту книги: Вяч. Шишков. Кикимора, изд-во «Красная газета», Л. 1928, где рассказ датирован автором: «1923 г.».

ПОРТРЕТ

(Стр. 574)

Впервые под названием «Режим экономии» опубликовано в книге: Вяч. Шишков, Бисерная рожа, ЗИФ, М. — Л. 1927. Под этим же названием вошло в X том Полного собрания сочинений. Под заглавием «Портрет» опубликовано в книге: Вяч. Шишков, Шутейные рассказы, ЛенГИХЛ, 1935. Печатается по тексту этой книги, где рассказ датирован автором: «1923 г.».

БАБКА

(Стр. 578)

Впервые опубликовано в сборнике шутейных рассказов Шишкова «Спектакль в селе Огрызове», изд-во «Книга», М. — Л. 1924. Вошло в VII том Полного собрания сочинений. Печатается по тексту книги: Вяч. Шишков, Шутейные рассказы, ЛенГИХЛ, 1935, где рассказ датирован автором: «1924 г.».

РАЗВОД

(Стр. 583)

Опубликовано в IX томе Полного собрания сочинений (1-е изд. — 1926 г., 2-е изд. — 1928 г), где рассказ датирован автором: «1925 г.». Печатается по этому тексту.

«НАСТЮХА»

(Стр. 589)

Опубликовано в IX томе Полного собрания сочинений (1-е изд. — 1926 г., 2-е изд. — 1928 г.). Вошло в сборник юмористических рассказов Шишкова «Хреновинка», ЗИФ, М.—Л. 1926. Печатается по тексту книги: Вяч. Шишков, Шутейные рассказы, ЛенГИХЛ, 1935, где рассказ датирован автором: «1926 г.».

ПЛОВЦЫ

(Стр. 596)

Впервые опубликовано в сборнике произведений Шишкова «Кольцо. Рассказы», изд-во «Красная газета», где рассказ датирован автором: «1926 г.», и в X томе Полного собрания сочинений. Печатается по тексту сборника «Шутейные рассказы», ЛенГИХЛ, 1935.

УСЕКНОВЕНИЕ

(Стр. 601)

Опубликовано в книге: Вяч. Шишков, Бисерная рожа, ЗИФ, М.—Л. 1927. Вошло в X том Полного собрания сочинений. Печатается по тексту книги: Вяч. Шишков, Шутейные рассказы, ЛенГИХЛ, 1935, где рассказ датирован автором: «1926 г.».

СОДЕРЖАНИЕ

ШУТЕЙНЫЕ РАССКАЗЫ

Шишков
Вячеслав Яковлевич

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ТОМ 2

Редактор *З. Кондратьева*
Художественный редактор *А. Лепятский*
Технический редактор *С. Розова*
Корректоры *Т. Лукьянова* и *М. Муромцева*

Сдано в набор 5/VII 1960 г.
Подписано к печати 10/X 1960 г.
Бумага 84×108 1/32—19,5 печ. л. =
=31,98 усл. печ. л. 29,02 уч.-изд. л.
Тираж 180 000 экз. Зак. 1537.
Цена 1 р. 10 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Типография № 2 им. Евг. Соколовой
УПП Ленсовнархоза.
Ленинград, Измайловский пр., 29